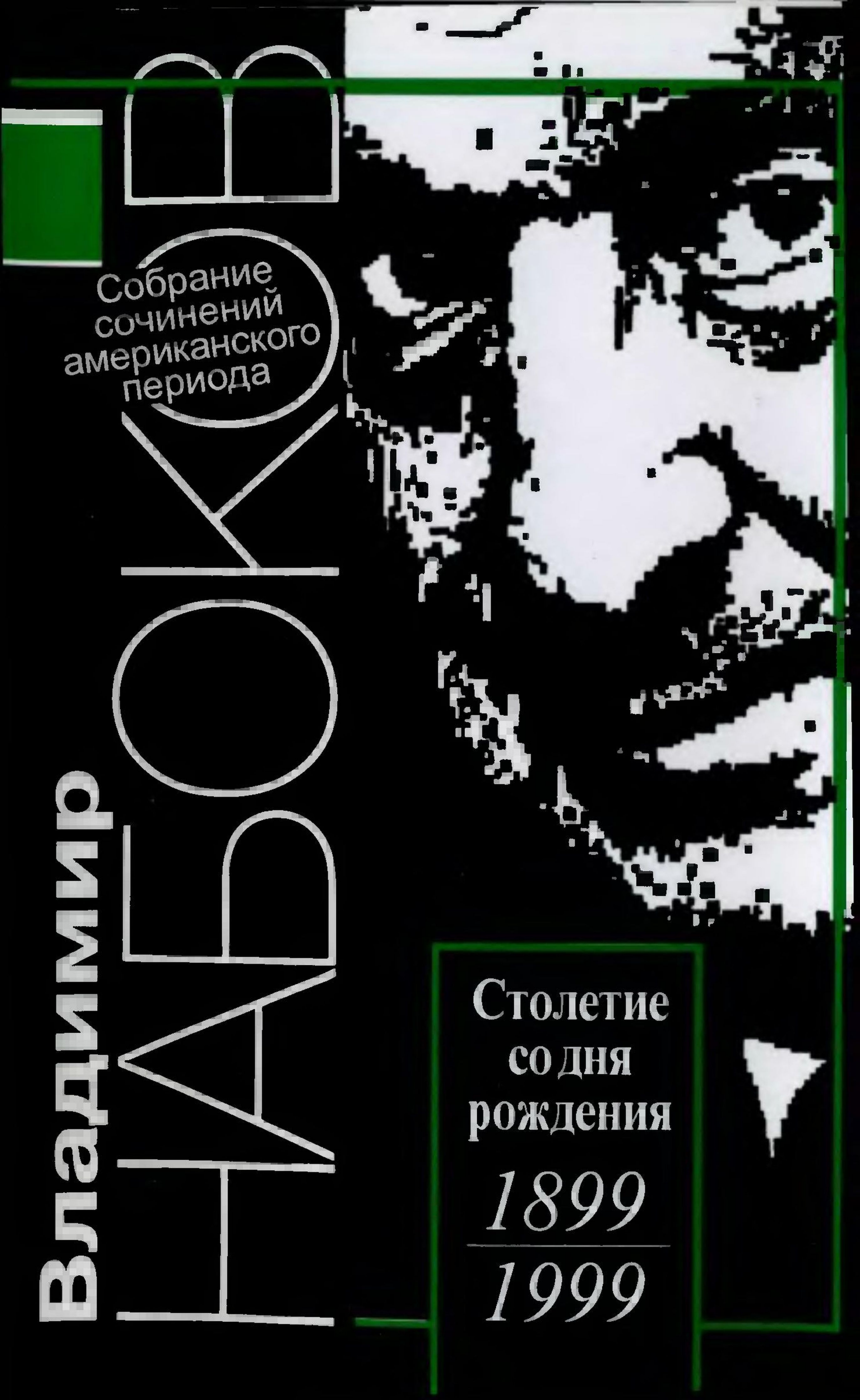
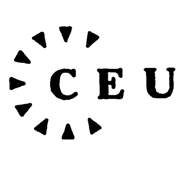

Владимир
НАБОКОВ
Собрание сочинений американского периода
Столетие со дня рождения
1899
1999



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»

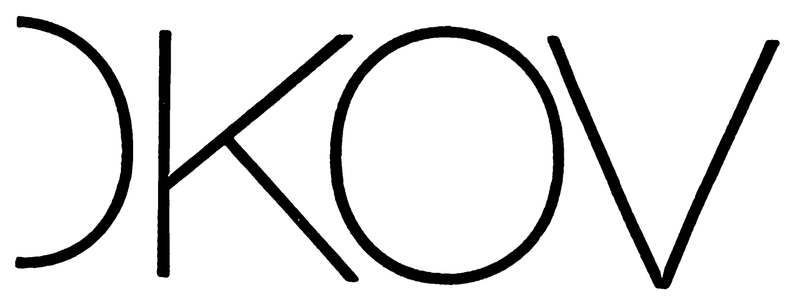


СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АМЕРИКАНСКОГО ПЕРИОДА В ПЯТИ ТОМАХ

Столетие со дня рождения

1899

1999



В Л А Д И М И Р
Н А Б О К О В

Подлинная жизнь Себастьяна Найта

Под знаком незаконнорожденных

Николай Гоголь

Санкт-Петербург
«Симпозиум»
2004

ББК 84.7 США
Н 14

Составление
С. Б. Ильина и А. К. Кононова

Предисловие и комментарии
проф. А. М. Люксембурга

Художник
М. Г. Занько

ISBN 5-89091-014-0
ISBN 5-89091-016-7(Т.1)

От составителей

Владимир Владимирович Набоков (1899—1977) — вероятно, единственный за всю историю словесности великий писатель, с блеском писавший на двух языках, русском и английском, и сумевший занять в двух великих мировых литературах такое положение, что дальнейшее их развитие оказывается, пожалуй, уже невозможным без учета его наследия, — что, собственно, и делает писателя классиком.

При этом восприятие творчества Набокова английским и русским (имея в виду язык) читателями существенно различается. За пятнадцать лет, в течение которых Набоков существовал как пишущий по-русски автор, из-под его пера вышло (помимо рассказов, пьес, стихотворений и переводов) восемь романов: "Машенька" 1926, "Король, дама, валет" 1928, "Защита Лужина" 1930, "Подвиг" 1932, "Камера обскура" 1932, "Отчаяние" 1936, "Приглашение на казнь" 1938 и "Дар" 1937-38. За те тридцать семь лет, которые можно условно назвать его "американским периодом", Набоков (опять-таки не считая рассказов, стихотворений, переводов и мемуаров) написал еще восемь романов: "Подлинная жизнь Себастьяна Найта" 1941, "Под знаком незаконнорожденных" 1947, "Лолита" 1955, "Пнин" 1957, "Бледное пламя" 1962, "Ада" 1969, "Прозрачные вещи" 1972 и "Смотри на арлекинов!" 1974. Два романа, один русский ("Solus Rex") и один английский ("Оригинал Лауры"), остались незаконченными.

Если англоязычный читатель может составить о творчестве Набокова достаточно полное представление, поскольку все его русские романы к началу 1970-х годов были переведены на английский язык, то русский имеет о его "втором периоде" понятие довольно смутное. Кажется, все знают "Лолиту", но остальное заволакивается туманом. Кто-то читал "Пнина", кто-то смутно припоминает еще одно-два названия, большинство же уверено, что ничего кроме "Лолиты" Набоков в Америке не написал, разве что "Пнина", да и того, вроде бы, по-русски.

Объясняется это тем, что произведения, относящиеся к "первому", русскому, периоду изданы у нас совокупным тиражом

порядка 5 миллионов экземпляров и наиболее полно представлены в широко известном "огоньковском" четырехтомнике (в котором, впрочем, по необъяснимым причинам не нашлось места роману "Камера обскура"). Набокову же "второго" периода выпало от силы шесть-семь книг, настолько разномастных и разнотиражных, что даже специалистам и ценителям пришлось немало потрудиться, чтобы собрать их все у себя на полке, где они выглядят в лучшем случае бедными родственниками.

Настоящее издание является первой в России попыткой изменить сложившееся положение, дав читателю полное собрание написанной по-английски художественной прозы Набокова (естественно, в переводах) с добавлением некоторых его интервью и статей, связанных с публикуемыми произведениями. В отношении романов в нашем собрании выдерживается хронологический порядок, по необходимости нарушаемый лишь применительно к рассказам и мемуарам.

И в завершение хотелось бы коснуться общеизвестного. В 1999 году исполняется 100 лет со дня рождения Набокова. По сложившейся в нашей стране практике можно было бы ожидать, что году в 2004-м читатель получит в той или иной мере полное собрание сочинений "юбиляра". Нам приятно отметить, что издательство "Симпозиум" нарушает традицию, представляя русской читательской аудитории недостающую половину набоковского наследия не после, а до этой даты.

С. Ильин, А. Кононов

Вивиан Дамор-Блок и вивисекция слова: Английская проза Владимира Набокова

"Но мы должны обратить внимание не на идеи. В конце концов, необходимо иметь в виду, что идеи в литературе не так важны, как образы и магия стиля".

В.Набоков. Лекции по русской литературе

Общеизвестно, насколько уникален случай Набокова. Писатель не просто активно работал на двух языках — английском и русском, — но сумел создать на каждом из них удивительные тексты, демонстрирующие предельную виртуозность владения словом, стал классиком русской и американской литератур. Романист, новеллист, поэт, он не ограничивался чисто литературными занятиями, был признанным асом энтомологии, обожал бабочек, за которыми охотился со страстью и азартом везде, куда его заносила судьба: в средней России, в Крыму, в странах Западной Европы и в Соединенных Штатах, собрал две представительные коллекции чешуекрылых, одна из которых хранится в Гарварде, а другая в Лозанне. Кроме того, он был знатоком шахмат и профессиональным составителем шахматных композиций. Среди его поздних книг мы обнаруживаем весьма необычный томик "Стихи и задачи" (Poems and Problems, 1971), включающий не только стихотворения на русском и английском языках, но и 18 шахматных задач.

В 1920—1930-е гг. Набоков, публиковавшийся под псевдонимом В. Сирин, был заметной фигурой русской литературной эмиграции. Он активно сотрудничал в русскоязычных газетах и журналах, был, в частности, постоянным автором «Современных записок». Персонажами основных его произведений также являлись, как правило, люди, причастные к эмигрантской среде. Правда, в отличие от подавляющего большинства литераторов русской эмиграции, Набоков относительно мало интересовался идеями, но тяготел к разработке изощренной литературной техники. На это его свойство обратил внимание в интересной и ныне уже хрестоматийной статье В. Ходасевич, который сравнивал Набокова-Сирина с фокусником, а главными действующими лицами его книг считал выставленные напоказ литературные приемы, снующие, подобно эльфам или гномам, между персонажами. Эта концентрация на форме провоцировала определенное неприятие Сирина собратьями по перу, которые, в традициях русской

классики XIX века, концентрировали свое внимание прежде всего на человеке. Набоков-Сирин, балансировавший на стыке между традицией и художественным экспериментаторством, испытывал от этого, по-видимому, известные неудобства. Сиринская маска становилась для него тесноватой. Впрочем, о раннем творчестве Набокова уже довольно много написано, и читатель имеет о нем определенное представление.

Для Владимира Набокова 1940 год стал переломным: вместе с семьей он переселился в США. Умер писатель Сирин и тут же, как птица Феникс, возродился в новом обличии виртуоза английской словесности, но уже под своим подлинным именем. Многие годы Набоков зарабатывал на жизнь преподаванием в американских университетах: с 1941 по 1948 г. — в Уэльслейском колледже, с 1948 по 1958 г. — в Корнельском университете. К тому же в 1951—1952 гг. он читал лекции в Гарварде, а с 1942 по 1948 г. состоял сотрудником Музея сравнительной зоологии этого же университета, где, как он выразился в письме своему многолетнему другу (а позднее — яростному антагонисту) критику Эдмунду Уилсону, все бабочки были в его распоряжении. По-видимому, он получал немалое удовольствие от преподавания; во всяком случае, три тома его лекций, выпущенные посмертно,— "Лекции по литературе" (1980), "Лекции по русской литературе" (1981) и "Лекции о Дон Кихоте" (1983) — говорят о том, что он вложил немало пыла в подготовку текстов, с которыми приходил в студенческую аудиторию. С другой стороны, достаточно обширные преподавательские обязанности порой, несомненно, воспринимались им как досадная помеха, препятствующая реализации творческих планов. Ведь стоило в конечном счете прийти славе и финансовой независимости, как Набоков немедленно расстался с неблагодарным профессорским трудом.

Модель жизни и творчества Набокова (как и многое другое, с ним связанное) была сконструирована им самим. Хрестоматийным стало место из его автобиографической книги, которое в третьей ее версии "Память, говори" (Speak, Memory, 1966) — выглядит так: "Цветная спираль в стеклянном шарике — такой вижу я свою жизнь. Двадцать лет, проведенных в родной России (1899—1919), — это дуга тезиса. Двадцать один год добровольного изгнания в Англии, Германии, Франции (1919—1940) — очевидный антитезис. Годы, которые я прожил на новой моей родине (1940—1960), образуют синтез — и новый тезис». Продолжая мысль, можно добавить, что, согласно его логике, последний отрезок с 1961 по 1977 г., проведенный в маленьком швейцарском городке Монтре на берегу Женевского озера, становится новым, четвертым витком спирали и очередным антитезисом. А затем

наступает последний, заключительный, "пятый виток спирали" (пользуясь выражением составителей известного набоковедческого сборника Э. Дж. Риверса и Ч. Николя), виток, который уже не имеет четких временных границ, когда последующие поколения могут пытаться в меру своих способностей спокойно, без спешки осуществить финальный синтез набоковского наследия.

На первый взгляд может показаться, что звезду русской эмиграции В. Сирина отделяет от американского писателя Владимира Набокова непреодолимый барьер языка. Однако при ближайшем рассмотрении ситуация с текстам писателя выглядит, в языковом отношении, весьма запутанной.

Как известно, главные произведения "второго витка спирали" — это восемь романов: "Машенька" (1926), "Король, дама, валет" (1928), "Защита Лужина" (1930), "Подвиг" (1932), "Камера обскура" (1932), "Отчаяние" (1934), "Приглашение на казнь" (1938), "Дар" (1937—1938). Девятый русскоязычный роман остался незавершенным, и два его фрагмента — "Ultima Thule" и "Solus Rex" — были опубликованы позднее. Кроме того, в 1920—1930-е гг. были изданы сборники малой прозы "Возвращение Чорба" (1930) и "Соглядатай" (1938). Вышедший много позднее в Нью-Йорке в "Издательстве им. Чехова" сборник "Весна в Фиальте" (1956) включал в свой состав произведения, рассеянные по эмигрантской периодике 1930-х гг. Кроме того, Набоков-Сирин успел опубликовать значительное количество стихотворений, эссе, рецензий и даже пьес. (Последние были воскрешены из небытия достаточно поздно: в английском переводе сыном писателя Д. Набоковым в 1984 г., а в русских версиях Ив. Толстым в 1990 г.)

Комплект англоязычных романов Набокова тоже включает восемь названий: "Подлинная жизнь Себастьяна Найта" (The Real Life of Sebastian Knight, 1941), "Под знаком незаконнорожденных" (Bend Sinister, 1947), "Лолита" (Lolita, 1955), "Пнин" (Pnin, 1957), "Бледное пламя" (Pale Fire, 1962), "Ада" (Ada, 1969), "Прозрачные вещи" (Transparent Things, 1972) и "Смотри на арлекинов!" (Look at the Harlequins!, 1974). Девятый англоязычный роман, имеющийся, по-видимому, в архиве писателя, остался незавершенным.

Но распределение русских и английских текстов по периодам осложнено рядом обстоятельств. Еще в 1930-х гг. писатель-эмигрант осознал, что настоящий прорыв и признание возможны для него только при условии смены языка. Вероятно, какое-то время он колебался, выбирая между английским и французским. По-французски им были написаны, например, первая версия новеллы "Мадемуазель О" и лекция о Пушкине. На английском увидел свет еще в 1938 г. "Смех в темноте" (Laughter in the Dark) —

новый авторский вариант "Камеры обскуры". Тогда же велась работа над "Подлинной жизнью Себастьяна Найта", и текст этого романа писатель привез с собой в США в готовом виде.

На третьем и четвертом "витках", наряду с созданием новых литературных текстов, шло постоянное взаимодействие между русской и английской составляющими набоковского творчества. Так, свою мемуарную книгу писатель сначала опубликовал по-английски ("Убедительное доказательство", 1951), затем со значительными изменениями по-русски ("Другие берега", 1954) и наконец в третьей, окончательной английской версии ("Память, говори", 1966). А в 1967 г. появилась русскоязычная "Лолита" с указанием "перевод автора". Но речь в данном случае идет не столько о переводе в привычном смысле слова, сколько о создании новой версии текста, где сотням случаев изысканной языковой игры соответствуют найденные писателем и отвечающие специфике русского языка аналогичные, ориентированные на человека с иным культурным багажом каламбуры и аллюзии. Набоков чувствует себя совершенно свободно, переизлагая собственное произведение на другом языке, и он походя меняет те или иные детали, возможно, не без умысла поставить в тупик последующих исследователей-текстологов.

Став благодаря "Лолите" модным и высокооплачиваемым автором, Набоков получил реальную возможность диктовать издателям условия и ввести в оборот ранее малоизвестные на его второй родине свои русскоязычные произведения. До тех пор имелась только уже упомянутая версия "Камеры обскуры" ("Смех в темноте") и фактически вышедший из обращения раритетный авторский перевод "Отчаяния" (1937). Писателю удалось создать полный комплект своих русских романов в английских версиях — эта акция потребовала 12 лет усилий. Они выходили в свет в такой последовательности: "Приглашение на казнь" (Invitation to a Beheading, 1959), "Дар" (The Gift, 1963), "Защита Лужина" (The Defense, 1964), "Соглядатай" (The Eye, 1965), "Отчаяние" (Despair — в заново сделанной версии, 1966), "Король, дама, валет" (King, Queen, Knave, 1968), "Машенька" (Mary, 1970) и "Подвиг" (Glory, 1971).

Только текст "Отчаяния" писался Набоковым совершенно самостоятельно. Не желая отвлекаться от текущих творческих планов, он в ряде случаев приглашал переводчиков-профессионалов, готовивших для него черновые варианты. Так, Майкл Скэммел стал его соавтором по англоязычному "Дару" и "Защите Лужина", а Майкл Гленни — по "Машеньке". Набоков как-то раскрыл специфику своих взаимоотношений с переводчиками. Он с ними не встречался, а обменивался письмами, в которых

излагал свои соображения и высказывал разного рода критические замечания. Получив готовые тексты, он осуществлял полную их шлифовку, а наиболее ответственные места (в особенности связанные с каламбурами и другими разновидностями языковых игр) выполнял сам. Главным же помощником Владимира Владимировича стал постепенно его сын Дмитрий. Английские версии русскоязычных книг В. Набокова — это версии авторизованные, и писатель несет полную ответственность за каждое употребленное в них слово.

Таким образом, англоязычной части наследия писателя повезло в меньшей степени, чем русскоязычной, ибо, за исключением "Лолиты", Набоков не создал ни одной авторской русской версии своих романов, относящихся к третьему и четвертому "виткам спирали". Правда, В. Е. Набокова, жена писателя, опубликовала в своем переводе "Pale Fire" (в этом издании роман носит название "Бледный огонь") и приняла участие в подготовленном Г. Барабтарло переводе "Пнина" (оба перевода изданы в США в 1983 г.), но эти тексты, разумеется, не могут рассматриваться как безусловно авторские. Вот почему актуальной для переводчиков оставалась проблема создания таких стилистически выверенных вариантов поздних набоковских текстов, которые бы в полной мере воспроизводили характерные языковые особенности набоковской прозы и были бы практически неотличимы от прочих его творений.

За последние годы кое-что было предпринято в этом направлении. В 1987 г. журнал "Новый мир" напечатал "Николая Гоголя" (в переводе Е.Голышевой), в 1991 г. вышел томик с "Истинной жизнью Себастьяна Найта" (в переводе А. Горянина и М. Мейлаха) и "Просвечивающими предметами" (в переводе А. Долинина и М. Мейлаха), в 1994 г. была опубликована реконструкция "Смеха в темноте" (выполненная А. Люксембургом). Наконец, в 1996 г. увидел свет том "Лекций по русской литературе" (переведенных в основном Е. Голышевой и А. Курт).

Но особенно значительным стал вклад Сергея Ильина, планомерно и последовательно осваивавшего — пласт за пластом — англоязычную прозу Набокова. В его переводах появились "Под знаком незаконнорожденных" (1990); "Бледное пламя" (1991); затем том в издательстве "Северо-Запад", в который вошли "Подлинная жизнь Себастьяна Найта", "Пнин", "Bend Sinister" в новой редакции (1993); "Ада" и журнальная публикация "Прозрачных вещей" (1996); и уже в нашем собрании сочинений читатель впервые найдет новые ильинские работы: реконструкцию книги "Память, говори", набоковские англоязычные рассказы и радикально переработанный вариант "Бледного пламени". Версии

С. Ильина отличает внимательность к замысловатому рисунку набоковской прозы, стремление найти оптимальное художественное решение, которое позволяет ей сохранить свою пряную прелесть. И даже набоковские деревья беседуют здесь "в пантомиме, исполненной смысла для того, кто усвоил жесты их языка".

Набокова нередко атаковали вопросами о том, считает ли он себя американским или русским писателем. Обычно он избегал однозначных ответов. В интервью Альфреду Аппелю он сформулировал свое отношение так: "Я всегда, еще с гимназических лет в России, придерживался того взгляда, что национальная принадлежность писателя — дело второстепенное. Чем характернее насекомое, тем меньше вероятности, что систематик поглядит сначала на этикетку, указывающую на происхождение приколотого образца, чтобы решить, к какой же из нескольких не вполне определенных разновидностей его следует отнести. Искусство писателя — вот его подлинный паспорт. Его личность тут же удостоверяется особой раскраской, неповторимым узором. Происхождение может подтверждать правильность того или иного видового определения, но само оно обусловливать его не должно... Вообще же я считаю себя американским писателем, который когда-то был русским".

Учтем, однако, что Россия и русскость никогда на самом деле не уходили у писателя в пассив, и во всех его англоязычных романах — от "Подлинной жизни Себастьяна Найта" до "Смотри на арлекинов!" — присутствует русская тема, а сложная мультиязычная игровая стихия обязательно включает русскоязычные элементы. Набоков, следует сказать, очень много сделал для популяризации русской культуры в англоязычном мире. Не забудем о том, что одна из первых его публикаций — это компактная, емкая и весьма нетрадиционная по своему содержанию книга "Николай Гоголь" (1944), произведения которого, по убеждению Набокова, "как и всякая великая литература, — это феномен языка, а не идей". Набоков, помимо преподавательской и писательской деятельности, активно и в больших дозах переводил русскую классику. Так, в 1945 г. он опубликовал сборник "Три русских поэта", содержавший переводы из Пушкина, Лермонтова и Тютчева и три краткие биографические статьи, в 1958 г. — выполненный в соавторстве с Д.Набоковым перевод "Героя нашего времени" Лермонтова с обстоятельной вступительной статьей, некоторые тезисы которой, впрочем, едва ли могут быть безоговорочно приняты профессиональными лермонтоведами, в 1960 г. — подробно комментированный перевод "Слова о полку Игореве".

Но самой нашумевшей публикацией подобного рода стал появившийся в 1964 г. четырехтомный "Евгений Онегин". Первый том содержит предисловие и прозаический перевод пушкинского романа на английский язык, второй и третий тома отданы комментариям, а в четвертый том помещены факсимиле последнего прижизненного издания романа и указатели ко всем томам, составленные Д. Набоковым. Эта публикация вызвала весьма бурную полемику среди специалистов, обусловленную преимущественно установкой Набокова-переводчика на буквалистически-точное воспроизведение пушкинского текста и необычайным педантизмом комментариев.

Двуязычие – и как факт собственной биографии, и как объект исследования – всегда занимало Набокова. В своем "Постскриптуме к русскому изданию" романа "Лолита" писатель высказался так: "Телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, все нежно-человеческое (как ни странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно-похабное выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски; но столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов — все это, а также все, относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям, становится по-русски топорным, многословным, и часто отвратительным в смысле стиля и языка. Эта неувязка отражает основную разницу в историческом плане между зеленым русским литературным языком и зрелым, как лопающаяся по швам смоква, языком английским, между гениальным, но еще недостаточно образованным, а иногда произвольно безвкусным юношей и маститым гением, соединяющим в себе запасы пестрого знания с полной свободой духа".

Переход на английский язык дался Набокову не без труда, сколь бы значительными ни представлялись его результаты, о чем он прямо и недвусмысленно высказался в предисловии к русскому варианту своей мемуарной книги: "Совершенно владея с младенчества и английским и французским, я перешел бы для нужд сочинительства с русского на иностранный язык без труда, будь я, скажем, Джозеф Конрад, который, до того как начал писать по-английски, никакого следа в родной (польской) литературе не оставил, а на избранном языке (английском) искусно пользовался готовыми формулами. Когда, в 1940 году, я решил перейти на английский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение пятнадцати с лишним лет, я писал по-русски и за эти годы наложил собственный отпечаток на свое орудие, на своего

посредника. Переходя на другой язык, я отказывался, таким образом, не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого — или Иванова, няни, русской публицистики, а от индивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, — и чудовищные трудности предстоящего перевоплощения, и ужас расставания с живым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться; скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель не испытывал его до меня".

Набоков мог порой в полемических целях поставить под сомнение уровень своей английской прозы. О столь похожем на него герое-писателе Себастьяне Найте критик в соответствующем романе отзывается так: "Бедный Найт! В сущности, у него было два периода: первый — скучный человек, писавший на ломаном английском, второй — ломаный человек, писавший на скучном английском". Рассказчик именует эту характеристику "скверной колкостью", поясняя, что "слишком легко судачить о писателе за спинками его книг". Впрочем, очевидно, что, кто бы ни стал "судачить" сегодня о самом Набокове, он едва ли дерзнул бы назвать его язык скучным. Виртуоз русской прозы Сирин эволюционировал в "магистра игры" Ван Бока, в совершенстве овладевшего волшебным искусством вивисекции слова.

Среди самых изощренных асов игрового искусства XX века Набоков занимает совершенно особенное положение и потому, что он создал игровые тексты непревзойденного уровня, повлиявшие на игровые эксперименты большинства школ и течений новейшего времени, в особенности постмодернистов, и потому, что в своей писательской практике он соединил как экспериментальный, так и традиционный опыт западно-европейской и русской культур. Не удивительно, что, будучи знатоком Шекспира, Сервантеса и Флобера, Набоков вместе с тем всегда подчеркивал и демонстрировал свою близость и даже любовь к Прусту (в особенности в понимании категории времени), что сразу же заметит искушенный читатель, например, в "Аде", и к Кафке, и фигурировал в работах литературоведов и критиков в одном контексте с Борхесом и Джойсом, хотя, верный своему принципу не признавать никаких влияний, неизменно отрицал свою от них зависимость. Убежденный почитатель Пушкина и Гоголя, он, однако, тяготел к А. Белому, а в своей самой, возможно, сильной довоенной русскоязычной книге — романе "Дар" — продекларировал любовь к пяти русским поэтам Серебряного века на букву "Б".

Набоков рассчитывал на отношение к тексту и его восприятие, подобные тем, что описал Ролан Барт в эссе "Удовольствие от текста": "Текст — это объект-фетиш, и *этот фетиш меня желает.*

Направляя на меня невидимые антенны, специально расставленные ловушки (словарный состав произведений, характер его референций, степень занимательности и т.п.), текст сам меня избирает, при этом, как бы затерявшись посреди текста (а отнюдь не спрятавшись у него за спиной наподобие deux ex machina), в нем всегда скрывается некто иной — автор". Лишь в одном, пожалуй, автор "Себастьяна Найта", "Пнина", "Прозрачных вещей" и "Смотри на арлекинов!" отходит от того стиля поведения творца текста, который обрисовал Барт: он демонстративно — и даже порой вызывающе — раскрывает свое присутствие и не только напрямую вмешивается в события, сознательно разрушая "иллюзию жизнеподобия", но даже оказывается на пути своих героев в том или ином анаграмматическом обличье: Вивиан Дамор-Блок, барон Клим Авидов, Омир ван Балдиков и т. п.

Писатель ориентируется на совершенно определенный тип читателя — сообщника и феноменального эрудита. Гумберт Гумберт в "Лолите" заявляет: "...мой читатель (ах, если бы я мог вообразить его в виде светлобородого эрудита, посасывающего розовыми губами la pomme de sa canne * и упивающегося моим манускриптом!.."

Взаимоотношение с подобным читателем удачно описал Умберто Эко в своих "Заметках на полях" к роману "Имя розы": "На какого идеального читателя ориентировался я в моей работе? На сообщника, разумеется. На того, кто готов играть в мою игру... Я всеми силами души хотел найти отклик в лице читателя, который, пройдя инициацию — первые главы, станет моей добычей. То есть добычей моего текста. И начнет думать, что ему не нужно ничего, кроме того, что предлагается этим текстом. Текст должен стать устройством для преображения собственного читателя. Ты думаешь, что тебе нужен секс и криминальная интрига, где в конце концов виновного поймают? И как можно больше действия?.. Отлично, так я тебе устрою много латыни, и мало баб, и кучу богословия, и литры крови, как в Гран-Гиньоле... И тут-то ты уже будешь мой и задрожишь, видя безграничное могущество Божие, выявляющее тщету миропорядка. А дальше будь умницей и постарайся понять, каким способом я заманил тебя в ловушку".

В аналогичные игры играет с читателем и Набоков. Конечно, игры эти начались не с переездом через Атлантику. Они обнаруживаются уже в "Машеньке", не говоря уж о таких изощренных текстах, как "Защита Лужина", "Отчаяние", "Приглашение на казнь" или "Дар". Но с переходом на английский число ловушек на создаваемом "магистром игры" игровом поле растет в геометрической прогрессии, и можно утверждать, что к такой структур-

---

* Набалдашник трости *(фр.)*

ной усложненности, как в "Бледном пламени", или к такой мультиязычной каламбуризации, как в "Аде", берлинский или парижский обитатель 1930-х годов Сирин еще не был психологически готов.

Весьма показательны переработки ранних русскоязычных романов зрелым англоязычным мастером, в которые уверенная рука вносит порой мелкие, но очень важные для поэтики игрового текста штрихи, ведущие к активизации скрытых в нем глубинных оттенков и смыслов. Читатель данного издания имеет возможность познакомиться с самой яркой (хотя и первой по времени) переработкой подобного рода — "Смехом в темноте".

В "Лекциях по русской литературе" мы находим такое утверждение: "Обращаясь к художественному произведению, нельзя забывать, что искусство — божественная игра. Эти два элемента — божественность и игра — равноценны. Оно божественно, ибо именно оно приближает человека к Богу, делая из него истинно полноправного творца". Самоанализ, осуществленный Набоковым в романе "Подлинная жизнь Себастьяна Найта", позволяет зримо представить себе ту игровую стихию, которая конструируется в набоковских книгах. В., брат писателя Себастьяна Найта, проводит своего рода расследование, пытаясь разобраться в его творчестве, а заодно и в природе творчества как такового. В финале не только прямо раскрывается условный характер набоковской квазиреальности, но и с обостренной настойчивостью подчеркивается одна из главных проблем в текстах писателя — соотношение автора и рассказчика "Стало быть — я Себастьян Найт [заявляет В.]. Я ощущаю себя исполнителем его роли на освещенной сцене, куда выходят, откуда сходят люди, которых он знал, — смутные фигуры немногих его друзей: ученого, поэта, художника, — плавно и бесшумно приносят они свои дани... Они обращаются вокруг Себастьяна, — вокруг меня, играющего Себастьяна, — и старый фокусник ждет в кулисе с припрятанным кроликом... А потом маскарад подходит к концу. Маленький лысый суфлер закрывает книгу, медленно вянет свет. Конец, конец. Все они возвращаются в их повседневную жизнь... но герой остается, ибо, как я ни силюсь, я не могу выйти из роли: маска Себастьяна пристала к лицу, сходства уже не смыть. Я — Себастьян, или Себастьян — это я, или, может быть, оба мы — кто-то другой, кого ни один из нас не знает".

Рассказчик В. постоянно стремится внушить нам на протяжении всего романа, насколько беспомощен его стиль по сравнению с великим, обладающим подлинным даром писателем Найтом, но в конечном счете мы понимаем, что нас дурачат. Ибо и В., и Найт — это, по существу, действительно "кто-то другой, кого

никто из нас не знает", или "антропоморфное божество", как именуется эта же инстанция в романе "Под знаком незаконнорожденных". Герой, повествователь и автор состоят здесь (да и в других книгах писателя) в весьма непростых взаимоотношениях, и, как правило, невозможно однозначно утверждать, кто именно и о ком пишет книгу. Писатель, скрывающийся под личиной того или иного персонажа, может адресовать самому себе те или иные реплики самого разнообразного свойства. Например, Ван Вин, являющийся не только одним из главных героев "Ады", но и ее предполагаемым автором, прерывает основной текст более поздней, по-видимому, помещенной в скобки вставкой-комментарием такого содержания: "Чудесно! — сказал Ван. — Но *даже* я не смог в молодые годы понять все это до конца. Давай же не будем томить тупицу, который листает книгу и думает: «Ну и жох этот В. В.!»" А Пнин в кажущемся на первый взгляд обманчиво простым одноименном романе на каком-то этапе отказывается принимать версию своей жизни, предложенную рассказчиком Н. Герой, поднимающий бунт против своего творца, или автор, становящийся вдруг персонажем собственного текста, открывают совершенно нетрадиционные игровые возможности.

Искусство Набокова — это искусство во многом пародийное, что в ряде случаев откровенно декларируется писателем. Так, он вводит в структуру "Подлинной жизни Себастьяна Найта" развернутые анализы фабулы и композиции произведений своего героя-писателя, становящиеся, по существу, способом иронического автокомментария. При этом раскрывается, каким образом пародия, понимаемая как творческая перекомпоновка и аранжировка чужого текста, занимает ключевое место в прозе как Найта, так и самого Набокова.

Набоков всегда подчеркивает искусственную природу своих текстов. Во всех них присутствуют какие-либо повторяющиеся формальные элементы, которые косвенным образом показывают читателю, до какой предельной степени автор контролирует свое творение и рассчитывает на определенный эстетический эффект от взаимодействия между, казалось бы, незначительными маркирующими его присутствие деталями. Набоков не уставал повторять, что считает себя противником аллегорий и стремится создавать нечто вроде узора.

Понятие "узор" — одно из ключевых понятий в набоковской игровой стилистике. В "Других берегах" писатель даже связывает тяготение к нему с событиями детства, когда ему преподавал рисование знаменитый художник Добужинский: "[Он] учил меня находить соотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный, драгоценный узор... [и]

внушил мне кое-какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве». В той же книге Набоков мотивирует свою нацеленность на создание лексического "волшебного ковра" своим особым пониманием времени и пространства, родственным прустовскому и бергсонианскому: "Признаюсь, я не верю в мимолетность времени — легкого, плавного, персидского времени! Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой. Споткнется или нет другой посетитель, это его дело".

Учтем к тому же, что в примечаниях к одной из своих лекций Набоков говорил о том, что сюжет для него — это прежде всего тематические соответствия, "образы или идеи, которые вновь и вновь возникают в романе подобно тому, как мелодия вновь и вновь возникает в фуге".

Подобная формальная игра хорошо заметна даже в таком жизнеподобном романе, как "Пнин", что убедительно раскрыто в выпущенном в США комментарии к роману, который составлен Г. Барабтарло. Две формальные темы — тема *оптических отражений* и тема *белки* — пронизывают весь текст романа. Мир отражений и зеркал — одна из характерных примет набоковской игровой техники — обнаруживается во всех семи главах "Пнина", причем в последней, седьмой, происходит нечто вроде синтеза и обозрения этого приема (подобно повествовательной технике Пруста). Белка — это такой же формальный знак, как фиалка в "Подлинной жизни Себастьяна Найта" или солнечные очки в "Лолите". Знак этот возникает в каждой главе "Пнина", в самых разнообразных ситуациях, по-разному замаскированный. Ощущается связь между появлением белки и очередным несчастьем, обрушивающимся на Пнина в данной главе, но сам персонаж таких закономерностей не обнаруживает — в отличие от внимательного читателя, который неизбежно разглядит в повторяемости систему и истолкует ее как элемент авторского замысла.

Себя Набоков всегда стремился представить писателем, ни в коей мере не заинтересованным ни в познании мира, ни тем более в так называемых "социальных проблемах", несовместимых, по его убеждению, с подлинным искусством. Известны его многочисленные резко отрицательные высказывания о тех художниках слова, которые отдавали дань злободневной политической тематике и использовали литературу как инструмент в "борьбе идей". Согласно Набокову, вообще бессмысленно дискутировать, принадлежит ли данное произведение к "серьезной литературе", так как само это клише "является эвфемизмом для обозначения пустой глубины и всем любезной банальности". Он добавляет:

"Я никогда не испытывал интереса к так называемой литературе социального звучания... Я не дидактик и не аллегорист. Политика и экономика... и так далее оставляют меня в высшей степени безразличным".

Подобных высказываний у Набокова можно найти великое множество, и сам он дает понять, что применительно к его позиции это своего рода "общее место". Скажем, в предисловии к английской версии "Отчаяния" он пишет: "Отчаяние" роднит с остальными моими книгами то, что оно не только не содержит социальных комментариев, но и не навязывает мораль. Оно также не возвышает душу и не предлагает человечеству достойный его выход из тупика. Оно содержит меньше "идей", чем те роскошные пошлые романы, которые встречают истерическим восторгом..." Одним словом, писателю хотелось бы, чтобы окружающие воспринимали его примерно таким, каким он сам изобразил писателя Фердинанда в новелле "Весна в Фиальте": "Насмешливый, высокомерный, всегда с цианистым каламбуром наготове, со странным выжидательным выражением египетских глаз, этот мнимый весельчак действовал неотразимо на мелких млекопитающих". Не будем обманываться слегка кокетливым самоприниженим творца: на "крупных млекопитающих", то есть на нас с вами, "цианистые каламбуры" Набокова должны, вероятно, действовать так же.

Набоков никогда не одобрял морализаторства, и именно в этом, возможно, причина его весьма неприязненного отношения к Достоевскому. "Достоевский, — пишет он, — как известно, великий правдоискатель, гениальный исследователь больной человеческой души, но при этом не великий художник", причем "не потому, что мир, им созданный, нереален, мир всякого художника нереален, но потому, что он создан слишком поспешно, без всякого чувства меры и гармонии, которым должен подчиняться даже самый иррациональный шедевр..."

В своих художественных текстах Набоков избегает формулировать творческое кредо, но он восполняет это сознательное умолчание в статьях, эссе, лекциях, интервью, хотя многие его утверждения не стоит воспринимать буквально. Весьма существенно в данном отношении эссе "Хорошие читатели и хорошие писатели", вошедшее в том "Лекций по литературе", где Набоков, в частности, рассуждает о том, что писатель может быть рассмотрен с трех точек зрения: как рассказчик, как учитель и как чародей: "Большой писатель — комбинация этих трех — рассказчика, учителя и чародея, — но чародей в нем преобладает и делает его большим писателем... Волшебство, рассказ, урок — склонны смешиваться в самых костях рассказа, в самом костном мозге

мысли". А в статье "О книге, озаглавленной "Лолита" Набоков фактически называет три элемента, которые, по его мнению, являются единственно значимыми для художественного текста, то есть три грани "волшебства": слог, структура и образность. Мы должны учитывать, что все они для писателя взаимосвязаны, и практически невозможно рассуждать об одном, игнорируя два других.

Набоков максимально затруднил жизнь своим последующим биографам и исследователям не только потому, что в его текстах содержатся с трудом разгадываемые тайны, но и потому, что он неоднократно ставил под сомнение чью-либо способность постигать тайны гения. В своем эссе "Пушкин или Правда и правдоподобие", написанном по-французски в связи с пушкинским юбилеем 1937 г., он высказывается на эту тему наиболее недвусмысленно: "...по-моему, то, что делают с гением в поисках человеческого элемента, похоже на ощупывание и рассматривание погребальной куклы, похожей на розовые трупы покойных царей, уже загримированных для похоронной церемонии. Разве можно совершенно реально представить себе жизнь другого, воскресить ее в своем воображении в неприкосновенном виде, безупречно отразить на бумаге? Сомневаюсь в этом; думается, уже сама мысль, направляя свой луч на историю жизни человека, неизбежно ее искажает. Все это будет лишь правдоподобие, а не правда, которую мы чувствуем".

Не случайно "подлинная жизнь" Себастьяна Найта — это, как выясняется, его книги, а все остальное так и остается лишь предметом сомнительных домыслов и спекуляций. Текст Гумберта Гумберта в "Лолите" столь же самоценен, ибо "спасение в искусстве", и, вне зависимости от того, как мы поймем этот роман, предлагающий, как и обычно в практике позднего Набокова, несколько альтернативных прочтений, прав безумный повествователь, утверждающий в финальной фразе, что "это — единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита". Хотя два последних набоковских романа представляют собой пародийные вариации на тему его биографии, они не столько способствуют расшифровке содержащихся в ней загадок, сколько создают новые. Быть может, нам вынужденно стоит прислушаться к совету писателя и, отказавшись от малопродуктивных биографических изысканий, сосредоточиться на филигранной прозе его книг. Быть может, нам надо научиться в полной мере наслаждаться ею, памятуя о том, что в данном случае и десятое прочтение не раскроет нам весь содержащийся в нем неиссякаемый запас сокровенных тайн.

Еще Карл Проффер в выпущенной в 1968 г. симпатичной и насыщенной тонкими наблюдениями небольшой книжечке "Ключи к "Лолите" шутливо назвал Набокова "садистическим автором", потому что тот, кто хочет оценить его текст, должен обложиться со всех сторон словарями, энциклопедиями и справочниками и — в идеале — быть полиглотом. И кроме того, читателю не следует забывать, что перед ним текст, где нет случайных слов и проходных фраз, где каждая деталь значима, разбухает от многочисленных (иной раз взаимоисключающих) скрытых смыслов, а явные и неявные аллюзии на те или иные явления культуры исчисляются сотнями.

Чтение набоковского текста — это исследование и гурманское смакование, а в идеале — даже сотворчество. Соприкасаясь с ним, нам, вероятно, стоит держать в уме совет, данный Набоковым "хорошим читателям": "Позвольте мне дать вам один практический совет. Литературу, настоящую литературу, не стоит глотать залпом, как снадобье, полезное для сердца или ума, этого "желудка" души. Литературу надо принимать мелкими дозами, раздробив, раскрошив, размолов, — тогда вы почувствуете ее сладостное благоухание в глубине ладоней; ее нужно разгрызать, с наслаждением перекатывая языком во рту, — тогда и только тогда вы оцените по достоинству ее редкостный аромат, и раздробленные, размельченные частицы вновь соединятся воедино в вашем сознании и обретут красоту целого, к которому вы подмешали чуточку собственной крови".

А. Люксембург

THE REAL LIFE OF
SEBASTIAN KNIGHT

VLADIMIR
NABOKOV

CONN.

The Real Life of
Sebastian Knight

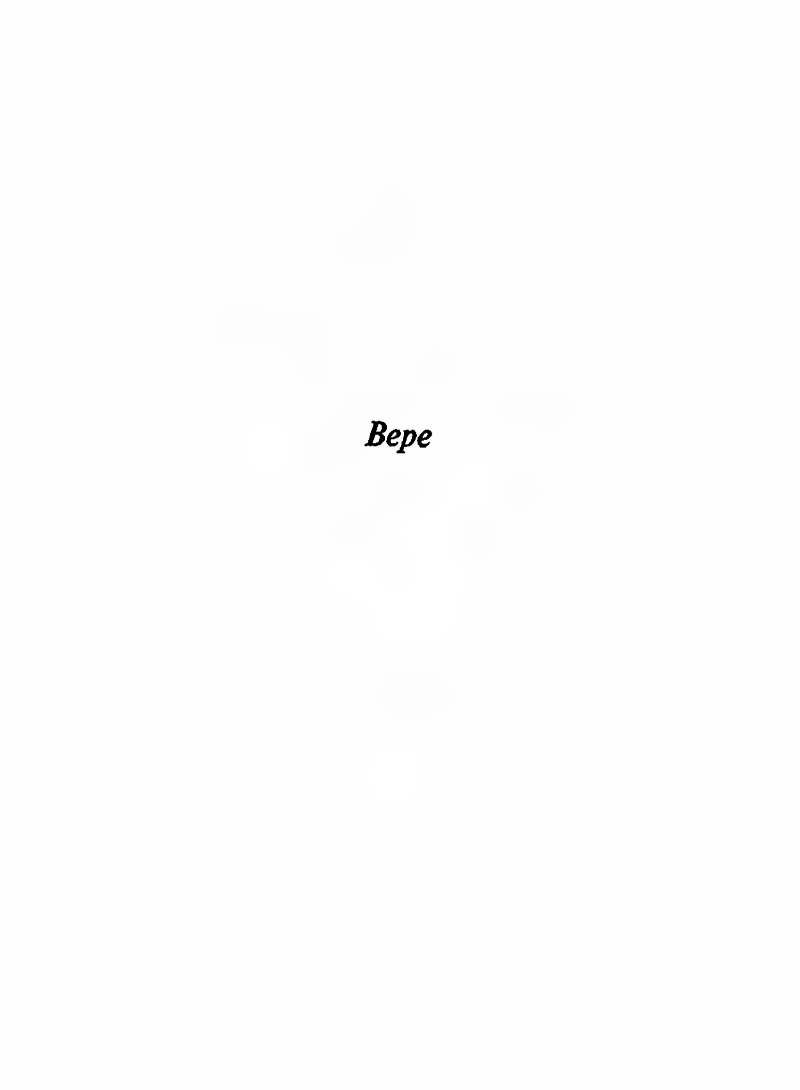
Vladimir Nabokov

Подлинная жизнь Себастьяна Найта

Перевод Сергея Ильина

РОМАН

1941



Вере

1

Себастьян Найт родился тридцать первого декабря 1899 года в прежней столице моего отечества. Старая русская дама, которая по какой-то невнятной причине просила меня не разглашать ее имени, однажды в Париже показала мне дневник, который вела в прошлом. Те годы были (по-видимому) так небогаты событиями, что перечисление повседневных подробностей (а это всегда — худой способ самосохранения) едва превосходило размером краткое описание погоды; тут любопытно отметить, что личные дневники царствующих особ, — какие бы беды ни осаждали их царства, — посвящены в основном тому же предмету. Удача приходит к тому, кто ей не мешает, — и вот мне предлагалось здесь нечто такое, чего я не смог бы добыть никогда, поставь я себе подобную цель. А потому могу сообщить, что утро Себастьянова рождения было погожим и безветренным, при двенадцати градусах ниже нуля (по Реомюру)... это, впрочем, и все, что сочла достойным записи почтенная дама. По здравом размышлении я не нахожу какой-то особой надобности сохранять ее инкогнито. Чтобы она когда-либо прочла эту книгу, представляется мне решительно невероятным. Звали ее и зовут Ольга Олеговна Орлова — матрешечная аллитерация, которую жаль было бы оставить втуне.

Сухой отчет ее вряд ли способен сделать зримой для не повидавшего света читателя всю подразумеваемую прелесть описанного ею зимнего петербургского дня — чистую роскошь безоблачного неба, созданного не для согревания тела, но единственно для услаждения глаза; сверкание санных следов на убитом снегу просторных улиц с рыжеватым тоном промежду, рождаемым жирной смесью конского

навоза; яркоцветную связку воздушных шаров, которыми торгует на улице облаченный в фартук лотошник; мягкое скругление купола, с позолотой, тускнеющей под опушкой морозной пыли; березы городского сада, у которых каждый тончайший сучок обведен белизной; звон и скрежет зимней езды... а кстати, какое странное чувство испытываешь, глядя на старую почтовую карточку (вроде той, что я поставил себе на стол, чтобы ненадолго занять память-дитя) и вспоминая, как наобум, где и когда придется, заворачивали русские экипажи, так что вместо нынешнего прямого и стесненного уличного потока видишь — на этой подкрашенной фотографии — улицу шириною в сон, всю в скособоченных дрожках под небывало синими небесами, которые там, вдали, непроизвольно заливаются румянцем мнемонической пошлости.

Я не смог раздобыть изображения дома, где был рожден Себастьян, но я хорошо его знаю, потому что и сам в нем родился шестью, примерно, годами позднее. У нас был один отец: он снова женился вскорости после развода с матерью Себастьяна. Как ни странно, это второе супружество вовсе не упомянуто в написанной м-ром Гудменом "Трагедии Себастьяна Найта" (которая вышла в 1936 году и которой у меня еще будет случай заняться с большей полнотой), так что читателям книги Гудмена я должен представляться несуществующим — поддельный родич, словоохотливый самозванец; впрочем, сам Себастьян в наиболее автобиографичной из его книг (в "Утерянных вещах") для моей матушки нашел несколько добрых слов, — и полагаю, она их вполне заслужила. Не отличаются точностью и сообщения в британской прессе, появившиеся после кончины Себастьяна, касательно гибели его отца на дуэли в 1913 году; на самом деле отец уверенно оправлялся от пулевого ранения в грудь, когда — ровно месяц спустя — подхватил простуду, с которой его наполовину залеченное легкое справиться не сумело.

Превосходный солдат, сердечный, веселый, мужественный человек, он обладал великолепной чертой безрассудного беспокойства, которую Себастьян унаследовал как писатель. Говорят, что прошлой зимой на литературном

завтраке в Южном Кенсингтоне знаменитый старый критик, блеском и ученостью которого я всегда восхищался, обронил в разговоре, порхавшем вокруг безвременной кончины Себастьяна: "Бедный Найт! В сущности, у него было два периода: первый — скучный человек, писавший на ломаном английском, второй — ломаный человек, писавший на скучном английском". Скверная колкость, и скверная не в одном отношении, потому что слишком легко судачить о мертвом писателе за спинками его книг. Хотелось бы верить, что шутник не чувствует гордости, вспоминая об этой своей шутке, тем более, что несколько лет назад в рецензии, посвященной одной из книг Себастьяна Найта, он проявил куда как большую сдержанность.

Тем не менее нужно признать, что в каком-то смысле жизни Себастьяна, хоть далеко и не скучной, недоставало потрясающей мощи его литературного стиля. Каждый раз, открывая какую-нибудь из его книг, я, кажется, вижу отца, стремительно входящего в комнату, — его особую манеру наотмашь распахивать дверь и радостно набрасываться на нужную вещь или любимое существо. Первым моим впечатлениям от него всегда не хватает дыхания: я вдруг взмываю над полом с половинкой игрушечного поезда, еще свисающей из кулачка, и хрустальные подвески люстры качаются в опасной близости от моей головы. Он ахал меня об пол так же внезапно, как отрывал от него, так же внезапно, как Себастьянова проза сбивает читателя с ног, и тот с ужасом рушится в глумливые глубины нового необузданного абзаца. Также и кое-какие излюбленные сарказмы отца, кажется, вспыхивают фантастическими соцветьями в таких типично найтовских рассказах, как "Альбиносы в черном" или "Потешная гора", — в этом, может быть, лучшем его рассказе, очаровательно странной истории, всегда заставлявшей меня вспоминать дитя, смеющееся во сне.

Это произошло за границей, в Италии, насколько я знаю, именно там повстречал отец — в ту пору молодой гвардейский офицер в отпуску, — Вирджинию Найт. Их первое знакомство было как-то связано с лисьей охотой в окрестностях Рима в начале девяностых годов, однако,

упоминала ль об этом мама, или сам я подсознательно припоминаю какие-то смутные снимки в семейном альбоме, доподлинно сказать не могу. Он долго домогался ее руки. Она была дочерью Эдуарда Найта, джентльмена со средствами, — это все, что я о нем знаю; из того, однако ж, что бабушка моя, женщина суровая и нравная (помню ее веер, ее митенки, холодные, белые пальцы), решительно противилась их браку и все повторяла предание о своих возражениях даже и после того, как отец женился вторично, я склонен вывести, что семейство Найт (что бы оно собою ни представляло) не вполне дотягивало до норм (что бы собою ни представляли они), за соблюдение коих ратовали старорежимные русские краснокаблучники. Я не уверен также, не нарушил ли в чем-то первый брак отца традиций его полка, — как бы то ни было, военная его карьера по-настоящему началась лишь вместе с Японской войной, а это уж было после того, как жена его оставила.

Я был еще ребенок, когда потерял отца, и уже много, много лет спустя, в 1922 году, за несколько месяцев до последней из перенесенных мамой и фатальной для нее операции, рассказала она мне о том, что, как ей казалось, мне следовало знать. Первый брак отца не был счастливым. Странная женщина, беспокойное, безрассудное существо, и беспокойство ее было иное, чем у отца. У него — постоянный поиск, переменявший цель лишь после ее достижения. У нее — вялое преследование, прихотливое и бессвязное, то далеко уклоняющееся от цели, то забывающее о ней на середине пути, — вот как в такси забываешь зонт. На свой лад она любила отца, на свой переменчивый, чтобы не сказать большего, лад, но едва ей в один прекрасный день показалось, что она, быть может, полюбила другого (которого имени отец никогда от нее не услышал), она покинула мужа и ребенка так же вдруг, как соскальзывает к краю листа сирени капля дождя. Вот этот взмывающий рывок покинутого листа, отяжеленного прежде сверкающим бременем, должно быть, причинил отцу жгучую боль; и я не хочу даже в мыслях задерживаться на том дне в парижском отеле с почти четырехлетним Себастьяном, за которым кое-как надзирает растерянная нянька, и отцом, который

заперся в своей комнате, "в той особенного пошиба гостиничной комнате, что так безупречно подходит для постановки наихудших трагедий: мертвенный блеск часов (нафабренные усы — без десяти минут два) под стеклянным колпаком на зловещей каминной полке, французское окно с мухой, загулявшей между стеклом и муслином, и листок гостиничной писчей бумаги из затрепанного блок-нота с переложенными промокашкой листами". Эта цитата из "Альбиносов в черном" текстуально никак не связана с таким именно несчастьем, но в ней отозвались давние воспоминания мальчика, маюшегося на холодном гостиничном ковре, — заняться нечем, а время странно растягивается, разъезжается вкривь и вкось.

Война на Дальнем Востоке доставила отцу счастливое занятие, которое помогло ему — если и не забыть Вирджинию, — то хотя бы вновь сделать жизнь достойной продления. Его энергический эгоизм был не чем иным, как формой мужественной живучести, и, как таковой, вполне сочетался со щедрой в сути своей натурой. Вечные муки, не говоря уж о самоубийстве, должны были представляться ему жалким уделом, позорной капитуляцией. Когда он снова женился в 1905 году, он, верно, испытал удовлетворение человека, вышедшего победителем из схватки с судьбой.

Вирджиния еще раз появилась в 1908 году. Заядлая путешественница, она была вечно в движении и чувствовала себя как дома в любом крохотном пансионе или в дорогой гостинице, — домом был для нее лишь покой постоянных перемен; Себастьян от нее унаследовал странную, почти романтическую страсть к спальным вагонам и великим европейским экспрессам: "тихое потрескиванье полированных панелей в синеватой ночи, долгий печальный вздох тормозов на смутно угадываемых станциях, кверху скользит тисненая кожа сторки, и возникает перрон, мужчина катит багаж, молочный шар фонаря, бледная бабочка вьется вокруг, звякает невидимый молоток, проверяя колеса; мы соскальзываем в темноту и промельком видим женщину, одну, в освещенном купе, что-то серебристо блеснуло у нее под руками в чемодане на синем плюше".

Она приехала зимним днем, на Норд-Экспрессе, безо всякого извещения, и прислала коротенькую записку, прося о свидании с сыном. Отец был в деревне на медвежьей охоте, так что матушка, таясь, отправилась с Себастьяном в "Европейскую", где всего на полдня остановилась Вирджиния. Здесь, в вестибюле, и увидела она первую жену своего мужа, худощавую, немного угловатую даму с маленьким подрагивающим лицом под огромной черной шляпой. Подняв вуаль над губами, чтобы поцеловать мальчика, и едва коснувшись его, она заплакала, как если бы в теплом и нежном виске Себастьяна был и источник, и утоление ее печали. Сразу за этим она надела перчатки и принялась на дурном французском рассказывать маме бессмысленную и совсем неуместную историю про польскую женщину, которая пыталась стянуть у нее сумочку в вагоне-ресторане. Потом она сунула в ладонь Себастьяна пакетик засахаренных фиалок, нервно улыбнулась маме и ушла следом за носильщиком, выносившим ее чемодан. Вот и все, а через год она умерла.

От ее двоюродного брата, Х. Ф. Стейнтона, я знаю, что в последние месяцы жизни она скиталась по югу Франции, задерживаясь на день, на два в жарких провинциальных городках, редко навещаемых туристами, возбужденная, одинокая (любовника она бросила) и, видимо, очень несчастная. Можно было подумать, что она убегает от кого-то или чего-то, так она сдваивала и пересекала собственные следы; с другой стороны, всякому, кто знал ее причуды, эти лихорадочные метания должны были казаться лишь финальным нарастанием ее всегдашнего беспокойства. Она умерла от сердечного приступа (болезнь Лемана) в городке Рокебрюн, летом 1909 года. Были кое-какие трудности с доставкой тела в Англию; родители ее незадолго перед тем скончались; один только м-р Стейнтон и присутствовал на ее похоронах в Лондоне.

Мои родители жили счастливо. То был спокойный нежный союз, не замутненный вздорной болтовней кое-кого из нашей родни, что, мол, отец, хоть он и любящий муж, нет-нет да и увлечется другой женщиной. Как-то раз, в канун Рождества 1912 года, одна его знакомая, весьма

очаровательная и неосмотрительная девица, прогуливаясь с ним по Невскому, упомянула вскользь, что жених ее сестры, некто Пальчин, знавал его первую жену. Отец сказал, что помнит его, — они встречались в Биаррице лет, примерно, десять тому или девять...

— Ах, нет, он знался с нею и позже, — сказала девица, — он, видите ли, повинился перед сестрой, что жил с Вирджинией после того, как вы разошлись... Потом она его бросила где-то в Швейцарии... Занятно, никто и не знал.

— Что ж, — спокойно сказал отец, — если это не выплыло раньше, не стоит начинать болтать об этом спустя десяток лет.

По весьма несчастливому совпадению прямо на следующий день добрый друг нашей семьи, капитан Белов, походя спросил отца, вéрно ли, что первая его жена родом была из Австралии, — ему, капитану, казалось всегда, что она англичанка. Отец отвечал, что, насколько он знает, родители ее жили какое-то время в Мельбурне, но она родилась в Кенте.

— ...А почему вы об этом спрашиваете? — прибавил он.

Капитан ответил, замявшись, что его жена была где-то в гостях и там кто-то что-то рассказывал.

— Боюсь, придется прекратить это "что-то", — сказал отец.

Следующим утром он посетил Пальчина, который принял его, выказав гораздо больше радушия, чем то было надобно, и сказал, что провел много лет за границей и рад всякой встрече со старым другом.

— Здесь расползается некая грязная ложь, — сказал отец, не присев, — полагаю, вам известно, — какая.

— Послушайте, голубчик, — сказал Пальчин, — я не вижу проку прикидываться, будто не понимаю, куда вы клоните. Жаль, конечно, что пошли разные толки, но, в сущности, ни у меня, ни у вас нет причины выходить из себя... Никто же не виноват, что когда-то мы оба оказались в одинаковом положении.

— В таком случае, сударь, — сказал отец, — вас навестят мои секунданты.

Пальчин был хам и дурак, так, во всяком случае, я понял из рассказанной матушкой истории (оживленной в ее пересказе прямой речью, которую я постарался здесь сохранить). Но именно потому, что Пальчин был хам и дурак, мне трудно постичь, зачем было человеку с достоинствами моего отца рисковать жизнью ради удовлетворения — чего? Чести Вирджинии? Собственной жажды мести? Но ведь так же, как честь Вирджинии была невозвратимо загублена самим ее бегством, так и мыслям о мщении следовало давным-давно утратить злую их неотвязность в счастливые годы второго супружества отца. Или дело тут шло о названном имени, об увиденном лице, о внезапности нелепого зрелища — об оттиске личности на том, что было укрощенным, безликим призраком? Но как бы там ни было, стоило ли оно, это эхо далекого прошлого (а эхо редко не походит на лай, как бы ни был чист выкликающий голос), стоило ли оно разрушения нашего дома и горя моей матери?

Дуэль состоялась в вьюге, на берегу промерзшего ручья. Они обменялись двумя выстрелами, прежде чем отец рухнул ничком на сизовато-серую армейскую шинель, распластанную на снегу. Пальчин, у которого тряслись руки, раскурил папиросу. Капитан Белов кликнул извозчика, смиренно ждавшего поодаль, на заметенной снегом дороге. Все это скверное дело заняло три минуты.

В "Утерянных вещах" Себастьян передает собственные впечатления от этого скорбного январского дня. "Ни мачеха, — пишет он, — и никто из домашних ничего о неминуемой схватке не знал. Накануне за обедом отец кидал в меня через стол хлебными катышками: я целый день дулся из-за кошмарного шерстяного белья, которое приходилось носить по настоянию доктора, и он старался развеселить меня, я же хмурился, краснел и отворачивался. После обеда мы сидели в его кабинете, он глоточками потягивал кофе и слушал жалобы мачехи на пагубную привычку Mademoiselle давать сладости моему младшему брату, уложивши его в постель; а я, сидя в дальнем углу на диване, перелистывал "Chums": "Продолжение этой замечательной истории ищите в следующем выпуске". Шутки понизу больших тонких страниц. "Почетному гостю показывают

школу: Что вас сильнее всего поразило? — Горошина из трубки". Экспрессы, рычащие в ночи. Игрок сборной по крикету, отбивающий нож, который метнул в его приятеля злобный малаец... "Сногсшибательная" повесть с продолжением о трех мальчиках, один, гуттаперчевый, умело вращал носом, второй показывал фокусы, третий чревовещал... Всадник, перескочивший гоночное авто...

Назавтра в школе я совершенно запутался в геометрической задачке, которая на нашем жаргоне звалась "пифагоровыми штанами". Утро было такое темное, что в классе зажгли свет, а у меня от него всегда начинало противно гудеть в голове. Около половины четвертого я возвратился домой с липучим чувством нечистоты, какое всегда приносил из школы, оно обогащалось теперь щекотным бельем. В прихожей навзрыд плакал отцовский денщик".

2

В своей опрометчивой и очень путаной книге м-р Гудмен набрасывает в нескольких скверно подобранных предложениях до смешного неверную картину отрочества Себастьяна Найта. Одно дело — быть секретарем писателя, и совсем другое — описывать его жизнь; если же такая работа внушается желанием успеть выложить книгу на прилавок, пока еще можно подзаработать, поливая цветы на свежей могиле, то совсем уж другое дело пытаться соединить коммерческую спешку с исчерпывающим исследованием, честностью и благоразумием. Я ничьей репутации марать не намерен. Ничего нет зазорного в утверждении, что, лишь увлекшись бойким клекотом пишущей машинки, мог м-р Гудмен заявить, что "русское образование было навязано мальчику, всегда сознававшему обилие английского элемента в своей крови". Это иностранное влияние, продолжает м-р Гудмен, "причиняло ребенку жгучие муки, так что в более зрелые годы он с содроганием вспоминал бородатых мужиков, иконы, гудение балалаек — все, что он получил взамен здорового английского воспитания".

Вряд ли стоит указывать, что понятия м-ра Гудмена о русской жизни не ближе к истине, чем, скажем, представления калмыка об Англии как о мрачной стране, в которой школьные учителя с рыжими бакенбардами нещадно секут детишек. На самом деле — и это следует подчеркнуть, — Себастьян рос в обстановке интеллектуальной изысканности, в которой духовное изящество русского домашнего уклада сочеталось с лучшими из сокровищ европейской культуры, и, какими бы ни были воспоминания Себастьяна о России, сложная и особенная их природа никогда не опускалась до вульгарного уровня, мысль о котором внушает нам его биограф.

Я вспоминаю Себастьяна — мальчика, шестью годами старшего меня, творящего великолепную акварельную неразбериху в уютном свете царственной керосиновой лампы, чей розоватый шелковый абажур кажется написанным его же мокрой кистью — теперь, когда он рдеет в моей памяти. Я вижу и себя ребенком лет четырех-пяти, привставшим на цыпочки, тянущимся и ерзающим в попытках как следует рассмотреть ящичек с красками, заслоняемый подвижным локтем единокровного брата: клейкие красные с синими, до того уже вылизанные и истертые, что в их выемках поблескивает эмаль. Легкое дребезжание слышится всякий раз, что Себастьян смешивает цвета в жестяной крышке, и вода в стоящем обок стакане клубится волшебными красками. Его темные коротко остриженные волосы обнаруживают родинку, видимую над ало просвечивающим ухом, — я уже вскарабкался на стул, — но он по-прежнему не обращает на меня никакого внимания, пока, сделав рискованный выпад, я не пытаюсь коснуться самой синей лепешки в ящичке, и тогда, дернув плечом, он отталкивает меня, так и не обернувшись, так и оставшись холодным и молчаливым, — каким он был со мною всегда. Я помню, как, заглянув через перила, я увидал его всходящим после школы по лестнице, в черной форме с кожаным ремнем, о котором я втайне мечтал; он поднимался медленно, ссутулясь, волоча за собой пегий ранец, поглаживая перила, время от времени перетягивая себя через две-три ступеньки зараз. Губы мои пучатся, я выдавливаю белый плевочек,

который падает вниз, вниз, всегда минуя Себастьяна; я делаю это не оттого, что хочу ему досадить, но в томительной и тщетной надежде заставить его заметить, что я существую. Есть и еще живое воспоминание: на велосипеде с очень низким рулем он едет по испещренной солнцем тропе через парк нашей загородной усадьбы, медленно заворачивает, не тронув педалей, а я семеню за ним, прибавляя ходу, когда его ступня в сандалии отжимает педаль, я изо всех сил стараюсь не отстать от пощелкивающего и пришепетывающего заднего колеса, но он не замечает меня, и вскоре я отстаю безнадежно, вконец запыхавшись, но все продолжая семенить.

Потом, позже, когда ему было шестнадцать, а мне десять, он иногда помогал мне с уроками, давая пояснения так торопливо и нетерпеливо, что никогда ничего путного из его помощи не получалось, и спустя несколько минут он совал карандаш в карман и гордо удалялся. В ту пору он был высок, бледен, с темной тенью над верхней губой. Волосы теперь разделялись глянцевитым пробором, он писал стихи в черной тетради, которую держал под замком в ящике стола.

Я обнаружил однажды, куда он прячет ключ (в щель в стене его комнаты, рядом с белой голландкой), и открыл этот ящик. Там была тетрадь и еще фотография сестры одного из его школьных приятелей, несколько золотых монет и муслиновый мешочек с засахаренными фиалками. Стихи были английские. Незадолго до смерти отца нам давали дома уроки английского, и хоть я так и не смог научиться бегло говорить на этом языке, читал и писал я с относительной легкостью. Смутно помню, что стихи были очень романтичные: все мрачные розы и звезды, и зовы морей; но одна подробность встает в моей памяти очень ясно: под каждым стихотворением был вместо подписи чернилами нарисован черный шахматный конь.

Я попытался создать связную картину того, каким мне виделся брат в те мои детские лета между, скажем, 1910-м (первым моим сознательным годом) и 1919-м (годом, когда он уехал в Англию). Однако задача оказывается мне не по силам. Облик Себастьяна не возникает как часть моего

отрочества (подвергаясь вследствие этого бесконечному отбору и развитию), не возникает он и в виде ряда привычных видений, нет, он является мне лишь в нескольких ярких пятнах, словно бы Себастьян был не постоянным членом нашей семьи, но каким-то случайным гостем, проходящим освещенными комнатами и после надолго теряющимся в ночи. Я объясняю это не столько тем, что собственные мои детские интересы препятствовали сколько-нибудь сознательным отношениям с ним, недостаточно юным, чтобы стать мне товарищем, и недостаточно взрослым, чтобы меня направлять, но всегдашней отчужденностью Себастьяна, которая, при том что я нежно его любил, никогда не снисходила до признания моей привязанности и не давала ей пищи. Я мог бы, пожалуй, изобразить, как он ходил, или смеялся, или же как чихал, но все это будут не более чем разрозненные куски порезанной ножницами фильмы, ничего не имеющие общего с запечатленной в ней драмой. А драма была. Себастьян так и не смог забыть своей матери, не смог он забыть и того, что отец его умер ради нее. То, что имя ее никогда в нашем доме не упоминалось, добавляло болезненной прелести памятным чарам, переполнявшим его восприимчивую душу. Я не знаю, мог ли он сколько-нибудь ясно припомнить то время, когда она была женою отца; вероятно, отчасти мог — как мягкий свет на заднике своей жизни. Не могу я сказать и того, что испытал он, когда девятилетним мальчиком снова увидел мать. Мама говорит, что он был вял и косноязычен и после никогда не упоминал об этой короткой и трогательно незавершенной встрече. В "Утерянных вещах" Себастьян намекает на смутно горькие чувства по отношению к счастливо женившемуся отцу, чувства, сменившиеся восторженным преклонением, когда он узнал причину его роковой дуэли.

"Мое открытие Англии, — пишет Себастьян ("Утерянные вещи"), — вновь оживило во мне самые сокровенные воспоминания... После Кембриджа я поехал на континент и провел две тихих недели в Монте-Карло. По-моему, там есть какое-то казино, и в нем играют, коли так, я его

проглядел, потому что большую часть времени у меня отняло сочинение моего первого романа — весьма претенциозной вещицы, которую, рад сообщить об этом, отвергло едва ли не столько же издателей, сколько читателей имелось у моей следующей книги. Как-то я предпринял дальнюю прогулку и отыскал городок, называемый Рокебрюн. Это здесь, в Рокебрюне, тринадцать лет назад умерла моя мать. Хорошо помню день, когда отец говорил со мной о ее кончине, и название пансиона, в котором это случилось. Он назывался “Les Violettes”. Я спросил шофера, знает ли он этот дом; он не знал. Тогда я спросил у торговца фруктами, и он показал мне дорогу. Наконец я пришел к розоватой вилле, крытой обычной в Провансе круглой красной черепицей, и увидел букетик фиалок, неумело намалеванный на калитке. Так, значит, вот этот дом. Я пересек сад, заговорил с хозяйкой. Она сказала, что только недавно приняла пансион у прежних владельцев и ничего о прошлом не знает. Я попросил разрешения посидеть немного в саду. Старик, голый настолько, насколько я мог его видеть, таращился на меня с балкона, но больше никого вокруг не было. Я присел на синюю скамью под большим эвкалиптом с наполовину облезлым стволом, какие, похоже, всегда бывают у этих деревьев. Я старался увидеть розовый дом, и дерево, и весь облик этого места такими, какими их видела моя мать. Я жалел, что не знаю в точности окна ее комнаты. Судя по названию виллы, перед глазами у ней, верно, была вот эта куртина лиловатых фиалок. Понемногу я довел себя до такого состояния, что на миг розовое и зеленое замерцало и поплыло, как бы видимое сквозь пелену тумана. Моя мать, смутная, тонкая фигура в огромной шляпе, медленно всходила по ступенькам, которые, казалось, таяли в воде. Жуткий, глухой удар привел меня в чувство. Из бумажной сумки у меня на коленях выкатился апельсин. Я подобрал его и покинул сад. Через несколько месяцев, в Лондоне, я познакомился с ее двоюродным братом. В разговоре я упомянул, что навестил место ее смерти. “А, — сказал он, — так это был другой Рокебрюн, тот, что в Варе”.

Любопытно отметить, что м-р Гудмен, цитируя это же самое место, удовлетворенно отмечает, что "Себастьян Найт был до того обольщен бурлескной стороной вещей и столь неспособен интересоваться их серьезной основой, что ухитрялся, не будучи от природы ни циничным, ни бессердечным, вышучивать интимные чувства, справедливо почитаемые священными всем остальным человечеством". Не диво, что этот важный биограф оказывается не в ладу со своим героем при каждом повороте повествования.

По причинам, уже упомянутым, я не стану пытаться описывать отрочество Себастьяна в какой-то последовательной связи, которой я достиг бы естественным образом, будь Себастьян выдуманным персонажем. Когда бы так, я мог бы надеяться, что сумею и развлечь, и наставить читателя, рисуя гладкое перетекание героя из детства в юность. Но если бы я попробовал проделать это с Себастьяном, я получил бы одну из тех "biographies romancées", что являют собою наихудший из выведенных доныне сортов литературы. Пусть поэтому закроется дверь, оставив лишь тонкую линию напряженного света понизу, пусть и лампа погаснет в соседней комнате, где улегся спать Себастьян; пусть прекрасный оливковый дом на набережной Невы неторопливо растает в сизо-серой морозной ночи, с нежно падающими снежными хлопьями, медлящими в лунно-белом сиянии высокого уличного фонаря и понемногу укрывающими могучие члены двух бородатых консольных фигур, с атласовой натугой подпирающих эркер отцовской спальни. Отец мой мертв, Себастьян заснул или, по крайней мере, затих, словно мышь, в комнате рядом, а я лежу в постели без сна, уставясь в темноту.

Через двадцать примерно лет я предпринял поездку в Лозанну, чтобы найти старую швейцарскую даму, бывшую гувернанткой вначале у Себастьяна, а потом у меня. Ей было, пожалуй, под пятьдесят, когда в 1914 году она оставила нас, переписка меж нами давно уже прервалась, а потому я вовсе не был уверен, что отыщу ее, еще живую, в 1936-м. Однако же отыскал. Существовал, как я обнаружил, союз швейцарских старушек, бывших гувернантками

в России, до революции. Они "жили своим прошлым", как выразился очень приятный господин, который свел меня к ним, тратили последние годы, — а в большинстве своем эти женщины одряхлели и отчасти рехнулись, — сравнивая записки, воюя друг с дружкой по пустякам и порицая состояние дел, которое застали в Швейцарии после многих лет, проведенных в России. Их трагедия коренилась в том, что все годы, проведенные на чужбине, они оставались совершенно невосприимчивыми к ее влияниям (до того даже, что не научились простейшим русским словам), а отчасти и враждебными своему окружению — сколько раз я слышал, как Mademoiselle оплакивает свое изгнание, жалуется на пренебрежение, непонимание и тоскует по своей прекрасной отчизне; однако, когда эти бедные блудные души возвратились домой, оказалось, что они совершенно чужие в переменившейся стране, и тут по странной вычуре чувств Россия (в сущности, бывшая для них неизведанной бездной, отдаленно порыкивающей вне освещенного лампой угла душноватой комнаты с семейными фотографиями в перламутровых рамках и акварельным видом Шильонского замка), эта неведомая Россия приобрела вдруг черты потерянного рая — бескрайнего и неясного, но приязненного в ретроспективе пространства, населенного плодами мечтательного воображения. Mademoiselle оказалась очень глухой и очень седой, но такой же говорливой, как и прежде; после первых пылких объятий она принялась вспоминать мелкие обстоятельства моего детства, либо безнадежно искаженные, либо столько чуждые моей памяти, что я усомнился в их прошедшей реальности. Она ничего не знала о смерти моей матери, не знала, что Себастьян уже три месяца как мертв. Собственно, она не ведала и о том, что он стал знаменитым писателем. Она была очень слезлива, и слезы ее были очень искренни, но, кажется, ее немножко сердило, что я не плачу с ней вместе. "Вы всегда были такой сдержанный", — сказала она. Я сообщил, что пишу книгу о Себастьяне, и попросил рассказать о его детстве. Она появилась у нас вскоре после второй женитьбы отца, но прошлое в ее сознании так расплылось и

смешалось, что она говорила о первой его жене ("cette horrible Anglaise") так, словно знала ее не хуже, чем мою мать ("cette femme admirable"). "Мой бедный маленький Себастьян, — причитала она, — такой нежный со мной, такой благородный. Ах, я помню, как он обвивал мою шею ручонками и говорил: "Я ненавижу всех, кроме тебя, Зелли, ты одна понимаешь мою душу". А в тот раз, когда я шлепнула его по руке — une toute petite tape — за то, что он нагрубил вашей матушке, какие у него были глаза, — я чуть не заплакала, — и каким голосом он сказал: "Я благодарен тебе, Зелли, это никогда больше не повторится..."

Она долго еще продолжала в этом же духе, отчего я испытывал унылое неудобство. В конце концов я ухитрился, после нескольких бесплодных попыток, переменить разговор, — я к тому времени совершенно охрип, потому что она куда-то засунула свою слуховую трубку. Потом она рассказывала о своей соседке, маленькой толстушке, еще старше нее, с которой я столкнулся в коридоре. "Бедняжка совсем глуха, — жаловалась она,— и страшная врунья. Я наверное знаю, что она только давала уроки детям княгини Демидовой, а вовсе у них не жила". "Напишите эту книгу, эту прекрасную книгу,— прокричала она, когда я уходил, — пусть она будет волшебной сказкой, а Себастьян — принцем. Очарованным принцем... Я столько раз говорила ему: "Себастьян, будьте осторожны, женщины будут обожать вас". А он с улыбкой отвечал: "Ну что же, я тоже буду обожать женщин..."

Я внутренне скрючился. Она чмокнула меня, и похлопала по руке, и опять прослезилась. Я посмотрел в ее мутные старые глаза, на мертвый глянец ее фальшивых зубов, на хорошо мне памятную гранатовую брошь на груди... Мы расстались. Шел сильный дождь, я испытывал стыд и досаду на то, что прервал этим ненужным паломничеством вторую главу моей книги. Одно впечатление в особенности угнетало меня. Она ни единого разу не спросила меня о том, как жил Себастьян, не задала ни одного вопроса о том, как он умер, ничего.

3

В ноябре 1918 года матушка решила бежать от российских опасностей со мною и Себастьяном. Революция была в полном разгаре, границы закрылись. Ей удалось найти человека, промышлявшего скрытной доставкой беглецов через границу; договорились, что за определенную мзду, половина которой выплачивалась вперед, он переправит нас в Финляндию. Нам предстояло сойти с поезда невдалеке от границы, в месте, до которого можно было добраться, не преступая закона, и затем пересечь ее скрытыми тропами, скрытыми вдвойне и втройне из-за снегопадов, обильных в этих безмолвных местах. И вот, в самом начале нашего железнодорожного вояжа, нам с мамой пришлось ждать Себастьяна, который с самоотверженной помощью капитана Белова катил наш багаж от дома к вокзалу. По расписанию поезд отходил в 8.40 утра. Уже половина — и никаких признаков Себастьяна. Наш проводник был уже в поезде, спокойно сидел, читая газету; он предупредил маму, что заговаривать с ним на людях не следует ни при каких обстоятельствах, и, по мере того как таяло время и поезд приготовлялся к отправке, нас охватывало жуткое, цепенящее чувство страха. Мы понимали, что человек этот, по обыкновению своего цеха, нипочем не согласится повторить предприятие, провалившееся уже в начале. Мы также знали, что не сумеем еще раз осилить траты, связанные с побегом. Минуты шли, и я чувствовал, как что-то отчаянно екает у меня под ложечкой. Мысль, что через минуту-другую поезд тронется и нам придется вернуться на темный, холодный чердак (дом наш несколько месяцев как национализировали), терзала нас чрезвычайно. Дорогою на вокзал мы обогнали Белова и Себастьяна, толкавших по хрусткому снегу тяжко нагруженную тележку. Эта картина теперь недвижно стояла перед моими глазами (я был тринадцатилетним мальчиком с богатым воображением), как бы приговоренная волшебством к вечному оцепенению. Матушка, втянув руки в рукава, с клоком седых волос, выбившимся из-под шерстяного платка, сновала взад и вперед, пытаясь поймать взгляд нашего проводника всякий

раз, что проходила мимо его окна. Восемь сорок пять, восемь пятьдесят... Отправка поезда задерживалась, но вот свистнуло, тень горячего белого пара пронеслась по бурому снегу перрона, и в это же самое время показался бегущий Себастьян, наушники его меховой шапки летели по ветру. Втроем мы вскарабкались в уходящий поезд. Прошло какое-то время, прежде чем Себастьян сумел рассказать нам, что капитана Белова взяли на улице, как раз когда они проходили мимо его прежнего дома, а Себастьян, предоставив багаж его собственной участи, отчаянным рывком сумел достигнуть вокзала. Несколько месяцев спустя мы узнали, что бедного нашего друга расстреляли вместе с двумя десятками подобных ему и бок о бок с ним оказался Пальчин, встретивший смерть так же отважно, как и Белов.

В последней своей изданной книге, “Неясный асфодель” (1936), Себастьян выводит проходное лицо — человека, только что бежавшего из неназванной страны, полной ужасов и бедствий. “Что я могу сказать вам о своем прошлом, господа [говорит он]. Я родился в стране, где идея свободы, понятие права, обычай человеческой доброты холодно презирались и грубо отвергались законом. Порою в ходе истории ханжеское правительство красило стены национальной тюрьмы в желтенькую краску поприличнее и зычно провозглашало гарантии прав, свойственных более удачливым государствам; однако либо от этих прав вкушали одни лишь тюремные надзиратели, либо в них таился скрытый изъян, делавший их еще горше установлений прямой тирании. <...> Каждый в этой стране был рабом, если не был погромщиком; а поскольку наличие у человека души и всего до нее относящегося отрицалось, причинение физической боли считалось достаточным средством для управления людьми и для их вразумления. <...> Время от времени случалось нечто, называемое революцией, и превращало рабов в погромщиков и обратно. <...> Страшная страна, господа, жуткое место, и если есть в этой жизни что-то, в чем я совершенно уверен, — это что я никогда не променяю свободы моего изгнания на порочную пародию родины <...>”.

Из упомянутых мельком в речах этого персонажа “обширных лесов и покрытых снегом равнин” м-р Гудмен охотно выводит, что весь пассаж отвечает личному отношению Себастьяна Найта к России. Этот вывод нелеп, ибо для всякого непредубежденного читателя вполне очевидно, что процитированные слова относятся скорее к причудливой смеси тиранических бесчинств, нежели к какой-то частной нации или исторической действительности. И если я включил их в ту часть своего рассказа, где говорится о бегстве Себастьяна из революционной России, то лишь потому, что хотел привести следом за ними несколько высказываний, взятых из самой автобиографичной его книги. “Я всегда считал, — пишет он (“Утерянные вещи”), — что одно из самых чистых чувств — это тоска изгоя по земле, в которой он родился. Мне хотелось бы показать его до изнеможения напрягающим память в непрестанных усилиях сохранить живыми и яркими видения своего прошлого: незабвенные сизые взгорья и блаженные большаки, живую изгородь с ее неофициальной розой, поля с их зайцами, далекий шпиль и близкий колокольчик... Но поскольку этой темой уже занимались те, кто меня превосходит, и также оттого, что я обладаю врожденным недоверием ко всему, что мне представляется легким для выражения, никакому сентиментальному путешественнику не дозволено будет высадиться на скалах моей неприветливой прозы”.

Чем бы ни завершался этот пассаж, очевидно, что лишь человека, знающего, каково это — покинуть любимую землю, могут так увлекать ностальгические картины. Мне невозможно поверить, что Себастьян, какой бы отвратительной стороной ни обернулась к нему Россия в пору нашего бегства, не испытывал тоски, которую испытали мы все. В конечном счете там был его дом и круг мягких, благожелательных, воспитанных людей, обреченных на смерть или изгнание за одно-единственное преступление — за то, что они существуют, — это был круг, к которому принадлежал и он тоже. Его сумрачные юношеские помыслы, его романтическая — и, позвольте добавить,

отчасти искусственная — страсть к земле его матери не могли, я уверен в этом, изгнать подлинную любовь к стране, которая породила и вскормила его.

Тихо прибившись к Финляндии, мы некоторое время жили в Гельсингфорсе. Затем наши пути разошлись. По совету одного старого друга матушка повезла меня в Париж, где я продолжил учебу. А Себастьян отправился в Лондон и Кембридж. От своей матери он унаследовал порядочное состояние, и какие бы тревоги в дальнейшем ни одолевали его, денежных среди них не было. Перед тем, как ему уехать, мы присели втроем, чтобы помолчать минуту по русскому обычаю. Помню, как сидела матушка, сложив на подоле руки и покручивая отцовское обручальное кольцо (что она делала обыкновенно, когда ничем не была занята); она носила его на том же пальце, что и свое, хоть оно было так ей велико, что приходилось их связывать черной ниткой. Помню и позу Себастьяна: одетый в темно-синий костюм, он сидел, перекрестив ноги, чуть покачивая верхней. Первым поднялся я, потом он, потом матушка. Он взял с нас слово не провожать его на корабль, поэтому мы прощались здесь, в этой беленой комнатке. Матушка быстро перекрестила его склоненное лицо, и минуту спустя мы увидали в оконце, как он влезает с чемоданом в такси, в последней, сгорбленной позе отбытия.

Известия мы получали от него не часто, да и письма его не были очень пространными. За три кембриджских года он навестил нас в Париже дважды, а вернее сказать, единожды, потому что во второй раз приехал на матушкины похороны. Мы с нею часто о нем говорили, особенно в последние ее годы, когда она вполне сознавала, что конец ее близок. Она-то и рассказала мне о странном приключении Себастьяна в 1917 году, я ничего не знал о нем, потому что как раз то лето провел в Крыму. Себастьян, оказывается, подружился с поэтом-футуристом Алексисом Паном и с его женою, Ларисой, — причудливая пара снимала дачу поблизости от нашего поместья под Лугой. Пан был шумный, крепенький человечек с проблесками истинного таланта, скрытыми в путаном сумраке его виршей. И поскольку он изо всех сил старался ошарашить читателя

чудовищным нагромождением лишних слов (он был изобретателем "заумной ворчбы", так он это называл), основная его продукция кажется ныне такой никчемной, такой фальшивой и старомодной (сверхмодерные штучки имеют странное обыкновение устаревать гораздо быстрее прочих), что настоящее его значение ведомо теперь лишь горстке словесников, восторгающихся великолепными переводами английских стихов, сделанными им в самом начале его литературной карьеры, — по меньшей мере один из них являет собой истинное чудо переливания слова: это перевод из Китса — "La Belle Dame Sans Merci".

Итак, в одно из утр начала лета семнадцатилетний Себастьян исчез, оставив моей матери коротенькую записку, извещавшую, что он отправился с Паном и его женою в путешествие на Восток. Поначалу матушка сочла это шуткой (Себастьян при всей его угрюмости порой измышлял какую-нибудь неприятную забаву, как в тот раз, когда он в переполненном трамвае уговорил кондуктора передать девушке на другом конце вагона кое-как нацарапанную записку, в которой значилось: "Я всего только бедный кондуктор, но я Вас люблю"), однако, зайдя к Панам, она убедилась, что те и впрямь отбыли. Уже спустя какое-то время выяснилось, как представлял себе Пан это маркополово странствие: в виде неспешного смещения на восток, от одного провинциального города к другому, с произведением в каждом "лирической нежданности", то есть с наймом зала (а если зала не будет, то и сарая) и устройством в нем поэтического представления, выручка от которого должна была позволить ему, жене и Себастьяну достичь следующего города. В чем состояли функции или обязанности Себастьяна, чем он им помогал, так и осталось неизвестным, — предполагалось, пожалуй, что он просто будет маячить поблизости, на подхвате, и угождать Ларисе, которая обладала горячим нравом и которую непросто бывало утихомирить. Алексис Пан обыкновенно появлялся на сцене в визитке, вполне приличной, кабы не вышитые по ней огромные лотосовые цветы. На лысом его челе было нарисовано созвездие ("Большой Пес"). Он декламировал свои творения громким и гулким голосом, который, изли-

ваясь из такого маленького человечка, приводил на ум мышь, рожающую гору. Подле него на помосте сидела Лариса, крупная, лошадиного образа женщина в фиолетовом платье, и пришивала пуговицы или латала старые штаны — смысл был тот, что она, мол, никогда ничего такого для мужа в повседневной жизни не делает. Время от времени Пан исполнял между стихотворениями медленный танец — помесь яванской игры запястий с собственными ритмическими инвенциями. После чтения он славно надирался — это его и сгубило. Паломничество в Страну Востока завершилось в Симбирске, где в стельку пьяный Пан застрял без копейки в грязном трактире, а Лариса со своею гневливостью очутилась в участке, влепив оплеуху какому-то не в меру настырному чину, нелестно отозвавшемуся о шумном гении ее мужа. Себастьян вернулся домой — так же беспечно, как и ушел. "Любой другой, — добавила матушка, — имел бы довольно сконфуженный вид и немало стыдился этой дурацкой истории", но Себастьян говорил о путешествии как о занятном случае, коего он был бесстрастный свидетель. Зачем он принял участие в этом нелепом балагане и что, собственно, подружило его с той странной парочкой, так и осталось полной загадкой (матушка думала, что, может статься, Лариса его обольстила, но та была совершенно бесцветной женщиной, немолодой и бурно влюбленной в своего несуразного мужа). Вскоре они исчезли из жизни Себастьяна. Несколькими годами позже Пан вкусил в большевистской среде недолгой искусственной славы, вызванной, я думаю, дурацким представлением (основанным по преимуществу на смешении понятий) о существовании естественной связи между крайней политикой и крайним искусством. Затем, в 1922 или в 1923 году, Алексис Пан при помощи подтяжек покончил с собой.

"Мне всегда казалось, — говорила моя мать, — что, в сущности, я Себастьяна не знаю. Я знала, что у него хорошие отметки, что он прочел поразительное множество книг, что он опрятен, — настоял же он на том, чтобы принимать каждое утро холодную ванну, хоть у него и не очень здоровые легкие, — я знала все это и даже больше, но сам он от меня ускользал. А теперь он живет в другой

стране и пишет к нам по-английски, и я поневоле думаю, что он так и останется загадкой, хотя, видит Бог, я старалась быть к мальчику доброй".

Когда Себастьян, по завершении первого своего университетского года, посетил нас в Париже, меня поразил его иностранный вид. На нем был канареечно-желтый джемпер под твидовым пиджаком. Фланелевые брюки обвисали, сползали, не ведая о подвязках, носки. Галстук был в крикливых полосках, и по какой-то чудной причине носовой платок он носил в рукаве. Он курил на улице трубку, выбивая ее о каблук. У него образовалась новая привычка — стоять спиной к огню, глубоко засунув руки в карманы штанов. По-русски он говорил с опаской, прибегая к английскому, едва разговор касался чего-то требовавшего больше двух фраз. У нас он пробыл ровно неделю.

Когда он приехал снова, матушки уже не было в живых. После похорон мы долго сидели вдвоем. Он неловко похлопал меня по плечу, когда случайный взгляд на ее очки, сиротливо лежавшие на полке, вызвал у меня приступ плача, от которого я до той поры все же смог воздержаться. Он был очень добр и участлив, но как-то издали, словно думал все время о чем-то другом. Мы поговорили о делах, он предложил поехать с ним на Ривьеру, а оттуда в Англию; я как раз закончил учебу. Я сказал, что предпочел бы остаться в Париже, у меня здесь много друзей. Он не настаивал. Коснулись мы и вопроса о деньгах, и он заметил в своей странно бесцеремонной манере, что в состоянии всегда предоставить мне сколько потребуется наличных, — по-моему, он употребил слово "монет", но в этом я не уверен. На другой день он уезжал на юг Франции. Утром мы немного прошлись, и, как обыкновенно случалось, когда мы оказывались наедине, я испытывал непонятную скованность, время от времени болезненно ловя себя на поисках темы для разговора. Он также молчал. Перед тем как расстаться, он сказал: "Ну, что же, такие вот дела. Если тебе что-то понадобится, напиши мне на лондонский адрес. Надеюсь, твоя Сорбонна (он произнес это слово на английский манер — "sore-bones") окажется не хуже моего

Кембриджа. И уж к слову, постарайся найти предмет себе по душе и держись за него — пока не прискучит". Что-то слегка блеснуло в его темных глазах. "Удачи, — сказал он, — гляди веселей", — и сжал мою руку неловко и вяло, по привычке, приобретенной в Англии. Вдруг, невесть почему, я ощутил страшную жалость к нему и стремление сказать что-то подлинное, с душою и крыльями, но птицы, потребные мне, опустились на мои плечи и голову лишь потом, когда я остался один и нужды в словах уже не испытывал.

4

Два месяца минуло со дня смерти Себастьяна, когда была начата эта книга. Я отлично понимаю, как противны были бы ему мои сантименты, но должен все же сказать, что моя пожизненная привязанность к нему, которая так или иначе всегда подавлялась и пресекалась, обрела теперь новое бытие, вспыхнув с таким эмоциональным накалом, что все иные мои дела обратились в поблекшие силуэты. В редкие наши встречи мы никогда не говорили о литературе, и ныне, когда возможность какой-либо связи меж нами уничтожена странной привычкой людей — умирать, я отчаянно сожалею, что ни разу не сказал Себастьяну о том, какое наслаждение доставляли мне его книги. По правде, я теперь беспомощно гадаю, сознавал ли он, что я вообще их читал?

Но что же, собственно, знал я о Себастьяне? Я мог бы посвятить пару глав тому немногому, что запомнил из детства его и из юности, — а что дальше? По мере того, как я обдумывал книгу, становилось очевидным, что придется предпринять обширные разыскания, собирая его жизнь по кусочкам и скрепляя осколки внутренним пониманием его характера. Внутренним пониманием? Да, им я обладал, ощущая его каждой жилкой. И чем больше раздумывал я об этом, тем яснее понимал, что в руках у меня есть и иное орудие: представляя его поступки, о которых мне довелось услышать лишь после его кончины, я наверное знал, что в

том или в этом случае поступил бы в точности как он. Я видел однажды двух братьев, теннисных чемпионов, игравших друг против друга; у них были совсем разные стили, и один во много, много раз превосходил другого; но общий ритм их движений, когда они проносились по корту, был абсолютно тот же, и, если б возможно было вычертить обе методы, получилось бы два тождественных чертежа.

Я осмеливаюсь утверждать, что у нас с Себастьяном также был своего рода общий ритм; им можно объяснить удивительное чувство "так уже было однажды", которое охватывает меня, когда я слежу за изгибами его жизни. И если зачастую причины его поведения остаются сплошною загадкой, я нередко теперь обнаруживаю, что смысл их раскрывается в подсознательном повороте того или иного из написанных мной предложений. Это вовсе не означает, что я разделяю с ним некое духовное достояние, некие грани его таланта. Далеко не так. Его дар всегда казался мне чудом, ничуть не зависящим от каких бы то ни было частных впечатлений, которые оба мы могли получить в схожей обстановке нашего детства. Я мог видеть и помнить то, что видел и помнил он, и все же различие между его и моей способностями к выражению сравнимо с разницей между "Бехштейном" и детской погремушкой. Я никогда не допустил бы, чтобы ему на глаза попалось даже самое краткое предложение из этой книги, зная, что он покривился бы, завидев, как я управляюсь с моим жалким английским. И как бы еще покривился. Я также не смею и вообразить, что сказал бы Себастьян, если б узнал, что его брат (литературный опыт которого сводился до сей поры к нескольким английским переводам, выполненным на потребу автомобильной фирмы) решился поступить на курсы "писательства", жизнерадостно разрекламированные английским журналом. Да, я признаюсь в этом, — но не в том, что об этом жалею. Джентльмен, который за скромное вознаграждение должен был, предположительно, превратить меня в преуспевающего писателя, и впрямь не пожалел никаких усилий, чтобы обучить меня сдержанности и грациозности, силе и живости, и если я оказался скверным

учеником, — хоть он и был слишком снисходителен, чтобы это признать, — то лишь потому, что меня в самом начале заворожила безупречная красота рассказа, присланного им в виде примера того, что способны создать и продать его ученики. Там среди прочего имелись: нехороший, злобно ворчащий китаец, храбрая кареглазая девушка и большой, спокойный малый, у которого, если его как следует разозлить, белели костяшки пальцев. Я воздержался бы от упоминания здесь об этой жутковатой истории, если б она не показывала, до какой степени я не был готов к выполнению своей задачи и до каких несуразных крайностей довела меня робость. Когда я взялся наконец за перо, я изготовился встать лицом к лицу с неизбежностью, каковое выражение означает, собственно, что я решил постараться сделать все для меня посильное.

Есть во всем этом и еще одна скрытая мораль. Если бы такой же курс заочного обучения прошел Себастьян, — просто шутки ради, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет (он ценил такие забавы), — он оказался бы невообразимо более скверным учеником, нежели я. Получив указание писать так, как пишет господин Заурядов, он стал бы писать, как никто никогда не пишет. Я не в состоянии даже скопировать его манеру, поскольку его прозаическая манера была манерой его мышления, а она являла собой череду ослепительных пропусков, пропуски же подделать невозможно, ведь пришлось бы так или иначе чем-то их заполнять, а значит — замазывать. Но когда в Себастьяновых книгах я встречаю какой-то оттенок настроения и впечатления, сразу заставляющий меня вспомнить, скажем, определенную игру света в определенном месте, которую мы оба подметили, не ведая один о другом, я ощущаю, что хоть у меня и на мизинец недостанет его таланта, все же есть между нами какое-то психологическое сродство, и оно-то меня и вывезет.

Итак, орудие у меня имелось, оставалось воспользоваться им. Первый мой долг после смерти Себастьяна состоял в том, чтобы разобрать его личные вещи. Он оставил мне все, было у меня и письмо от него с распоряжением сжечь

некоторые бумаги. Выражено оно было так туманно, что поначалу я полагал, будто речь идет о черновиках или брошенных рукописях, но вскоре обнаружилось, что за вычетом нескольких разрозненных страниц, затесавшихся среди прочих бумаг, он сам давным-давно их уничтожил, ибо принадлежал к редкой породе писателей, понимающих, что не следует сохранять ничего, кроме совершенного достижения: напечатанной книги; что истинное ее существование несовместимо с существованием ее фантома — неприбранного манускрипта, щеголяющего своими несовершенствами, словно мстительное привидение, что тащит под мышкой собственную голову; и что по этой причине сор мастерской, какой бы он ни обладал сентиментальной или коммерческой ценностью, не должен заживаться на этом свете.

Когда я впервые в жизни посетил квартирку Себастьяна в Лондоне, на Оук-Парк-Гарденз, 36, меня охватило ощущение пустоты, как будто я откладывал свидание, пока не стало слишком поздно. Три комнаты, холодный камин, тишина. В последние годы он жил здесь не часто, не здесь он и умер. Полдюжины костюмов, большей частью старых, висело в гардеробе, и на миг у меня возникло диковатое впечатление, будто тело Себастьяна размножилось в оцепенелой последовательности осанистых фигур. Вот в этом коричневом пиджаке я видел его однажды; я тронул рукав, но тот был вял и не откликнулся на робкий зов памяти. Тут были и туфли, прошедшие множество миль и ныне достигшие конца своего пути. Навзничь лежали сложенные сорочки. Что могли рассказать мне о Себастьяне эти притихшие вещи? Его кровать. Над ней на желтоватой стене картина маслом, слегка растрескавшаяся (грязная дорога, радуга, прелестные лужи). Первые краски его пробуждения.

Пока я осматривался, мне показалось, что вещи в спальне только-только, в самый последний миг, попрыгали по местам, словно застигнутые врасплох, и теперь отвечают мне несмелыми взглядами, пытаясь понять, приметил ли я, как они виновато вздрогнули. Особенно отличалось этим низкое, в белом чехле кресло подле постели: я гадал, что бы

оно такое украло. Порывшись в тайниках его складок, я нащупал что-то твердое: то был бразильский орех, — и кресло сложило ручки, вновь напустив на себя непроницаемый вид (выражавший, вероятно, презрительное достоинство).

Ванная комната. Стеклянная полка, голая, не считая пустой жестянки от талька, с фиалками, изображенными между ее покатых плеч; одиноко стоит, отражаясь в зеркале, как на цветной рекламе.

Следом я осмотрел две главные комнаты. Столовая оказалась на удивленье безликой, как и все места, где люди едят, — потому, быть может, что пища — главная наша связь с клубящимся вокруг грубым хаосом материи. Имелся, правда, в стеклянной пепельнице папиросный окурок, но его оставил тут некий м-р Мак-Мат, жилищный агент.

Кабинет. Отсюда виден был парк или сад за домом, выцветающее небо, два ильма, — не дубы, обещанные именем улицы. В одном углу кабинета распростерся кожаный диван. Густонаселенные книжные полки. Письменный стол. Почти ничего на нем: красный карандаш, коробочка со скрепками, — стол смотрит угрюмо и холодно, но лампа на западном его краю прекрасна. Я нащупал ее пульс, и опаловый глобус растворился в сиянии: эта волшебная луна видела, как движется белая рука Себастьяна. Вот теперь мне и точно предстояло заняться делом. Я вытащил завещанные ключи и отомкнул ящики.

Прежде всего я вынул две связки писем, на которых Себастьян надписал: уничтожить. Одна была сложена так, что почерка я не увидел: чуть голубоватая, как скорлупка яйца, бумага с темно-синим обводом. В другой связке бумага разномастная, исписанная внятной женской рукой. Я догадался чьей. Одно отчаянное мгновение я одолевал искушение поближе изучить обе пачки. С прискорбием сообщаю, что лучший человек во мне победил. Но пока я жег их на каминной решетке, одна голубая страничка высвободилась, отшатнувшись от мучительного пламени, и, прежде чем вкрадчивая чернота смяла ее, в полном блеске явились несколько слов, затем они обмерли, — и все было кончено.

Я опустился в кресло и просидел несколько минут, размышляя. Увиденные мною слова были русскими, частью русского предложения, — в сущности, незначительными по себе (не этих слов мог бы я ждать от пламени удачи, зажженного хитрым умыслом романиста). Слова были вот какие: "...твою манеру вечно выискивать...", — меня поразил не смысл их, но то, что они на моем родном языке. Я не имел и отдаленнейшего представления, кем могла она быть, эта русская женщина, письма которой Себастьян хранил так близко от писем Клэр Бишоп, — и почему-то это меня смутило и встревожило. Из своего кресла у камина, снова черного и холодного, я видел веселый свет лампы на столе, яркую белизну бумаги, переливающейся через край открытого ящика, и листок, одиноко лежащий на синем ковре, наполовину в тени, диагонально разрезанный границей света. Мгновение я, казалось, видел и прозрачного Себастьяна, сидящего за столом; или, быть может, — подумал я, припомнив кусок о ложном Рокебрюне, — он предпочитал писать, лежа в постели?

Чуть погодя я продолжил мои занятия, просматривая и на глаз сортируя содержимое ящиков. Здесь было много писем. Их я откладывал, чтобы пересмотреть позднее. Вырезки из газет в безвкусном альбоме с невозможной бабочкой на обложке. Нет, ни одна из них не содержала рецензии на его книги: Себастьян был слишком тщеславен, чтобы их собирать, да и чувство юмора не позволило бы ему терпеливо наклеивать их, едва они попадутся под руку. И все-таки альбом с вырезками, как я сказал, имелся, все они относились (я уяснил это впоследствии, пролистав его на досуге) к несообразным и нелепым, словно во сне, происшествиям, случавшимся в обыкновеннейших обстоятельствах и местах. Смешанные метафоры тоже, насколько я понял, встречали его одобрение, ибо он, вероятно, относил их к той же слегка отдающей ночным кошмаром категории. Среди кое-каких юридических документов я обнаружил листок, на котором он начал рассказ, — всего одно предложение, оборванное, но позволившее мне увидеть странное обыкновение, присущее Себастьяну в процессе писания, — не вычеркивать слова, которые он заменял другими,

так что, например, фраза, на которую я наткнулся, выглядела так: "Поскольку он был не дурак, Не дурак поспать, Роджер Роджерсон, старый Роджерсон купил старый Роджерс купил, потому как боялся Будучи не дурак поспать, старый Роджерс до того боялся прозевать завтрашний день. Поспать он был не дурак. Он смертельно боялся прозевать завтрашнее событие триумф ранний поезд триумф и вот что он сделал он купил и отнес домой в купил в тот вечер и принес домой не один а восемь будильников разных размеров и силы стука девять восемь одиннадцать будильников разных размеров стук которых будильников девять будильников вот как у кошки девять которые он расставил от которых спальня его стала похожа на"

Жаль, что он остановился на этом.

Иностранные монеты в коробочке от шоколада: франки, марки, шиллинги, кроны — и мелкая сдача с них. Несколько самопишущих ручек. Восточный аметист без оправы. Круглая резинка. Стеклянный патрончик с таблетками от головной боли, от нервных расстройств, невралгии, бессонницы, дурного сна, зубной боли. Зубная боль звучала довольно сомнительно. Старая записная книжка (1926), полная мертвых телефонных номеров. Фотографии.

Я подумал, что увижу множество девушек. Знаете, — улыбающиеся под солнцем, летние снимки, континентальные шалости тени, улыбающиеся на белом тротуаре, на песке, на снегу, — но я ошибся. Примерно две дюжины снимков, вытрясенных мной из большого конверта с лаконической надписью "М-р Х.", сделанной рукой Себастьяна, изображали одну и ту же особу в разные периоды жизни: вначале луноликий пострел в дурно сшитой матроске, потом противный отрок в крикетной кепочке, потом плосконосый юнец и так далее — вплоть до появленья на снимках взрослого м-ра Х. — довольно отталкивающего, бульдожьего типа мужчины, неуклонно полнеющего в мире фотографических задников и подлинных палисадников. Я понял, кто это, когда обнаружил газетную вырезку, прикрепленную к одному из снимков:

"Автору, пишущему выдуманную биографию, требуются фотографии джентльмена внушительной внешности, про-

стого, степенного, непьющего, предпочтительно холостяка. Публикация фотографий, детских, юношеских, а также зрелого возраста в указанной книге будет оплачена".

Этой книги Себастьян так и не написал, но, возможно, еще продолжал обдумывать ее в последний год своей жизни, потому что последнее фото м-ра Х., с радостным видом стоящего близ новенького автомобиля, носило дату "март 1935", а Себастьян умер лишь год спустя.

Внезапно я почувствовал усталость и обиду. Мне требовалось лицо его русской корреспондентки. Мне требовались изображения самого Себастьяна. Мне требовалось многое... Тут, пока мой взгляд блуждал по комнате, я разглядел в неясных тенях над книжными полками две обрамленные фотографии.

Я встал и всмотрелся в них. Одна — увеличенный снимок голого по пояс китайца, которому лихо срубали голову, другая — банальный фотоэтюд: кудрявое дитя, играющее со щенком. Такое сопоставление отдавало, по-моему, сомнительным вкусом, впрочем, у Себастьяна были, вероятно, причины хранить их и именно так развесить.

Я взглянул и на книги, книг было много, потрепанных и разных. Хотя одна из полок казалась поаккуратнее прочих, и я отметил последовательность, на миг зазвучавшую неясной, странно знакомой музыкальной фразой: "Гамлет", "Смерть Артура", "Мост короля Людовика Святого", "Доктор Джекил и мистер Хайд", "Южный ветер", "Дама с собачкой", "Госпожа Бовари", "Человек-невидимка", "Обретенное время", "Англо-персидский словарь", "Автор "Трикси", "Алиса в Стране Чудес", "Улисс", "О покупке лошади", "Король Лир"...

Мелодия выдохлась и заглохла. Я вернулся к столу и принялся разбирать отложенные письма. В основном — деловые, и я счел себя вправе их прочесть. Одни не относились к профессии Себастьяна, другие — относились. Беспорядок был изрядный, и многие намеки остались мне непонятны. Иногда он сохранял копии собственных писем, так что я, скажем, смог целиком ознакомиться с длинной и увлекательной перепалкой между ним и его издателем по поводу некоторой книги. Встречался какой-то нервозный

тип из Румынии, ни больше ни меньше, крикливо требующий предоставления... Я приобрел также сведения о продаже его книг в Англии и доминионах... Не так чтобы очень блестяще, но по крайней мере в одном случае цифры были более чем удовлетворительные. Несколько писем от дружественно настроенных литераторов. Один тихий беллетрист, автор единственной известной книги, выговаривал Себастьяну (4 апреля 1928 года) за "конрадство", предлагая в будущих произведениях "кон" отставить, а "родство" развить, — редкой глупости мысль, по-моему.

Наконец в самом низу пачки я обнаружил письма от матушки и мои собственные, вместе с несколькими от его друзей по первым годам учебы; и, пока я легко одолевал сопротивление их страниц (старые письма раздражаются, когда их раскрывают), меня вдруг осенило, где мне следует охотиться дальше.

5

Университетские годы Себастьяна Найта не были особенно счастливы. Конечно, он упивался многим из найденного в Кембридже, — в сущности, его поначалу буквально ошеломляла возможность видеть, обонять, осязать страну, к которой он издавна стремился. Настоящий двухколесный хэнсом отвез его со станции в Тринити-колледж: казалось, до самой этой минуты экипаж ждал именно его, отчаянно противясь вымиранию, а после умиротворенно почил, воссоединясь с бакенбардами и "большим полупенсовиком". Слякоть улиц, влажно отблескивающая в мглистых потемках, вместе с обетованным ее контрапунктом — чашкой крепкого чаю и щедрым огнем камина — создавали гармонию, которую он, неведомо почему, знал наизусть. Чистый перезвон башенных часов, то повисающий над городом, то, перемешиваясь, эхом отдающийся вдали, каким-то странным и страшно знакомым образом сливался с пронзительными выкриками продавцов газет. И когда он вступал в величаво нахмуренный Большой Двор, в туманах которого бродили призраки в плащах, и котелок швейцара нырял

перед ним, Себастьян чувствовал, что он почему-то узнает каждое ощущение, — вездесущую вонь сыроватого дерна, древнюю гулкость каменных плит под каблуками, расплывчатые очертания темных каменных стен вверху — все. Это особое, приподнятое ощущение, вероятно, длилось немалое время, но было что-то еще, примешавшееся к нему, а там и возобладавшее. Против воли своей и, быть может, с чувством беспомощного замешательства (ибо он ждал от Англии больше, чем та была в состоянии дать) Себастьян сознавал, что, как бы толково и сладко ни подыгрывал новый мир старинным его сновидениям, сам он, или скорее самая драгоценная его часть, останется столь же отчаянно одинокой, какой бывала всегда. Одиночество составляло тонику Себастьяновой жизни, и чем благожелательней старалась судьба дать ему ощущение дома, превосходно подделывая все то, что он полагал для себя желанным, тем острее сознавал он свою неспособность уютно вписаться — во что бы то ни было. Когда же наконец он понял это вполне и угрюмо принялся пестовать свою обособленность, словно она была редким даром или страстью, тогда только испытал Себастьян удовлетворение от ее обильного и чудовищного разрастания, перестав тревожиться о своей нескладной несовместимости, но это случилось гораздо позже.

Вначале он, видимо, страшно боялся сделать неверный шаг или, еще того хуже, — неловкий. Кто-то сказал ему, что жесткие уголки академической шапочки надлежит надломить, а то и вовсе изъять, оставив лишь квелую черную оболочку. Едва проделав это, он обнаружил, что впал в наихудшую "первокурсную" пошлость и что совершенство вкуса состоит в небрежении и шапочкой и плащом, которые носишь, сохраняющем за ними безупречную внешность вещей незначащих, каковые в противном случае могли бы претендовать на какое-то значение. Или — шляпы и зонты запрещались в любую погоду, и Себастьян набожно мок и простужался, пока в один прекрасный день не познакомился с неким Д. В. Горжетом, обаятельным, ветреным, ленивым и беспечным молодым человеком, славным своими бесчинствами, изяществом и остроумием.

Горжет преспокойно разгуливал в шляпе и при зонте. Пятнадцать лет спустя, когда я посетил Кембридж и услышал рассказ об этом от ближайшего университетского друга Себастьяна (ныне — прославленного ученого), я заметил, что, по-моему, сейчас уже каждый... “Вот именно, — сказал он. — Зонт Горжета дал потомство”.

— А скажите, — спросил я, — как обстояло дело со спортом? Хорошим спортсменом был Себастьян?

Мой собеседник улыбнулся.

— Боюсь, — ответил он, — что, если не считать весьма посредственного тенниса на изрядно подмокшем травяном корте с редкими маргаритками на самых крупных проплешинах, мы с Себастьяном по этой части не очень продвинулись. Помнится, ракета у него была необычайно дорогая, и фланелевый костюм был ему очень к лицу, — он вообще выглядел чрезвычайно опрятно, мило и все такое; но при этом подавал он дамским шлепком и слишком метался по корту, ни по чему не попадая, ну, а поскольку я был немногим лучше, наша игра в основном сводилась к тому, что мы разыскивали отсыревшие, испачканные зеленью мячи или перекидывали их игрокам на соседние корты, — все это под мелкой, настырной моросью. Нет, спортсменом он был явно неважным.

— Его это удручало?

— Ну, до известной степени. Собственно, весь первый семестр ему совершенно испортила мысль о его неполноценности по этой части. При знакомстве с Горжетом — оно состоялось в моей комнате — бедный Себастьян столько всего наговорил о теннисе, что Горжет наконец спросил, не та ли это игра, в которую играют клюшкой. Это отчасти утешило Себастьяна, он решил, что Горжет, который ему сразу понравился, тоже никудышный спортсмен.

— А оно действительно так и было?

— О нет, он-то как раз играл в университетской сборной по регби, но, возможно, лоун-теннис его просто не увлекал. Как бы там ни было, Себастьян скоро избавился от своего спортивного комплекса. Да и в сущности говоря...

Мы сидели в тускло освещенной комнате с дубовыми панелями, в креслах, настолько низких, что мы без усилий

дотягивались до чайных приборов, смиренно стоявших на ковре, и дух Себастьяна, казалось, витал над нами в отблесках огня, отраженных медными шишечками очага. Мой собеседник знал его так близко, что был, я думаю, прав, полагая основою Себастьянова чувства неполноценности его потуги перебританить Британию, всегда безуспешные и все повторявшиеся, пока наконец он не понял, что подводят его не внешние проявления, не манерности модного слэнга, но само его стремление быть как все, поступать как другие, между тем как он приговорен к благодати одиночного заключения внутри себя самого.

И все-таки он изо всех сил старался стать образцовым первокурсником. В коричневом халате и старых лакированных туфлях, с мыльницей и губкой в мешке, он неспешно шагал зимними утрами в ванное заведение за углом. Он завтракал в Холле овсянкой, серой и скушной, как небеса над Большим Двором, и апельсиновым джемом — в точности того же оттенка, что ползучая поросль на его стенах. Он влезал на свой "самокат", как назвал его мой собеседник, и, закинув плащ за плечо, катил в тот или этот лекционный зал. Второй завтрак он съедал в "Питте" (своего рода клуб, насколько я понял, и, верно, с портретами лошадей на стенах и с дряхлыми лакеями, задающими их извечную загадку: чистого или мутного?). Он играл в "файвс" (уж не знаю, что это такое) или в иную какую-то ручную игру, а после пил чай с двумя-тремя друзьями, и разговор его переходил, прихрамывая, от сдобных лепешек к курительным трубкам, предусмотрительно огибая всякий предмет, не затронутый собседниками. Могла быть еще лекция-другая перед обедом, а после снова Холл, очень приятное место, мне его показали в надлежащее время. Там как раз подметали, и рука невольно тянулась пощекотать толстые, белые икры Генриха Восьмого.

— А где сидел Себастьян?

— Вон там, у стены.

— Это как же он туда попадал? Столы-то, пожалуй, в милю длиной.

— Обыкновенно влезал на внешнюю скамью и переходил по столу. При этом случалось наступить на чью-то тарелку, но таков уже был общепринятый способ.

Потом, после обеда, он возвращался к себе или, быть может, отправлялся с каким-либо молчаливым спутником в маленький кинематограф на рыночной площади, где показывали фильму о Диком Западе, или Чарли Чаплин деревянной трусцой улепетывал от здоровенного негодяя, и его боком заносило на уличных углах.

Потом, после трех или четырех семестров в этом роде, странная перемена произошла с Себастьяном. Он перестал упиваться тем, чем считал себя обязанным упиваться, и невозмутимо обратился к тому, что его действительно занимало. Внешний результат перемены был таков: он выпал из ритма университетской жизни. Он ни с кем не видался, не считая моего собеседника, оставшегося, быть может, единственным в его жизни мужчиной, с которым он был совершенно искренен и естествен, — это была ладная дружба, и я вполне понимаю Себастьяна, ибо тихий словесник произвел на меня впечатление чистейшей и нежнейшей души, какую только можно вообразить. Обоих занимала английская литература, и друг Себастьяна уже обдумывал первый свой труд, "Законы литературного воображения", который два-три года спустя принес ему премию Монтгомери.

— Должен признаться, — сказал он, поглаживая нежно-голубую кошку с серовато-зелеными очами, возникшую неизвестно откуда и теперь с удобством расположившуюся у него на коленях, — должен признаться, в эту пору нашей дружбы мне было нелегко с Себастьяном. Бывало, не увидев его на лекциях, я заходил к нему и находил его еще в постели, свернувшимся, как спящее дитя, но хмуро курящим, — подушка скомкана, вся в папиросном пепле, на простыне, свисающей до полу, чернильные кляксы. Он только хмыкал в ответ на мои бодрые приветствия, не снисходя даже до перемены позы, так что я, потоптавшись вокруг и уверившись, что он не заболел, отправлялся завтракать, а потом опять заходил к нему — лишь для того, чтобы обнаружить его лежащим на другом боку и приспособившим под пепельницу шлепанец. Я вызывался раздобыть ему какой-либо еды, в буфете у него всегда было шаром покати, и наконец, когда я приносил ему гроздь бананов, он оживлялся, словно мартышка, и немедленно

принимался изводить меня туманно аморальными сентенциями касательно Жизни, Смерти или Бога, он смаковал их с особенным удовольствием, поскольку знал, что они меня злят, — я, впрочем, никогда не верил, что он говорит это всерьез.

В конце концов, часа в три-четыре пополудни, он напяливал халат, переползал в гостиную, и тут я с отвращением покидал его скрючившимся у огня и скребущим голову. А назавтра, сидя у себя в норе и работая, я вдруг слышал гулкий топот на лестнице, и ко мне влетал Себастьян — ясный, свежий, возбужденный, с только что записанным стихотворением.

Все это, уверен, вполне отвечает истине, а одна подробность даже поразила меня и особенно тронула. Оказывается, английский язык Себастьяна, хотя и плавный и образный, решительно оставался английским иностранца. Его начальные "r" раскатывались и рокотали, он делал смешные ошибки, говорил, например, "I have seized a cold" или "that fellow is sympathetic", разумея, что это славный малый. Он неправильно ставил ударения в таких словах, как "interesting" или "laboratory". Он неверно выговаривал имена вроде "Socrates" или "Desdemona". Однажды поправленный, он никогда ошибки не повторял, но сама неуверенность в некоторых словах ужасно его огорчала, он заливался краской, когда из-за случайной словесной оплошности какие-то его высказывания не воспринимались бестолковым слушателем. Писал он в ту пору много лучше, чем говорил, но и в стихах его сохранялось нечто неуловимо неанглийское. До меня ни одно из тех стихотворений не дошло. Правда, его друг полагал, что, быть может, одно или два...

Он спустил кошку на пол и порылся среди каких-то бумаг в столе, но выудить ничего не сумел.

— Может, в каком-нибудь сундуке, дома у сестры, — неопределенно сказал он, — но в общем-то я не уверен... Эти мелочи — всегдашние баловни забвения, да я к тому же и не сомневаюсь, что Себастьян приветствовал бы их утрату.

— А кстати, — сказал я, — прошлое выглядит в ваших воспоминаниях унылым и влажным, метеорологически

говоря, — по сути дела, таким же унылым, как нынешняя погода (стоял холодный февральский день). Скажите, неужто в нем никогда не было солнца или тепла? Разве сам Себастьян не упоминает где-то о "розовых свечках огромных каштанов" вдоль берега какой-то чудесной реки?

Да, тут я прав, весна и лето случались в Кембридже почти ежегодно (это загадочное "почти" было на редкость приятным). Да, Себастьяну нравилось полеживать в плоскодонке, плывущей по Кему. Но больше всего любил он уезжать в сумерках на велосипеде по одной тропинке, юлившей в лугах. Там он садился на изгородь, смотрел на кудлатые, лососевые облака, наливавшиеся угрюмой медью в бледном вечернем небе, и думал. О чем? О девочке-простолюдинке с мягкими волосами, еще заплетенными в косы, которую он догнал однажды на выгоне и заговорил с ней, и поцеловал, и никогда больше не видел? О форме какого-то облака? О каком-нибудь мглистом закате над черным русским ельником (о, как много я отдал бы, чтобы он вспомнил о нем!)? О внутреннем смысле звезды и травинки? О неведомом языке тишины? О страшной тяжести росинки? О надрывающей сердце красоте гладкого камушка среди миллионов и миллионов таких же камней, и в каждом свой смысл, но какой? Старый-престарый вопрос: кто ты? — обращенный к собственному "я", обретающему в потемках странную уклончивость, и к Божьему миру вокруг, с которым никто так и не смог свести настоящего знакомства. А может быть, мы приблизимся к истине, предположив, что, пока Себастьян сидел на той изгороди, в его сознании бушевала смута образов и слов, незавершенных образов и недостаточных слов, но он уже понимал, что в них и только в них подлинная его жизнь и что доля его лежит за призрачным полем боя, которое он в должное время еще перейдет.

— Нравились ли мне его книги? О да, чрезвычайно. Я не часто с ним виделся после того, как он уехал из Кембриджа, а книг своих он мне ни разу не прислал. Авторы, знаете ли, забывчивы. Но я как-то взял в библиотеке три из них и за столько же ночей прочел. Я всегда верил, что он создаст нечто превосходное, но никак не ждал, что это

будет так превосходно. В последний свой год здесь... — не понимаю, что случилось с этой кошкой, похоже, она вдруг перестала узнавать молоко.

В последний свой год здесь Себастьян усердно занимался; его предмет — английская литература — был обширен и сложен; но это же самое время отмечено внезапными отлучками в Лондон — обыкновенно без ведома университетских властей. Его наставник, покойный м-р Джефферсон, был, как я узнал, прескучнейшим старым господином, но отличным лингвистом, упрямо считавшим Себастьяна за русского. Иными словами, он доводил Себастьяна до остервенения, пересказывая ему все русские слова, какие знал, — а он собрал их целую уйму во время давней своей поездки в Москву, — и упрашивая Себастьяна научить его каким-либо еще. Себастьян, наконец, выпалил, что тут-де какая-то ошибка, что на самом деле он родом не из России, а из Софии, отчего обрадованный старикан мгновенно заговорил по-болгарски. Себастьян неуклюже ответил, что этот диалект ему неизвестен, когда же от него потребовали предъявить образец, он не сходя с места соорудил новую идиому, долго занимавшую старого языковеда, — пока его не осенило, что Себастьян...

— Ну-с, похоже, вы меня выжали, — сказал, улыбаясь, мой собеседник. — Мои воспоминания становятся все пустяковее и глупее, — я думаю, вряд ли нужно добавлять, что Себастьян получил высший балл и что мы с ним сфотографировались во всей нашей красе, я как-нибудь попробую отыскать снимок и пришлю его вам, если желаете. Вы взаправду должны уже ехать? А в парк заглянуть не хотите? Пойдемте, навестим крокусы, Себастьян называл их "грибами поэтов", если вы понимаете, что он имел в виду.

Но слишком обилен был дождь. Минуту-другую мы постояли под навесом крыльца, и я сказал, что, пожалуй, пойду.

— О, погодите-ка, — окликнул меня друг Себастьяна, когда я уже запетлял между луж. — Совсем забыл вам сказать. Мастер говорил мне на днях, что кто-то написал к нему, осведомляясь, правда ли, что Себастьян Найт учился в Тринити. Как же его имя? Вот незадача... Память совсем

сселась от промывания. Что ж, мы ее знатно отполоскали, не так ли? Во всяком случае, я так понял, что кто-то собирает сведения для книги о Себастьяне Найте. Странно, не похоже, чтобы у вас мог быть ——

— Себастьян Найт? — сказал внезапный голос в тумане. — Кто это тут говорит о Себастьяне Найте?

6

Незнакомец, произнесший эти слова, приблизился ... Ах, как я томился порой по плавному ходу на славу смазанного романа! Как было б удобно, когда бы голос этот принадлежал бодрому старому преподавателю с длинными мочками пушистых ушей и сборочками у глаз, изобличающими юмор и умудренность... Подручный персонаж, долгожданный прохожий, он тоже знал моего героя, но с иной стороны. "А теперь, — молвил бы он, — я вам поведаю подлинную историю университетских лет Себастьяна Найта". Да тут же бы и поведал. Но увы, ничего похожего на деле не случилось. Этот Голос в Тумане донесся из самых смутных закоулков моего разума. Он был лишь эхом какой-то возможной истины, своевременным напоминанием: не будь чересчур доверчив, узнавая о прошлом из уст настоящего. Остерегайся и честнейшего из посредников. Помни, все, рассказанное тебе, в действительности трояко: скроено рассказчиком, перекроено слушателем и скрыто от обоих мертвым героем рассказа. Кто это тут говорит о Себастьяне Найте? — повторяет этот голос в моем сознании. А и вправду — кто? Лучший друг с единокровным братом. Тихий ученый, далекий от жизни, и стеснительный странник, навестивший дальнюю землю. А где же третий участник беседы? Мирно истлевает на кладбище в Сен-Дамье. Весело обитает в пяти томах. Незримый, вперяется через мое плечо, пока я это пишу (хотя, посмею сказать, слишком уж он сомневался в истасканной вечности, чтобы даже теперь уверовать в собственное привидение).

Как бы там ни было, я завладел добычей, которою смогла поделиться со мною дружба. К ней я присовокупил

несколько разрозненных фактов, встреченных в очень коротких Себастьяновых письмах той поры, и случайные упоминания об университетском житье, рассеянные по его сочинениям. Затем я возвратился в Лондон и тщательно обдумал мой следующий ход.

В последнюю нашу встречу Себастьяну случилось упомянуть о своего рода секретаре, к услугам которого он время от времени прибегал между 1930 и 1934 годом. Подобно множеству авторов прошлого и малому числу настоящего (впрочем, мы, может статься, попросту не знаем о тех, кто не умел вести свои дела с достаточной хваткой и расторопностью), Себастьян был до смешного беспомощен по практической части, и, раз отыскав советчика (который, кстати сказать, мог оказаться олухом или плутом или вместе тем и другим), он предался ему целиком и с величайшим облегчением. Наведайся я при случае, совершенно ли он уверен, что Такой-то, ныне правящий его дела, не является навязчивым проходимцем, он поспешил бы переменить разговор, до того им владела боязнь, что обнаружение чьих-то плутней может подтолкнуть к действию его леность. Словом, худшего из помощников он предпочитал никакому и убедил бы и себя самого, и других в совершенном довольстве собственным выбором. Высказав все это, я хотел бы со всей возможной определенностью подчеркнуть, что ни единое мое слово не является — в рассуждении закона — порочащим и что имя, которое я вот-вот назову, в *этом* абзаце названо не было.

В то время я желал получить от м-ра Гудмена не столько отчет о последних годах Себастьяна, — в нем я пока не нуждался (ибо намеревался шаг за шагом, не обгоняя, проследить его жизнь), — а просто несколько советов касательно того, с кем из знающих что-либо о послекембриджской жизни Себастьяна мне следует повидаться.

Итак, 1 марта 1936 года я посетил м-ра Гудмена в его конторе на Флит-стрит. Но прежде, чем описать нашу беседу, позвольте мне сделать короткое отступление.

Среди Себастьяновых писем я обнаружил, о чем уже говорилось, переписку между ним и издателем, относящуюся до определенного романа. Оказывается, один из

второстепенных персонажей в первой книге Себастьяна "Призматический фацет"(1925) представляет собой очень смешную и злую пародию на некоторого ныне здравствующего автора, которого Себастьян счел необходимым высечь. Издатель, понятно, сразу его узнал и почувствовал себя до того неуютно, что посоветовал Себастьяну переделать весь связанный с ним кусок, но Себастьян наотрез отказался, заявив наконец, что издаст книгу еще где-нибудь, и со временем так и сделал.

"Вас, кажется, удивляет, — писал он в одном из писем, — что могло побудить меня, растущего автора (это Вы так выражаетесь, — однако такое выражение неуместно, ибо эти Ваши записные растущие авторы так до конца и остаются растущими, другие же, вроде меня, расцветают почти мгновенно); Вас, кажется, удивляет, позвольте мне повториться (что, впрочем, не является просьбой простить мне эту прустову вставку), с чего это мне вдруг приспичило сцапать приятного, голубоватого, ровно фарфор, современника (X. напоминает, не правда ли, те дешевые фарфоровые поделки, что навевают нам на благотворительных базарах мысли о разгромном разгуле) и сбросить его с замковой башни моей прозы прямиком в сточную канаву внизу. Вы говорите мне, что все его ценят; что он продается в Германии едва ли не так же ходко, как здесь; что один его старый рассказ только что отобран для "Современных шедевров"; что вместе с Y. и Z. он считается одним из ведущих писателей "послевоенного поколения"; и что — последнее, но не самое малое, — он опасен как критик. Похоже, Вы намекаете, что всем нам следует хранить темную тайну его успеха — сиречь его умение ездить вторым классом с билетом в третий — или, если мое сравнение недостаточно ясно, — потакать вкусам наихудшей разновидности читающей публики: не тех, кто с удовольствием кормится детективными побасенками, да будут блаженны их чистые души, но тех, кто покупает паршивейшую пошлятину, поскольку их, видите ли, на современный лад будоражат фрейдовы приправы, или "поток сознания", или еще какая-то дребедень, и кто поэтому не понимает и никогда не поймет, как циничны сегодня племянницы Марии Корелли и племян-

ники старенькой миссис Гранди. Однако чего ради нам оберегать его стыдную тайну? Что за масонская порука в тривиальности, — а по сути, в троеубожии? Долой этих поддельных богов! Но вот появляетесь Вы и говорите, что моя "литературная карьера" будет непоправимо загублена в самом начале наскоками на влиятельного и почитаемого писателя. Однако даже если бы существовала такая штука, как "литературная карьера", и меня бы дисквалифицировали только за то, что я выехал на собственной лошади, я все равно отказался бы изменить и единое слово в том, что мною написано. Ибо, поверьте, никакое неотвратимое наказание не может быть достаточно сильным, чтобы заставить меня прекратить погоню за наслаждением, особенно когда наслаждением этим манит меня упругое, юное лоно истины. Право, в жизни мало что может сравниться с восторгом сатиры, и, когда я воображаю лицо этого надувалы, читающего (а уж он его прочитает) то самое место и сознающего, как сознаем и мы оба, что все в нем — чистая правда, восторг мой достигает сладчайшего разрешения. Позвольте еще прибавить, что я прилежно отобразил не только внутренний мир м-ра Х. (каковой есть не что иное, как станция подземки в часы давки), но также и вычуры его речей и повадки, и я решительно отрицаю, что он или кто-то иной из читателей сможет найти малейшую грубость в пассаже, столь Вас встревожившем. Так пусть же он Вас больше не тревожит. Помните также, что всю ответственность, моральную и коммерческую, я принимаю на себя, — это на случай, если у Вас и впрямь "возникнут сложности" с моим невинным томиком".

Я процитировал это письмо ради того (хотя оно ценно и само по себе, показывая нам Себастьяна в мальчишески веселом расположении, которое сохранилось позже лишь в виде радуги, рассекавшей грозовую угрюмость самых пасмурных его повестей), чтобы поставить довольно деликатный вопрос. Через минуту-другую во плоти и крови объявится м-р Гудмен. Читателю ведомо уже, как глубоко противна мне книга этого господина. Однако в пору нашей первой (и последней) беседы я ничего не знал о его труде (насколько дозволено называть трудом торопливую компи-

ляцию). Я пришел к м-ру Гудмену с открытой душой; ныне она уже не открыта, что, натурально, не может не повлиять на мое описание. В то же время мне не очень понятно, как бы я смог рассказать о своем визите к нему, не коснувшись, хотя бы с тою же сдержанностью, что и в отношении кембриджского друга Себастьяна, повадок, если уж не внешности м-ра Гудмена. Удастся ли мне остановиться на них? Не высунется ли внезапно физиономия м-ра Гудмена, к правой досаде ее обладателя, при чтении этих строк? Я изучил письмо Себастьяна и пришел к заключению: все, что позволил себе Себастьян Найт в отношении м-ра X., для меня, применительно к м-ру Гудмену, недопустимо. Я лишен прямоты Себастьянова дара и преуспею лишь в грубости там, где ему довелось блеснуть. Итак, я вступаю на тонкий лед и должен, входя в кабинет м-ра Гудмена, шагать осмотрительно.

— Прошу присесть, — сказал он, вежливо смахивая меня в кожаное кресло подле стола. Одет он был превосходно, впрочем, с явным конторским привкусом. Лицо покрывала черная маска. — Чем могу быть полезен? — Продолжая держать мою карточку, он смотрел на меня сквозь глазные отверстия.

Я вдруг сообразил, что мое имя ничего ему не говорит. Фамилия матери окончательно срослась с Себастьяном.

— Я брат Себастьяна Найта, — ответил я. Повисла короткая пауза.

— Виноват, — сказал м-р Гудмен, — должен ли я понимать так, что вы говорите о покойном Себастьяне Найте, известном писателе?

— Именно так, — сказал я.

Пальцы м-ра Гудмена, указательный и большой, поехали по лицу... я разумею лицо под маской... съезжая все ниже, ниже: он размышлял.

— Прошу меня простить, — сказал он, — но совершенно ли вы уверены, что тут нет никакой ошибки?

— Ни малейшей, — ответил я и как можно короче разъяснил свое родство с Себастьяном.

— Ах, вот оно что! — сказал м-р Гудмен, впадая все в большую задумчивость. — Верно, верно, это мне в голову

не пришло. Я, разумеется, отлично знал, что Найт родился и вырос в России. Но насчет фамилии я как-то не сообразил. Да, теперь понимаю... Ну да, она и должна быть русской... Его мать...

С минуту м-р Гудмен барабанил пальцами, тонкими и белыми, по страничке блок-нота, потом меленько вздохнул.

— Ну, сделанного не воротишь, — заметил он. — Добавлять уже поздно... Я хочу сказать, — торопливо продолжил он, — что сожалею о том, что не вник в это раньше. Так вы его брат? Что ж, очень рад познакомиться.

— Прежде всего, — сказал я, — мне хотелось бы уяснить деловые вопросы. Бумаги мистера Найта, во всяком случае те, что относятся к его литературным занятиям, не в самом лучшем порядке, так что я не знаю в точности, каково положение дел. Я еще не встретился с его издателями, но, по моим сведениям, по крайней мере одного издательства — того, что выпустило "Потешную гору", — больше не существует. Я решил, что прежде, чем углубляться в суть дела, мне стоит переговорить с вами.

— Весьма разумно, — сказал м-р Гудмен. — Фактически — вы, вероятно, не осведомлены об этом, — я владею долями в двух книгах Найта, в "Потешной горе" и "Утерянных вещах". В настоящих обстоятельствах для меня самое правильное — сообщить вам кое-какие подробности, завтра утром я отошлю их вам письмом вместе с копией моего контракта с мистером Найтом. Или мне следует называть его мистером ... — и, улыбнувшись под маской, м-р Гудмен попытался выговорить нашу простую русскую фамилию.

— Тогда о другом, — продолжал я. — Я решил написать книгу о его жизни и работе и крайне нуждаюсь в некоторых сведениях. Вы не могли бы...

Мне показалось, что м-р Гудмен закоченел. Погодя он разок-другой кашлянул и даже выудил из ящичка, стоявшего на его изысканного вида письменном столе, черносмородиновую пилюлю от кашля.

— Дорогой сэр, — сказал он, внезапно крутанувшись вместе с креслом и раскрутив на тесемке монокль, —

давайте говорить со всей откровенностью. Определенно, я знал несчастного Найта лучше, чем кто-либо, и однако же... слушайте, вы уже начали писать эту книгу?

— Нет, — сказал я.

— Вот и не начинайте. Вы уж меня простите за такую прямоту. Старая привычка — дурная привычка, быть может. Вы ведь не против, нет? Так вот, что я хочу сказать... как бы это вам выразить?.. Видите ли, Себастьян Найт не был, что называется, великим писателем... О да, я понимаю, — тонкий художник и прочее, но обыкновенную публику этим не возьмешь. Я не хочу сказать, что про него нельзя написать книгу. Написать-то можно. Но тогда уж надо ее писать под особым углом зрения, чтобы сделать предмет привлекательным. Иначе она непременно провалится, потому что, видите ли, я лично не думаю, что известности Себастьяна Найта хватит, чтобы подпереть ею затею вроде вашей.

Я настолько был взят врасплох этой вспышкой, что сидел, безмолвствуя. А м-р Гудмен продолжал:

— Надеюсь, вас не обидела моя прямота. Мы с вашим братом были большие приятели, так что вы поймете мои чувства. Не стоит, мой дорогой сэр, не стоит. Вы изложите вашу идею любому профессионалу, знающему книжный рынок, и он вам скажет: всякий, кто попробует составить исчерпывающее исследование жизни и работы, как вы выражаетесь, Найта, только зря время потратит — и свое, и читателя. Чего уж там, даже книга Имярека о покойном... (была упомянута знаменитость) со всеми ее фотографиями и факсимиле и та не пошла.

Я поблагодарил м-ра Гудмена за совет и потянулся за шляпой. Я чувствовал, что совершил промах, обратившись к нему, что пошел по ложному следу. Отчего-то я не испытывал желания подробно выспрашивать его о тех временах, когда он и Себастьян были "большие приятели". Теперь я гадаю, что бы он мне наболтал, упроси я его порассказать о своем секретарстве. Сердечнейшим образом пожав мою руку, он отобрал у меня черную маску, которую я засунул в карман, полагая, что она может еще мне пригодиться при иной какой-то оказии. Он проводил меня до ближайшей

стеклянной двери, и у нее мы расстались. Я уже начал было спускаться по лестнице, как решительного вида девица, несколько раньше виденная мною за машинкой в одной из комнат, нагнала и остановила меня (занятно — вот и кембриджский друг Себастьяна тоже не дал мне сразу уйти).

— Меня зовут Элен Пратт, — сказала она. — Я подслушала, что смогла, из вашего разговора, и у меня есть к вам просьба. Клэр Бишоп — моя близкая подруга. Ей нужно кое-что выяснить. Можно мне будет поговорить с вами на днях?

Я сказал: "Да, конечно", и мы назначили время.

— Я хорошо знала мистера Найта, — прибавила она, глядя на меня круглыми, яркими глазами.

— Вот как, — пробормотал я, не найдясь, что сказать другого.

— Да, — продолжала она, — он был удивительный человек, и я вам выразить не могу, до чего мне гадка гудменовская книга о нем.

— Что вы? — спросил я. — Какая книга?

— Да вот эта, которую он только что написал. Мы ее вместе считывали на прошлой неделе. Ну ладно, я побежала. Большое вам спасибо.

Она унеслась, и очень медленно я стал сходить по ступеням. Большое, мягкое, красноватое лицо м-ра Гудмена обладало — и обладает — поразительным сходством с коровьим выменем.

7

Книга м-ра Гудмена "Трагедия Себастьяна Найта" получила прекрасную прессу. В ведущих поденных и понедельных изданиях ей посвящались пространные отклики. Ее называли "впечатляющей и убедительной". Автору ставили в заслугу "полноту проникновения" в "глубоко современный" характер. Цитировались места, показывающие, как сноровисто он колет пустые орехи. Один критик зашел даже так далеко, что снял шляпу перед м-ром Гудменом, который, добавим, пользовался своей в основном для того,

чтобы постоянно на нее садиться. Словом, м-ра Гудмена похлопывали по плечу, хотя ему следовало бы дать по рукам.

Что до меня, я вообще оставил бы эту книгу без внимания, будь она просто еще одной дурной книгой, обреченной с прочими ее товарками на забвение к следующей весне. Летейская библиотека при всей неисчислимости ее томов останется, конечно, прискорбно неполной без стараний м-ра Гудмена. Но как ни дурна его книга, в ней есть и еще кое-что. Незаурядность предмета вполне механически обращает ее в спутницу выносливой славы другого человека. Сколько ни будет памятно имя Себастьяна Найта, всегда отыщется ученый вопрошатель, добросовестно лезущий по стремянке туда, где “Трагедия Себастьяна Найта” стоит в полудреме между “Падением человека” Годфри Гудмена и “Воспоминаниями о прожитом” Сэмюеля Гудрича. Следственно, если я продолжаю о ней толковать, я это делаю ради Себастьяна Найта.

Метод м-ра Гудмена незатейлив, как и его философия. Единственная цель у него — показать “несчастного Найта” как продукт и жертву того, что он именует “нашим временем”, хотя, почему иным людям так не терпится принудить других разделить их хронометрические концепции, для меня всегда оставалось загадкой. “Послевоенное смятение”, “послевоенное поколение” — это для м-ра Гудмена волшебные слова, открывающие всякую дверь. Существует, однако ж, “сезам отворись”, коего чары, по-видимому, уступают чарам обыкновенной отмычки, и боюсь, что “сезам” м-ра Гудмена как раз этого толка. Впрочем, м-р Гудмен весьма ошибается, думая, что стоит ему взломать замок, как он сразу что-то найдет. То есть я не хочу сказать, что м-р Гудмен *думает*. Он бы этого не сумел, даже если бы постарался. В своей книге он касается только тех идей, притягательность коих для заурядных умов вполне установлена (коммерческим способом).

Для м-ра Гудмена молодой Себастьян Найт, “только что выпорхнувший из резного кокона Кембриджа”, — это остро чувствующий юноша в жестоком, холодном мире. В этом мире “внешние реалии столь грубо вторгаются в

сокровеннейшие сны человека", что юная душа поневоле попадает в осаду — перед тем, как окончательно пасть. "Война, — сообщает м-р Гудмен, даже не зарумянившись, — изменила лик Вселенной". И с немалым пылом он принимается описывать те особые стороны послевоенной жизни, с которыми молодой человек столкнулся "на тревожной заре своей карьеры": ощущение некоего огромного обмана; душевная усталость и лихорадочное физическое возбуждение (пример: "вялое распутство фокстрота"); ощущение пустоты — и его результат: вопиющая распущенность. А также жестокость; запах крови еще носится в воздухе; сверканье кинематографических чертогов; смутные пары в мутном Гайд-парке; триумфы стандартизации; культ машин; деградация Красоты, Любви, Чести, Искусства... и так далее. Просто чудо, что сам м-р Гудмен, сверстник Себастьяна, насколько я знаю, смог пережить эти страшные годы.

Но то, что сумел снести м-р Гудмен, не вынес, как видно, его Себастьян Найт. Нам предъявляют изображение Себастьяна, в смятении меряющего шагами свою лондонскую квартиру в 1923 году, после короткой поездки на континент, каковой континент "неописуемо ужаснул его скверным сверканьем своего игорного ада". Да, "вышагивающий взад и вперед... стискивая виски... в муках неудовлетворенности... озлобленный на весь свет... одинокий... снедаемый желанием сделать что-нибудь, но слабый, слабый..." Точками обозначены не тремоло м-ра Гудмена, а сентенции, которые я из человеколюбия опустил. "Нет, — продолжает м-р Гудмен, — это был не тот мир, в котором смог бы жить художник. Щеголять отважной невозмутимостью, выставлять напоказ цинизм, который так раздражает в ранних произведениях Найта и так удручает в двух его последних книгах... выглядеть презрительным и сверхумудренным — все это было прекрасно, но жало застряло, ядовитое, острое жало". Не знаю отчего, но наличие этого (совершенно мифического) жала, похоже, приносит м-ру Гудмену мрачное удовлетворение.

Я был бы несправедлив, если бы представил эту, первую, главу "Трагедии Себастьяна Найта" только в виде

густого потока философической патоки. Образные описания и анекдоты, составляющие главную часть книги (то есть ту, в которой м-р Гудмен выходит на сцену Себастьяновой жизни, лично с ним познакомившись), высовываются и тут, словно куски бисквита из сиропа. М-р Гудмен — не Босуэлл; все же и у него, несомненно, имелась записная книжка, куда он заносил замечания своего нанимателя, — и, видимо, какие-то из них относились к его, нанимателя, прошлому. Иными словами, нам полагается вообразить, что Себастьян, отрываясь от работы, произносил: "Вы знаете, милый Гудмен, это напоминает мне один день моей жизни, несколько лет назад, когда..." Засим следовала история. Полудюжины этих историй достаточно, как представляется м-ру Гудмену, для заполнения того, что осталось для него белым пятном, — английской юности Себастьяна.

Первая из историй (которую м-р Гудмен полагает весьма типичной для "послевоенной жизни студенчества") рисует Себастьяна, показывающего лондонской приятельнице достопримечательности Кембриджа. "А это окно декана, — говорит он; затем, разбив камнем стекло, добавляет: — А это сам декан". Нечего и говорить, что Себастьян натянул м-ру Гудмену нос: анекдот этот стар, как сам Университет.

Рассмотрим вторую. Как-то ночью во время краткой каникулярной поездки в Германию (1921? 1922?) Себастьян, разъяренный кошачьим концертом на улице, стал швырять в нарушителей тишины разного рода предметы, включая сюда и яйцо. Погодя в дверь постучал полицейский, который принес обратно все эти предметы за исключеньем яйца.

Это из старой (или, как сказал бы м-р Гудмен, "предвоенной") книжки Джерома К. Джерома. М-ра Гудмена снова дернули за нос.

История третья: Себастьян, рассказывая о своем самом первом романе (неизданном и уничтоженном), поясняет, что речь в нем шла о молодом толстом студенте, который, приехав домой, узнает, что его мать вышла замуж за его же

дядю; этот самый дядя, ушной специалист, погубил студентова отца.

М-р Гудмен шутки не понял.

Четвертая: летом 1922 года Себастьян переутомился и, страдая галлюцинациями, часто видел своего рода оптическое привидение: с неба к нему быстро спускался монах в черной рясе.

Это немного труднее: рассказ Чехова.

Пятая:

Однако мне кажется, лучше остановиться, или иначе м-р Гудмен рискует обратиться в слона. Оставим его муравьедом. Мне его жаль, но тут уже ничем не поможешь. И хоть бы он не раздувал, не комментировал эти "удивительные происшествия и фантазии" так важно, с такой обильной жатвой умозаключений! Колючий, капризный, обезумевший Себастьян в схватке с горестным миром Геростратов, стратостатов, плутократов и пустохватов... Как же, как же, тут непременно что-нибудь да есть.

Я хочу быть точным в научном смысле этого слова. Я не могу позволить себе проглядеть малейшую частицу истины лишь потому, что в какой-то миг моих изысканий меня ослепил гнев, вызванный низкопробной стряпней... Кто это тут говорит о Себастьяне Найте? Прежний его секретарь. Были они друзьями? Нет — и мы это еще увидим. Есть что-нибудь действительное или возможное в противопоставлении хрупкого, нетерпеливого Себастьяна порочному, усталому миру? Ничего. Быть может, имелся иной какой-то разрыв, разлом, разлад? О да.

Достаточно пролистать первые тридцать примерно страниц "Утерянных вещей", чтобы убедиться, до какой степени безмятежно непонимание м-ром Гудменом (который, к слову, не цитирует ничего, что шло бы вразрез с основной идеей его напрасного опуса) внутреннего отношения Себастьяна к внешнему миру. Время никогда не являлось для Себастьяна 1914, или 1920, или 1936 годом — это всегда был год 1-й. Заголовки газет, политические теории, модные идеи значили для него не больше чем словообильные уведомления, оттиснутые (на трех языках с ошибками минимум в двух) на обертке какого-нибудь мыла или зубной

пасты. Пена могла оказаться густой, уведомление убедительным, — но более тут говорить было не о чем. Он вполне мог понять впечатлительных и проникновенных мыслителей, не способных уснуть по причине землетрясения в Китае, но, будучи тем, кем был, он не мог взять в толк, почему эти же самые люди не испытывают столь же бурного приступа горя при мысли о подобном бедствии, случившемся столько лет назад, сколько миль от них до Китая. Время, пространство для него были мерками одной и той же вечности, так что само представление о нем, реагирующем каким-то особо "современным" манером на то, что м-р Гудмен именует "атмосферой послевоенной Европы", просто бред. Он был вперемешку счастлив и удручен в мире, в который пришел, — вот как путешественник может восторгаться видами, почти одновременно мучась морской болезнью. В каком бы веке ни выпало Себастьяну родиться, он равно бы веселился и печалился, радовался и тревожился, словно ребенок в цирке, вспоминающий временами о завтрашнем походе к дантисту. Причина же его неприкаянности состояла не в том, что он был нравственным человеком в безнравственном мире или безнравственным — в нравственном, и не в стесненных чувствах юности, не сумевшей достаточно естественно расцвести в мире, ставшем слишком поспешной чередой фейерверков и похорон; она состояла попросту в понимании того, что ритм его внутреннего бытия намного богаче, чем ритм всякой иной души. Даже тогда, по завершении кембриджской поры, — а может статься, и раньше, — он сознавал, что малейшая его мысль или ощущение содержат на одно измерение больше, чем мысль или ощущение ближнего. Он мог возгордиться этим, присутствуй в его натуре хоть что-то трагическое. Поскольку же ничего такого в ней не было, ему оставалось лишь испытывать неловкое чувство кристалла среди стекляшек, шара среди кругов (но все это пустяки в сравнении с тем, что он испытал, когда наконец вступил на литературное поприще).

"Я был, — пишет Себастьян (в "Утерянных вещах"), — застенчив настолько, что всегда умудрялся неведомо как совершить тот самый промах, которого пуще всего норовил

избежать. В моем губительном стремлении слиться с окружением я походил, пожалуй, на хамелеона-дальтоника. Застенчивость моя переносилась бы легче — и мною, и другими, — будь она обычного потливо-прыщавого сорта: многие юноши через это проходят, и никто особенно не возражает. Но у меня она обрела черты болезненной тайны, ничего не имеющей общего со спазмами созревания. Среди самых банальных выдумок пыточного застенка есть одна, состоящая в том, что узника лишают сна. Люди в большинстве своем проживают день с какой-то частью рассудка, погруженной в блаженную спячку: голодного человека, поедающего бифштекс, интересует еда, а, скажем, не сон об ангелах в цилиндрах, который привиделся ему лет семь назад; в моем случае все веки, дверки и створки сознания открывались сразу и во всякое время суток. У большинства людей мозг имеет свои выходные, моему же было отказано и в сокращенном рабочем дне. Такое состояние постоянного бодрствования чрезвычайно мучительно и само по себе, и по прямым его результатам. Каждое пустяковое дело, которое, между прочими, предстояло мне совершить, принимало столь причудливое обличие, пробуждало в моем уме такую массу ассоциативных идей, причем эти ассоциации были настолько запутанны и темны, до такой степени бесполезны в практическом смысле, что я либо сбывал это дело с рук, либо из чистой нервозности приводил его в состояние полной неразберихи. Когда однажды утром я пришел к редактору журнала, способному, как я полагал, напечатать некоторые из моих кембриджских стихотворений, то свойственное ему особое заикание, мешаясь с некоторым сочетанием углов в рисунке дымоходов и крыш, чуть перекошенных изъяном оконного стекла, — это и странный, затхловатый запах в комнате (роз, догнивающих в мусорной корзинке?) отправили мои мысли по такому дальнему и кружному пути, что я, вместо того, о чем намеревался говорить, начал вдруг рассказывать этому человеку, которого и видел-то впервые, о литературных планах нашего общего знакомца, просившего меня — я слишком поздно вспомнил об этом — сохранить их в тайне...

...Зная опасные причуды моего сознания, я боялся встречаться с людьми, опасаясь оскорбить их чувства или стать посмешищем в их глазах. Но это же качество или изъян, так терзавший меня при столкновении с тем, что называют практической стороной жизни (хотя, между нами, торговые книги и книготорговля выглядят при свете звезд удивительно нереальными), обращалось в инструмент утонченного наслаждения всякий раз, что я уступал моему одиночеству. Я был страстно влюблен в страну, ставшую мне домом (насколько моя природа способна освоить представление о доме); у меня случались свои киплинговские настроения, настроения в духе Руперта Брука и Хаусмана. Собака-поводырь около "Хэрродз'а" или цветные мелки панельного живописца; бурые листья аллеи в Нью-Форесте или цинковый таз, вывешенный в трущобах на черной кирпичной стене; картинка в "Панче" или витиеватый пассаж в "Гамлете" — все сходилось в строгую гармонию, где и для меня отыскивалась тень места. Память о Лондоне моей юности — это память о бесконечных, бесцельных блужданиях, об ослепленном солнцем окне, внезапно пробившем утренний синий туман, или о черных чудесных проводах с бегущими вдоль них подвесками капель. Как будто я, неслышно ступая, иду сквозь призрачные лужайки и дансинги, полные взвизгов гавайской музыки, спускаюсь по славным грязно-коричневым улочкам с милыми именами и в конце концов попадаю в какую-то теплую полость, где нечто, страшно похожее на мое сокровенное "я", сидит, свернувшись калачиком, в темноте..."

Жаль, что м-р Гудмен не удосужился поразмыслить над этими строками, хоть и сомнительно, чтобы ему удалось понять их внутренний смысл.

Он был настолько любезен, что прислал мне экземпляр своего изделия. В сопроводительном послании он объяснял в тяжеловесно-шутливых тонах (предназначенных изобразить — на письме — добродушное подмигивание), что если он и не упомянул о книге в ходе нашей беседы, то лишь потому, что желал поднести мне великолепный сюрприз. Его тон, его хохоток, его напыщенное остроумие — все приводило на ум старого, грубоватого друга семьи, явивше-

гося с драгоценным подарком для самого маленького. Но м-р Гудмен — не очень хороший актер. В сущности, он ни секунды не думал, что я порадуюсь книге, написанной им, или хотя бы тому, что он из кожи вон лез ради прославления имени члена моей семьи. Он знал, и знал всегда, что книга его — хлам, знал, что ни ее переплет, ни обложка, ни рекламная болтовня на обложке да и никакие отклики и объявления в прессе меня не обманут. Почему он почел за разумное держать меня в неведенье, — не вполне очевидно. Возможно, он полагал, что я могу, раззадорившись, в один присест накатать собственный том, как раз поспев столкнуть этот том с его.

Он, впрочем, прислал мне не только книгу. Он разрешился также обещанным отчетом. Здесь не место вдаваться в эти материи. Я передал его отчет моему поверенному, и тот уже ознакомил меня со своим заключением. Здесь довольно будет сказать, что практической непорочностью Себастьяна злоупотребили самым непристойным образом. Никогда м-р Гудмен не был порядочным литературным агентом. В лучшем случае он ставил на книгу, словно на лошадь. Его невозможно по праву причислить к интеллигентным, честным и тяжко трудящимся людям этой профессии. На том и оставим его; однако я еще не покончил с “Трагедией Себастьяна Найта”, или, скорее, — с “Фарсом м-ра Гудмена”.

8

Два года прошло после смерти матушки, прежде чем я снова увидал Себастьяна. Одна почтовая открытка — вот все, что я за это время получил от него, не считая чеков, которые он настойчиво мне высылал. Скучным и тусклым днем в ноябре или декабре 1924 года я шел по Елисейским полям к площади Этуаль и вдруг за стеклянным фасадом модного кафе углядел Себастьяна. Помню, первым моим побуждением было — так и идти своей дорогой, до того огорчило меня неожиданное открытие, что, появившись в Париже, он не связался со мной. Все же, поразмыслив,

я вошел внутрь. Я увидел лоснистый, темный затылок Себастьяна и склоненное лицо девушки в очках, сидевшей насупротив него. Она читала письмо, которое, когда я подошел, с легкой улыбкой ему возвратила, сняв роговые очки.

— Роскошно, а? — спросил Себастьян, и в этот же миг я положил ладонь на его худое плечо.

— О, привет В., — сказал он, глянув вверх. — Это мой брат — мисс Бишоп. Садись, располагайся поудобней.

Она была неброско хороша: бледная, чуть веснушчатая кожа, слегка впалые щеки, серые с голубизной близорукие глаза, узкий рот; в строгом сером платье с голубым шарфом и в маленькой треугольной шляпке. По-моему, волосы у нее были пострижены коротко.

— А я как раз собирался тебе звонить, — сказал Себастьян, боюсь, не вполне искренне. — Я, видишь ли, всего на день сюда, к завтрему должен вернуться в Лондон. Закажешь что-нибудь?

Они пили кофе. Клэр Бишоп, подрагивая ресницами, порылась в сумочке, нашарила платок и приложила его сначала к одной красноватой ноздре, затем к другой.

— Насморк все хужеет, — сказала она и щелкнула замком.

— О, прекрасно, — сказал Себастьян в ответ на мой очевидный вопрос. — Я, собственно, только что окончил роман, и вроде издателю, которого я подыскал, он нравится — судя по его обнадеживающему письму. Похоже, он доволен даже названием, “Робин-дрозд дает сдачи”, — в отличие от Клэр.

— По-моему, это звучит глупо, — сказала Клэр, — и потом, птица не может давать сдачи.

— Это намек на известный детский стишок, — сказал, обращаясь ко мне, Себастьян.

— И намек глупый, — сказала Клэр, — первое название было намного лучше.

— Не знаю... Призма... Грань призмы... — пробормотал Себастьян, — это не совсем то, что мне требуется... Жаль, что Робин-дрозд так мало известен...

— Название книги, — сказала Клэр, — должно передавать ее колорит, а не содержание.

Это был первый и последний раз, что Себастьян говорил при мне о литературе. Редко к тому же видал я его в таком беззаботном расположении духа. Он выглядел ухоженным и крепким. На тонко очерченном белом лице с легкой тенью по щекам — он был из тех несчастливцев, что вынуждены бриться дважды в день, когда обедают вне дома, — не было и следа нездоровой тусклости, столь часто ему присущей. Довольно крупные, заостренные уши пылали, как и всегда, когда он бывал приятно взволнован. Я же, напротив, испытывал скованность и косноязычие. Я как-то чувствовал, что влез не ко времени.

— В кино пойдем или куда-нибудь еще? — спросил Себастьян, опуская два пальца в жилетный карман.

— Как хочешь, — сказала Клэр.

— Gah-song, — сказал Себастьян. Я и прежде замечал, что он старается говорить по-французски, как то пристало подлинному трезвому британцу.

Некоторое время мы искали под столом и под плюшевыми сиденьями одну из перчаток Клэр. Она пользовалась приятными, холодноватыми духами. Наконец я извлек перчатку, серую, замшевую, на белой подкладке, с бахромчатым раструбом. Клэр не спеша надевала их, пока мы проталкивались сквозь вертлявую дверь. Довольно высокая, с очень прямой осанкой, хорошие щиколки, туфли на низких каблуках.

— Послушай, — сказал я, — боюсь, мне нельзя пойти с вами в кино. Мне страшно жаль, но у меня кое-какие дела. Может быть... Ты когда, в точности, уезжаешь?

— Да ночью, — сказал Себастьян, — но скоро опять вернусь... Глупо, что я не дал тебе знать пораньше. Во всяком случае, мы можем немного тебя проводить...

— Вы хорошо знаете Париж? — спросил я Клэр...

— Мой пакет, — сказала она, вдруг замерев на месте.

— Ладно, я его прихвачу, — сказал Себастьян и вернулся в кафе.

Вдвоем, очень медленно, мы шли по широкой панели. Я, запинаясь, повторил вопрос.

— Да, прилично, — сказала она. — У меня друзья здесь, я остановилась у них до Рождества.

— Себастьян замечательно выглядит, — сказал я.

— Да, и по-моему тоже, — сказала Клэр, оглянувшись через плечо и затем посмотрев на меня из-под приопущенных ресниц. — Когда я с ним познакомилась, у него был вид обреченного человека.

— А когда это было? — видимо, спросил я, потому что помню ответ:

— Этой весной в Лондоне, на одном прескучном вечере, правда, на вечерах у него вид всегда обреченный.

— Вот твои бонбонки, — сказал сзади нас голос Себастьяна.

Я сообщил им, что направлялся к станции подземки, на Этуаль, и мы стали огибать площадь слева. Только было начали мы переходить авеню Клебер, как Клэр едва не сшибло велосипедом.

— Дурашка, — сказал Себастьян, хватая ее за локоть.

— Слишком много голубей, — сказала она, когда мы ступили на тротуар.

— Ага, и пахнут, — добавил Себастьян.

— Чем пахнут? У меня нос заложен, — спросила она, шмыгая и всматриваясь в густую стаю толстых птиц, важно гулявших у нас под ногами.

— Ирисами и резиной, — сказал Себастьян.

Стоны грузовичка, едва увильнувшего от мебельного фургона, отправили птиц колесить по небу. Они оседали на жемчужно-серый и черный фриз Триумфальной арки, и когда некоторые из них вспархивали снова, казалось, что оперяются и оживают кусочки резного антаблемента. Несколько лет спустя я обнаружил эту картину, "этот камень, сливающийся с крылом", в третьей из книг Себастьяна.

Перейдя еще несколько улиц, мы вышли к белым поручням ведущей на станцию лестницы. Тут мы расстались, вполне беззаботно... Помню удаляющийся плащ Себастьяна и сизовато-серую фигуру Клэр. Она взяла его под руку и приноровила походку к его машистому шагу.

Ныне я узнал от мисс Пратт много такого, что заставляет меня желать узнать еще больше. Она обратилась ко мне, чтобы выяснить, не осталось ли среди вещей Себастьяна каких-либо писем от Клэр Бишоп. Она подчеркнула, что

делает это не по поручению Клэр Бишоп, что фактически Клэр Бишоп ничего о нашем разговоре не знает. Клэр была замужем уже три или четыре года, к тому же она слишком горда, чтобы говорить о прошлом. Мисс Пратт виделась с ней через неделю примерно после того, как о смерти Себастьяна сообщили газеты, и, хоть женщины были давними подругами (то есть каждая знала о другой гораздо больше, чем полагала другая), Клэр не стала задерживаться на этой теме.

— Надеюсь, он был не слишком несчастен, — сказала она спокойно, потом прибавила: — Интересно, сохранил ли он мои письма?

То, как она это сказала, — прищурясь, быстрый вздох перед переменою темы, — все убедило подругу: для Клэр было бы большим облегчением узнать, что письма уничтожены. Я спросил мисс Пратт, нельзя ли мне увидеться с Клэр; нельзя ли упросить ее рассказать мне о Себастьяне. Мисс Пратт ответила, что, зная Клэр, она не посмела бы даже передать ей мою просьбу. "Безнадежно" — вот как она сказала. На миг я испытал низкое искушение намекнуть, что владею письмами и отдам их Клэр, если она соблаговолит со мной побеседовать, так страстно стремился я встретиться с ней, просто посмотреть на нее и увидеть, как скользнет по ее лицу тень имени, которое я назову. Но нет — я не мог шантажировать прошлое Себастьяна. Об этом нечего было и думать.

— Письма сгорели, — сказал я. И продолжал уговоры, повторяя снова и снова, что, верно, попытка не пытка, что она могла бы убедить Клэр, пересказав наш разговор, что мой визит будет очень недолгим и очень невинным.

— А, собственно, что вы хотите узнать? — спросила мисс Пратт. — Потому что, знаете, я и сама могу многое вам рассказать.

Она долго рассказывала мне о Клэр и Себастьяне, у нее это очень хорошо получалось, хотя, подобно большинству женщин, она имела склонность к некоторой назидательности задним числом.

— Вы хотите сказать, — перебил я ее в определенном месте ее рассказа, — что никто не узнал даже имени этой женщины?

— Никто, — ответила она.

— Но как же я ее найду? — воскликнул я.

— Вы ее никогда не найдете.

— Когда, вы сказали, это началось? — перебил я еще раз при упоминании о его болезни.

— Ну, — сказала она, — тут я не очень уверена. Я ведь видела не первый приступ. Мы вышли из какого-то ресторана. Было очень холодно, и он не мог отыскать такси, нервничал и злился. Он побежал за одной машиной, проскочившей мимо и вставшей. Потом вдруг остановился и сказал, что ему не по себе. Помню, он вынул из коробочки облатку или что-то такое и раздавил ее в своем белом шелковом шарфе и словно бы прижимал ее к лицу, пока давил. Это мог быть и двадцать седьмой год, и двадцать восьмой.

Я задал еще несколько вопросов. Она ответила на все так же обстоятельно и затем продолжила свой печальный рассказ.

После ее ухода я все записал, — но все это было мертво, мертво. Я просто обязан был увидеться с Клэр! Единый взгляд, единое слово, единый звук ее голоса был бы достаточен (и необходим, совершенно необходим) для оживления прошлого. Отчего это так, я не понимал, так же как не понимал вовсе, отчего в один незабываемый день несколькими неделями раньше я был так уверен, что доведись мне застать умирающего в живых, и я узнаю нечто такое, чего не знал еще ни один человек.

И вот, в один из понедельников, поутру, я отправился в гости.

Горничная провела меня в маленькую гостиную. Клэр дома, это я, по крайности, выяснил у румяной и довольно неотесанной молодой особы. (Себастьян замечает где-то, что английские романисты, описывая прислугу, никогда не уклоняются от определенного установившегося тона.) С другой стороны, я знал от мисс Пратт, что днем м-р Бишоп занят в Сити; как странно, — она вышла за человека с такой же фамилией, впрочем, никакого родства, чистой воды совпадение. Примет ли она меня? Вполне состоятельны, я бы сказал, но не слишком... Вероятно,

гостиная углом на втором этаже, и над нею две спальни. Вся эта улица состояла именно из таких стиснутых, узкофронтонных домов. Долгонько она решается... Может, лучше было рискнуть и сначала телефонировать? Рассказала ли ей уже мисс Пратт про письма? Вдруг вниз по лестнице зазвучали мягкие шаги, и огромный мужчина в черном халате с лиловатыми лацканами пружинисто вошел в комнату.

— Простите мне мой наряд, — сказал он, — но я в жестоком насморке. Я — Бишоп, а вы, как я понял, желали видеть мою жену.

Не подцепил ли он этот насморк, подумал я в курьезном припадке игривости, от красноносой, охриплой Клэр, виденной мною лет двенадцать назад?

— В общем да, — сказал я, — если она меня не забыла. Мы когда-то встречались в Париже.

— О, она отлично помнит вашу фамилию, — сказал м-р Бишоп, твердо глядя на меня, — но с сожалением должен сказать, что она не сможет увидеться с вами.

— А попозже я бы не мог заглянуть? — спросил я.

После недолгой паузы м-р Бишоп спросил:

— Прав ли я, полагая, что ваш визит каким-то образом связан со смертью вашего брата? — Он стоял передо мной, засунув руки в карманы халата и глядя на меня; светлые волосы отметены назад рассерженной щеткой, — хороший человек, достойный, надеюсь, он не против того, что я говорю это здесь. Могу добавить, что совсем недавно, в весьма печальных обстоятельствах, мы обменялись письмами, вполне покончившими со всякой неприязнью, какая могла примешаться к нашему первому разговору.

— Только это и не позволяет ей видеть меня? — спросил я в свой черед. Фраза вышла дурацкая, согласен.

— Как бы там ни было, вы ее не увидите, — сказал м-р Бишоп. — Простите, — прибавил он немного мягче, заметив, что я слегка отстранился, для верности. — Я уверен, что при иных обстоятельствах... но, видите ли, жена не очень охотно вспоминает о прошлых знакомствах, и вы извините меня, если я скажу, что, по-моему, вам не следовало приходить.

Я плелся назад, сознавая, что порядком испортил все дело. В воображении я рисовал, что сказал бы я Клэр, застав ее в одиночестве. Я как-то сумел уже убедить себя, что, окажись она одна, она бы меня приняла: так непредвиденная помеха преуменьшает те, с которыми свыклось воображение. Я сказал бы: “Не будем говорить о Себастьяне. Поговорим о Париже. Вы хорошо его знаете? Помните тех голубей? Расскажите, что вы читали в последнее время... А фильмы? Вы по-прежнему теряете перчатки, пакеты?” Или я мог бы прибегнуть к более дерзкому способу, к прямой атаке. “Да, я понимаю, что вы должны испытывать, но пожалуйста, пожалуйста, расскажите мне про него. Ради его портрета. Ради мелочей, которые уйдут и сгинут, если вы мне откажете, не позволив вставить их в книгу о нем”. О, я был уверен, что она нипочем не отказала бы мне.

И два дня спустя, с этим последним намерением, окрепшим в моей голове, я предпринял вторую попытку. На этот раз я решился действовать осмотрительнее. Стояло ясное утро, вполне еще раннее, и я был уверен, что она не станет сидеть в четырех стенах. Я неприметно займу позицию на углу ее улицы, погожу, покуда муж отбудет в город, дождусь, когда она выйдет, и тут заговорю с ней. Но все сложилось совсем не так, как я ожидал.

Мне оставалось пройти еще немного, когда внезапно появилась Клэр Бишоп. Она как раз переходила с моей стороны улицы на другую, и я узнал ее сразу, хоть и видел-то лишь однажды, в недолгие полчаса, многие годы назад. Я узнал ее, хоть лицо у нее теперь было измученное, а тело — неожиданно располневшее. Она шагала медленно, грузно; и, пересекая улицу по направлению к ней, я понял, что она — на сносях. Из-за присущей моей натуре порывистости, которая часто заводила меня куда не надо бы, я уже шел к ней с улыбкой привета, но в немногие эти мгновения меня потрясло совершенно ясное сознание того, что мне нельзя ни заговаривать с нею, ни даже поздороваться так или иначе. Это сознание не имело ничего общего ни с Себастьяном, ни с моей книгой, ни с перекорами между м-ром Бишопом и мной, но единственно — с ее величавой

сосредоточенностью. Я понимал, что даже узнать меня она ни в коем случае не должна, однако, как я сказал, мой порыв перенес меня через улицу, да так, что я едва не налетел на нее, выскочив на панель. Она тяжело отшагнула и подняла на меня близорукие глаза. Нет, слава Богу, она меня не узнала. Было что-то щемящее в торжественном выражении ее бледного, цвета опилок, лица. Мы оба замерли. С нелепым присутствием духа я вытянул из кармана первое, что подвернулось под руку, и спросил:

— Простите, пожалуйста, это не вы обронили?

— Нет, — ответила она с бесстрастной улыбкой. Мгновение она подержала вещицу у глаз. — Нет, — повторила она и, вернув мне ее, двинулась дальше. Я стоял, держа в руке ключ, будто бы только что подобранный с мостовой. Это был ключ от квартиры Себастьяна, и со странной болью я осознал, что она коснулась его своими невинными, незрячими пальцами...

9

Их связь продлилась шесть лет. За это время Себастьян написал два своих первых романа: “Призматический фацет” и “Успех”. Семь месяцев заняло у него сочинение первого (апрель — октябрь 1924-го) и двадцать два месяца — сочинение второго (июль 1925-го — апрель 1927-го). Между осенью 1927-го и летом 1929-го он написал три рассказа, переизданных позже под общим названием “Потешная гора” (1932). Иными словами, начальные три пятых всех его произведений (я опускаю юношеские — кембриджские стихи, например, которые он сам уничтожил) создавались на глазах у Клэр, а поскольку в промежутках между названными книгами Себастьян прокручивал в воображении, и откладывал, и снова прокручивал тот или иной замысел, можно с уверенностью сказать, что в эти шесть лет занят он был постоянно. И Клэр его занятия нравились.

Она вошла в его жизнь без стука, как входишь в чужую комнату из-за ее неуловимого сходства с твоей. Она осталась в ней, запамятовав дорогу назад и понемногу привык-

нув к странным созданиям, которых она там обнаружила и приласкала, несмотря на их удивительные обличья. Особенных упований на счастье или стремления составить счастье Себастьяна у ней не было, как не было и малейшего опасения касательно того, что может статься потом; а было просто естественное приятие жизни с Себастьяном, потому что жизнь без него представить было труднее, чем земную палатку в лунных горах. Если бы она родила ему ребенка, они, весьма вероятно, незаметно пришли бы к браку, потому что для всех троих он стал бы простейшим выходом; но, поскольку этого не случилось, им и не пришло в голову подвергнуться чистому и благодетельному обряду, который, очень возможно, пришелся бы по душе обоим, когда бы они его толком обдумали. В Себастьяне вовсе не было прогрессивного сора, этого "к-чертям-предрассудки". Он знал отлично, что показное презрение к установлениям морали есть все та же чопорность с черного хода, перелицованный предрассудок. Обычно он выбирал самый легкий этический путь (точно так же, как выбирал самый трудный — эстетический) просто потому, что так было ближе до выбранной цели; и он был слишком ленив в обыденной жизни (точно так же, как слишком тяжко трудился в артистической), чтобы возиться с вопросами, которые ставили и решали другие.

Клэр, когда она встретила Себастьяна, исполнилось двадцать два года. Отца она не помнила, мать умерла тоже, а отчим женился опять, и смутное представление о семье, которое давала ей эта чета, смахивало на старый софизм о замене сначала рукоятки, а после клинка, хотя, конечно, вряд ли могла она надеяться отыскать и соединить изначальные части — во всяком случае, по эту сторону Вечности. Она одиноко жила в Лондоне, без усердия посещала художественную школу и курсы восточных языков — ни больше ни меньше. Людям она нравилась, в ней была спокойная приятность — очаровательное неяркое лицо и мягкий, хрипловатый голос, отчего-то западающий в память, как если б она наделена была таинственным даром запоминаться: она хорошо выходила в памяти, была мнемогенична. Даже в ее довольно больших, с крупными

костяшками, руках таилось редкое очарование, и еще она хорошо танцевала — легко и безмолвно. Но самое главное, она принадлежала к тем редким, исключительно редким женщинам, что не принимают мир как данность и видят в повседневных вещах не просто знакомые зеркала собственной женственности. Она обладала воображением — этой мышцей души, — и воображением особенно сильным, почти мужского достоинства. Ей было свойственно также то истинное чувство прекрасного, которое состоит в куда меньшей связи с искусством, чем с всегдашней готовностью различить ореол вокруг сковородки или сходство плакучей ивы со скайтерьером. И наконец, ей выпало на удачу острое чувство юмора. Не удивительно, что она так впору пришлась его жизни.

Уже в начале знакомства они виделись часто; осенью она уехала в Париж, и он навещал ее там, подозреваю, что не единожды. К этому времени поспела его первая книга. Она научилась печатать, и летние вечера 1924 года стали для нее страницами, которые входили в прорезь и выбирались наружу уже живыми от черных и фиолетовых слов. Мне нравится воображать — ее, стучащей по влажно блестящим клавишам под звуки теплого ливня, шуршащего в темных ильмах за открытым окном, и голос Себастьяна, медленный и серьезный (он не просто диктовал, сказала мисс Пратт, — он священнодействовал), блуждающий по комнате взад и вперед. Большую часть дня он проводил за писанием, но продвижение было столь затрудненным, что едва ли более двух новых листков выпадало ей отпечатать за вечер, да и тех ждала переделка, ибо Себастьян погружался обыкновенно в оргию помарок; порою же он проделывал такое, чего, смею сказать, сроду ни один автор не делывал, — переписывал уже отпечатанную страницу своей уклончивой, неанглийской рукой и диктовал ее наново. Борьба со словами давалась ему на редкость болезненно, и тому было две причины. Одна, общая для писателей его склада: наведение мостов через пропасть, лежащую между высказываньем и мыслью; сводящее с ума ощущение, что правильные, единственные слова ждут тебя на другом берегу, в туманной дали; и дрожь еще не одетой мысли, выкли-

кающей их с этого края пропасти. Готовое словесное платье ему не годилось, поскольку то, что он собирался сказать, обладало необщим сложеньем; к тому же он знал, как бессмысленны разговоры о существовании подлинной мысли, пока не имеется слов, сделанных ей под стать. И потому (прибегнем к более точному сравнению) мысль, которая лишь кажется голой, требует только, чтобы стало зримым ее облачение, а слова, мреющие вдали, — это вовсе не пустые скорлупки, какими они представляются, они только и ждут, когда мысль, уже в них сокрытая, воспламенит их и пустит в ход. По временам он ощущал себя ребенком, которому дали клубок проводов и велели сотворить чудо света. И он творил его, подчас совершенно не понимая, как это ему удается, а иногда часами теребил провода самым, казалось бы, осмысленным образом — и не достигал ничего. Клэр же, во всю ее жизнь не сочинившая ни строки, ни прозаической, ни стихотворной, так хорошо понимала (и это было ее личное чудо) каждую частность его борений, что слова, которые она печатала, становились для нее не столько носителями их прирожденного смысла, сколько кривыми, разрывами и зигзагами, отображающими медленное — на ощупь — перемещение Себастьяна вдоль некоей идеальной линии выражения.

Но и это не все. Я знаю, знаю так же верно, как знаю, что мы с ним — дети одного отца, я знаю, что русский язык Себастьяна был богаче, был естественней для него, чем английский. Я очень даже верю, что Себастьян, не говоря по-русски пять лет, мог внушить себе, будто он забыл русский язык. Однако язык — живучая тварь, от которой не так-то просто избавиться. К тому же следует помнить, что за пять лет до его первой книги, — то есть в то время, когда он покинул Россию, — его английский был так же скуден, как мой. Я несколько лет спустя усовершенствовал свой искусственно (усердными штудиями за границей), он постарался дать своему расцвести естественным образом, в его природной среде. Тот расцвел, и на диво, и все-таки я настаиваю: возьмись он писать по-русски, ему не пришлось бы так мучиться со словами. И позвольте прибавить, что я располагаю письмом, написанным Себастьяном неза-

долго до смерти. Это короткое письмо писано на русском языке, более чистом и богатом, чем был когда-либо его английский, каких бы красот выражения он ни достиг в своих книгах.

Я знаю и то, что Клэр, перенося на бумагу слова, которые выпутывал из рукописи Себастьян, временами переставала печатать и говорила, немного нахмурясь, приподняв краешек стиснутого листа и перечитывая строку:

— Нет, милый, так по-английски нельзя.

Миг-другой он смотрел на нее, потом опять принимался рыскать по комнате, без охоты взвешивая ее замечание, она же сидела, мягко сложив на коленях ладони, и тихо ждала.

— Иначе это не выразишь, — бормотал он в конце концов.

— А если, допустим... — говорила она — и следовало точное предложение.

— Ну, хорошо, будь по-твоему, — отвечал он.

— Я не настаиваю, милый, как хочешь. Если ты считаешь, что дурная грамматика не повредит...

— Ох, да продолжай же, — вскрикивал он, — ты совершенно права, продолжай...

К ноябрю 1924 года "Призматический фацет" был завершен. Он вышел в марте следующего года и никакого успеха не имел. Просмотрев тогдашние газеты, я смог отыскать лишь одно упоминание о нем. Пять с половиной строк в воскресной газете, между другими, относящимися до других книг. " 'Призматический фацет' — это, по-видимому, первый роман и как таковой не может быть судим столь же строго, как (книга Имярека, обсуждаемая выше). Смех его мне представляется невнятным, а невнятности — смешными, впрочем, возможно, существует род литературы, прелести которого мне недоступны. Однако, в угоду читателям, коим по нраву подобного сорта вещи, могу добавить, что м-р Найт так же умело распутывает канитель, как и разделяет инфинитивы".

Та весна была, возможно, счастливейшей в жизни Себастьяна. Он произвел одну книгу на свет и уже ощущал толчки другой. У него было превосходное здоровье. У него

была восхитительная подруга. Его не терзала теперь ни одна из тех ничтожных забот, что прежде одолевали его с упорством муравьиной семьи, заселяющей гасиенду. Клэр рассылала его письма, и проверяла счета из прачечной, и следила, чтобы у него всегда было вдоволь бритвенных лезвий, табака и соленого миндаля, к которому он питал особую слабость. Ему нравилось, пообедав с ней где-нибудь, отправиться в театр. Пьеса почти неизменно заставляла его потом корчиться и стенать, но он испытывал болезненное наслаждение, препарируя ее пошлости. Выражение алчности, злобного пыла раздувало его ноздри, и, стиснув зубы в пароксизме гадливости, он набрасывался на какую-нибудь жалкую плоскость. Мисс Пратт припомнила случай, когда ее отец, какое-то время имевший денежный интерес в фильмовом промысле, пригласил Себастьяна и Клэр на приватный просмотр очень пышного и дорогого фильма. Главную роль исполнял замечательно статный молодой человек в шикарном тюрбане, а интрига была страх как драматична. В миг наивысшего напряжения Себастьян, к крайнему удивлению и раздражению м-ра Пратта, вдруг затрясся от смеха, причем Клэр тоже забулькала, но теребила его за рукав, тщетно пытаясь утихомирить. Славно, должно быть, они коротали время, эти двое. И невозможно поверить, что это тепло, эта нежность, красота всего этого не собраны и не сберегаются где-то, как-то, каким-то бессмертным свидетелем смертной жизни. Их можно было увидеть гуляющими в Кью-Гарденз или в Ричмонд-Парке (сам я ни разу там не был, но названия мне приятны), или поедающими яичницу с ветчиной в какой-нибудь уютной харчевне во время летней прогулки за городом, или читающими на просторном диване Себастьянова кабинета: горит веселое пламя, и английское Рождество уже наполняет воздух, настоянный на лаванде и коже, легким запахом пряностей. И, верно, можно было услышать, как Себастьян рассказывает ей о необычайных вещах, которые он попытается выразить в новом своем романе, в “Успехе”.

В один из летних дней 1926 года, ощутив себя высохшим и выдохшимся после схватки с особо непокорной главой,

он решил, что следует месяц передохнуть за границей. Клэр, которую держали в Лондоне какие-то дела, сказала, что присоединится к нему примерно через неделю. Когда она наконец появилась на выбранном Себастьяном морском немецком курорте, ей неожиданно сообщили в отеле, что Себастьян уехал, куда — неизвестно, но должен вернуться дня через два. Это озадачило Клэр, хоть, как она после рассказывала мисс Пратт, и не вызвало у нее чрезмерной тревоги или беспокойства. Мы можем представить ее — высокую, тонкую фигуру в голубом макинтоше (погода стояла неприветливая и угрюмая), — бесцельно бредущую по променаду; песчаный пляж пуст, не считая нескольких неунывающих детей, скорбно плещут под умирающим бризом трехцветные флаги, стальное серое море там и сям вскипает гребешком пены. Дальше по берегу рос буковый лес, глубокий и мрачный, без подлеска, только вьюнок покрывал волнистую бурую землю, и странная бурая тишина стояла, выжидая, между прямых и гладких стволов; ей подумалось, что в любую минуту она может встретить красноколпачного немецкого гнома, подглядывающего за ней яркими глазками из-под палых листьев ложбины. Распаковав купальные принадлежности, она провела приятный, хоть и несколько вялый день, лежа на мягком белом песке. Утром снова шел дождь, до завтрака она оставалась в своей комнате, читая Донна, который потом так навсегда и связался у ней с бледно-серым светом этого влажного и мглистого дня и с ревом ребенка, желавшего играть в коридоре. Вскоре появился Себастьян. Он явно обрадовался ей, но что-то было в его повадке не вполне натуральное. Он казался встревоженным, нервным и отворачивался всякий раз, что она пыталась встретиться с ним глазами. По его словам, он столкнулся с человеком, которого знал сто лет назад, в России, и они поехали на его машине в (он назвал городок на побережье, в нескольких милях отсюда).

— Но что с тобой, милый? — спросила она, вглядываясь в его пасмурное лицо.

— Ах, да ничего, ничего, — сварливо выкрикнул он, — не могу я сидеть, ничего не делая, мне нужно работать, — прибавил он и отвернулся.

— Хотела б я знать, правду ли ты говоришь, — сказала она.

Он пожал плечами и ребром ладони провел по вмятинке в шляпе, которую держал в руках.

— Пошли, — сказал он. — Давай позавтракаем и назад, в Лондон.

Однако удобного поезда не было до самого вечера. Погода разведрилась, они пошли прогуляться. Раз или два Себастьян попытался принять свой обычный беспечный тон, но веселость как-то выдохалась, и оба они примолкли. Они вошли в буковый лес. Здесь витала та же загадочная и угрюмая настороженность, и он заметил, хоть она и не сказала ему, что уже тут побывала:

— Как здесь странно и тихо. Жутковато, правда? Так и ожидаешь увидеть лешего среди палой листвы и вьюнка.

— Послушай, Себастьян, — воскликнула вдруг она и положила руки ему на плечи. — Я хочу знать, что случилось. Ты, может быть, меня разлюбил? Так?

— Ах, душка моя, что за чушь, — сказал он совершенно искренне. — Впрочем... если тебе обязательно знать... видишь ли... я плохой притворщик, и, ладно, лучше, чтобы ты знала. В общем, у меня чертовски разболелась грудь и рука, и я решил махнуть в Берлин, показаться доктору. А он меня засунул в постель... Серьезно?.. Да нет, надеюсь, что нет. Мы с ним поговорили о коронарных артериях, о кровоснабжении и синусах Сальвы, вообще он, по-моему, дельный старичок. Надо будет в Лондоне повидаться еще кое с кем, получить независимое мнение, хотя сегодня я себя чувствую превосходно...

Думаю, Себастьян знал уже, какой сердечной болезнью он страдает. Его мать скончалась от того же недуга — довольно редкой разновидности грудной жабы, некоторыми докторами называемой “болезнью Лемана”. Похоже, впрочем, что после первого приступа он получил почти годовую отсрочку, лишь временами испытывая странное покалыванье в левой руке, словно от внутреннего зуда.

Вновь уселся он за работу и упорно трудился всю осень, весну и зиму. “Успех” писался труднее, чем первый роман, и отнял значительно больше времени, при том что обе

книги получились примерно одной длины. Счастье мне улыбнулось, и я из первых рук получил описание дня, в который был закончен “Успех”. Я обязан им человеку, с которым познакомился позже, собственно, большая часть воображаемых картин, предложенных мною читателю в этой главе, возникла из сопоставления рассказов мисс Пратт с рассказами еще одного Себастьянова друга, хотя искра, воспламенившая их, каким-то таинственным образом связана с Клэр Бишоп, с той минутой, когда я увидел ее тяжело ступающей по лондонской улочке.

Дверь отворяется. Виден Себастьян Найт, распластанный на полу своего кабинета. У стола Клэр собирает в опрятную стопку отпечатанные страницы. Вошедший замирает.

— Нет, Лесли, — с пола говорит Себастьян, — я не умер. Я завершил сотворение мира, и это мой отдых субботний.

10

“Призматический фацет” был по достоинству оценен, лишь когда первый настоящий успех Себастьяна заставил другое издательство (Бронсона) заново напечатать его, но даже тогда он раскупался не так хорошо, как “Успех” или “Утерянные вещи”. Для первого романа он выказывает замечательную силу художественной воли и литературного самообладания. Как это часто случалось в творчестве Себастьяна Найта, он прибегнул к пародии как к своего рода подкидной доске, позволяющей взлетать в высшие сферы серьезных эмоций. Дж. Л. Коулмен говорит в этой связи об “окрыленном клоуне, об ангеле, притворившемся турманом” — эта метафора представляется мне весьма уместной. Хитроумно построенный на пародировании различных уловок литературного ремесла, “Призматический фацет” взмывает ввысь. С чувством, чем-то родственным фанатической ненависти, Себастьян Найт выискивал вещи, некогда свежие и яркие, а ныне изношенные до нитки, мертвые среди живых, мертвые, но подделывающиеся под живых,

крашеные-перекрашеные, но все принимаемые ленивыми умами, безмятежно не ведающими обмана. Разлагающаяся идея может быть вполне невинной сама по себе, можно также сказать, что нет большого греха и в том, чтобы по-прежнему пользоваться тем или иным совершенно истасканным сюжетом или стилем, раз они еще радуют и развлекают. Но для Себастьяна Найта любая безделица вроде, скажем, методы, усвоенной детективным рассказом, становилась раздутым, зловонным трупом. Он ничего не имел против грошового романа ужасов — дежурная мораль его не заботила; но что неизменно его раздражало, так это второй сорт, — не третий, не пятый-десятый, — потому что здесь, еще на читаемом уровне, и начиналась подделка, а она-то и была аморальной, в *художественном* смысле. Однако "Призматический фацет" это не просто забавная пародия на декор детектива, но еще и издевательское подражание массе иных вещей: к примеру, некоему литературному обычаю, отмеченному в современном романе Себастьяном Найтом с его сверхъестественным чутьем на потаенный распад, — а именно модному приему сведения разношерстной публики в замкнутом пространстве (в гостинице, на острове, на улице). Кроме того, по ходу книги высмеиваются разнообразные стили, равно как и проблема сочетания прямой речи с повествовательной, которую элегантное перо разрешает, отыскивая такое число вариантов для "он сказал", какое только удается словить в словаре между "ахать" и "язвить". Но повторяю, все это сумрачное веселье для автора — лишь подкидная доска.

Двенадцать человек живут в пансионе; дом описан очень старательно, но, дабы подчеркнуть "островной" оттенок, весь остальной город показан небрежно, как межвидовая помесь природных туманов и внутривидовая — сценических декораций с ночным кошмаром торговца недвижимостью. Как указывает (не напрямую) автор, этот способ чем-то сродни фильмовой традиции изображения героини в небывалые годы ее учебы — пленительно выделяющейся из толпы заурядных и сносно реальных школьниц. Один из жильцов, некий Г. Абезон, торговец картинами, найден в его комнате убитым. Офицер местной

полиции, вся характеристика которого сведена к описанью его башмаков, телефонирует лондонскому сыщику и просит его приехать как можно скорее. Из-за стечения несчастных обстоятельств (его машина переезжает старушку, а потом он садится не в тот поезд) сыщик не появляется очень долго. Тем временем всесторонне исследуются все обитатели пансиона плюс случайный прохожий, старик Нозебаг, оказавшийся в вестибюле, когда открылось преступление. Все они, за изъятием последнего из поименованных, кроткого старого господина с белой бородой, пожелтевшей у рта, и с безобидной страстью к коллекционированию табакерок, более или менее подозрительны, а один скользкий студент-живописец — в особенности: под его кроватью находят с полдюжины испачканных кровью носовых платков. Стоит, кстати, отметить, что для упрощения и "сгущения" происходящего ни один из слуг или служащих гостиницы не упомянут, и никого их небытие не заботит. Затем, быстро и плавно, что-то в рассказе начинает смещаться (сыщик, это следует помнить, все еще едет, а окоченелый труп Г. Абезона по-прежнему лежит на ковре). Постепенно становится ясно, что все постояльцы так или иначе связаны друг с дружкой. Старая дама из № 3 оказывается матерью скрипача из № 11. Романист, занимающий спальню по фасаду, — это, собственно, муж молодой дамы, проживающей на задах четвертого этажа. Скользкий студент-живописец — не кто иной, как брат этой дамы. Важный луноликий джентльмен, очень со всеми вежливый, оказывается лакеем сварливого старика полковника, а тот, судя по всему, — отцом скрипача. Процесс постепенного размывания продолжается, и становится очевидным, что студент помолвлен с маленькой толстушкой из № 5, а она приходится старой даме дочерью от первого брака. И когда лоун-теннисный чемпион-любитель из № 6 оказывается братом скрипача, а романист их дядей, а старая дама из № 3 женой сварливого полковника, номера на дверях тихонечко тают и мотив пансиона безболезненно и гладко сменяется мотивом загородного дома со всем, что отсюда естественным образом проистекает. Тут в повествовании возникает странная красота. Идея времени, над которой

нас заставили посмеяться (заблудившийся сыщик... застрявший где-то в ночи), как бы сворачивается клубочком и засыпает. Жизнь персонажей переливается ныне подлинным и человеческим содержанием, а опечатанная дверь Г. Абезона становится всего лишь дверью в забытый чулан. Новая фабула, новая драма, ничем не связанная с началом повествования, которое тем самым вытесняется в область снов, кажется, вступает в борьбу за существование, пытаясь пробиться к свету. Но в самую ту минуту, когда читатель начинает чувствовать себя вполне безопасно в обстановке приятной яви, а грациозность и блеск авторской прозы указывают, по-видимому, на возвышенность и честность его намерений, раздается дурацкий стук в дверь и появляется сыщик. Мы снова барахтаемся в трясине пародии. Сыщик, тертый малый, не выговаривает "г", причем притворяется, будто это он притворяется — оригинальности ради; ибо тут пародируется не мода на Шерлока Хольмса, но современное отношение к ней. Вновь перебираются все постояльцы. Возникают новые нити. Кроткий старик Нозебаг путается у всех под ногами, такой совсем рассеянный и безвредный. Он просто зашел узнать, поясняет он, нет ли у них свободной комнаты. Похоже, вот-вот в дело пойдет старый трюк — превращение самой невинной с виду персоны в главного негодяя. Сыщик начинает вдруг проявлять интерес к табакеркам. "А'а, — говорит он, — а кто у нас тут по искусству?" Внезапно вваливается полисмен, весь багровый, и докладывает, что покойник дал деру. Сыщик: "Какую де'у, парень?" Полисмен: "Деру, сэр. В комнате пусто". Наступает минута нелепого остолбенения. "Думаю, — говорит старик Нозебаг, — я смогу вам все объяснить". Медленно, с большой осторожностью, он снимает бороду, седой парик, темные очки, и открывается лицо Г. Абезона. "Видите ли, — произносит м-р Абезон с самоуничижительной улыбкой, — никому ведь не хочется, чтобы его убивали".

Я постарался, как мог, показать ходы этой книги, по крайности некоторые из ходов. Ее обаяние, юмор и пафос воспринимаются лишь при непосредственном чтении. Но для просвещения тех, кто ощущает себя сбитым с толку ее

наклонностью к метаморфозе или просто испытывает отвращенис, обнаружив нечто не совместимое с представлением о "приятной книге", когда ему случается открыть книгу совершенно новую, мне хотелось бы указать на следующее: вполне насладиться "Призматическим фацетом" возможно, лишь понимая, что его герои суть то, что можно расплывчато обозначить как "приемы сочинительства". Это как если бы художник сказал: смотрите, здесь я хочу показать вам не изображение ландшафта, но изображение различных способов изображения некоего ландшафта, и я верю, что их гармоническое слияние откроет в ландшафте то, что мне хотелось вам в нем показать. В первой своей книге Себастьян привел этот эксперимент к логическому и удовлетворительному завершению. Испытывая ad absurdum ту или иную литературную манеру и отвергая их одну за другой, он создал собственную и в полной мере применил ее в следующей книге, в "Успехе". Здесь он представляется перешедшим в иную плоскость, поднявшимся ступенью выше, ибо, если первый его роман посвящен приемам литературного сочинительства, — во втором речь идет большей частью о приемах, которыми пользуется человеческая судьба. С научной точностью классификации, проверки и отбраковки колоссального количества данных (возможность накопления коих обеспечена фундаментальным предположением, что автор способен узнать о своих персонажах все ему потребное, причем эта способность ограничена лишь методой и целью проводимого им отбора, при условии что тот является не бестолковым копошением в никчемных подробностях, но поиском, обстоятельным и последовательным) Себастьян Найт посвящает триста страниц "Успеха" одному из сложнейших исследований, на какие когда-либо решался писатель. Нам сообщают, что некий коммивояжер, Персиваль К., в некий миг его жизни и в неких обстоятельствах встречает девушку, помощницу фокусника, с которой он будет счастлив отныне и навек. Встреча является или представляется случайной: оба оказались в машине, принадлежащей участливому незнакомцу, в день, когда забастовали автобусы. Такова формула: вовсе не интересная, если рассматривать ее как истинное проис-

шествие, но становящаяся источником удивительного духовного наслаждения и восторга при созерцании под определенным углом. Задача автора — выяснить, как и откуда эта формула возникла; и все волшебство и сила его искусства нацелены на выяснение точного способа, которым удалось заставить сойтись две линии жизни; в сущности, вся книга — это великолепная игра причинных связей или, если угодно, исследование этиологической тайны случайных событий. Шансы представляются неограниченными. С переменным успехом просматриваются несколько очевидных линий расследования. Отступая назад, автор устанавливает, почему забастовку назначили на тот именно день, — оказывается, что причиной всему — пожизненное пристрастие некоего государственного деятеля к числу девять. Это нас никуда не приводит, и след оставляется (не без того, чтобы позволить нам понаблюдать за пылкими партийными препирательствами). Другой ложный след — автомобиль незнакомца. Мы пытаемся выяснить, кто этот незнакомец, что заставило его именно в эту минуту ехать по этой улице; но, узнав, что последние десять лет своей жизни он проезжает здесь, по дороге в контору, каждый рабочий день, мы расстаемся с ним несолоно хлебавши. Итак, остается предположить, что внешние обстоятельства встречи не могут служить образчиком предприимчивости судьбы в отношении двух персонажей, что они — только данность, фиксированная точка, причинной важности не имеющая; поэтому с чистой совестью мы обращаемся к иной проблеме: почему именно К. и девушка, которую зовут Анной, именно эти двое сошлись и на мгновение стали бок о бок на тротуаре в этом именно месте. И вот автор прослеживает вспять линию судьбы сначала девушки, потом мужчины, потом сличает записи и снова исследует обе линии поочередно.

Мы узнаем массу любопытного. Две линии, которые в конце концов сходятся в точке встречи, в действительности — не прямые стороны треугольника, неукоснительно расходящиеся к неведомому основанию, но волнистые кривые, которые то разбегаются, то почти соприкасаются. Иными словами, в жизни этих людей имелось самое малое

два случая, когда они, не ведая друг о друге, едва не встретились. В каждом случае судьба, казалось, готовила встречу со всемерным тщанием, подстегивая то одну, то другую возможность; перекрывая выходы и подкрашивая указатели; вкрадчиво пережимая кисею рампетки, в которой бились бабочки; выверяя малейшие детали и ничего не оставляя случаю. Раскрытие этих тайных приготовлений завораживает, автор, берущий в расчет все краски места и обстоятельств, кажется аргусоглазым. Но всякий раз небольшая ошибка (тень упущения, заделанная лазейка оставленной без присмотра возможности, прихоть свободной воли) отравляет радость детерминиста, и две жизни вновь разбегаются с нарастающей скоростью. Так, Персиваль К. в последнюю минуту не смог (его пчела укусила в губу) пойти на вечеринку, куда судьба с бесконечными затруднениями управилась привести Анну; так, поддавшись минутному настроению, она не смогла получить старательно подготовленное место в бюро утерянных вещей, где служил брат К. Но судьба слишком настойчива, чтобы теряться от неудач. И окончательного успеха она достигает посредством таких тонких махинаций, что не раздается и легкого щелчка, когда эти двое сходятся.

Я не стану входить в иные подробности этой умной и увлекательной книги. Она известна более всех сочинений Себастьяна, хотя три его последние книги во многом ее превосходят. Как и в рассказе о "Призматическом фацете", единственной моей целью было — дать ощущение ее ходов, быть может, в ущерб впечатлению красоты, оставляемому книгой самой по себе, помимо ее искусных выдумок. В ней есть, если мне позволено будет добавить, одно место, так странно связанное с внутренней жизнью Себастьяна в пору завершения последних глав, что стоит его привести, оттенив тем самым ряд замечаний, относящихся более к извилистостям авторского мозга, чем к эмоциональной стороне его искусства.

"Вильям [первый, подозрительно женственный жених Анны, который потом ее бросил], как всегда, проводил ее до дому и легко приобнял в темноте дверного проема. Внезапно она почувствовала, что лицо его влажно. Он при-

крыл ладонью глаза и нащупал платок. “Дождик в раю... — сказал он, — луковица ликования... бедный Вилли волей-неволей весь волглый”. Он поцеловал ее в угол рта и высморкался с легким и влажным всхлипом. “Взрослые мужчины не плачут”, — сказала Анна. “Так я же не взрослый, — ответил он, чуть подныхвая. — Смотри, сколько детского в этой луне и в мокрой панели, и любовь — как младенец, сосущий мед...” “Перестань, пожалуйста, — сказала она. — Ты знаешь, я терпеть не могу, когда ты так говоришь. Это так неумно, так...” “Так вильямно”, — он вздохнул. Он снова поцеловал ее, они стояли, подобные мягким и темным статуям с неразличимыми головами. Прошел полицейский с ночью на поводке и встал, чтобы дать ей обнюхать почтовую тумбу. “Я счастлива, как и ты, — сказала она, — но мне вовсе не хочется плакать или болтать чепуху”. “Но как же ты не видишь, — прошептал он, — как ты не видишь, что счастье — в лучшем случае лишь скоморох собственной смертности?” “Спокойной ночи”, — сказала Анна. “Завтра в восемь”, — крикнул он, когда она скользнула прочь. Он ласково погладил дверь и минуту спустя уже тащился по улице. Она теплая и мягкая, думал он, и я люблю ее, и все это впустую, впустую, потому что мы умираем. Я не в силах снести это сползание в прошлое. Вот и последний поцелуй уже умер, и “Женщина в белом” (фильм, который они собирались смотреть в этот вечер) мертва, как надгробье, и полицейский, прошедший мимо, тоже мертв, и даже дверь мертва, как любой из ее гвоздей. И эта последняя мысль тоже уже умерла. Прав Коутс [доктор], когда говорит, что сердце у меня слишком мало по моему росту. И по горестям тоже. Он брел, беседуя сам с собой, тень его то казала длинный нос, то приседала в реверансе, отскальзывая от фонаря. Достигнув своего унылого жилища, он долго лез в темноте по лестницам. Прежде чем лечь, он стукнул в дверь фокусника, старик, стоя в подштанниках, разглядывал пару черных штанов. “Ну как?” — спросил Вильям. <...> “Выговор мой им, вишь, не по нраву, — ответил тот, — да только, думаю, этот номер я все одно получу”. Вильям присел на кровать и сказал: “Тебе бы волосы надо покрасить”. “У меня

больше лысины, чем седины", — сказал фокусник. "Вот интересно, — сказал Вильям, — куда девается все, что мы теряем, ведь *где-то* должно же все это быть, верно? выпавшие волосы, ногти..." "Опять нализался?" — предположил без особого интереса фокусник. Он старательно сложил брюки и велел Вильяму слезть с кровати, чтобы сунуть их под матрас. Вильям перебрался в кресло, и фокусник приступил к делу; волоски искрились на икрах, пучились губы, ласково двигались мягкие руки. "Я просто счастлив", — сказал Вильям. "По виду не скажешь", — заметил серьезный старик. "Можно, я куплю тебе кролика?" — спросил Вильям. "Коли понадобится, займу где-нибудь", — ответил фокусник, вытягивая "понадобится", как бесконечную ленту. "Смешная профессия, — сказал Вильям, — словно карманник спятил. Что медяки у нищего в шляпе, что яичница в твоем цилиндре. Одинаково глупо". "Нам к оскорблениям не привыкать", — сказал фокусник. Он спокойно выключил свет, и Вильям ощупью выбрался наружу. Книги на его кровати, казалось, ленились стронуться с места. Раздеваясь, он воображал недоступные прелести залитой солнцем прачечной: синюю воду и алость запястий. Может, Анну попросить постирать рубашку? Неужели он ее опять рассердил? Неужели она и вправду надеется, что когда-нибудь мы поженимся? Бледные маленькие веснушки на глянцевой коже, ниже невинных глаз. Чуть выступает правый резец. Мягкая теплая шея. Он снова почувствовал, как напирают слезы. Уйдет ли и она дорогою Мэй, Джуди, Джульетты, Августы и всех остальных погорелиц его любви? Он слушал, как в смежной комнате запирается танцовщица, плещется, со стуком ставит кувшин, мечтательно откашливается. Что-то, звякнув, упало. Фокусник начал храпеть".

11

Я быстро приближаюсь к критической точке сентиментальной жизни Себастьяна и, рассматривая уже сделанную работу в бледном отсвете еще не выполненной мною зада-

чи, чувствую себя на редкость неловко. Сумел ли я честно отобразить эту часть Себастьяновой жизни, как надеялся — и как надеюсь теперь, переходя к ее последней поре? Безотрадная возня с чужими мне оборотами речи и полное отсутствие литературного навыка не располагают к чрезмерной самоуверенности. Но как бы ни худо я справился в прежних главах со своею задачей, я намереваюсь продолжать, и в этом меня поддерживает тайное знание, что каким-то неприметным способом тень Себастьяна пытается мне помочь.

Я получил и менее отвлеченную помощь. П. Дж. Шелдон, поэт, много видавшийся с Себастьяном и Клэр между 1927 и 1930 годом, любезно согласился рассказать мне все, что ему известно, когда я обратился к нему вскорости после странной полувстречи с Клэр. И он же, два месяца спустя (когда я уже приступил к этой книге), сообщил мне о несчастной участи Клэр. Она казалась такой нормальной и здоровой молодой женщиной, как же случилось, что она умерла, истекши кровью рядом с пустой колыбелью? Он рассказал мне, как она радовалась, когда "Успех" стал оправдывать свое название. Ибо на сей раз это и впрямь был успех. Почему так вышло, почему должна была провалиться одна превосходная книга, а другая, столько же превосходная, — получить по достоинству, — останется вечной загадкой. Как и с первым своим романом, Себастьян и пальцем не шевельнул, не потянул ни единой ниточки, чтобы обеспечить "Успеху" броские извещения и теплый прием. Когда агентства, рассылающие газетные вырезки, принялись засыпать его образцами похвал, он отказался и стать их подписчиком, и поблагодарить доброжелательных критиков. Выражение благодарности человеку, который, сказав о книге что думает, попросту исполнил свой долг, представлялось Себастьяну недостойным и даже обидным, предполагающим присутствие тепловатой человеческой мути в морозной ясности бесстрастного суждения. Сверх того, единожды начав, он вынужден был бы и дальше благодарить и благодарить за всякую новую строку, чтобы не обидеть человека неожиданным упущением; и в итоге возникло бы такое душное, дурманящее тепло, что при всей

широко известной честности того или иного критика признательный автор никогда не имел бы полной, полной уверенности, что там или сям не втерлось украдкой личное расположение.

Слава в наши дни вещь слишком заурядная, чтобы почитать за нее неизменную пылкость, с которой принимается книга, того заслужившая. Но слава то была или не слава, Клэр намеревалась извлечь из нее удовольствие. Ей хотелось встречаться с людьми, желавшими встреч с Себастьяном, решительно не желавшим их видеть. Ей хотелось послушать, что говорят об "Успехе" люди, но Себастьян заявил, что эта книга ему больше не интересна. Она хотела, чтобы Себастьян вступил в литературный клуб и сошелся с другими писателями. И раз или два Себастьян втискивался в крахмальную сорочку и снова из нее выбирался, не промолвив ни слова на обеде, заданном в его честь. Он не очень хорошо себя чувствовал. Плохо спал. У него случались ужасные вспышки раздражения — и это было ново для Клэр. Как-то под вечер, когда он работал у себя в кабинете над "Потешной горой", стараясь не сбиться с крутой и скользкой тропы, кружащей в темных расселинах невралгии, к нему вошла Клэр и нежнейшим своим голоском понаведалась, не примет ли он посетителя.

— Нет, — сказал Себастьян, показывая зубы только что написанному слову.

— Но ты пригласил его к пяти и...

— Ну вот, добилась... — выкрикнул Себастьян и ахнул вечным пером об ошарашенную белую стену. — Ты что, не можешь дать мне спокойно работать? — орал он, набирая такую мощь, что П. Дж. Шелдон, в смежной комнате игравший с Клэр в шахматы, встал и прикрыл дверь в прихожую, где пребывал в ожидании смирный маленький человечек.

По временам на него нападало безудержное озорство. Как-то вечером, в обществе Клэр и еще двух друзей, он придумал замечательный способ разыграть человека, с которым им предстояло свидеться после обеда. Шелдон, довольно странно, забыл, что в точности было задумано. Себастьян хохотал, поворачиваясь на каблуках и ударяя

кулаком о кулак, что он делал в минуты искреннего веселья. Они уж готовы были начать, сгорали от нетерпения и так далее, и Клэр уже вызвонила такси, и серебристые туфельки сверкали на ней, и она отыскала сумочку, как Себастьян вдруг утратил, казалось, всякий интерес к продолженью затеи. Он поскучнел, зевнул, не раскрывая рта, что было до крайности неприятно, и наконец сказал, что, пожалуй, прогуляется с собакой и завалится спать. В те дни у них был маленький черный бульдожик, позже он заболел, и пришлось его умертвить.

Была написана "Потешная гора", потом "Альбиносы в черном", а после "Изнанка Луны". Помните восхитительного героя этого рассказа, смирного, пребывающего в ожидании поезда человечка, который помогает трем незадачливым путешественникам в трех различных делах? Этот м-р Зиллер, пожалуй, самое живое из созданий Себастьяна и в то же время он — последний представитель "темы расследования", которую я обсуждал в связи с "Призматическим фацетом" и с "Успехом". Словно бы некая мысль, постепенно прораставшая сквозь две его книги, выбилась теперь в реальное физическое бытие, и вот м-р Зиллер отвешивает поклон, и каждая подробность его облика и повадки осязаема и уникальна — кустистые брови и опрятные усики, мягкий воротничок и адамово яблоко, "шевелящееся, словно пухлые формы соглядатая за шпалерой", карие очи, винно-красные вéночки на крупном, крепком носу, "форма которого заставляла гадать, не обронил ли он где-то свой горб"; черный кургузый галстучек и поношенный зонт ("утка в глубоком трауре"); темная поросль в ноздрях; чудесный сюрприз сияющего совершенства, когда он снимает шляпу. Но чем лучше шла у Себастьяна работа, тем хуже он себя чувствовал, — особенно в перерывах. Шелдон считает, что мир последней книги, которую Себастьяну еще предстояло писать несколько лет спустя ("Неясный асфодель"), уже отбрасывал тень на все, его окружавшее, и что романы его и рассказы — это лишь яркие маски, лукавые искусители, безошибочно уводившие его под предлогом артистического приключения к некой неминуемой мете. Предположительно, он был по-прежне-

му привязан к Клэр, но из-за острого ощущения собственной смертности, ставшего уже неотвязным, отношения с ней начинали казаться более непрочными, чем они, вероятно, были. Что до Клэр, она безо всякого умысла, в благонамеренной невинности замешкалась в каком-то приятном, солнечном уголке Себастьяновой жизни, где сам Себастьян не помедлил; теперь она отстала и даже не знала толком, пытаться ли ей нагнать его или попробовать окликнуть, воротить назад. Она была погружена в оживленную деятельность, присматривая за его литературными делами, вообще поддерживая порядок в его жизни; и хоть, разумеется, понимала: что-то разладилось, опасно нарушилась связь с жизнью его воображения, но, видимо, она утешалась надеждой, что это — преходящие неприятности и что "понемногу все образуется". Натурально, я не могу касаться интимной стороны их отношений, во-первых, потому что смешно было бы рассуждать о том, о чем ничего определенного сказать невозможно, а во-вторых, потому что самый звук слова "секс" с его вульгарным присвистом и "кс-кс" на конце, каким приманивают кошку, представляется мне до того пустым, что я волей-неволей сомневаюсь, — *есть ли* вообще у этого слова сущностное содержание. Я действительно полагаю, что наделять "секс" неким особым значением в человеческой жизни или, того хуже, позволять "сексуальной идее", когда таковая вообще существует, пронизывать и "объяснять" все остальное — это серьезное заблуждение разума. "Ударом волны не объяснить целого моря, от луны в нем до змея; но лужица в ямке скалы и алмазная зыбь на дороге в Катай — все это вода". ("Изнанка Луны".)

"Физическая любовь — это лишь иносказание все о том же, а не особенная сексофонная нота, которая, попав однажды на слух, отзывается эхом во всех областях души". ("Утерянные вещи", с.82.) "Все вещи принадлежат к одному порядку вещей, ибо таково единство человеческого восприятия, единство личности, единство материи, чем бы она ни была, материя. Единственное действительное число — единица, прочие суть простые повторы". (Там же, с.83.) Даже проведай я из каких-то источников, что связь с Клэр

не вполне отвечала представлениям Себастьяна о телесной любви, мне бы и в голову не пришло объявить эту неудовлетворенность причиной общей его возбужденности и нервозности. Но, будучи неудовлетворенным вообще, он мог испытывать неудовлетворенность и красками своей любви. И напоминаю, что я использую слово “неудовлетворенность” весьма произвольно, ибо Себастьяновы настроения этой поры были куда сложнее, чем просто Weltschmerz или хандра. Их можно понять лишь через последнюю его книгу, через “Неясный асфодель”. Пока эта книга оставалась лишь дымкой вдали. Вскоре она превратится в очертания берега. В 1929 году известный специалист по сердечным расстройствам, д-р Оутс, посоветовал Себастьяну провести месяц в Блауберге, в Эльзасе, где определенные приемы лечения доказали свою благотворность в нескольких схожих случаях. Видимо, было молчаливо условлено, что он поедет один. Перед самым отъездом Шелдон, мисс Пратт и Клэр чаевничали с Себастьяном у него на квартире; он был оживлен и речист и поддразнивал Клэр, потерявшую свой скомканный носовой платок среди вещей, которые она укладывала в его суетливом присутствии. Внезапно он дернул Шелдона за манжету (сам он никогда наручных часов не носил), глянул на время и вдруг заспешил, хоть еще час оставался в запасе. Клэр не предлагала проводить его к поезду, зная, что он этого не любит. Он поцеловал ее в висок, и Шелдон помог ему снести чемодан (упоминал ли я уже, что за вычетом приходящей уборщицы и лакея, доставлявшего им еду из ближнего ресторана, прислуги Себастьян не держал?). После его ухода троица несколько времени сидела в молчании.

Внезапно Клэр поставила заварочный чайник и сказала:

— По-моему, платок просто хотел отправиться с ним, и я очень не прочь воспользоваться этим намеком.

— Не дури, — сказал м-р Шелдон.

— Почему бы и нет? — спросила она.

— Если ты о том, чтобы поспеть на этот же поезд, — начала мисс Пратт...

— Почему бы и нет, — повторила Клэр. — У меня есть сорок минут. Слетаю к себе, уложу то-се, прыгну в такси...

Она так и сделала. Что произошло на вокзале Виктории, неизвестно, но час или два спустя она позвонила Шелдону, который ушел домой, и с довольно жалким смешком сообщила, что Себастьян не пожелал даже, чтобы она побыла на платформе до отправления поезда. Я почему-то очень ясно вижу ее появление там, ее чемодан, ее губы, готовые раскрыться в веселой улыбке, ее слабые глаза, всматривающиеся в окна вагонов, высматривающие его и наконец находящие, или, возможно, он первым увидел ее... "Привет, вот и я", — наверное, бодро сказала она, чуточку слишком бодро, быть может...

Он написал к ней через несколько дней, сообщив, что место очень приятное и чувствует он себя превосходно. Потом наступило молчание, и, лишь когда Клэр послала тревожную телеграмму, пришла открытка с известием, что он прервал свое пребывание в Блауберге и проведет неделю в Париже перед тем, как вернуться домой.

На исходе этой недели он позвонил мне, и мы отобедали вместе в русском ресторане. Я не видел его с 1924 года, а был уже 1929-й. Он выглядел изнуренным, больным и из-за бледности казался небритым, хоть был только от парикмахера. На шее, сзади, сидел фурункул, залепленный розовым пластырем.

После нескольких его вопросов обо мне мы оба занялись трудными поисками темы для дальнейшего разговора. Я спросил, что сталось с той милой девушкой, с которой я видел его прошлый раз.

— С какой девушкой? — спросил он. — А, с Клэр. Да, с ней все в порядке. Мы вроде как женаты.

— Вид у тебя немного больной, — сказал я

— Ну и черт с ним, коли так. Будешь пельмени?

— Занятно, что ты еще помнишь, какие они на вкус, — сказал я.

— А почему бы мне и не помнить? — сухо спросил он.

Несколько минут мы молча ели. Потом пили кофе.

— Как, ты говорил, называется городок? Блауберг?

— Да, Блауберг.

— Приятное место?

— Зависит от того, что ты называешь приятным, — сказал он, и челюсти его дрогнули, подавляя зевок. —

Извини, — сказал он, — надеюсь, в поезде удастся немного поспать.

Он вдруг затеребил мое запястье.

— Половина девятого, — ответил я.

— Мне надо по телефону... — пробормотал он и с салфеткой в руке перемахнул ресторан. Минут через пять он вернулся, салфетка наполовину торчала из кармана пиджака. Я ее вытащил.

— Послушай, — сказал он, — мне ужасно неловко, но я должен идти. Совсем забыл о назначенной встрече.

"Меня всегда удручало, — пишет Себастьян Найт в "Утерянных вещах", — что люди в ресторанах не замечают одушевленных тайн, которые подают им еду, принимают пальто и открывают для них двери. Я как-то напомнил дельцу, с которым завтракал несколькими неделями раньше, что у женщины, подавшей нам шляпы, в ушах была вата. Он недоуменно взглянул на меня и сказал, что и женщины-то никакой не заметил. Человек, не способный увидеть заячьей губы водителя такси, потому что он куда-то спешит, — по-моему, одержим маниакальной идеей. Мне часто казалось, будто я сижу между слепцов и безумцев, осознавая, что только я один в их толпе задумываюсь о легкой, очень легкой хромоте шоколадницы".

Когда мы вышли из ресторана и направились к стоянке такси, старик со слезящимися глазами послюнил большой палец и протянул то ли мне, то ли Себастьяну, то ли нам обоим рекламный листок, из тех, что он распространял. Никто из нас листка не принял, оба глядели перед собой, сумрачные мечтатели, пренебрегающие подношением.

— Что ж, всего доброго, — сказал я Себастьяну, поманившему машину.

— Ты бы как-нибудь навестил меня в Лондоне, — сказал он и оглянулся через плечо. — Постой минуту, — добавил он, — это не дело. Я оттолкнул нищего... — Он оставил меня и через мгновение вернулся с клочком бумаги в руке. Внимательно прочитал его, прежде чем выбросить.

— Тебя подвезти? — спросил он.

Я чувствовал, что он безумно спешит отделаться от меня.

— Нет, спасибо, — сказал я. Я не дослышал адреса, данного им шоферу, но помню, он просил ехать быстрее.

Когда он вернулся в Лондон... Но нет, нить повествования рвется, и мне придется просить других вновь связать оборванные концы.

Сразу ли заметила Клэр перемену? Сразу ли поняла — какую? Нужно ли нам строить домыслы, — о чем спросила она Себастьяна, что он ей ответил и что она сказала на это? Думаю, нет... Шелдон виделся с ними вскоре по возвращении Себастьяна и нашел, что он выглядит странно. Но он и раньше выглядел странно...

"В конце концов я встревожился", — рассказывал м-р Шелдон. Он встретился с Клэр с глазу на глаз и спросил ее, как она полагает, все ли с Себастьяном в порядке.

— С Себастьяном? — сказала Клэр с медленной и страшной улыбкой. — Себастьян обезумел. Совсем обезумел, — повторила она, широко раскрыв бледные глаза.

— Он перестал со мной разговаривать, — добавила она сдавленным голосом.

Тогда Шелдон навестил Себастьяна и спросил у него, что происходит.

— А ваше ли это дело? — осведомился Себастьян с довольно противным высокомерием.

— Мне нравится Клэр, — сказал Шелдон, — и я хочу знать, почему она бродит, словно потерянная душа. — (Она приходила к Себастьяну каждый день и садилась в укромных углах, где никогда не сидела прежде. Иногда она приносила ему сладости или галстук. Сладости оставались нетронутыми, а галстук безжизненно виснул со спинки стула. Казалось, она проходит сквозь Себастьяна, как привидение. Потом она исчезала, молча, так же как и пришла.)

— Ну ладно, милейший, — сказал Шелдон, — довольно. Что вы с ней сделали?

12

Шелдон ничего от него не узнал. Все, что он знает, он знает от Клэр, а это сводится к малому. После возвращения в Лондон Себастьян получал русские письма от женщины,

которую встретил в Блауберге. Она жила в том же отеле, что он. Более ничего не известно.

Через шесть недель (в сентябре 1929 года) Себастьян опять оставил Англию и отсутствовал вплоть до января следующего года. Где он был, никто не знает. Шелдон полагает, что, возможно, — в Италии, "потому что любовники обычно едут туда". Он не упорствовал в этом предположении.

Объяснился ли Себастьян окончательно с Клэр или оставил ей, уезжая, письмо, — не ясно. Она удалилась так же тихо, как и пришла. Переменила квартиру, слишком близкую к жилью Себастьяна. В один унылый ноябрьский день мисс Пратт повстречала ее в тумане, возвращающуюся домой из конторы по страхованию жизни, в которой теперь служила Клэр. После этого девушки виделись довольно часто, но имя Себастьяна редко упоминалось между ними. Пять лет спустя Клэр вышла замуж.

Роман "Утерянные вещи", в ту пору начатый Себастьяном, выглядит своего рода привалом в его литературных странствиях в поисках открытий: подведеньем итогов, пересчетом людей и вещей, потерянных в пути, определением курса; расседланные лошади, позвякивая, пасутся в темноте; отблеск лагерного костра; звезды над головой. Там есть короткая глава о крушении самолета (пилот и все пассажиры, за исключением одного, погибли); уцелевший, пожилой англичанин, найден фермером немного в стороне от места катастрофы сидящим на камне. Он сидит, скорчившись, олицетворение горя и муки. "Сильно вас ранило?" — спрашивает фермер. "Нет, — отвечает англичанин, — зуб. Всю дорогу болел". Полдюжины писем — останки мешка с воздушной почтой — находят разбросанными по полю. Два из них — очень важные деловые послания, третье адресовано женщине, но начинается словами: "Дорогой Мортимер, в ответ на Ваше письмо от 6-го настоя..." — и касается размещения заказа; четвертое — поздравление с днем рождения; пятое — письмо шпиона, стальной секрет его упрятан в стоге пустой болтовни; последний конверт адресован торговой фирме, но содержит неверное письмо, любовное. "Это письмо причинит тебе боль, бедная моя любовь.

Пикник наш окончен; на темной дороге полно ухабов, и даже самого малого из детишек в машине того и гляди стошнит. Дешевый дурак сказал бы тебе: нужно быть храброй. А впрочем, все, что я смог бы тебе наговорить в утешение и поддержку, наверняка свелось бы к манной кашке, ты знаешь, о чем я. Ты всегда это знала. Жизнь с тобою была волшебством, — и, говоря "волшебство", я разумею щебет и шепот, и шелк, и мягкое, розовое "в" в начале, и то, как твой язык изгибался в долгом ленивом "л". Наше со-бытие было аллитеративным, и, думая обо всех мелочах, которые умрут теперь оттого, что мы не сможем делить их друг с дружкой, я испытываю чувство, будто и мы умерли тоже. Возможно, так это и есть. Понимаешь, чем огромнее было наше счастье, тем туманнее становились его границы, как если бы очерк его размывался и теперь растаял совсем. Я не перестал любить тебя, но что-то во мне умерло, и я не различаю тебя в тумане... Все это поэзия. Я тебе вру. Из малодушия. Ничего нет трусливей поэта с его обиняками. Думаю, ты уже догадалась, что к чему: дурацкая формула — "другая женщина". Я отчаянно несчастлив с ней — вот тебе хоть одна, да правда. И думаю, об этой стороне дела ничего больше не скажешь.

Мне все время кажется, что в любви есть какой-то тайный изъян. Друзья могут поссориться и разойтись, родные тоже, но нет в этом той боли, той муки, той пагубы, которая слита с любовью. Никогда не выглядит дружба такой обреченной. Почему, в чем тут дело? Я не перестал любить тебя, но оттого, что я не могу, как прежде, целовать твое милое, сумрачное лицо, нам нужно расстаться, нам нужно расстаться. Почему это так? Что означает эта загадочная исключительность? Друзей можно иметь тысячу, но возлюбленную — только одну. Гаремы тут ни при чем, я говорю о танце, не о гимнастике. Или можно вообразить огромного турка, любящего каждую из четырехсот своих жен так же, как я — тебя? Есть лишь одно действительное число: единица. И любовь, как видно, — наилучший из показателей этой единственности.

Прощай, бедная моя любовь. Я никогда тебя не забуду и никем не смогу заменить. Нелепо пытаться уверить тебя,

что ты была моей чистой любовью, а эта, другая страсть, — всего лишь комедия плоти. Все — плоть и все — чистота. Но одно говорю наверное: с тобой я был счастлив, теперь я несчастен с другой. Стало быть, жизнь продолжается. Я буду шутить с приятелями в конторе, радоваться обедам (пока не получу несварения), читать романы, писать стихи, следить за акциями, — словом, делать все, что делал всегда. Но это не значит, что я буду счастлив без тебя... Каждая мелочь, которая напомнит мне о тебе, — неодобрительное выражение мебели в комнатах, где ты поглаживала подушки дивана и разговаривала с кочергой, каждый пустяк, на который мы оба смотрели, — будет вечно казаться мне половинкой скорлупки, половинкой монетки, вторую половину которой ты унесла с собой. Прощай. Уходи, уходи. Не пиши. Выйди за Чарли или за другого хорошего человека с трубкой в зубах. Забудь меня нынче, но помни потом, когда забудется горчайшая часть. Это пятно не от слез. Вечное перо мое развалилось, я пользуюсь грязной ручкой из грязного гостиничного номера. Здесь очень жарко, и я оказался не в силах покончить дело, которое должен был привести "к удовлетворительному разрешению", как выражается этот осел Мортимер. По-моему, у тебя осталось несколько моих книг, — а впрочем, пусть их. *Пожалуйста*, не пиши. Л."

Я верю, что если отвлечься в этом вымышленном письме от всего, относящегося до личности его подразумеваемого автора, то окажется, что многое в нем прочувствовано Себастьяном или даже написано им к Клэр. Была у него причудливая привычка наделять даже самых гротескных своих персонажей какой-то идеей, впечатлением или желанием — из тех, которыми он тешился сам. Письмо его героя было, возможно, шифром, прибегнув к которому, он высказал несколько истин о своих отношениях с Клэр. И я не возьмусь назвать другого писателя, искусство которого способно так заморочить, — заморочить меня, стремящегося высмотреть за писателем живого человека. Трудно различить свет личной истины в неуловимом мерцании выдуманного мира, но еще труднее постичь поразительный факт — человек, пишущий о том, что он взаправду испы-

тывает в минуту писания, находит в себе силы, чтобы одновременно создать — и как раз из того, что гнетет его душу, — вымышленный и слегка нелепый характер.

Себастьян возвратился в Лондон в начале 1930 года и слег с сильнейшим сердечным припадком. Так или иначе, он все-таки продолжал писать “Утерянные вещи” — самую легкую его книгу, по-моему. Теперь, в рассуждении дальнейшего, нам следует уяснить, что его литературными делами всецело ведала Клэр. После ее ухода они основательно запутались. Во многих случаях Себастьян не имел ни малейшего представления о том, как обстоят дела, и о том, каковы в точности его отношения с тем или с этим издателем. Он был настолько несобран, до таких пределов несведущ, так безнадежно неспособен запомнить хотя бы одно имя, или адрес, или место, где у него лежит какая-то вещь, что попадал в совершенно нелепые положения. Как ни удивительно, девичья забывчивость Клэр сменялась, когда она распоряжалась Себастьяновыми делами, полной ясностью и твердостью цели; теперь все пошло кувырком. Он так и не научился стучать на машинке и был слишком нервен, чтобы начать учиться теперь. “Потешную гору” напечатали сразу два американских журнала, и Себастьян напрочь забыл, как его угораздило запродать рассказ двум разным людям. Была еще запутанная история с человеком, пожелавшим снять фильм по “Успеху” и заплатившим Себастьяну вперед (а он того не заметил — так невнимательно читал он письма) за укороченную и “усиленную” версию, делать которую Себастьян никогда и не помышлял. “Призматический фацет” снова лег на прилавки, но Себастьян едва ли об этом знал. Приглашения оставались без ответа. Телефонные номера оборачивались мороком, а изнурительные розыски конверта, на котором он записал тот или иной номер, выматывали его сильнее, чем написание главы. И к тому же мысль его растекалась, следуя по пятам за отсутствующей любовницей, ожидая ее призыва, — и призыв наконец приходил, или сам он уже не мог доле сносить ожидания, и тогда случалось то, что видел однажды Рой Карсуэлл: изможденный человек в пальто и ночных туфлях забирался в пульмановский вагон.

В начале этой поры и объявился м-р Гудмен. Мало-помалу Себастьян препоручил ему все свои литературные дела, испытав великое облегчение от встречи со столь дельным секретарем. “Обыкновенно я заставал его, — пишет м-р Гудмен, — лежащим в постели, подобно угрюмому леопарду” (который отчего-то напоминает мне волка в ночном колпаке из “Красной Шапочки”)... “Никогда в моей жизни, — продолжает он в другом месте, — я не видел столь удрученного на вид существа. <...> Мне говорили, что французскому автору М. Прусту, которому Найт сознательно или бессознательно подражал, также была присуща немалая склонность к определенного рода апатической, “интересной” позе...” И дальше: “Найт был очень худ, с бледной кожей и изнеженными руками, которые он с женской кокетливостью любил выставлять напоказ. Он как-то признался мне, что имеет обыкновение выливать в утреннюю ванну половину флакона французских духов, но при всем том выглядел он на редкость плохо ухоженным. <...> Подобно большинству писателей-модернистов, Найт был чрезвычайно тщеславен. Раза два я заставал его за наклеиванием вырезок (это наверняка были рецензии на его книги) в роскошный и дорогой альбом, который он тут же прятал в ящик, отчасти, как видно, стыдясь, что позволил моему критическому оку увидеть плод его человеческой слабости. <...> Он часто выезжал за границу, я бы сказал, дважды в год, и надо думать, в “Веселый Пари”. <...> Тут, впрочем, он напускал на себя загадочность и вовсю изображал байроническую томность. Я не могу не испытывать чувства, что поездки на Континент образовывали часть его художественной программы <...> он был законченный ‘poseur’ ”.

Но истинное красноречие одолевает м-ра Гудмена, когда он вдается в более глубокие материи. Его идея состоит в том, чтобы показать и объяснить “роковую трещину, отделявшую Найта-художника от огромного, шумного мира вокруг” (треснуло, надо понимать, по обхвату). “Причиной гибели Найта была его несовместимость”, — восклицает м-р Гудмен и отщелкивает три точки. “Отчужденность — вот кардинальный грех в то время, когда растерянное человечество нетерпеливо взывает к своим пи-

сателям и мыслителям, требуя от них внимания, если не исцеления от своих язв и скорбей. <...> "Башня из слоновой кости" недопустима, если только она не переделана в маяк или в радиовещательную вышку. <...> В такое время... пышущее жгучими проблемами, когда... экономическая депрессия... отвергнутый... обманутый... простой человек... рост тоталитарного... безработица... следующая сверхвеликая война... новые аспекты семейной жизни... секс... структура Вселенной". Мы видим, что интересы м-ра Гудмена широки. "Найт же, — продолжает он, — совершенно не желал проявлять интереса к каким бы то ни было современным вопросам. <...> Когда к нему обращались с просьбой присоединиться к тому или иному движению, принять участие в каком-либо имеющем важнейшее значение митинге или просто поставить свою подпись, между гораздо более славных имен, под каким-нибудь манифестом, выражающим вечную истину или протест против вопиющего произвола... он отказывался наотрез, несмотря на все мои уговоры и даже мольбы. Правда, в последней (и самой непонятной) своей книге он обрисовывает положение в мире... но выбранный им угол зрения и аспекты, которые он отмечает, полностью отличны от тех, которых серьезный читатель естественным образом ожидает от серьезного автора... Это все равно как если бы добросовестному исследователю жизни и механизмов деятельности некоторого огромного предприятия с дотошной обстоятельностью показывали дохлую пчелу, лежащую на подоконнике. <...> Каждый раз, как я привлекал его внимание к той или иной книге, потрясшей меня тем, что в ней содержался имеющий значение для всякого человека жизненный материал, он ребячливо отвечал, что это, мол, "дешевая трескотня", или отпускал еще какое-либо совершенно неуместное замечание. <...> Он смешивал сольное с сильным, выводя их из латинского наименования солнца. Он не мог понять, что просто сидит в темном углу. <...> Впрочем, будучи сверхчувствительным (помню, как он кривился, когда я дергал себя за пальцы, щелкая суставами, — дурная привычка, посещающая меня в минуты раздумий), он, конечно же, понимал, что что-то не так... что он неуклонно теряет связь с жизнью <...> и что выключатель в его солярии может и

не сработать. Страдания, начавшиеся как реакция искреннего юноши на грубый мир, в который бросили пылкую юность, и которые позже стали выставляться напоказ, как модная маска периода его успеха как писателя, превратились ныне в новую уродливую реальность. На доске, украшавшей его грудь, нельзя уже было прочесть: *Я одинокий художник*; незримые персты заменили эту надпись другой: *Я слеп*".

Я оскорбил бы проницательность читателя, возьмись я комментировать болтовню м-ра Гудмена. Если Себастьян и был слеп, его секретарь, уж во всяком случае, с восторгом ухватился за роль тявкающего и тянущего поводыря. Рой Карсуэлл, который в 1933 году писал портрет Себастьяна, рассказал мне, как он катался со смеху, слушая Себастьяновы рассказы о его отношениях с м-ром Гудменом. Весьма возможно, Себастьяну так и недостало бы духу избавиться от этой напыщенной личности, не стань последняя несколько чересчур предприимчивой. В 1934 году Себастьян написал Рою Карсуэллу из Канна, сообщив ему, что ненароком обнаружил (он редко перечитывал свои книги) замену эпитета, произведенную м-ром Гудменом в сванновском издании "Потешной горы". "Я его выгнал в шею", — добавлял он. М-р Гудмен скромно воздерживается от упоминания об этой мелкой подробности. Исчерпав запас накопленных им впечатлений и заключив, что истинной причиной смерти Себастьяна было окончательное осознание им своего "человеческого, а следовательно, и художнического краха", он бодро сообщает, что его служба в секретарях пришла к концу в связи с переходом в иную отрасль бизнеса. Больше я на книгу Гудмена ссылаться не стану. Я ее отменяю.

Но, глядя на портрет, написанный Роем Карсуэллом, я, как мне кажется, различил слабое мерцание в глазах Себастьяна, при всей печали их выражения. Художник чудесно передал влажную мглу зеленовато-серого райка с его чуть более темным ободом и намеком на золотую россыпь вокруг зениц. Веки тяжелы и, возможно, чуть воспалены, и кажется, жилка-другая лопнула на глянцевитом глазном яблоке. И глаза, и лицо написаны так, чтобы создать впечатление нарциссова отражения в прозрачной воде, —

с легчайшей зыбью на впалой щеке, пущенной паучком-плавуном, который только что замер и теперь медленно сплывает назад. На отражение лба, наморщенного, как у пристально всматривающегося человека, опустился увядший лист. Спутанные темные волосы надо лбом чуть смазаны еще одной зыбью, но прядь на виске успела поймать отсвет влажного солнца. Между прямых бровей лежит глубокая складка, другая идет от носа к плотно сжатому, сумрачному рту. Больше нет ничего, одна голова. Темные переливы теней облекают шею, как бы стирая верхнюю часть тела. Общий фон — таинственная синева с тонкой сеточкой веток в одном углу. Так Себастьян разглядывает себя в пруду.

— Я хотел намекнуть на женщину где-то за ним или выше, может быть, тень от руки, что-то такое... Но потом испугался, что вместо живописи получится рассказ.

— Да, похоже, никто о ней ничего не знает. Даже Шелдон.

— Она его угробила, и это все, что о ней можно сказать, разве нет?

— Нет, мне нужно знать больше. Мне все нужно знать. Иначе он останется недовершенным, как на вашем портрете. О, портрет замечательный, сходство чудесное, и мне страшно нравится этот паук-водомер. Особенно — косолапая тень на дне. Но ведь лицо — это только случайное отражение. В воду смотреть может всякий.

— А вам не кажется, что у него это получается особенно ладно?

— Да, я понимаю, о чем вы. И все же я должен найти ту женщину. Она — недостающее звено его эволюции, я обязан ее залучить — наука требует.

— Ставлю эту картину, что вы ее не найдете, — сказал Рой Карсуэлл.

13

Первым делом надлежало установить ее личность. Но с чего же начать розыски? Какими сведениями я располагаю? В июне 1929 года Себастьян останавливался в отеле

"Бомон" в Блауберге и там познакомился с ней. Она русская. Никаких иных нитей у меня не было.

Я, подобно Себастьяну, отличаюсь нелюбовью к почтовым отправлениям. Мне легче проехать тысячу миль, чем написать самое кратенькое письмецо, потом еще найти конверт, найти нужный адрес, купить нужную марку, отправить письмо (и рыться в мозгу, пытаясь припомнить: надписал я его или нет?). Более того, в деликатном деле, к которому я приступал, переписка вообще исключалась. В марте 1936 года, после месячного пребывания в Англии, я навел в туристском агентстве справки и отправился в Блауберг.

Так вот где он проезжал, думал я, глядя на вымокшие поля, застланные белым туманом, в котором смутно плыли высокие тополя. Красноверхий городок притулился у подножия светло-серой горы. Я оставил чемодан в камере хранения захудалой маленькой станции, где невидимый скот уныло мычал в каком-то вагоне на запасном пути, и по отлогому склону, через парк, пахнущий влажной землей, поднялся к пригоршне отелей и санаториев. Людей совсем мало было вокруг, до "разгара сезона" было еще далеко, и с внезапным испугом я подумал, что отель может оказаться закрытым.

Но нет; пока мне, значит, везло.

Дом выглядел очень мило, с хорошо ухоженным парком и каштанами, готовыми зацвести. На вид в нем не могло поместиться больше пятидесяти человек — и это меня приободрило: я предпочитал ограниченный выбор. Управлял отелем седой господин с подстриженной бородкой и черными, бархатистыми глазами. Я приступил с большой осторожностью.

Для начала я сообщил, что моему покойному брату, знаменитому английскому писателю Себастьяну Найту, очень пришлось по душе это место и что я сам думаю поселиться в отеле нынешним летом. Вероятно, мне следовало снять номер, чтобы, так сказать, постепенно снискать расположение, отложив расспросы до более благоприятного времени, но я почему-то решил, что дело удастся уладить сходу. Он сказал: да, он припоминает англичанина,

который жил у них в 1929 году и каждое утро требовал ванну.

— Он ведь не очень легко сходился с людьми, не так ли? — поинтересовался я с напускным безразличием. — Все один да один?

— О, по-моему, он здесь был со своим отцом, — неуверенно сказал управляющий.

Несколько времени мы провозились, распутывая трех-четырех англичан, которые останавливались в "Бомоне" за последние десять лет. Я понял, что он не очень-то ясно помнит Себастьяна.

— Позвольте мне быть откровенным, — сказал я без церемоний, — мне нужно выяснить адрес дамы, приятельницы моего брата, которая останавливалась у вас в то же время, что он.

Управляющий чуть приподнял брови, и я с испугом почувствовал, что дал каким-то образом маху.

— Зачем? — спросил он. ("Может, попытаться его подмазать?" — мелькнуло у меня в голове.)

— Я, впрочем, готов оплатить вам хлопоты, связанные с поисками необходимых мне сведений, — сказал я.

— Каких сведений? — спросил он. Он был старик туповатый и подозрительный — да не приведется ему никогда прочитать эти строки.

— Я подумал, — терпеливо продолжал я, — что, может быть, вы будете настолько добры, что поможете мне выяснить адрес дамы, которая останавливалась у вас одновременно с мистером Найтом, то есть в июне 1929 года.

— Какой дамы? — спросил он обличительным тоном Льюис-Кэрролловой гусеницы.

— Я не знаю ее имени, — нервно ответил я.

— Так как же я его, по-вашему, найду? — спросил он, пожимая плечами.

— Она русская, — сказал я. — Вы, может быть, помните русскую даму — *молодую* — и, ну... красивую?

— Nous avons eu beaucoup de jolies dames, — заявил он, становясь все более чопорным. — Их разве упомнишь?

— Ну, хорошо, — сказал я, — самое простое — позвольте мне заглянуть в ваши книги и выписать оттуда русские имена за июнь 1929 года.

— Их наверняка будет несколько, — сказал он. — Как же вы отличите нужное, когда вы его не знаете?

— Дайте мне имена и адреса, — произнес я в отчаянье, — а дальше уж мое дело.

Он глубоко вздохнул и покачал головой.

— Нет, — сказал он.

— Вы хотите сказать, что не ведете книг? — спросил я, стараясь говорить тихо.

— О, разумеется, веду, — сказал он. — Мое дело требует большого порядка в этих вещах. О да, разумеется, у меня имеются имена...

Удалившись в глубь кабинета, он вернулся с объемистым черным томом.

— Вот, — сказал он. — Первая неделя июля 1935 года... Профессор Отт с супругой, полковник Самен...

— Послушайте, — сказал я. — Меня не интересует июль 1935-го. Мне нужен... — Он захлопнул книгу и потащил ее назад.

— Я только хотел показать вам, — сказал он, не оборачиваясь, — показать вам (щелкнул замок), что книги у меня в полном порядке.

Он вернулся к столу и согнул пополам письмо, лежавшее на блок-ноте.

— Лето 1929 года, — взмолился я. — Почему вы не хотите показать нужные мне страницы?

— Нет-нет, — сказал он, — это не годится. Потому что, во-первых, я не хочу, чтобы совершенно неизвестный мне господин беспокоил людей, которые были и еще будут моими клиентами. Во-вторых, я никак не пойму, отчего вам так не терпится найти женщину, которую вы не хотите даже назвать. И в-третьих, — я не желаю никаких неприятностей. У меня их и так предостаточно. В соседнем отеле в 1929 году одна швейцарская пара покончила с собой, — добавил он ни к селу ни к городу.

— Это ваше последнее слово? — спросил я.

Он кивнул и посмотрел на часы. Я развернулся на каблуках и хлопнул за собою дверью, — по крайности, попробовал хлопнуть, — дверь была пневматическая, из тех, что упорствуют, черт бы ее побрал.

Медленно я возвращался на станцию. Парк. Может быть, умирая, Себастьян вспоминал вон ту каменную скамью вон под тем кедром. Очерк вот этой горы мог оказаться росчерком некоего незабвенного вечера. Окружающее представилось мне громадной мусорной кучей, в которой, я знал это, затерялась неведомая драгоценность. Мое поражение было нелепо, ужасно, мучительно. Безнадежные поиски пути, ощупью, среди распадающихся вещей. Почему так неподатливо прошлое?

"И что же теперь мне делать?" Поток жизнеописания, по которому мне так не терпелось пуститься, в одной из его последних излучин заволокло бледным туманом; совсем как долину, которую я оглядывал. Могу ли я так и оставить его, а книгу все-таки написать? Книгу со слепым пятном. Незаконченную картину — бесцветные члены мученика со стрелами в боку.

Ощущение было такое, словно я заблудился и не знаю, куда идти. Я достаточно долго обдумывал способы поисков последней любви Себастьяна, чтобы понять: иного пути узнать ее имя практически не существует. Имя! Я чувствовал, что тотчас узнал бы его, повстречав в тех черных, засаленных фолиантах. Что ж, отступиться, заняться сбором кое-каких мелочей, касающихся Себастьяна, в которых я еще нуждался и которые знал, где смогу раздобыть?

В таком замороченном состоянии я и сел в медленный местный поезд, который должен был доставить меня обратно в Страсбург. Оттуда я, вероятно, отправлюсь в Швейцарию... Но нет, я не в силах был одолеть зудливую боль моего поражения, как ни старался зарыться в бывшую при мне английскую газету: я, так сказать, упражнялся, читая лишь по-английски в предвидении работы, которую мне вот-вот предстояло начать... Вот только стоит ли начинать нечто, столь недоконченное в сознании?

В моем отделении я был один (вещь обыкновенная во второклассных вагонах поездов этого разряда), однако на следующей остановке вошел человечек в кустистых бровях, на континентальный манер поздоровался по-французски, гортанно и хрипло, и уселся насупротив. Поезд тронулся прямо в закат. Я вдруг заметил, что мой визави приветливо мне улыбается.

— Чудесная погода, — сказал он и снял котелок, обнаружив розоватую лысину. — Вы англичанин? — спросил он, кивая и улыбаясь.

— Ну, в данный момент — да, — ответил я.

— Я вижу, видел, вы читали английскую джорнал, — сказал он, указав пальцем, потом поспешно стянул желтовато-коричневую перчатку и указал еще раз (похоже, ему кто-то сказал, что тыкать перчаточным пальцем невежливо).

Я что-то пробормотал и отвел глаза: я не любитель вагонной болтовни, а в ту минуту был и вовсе к ней не расположен. Он проследил мой взгляд. Низкое солнце зажгло множество окон огромного здания, которое неторопливо кружилось, открывая одну за другой громады своих дымоходов, пока поезд прощелкивал мимо.

— Это "Фламбаум и Рот", — сказал человечек, — большая фабрикация, фабрика. Бумага.

Наступила недолгая пауза. Затем он поскреб крупный, отсвечивающий нос и наклонился ко мне.

— Я бывал, — произнес он, — Лондон, Манчестер, Шеффилд, Ньюкастль, — он посмотрел на палец, оставшийся несосчитанным.

— Да, — сказал он. — Игрушечное дело. Перед войной. И я играл в небольшой футбол, — прибавил он, заметив, возможно, что я гляжу на неровное поле с двумя голами, удрученно стоявшими по краям, — один лишился перекладины.

Он сожмурился; усики встопорщились.

— Знаете, как-то раз, — сказал он и зашелся в беззвучном смехе, — знаете, как-то раз я пускаю, пустил мячик из "аут" прямо в гол.

— О, — вяло сказал я, — и попали?

— Ветер попал. Это была робинзоннада!

— Что?

— Робинзоннада — восторженный фокус. Да... А вы далеко ли едете? — осведомился он вкрадчивым, сверхвежливым тоном.

— Ну, — сказал я, — дальше Страсбурга на этом поезде не уедешь, не так ли?

— Нет, я иметь, имею в виду вообще. Вы путешествуете?

Я отвечал утвердительно.

— Во что? — спросил он, чуть вбок наклоняя голову.

— Да пожалуй, что в прошлое, — ответил я.

Он кивнул, как если бы понял. Затем, снова склонившись ко мне, тронул меня за колено и сказал:

— Я теперь продаю козу, — знаете, — козаные мячики, пусть другие играют. Старый! Силы нет! Еще намордники, всякие такие штуки.

Он опять легко потрепал меня по колену.

— Но раньше, — сказал он, — прошлый год, четыре прошлых года, я был в полиции, — нет-нет, не сразу, не совсем... В штатском. Вы понимаете?

Я взглянул на него с внезапным интересом.

— Погодите-ка, — сказал я, — а ведь вы мне подали мысль...

— Да, — сказал он, — если вы ищете помощь, помочи, хорошую козу, cigaretteétui, совет, боксовые перчатки...

— Пятое и, возможно, первое, — сказал я.

Он взял котелок, лежавший рядом на сидении, аккуратно его надел (адамово яблоко заходило вверх-вниз) и затем, сияя улыбкой, резко его приподнял, приветствуя меня.

— Меня зовут Зильберманн, — сказал он и протянул руку. Я пожал ее и также назвался.

— Да, но это не английское, — вскричал он, хлопнув себя по колену, — это русское! Гаврит парусски? Я знал несколько разных слов... Постойте! Да! Куколка — мелкая кукла.

С минуту он молчал. Я все вертел в голове идею, которую он мне подал. Может, обратиться в частное сыскное агентство? А сам этот человечек, не будет ли он полезен?

— Реба! — вскрикнул он. — Это другое. Фиш, так? и... Брат, милли брат — дорогой бруддер.

— Мне пришло в голову, — сказал я, — что, может быть, если я расскажу вам о безвыходном положении, в котором я...

— Ну и все, — сказал он, вздохнув. — Я говорю (вновь пошел пересчет пальцев) литовский, немецкий, английский, французский (и снова остался большой палец). Русский забыл! Сразу! Целиком!

— Вы не могли бы... — начал я.

— Все, — сказал он. — Козаные ремешки, кошелки, записные книги, советы.

— Советы, — сказал я. — Понимаете, я пытаюсь найти человека... русскую даму, которой никогда не видел и не знаю даже по имени. Я знаю только, что она какое-то время жила в Блауберге, в одном отеле.

— А, хорошее место, — сказал господин Зильберманн, — очень хорошее, — и в знак глубокого одобрения приспустил уголки губ. — Хорошая вода, прогулки, казино. Вы хотите, чтобы я сделал — что?

— Ну, — сказал я, — мне бы хотелось сначала узнать, что вообще следует делать в подобных случаях.

— Лучше всего оставить ее в покое, — быстро сказал господин Зильберманн.

Тут он прянул головою вперед, и кусты у него на лбу шевельнулись.

— Забудьте ее, — сказал он. — Бросьте из головы. Это опасно и неполезно. — Он что-то смахнул с моего колена, кивнул и снова откинулся назад.

— Это вас пусть не заботит, — сказал я. — Вопрос в том "как", а не "зачем".

— Всякое "как" имеет свое "зачем", — сказал господин Зильберманн. — Вы найти, нашли ее фигуру, ее картину, теперь хотите найти ее саму сами? Это не любовь. Пфа! Поверхность!

— Да нет, — воскликнул я, — ничего похожего. Я и малейшего представления не имею, как она выглядит. Но понимаете, мой покойный брат любил ее, и я хочу услышать ее рассказ о нем. В сущности, все очень просто.

— Печально! — сказал господин Зильберманн и покачал головой.

— Я хочу написать о нем книгу, — продолжал я, — и мне интересна каждая подробность его жизни.

— От чего он болел? — хрипло спросил господи Зильберманн.

— Сердце, — сказал я.

— Сердце — это плохо. Слишком много предупреждений, много... генеральных... генеральных...

— Генеральных репетиций смерти. Да.

— Да. И старый?

— Тридцать шесть. Он писал книги, под фамилией своей матери. Найт. Себастьян Найт.

— Напишите сюда, — сказал господин Зильберманн, вручая мне необычайно красивую записную книжку с вложенным в нее восхитительным серебристым карандашом. Со звуком "тр-р-р-рк" он аккуратно вырвал страничку, спрятал ее в карман и снова вручил мне книжку.

— Вам нравится, нет? — спросил он с встревоженной улыбкой. — Вы позволите, маленький презент?

— Право, — сказал я, — вы так добры...

— Ничего, ничего, — произнес он, всплескивая руками. — Так, что вы хотите?

— Я хочу, — ответил я, — получить полный список людей, которые останавливались в отеле "Бомон" в июне 1929 года. Еще мне понадобятся кое-какие частности — кто они, по крайности женщины. Мне нужны их адреса. Нужна уверенность, что под иностранной фамилией не скрыта русская женщина. Потом я выберу наиболее вероятную или вероятных и...

— И постараетесь с ними связаться, — кивая, сказал господин Зильберманн. — Хорошо! Очень хорошо! Я имел, имею всех этих господ из отелей вот тут (он показал мне ладонь), и все будет просто. Ваш адрес, попрошу.

Он извлек еще одну записную книжку, на этот раз изрядно потрепанную, исписанные листки которой осыпались, словно осенние листья. Я добавил, что не двинусь из Страсбурга, не повидавши его.

— Пятница, — сказал он. — Шесть, пунктуально.

Затем удивительный человечек откинулся на сиденье, скрестил руки и закрыл глаза, как если бы достигнутое соглашение каким-то образом поставило точку в нашей беседе. Муха старательно изучала его лысое чело, но он не шелохнулся. Спал он до самого Страсбурга. Там мы простились.

— Послушайте, — сказал я, — вы должны назвать мне ваш гонорар... Я хочу сказать, что готов заплатить вам сколько вы сочтете нужным... А может быть, вы хотите получить что-то вперед...

— Вы мне пришлете книгу, — сказал он, поднимая толстый пальчик. — И оплатите вероятные растраты, — прибавил он шепотом. — Опрределенно!

14

Вот так и достался мне список в сорок два имени, между которыми странно милым и затерянным показалось имя Себастьяна (S. Knight, 36 Oak Park Gardens, London, SW). Отчасти поразило меня (приятно) и то, что в нем содержались также все адреса, выставленные супротив имен: Зильберманн торопливо пояснил, что в Блауберге часто умирают. Из сорока одного неизвестного тридцать семь "не приводили к вопросу", как выразился маленький человечек. Трое из них (незамужние женщины), точно, носили русские имена, но из этих две были немки, а третья эльзаска: они часто останавливались в отеле. Была еще дама загадочная, Вера Разин; Зильберманн, однако ж, знал наверное, что она француженка; что, собственно говоря, она балерина и любовница страсбургского банкира. Еще имелась престарелая польская пара, ее мы опустили без колебаний. Остаток этой "неподвопросной" группы (тридцать один человек) составляли двадцать солидных мужчин; из них лишь восьмеро были женаты или, во всяком случае, привезли с собой жен (Эмму, Хильдегард, Полину и проч.), и Зильберманн божился, что это все дамы немолодые, почтенные и в высшей степени нерусские.

Стало быть, нам оставалась четверка имен:

Мадемуазель Лидия Богемски, адрес парижский. Провела в отеле девять дней в начале проживания там Себастьяна; управляющий вовсе ее не помнил.

Мадам де Речной. Отбыла из отеля в Париж перед самым отъездом туда Себастьяна. Управляющий припомнил, что это была молодая модная дама, очень щедрая на чаевые. Частица "де", как я знал, обозначает определенную разновидность россиян, склонных подчеркивать свое дворянство, хотя, в сущности, французская particule перед

русской фамилией не только глупа, но и незаконна. Она могла быть авантюристкой; могла быть женою сноба.

Элен Гринштейн. Фамилия еврейская, но не германо-еврейская, несмотря на "штейн". Вот эта "и" в "грин", вытеснившая прирожденную "у", свидетельствовала о русском произрастании. Появилась за неделю до отъезда Себастьяна и оставалась в отеле дольше него на три дня. Управляющий сказал, что она была хорошенькая. Она уже останавливалась у них однажды; проживала в Берлине.

Элен фон Граун. Настоящая немецкая фамилия. Однако управляющий был положительно уверен, что во время пребывания в отеле она несколько раз пела русские песни. Она обладала великолепным контральто, сказал он, восхитительная женщина. Прожила ровно месяц и уехала в Париж за пять дней до Себастьяна.

Все эти подробности вместе с четверкой адресов я обстоятельно записал. Любая из четверых могла оказаться той, которая мне требовалась. Я сердечно поблагодарил господина Зильберманна, сидевшего предо мною со шляпой на сведенных коленях. Он вздохнул, глядя на носки своих черных ботиночек, украшенных старыми мышиными гетрами.

— Я это сделал, — сказал он, — потому что вы для меня симпатичны. Но... (он взглянул на меня с кроткой мольбой в ярких карих очах) но, прошу вас, я думаю, это неполезно. Нельзя увидеть изнанку луны. Прошу вас, не ищите дженщину. Что прошлое, то прошлое. Она не помнит вашего бруддера.

— Я ей напомню, будьте уверены, — мрачно сказал я.

— Как знаете, — пробормотал он, расправляя плечи и застегивая пальто. Он встал. — Приятной езды, — сказал он без обычной своей улыбки.

— Но постойте-ка, господин Зильберманн, нам ведь кое-что нужно уладить. Сколько я вам должен?

— Да, это корректно, — произнес он, снова усаживаясь. Момент, — он раскрутил самопишущую ручку, набросал несколько цифр, пригляделся к ним, постукивая колпачком по зубам: — Да, шестьдесят восемь франков.

— Однако немного, — сказал я. — А может быть, вы...

— Погодите, — воскликнул он, — это несправедливо. Я позабыл... вы сберегли эту записную книгу, эту, которую я давать, давал вам?

— Да, а как же? — подтвердил я. — Собственно, я ею уже пользуюсь. Видите ли... я думал...

— Тогда это не шестьдесят восемь, — сказал он, быстро переправляя слагаемые. — Тогда это есть... Это есть только восемнадцать, потому что книга стоит пятьдесят. Итого — восемнадцать франков. Путевые растраты...

— Но как же,— сказал я, несколько ошарашенный его арифметикой...

— Нет, это теперь правильно, — сказал господин Зильберманн.

Я отыскал монету в двадцать франков, хоть с удовольствием отдал бы ему и в сто раз больше, если б он только позволил.

— Так, — сказал он, — теперь с меня причитается... Да, правильно. Восемнадцать и два получается двадцать. — Он сдвинул брови. — Да, двадцать. Это вам. — И, выложив мою монету на стол, он удалился.

Любопытно узнать, куда я пошлю ему книгу, когда она будет готова: смешной человечек не оставил мне адреса, а у меня голова была слишком забита другими вещами, чтобы позаботиться его спросить. Но если он когда-либо наткнется на "Подлинную жизнь Себастьяна Найта", мне хочется, чтобы он знал, как я благодарен ему за помощь. И за записную книжку. Ныне она уже изрядно заполнилась, и я закажу новую стопку страниц, когда закончатся эти.

После ухода господина Зильберманна я долго изучал четыре адреса, которые он столь чудодейственно для меня раздобыл, и решил начать с берлинского. Если там меня постигнет неудача, я буду готов сразиться с тройкой парижских возможностей, не предпринимая еще одной дальней поездки, тем пуще изматывающей, что я наверняка уже буду знать: разыгрывается последняя карта. Если ж, напротив, мне повезет с первой попытки... Впрочем, не важно... Судьба щедро наградила меня за это решение.

Крупные мокрые хлопья косо летели вдоль Пассауэрштрассе в западной части Берлина, когда я подходил к

некрасивому старому дому с фасадом, наполовину укрытым под маской подмостей. Я постучал в стекло каморки привратника, резко отъехала муслиновая занавеска, толчком растворилось оконце, и толстая краснощекая старуха хрипло уведомила меня, что фрау Элен Гринштейн живет в этом доме. Со странным, легким ознобом ликования я стал подниматься по лестнице. "Гринштейн", сказала медная дверная табличка.

Безмолвный мальчик в черном галстуке и с бледным насупленным лицом впустил меня и, не спросив даже имени, повернулся и ушел коридором. Вешалку в маленькой прихожей заполонили пальто. На столе промеж двух солидных цилиндров лежал букет снежно-влажных хризантем. Поскольку выходить ко мне никто, похоже, не собирался, я стукнул в одну из дверей, приотворил ее и тут же закрыл. Я мельком увидел темноволосую девочку, спавшую на диване, укрывшись кротовой шубкой. С минуту я постоял посреди прихожей. Вытер лицо, еще мокрое от снега. Высморкался. И наконец отважился двинуться по коридору. За приоткрытой дверью слышались негромкие голоса, русский говор. В двух больших комнатах, соединенных подобием арки, было довольно людно. Одно-два лица неуверенно оборотились ко мне, когда я вошел, но в остальном мое появление ни малейшего интереса не вызвало. На столе стояли стаканы недопитого чаю и тарелка с какими-то крошками. Человек в углу читал газету. Сидела у стола женщина в серой шали, подперевши щеку рукой с каплями слез на запястье. Еще двое-трое сидели, не двигаясь, на диване. Девочка, похожая на ту, которую я видел спящей, гладила старого пса, свернувшегося на кресле. Кто-то начал вдруг то ли хохотать, то ли задыхаться в смежной комнате, где сидело или прохаживалось еще больше народу. Прошел со стаканом воды мальчик, встречавший меня в прихожей, и я по-русски спросил его, можно ли мне поговорить с госпожою Еленой Гринштейн.

— Тетя Елена, — сказал он в спину худощавой брюнетке, склонившейся к старику, который горбился в кресле. Она подошла ко мне и пригласила пройти в маленькую гостиную по другую сторону коридора. Она была очень

молода и изящна, с маленьким припудренным лицом и удлиненными, ласковыми глазами, казалось вытянутыми к вискам. Черный джемпер; руки, такие же нежные, как шея.

— Как это ужасно... — прошептала она.

Я глуповато ответил, что, боюсь, явился не вовремя.

— Ох, — сказала она. — А мне показалось... — Она присмотрелась ко мне. — Присядьте, — сказала она. — Мне показалось, словно бы я только что видела ваше лицо, на похоронах... Нет? Вот, видите, зять мой умер и... Нет, нет, сидите. Ужасный был день.

— Я не хочу вам мешать, — сказал я. — Я, право, пойду... Я только хотел поговорить с вами об одном моем родственнике... я полагаю, что вы его знали... в Блауберге... ну, да не суть важно...

— Блауберг? я там бывала дважды, — сказала она, и лицо ее дернулось оттого, что где-то зазвонил телефон.

— Его звали Себастьян Найт, — сказал я, глядя на ее неподкрашенные, нежные, дрожащие губы.

— Нет, я никогда не слышала этого имени, — сказала она, — нет.

— Он был англичанин, наполовину,— сказал я, — писатель.

Она покачала головой и обернулась к двери, отворенной насупленным мальчиком, ее племянником.

— Соня придет через полчаса, — сказал он. Она кивнула, и он ушел.

— Я ведь, собственно, никого в отеле не знала, — продолжала она. Я поклонился и извинился вторично.

— Да, но как же *ваше-то* имя? — спросила она, вглядываясь в меня неяркими, ласковыми глазами, чем-то напомнившими мне Клэр. — Вы, кажется, назвались, но у меня нынче голова словно в тумане... Ах, — сказала она, когда я ответил, — а вот это звучит знакомо. В Петербурге не погиб ли на дуэли человек с такой фамилией? Ах, ваш отец? Понимаю. Постойте минутку. Кто-то... прямо на днях... кто-то вспоминал про эту историю. Как странно... Всегда вот так, кучей. Да... Розановы... Они знавали вашу семью, ну, и так далее...

— У брата был одноклассник по фамилии Розанов, — сказал я.

— Вы посмотрите их в телефонной книге, — торопливо продолжала она, — понимаете, я их не очень близко знаю, а что-то искать сейчас я совершенно не в силах.

Ее отозвали, и я одиноко побрел в прихожую. Там я нашел пожилого господина, задумчиво сидевшего, дымя сигарой, на моем пальто. Поначалу он никак не мог взять в толк, что мне от него нужно, но после рассыпался в извинениях.

Почему-то я сожалел, что не Елена Гринштейн оказалась той женщиной. Впрочем, она, разумеется, и *не могла* оказаться той, которая столько несчастий принесла Себастьяну. Девушки, подобные ей, не ломают жизнь мужчины — они ее строят. Подумайте, вот она твердо правит домом, который разрывается от горя, находя при этом возможным заняться фантастическим делом человека, совершенно ей ненужного и незнакомого. И она ведь не только выслушала меня, она дала мне совет, которому я тогда же и последовал, и пусть люди, с которыми я познакомился, никакого отношения к Блаубергу и к неизвестной женщине не имели, мне открылись бесценнейшие страницы жизни Себастьяна. Разум, более систематический, нежели мой, поместил бы их в начале книги, однако мои изыскания обзавелись уже собственной логикой и собственной магией, и, хотя временами я против воли своей убеждался, что они, эти поиски, постепенно перерастают в сон, перенимающий канву реальности, чтобы плести по ней собственные фантазии, должен признать, что вели меня верным путем и что, стремясь передать жизнь Себастьяна, я ныне обязан следовать тем же ритмическим чередованиям.

Видимо, закон некой странной гармонии поместил встречу, относящуюся к первой, юношеской любви Себастьяна, в такой близи с отголосками его последней, темной любви. Два лада его бытия вопрошают один другого, и ответ — это сама его жизнь, и ближе к правде о человеке подойти невозможно. Ему было шестнадцать, ей тоже. Свет гаснет, поднимается занавес, и открывается летний русский пейзаж: излука реки, наполовину затененной темными елями, растущими на обрывистом, глинистом берегу и почти достающими черными отражениями другого берега,

пологого, солнечного и душистого, в болотных цветах и в серебристых метелках трав. Себастьян, с непокрытой, коротко стриженной головой, в шелковой вольной рубахе, льнущей то к груди, то к лопаткам, смотря по тому, откидывается он или подается вперед, с силой гребет в лодке, выкрашенной сверкающей зеленой краской. Девушка сидит у руля, но мы оставим ее бесцветной: лишь очертания, белый облик, не расцвеченный живописцем. Темно-синие стрекозы порхают там и сям, опускаясь на плоские листья кувшинок. В красной глине крутого обрыва вырублены имена, даты и даже лица; и стрижи стрелой вонзаются в норы, прорезанные в ней, и вылетают наружу. Зубы у Себастьяна блестят. Потом, когда он перестает грести и оглядывается, шлюпка с шелковым шелестом вскальзывает в камыши.

— Рулевой из тебя никакой, — говорит он.

Сцена меняется: иная излучина той же реки. Тропинка подходит к самому краю воды, медлит, колеблется и поворачивает, огибая неотесанную скамью. Еще не завечерело, но воздух уже золотист, и мошкара исполняет незамысловатый туземный танец в солнечном луче, просквозившем листву осины, уже совсем, совсем успокоенной, забывшей наконец об Иуде.

Себастьян сидит на скамейке и читает вслух из черной тетради английские стихи. Внезапно он замолкает: немного левее, едва заметная над водой, медленно уплывает русая головка русалки, и длинные косы плывут ей вслед. Затем на другом берегу возникает голый купальщик, облегчает нос, помогая себе большим пальцем: это долгогривый деревенский батюшка. Себастьян продолжает читать сидящей рядом девушке. Художник еще не заполнил белого облика, тронув лишь загорелую тонкую руку, по внешней поверхности ее от запястья до локтя искрится пушок.

Снова, как в Байроновом сне, меняется сцена. Ночь. Небо усеяно звездами. Через многие годы Себастьян напишет, что созерцание звезд вызывает у него тошноту и брезгливость, как бывает, когда видишь вспоротое брюхо животного. Но пока Себастьян еще этого не сказал. Очень темно. Ничего нельзя различить из того, что является,

вероятно, аллеей парка. Темная глыба на темной глыбе, и где-то ухает филин. Из бездны мрака вдруг всплывает зеленоватый кружок: светящийся циферблат (в более зрелые годы Себастьян часов не одобрял).

— Тебе уже пора? — спрашивает его голос.

Последняя перемена: пролетает клин журавлей, их нежные стоны тают в бирюзовом небе над порыжелым березняком. Себастьян, пока еще не одинокий, сидит на пепельно-белом стволе упавшего дерева. Его велосипед отдыхает, поблескивая спицами в листьях черного папоротника. Плавно проносится мимо и садится на пень траурница, обмахиваясь бархатистыми крыльями. Завтра обратно в город, в понедельник начинается школа.

— Значит, конец? Почему ты говоришь, что зимой мы не будем видеть друг друга? — спрашивает он во второй или в третий раз. Ответа нет. — Ты правда думаешь, что влюбилась в этого студента? — Очерк девушки остается пустым, за исключеньем руки и узкой смуглой кисти, играющей велосипедным насосом. Рукояткой насоса она неторопливо выводит на мягкой земле слово "yes" — по-английски, чтобы сделать ответ помягче.

Звонок, занавес опускается. Да, это все. Так мало и так разымает душу. Никогда больше не сможет он спросить мальчика, ежедневно садящегося за соседнюю парту: "А как твоя сестра?" Даже у старой мисс Форбс, еще иногда заходящей к нам, нельзя ему будет узнать о девочке, которой она также давала уроки. Как же ступит он новым летом на эти тропинки и, наблюдая закат, как спустится на велосипеде к реке? (Впрочем, новое лето было по преимуществу посвящено поэту-футуристу Пану.)

По случайному совпадению обстоятельств именно брат Наташи Розановой и отвез меня на вокзал Шарлоттенбург, чтобы я поспел на парижский скорый. Я сказал ему, как интересно мне было поговорить с его сестрой, ныне — располневшей матерью двух мальчуганов, — о далеком лете в стране наших снов, в России. Он отвечал, что совершенно доволен своей работой в Берлине. Я попытался, как тщетно пытался уже, завести разговор о школьных годах Себастьяна.

— У меня жутко плохая память, — ответил он, — да и вообще я слишком занят, чтобы разводить сантименты по поводу такой ерунды.

— Но право же, право, — вы ведь можете припомнить какие-то яркие мелочи, мне все сгодится...

Он рассмеялся.

— Да ну, — сказал он, — разве вы не потратили только что несколько часов на разговоры с сестрой? Она обожает прошлое, верно? Говорит, вы собираетесь поместить ее в книгу, прямо такой, как в те дни, правду сказать, она этого ждет не дождется.

— Прошу вас, постарайтесь хоть что-нибудь вспомнить, — упрямо настаивал я.

— Да говорю же я вам, что ничего не помню, странный вы человек. Напрасно стараетесь. Нечего мне вам рассказать, кроме обычной ерунды — шпаргалки, зубрежка, какое было прозвище да у какого учителя... Наверное, славное было время... Но знаете, ваш брат... как бы это сказать?.. вашего брата в школе не очень-то жаловали...

15

Читатель, верно, уже заметил, что я старался привнести в эту книгу как можно меньше собственной моей персоны. Я старался не ссылаться на обстоятельства моей жизни (хотя иной намек там и сям мог бы иногда прояснить подоплеку моих изысканий). Поэтому я не стану останавливаться в этом месте моего повествования на некоторых деловых затруднениях, испытанных мною при появленье в Париже, где у меня был более или менее постоянный дом; они никак не связаны с моими поисками, и если я и поминаю их мимоходом, то лишь из желания подчеркнуть, что попытки найти последнюю любовь Себастьяна так поглотили меня, что я беспечально махнул рукой на любые неприятности, которые мог навлечь на меня столь длительный отпуск.

Я не жалел, что начал с берлинского следа. Во всяком случае, он позволил мне получить представление об иной

главе Себастьянова прошлого. Теперь, когда одно из имен было вычеркнуто, у меня оставались еще три шанса. Парижский телефонный справочник осведомил меня, что "Граун (фон), Элен" и "Речной, Поль" ("де", я заметил, отсутствует) отвечают адресам, которыми я владел. Перспектива встречи с мужем была неприятна, но неотвратима. Третью даму, Лидию Богемски, игнорировали оба указателя, то есть и телефонная книга, и тот, другой шедевр Боттэна, в котором адреса размещены в соответствии с улицами. Как бы там ни было, имевшийся у меня адрес мог мне помочь до нее добраться. Я хорошо знал мой Париж и потому сразу увидел наиболее экономный в рассуждении времени порядок, в котором мне надлежало расположить мои визиты, ежели я желал управиться с ними в один день. Прибавлю, на случай, если читателя удивит напористость моих действий, что телефонные переговоры мне неприятны в той же мере, в какой и писание писем.

Дверь, у которой я позвонил, открыл худой, высокий мужчина, взлохмаченный, без пиджака, в рубашке без ворота с медной запонкой на душке. В руке он держал шахматную фигуру, черного коня. Я поздоровался, по-русски.

— Заходите, заходите, — сказал он радостно, как будто ждал меня.

— Я такой-то, — сказал я.

— А я, — вскричал он, — Пал Палыч Речной, — и от души расхохотался, словно сказал удачную шутку. — Не угодно ли, — продолжал он, указывая конем на отворенную дверь.

Я очутился в скромной комнате со швейной машинкой в углу и с запашком льняного белья в воздухе. Мощного сложения мужчина бочком сидел у стола, на котором была расстелена клеенчатая шахматная доска со слишком крупными для клеток фигурами. Он смотрел на них искоса, и пустой папиросный мундштук в углу его рта смотрел в противную сторону. На полу стоял на коленях хорошенький мальчик лет четырех-пяти, окруженный крохотными автомобильчиками. Пал Палыч хватил по столу черным конем, и у коня отлетела головка. Черный аккуратно прикрутил ее на место.

— Присаживайтесь, — сказал Пал Палыч, — Это мой двоюродный брат, — прибавил он. Черный склонил голову. Я присел на третий (и последний) стул. Ребенок подобрался ко мне и молча показал новенький красно-синий карандаш.

— Я бы мог взять твою туру, если бы захотел, — мрачно сказал Черный, — но у меня есть ход получше.

Он приподнял ферзя и бережно втиснул его в пригоршню пожелтелых пешек, из коих одна изображалась наперстком.

Молниеносно двинув слона, Пал Палыч ферзя снял. После чего зашелся от смеха.

— Ну так, — спокойно сказал Черный, когда Белый отсмеялся, — вот ты и влип. Шах, голубчик.

Пока они спорили о позиции и Белый пытался взять ход обратно, я оглядывал комнату. Я отметил портрет того, что было некогда Царствующей Семьей. И усы знаменитого генерала, несколько лет назад заеденного московитами. Я отметил также вспученные пружины клоповьего цвета оттоманки, служившей, сколько я понял, трехспальной кроватью — мужу, жене и ребенку. На миг цель моего прихода представилась мне до безумия нелепой. Еще я почему-то вспомнил также тур потусторонних визитов Чичикова в гоголевских "Мертвых душах". Мальчик рисовал для меня машинку.

— Я к вашим услугам, — сказал Пал Палыч (я понял, что он проиграл, Черный укладывал фигуры в старую картонку — все, кроме наперстка). Я сказал то, что предусмотрительно подготовил загодя: именно что я хотел повидать его жену, поскольку она была в дружбе с некоторыми... ну, в общем, с моими немецкими друзьями. (Я опасался слишком рано упомянуть имя Себастьяна.)

— Тогда вам придется малость обождать, — сказал Пал Палыч. — У нее, понимаете, дела в городе. Я думаю, она с минуты на минуту вернется.

Я решился ждать, хоть и чувствовал, что сегодня мне навряд ли доведется поговорить с его женою с глазу на глаз. Я, впрочем, надеялся, что несколько искусных вопросов помогут мне сразу установить, знала ли она Себастьяна; а там уж, мало-помалу, я сумею ее разговорить.

— А мы тем временем тяпнем коньячку, — сказал Пал Палыч.

Мальчик, сочтя, что я проявил достаточный интерес к его картинкам, отошел к своему дяде, который тут же усадил его к себе на колено и принялся рисовать — с невероятной скоростью и изяществом — гоночный автомобиль.

— Да вы просто художник, — сказал я, чтобы что-то сказать.

Пал Палыч, полоскавший стаканы в махонькой кухонке, засмеялся и крикнул через плечо:

— Он у нас разносторонний гений. Играет на скрипке, стоя на голове, за три секунды перемножает телефонные номера и расписывается вверх ногами, не изменяя почерка.

— А еще он водит такси, — сказал ребенок, болтая тонкими, грязными ножками.

— Нет, я с вами пить не буду, — сказал дядя Черный, когда Пал Палыч поставил стаканы на стол. — Я, пожалуй, с мальчиком прогуляюсь. Где его одежда?

Отыскали пальтишко, Черный увел мальчика. Пал Палыч разлил коньяк и сказал:

— Вы уж меня простите за эти стаканы. В России я был богат, и в Бельгии, десять лет назад, опять разбогател, да вот потом разорился. Ну, ваше здоровье.

— Это ваша жена шьет? — спросил я, чтобы завязать разговор.

— А, да, затеяла портняжить, — сказал он со счастливым смехом. — Я-то наборщик, да вот только что потерял работу. Она наверняка с минуты на минуту вернется. Вот уж не знал, что у нее есть друзья среди немцев, — добавил он.

— По-моему, — сказал я, — они с ней познакомились в Германии или в Эльзасе, что ли? — Он сноровисто наполнял стаканы, но тут вдруг застыл и уставился на меня, разинув рот.

— Боюсь, тут какая-то ошибка, — воскликнул он. — Это, должно быть, первая моя жена. Варвара Митрофанна сроду кроме Парижа нигде не бывала, — ну, еще в России, конечно, — а сюда попала из Севастополя через Марсель.— Он осушил свой стакан и хохотнул.

— Хорошо пошло, — сказал он, с любопытством разглядывая меня. — А мы с вами прежде не встречались? Сами-то вы мою первую знаете?

Я покачал головой.

— Так это вам повезло, — закричал он. — Черт знает как повезло. А эти ваши друзья-немцы отправили вас гоняться за привидением, потому что вам ее нипочем не найти.

— Отчего же? — спросил я, испытывая все больший интерес.

— Да оттого, что как мы разошлись несколько лет назад, так я ее больше и не видел. Кто-то ее в Риме встречал, кто-то в Швеции, — да я и в этом не уверен. Может, она там, а может, — в аду. *Мне-то* все едино.

— А вы не могли бы подсказать какой-либо способ ее отыскать?

— Никакого, — сказал он.

— Общие знакомые?

— Это были *ее* знакомые, не мои, — ответил он с содроганием.

— Фотографии или еще чего-нибудь у вас не осталось?

— Слушайте, — сказал он, — вы куда это клоните? Полиция, что ли, ей занялась? Потому что я, знаете, не удивлюсь, если она окажется международной шпионкой. Мата Хари! Ее тип. То есть абсолютно. И потом... В общем, не та это дамочка, чтобы ее забыть, если уж она вам влезла в печенки. Меня она высосала дочиста, и не в одном отношении. Деньги и душу, к примеру. Я бы ее убил... кабы не Анатоль.

— А кто это? — спросил я.

— Анатоль? А палач. Который тут при гильотине. Так вы, стало, все же не из полиции. Нет? Ну, это, я полагаю, ваше дело. Но, правда, она меня с ума свела. Я, знаете, встретился с ней в Остенде, где-то, наверное, — дайте подумать, — году в двадцать седьмом, ей тогда было лет двадцать, да что, и двадцати-то не было. Я знал, что она любовница еще там одного и все такое прочее, но мне было наплевать. Жизнь она себе как представляла? — коктейли, плотный ужин часа, этак, в четыре утра и танцы, шимми

или как его там называют, ну, и еще таскаться по борделям, — мода такая была у парижских пижонов, — и покупать дорогие платья, и закатывать скандалы в отелях, когда примерещится, что горничная у ней сперла какую-то мелочь, которую она потом находила в ванной... Ну, и прочее в этом роде — да вы ее в любом дешевом романе найдете, это же тип, тип! Еще она, бывало, выдумает себе какую ни на есть редкую хворь и едет на курорт, непременно чтоб поизвестней и...

— Постойте-ка, — сказал я. — Это для меня важно. В двадцать девятом году она была в Блауберге, одна?

— Точно, но это уж в самом конце нашего брака. Мы тогда жили в Париже, потом скоро разошлись, и я год проработал в Лионе, на фабрике. Я, видите ли, разорился.

— Вы хотите сказать, что она встретила в Блауберге какого-то мужчину?

— Нет, это я не знаю. Понимаете, я не думаю, чтобы она и впрямь так далеко заходила, обманывая меня, то есть не по-настоящему, не на всю катушку, — по крайности, я старался так думать, потому что мужчины-то вокруг нее вечно вертелись, а она вроде была не против, чтобы они ее целовали, но, начни я об этом задумываться, я бы спятил. Как-то, помню...

— Простите, — снова перебил его я, — вы совершенно уверены, что никогда не слыхали про ее английского друга?

— Английского? Вы вроде про немецкого говорили. Нет, не знаю. Сдается, был в двадцать восьмом году в Сен-Максиме молодой американец, тот чуть в обморок не падал каждый раз, как Нинка с ним танцевала, — и, что же, могли быть и англичане, в Остенде и где угодно, — да меня, по правде сказать, национальность ее ухажеров никогда особенно не занимала.

— Так вы вполне уверены, что ничего не знаете о Блауберге и... ну, о том, что за ним последовало?

— Нет, — сказал он. — Не думаю, чтобы она там кем-нибудь увлеклась. Понимаете, у нее в это время был очередной заскок насчет болезней, — она питалась одним лимонным мороженым и огурцами и болтала про смерть,

про Нирвану, про что там еще? — у ней бзик был по части Лхассы, — знаете, о чем я?..

— Как ее звали, в точности? — спросил я

— Ну, когда я с ней встретился, она звалась Ниной Туровец, — а уж как там... Нет, я думаю, вам ее не найти. По правде сказать, я часто ловлю себя на мысли, что она вообще никогда не существовала. Я рассказал про нее Варваре Митрофанне, так та говорит, — это, мол, просто дурной сон после просмотра дурной фильмы. Э, да вы уж не уходить ли собрались? Она же сию минуту вернется... — Он глянул на меня и засмеялся. (По-моему, он малость перебрал коньячку.)

— Ой, я и забыл, — сказал он. — Вы же не нынешнюю мою жену ищете. — И прибавил: — А кстати, документы у меня в полном порядке. Могу вам показать мою carte de travail. И если вы ее найдете, я бы хотел на нее взглянуть перед тем, как ее посадят. А может, и не стоит.

— Ну, что же, спасибо вам за беседу, — сказал я, когда мы с несколько чрезмерным воодушевлением жали друг другу руки — сперва в комнате, потом в коридоре, потом в дверях.

— *Вам* спасибо, — кричал Пал Палыч. — Знаете, я так люблю про нее рассказывать, жалко вот, нс сохранил я ни одной ее карточки.

С минуту я простоял, размышляя. Достаточно ли я из него вытянул?.. Что ж, я ведь всегда могу встретиться с ним еще раз... А не могло ли случайное фото попасть в одну из этих иллюстрированных газет — с автомобилями, мехами, собаками и модами Ривьеры? Я спросил об этом.

— Возможно, — сказал он, — возможно. Она как-то получила приз на костюмированном балу, да только я не очень-то помню, где это было. Для меня тогда что ни город, то ресторан или танцулька.

Он потряс головой, зычно рассмеялся и захлопнул дверь. Дядя Черный и мальчик медленно поднимались по лестнице мне навстречу.

— Когда-то давным-давно жил да был автогонщик на свете, — говорил дядя Черный, — и была у него маленькая белочка; и вот однажды...

16

Первое мое впечатление было такое, что я получил искомое, что я, по крайности, выяснил, кто была любовница Себастьяна; но довольно быстро я поостыл. Могла ли быть ею она, первая жена этого пустозвона? — раздумывал я, пока такси несло меня по следующему адресу. В самом ли деле стоит устремляться по этому правдоподобному, слишком правдоподобному следу? Не был ли образ, вызванный Пал Палычем, чуточку слишком очевиден? Взбалмошная распутница, разбившая жизнь безрассудного мужчины. Но был ли Себастьян безрассуден? Я напомнил себе о резкой его неприязни к очевидно дурному и очевидно хорошему; к готовым формам наслаждения и к заемным формам страдания. Женщина такого пошиба начала бы действовать ему на нервы незамедлительно. Ибо к чему свелись бы ее разговоры, когда бы она и впрямь ухитрилась познакомиться в отеле "Бомон" с тихим, несходчивым и рассеянным англичанином? Разумеется, после первого же изложения ею своих воззрений он стал бы ее избегать. Я знаю, он говорил, что у вертлявых девиц неповоротливые мозги и что ничего нет скучнее хорошенькой женщины, обожающей повеселиться; и даже больше: если толком приглядеться к самой прелестной девушке, когда она пахтает сливки банальности, непременно отыщешь в ее красоте какой-то мелкий изъян, отвечающий складу ее мышления. Он, возможно, и не прочь был вкусить от яблока греха, потому что идея греха, если не считать языковых огрехов, оставляла его безразличным, но яблочный джем в патентованных баночках не пришелся б ему по вкусу. Простить женщине кокетство он мог, но никогда не простил бы поддельной тайны. Его могла позабавить молоденькая потаскушка, мирно наливающаяся пивком, но grande cocotte с намеком на пристрастие к бхангу он бы не вытерпел. Чем дольше я это обдумывал, тем менее вероятным оно представлялось... Во всяком случае, не проверив других двух возможностей, этой женщиной заниматься не стоило.

Поэтому в чрезвычайно импозантный дом, у которого встало такси (в весьма фешенебельном квартале Парижа),

я вошел вполне энергичной походкой. Горничная сказала, что мадам нет дома, но, заметив мое разочарование, попросила обождать минуту и вскоре вернулась с предложением, что ежели мне будет угодно, то я могу поговорить с подругой мадам фон Граун — с мадам Лесерф. Она оказалась маленькой, хрупкой, бледнолицей молодой дамой с гладкими темными волосами. Я подумал, что никогда не видал кожи с такою ровною бледностью; черное платье высоко прикрывало шею, в руке она держала длинный черный папиросный мундштук.

— Так вы желали бы видеть мою подругу? — спросила она с прелестным, подумалось мне, старосветским оттенком учтивости в кристально чистом французском.

Я представился.

— Да, — сказала она, — я заглянула в вашу карточку. Вы русский, не так ли?

— Я пришел, — пояснил я, — по весьма деликатному делу. Но прежде всего скажите, прав ли я, полагая, что мадам Граун — моя соотечественница?

— Mais oui, elle est tout se qu'il y a de plus russe, — отвечала она нежным звенящим голосом. — Муж ее был немец, но он говорил и по-русски.

— А, — сказал я, — прошедшее время весьма меня радует.

— Вы можете быть вполне откровенны со мной, — сказала мадам Лесерф,— деликатные дела мне по душе.

— Я состою в родстве, — продолжал я, — с английским писателем Себастьяном Найтом, скончавшимся два месяца назад; я собираюсь написать его биографию. У него был близкий друг, женщина, с которой он познакомился в Блауберге, где провел несколько времени в двадцать девятом году. Я пытаюсь найти ее. Вот почти и все.

— Quelle drôle d'histoire! — воскликнула она. — Какая забавная история! И что же вы хотите, чтобы она вам рассказала?

— О, все, что ей будет угодно... Но должен ли я понимать... Вы хотите сказать, что мадам Граун и есть та самая женщина?

— Весьма возможно, — сказала она, — хотя и не думаю, чтобы я когда-либо слышала от нее это имя... Как вы его назвали?

— Себастьян Найт.

— Нет. И все же это вполне возможно. Она всегда заводит друзей там, где ей случается жить. Il va sans dire, — прибавила она, — что вам следует поговорить с ней самой. О, я уверена, вы найдете ее очаровательной. Но что за странная история, — повторила она, с улыбкой глядя на меня. — Почему вы должны писать о нем книгу, и как случилось, что вы не знаете имени женщины?

— Себастьян Найт был довольно скрытен, — пояснил я. — А письма этой женщины, хранившиеся у него... Видите ли, он пожелал, чтобы их уничтожили после его смерти.

— Вот это правильно, — весело сказала она, — я очень его понимаю. Во что бы то ни стало сжигайте любовные письма. Прошлое превосходно горит. Хотите чашечку чаю?

— Нет, — сказал я. — Чего бы я хотел, так это узнать, когда я смогу увидеть мадам Граун.

— Скоро, — сказала мадам Лесерф. — Сейчас ее нет в Париже, но, думаю, завтра вы могли бы зайти снова. Да, полагаю, так будет вернее всего. Она может вернуться даже нынешней ночью.

— Могу ли я просить вас, — сказал я, — побольше рассказать мне о ней?

— Что же, это не трудно, — сказала мадам Лесерф. — Она прекрасная певица, знаете, цыганские песни, в этом роде. Необычайно красива. Elle fait des passions. Я ужасно ее люблю и занимаю здесь комнату всякий раз, что попадаю в Париж. Кстати, вот ее фотография.

Медленно и бесшумно она пересекла толстый ковер гостиной и взяла большую обрамленную фотографию, стоявшую на пианино. С минуту я рассматривал полуотвернутое от меня удивительное лицо. Мягкая линия щек и уходящие вверх призрачные стрелы бровей показались мне очень русскими. Чуть отблескивало нижнее веко и полные, темные губы. Выражение лица представляло странную смесь мечтательности и коварства.

— Да,— сказал я, — да...

— Ну что, она? — испытующе спросила мадам Лесерф.

— Может быть, — ответил я. — Мне очень не терпится встретиться с ней.

— Я постараюсь сама все выяснить, — сказала мадам Лесерф с видом очаровательной заговорщицы. — Потому что, знаете ли, я считаю, что куда честнее писать книгу о людях, которых знаешь, чем делать из них фарш и потом притворяться, что ты сам все это состряпал!

Я поблагодарил ее и попрощался на французский манер. Ладонь у нее была удивительно маленькая, и, когда я неумышленно сжал ее слишком сильно, она поморщилась, потому что на среднем пальце у нее было большое, острое кольцо. Оно и меня немного поранило.

— Завтра в это же время, — сказала она и мягко рассмеялась. Приятно спокойная дама со спокойными движениями.

Я все еще ничего не узнал, но чуял, что продвигаюсь успешно. Теперь оставалось успокоить душу касательно Лидии Богемски. Приехав по имевшемуся у меня адресу, я узнал от консьержа, что госпожа несколько месяцев как съехала. Он сказал, что она вроде бы обитает в отельчике насупротив. Там мне сообщили, что она выехала три недели назад и живет теперь на другом конце города. Я спросил у моего собеседника, как он полагает, русская ли она? Он ответил, что русская. “Привлекательная брюнетка?” — предположил я, прибегнув к старинной уловке Шерлока Хольмса. “Точно”, — ответил он, слегка меня озадачив (правильный ответ: “О, нет, уродливая блондинка”). Полчаса спустя я входил в мрачного вида дом невдалеке от тюрьмы Санте. На мой звонок вышла толстая, немолодая женщина с волнистыми ярко-оранжевыми волосами, багровыми щеками и каким-то темным пухом над крашеной губой.

— Могу я поговорить с мадемуазель Лидией Богемски? — спросил я.

— C’est moi, — отвечала она с жутким русским акцентом.

— Так я сбегаю за вещами, — пробормотал я и поспешно покинул дом. Я порой думаю, что она, может быть, так и стоит в проеме двери.

Когда я назавтра опять пришел на квартиру мадам фон Граун, горничная провела меня в другую комнату — род будуара, изо всей силы старающегося выглядеть очаровательным. Еще накануне я заметил, как сильно натоплено в этой квартире, и поскольку погода на дворе стояла хотя и решительно сырая, но все же едва ли, что называется, зябкая, это буйство центрального отопления показалось мне отчасти преувеличенным. Ждать пришлось долго. На столике у стены валялось несколько состарившихся французских романов — все больше лауреаты литературных премий — и изрядно залистанный экземпляр "Сан-Микеле" доктора Акселя Мунте. Букет гвоздик помещался в стеснительной вазе. Были тут и разные безделушки, вероятно вполне изысканные и дорогие, но я всегда разделял почти болезненную неприязнь Себастьяна ко всему, сделанному из стекла или фарфора. Имелась, наконец, полированная якобы мебель, вмещавшая, это я сразу учуял, кошмар кошмаров: радиоприемник. В общем и целом, однако ж, Элен фон Граун представлялась особой "культурной и со вкусом".

Наконец дверь отворилась, и вступила бочком дама, виденная мной накануне, — говорю "бочком", потому что голова у нее была повернута вниз и назад, — она разговаривала, как обнаружилось, с одышливым, черным, лягушачьего вида бульдожком, которому, видимо, неохота было входить.

— Помните о моем сапфире, — сказала она, подавая мне холодную ладошку. Она уселась на голубую софу и подтянула туда же тяжелехонького бульдога.

— Viens, mon vieux, — задыхалась она, — viens. Он чахнет без Элен, — сказала она, когда животина удобно устроилась между подушек. — Вы знаете, просто беда, я надеялась, что она вернется сегодня утром, а она протелефонировала из Дижона и сказала, что не появится до субботы (а то был вторник). Мне ужасно жаль. Я не знала, как вас найти. Вы очень расстроены? — И она взгля-

нула на меня, положив подбородок на сложенные ладони и упершись в колени стесненными бархатом острыми локотками.

— Ну, что же, — сказал я, — если вы побольше расскажете мне о мадам Граун, я, может быть, и утешусь.

Не знаю отчего, но атмосфера этого дома как-то располагала меня к аффектации в речах и манерах.

— И даже более того, — сказала она, воздевая палец с острым ноготком, — j'ai une petite surprise pour vous. Но сначала мы выпьем чаю. — Я понял, что на сей раз мне не избегнуть комедии чаепития; и вправду, горничная уже катила столик с посверкивающим чайным прибором.

— Поставьте сюда, Жанна, — сказала мадам Лесерф. — Да, вот так.

— Теперь вы должны рассказать мне как можно точнее, — сказала мадам Лесерф, — tout ce que vous croyez raisonnable de demander à une tasse de thé. Я подозреваю, вы любите добавить немного сливок, ведь вы жили в Англии. А знаете, вы *похожи* на англичанина.

— Предпочитаю походить на русского, — сказал я.

— Вот русских, боюсь, я вовсе не знаю, не считая Элен, разумеется. Эти бисквиты, по-моему, довольно милы.

— А что же ваш сюрприз? — спросил я.

У ней было чудное обыкновение внимательно смотреть на вас — не в глаза, нет, а на нижнюю часть лица, словно у вас там крошки или что-то еще, и неплохо бы это смахнуть. Сложена она была для француженки очень изящно, а прозрачная кожа и темные волосы представлялись мне весьма привлекательными.

— Ах! — сказала она. — Я спросила ее кое о чем, по телефону, и... — она помедлила, видимо наслаждаясь моим нетерпением.

— И она ответила, — сказал я, — что никогда не слыхала этого имени.

— Нет, — сказала мадам Лесерф, — всего-навсего рассмеялась, но мне этот ее смешок знаком.

Кажется, я встал и прошелся по комнате вперед и назад.

— Ну, — наконец сказал я, — вообще говоря, это не повод для смеха, не так ли? А она знает, что Себастьян Найт умер?

Мадам Лесерф прикрыла темные бархатистые глаза в безмолвном “да” и вслед за тем снова взглянула на мой подбородок.

— Вы с ней виделись в последнее время, — я хочу сказать, видели вы ее в январе, когда известие о его смерти попало в газеты? Она опечалилась?

— Послушайте, мой дорогой друг, вы странно наивны, — сказала мадам Лесерф. — Есть разные виды любви и разные виды печали. Положим, Элен — это та, кого вы ищете. Но зачем полагать, что она любила его настолько, чтобы оплакивать его смерть? Или, быть может, она любила его, но у нее особые взгляды на смерть — такие, при которых истерики исключаются? Что мы знаем об этом? Это ее личное дело. Она, надеюсь, все вам расскажет, но до того времени вряд ли будет справедливым ее оскорблять.

— Я ее не оскорблял, — воскликнул я. — И сожалею, если сказал что-то несправедливое. Но расскажите же мне о ней. Давно вы ее знаете?

— О, за последние годы, не считая этого, я виделась с ней нечасто, — она, знаете ли, все в разъездах, — но мы вместе учились в школе, здесь, в Париже. Ее отец был русский, художник. Она совсем еще девочкой вышла замуж за того дурака.

— За какого дурака? — заинтересовался я.

— Ну, за мужа своего, конечно. Большинство мужей — дураки, но тот был hors concours. По счастью, это тянулось недолго. Попробуйте моих. — Она вручила мне и свою зажигалку тоже. Бульдог зарычал во сне. Она подвинулась и свернулась на софе, освободив для меня место. — А вы, похоже, мало знаете женщин, да? — спросила она, погладив себя по пятке.

— Меня интересует только одна, — ответил я.

— А сколько вам лет? — продолжала она. — Двадцать восемь? Я догадалась? Нет? О, ну, тогда вы старше меня. Но не важно. О чем это я говорила?.. Да, я кое-что знаю о ней из ее рассказов, ну и то, что сама раскопала. Единственный мужчина, которого она любила по-настоящему, был женат, это еще до ее замужества, она тогда была худышка, понимаете? — и он то ли устал от нее, то ли еще

что. После у ней были романы, но, в сущности, это не имеет значения. Un coeur de femme ne ressuscite jamais. Потом приключилась одна история, о ней она мне рассказала подробно,— эта была довольно печальной.

Она рассмеялась. Зубы ее были великоваты для маленького, бледного рта.

— У вас такой вид, будто моя подруга была вашей любовницей, — сказала она, дразнясь. — А кстати, я все хотела спросить, откуда у вас этот адрес, — я имею в виду, что заставило вас искать Элен?

Я рассказал ей о четырех адресах, полученных в Блауберге. Назвал имена.

— Это великолепно, — вскричала она, — вот это, я понимаю, энергия! Voyez vous ça! И вы ездили в Берлин? Она еврейка? Обворожительно! А других вы тоже нашли?

— Одну повидал, — сказал я, — этого хватило.

— Которую? — спросила она, корчась от неуемного веселья. — Которую? Мадам Речную?

— Нет, — сказал я. — Ее муж снова женился, а она исчезла.

— Но вы прелестны, прелестны, — приговаривала мадам Лесерф, утирая слезы и зыблясь от нового смеха. — Представляю, как вы врываетесь к ним и натыкаетесь на ни в чем не повинную парочку. Ох, я сроду ничего не слыхала забавней. И что же, его жена спустила вас с лестницы или как?

— Оставим это, — сказал я с некоторой резкостью. Ее веселье рассердило меня. Боюсь, она обладала французским чувством юмора по части супружеских дел; в иную минуту оно показалось бы мне привлекательным, но именно сейчас я ощущал, что ее легкомысленно малопристойный взгляд на мое расследование чем-то оскорбителен для памяти Себастьяна. Это ощущение росло, и мне вдруг подумалось, что, может быть, и само это дознание непристойно, а моя неуклюжая погоня за призраком уже исказила всякое представление, какое я мог бы составить о последней любви Себастьяна. Или гротескная сторона поисков, предпринятых мною во имя Себастьяна, пришлась бы ему по вкусу? Сочтет ли герой биографии, что присущий ей

особый “найтовский поворот” сполна возмещает промахи биографа?

— Пожалуйста, простите меня, — сказала она, кладя свою ледяную ладонь на мою и глядя на меня исподлобья. — Знаете, не нужно быть таким обидчивым.

Она легко поднялась и подошла к красного дерева ящику в углу. Я смотрел на ее узкую, девичью спину, пока она наклонялась, и вдруг догадался, что она сию минуту проделает.

— Нет, Бога ради, только не это! — закричал я.

— Нет? — сказала она. — Я подумала, немного музыки вас успокоит. И вообще создаст нужную атмосферу для нашего разговора. Нет? Ну, как хотите.

Бульдог встряхнулся и улегся опять.

— Вот и умница, — сказала она льстиво-протяжно.

— Вы хотели мне рассказать... — напомнил я.

— Да, — сказала она и вновь уселась рядом со мной, подобрав под себя ногу и затянув ее подолом юбки. — Да. Видите ли, я не знаю, кто был тот мужчина, но, насколько я поняла, человек он был трудный. Она говорила, что ей приглянулась его наружность, и она подумала, что было бы, пожалуй, забавно заставить его заняться с нею любовью, — потому что, понимаете, он казался таким интеллектуалом, а всегда ведь приятно увидеть, как такой утонченный и надменный умник вдруг опускается на четвереньки и начинает вилять хвостом. Да что с вами опять такое, cher Monsieur?

— Боже мой, о чем это вы говорите? — закричал я. — Когда... Когда и где он случился, этот роман?

— Ah non merci, je ne suis pas le calendrier de mon amie. Vous ne voudriez pas! Я не стала выспрашивать у нее дат и имен, и, если она их сама называла, я их забыла. И пожалуйста, не задавайте мне больше никаких вопросов: я рассказываю то, что знаю *я*, а не то, что *вам* хотелось бы знать. Не думаю, чтобы это был ваш родственник, уж очень он на вас не похож, — конечно, насколько мне можно судить по тому, что она рассказала, и по нашему с вами знакомству. Вы милый, порывистый молодой человек, а он, — ну какой угодно, только не милый, — он стал просто гадок, когда

обнаружил, что влюбился в Элен. Нет, он не превратился в чувствительного щеночка, как она ожидала. Он с горечью твердил, что она — пустое и суетное существо и что он целует ее, чтобы увериться, что она — не фарфоровая безделушка. Что ж, она ею не была. В конце концов он понял, что не может жить без нее, а она в конце концов поняла, что уже больше слышать не может разговоров о его сновидениях, и о сновидениях внутри его сновидений, и о сновидениях в сновидениях его сновидений. Поймите, я никого из них не сужу. Возможно, оба были правы, возможно, — оба неправы, но, видите ли, моя подруга — вовсе не заурядная женщина, какой он ее считал, о нет, она совсем другая, а уж о жизни, смерти и людях она знала чуточку больше, чем знал, по его мнению, он. Он, видите ли, был из тех, кто считает все современные книги хламом, а всех современных молодых людей — дураками, и только потому, что сам он слишком занят своими чувствами и мыслями, чтобы понимать чувства и мысли других. Она говорила, что невозможно даже вообразить, что у него были за вкусы и прихоти, а уж как он говорил о религии — это, по-моему, просто кошмар. А моя подруга, она, знаете, скорее беззаботная, вернее, была такой, très vive, и так далее, но она чувствовала, что просто стареет и скисает с каждым его появлением. Он ведь, знаете ли, никогда не оставался с ней подолгу — заявится à l'improviste, плюхнется на пуфик, сложит ладони на ручке трости, не снимая перчаток, и уставится мрачно. Вскоре она подружилась с другим мужчиной, этот ее боготворил и был гораздо, о, гораздо внимательнее и добрее, и участливее того, которого вы напрасно считаете вашим братом (не кривитесь, пожалуйста), но они ее оба не очень увлекали, и она говорит, что просто умора была смотреть, какие они были обходительные, когда встречались. Ей нравилось путешествовать, но стоило ей отыскать какой-нибудь приятный уголок, где можно забыть про свои тревоги и про все на свете, как он ухитрялся тут же испортить пейзаж — усаживался за ее столик на террасе и твердил, что она суетная и пустая и что он не может жить без нее. Или вдруг закатывал длинную речь перед ее друзьями, — знаете, des jeunes gens qui aiment

à rigoler, — какую-нибудь длинную и непонятную речь о форме пепельницы или о цвете времени, — ну, и его оставляли одного в кресле, глупо улыбаться себе самому или считать свой пульс. Жаль, если он и вправду окажется вашим родственником, потому что я не думаю, чтобы она сохранила от той поры очень уж приятное впечатление. В конце концов, рассказывала она, он стал совершенно несносен, и она больше не позволяла ему даже притрагиваться к себе, потому что с ним мог приключиться припадок или еще что-то — от возбуждения. И вот, как-то раз, когда он должен был приехать ночным поездом, она попросила молодого человека, который готов был на все, чтобы ей угодить, встретить его и сказать, что она больше не желает с ним видеться, никогда, и что если он будет искать с нею встреч, то ее друзья отнесутся к нему как к назойливому чужаку и соответственно с ним поступят. Я считаю, что это было нехорошо с ее стороны, но она решила, что в конечном счете для него же так будет лучше. И это помогло. Он больше не присылал ей даже обычных умоляющих писем, которые она все равно не читала. Нет-нет, право, не думаю, чтобы это был ваш человек, — если я и рассказываю вам все это, то лишь для того, чтобы дать вам представление об Элен, а не о ее любовниках. Она была так переполнена жизнью, готовностью всех приласкать, так полна этой vitalité joyeuse qui est, d'ailleurs, tout-à-fait conforme à une philosophie innée, à un sens quasi-religieux des phénomènes de la vie. И что из этого вышло? Мужчины, которых она любила, оказались жалкими ничтожествами, женщины — все, за очень малыми исключениями, — попросту кошками; и лучшую часть своей жизни она провела, пытаясь найти счастье в мире, который делал все, чтобы ее сломить. Что ж, вы встретитесь с ней и увидите, насколько мир преуспел.

Долгое время мы молчали. Увы, у меня не оставалось больше сомнений; и пусть портрет Себастьяна был отвратителен, — но ведь и достался он мне уже подержанным.

— Да, — сказал я, — я встречусь с нею, любой ценой. И по двум причинам. Во-первых, я хочу задать ей один вопрос, только один. А во-вторых...

— Да? — сказала мадам Лесерф, отхлебнув остывшего чаю. — А во-вторых?

— Во-вторых, я не в силах вообразить, чем могла такая женщина увлечь моего брата; вот я и хочу увидеть ее собственными глазами.

— Вы хотите сказать, — спросила мадам Лесерф, — что она кажется вам страшной, опасной женщиной? Une femme fatale? Потому что она, знаете ли, совсем не такая. Она — чистое золото.

— Да нет, — сказал я. — Не страшной, не опасной. Умной, если угодно, и так далее. И все же... Нет, я должен сам ее видеть.

— Поживете — увидите, — сказала мадам Лесерф. — Теперь послушайте. У меня предложение. Завтра я уезжаю. И боюсь, если вы придете сюда в субботу, Элен может оказаться в такой спешке, — она, знаете, вечно спешит, — что отложит вашу встречу до завтра, забыв, что назавтра она едет ко мне в деревню, и вы ее снова упустите. Словом, я думаю, что вам лучше всего тоже приехать ко мне. Потому что тогда вы наверное, наверное встретитесь с ней. Так вот, я приглашаю вас приехать в воскресенье утром — и пожить у нас, сколько сочтете нужным. У нас четыре свободных спальни, так что я думаю, вам будет удобно. И потом, вы знаете, если сперва я немного поговорю с ней, она будет как раз в нужном расположении для разговора с вами. Eh bien, êtes-vous d'accord?

17

Как странно, думал я, получается, что Нина Речная и Елена фон Граун обладают легким семейственным сходством, — и, уж во всяком случае, таковое имеется между двумя портретами, нарисованными мне мужем одной и подругой другой. Особенно выбирать между ними не приходилось. Нина пуста и пленительна, Елена — коварна и жестока; обе взбалмошны, и обе совсем не в моем вкусе — да и не в Себастьяновом, насколько я понимаю. Любопытно, знали ли эти двое друг дружку в Блауберге: пожалуй,

они могли подружиться — в теории; на деле они, вероятно, плевались бы и шипели одна на другую. Впрочем, теперь я мог окончательно отставить Нину Речную — это одно уже было большим облегчением. То, что француженка рассказала мне о любовнике своей подруги, едва ли могло быть совпадением. И какие бы чувства я ни испытывал, узнав, как обошлись с Себастьяном, я не мог не порадоваться тому, что поиски мои подходят к концу и что я избавлен от невыполнимой задачи — отыскивать первую жену Пал Палыча, которая, по всему, что я о ней знал, могла пребывать в тюрьме, а могла и в Лос Ангелесе.

Я сознавал, что мне дается последний шанс, и, стремясь наверное увидеться с Еленой фон Граун, сделал над собой кошмарное усилие и отправил ей на парижский адрес письмо, так, чтобы она нашла его по приезде. Письмо было кратким: я просто уведомлял в нем, что буду гостить у ее подруги в Леско и что приглашение принято мной с единственной целью встретиться с нею; я добавлял, что имеется важное литературное дело, которое мне необходимо с ней обсудить. Последнее утверждение было не очень правдивым, но я решил, что оно звучит завлекательно. Я так и не понял, сказала ли ей подруга во время телефонного разговора с Дижоном что-либо о моем желании увидеться с ней, и отчаянно боялся услышать в воскресенье от безмятежной мадам Лесерф, что Елена отправилась в Ниццу. Отослав письмо, я почувствовал, что, во всяком случае, сделал все посильное для устройства нашей встречи.

Я выехал в девять утра, дабы попасть в Леско около полудня, как было условлено. Я уже садился в вагон, как вдруг меня поразила мысль, что дорогой я буду проезжать Сен-Дамье, где умер и похоронен Себастьян. Сюда добирался я одной незабываемой ночью. Однако ныне я не узнавал ничего: когда поезд на минуту встал у маленькой платформы Сен-Дамье, одна только вывеска над ней и сказала мне, что я уже был здесь. Все вокруг глядело так просто, степенно и основательно в сравнении с искаженным сонным видением, засевшим в моей памяти. Или это теперь все исказилось?

Когда поезд отъехал, я испытал странное облегчение: ныне я уже не шел по призрачным следам, как тому два месяца. Погода стояла ясная, и при всякой остановке поезда я, казалось, слышал неровное и легкое дыхание весны, еще чуть заметной, но бесспорно присутствующей: "Озябшие танцовщицы, ждущие в кулисах", — как однажды об этом сказал Себастьян.

Дом у мадам Лесерф был большой, обветшалый. Десятка два болезненно дряхлых дерев притворялись парком. Поля по одну сторону и фабрика на холме по другую. Все здесь выглядело подозрительно изношенным, убогим, пропыленным; и когда я несколько позже узнал, что дом построен всего лет тридцать с лишком назад, я еще пуще подивился его одряхлению. Приближаясь к парадному входу, я встретил мужчину, торопливо хрустевшего гравием дорожки; он приостановился и пожал мне руку.

— Enchanté de vous connaître, — сказал он, окидывая меня грустным взором, — жена вас ожидает. Je suis navré... но мне в это воскресенье нужно съездить в Париж.

Это был средних лет и довольно заурядной внешности француз с усталыми глазами и машинальной улыбкой. Мы еще раз пожали друг другу руки.

— Mon ami, вы пропустите поезд, — донесся с веранды хрустальный голос мадам Лесерф, и он послушно затрусил дальше.

Сегодня платье на ней было бежевое, она ярко накрасила губы, но сквозистой кожи не тронула. Солнце сообщило ее волосам синеватый отлив, и я поймал себя на мысли, что все-таки она очень хорошенькая молодая женщина. Мы прошли две-три комнаты, имевшие такой вид, словно меж ними нерешительно разделили представление о гостиной. Меня одолевало чувство, что мы совершенно одни в этом неприятно раскидистом доме. Она подцепила шаль, лежавшую на зеленого шелка канапе, и завернулась в нее.

— Холодно, правда? — сказала она. — Вот одно, что я ненавижу в жизни, — холод. Потрогайте мои руки. Они всегда такие, кроме лета. Завтрак будет через минуту готов. Садитесь.

— Когда именно она приедет? — спросил я.

— Écoutez, — сказала мадам Лесерф, — неужели вы не в силах на минуту забыть о ней и поговорить о чем-то еще? Ce n'est pas très poli, vous savez. Расскажите мне о себе. Где вы живете, чем занимаетесь?

— После полудня она уже будет здесь?

— Да, да, упорный вы человек. Monsieur l'entêté. Разумеется будет. Не нужно быть таким нетерпеливым. Знаете, женщинам не очень нравятся мужчины с idée fixe. Как вам показался мой муж?

Я сказал, что он, должно быть, много старше нее.

— Он очень милый, но страшно скучный, — продолжала она, смеясь. — Я нарочно его отослала. Мы женаты всего только год, но я уже словно чувствую близость бриллиантовой свадьбы. Дом же этот я просто ненавижу. А вам, как он?

Я сказал, что дом выглядит несколько старомодно.

— О, это не то слово. Он казался новехоньким, когда я впервые его увидала. Но с того времени полинял и поосыпался. Я говорила однажды доктору, что любые цветы, кроме гвоздик и нарциссов, засыхают, едва я к ним прикоснусь, — странно, не правда ли?

— И что он ответил?

— Ответил, что он не ботаник. Когда-то была на свете персидская царевна вроде меня. Так она извела Дворцовые Сады.

Пожилая, довольно угрюмая служанка заглянула в комнату и кивнула хозяйке.

— Пойдемте, — сказала мадам Лесерф. — Vous devez mourir de faim, судя по вашему лицу.

В дверях мы столкнулись, потому что она вдруг обернулась, а я шел прямо за ней. Она ухватила меня за плечо, и волосы ее легко пронеслись по моей щеке.

— Как вы неловки, молодой человек, — сказала она. — Я забыла мои пилюли.

Она их нашла, и мы отправились по дому на поиски столовой. В конце концов мы ее отыскали. Это была унылая комната с эркером, который вроде как бы в последнии

момент передумал и робко попытался снова стать обыкновенным окном. Двое молча вплыли в нее через разные двери. Одна — старая дама, как я понял, кузина мосье Лесерфа. Ее участие в разговоре строго ограничивалось вежливым мурлыканьем при передаче блюда. Другой — довольно красивый собой мужчина в брюках-гольф, с торжественным выраженьем лица и странной седой прядью в редких светлых волосах. Во весь завтрак он не проронил ни единого слова. Мадам Лесерф представляла людей торопливым взмахом руки, не снисходя до имен. Я заметил, что она игнорировала его присутствие за столом, — казалось даже, будто он сидит ото всех отдельно. Завтрак был состряпан недурно, но составлен как-то наобум. Впрочем, вино было изрядное.

После того, как мы, лязгая, пронеслись через первую перемену, светловолосый господин раскурил папиросу и куда-то побрел. Минуту спустя он вернулся с пепельницей. Мадам Лесерф, до этого времени поглощенная пищей, теперь обратилась ко мне и сказала:

— Так вы, стало быть, немало поездили в последнее время? А я никогда не бывала в Англии, как-то не пришлось. Верно, скучное место. On doit s'y ennuyer follement, n'est-ce-pas? И потом, эти туманы... К тому же ни музыки, ни хоть какого-нибудь искусства... Этот кролик приготовлен особенным способом, я думаю, он вам понравится.

— Кстати, — сказал я, — забыл вам сказать. Я написал письмо вашей подруге, предупредил ее, что буду здесь и... ну, как бы напомнил ей, что она собиралась приехать.

Мадам Лесерф положила вилку и нож. Вид у нее стал изумленный и рассерженный.

— Не может быть! — вскричала она.

— Но ведь от этого никакого вреда не будет, верно? — или вы думаете...

Кролика мы прикончили в молчании. Последовал шоколадный крем. Блондин аккуратно сложил салфетку, вставил ее в кольцо, встал, слегка поклонился хозяйке и удалился.

— Мы будем пить кофе в зеленой гостиной, — сказала служанке мадам Лесерф.

— Я сердита на вас, — объявила она после того, как мы сели. — Думаю, вы все испортили.

— Но почему, что я такого сделал? — спросил я.

Она смотрела в сторону. Маленькая, крепкая грудь ее волновалась (Себастьян написал однажды, что это случается только в романах, но вот передо мной было доказательство его неправоты). Голубая жилка на бледной девичьей шее, казалось, пульсировала (впрочем, в этом я не уверен). Трепетали ресницы. Да, решительно, хорошенькая женщина. Интересно, думал я, откуда она родом — с юга? Возможно, из Арля? Хотя нет, выговор у нее парижский.

— Вы родились в Париже? — спросил я.

— Спасибо, — сказала она, не взглянув, — вот первый вопрос обо мне, который вы задаете. Но он не искупит вашего промаха. Глупее вы ничего не могли придумать. Возможно, если я попытаюсь... Извините, я через минуту вернусь.

Я откинулся и закурил. Пыль клубилась в наклонном солнечном луче; завитушки табачного дыма соединились с ней и закружились медленно и вкрадчиво, словно бы обещая в любую минуту образовать живую картину. Позвольте мне повторить здесь, что я не склонен обременять эти страницы чем бы то ни было, относящимся до меня лично; но, думаю, читатель (и кто знает, быть может, и дух Себастьяна тоже) позабавится, если я сообщу, что какой-то миг помышлял о том, чтобы предаться любви с этой женщиной. В сущности, это было очень странно, в то же самое время она меня раздражала — я разумею, то, что она говорила. Я как-то терял власть над собой. Когда она возвратилась, я мысленно встряхнулся.

— Ну вот, вы своего добились, — сказала она. — Элен нет дома.

— Tant mieux, — отвечал я, — она, вероятно, едет сюда, и, право, вы должны понять, до чего мне не терпится увидеть ее.

— Да зачем же, скажите на милость, было писать ей! — вскричала мадам Лесерф. — Вы же ее не знаете! Ведь я обещала вам, что она будет сегодня здесь. Чего ж вам еще?

И если вы не доверяете мне, если вам угодно меня проверять, — alors vous êtes ridicule, cher Monsieur.

— Ох, да помилуйте, — совершенно искренне сказал я, — у меня и в мыслях не было. Я подумал лишь, ну... что каши маслом не испортишь, как говорим мы, русские.

— Что мне за дело до масла... или до русских,— сказала она. Ну, что было делать? Я смотрел на ее руку, лежавшую рядом с моей. Ладонь чуть трепетала, рукав был такой тонкий, — и странная, легкая дрожь, не скажу, чтобы холодная, прошла у меня по хребту. Не следует ли мне поцеловать эту руку? Смогу ли я быть галантным, не ощущая себя окончательным дураком?

Она вздохнула и поднялась.

— Ну что ж, теперь ничего не поделаешь. Боюсь, вы ее спугнули, и если она появится, — ну да не важно. Посмотрим. Вы не хотели бы пройтись по нашим владеньям? Надеюсь, снаружи теплей, чем в этом несчастном доме, — que dans cette triste demeure.

“Владенья” состояли из сада и рощицы, уже отмеченной мной. Было так тихо. Черные ветви, там и сям утыканные зеленью, казалось, прислушивались к своей внутренней жизни. Что-то унылое и безотрадное нависало над этими местами. Земля, вырытая и кучей сваленная у кирпичной стены таинственным садовником, который исчез, забыв заржавленную лопату. Неведомо почему, я вспомнил случившееся недавно убийство, убийца зарыл жертву в точно таком же саду.

Мадам Лесерф молчала; наконец она произнесла:

— А вы, должно быть, очень любили вашего брата, раз подымаете столько шума вокруг его прошлого. Как он умер? Покончил с собой?

— О нет, — сказал я, — он страдал болезнью сердца.

— Вы, кажется, сказали, что он застрелился. Это было бы куда романтичнее. Я разочаруюсь в вашей книге, если все закончится в постели. Здесь летом розы растут, — вот здесь, в грязи, — но убейте меня, если я проведу тут еще одно лето.

— Мне, разумеется, и в голову не придет как-то подделывать его жизнь, — сказал я.

— Ну еще бы! Я знавала человека, который издал письма своей покойной жены и дарил их знакомым. Но почему вы считаете, что биография вашего брата кого-то заинтересует?

— А вы разве никогда не читали... — начал я, как вдруг элегантный, хоть и забрызганный грязью автомобиль подъехал к воротам.

— Черт побери, — сказала мадам Лесерф.

— Наверное, это она, — воскликнул я.

Из машины прямо в лужу выбиралась женщина.

— Да уж конечно, это она, — сказала мадам Лесерф. — Теперь оставайтесь, пожалуйста, здесь.

Она побежала по дорожке, маша рукой, и, добежав до приезжей, поцеловала ее, повела налево, и там они обе пропали за кустами. Минуту спустя я вновь их увидел — пройдя через сад, они поднялись по ступеням. И скрылись в доме. Елену фон Граун я рассмотреть не успел, видел только распахнутую шубку да цветистый шарф.

Я отыскал каменную скамью и сел. Я был взволнован и в общем доволен собой, тем, что затравил наконец свою дичь. Чья-то трость лежала на скамье, я принялся ковырять ею жирную бурую землю. Успех! Нынче же ночью, расспросив ее, я ворочусь в Париж и... Мысль, чуждая прочим, дразнящая, — дрожащий подкидыш — втерлась и замешалась в толпе... Да вернусь ли я нынче ночью? Как это там, бездыханная фраза во второсортном рассказике Мопассана: "Я забыл мою книгу". Но и я свою забывал.

— А, так вот вы где, — произнес голос мадам Лесерф. — Я уж думала, вы домой уехали.

— Ну что, все в порядке?

— Куда там, — спокойно ответила она. — Понятия не имею, что вы ей написали, но она считает, что это связано с фильмовым контрактом, который она старается залучить. Говорит, вы загнали ее в западню. Теперь будете делать, что я вам скажу. Вы не станете говорить с ней ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Но вы останетесь здесь и будете с ней очень милы. И она обещала все мне рассказать, а после, возможно, вам можно будет побеседовать с нею. Ну, договорились?

— Право, вы так добры — все эти хлопоты, — сказал я.

Она села рядом со мной на скамейку, а так как скамейка была коротенькая, я же довольно, — ну, скажем, дороден, — ее плечо коснулось моего. Я облизал губы и принялся выцарапывать на земле какие-то линии палкой, которую так и держал в руке.

— Что это вы пытаетесь нарисовать? — спросила она и кашлянула.

— Мои мыслительные волны, — глупо ответствовал я.

— Когда-то давным-давно, — мягко сказала она, — я поцеловала мужчину только за то, что он умел расписываться вверх ногами.

Палка выпала из моей ладони. Я уставился на мадам Лесерф. Я оглядел ее ровный белый лоб, я увидел фиалково-темные веки, которые она опустила, быть может, неверно поняв мой взгляд, — увидел крохотную бледную родинку на бледной щеке, нежные крылья носа, складочки на верхней губе, то, как она наклонила голову, тусклую белизну горла, алый лак на ноготках тонких пальцев. Она подняла лицо, странные, бархатные глаза ее с райками, посаженными чуть выше обыкновенного, не отрывались от моих губ.

Я встал.

— Что такое, — спросила она, — что это вы надумали?

Я покачал головой. Впрочем, она права. Кое-что я надумал — и это кое-что требовало немедленного разрешения.

— Мы что, возвращаемся в дом? — спросила она, когда мы двинулись по дорожке.

Я кивнул.

— Но она, знаете, еще не сейчас спустится. Скажите, вы на что-то обиделись?

Вероятно, я остановился и снова уставился на нее, на сей раз на ее ладную фигурку в этом палевом, облегающем платье.

В тяжком раздумье я тронулся дальше, и испещренная солнцем дорожка, казалось, неодобрительно сморщилась мне в ответ.

— Vous n'êtes guère amiable, — сказала мадам Лесерф.

Стол и несколько стульев стояли на террасе. Безмолвный блондин, виденный мной за завтраком, сидел здесь, изучая устройство своих часов. Усаживаясь, я неловко зацепил его локоть, и он уронил крошечный винтик.

— Бога ради, — сказал он по-русски на мои извинения.

(Ага, так он, стало быть, русский? Отлично, мне это на руку.)

Мадам стояла спиной к нам и тихо напевала, постукивая ступней по каменным плитам.

И тогда я повернулся к молчуну-соотечественнику, долгим взором вникавшему в поломанные часы.

— А у ней на шейке паук, — тихо сказал я, по-русски.

Рука ее взметнулась к шее, она повернулась на каблуках.

— Што? — спросил тугодум-землячок, взглядывая на меня. Затем он посмотрел на мадам, неуверенно ухмыльнулся и закопался в часы.

— J'ai quelque chose dans le cou... Я чувствую, у меня что-то сидит на шее, — сказала мадам Лесерф.

— Я, собственно, как раз говорил этому русскому господину, что, по-моему, у вас на шее паук, — произнес я. — Но я ошибся, то была игра света.

— А не завести ли нам граммофон? — оживленно спросила она.

— Мне страшно жаль, — сказал я, — но, думаю, мне лучше вернуться домой. Вы меня извините, не правда ли?

— Mais vous êtes fou, — вскричала она, — вы сумасшедший, разве вы не хотели увидеть мою подругу?

— Возможно, в другой раз, — успокоительно сказал я, — в другой раз.

— Но объясните же мне, — попросила она, выходя следом за мною в сад, — в чем дело?

— Вы очень умно это проделали, — сказал я на нашем свободном и могучем русском языке, — вы очень умно проделали, заставив меня поверить, будто вы говорите о вашей подруге, меж тем как говорили вы все это время о себе. Ваш маленький розыгрыш мог затянуться очень надолго, кабы судьба вас не пихнула под локоть, заставив расплескать молоко. Потому что мне довелось встречаться с двоюродным братом вашего прежнего мужа, с тем самым,

который умеет расписываться кверху ногами. Вот я и устроил для вас небольшую проверку. И когда вы безотчетно уловили русскую фразу, которую я прошептал... Но нет, ни слова из этого я не сказал. Я лишь поклонился и вышел из сада. Ей отошлют экземпляр этой книги, и она все поймет.

18

Вопрос, который я собирался задать Нине, так и остался невысказанным. Я собирался спросить, приходило ли ей когда-либо в голову, что человек с серым лицом, чье общество она находила таким утомительным, был одним из замечательнейших писателей своего времени. Что было проку спрашивать! Книги ничего не значат для женщин ее пошиба; собственная жизнь кажется им увлекательней ста романов. Если б ее приговорили взаперти провести целый день в библиотеке, она бы уже к полудню померла. Я совершенно уверен, что Себастьян никогда не упоминал при ней о своей работе: это было бы то же, что толковать с летучей мышью о солнечных часах. Оставим же мышь дрожа кружить в густеющем сумраке: нескладным подобием ласточки.

В эти последние и самые грустные годы его жизни Себастьян написал “Неясный асфодель”, книгу, которая бесспорно является наивысшим его достижением. Где и как он ее писал? В читальной зале Британского музея (вдали от бдительного догляда м-ра Гудмена). На скромном столике, затиснутом в угол парижского “бистро” (не из тех, к которым благоволила его любовница). В полотняном кресле под оранжевым парасолем где-нибудь в Канне или в Жуане, когда она со своей шайкой бросала его ради какой-то попойки. В ожидальне безвестной станции, между двумя сердечными приступами. В отеле, под клекот тарелок, отмываемых во дворе. Во множестве иных мест, о которых я могу лишь смутно догадываться. Тема книги проста: человек умирает; на протяжении всей книги вы чувствуете, как он угасает; его память и мысль сквозят в ней с большей или меньшей отчетливостью (подобно

нарастанию и спаду отрывистого дыхания), выплескивая один образ, потом другой, отпуская его носиться по ветру или выбрасывая на берег, где он, кажется, с минуту шевелится и живет собственной жизнью, но тут же седое море вновь уволакивает его, он тонет или странно преображается. Человек умирает, и он герой повествования; но в то время, как жизни прочих людей этой книги кажутся совершенно реальными (или по меньшей мере — реальными в найтовском смысле), читатель остается в неведении касательно того, кто этот умирающий, где стоит или плывет его смертное ложе, да и ложе ли оно вообще. Человек — это и есть книга; книга сама вздымается и умирает и подтягивает призрачное колено. Мысли-образы одна за другой разбиваются о берег сознания, и мы следим за рождением вещи или существа: за разрозненными останками потерпевшей крушение жизни; за неповоротливыми фантазиями, выползающими, чтобы затем распустить глазчатые крылья. Все они, эти жизни, — лишь комментарии к главной теме. Мы наблюдаем за кротким стариком-шахматистом по фамилии Шварц, как он присаживается на стул в комнате дома призрения, чтобы показать мальчику-сироте, как ходит конь; мы встречаем толстую цыганку с седой прядью в недорого, но надежно крашенной гриве; мы выслушиваем бледного прощелыгу, шумно обличающего политику тирании перед внимательным человечком в штатском посреди печально прославленной пивной. Миловидная высокая примадонна спеша ступает в грязную лужу, и ее серебристые туфельки гибнут. Плачет старик, его утешает одетая в траур девушка с мягкими губами. Профессор Нуссбаум, швейцарский ученый, убивает из револьвера свою молодую любовницу и себя в гостиничном номере, в половине четвертого утра. Они приходят и уходят, эти люди, другие, распахивая и захлопывая двери, оставаясь в живых столько времени, сколько остается освещенным их путь, и поочередно поглощаются главной темой: человек умирает. Кажется, он шевелит рукой или поворачивает голову на том, что может быть подушкой, и, пока он шевелится, та или эта жизнь, за которой мы только что наблюдали, бледнеет или сменяется. Минутами его самосознание обостряется, и тогда мы

чувствуем, что идем вдоль какой-то главной артерии книги. "Теперь, когда было уже слишком поздно и лавки жизни закрылись, он жалел, что все-таки не купил книгу, в которой всегда так нуждался; что не пережил землетрясения, пожара, крушения поезда; что так и не видел Татцьен-лу в Тибете и не слышал синих сорок, тараторящих в китайских ивах; что не заговорил с той беспутной школьницей с бесстыжими глазами, встреченной им однажды на безлюдной поляне; что не улыбнулся жалкой шутке некрасивой, застенчивой женщины, когда никто в комнате не улыбнулся; что упускал поезда, намеки, возможности; и не отдал бывшего в кармане гроша старому уличному скрипачу, который, дрожа, играл для себя самого в один холодный день, в одном позабытом городе".

Себастьян Найт всегда любил жонглировать темами, принуждая их сталкиваться или коварно сплетая, принуждая *их* выражать то потайное значение, которое передается лишь чередованием волн, — как музыка китайского буйка становится слышной, только когда он колеблется. В "Неясном асфоделе" его метод достигает совершенства. Значение принадлежит не отдельным частям, но их сочетаниям.

Похоже, есть метод и в том, как автор изображает физический процесс умирания: ступени, ведущие в темноту; работа, поочередно выполняемая мозгом, плотью, легкими. Поначалу мозг следует определенной иерархии идей — идей относительно смерти: мнимоумные мысли, нацарапанные на полях позаимствованной книги (эпизод с философом): "Притяжение смерти: рассмотрение телесного роста в перевернутом виде, как удлинения свисающей капли, в конце концов срывающейся в пустоту". Мысли поэтические, религиозные: "...заросшее болото материализма и золотые райские кущи тех, кого декан Парк зовет оптимистиками..." "Но умирающий знал, что это — не всамделишные идеи; что только о половине понятия смерти можно сказать, — она существует реально: *эта* сторона, — рывок, разлука, причал жизни тихо уплывает, трепеща носовыми платками: ах! так он уже на другой стороне, раз может различить уходящий берег; нет, пока нет, — он все еще мыслит". (Так тот, кто пришел повидаться с отплывающим

другом, может слишком запоздниться на палубе и все же не стать путешественником.)

Потом, мало-помалу, демоны физической немощи погребают под глыбами боли все разновидности мысли, философии, догадок, воспоминаний, надежд, сожалений. Ковыляя, мы плетемся уродливыми ландшафтами, нам все равно, куда плестись, потому что все кругом — боль, и ничего кроме боли. Теперь метод обращается вспять. Вместо мыслей-образов, свет которых все замирал, пока они заводили нас в безысходные тупики, к нам не торопясь подбираются, нас обступают мерзкие и грубые видения: история о ребенке под пыткой; рассказ беглеца о жизни в покинутой им жестокой стране; кроткий безумец с подбитым глазом; крестьянин, пинающий собаку — со злобой и вожделеньем. Наконец замирает и боль. "Теперь он измучен настолько, что смерть утратила для него интерес". Так "потные люди храпят в набитом битком вагоне третьего класса; так засыпает школьник, не докончив сложения". "Я устал, устал... колесо катится и катится само собой, уже клонясь, уже замедляясь, уже..."

И тут волна света внезапно захлестывает книгу: "...будто кто-то рывком распахнул дверь, и люди, бывшие в комнате, встрепенулись, мигая, лихорадочно хватая узлы". Мы понимаем, что стоим на пороге какой-то абсолютной истины, ослепительной в ее величии и в то же время почти домашней в совершенной ее простоте. С неслыханным мастерством сплетая слова, автор внушает нам веру в то, что знает правду о смерти и намерен ее открыть. Через миг-другой, в конце этого предложения, в середине следующего или, быть может, еще немножечко дальше мы узнаем что-то такое, что переменит все наши понятия, как если бы мы обнаружили, что, маша руками на какой-то простой, но доселе еще неиспробованный манер, мы сможем взлететь. "Самый неподатливый узел — это только перевитая веревка; тягостный для ногтей, он, в сущности, — вопрос нерадивости и сноровки в плетении петель. Глаза развязывают его, пока кровоточат неловкие пальцы. Он (умирающий) и был этим узлом, он развязался бы сразу, сумей он увидеть и выследить нить. И не только он сам, распутано было бы

все — все, что он мог представить в наших детских терминах "пространство и время", которые оба — загадки, так и выдуманные человеком *как загадки*, и в этом виде возвращающиеся к нам: бумеранги бессмыслицы. <...> Теперь он уловил нечто подлинное, ничего не имевшее общего с какими бы то ни было мыслями, ощущеньями, опытом — со всем, чем он обладал в детском саду жизни..."

Ответ на все вопросы жизни и смерти, — "совершенное решение", — оказался написанным на всем в привычном ему мире: все равно как если бы путешественник понял, что дикая местность, которую он озирает, есть не случайное скопище природных явлений, а страница книги, на которой расположение гор, и лесов, и полей, и рек образует связное предложение; гласный звук озера сливается с согласным шелестящего склона; изгибы дороги пишут свое сообщение округлым почерком, внятным, как почерк отца; деревья беседуют в пантомиме, исполненной смысла для того, кто усвоил жесты их языка... Так путешественник по слогам читает ландшафт, и смысл его проясняется, и точно так же замысловатый рисунок человеческой жизни оборачивается монограммой, теперь совершенно понятной для внутреннего ока, распутавшего переплетенные буквы. И появляется слово, смысл, изумляющий своей простотой; и величайший сюрприз состоит, быть может, в том, что на протяженье земного существования, когда мозг был еще стянут железным обручем, облегающей грезой собственной личности, он ненароком не сделал умственного рывка, который отпустил бы на волю заточенную мысль, даровав ей великое понимание. Теперь загадка была решена. "И как только смысл всех вещей просиял сквозь их оболочки, множество идей и явлений, казавшихся самыми важными, съежилось — не до утраты значения, ибо теперь ничего незначащего не осталось, но до тех же размеров, какие обрели другие явления и идеи, коим в важности прежде отказывалось". Так блистательные исполины нашего разума — наука, искусство, религия — выпали из привычной схемы классификации и, взявшись за руки, смешались в радостном равенстве. Так вишневая косточка с тончайшей тенью, павшей на крашеную доску усталой скамьи, или

драный клочок бумаги, или любая такая же мелочь из миллионов и миллионов мелочей разрослись до дивных размеров. Мир, перестроенный, перетасованный, явил свой смысл душе с простотой обоюдного их дыхания.

Вот сейчас мы узнаем, в чем этот смысл; сейчас будет сказано слово, — и вы, и я, и каждый в мире хлопнет себя в лоб: ну и дураки же мы были! На этой, последней излучине книги автор, кажется, с минуту медлит, словно прикидывая, разумно ли будет раскрыть истину. Кажется, будто он поднимает голову, оторвавшись от умирающего, за мыслями которого следовал, отворачивается и задумывается: следовать ли за ним до конца? Шепнуть ли слово, которое сокрушит уютное безмолвие нашего разума? Да, шепнуть. К тому же мы зашли уже чересчур далеко, слово уже сложилось и все равно выйдет наружу. И мы поворачиваемся и вновь склоняемся к окутанной дымкой постели, к серым, расплывчивым очертаниям — ниже, ниже... Но минута сомнения оказалась фатальной — человека не стало.

Человека не стало, и мы ничего не узнали. Асфодель на другом берегу остался, как прежде, неясным. Мы держим в руках мертвую книгу. Или мы ошибаемся? Порой, перелистывая шедевр Себастьяна, я чувствую, что "совершенное решение" где-то здесь, то ли скрытое в каком-то пассаже, прочитанном мной слишком поспешно, то ли сплетенное с иными словами, привычные обличия которых меня обманули. Я не знаю другой книги, которая создавала бы это особое ощущение, и, может быть, в том-то и состояло особое намеренье автора.

Я живо помню день, когда увидал в английской газете объявление о выходе "Неясного асфоделя". Номер газеты попался мне в вестибюле парижского отеля, где я ожидал человека, которого моя фирма желала улестить в расчете на заключение некоторой сделки. Я не очень хорош по части улещиванья, да и сделка представлялась мне вовсе не такой многообещающей, как моим хозяевам. И пока я одиноко сидел в похоронно уютном холле, и читал издательскую рекламу, и смотрел на красивую черную фамилию Себастьяна, набранную прописными буквами, я завидовал его доле

гораздо острее, чем когда-либо прежде. Я не знал, где он сейчас, я почти уж шесть лет не видел его, не знал я и того, как он болен и как несчастлив. Напротив, эта реклама в газете казалась мне знамением счастья, — и я представлял, как он стоит в теплой и светлой зале какого-то клуба, сунув руки в карманы; уши пылают, влажно сияют глаза, по губам блуждает улыбка, — и все, кто ни есть в комнате, стоят вкруг него, держа стаканы с портвейном, и смеются его остротам. Глупая вышла картинка, но она сверкала дрожащим орнаментом белых пластронов и черных обеденных фраков, и мягким тоном вина, и ясным очерком лиц — вроде одной из тех цветных фотографий, что помещают на задних обложках журналов. Я решил раздобыть эту книгу, едва она выйдет; я всегда сразу же добывал его книги, но почему-то заполучить эту мне не терпелось особенно. Тем временем спустился вниз человек, которого я ожидал. В разговоре о разных разностях, предварившем обсуждение нашего дела, я между прочим указал ему на объявленье в газете и спросил, не читал ли он каких-либо книг Себастьяна Найта. Он сказал, что читал одну или две — "Что-то там призматическое" и "Утерянные вещи". Я спросил, как они ему показались. Он ответил, что в общем понравились, но только автор произвел на него впечатление страшного сноба, по крайней мере в интеллектуальном отношении. Я попросил пояснить, и он добавил, что Найт, как ему представляется, все время играет в какую-то игру собственного изобретения, не сообщая партнерам правил. Он сказал, что предпочитает книги, которые заставляют задуматься, а книги Найта не то — они оставляют человека озадаченным и раздраженным. Тут он заговорил о другом здравствующем ныне писателе, которого ставил много выше Найта. Я воспользовался паузой, чтобы начать деловую беседу. Она оказалась совсем не такой успешной, как рассчитывала моя фирма.

"Неясный асфодель" получил массу рецензий, в большинстве своем пространных и лестных. Однако то там, то тут повторялся намек на то, что автор устал, и это выглядело по-другому выраженным утверждением, что он — просто старый зануда. Я уловил сверх того легкие признаки

соболезнования, словно *они* прознали об авторе что-то прискорбно безотрадное, чего в книге вроде и не было, но сквозило в их отношении к ней. Один критик даже позволил себе заявить, что читал книгу "со смешанным чувством, потому что сидеть у смертного одра, не вполне понимая, является ли автор лекарем или больным, — это довольно тяжкое испытание для читателя". Почти все рецензии давали понять, что книга несколько длинновата, а многие ее места невнятны и невнятно досадительны. Все восхваляли "искренность" Себастьяна, — что бы это такое ни было. Я гадал, что думает об этих рецензиях сам Себастьян.

Я одолжил свою книгу приятелю, который продержал ее несколько недель, не читая, а после забыл в поезде. Я раздобыл другую и ее уже никому не одалживал. Да, пожалуй что, из всех его книг эта — моя любимая. Не знаю, заставляет ли она задуматься, и не очень встревожусь, если это не так. Я люблю ее ради нее самой. Мне приятны ее манеры. И порою я говорю себе, что было бы не так уж и сложно перевести ее на русский язык.

19

Мне удалось более или менее воссоздать последний год жизни Себастьяна: 1935-й. Он умер в самом начале 1936-го, и, глядя на эти цифры, я невольно думаю, что между человеком и датой его кончины существует оккультное сходство. Себастьян Найт, ум. 1936... Эта дата видится мне отражением его имени в подернутой рябью воде. Что-то в изгибах последних трех цифр напоминает извилистые очертания Себастьяновой личности... Я пытаюсь, как часто пытался по ходу этой книги, выразить идею, которая могла бы привлечь Себастьяна... Если мне не удалось то там, то тут словить хотя бы тень его мысли, если подсознательная работа разума не позволяла мне выбирать порою правильный поворот в личном его лабиринте, значит, вся моя книга — неуклюжая неудача.

Появление “Неясного асфоделя” весной 1935 года совпало с последней попыткой Себастьяна увидеться с Ниной. После того, как один из ее прилизанных молодых негодяев сказал ему, что она желает навсегда избавиться от него, Себастьян вернулся в Лондон и прожил там пару месяцев в жалких попытках обмануть одиночество, как можно чаще появляясь на людях. Его тонкую, скорбную и безмолвную фигуру видели то там, то здесь, с шарфом вокруг шеи — даже в самых теплых гостиных, — он приводил их хозяек в отчаяние рассеянностью и кротким нежеланием участвовать в разговоре, — уходил в середине вечера, или его обнаруживали в детской, погруженным в вырезную картинку. Как-то раз мисс Пратт, проводив Клэр до дверей книжной лавки близ Чаринг-Кросс и продолжая свой путь, через несколько секунд столкнулась с Себастьяном. Он слегка покраснел, пожимая ей руку, но прошелся с ней до станции подземки. Она порадовалась, что он не появился минутой раньше, и порадовалась еще сильнее тому, что он не стал поминать о прошлом. Вместо этого он рассказал ей запутанную историю о том, как какие-то двое пытались прошлой ночью обжулить его во время игры в покер.

— Рад был повидаться с вами, — сказал он, когда они прощались. — Похоже, что это можно найти и здесь.

— Что найти? — спросила она.

— Я шел в [он назвал книжную лавку], но, по-моему, вон в том киоске есть все, что мне нужно.

Он ходил в концерты и на спектакли и пил за полночь горячее молоко с водителями такси у прилавков кофеен. Рассказывают, что он три раза подряд смотрел один фильм — совершенно безвкусный, под названием “Зачарованный сад”. Через два месяца после его смерти и через несколько дней после того, как я узнал, кто такая на самом деле мадам Лесерф, я обнаружил эту картину во французском синема и высидел ее до конца с единственной целью — понять, чем она его так привлекала. Где-то в середине действие переползло на Ривьеру, мельнули купальщики, гревшиеся на солнце. Среди них была Нина? Это голое плечо — ее? По-моему, одна из женщин, обернувшихся на камеру, чем-то была на нее похожа, впрочем,

масло для загара, и сам загар, и солнечные очки слишком уж хорошо преображают проплывающее лицо. Одну неделю в августе он был очень болен, но отказался улечься в постель, как предписал ему доктор Оутс. В сентябре он ездил за город в одно поместье: с хозяевами он был едва знаком, и пригласили они его просто из вежливости, — поскольку он в разговоре упомянул, что видел в "Prattler" изображение их дома. Целую неделю он прослонялся по холодноватому дому, где все остальные гости близко знали друг друга; затем в одно прекрасное утро прошел десять миль до станции и тихо уехал обратно в город, бросив смокинг и умывальные принадлежности. В начале ноября он завтракал с Шелдоном в его клубе и был до того немногословен, что его друг недоумевал, зачем он вообще объявился. Потом пустота. По-видимому, он уехал за границу, но я не очень верю, что у него имелся какой-то определенный план по части попыток увидеться с Ниной, хотя, возможно, некоторая робкая надежда этого рода и была источником его беспокойства.

Большую часть зимы 1935 года я провел в Марселе, занимаясь кое-какими делами своей фирмы. В середине января 1936-го пришло от Себастьяна письмо. Как ни странно, написано оно было по-русски.

"Я, как видишь, в Париже и предположительно застряну тут на какое-то время. Если можешь прийти, приходи; если не сможешь, я не обижусь; но, может быть, лучше будет тебе прийти. У меня оскомина от множества мучительных вещей и в особенности от разводов на моих выползинах, так что я теперь нахожу поэтическое утешение в очевидном и обычном, в том, что я по разным причинам проглядел в течение жизни. Мне, например, хотелось бы расспросить тебя, что ты поделывал все эти годы, — и рассказать о себе: надеюсь, ты распорядился ими лучше меня. В последнее время я часто видаюсь со старым доктором Старовым, с тем, что пользовал maman [так Себастьян называл мою матушку]. Как-то ночью мы случайно повстречались на улице, — я отдыхал поневоле на подножке чьей-то оставленной до утра машины. Он, как видно, считает, что я прозябал в Париже с самой смерти maman, — я

согласился с этой версией моего эмигрантского существования, ибо всякие объяснения показались мне слишком сложными. Когда-нибудь к тебе могут перейти кое-какие бумаги; сожги их не медля; правда, они слышали голоса в [одно или два неразборчивых слова: "Дот чету"?], что ж, теперь им придется отведать и костра. Я содержал их и давал им ночлег, потому что спокойней, когда эти вещи спят, иначе, убитые, они замучат нас привидениями. Однажды ночью, ощутив себя особенно смертным, я подписал им смертный приговор, по нему ты их и узнаешь. Остановился я в своем всегдашнем отеле, да вот теперь переехал в подобие санатории, за город, заметь адрес. Это письмо я начал почти неделю назад и до слова "жизни" оно предназначалось совсем иному человеку. Потом оно как-то поворотило к тебе, словно стеснительный гость, завязавший в незнакомом доме длинный разговор с ближайшим из сродственников, оказавшихся на вечере вместе с ним. Так что прости, если я тебе докучаю, но мне что-то очень не нравятся эти голые ветви и сучья, которые я вижу в окне".

Письмо меня, конечно, встревожило, но я не обеспокоился так, как следовало бы, знай я, что с 1926 года Себастьян страдает неизлечимой болезнью, все усугублявшейся в последние пять лет. Вынужден со стыдом признаться, что естественную мою тревогу отчасти утишила мысль о том, что Себастьян очень легко возбудим и нервен и всегда впадает в неоправданный пессимизм при любом ухудшенье здоровья. Я, повторяю, не имел ни малейшего представления о его сердечном недуге и потому смог себя убедить, что он страдает от переутомления. Все же он болел и просил меня приехать тоном, который был нов для меня. Он, казалось, никогда не нуждался в моем присутствии, а тут — положительно молил о нем. Это меня и тронуло, и озадачило, и, знай я всю правду, я, разумеется, бросился бы на первый же поезд. Письмо я получил в четверг и сразу решил в субботу ехать в Париж, чтобы вернуться воскресной ночью, потому что моя фирма, сколько я понимал, отнюдь не ожидала, что я возьму отпуск на решающей стадии развития дела, которым я, как предполагалось, занимаюсь в Марселе. Я решил вместо того, чтобы писать и объяснять-

ся, послать ему телеграмму утром в субботу, когда будет ясно, смогу ли я выехать ранним поездом.

Той ночью мне приснился на редкость неприятный сон. Мне снилось, что я сижу в большой сумрачной комнате, которую мое сновидение наспех обставило всякой всячиной, набранной в разных домах, я их смутно угадывал в ней, но с выпадениями и странноватыми подстановками, вроде, к примеру, книжной полки, бывшей одновременно пыльным проселком. У меня было туманное ощущение, что комната находится в деревенском доме или в сельской харчевне, — общее впечатление бревенчатых стен и деревянной обшивки. Мы ожидали Себастьяна — он должен был воротиться из какой-то долгой поездки. Я сидел на корзине или на чем-то еще, в комнате была тоже матушка, и еще двое пили чай за столом, вкруг которого мы сидели, — мужчина из моей конторы и его жена, с обоими Себастьян не был знаком, их поместил сюда постановщик сна — просто потому, что для заполнения сцены сгодится всякий.

Ожидание наше было тревожным, полным темных предчувствий, и я сознавал, что все они знают больше моего, но боялся выспрашивать, почему это матушку так беспокоит замызганный велосипед, который никак не желал втиснуться в платяной шкап: дверцы все отворялись. На стене висела картина, изображавшая пароход, и волны на ней колыхались, словно процессия гусениц, и пароход мотался, и это меня сердило, — пока я не вспомнил, что такую картину по старому и повсеместному обычаю вешают на стену, ожидая возвращения путешественника. Он мог появиться в любую минуту, деревянный пол был у дверей посыпан песком, чтобы он не поскользнулся. Матушка унесла грязные шпоры и стремена, которые ей никак не удавалось припрятать, и смутная чета тихо упразднилась, ибо я был в комнате один, когда на галерее вверху отворилась дверь, и появился Себастьян, и медленно стал спускаться по шаткой лестнице, что вела прямо в комнату. Он был взъерошен, без пиджака: он, понял я, успел вздремнуть с дороги. Пока он спускался, немного приостанавливаясь на каждой ступеньке, шагая всегда с одной и той же ноги

и опираясь рукой о деревянную балюстраду, вернулась матушка и помогла ему встать после того, как он запнулся и съехал вниз на спине. Он смеялся, приближаясь ко мне, но я чувствовал, что он чего-то стыдится. Лицо у него было бледное, небритое, но выглядело довольно веселым. Мама, с серебряной чашкой в руке, присела на что-то, оказавшееся носилками, потому что ее тотчас утащили двое мужчин, которые, как с улыбкой пояснил Себастьян, по субботам ночуют в доме. Вдруг я заметил, что на левой руке он носит черную перчатку и что пальцы этой руки не шевелятся, и он совсем не пользуется ею, — я ужасно, до омерзения, почти до тошноты испугался, как бы он ненароком не коснулся меня этой рукой, ибо я понял теперь, что это поддельная кисть, притороченная к запястью, — что он перенес операцию или какую-то страшную катастрофу. Я понял и то, почему его вид и вся обстановка его появления показались мне такими жуткими, но он, хотя, наверное, и заметил мое содрогание, спокойно пил чай. Матушка вернулась на минутку, чтобы прихватить забытый наперсток, и сразу убежала, так как мужчины спешили. Себастьян спросил меня, не пришла ли уже маникюрша, он спешил прибраться к банкету. Я пробовал переменить разговор, мысль о его увечной руке была невыносима, но тут же вся комната представилась мне как бы увиденной обгрызенными ногтями, и девушка, которую я знал (но теперь она странно выцвела), вошла с маникюрным прибором и уселась перед Себастьяном на табурет. Он просил не глядеть, но я уже не мог не подглядывать. Я увидел, как он расстегивает черную перчатку и медленно стягивает ее, и пока она сползала, из нее посыпалось единственное ее содержимое — крошечные кисти рук, похожие на мышьи передние лапки, фиолетово-розовые, мягкие, их было очень много, они сеялись на пол, и девушка в черном встала на колени. Я пригнулся, посмотреть, что она там делает под столом, и увидел, как она собирает эти кисточки и складывает их в тарелку; я глянул вверх, — Себастьян пропал; и когда я снова согнулся, девушки не было тоже. Я почувствовал, что и минуты здесь больше не вынесу. Но едва я повернулся и нащупал щеколду, как услыхал за

собой голос Себастьяна; казалось, он доносился из самого дальнего и темного угла того, что стало теперь огромным амбаром, где зерно лилось к моим ногам из продырявленного мешка. Я не мог разглядеть Себастьяна, мне так не терпелось удрать, что слова, произносимые им, как бы тонули в гуле моего нетерпения. Я понимал, что он зовет меня, и говорит что-то очень важное, и обещает сказать что-то еще более важное, если я только приду в тот угол, где он сидел или лежал, придавленный упавшими ему на ноги тяжелыми мешками. Я шевельнулся, и тогда его голос долетел до меня последним, настойчивым зовом, и фраза, в которой не было никакого смысла, когда я вынес ее из сна, там, в сновидении, зазвенела, пронизанная таким совершенным значением, столь уверенным намерением разрешить для меня чудовищную загадку, что я все же кинулся бы к Себастьяну, когда бы уже не выбрался наполовину из сна.

Я знаю, что заурядный голыш, который обнаруживаешь у себя в кулаке после того, как по плечо окунул руку в воду, где, казалось, драгоценность сверкала на тусклом песке, — что он-то и есть желанная жемчужина, пусть и кажется она похожей на гальку, обсохнув под солнышком повседневности. Поэтому я понимал, что бессмысленная фраза, которая пела в моей голове, когда я проснулся, на деле была корявым переложением поразительного откровения; и пока я лежал на спине, слушая знакомые звуки улицы и музыкальную мешанину, которой приемник скрашивал чей-то ранний завтрак в комнате над моей головой, колючий холодок некоего страшного предчувствия пронизал меня почти физической дрожью, и я решил послать телеграмму, извещающую Себастьяна, что приеду прямо сегодня. По дурацкой прихоти здравомыслия (никогда вообще-то не бывшего сильной моей стороной) я намерился все же выяснить в нашем марсельском отделении, обойдутся ли там без меня. Оказалось, не только не обойдутся, но сомнительно, чтобы я вообще смог уехать на выходные. В ту пятницу я вернулся домой очень поздно, после изнурительного дня. Дома меня с полудня ждала телеграмма, но так странно главенствуют банальности дня над деликатными откровениями сна, что я

совсем забыл о его горячем шепоте и, вскрывая телеграмму, ожидал просто каких-нибудь деловых новостей.

"Состояние Севастьяна безнадежно приезжайте немедленно Старов". Составлено было по-французски, "в" в имени Себастьяна отвечала его русскому произношению; невесть почему я отправился в ванную и простоял там минуту перед зеркалом. Потом схватил шляпу и побежал вниз. Было без четверти двенадцать, когда я достиг вокзала, и был поезд в 0.02, приходящий в Париж около половины третьего часа следующего дня.

Тут я обнаружил, что моей наличности не хватает на билет второго класса, и с минуту обсуждал сам с собой, не лучше ли вернуться домой, взять еще денег и вылететь в Париж первым же самолетом, в какой сумею попасть. Но близость поезда оказалась слишком большим соблазном. Я выбрал самую дешевую из возможностей, как обыкновенно делаю в жизни. И не раньше, чем тронулся поезд, я с ужасом сообразил, что оставил письмо Себастьяна в столе и адреса, данного им, не помню.

20

В переполненном купе было темно, душно и тесно от ног. Струи дождя стекали по стеклам: они катили не прямо, но дергаными, неуверенными зигзагами, по временам застывая. В черном стекле отражался фиолетовый ночник. Поезд раскачивался и стонал, продираясь сквозь ночь. Как же она называлась, эта санатория? Что-то на "М". Что-то на "М". Что-то на... колеса сбились с напористого повтора, затем снова поймали ритм. Конечно, я получу его адрес у доктора Старова. Позвонить ему с вокзала, сразу, как только приеду. Чей-то сон в тяжелых ботинках попытался втиснуться меж моих голеней и не спеша отступился. Что подразумевал Себастьян под "всегдашним отелем"? Я не мог припомнить какого-то особого места в Париже, где бы он останавливался. Да, Старов должен знать, где он. Мар... Ман... Мат... Сумею ли я добраться туда вовремя? Бедро соседа притиснулось к моему, пока сам он переходил от

одной разновидности храпа к другой, более заунывной. Сумею ли я попасть туда вовремя, поспеть к нему раньше, чем смерть? Суметь... смерть... суметь... смерть... Он что-то хотел сказать мне, что-то безмерно важное. Тьма, мотающееся купе, забитое раскоряченными манекенами, все казалось мне частью недавнего сна. Что сказал бы он мне перед смертью? Дождь хлестал и плыл по стеклу, и призрачные снежинки сбивались в угол окна и таяли. Кто-то медленно оживал прямо передо мной, шелестел в темноте бумагой, чавкал; потом запалил папироску, ее округлое тление уставилось на меня циклоповым оком. Я должен поспеть вовремя, должен. Почему я не бросился в аэропорт, едва получив письмо? Я был бы сейчас с Себастьяном! Что это за болезнь, от которой он умирает? Рак? Грудная жаба — та же, что у его матери? Как это бывает со многими, кого в обычном течении жизни вера не заботит, я наспех соорудил мягкого, теплого, смутного от слез Бога и прошептал простую молитву. Пусть я поспею вовремя, пусть он продержится до моего прихода, пусть скажет мне свою тайну. Уже валил один только снег, окно отпустило седую бородку. Человек, который чавкал и курил, снова уснул. Попробовать вытянуть ноги и положить на что-нибудь пятки? Я пошарил ноющими ступнями, но ночь оказалась напичканной костьми и мясом. Я впустую томился по чему-нибудь деревянному под икрами и лодыжками. Мар... Матамар... Мар... Сколько от этого городка до Парижа? Доктор Старов. Александр Александрович Старов. Поезд лязгал на стыках, повторяя за мной “кс”, “кс”. Какая-то неведомая станция. Поезд встал, и из соседнего отделения донеслись голоса, кто-то рассказывал бесконечную повесть. Еще слышался перемежающийся звук сдвигаемых дверей, какой-то скорбный путник открыл и нашу дверь и увидел, что это безнадежно. Безнадежно. État désespéré. Я должен поспеть вовремя. Как долго стоит этот поезд на станциях! Сосед справа вздохнул и попытался протереть окно, но оно оставалось мутным, только чуть желтоватый свет сочился сквозь него. Поезд опять тронулся. Болела спина, кости наливались свинцом. Я попытался

закрыть глаза и вздремнуть, но оказалось, что веки выстланы снутри текучими узорами, и крохотная вязанка лучей, похожая на инфузорию, поплыла наискось, опять и опять выезжая все из того же угла. Я вроде бы признал в ней очертания станционного фонаря, который мы давным-давно миновали. Потом появились краски, и розовое лицо с большими карими глазами медленно поворотилось ко мне, потом корзина цветов, а за ней небритый подбородок Себастьяна. Я больше не мог выносить эту карусель красок и, посредством бесконечных, опасливых маневров, похожих на поступь балетного танцора в замедленной съемке, выбрался в коридор. Там было очень светло и очень холодно. Сколько-то времени я курил, потом потащился в конец вагона и с минуту болтался над грязной, ревущей дырой в его брюхе, и потащился назад, и выкурил еще папиросу. Никогда и ничего я не желал так, как желал застать Себастьяна живым, — чтобы склониться над ним и уловить слово, которое он мне скажет. Его последняя книга, мой давешний сон, загадочность его письма — все заставляло меня твердо верить, что какое-то небывалое откровение сойдет с его губ. Если я еще застану их шевелящимися. Если не приду слишком поздно. В простенке между окон помещалась карта, но она ничего не имела общего с курсом моего путешествия. Мое лицо темно отражалось в оконном стекле. Il est dangereux... E pericoloso... солдат с красными глазами промахнул мимо меня, и несколько секунд рука моя страшно зудела, зацепленная его рукавом. Невыносимо хотелось помыться. Хотелось смыть с себя шершавый мир и предстать перед Себастьяном в прохладной ауре чистоты. Ныне он покончил со всем, что есть бренного в мире, и я не желал оскорблять его ноздри земною вонью. О, я непременно застану его живым. Будь Старов уверен, что я могу не поспеть, он не прислал бы такой телеграммы. Телеграмма пришла в полдень. Телеграмма пришла в полдень, Господи Боже мой! Уже прошло шестнадцать часов, и когда я еще доберусь до Мар... Мат... Рам... Рат... Нет, не "Р", там "М" в начале. На миг я увидел неясную тень названия, но она расточилась, прежде чем я успел ее ухватить. И еще может случиться помеха: деньги. Придется

прямо с вокзала бежать в контору, добывать хоть какие-то деньги. Контора совсем рядом с вокзалом. Банк дальше. Кто-нибудь из моих многочисленных друзей живет поблизости от вокзала? Нет, они все обитают в Пасси или около Порт-Сен-Клу — в двух русских кварталах Парижа. Я расплющил третью папиросу и поискал отделение посвободней. Слава Богу, никакой багаж не держал меня в том, которое я оставил. Но вагон был переполнен, а я слишком плохо соображал, чтобы додуматься пройти по составу. Я не уверен даже, было ли купе, в которое я ощупью втиснулся, другим или прежним: тут набилось столько же локтей и коленей, разве что воздух был не такой скверный. Почему я ни разу не навестил Себастьяна в Лондоне? Он несколько раз меня приглашал. Почему я так упрямо держался в стороне от него, ведь я любил его больше, чем кого бы то ни было? Эти чертовы ослы, что смеялись над его даром... Был, в особенности, один старый дурак, которому мне страстно хотелось свернуть тощую шею, — невыносимо хотелось. А, так это толстое чудище, копошившееся справа, — женщина: одеколон и пот боролись за преобладание, одеколон уступал. Ни единая душа в этом вагоне не знала, кто такой Себастьян Найт. Та глава из "Утерянных вещей", так жалко переведенная в "Cadran". Или это в "La Vie Littéraire"? Или я слишком опаздывал, слишком, и Себастьян уже умер, пока я сидел на этой проклятой скамье с глумливым лоскутиком кожаной тощей обивки, которая не могла обмануть мои ноющие ягодицы. Быстрей, ну, быстрее, пожалуйста! Почему ты считаешь, что на этой станции стоит стоять? и для чего стоять столько времени? Ну же, пошевеливайся. А, вот так-то лучше.

Очень медленно темнота выцветала в сероватую мглу, в окне становился едва различимым припорошенный снегом мир. Я страшно мерз в моем тонком плаще. Проявлялись, словно с них сметали слои паутины и пыли, лица попутчиков. У соседки обнаружился термос, она нянчила его с почти материнской любовью. Я ощущал себя липким и изнурительно небритым. Мне казалось, что довольно будет коснуться атласа щетинистой щекой, и я брякнусь в обморок. Меж грязно-желтых туч затесалась одна телесная,

и унылый румянец затеплился на заплатах талого снега в трагическом безлюдье оголенных полей. Выскочила дорога и недолго скользила вдоль поезда, и как раз перед тем, как ей отвернуть, велосипедист завилял среди снега, шуги и луж. Куда он? Кто он? Никто вовек не узнает.

Видимо, я продремал около часу — или хотя бы сумел прикрыть свое внутреннее око. Когда я открыл глаза, мои попутчики беседовали и ели, и мне вдруг стало до того муторно, что я выполз наружу и до конца пути просидел на откидном стуле, и разум мой был пуст, как это жалкое утро. Поезд, как оказалось, сильно запаздывал из-за ночного бурана или чего-то еще, и до Парижа мы добрались только без четверти четыре. Зубы у меня колотились, пока я шел по перрону, и на миг меня обуял дурацкий порыв пойти и потратить два-три звякавших в кармане франка на какое-нибудь питье покрепче. Однако я вместо того направился к телефону. Я листал обмяклую, сальную книгу, отыскивая номер доктора Старова, и старался не думать, что вот сейчас я узнаю, жив ли еще Себастьян. Старкаус, cuirs, peaux; Старли, jongleur, humoriste; Старов... ага, вот он где: Жасмин 61-93. Я произвел обычные кошмарные манипуляции и забыл номер на полпути, и снова боролся с книгой, и вертел диск, и какое-то время слушал гадостную погудку. Минуту я просидел неподвижно: кто-то открыл дверцу и, недовольно бормоча, отретировался. Снова кружился и щелкал диск, пять, шесть, семь раз, и снова то же гнусавое гудение: донн, донн, донн... Да почему же мне так не везет? "Вы закончили?" — поинтересовался все тот же сварливый старик с бульдожьей физиономией. Нервы у меня были на пределе, и я обругал скверного старикашку. По счастью, освободилась соседняя будка; он захлопнулся в ней. Я продолжал попытки. И наконец преуспел. Женский голос ответил, что доктор ушел, но что с ним можно будет связаться в половине шестого. Я отправился в контору и не мог не заметить, что мое появление вызвало там некоторую оторопь. Я показал телеграмму шефу; он был вовсе не так участлив, как можно было бы ожидать. Задал мне несколько щекотливых вопросов касательно марсельского дела. Все же я получил необходимые деньги и смог заплатить

за такси, оставленное мной у дверей. Было уже двадцать минут пятого, стало быть, в запасе у меня оставался почти час.

Я побрился и торопливо позавтракал. Двадцать минут шестого я позвонил по данному мне телефону и услышал, что доктор Старов отправился домой и вернется через четверть часа. У меня не осталось терпения, чтобы ждать, и я позвонил к нему домой. Уже знакомый женский голос ответил, что он сию минуту ушел. Я припал к стене (эта кабинка помещалась в кафе), выстукивая ее карандашом. Что же, я вообще никогда не смогу добраться до Себастьяна? Кто эти досужие идиоты, пищущие на стенах "Смерть жидам" или "Vive le front populaire", или оставляющие на них похабные рисунки? Какой-то безвестный художник начал было чернить квадраты — шахматная доска, ein Schachbrett, un damier... В мозгу у меня что-то вспыхнуло, и слово осело на язык: Сен-Дамье! Я выскочил на улицу и остановил проезжее такси. Может ли он отвезти меня в Сен-Дамье, где бы оно ни находилось? Он лениво развернул карту и несколько времени ее изучал. Затем ответил, что потребуется самое малое два часа, чтобы туда добраться, — по нынешней дороге. Я спросил, как ему кажется, не лучше ли ехать поездом? Этого он не знал.

— Ну ладно, попробуем, только езжайте быстрее, — сказал я и, ныряя в машину, сшиб с головы шляпу.

Очень долго мы выбирались из Парижа. Все мыслимые разряды препятствий заступали нам путь, и думаю, никогда и ни к чему не испытывал я такой неприязни, как к руке одного полицейского на каком-то из перекрестков. В конце концов мы выползли из дорожной каши на длинную темную аллею, обросшую деревьями. Но двигались мы все еще недостаточно быстро. Я толкнул оконце и взмолился к шоферу, чтобы он увеличил скорость. Он ответил, что дорога слишком скользка, — раза два нас и вправду здорово занесло. Через час езды он притормозил и спросил дорогу у жандарма-велосипедиста. Вдвоем они долго разглядывали карту жандарма, после чего шофер вытащил свою, и они занялись их сличением. Где-то мы взяли неверный поворот, нужно было вернуться не меньше, чем на две мили.

Я еще постучал в стекло, такси просто ползло. Он потряс головой, даже не обернувшись. Я посмотрел на часы, было около семи. Мы остановились у заправочной станции, и водитель душевно побеседовал с человеком из гаража. Я не мог сообразить, где мы, но теперь дорога шла вдоль огромных просторов полей, и я надеялся, что мы близимся к цели. Дождь со свистом лупил в стекло, и когда я снова призвал водителя прибавить ходу, он вышел из себя и начал орать. Откинувшись на сиденье, я испытывал оцепенение и беспомощность. Освещенные окна протекли, расплываясь, мимо. Да удастся ли мне когда-нибудь добраться до Себастьяна? Застану ли его живым, если вообще попаду в Сен-Дамье? Раз или два нас обгоняли машины, и я привлекал внимание водителя к тому, как они шибко едут. Он не отвечал, потом внезапно затормозил и, сильно дергая руками, развернул свою глупую карту. Я полюбопытствовал, не заблудился ли он опять. Он смолчал, но выражение у его толстой шеи было презлое. Тронулись. С радостью я заметил, что теперь он едет много быстрее. Проехали под железнодорожным мостом и выскочили к станции. Пока я гадал, не Сен-Дамье ли это наконец, водитель сполз с сиденья и рывком отворил дверцу.

— Ну, — спросил я, — теперь в чем дело?

— Поезжайте-ка вы все же поездом, — сказал он. — Я не желаю ради вас калечить машину. Вон линия на Сен-Дамье, вам еще повезло, что вы хоть сюда добрались.

Мне повезло даже сильнее, чем он полагал, потому что через несколько минут должен был подойти поезд. Станционный жандарм божился, что к девяти я буду в Сен-Дамье. Эта, последняя часть моего пути была самой смутной. В вагоне я оказался один, и странное оцепенение обуяло меня: при всем нетерпении я жутко боялся заснуть и пропустить станцию. Поезд останавливался часто, и всякий раз я изнемогал, отыскивая и разбирая название станции. В какой-то миг меня пронзило мерзкое ощущение, что я только сию минуту проснулся после невесть сколько продлившейся тяжкой дремоты, — и когда я посмотрел на часы, было четверть десятого. Неужели прошляпил? Я намеревался уже дернуть стоп-кран, как ощутил замедление

хода и, высунувшись в окно, увидел проплывающий мимо и застывающий светящийся знак: "Сен-Дамье".

Четверть часа спотыкливой прогулки по темным проулкам и сосновому, судя по шумным вздохам, лесу привели меня к больнице Сен-Дамье. Я услышал за дверью возню и сопение, и толстый старик, облаченный в плотный серый свитер взамен пиджака, и в изношенных войлочных шлепанцах, впустил меня. Я очутился в подобии канцелярии, тускло освещенном голой и хилой электрической лампой, с одного боку как бы одетой в пыль. Старик, моргая, смотрел на меня, илистые наносы сна блестели на оплывшем лице, и, неизвестно почему, я заговорил шепотом.

— Я приехал, — сказал я, — чтобы повидать мосье Себастьяна Найта. K-n-i-g-h-t. Night. Найт.

Он крякнул и тяжело осел за письменный стол под висячей лампой.

— Поздновато для посетителей, — пробормотал он, ровно бы себе самому.

— Пришла телеграмма, — сказал я, — мой брат очень болен, — и, проговорив это, я вдруг осознал, что делаю вид, будто у меня нет и тени сомнения, что Себастьян еще жив.

— Как фамилия? — со вздохом спросил он.

— Найт, — сказал я. — Начинается на "К". Это английская фамилия.

— Иностранные фамилии следовало бы заменять номерами, — проворчал старик, — так оно было бы проще. Тут один больной помер прошлой ночью, так у него фамилия...

Жуткая мысль, что он говорит о Себастьяне, оглушила меня... Неужто я все-таки опоздал?

— Вы хотите сказать... — начал я, но он помотал головой, листая конторскую книгу, лежавшую на столе.

— Нет, — проворчал он, — английский мосье не умер. К, К, К...

— K, n, i, g... — снова начал я.

— C'est bon, c'est bon, — перебил он. — К, н, К, г... н... Я не идиот, знаете ли. Номер тридцать шесть.

Он позвенел в колокольчик и с зевком отвалился в кресле. Я ходил туда-сюда по комнате, трепеща от неодолимого

нетерпения. Наконец вышла сестра, и ночной портье указал ей на меня.

— Номер тридцать шесть, — сказал он сестре.

Я пошел за ней следом по белому коридору и по короткому лестничному маршу.

— Как он? — не выдержал я.

— Не знаю, — сказала она и подвела меня к другой сестре, сидевшей за столиком в конце другого белого коридора, точной копии первого, и читавшей книгу.

— Посетитель к тридцать шестому, — сказала моя провожатая и тихо скользнула прочь.

— Но английский мосье спит, — сказала сестра, молодая круглолицая женщина с очень маленьким и очень блестящим носиком.

— Ему лучше? — спросил я. — Понимаете, я его брат, я получил телеграмму...

— По-моему, ему получше, — с улыбкой сказала сестра, и это была самая прелестная улыбка, какую я только мог себе вообразить.

— Вчера утром он перенес очень сильный сердечный приступ, очень. А сейчас спит.

— Послушайте, — сказал я, вручая ей монету в десять или в двадцать франков, — я завтра еще приду, но мне бы хотелось зайти к нему теперь и побыть с ним минуту.

— О, но только не разбудите его, — сказала она, опять улыбнувшись.

— Не разбужу. Я просто посижу с ним рядом, всего только минуту.

— Право, не знаю, — сказала она. — Конечно, вы можете туда заглянуть, но только будьте очень осторожны.

Она подвела меня к двери под номером тридцать шесть, и мы вошли в крохотную комнатку, род чулана, с кушеткой; она слегка подтолкнула внутреннюю дверь, уже приотворенную, и я на миг заглянул в темную палату. Сначала я слышал лишь стук моего сердца, но после различил быстрое и тихое дыхание. Я напряг глаза: ширма или что-то еще наполовину обступала койку, да и слишком было темно, чтобы различить Себастьяна.

— Ну вот, — шепнула она. — Я оставлю дверь приоткрытой, а вы можете минутку посидеть вот тут, на кушетке.

Она включила маленькую лампу под синим абажуром и оставила меня одного. Сдуру я было сунулся в карман, за портсигаром. Руки еще тряслись, но я испытывал счастье. Он жив. Он мирно спит. Значит, сердце, вот, значит, как, — это оно его уложило... То же самое, что с матерью. Но ему лучше, надежда есть. Я поднял бы на ноги всех специалистов по сердечным болезням, какие есть на свете, лишь бы его спасти. Его присутствие в соседней комнате, тихие звуки дыхания сообщали мне ощущение безопасности, мира, дивного покоя. И, сидя там, и слушая, и сжимая ладони, я думал о всех минувших годах, о наших редких, коротких встречах и знал, что теперь, едва он сможет выслушать меня, я скажу ему, что хочет он того или нет, но я теперь буду всегда рядом с ним. Мой странный сон, вера в некую важную истину, которой он поделился бы со мной перед смертью, — представлялись мне сейчас неясными, отвлеченными, словно бы потонувшими в теплом токе более простых, более человеческих чувств, в приливе любви к человеку, спящему за этой приотворенной дверью. Как мы смогли разойтись? Отчего я вечно был так туп, замкнут, несмел при наших недолгих разговорах в Париже? Сейчас я уйду и скоротаю ночь в отеле, или, может статься, мне отведут комнату здесь, в больнице, хотя бы до времени, когда я смогу повидаться с ним? На миг мне почудилось, что легкий ход дыхания задержался, что он проснулся и издал тихий сдавленный звук, прежде чем вновь погрузиться в сон: но вот ритм возобновился, так негромко, что я едва отличал его от собственного дыхания, сидя и вслушиваясь. О, я рассказал бы ему о тысяче разных вещей, я рассказал бы ему о "Призматическом фацете", и об "Успехе", и о "Потешной горе", об "Альбиносах в черном", об "Изнанке Луны", об "Утерянных вещах" и о "Неясном асфоделе" — обо всех этих книгах, которые я знал так хорошо, как если бы сам их написал. И он бы тоже разговорился. Как мало я знал о его жизни! Но теперь я каждый миг научался чему-то. Эта едва отворенная дверь, это была наилучшая связь, какую лишь можно вообразить. Нежное дыхание говорило мне о Себастьяне больше всего, что я знал когда-либо прежде. Если бы можно было курить,

счастье мое было бы полным. Пружина клацнула в кушетке, когда я слегка переменил позу, и я напугался, что она могла потревожить его сон. Но нет: мягкий звук был здесь, он следовал узкой тропой, казалось, бегущей по самому краю времени, то ныряя в низину, то вновь появляясь, — уверенно пересекая ландшафт, образованный символами безмолвия — тьмой, завесами, синим отсветом лампы у моего локтя.

Наконец я встал и на цыпочках выбрался в коридор.

— Надеюсь, — сказала сестра, — вы не разбудили его? Это хорошо, что он спит.

— А скажите, — спросил я,— доктор Старов когда приедет?

— Какой доктор? — сказала она. — Ах, русский доктор. Non, c'est le docteur Guinet qui le soigne. Он будет здесь завтра утром.

— Понимаете, — сказал я. — Я хотел бы провести ночь где-нибудь здесь. Как вы полагаете, нельзя ли...

— Вы можете повидать доктора Гине прямо сейчас, — продолжала она тихим, приятным голосом. — Он живет по соседству. Так вы его брат, да? А завтра приедет из Англии его мать, n'est-ce pas?

— Ах нет, — сказал я, — его мать умерла много лет назад. А скажите, как он в дневное время, разговаривает? Он сильно мучается?

Она нахмурилась и странно на меня посмотрела.

— Но... — сказала она, — я не понимаю... Пожалуйста, назовите вашу фамилию.

— Ну, правильно, — сказал я, — я ведь не объяснил. Вообще-то мы с ним братья лишь по отцу. Моя фамилия [и я назвал мою фамилию].

— Oh-la-la! — воскликнула она, заливаясь сильным румянцем. — Mon Dieu! Но русский господин умер вчера, а вы навещали мосье Кеган...

Так что я все же не повидал Себастьяна, вернее, не увидел его живым. Но немногие минуты, которые я провел, прислушиваясь к тому, что принимал за его дыхание, изменили мою жизнь в такой полноте, в какой она

изменилась бы, поговори со мной Себастьян перед смертью. Какова бы ни была его тайна, я тоже узнал одну, именно: что душа — это лишь форма бытия, а не устойчивое состояние, что любая душа может стать твоей, если ты уловишь ее извивы и последуешь им. И может быть, потусторонность и состоит в способности сознательно жить в любой облюбованной тобою душе — в любом количестве душ, — и ни одна из них не сознает своего переменяемого бремени. Стало быть — я Себастьян Найт. Я ощущаю себя исполнителем его роли на освещенной сцене, куда выходят, откуда сходят люди, которых он знал, — смутные фигуры немногих его друзей: ученого, поэта, художника, — плавно и бесшумно приносят они свои дани; вон Гудмен, плоскостопый буффон с манишкой, торчащей из-под жилета; а там бледно сияет склоненная головка Клэр, пока ее, плачущую, уводит участливая подруга. Они обращаются вокруг Себастьяна, — вокруг меня, играющего Себастьяна, — и старый фокусник ждет в кулисе с припрятанным кроликом; и Нина сидит на столе в самом ярком углу сцены, с бокалом фуксиновой жижицы, под нарисованной пальмой. А потом маскарад подходит к концу. Маленький лысый суфлер закрывает книгу, медленно вянет свет. Конец, конец. Все они возвращаются в их повседневную жизнь (и Клэр уходит в свою могилу), — но герой остается, ибо, как я ни силюсь, я не могу выйти из роли: маска Себастьяна пристала к лицу, сходства уже не смыть. Я — Себастьян, или Себастьян — это я, или, может быть, оба мы — кто-то другой, кого ни один из нас не знает.

BEND

SINISTER

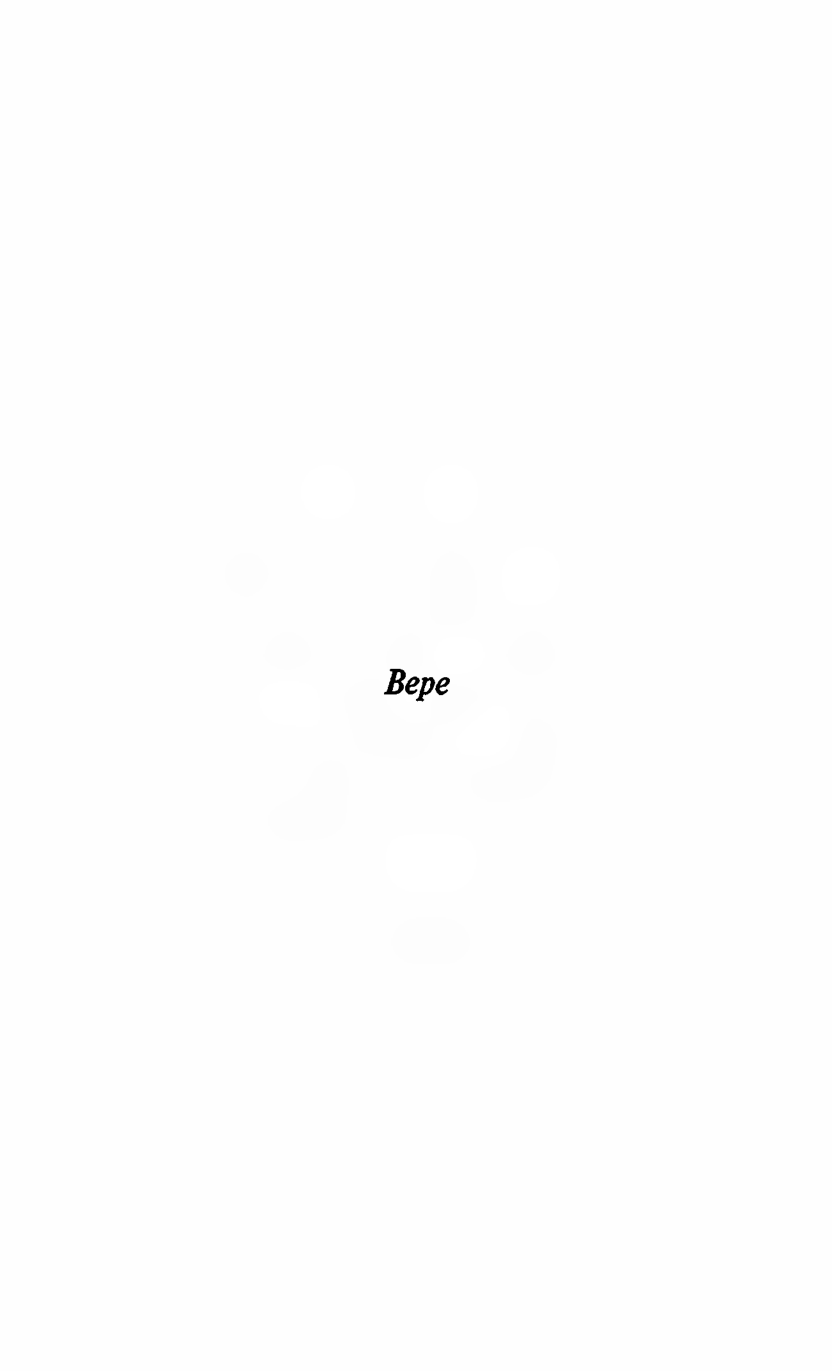
VLADIMIR NABOKOV

NEW YORK

BEND SINISTER

VLADIMIR NABOKOV


Под
знаком
незаконно-
рожденных
Перевод
Сергея
Ильина
РОМАН
1947



Bepe

Предисловие к 3-му американскому изданию романа

"Под знаком незаконнорожденных" был первым романом, написанным мной в Америке, и произошло это спустя полдюжины лет после того, как она и я приняли друг дружку. Большая часть книги написана зимой и весной 1945—46 годов, в особенно безоблачную и полную ощущения силы пору моей жизни. Здоровье мое было отменным. Ежедневное потребление сигарет достигло отметки четырех пачек. Я спал по меньшей мере четыре-пять часов, а остаток ночи расхаживал с карандашом в руке по тусклой квартирке на Крейги-Секл, Кембридж, Массачусетс, где я обитал пониже старой дамы с каменными ногами и повыше дамы молодой, обладательницы сверхчувствительного слуха. Ежедневно, включая и воскресенья, я до 10 часов проводил за изучением строения некоторых бабочек в лабораторном раю Гарвардского музея сравнительной зоологии, но три раза в неделю я оставался там лишь до полудня, а после отрывался от микроскопа и от камеры-люцида, чтобы отправиться (трамваем и автобусом или подземкой и железной дорогой) в Уэльслей, где я преподавал девушкам из колледжа русскую грамматику и литературу.

Книга была закончена теплой дождливой ночью, более или менее похожей на ту, что описана в конце восемнадцатой главы. Мой добрый друг Эдмунд Уилсон прочитал типоскрипт и рекомендовал книгу Аллену Тейту, с чьей помощью она и вышла в 1947 году в издательстве "Holt". Я был глубоко погружен в иные труды, но тем не менее расслышал, как она глухо шлепнулась. Похвалили ее, сколько я помню, лишь два еженедельника — кажется, "Time" и "New Yorker".

Термин "bend sinister" обозначает в геральдике полосу или черту, прочерченную слева (и по широко распространенному,

но неверному убеждению обозначающую незаконность рождения). Выбор этого названия был попыткой создать представление о силуэте, изломанном отражением, об искажении в зеркале бытия, о сбившейся с пути жизни, о зловеще левеющем мире. Изъян же названия в том, что оно побуждает важного читателя, ищущего в книге "общие идеи" или "человеческое содержание" (что по преимуществу одно и то же), отыскивать их и в этом романе.

Мало есть на свете занятий более скучных, чем обсуждение общих идей, привносимых в роман автором или читателем. Цель этого предисловия не в том, чтобы показать, что "Под знаком незаконнорожденных" принадлежит или не принадлежит к "серьезной литературе" (что является лишь эвфемизмом для обозначения пустой глубины и всем любезной банальности). Я никогда не испытывал интереса к так называемой литературе социального звучания ("великие книги" на журналистском и торговом жаргоне). Я не отношусь к авторам "искренним", "дерзким", "сатирическим". Я не дидактик и не аллегорист. Политика и экономика, атомные бомбы, примитивные и абстрактные формы искусства, Восток целиком, признаки "оттепели" в Советской России, Будущее Человечества и так далее оставляют меня в высшей степени безразличным. Как и в случае моего "Приглашения на казнь", с которым эта книга имеет очевидное сходство, — автоматическое сравнение "Под знаком незаконнорожденных" с твореньями Кафки или штамповками Оруэлла докажут лишь, что автомат не годится для чтения ни великого немецкого, ни посредственного английского автора.

Подобным же образом влияние моей эпохи на эту мою книгу столь же пренебрежимо мало, сколь и влияние моих книг или по крайней мере этой моей книги на мою эпоху. Нет сомнения, в стекле различимы кое-какие отражения, непосредственно созданные идиотическими и жалкими режимами, которые всем нам известны и которые лезли мне под ноги во всю мою жизнь: мирами терзательств и тирании, фашистов и большевиков, мыслителей-обывателей и бабуинов в ботфортах. Нет также сомнений и в том, что без этих мерзостных моделей я не смог бы нашпиговать эту фантазию кусками

ленинских речей, ломтями советской конституции и комками нацистской лжерасторопности.

Хотя система удержания человека в заложниках так же стара, как самая старая из войн, в ней возникает свежая нота, когда тираническое государство ведет войну со своими подданными и может держать в заложниках любого из собственных граждан без ограничений со стороны закона. Совсем уж недавним усовершенствованием является искусное использование того, что я назову "рукояткой любви", — дьявольский метод (столь успешно применяемый Советами), посредством которого бунтаря привязывают к его жалкой стране перекрученными нитями его же души и сердца. Стоит отметить, впрочем, что в "Под знаком незаконнорожденных" молодое пока еще полицейское государство Падука, в котором некоторое тупоумие является национальной особенностью населения (увеличивающей возможности бестолковщины и неразберихи, столь типичных, слава Богу, для всех тираний), — отстает от реальных режимов по части успешного применения этой рукоятки любви, которую оно поначалу довольно беспорядочно нащупывает, теряя время на ненужное преследование друзей Круга и лишь по случайности уясняя (в пятнадцатой главе), что, захватив его ребенка, можно заставить его сделать все, что угодно.

На самом деле рассказ в "Под знаком незаконнорожденных" ведется не о жизни и смерти в гротескном полицейском государстве. Мои персонажи не "типы", не носители той или иной "идеи". Падук, ничтожный диктатор и прежний одноклассник Круга (постоянно мучимый мальчишками и постоянно ласкаемый школьным сторожем); агент правительства д-р Александер; невыразимый Густав; ледяной Кристалсен и невезучий Колоколлитейщиков; три сестры Бахофен; фарсовый полицейский Мак; жестокие и придурковатые солдаты — все они суть лишь нелепые миражи, иллюзии, гнетущие Круга, пока он недолго находится под чарами бытия, и безвредно расточающиеся, когда я снимаю заклятье.

Главной темой "Под знаком незаконнорожденных" является, стало быть, биение любящего сердца Круга, мука напряженной нежности, терзающая его, — и именно ради страниц, посвященных Давиду и его отцу, была написана эта книга,

ради них и стоит ее прочитать. Другие две темы сопутствуют главной: тема тупоумной жестокости, которая вопреки собственным целям уничтожает нужного ей ребенка и сохраняет ненужного; и тема благословенного безумия Круга, когда он внезапно воспринимает простую сущность вещей и осознает, но не может выразить в словах этого мира, что и он, и его сын, и жена, и все остальные суть просто мои капризы и проказы.

Выношу ли я какое-либо суждение, произношу ли какой-нибудь приговор, удовлетворяю ли я чем-нибудь моральному чувству? Если одни скоты и недоумки способны наказывать других недоумков и скотов и если понятие преступления еще сохраняет объективный смысл в бессмысленном мире Падука (а все это очень сомнительно), мы можем утверждать, что преступление наказуется в конце книги, когда облаченным в форму восковым персонам наносится настоящий вред, когда манекенам и впрямь становится очень больно, и хорошенькая Мариэтта тихо кровоточит, пронзенная и разорванная похотью сорока солдат.

Фабула романа зарождается в дождевой луже, яркой, словно прозрачный бульон. Круг наблюдает за ней из окна больницы, в которой умирает его жена. Продолговатая лужица, похожая формой на клетку, готовую разделиться, субтематически вновь и вновь возникает в романе, появляясь в виде чернильного пятна в четвертой главе, кляксы в главе пятой, пролитого молока в главе одиннадцатой, дрожащей, напоминающей обликом инфузорию, реснитчатой мысли в главе двенадцатой, следа от ноги фосфоресцирующего островитянина в главе восемнадцатой и отпечатка, оставляемого живущим в тонкой ткани пространства, — в заключительном абзаце. Лужа, снова и снова вспыхивающая, таким образом, в сознании Круга, остается связанной с образом его жены не только потому, что он разглядывал вставленный в эту лужу закат, стоя у смертного ложа Ольги, но также и потому, что эта лужица невнятно намекает ему о моей с ним связи: она — прореха в его мире, ведущая в мир иной, полный нежности, красок и красоты.

И сопутствующий образ, еще красноречивее говорящий об Ольге, это видение, в котором она совлекает с себя — себя

саму, свои драгоценности, ожерелье и тиару земного существования, сидя перед сверкающим зеркалом. Это картина, возникающая шестикратно в продолжение сна, среди струистых, преломляемых сновидением воспоминаний отрочества Круга (пятая глава).

В мире слов парономазия есть род словесной чумы, прилипчивая болезнь; не удивительно, что слова чудовищно и бездарно искажаются в Падукграде, где каждый представляет собой анаграмму кого-то еще. Книга кишит стилистическими искажениями, каламбурами, скрещенными с анаграммами (во второй главе русская окружность, "круг", преобразуется в тевтонский огурец, "gurk", с добавочной аллюзией на Круга, обращающего свое хождение по мосту), подмигивающими неологизмами ("аморандола" — местная гитара), пародиями на повествовательные клише ("до ушей которого донеслись последние слова" и "видимо, бывший главным у этих людей", вторая глава), спунеризмами ("наука" и "ни звука", играющие в чехарду в семнадцатой главе) и, конечно, гибридизацией языков.

Язык страны, на котором говорят в Падукграде и Омибоге, равно как и в долине Кура, в Сакрских горах и в окрестностях озера Малёр, — это дворняжичья помесь славянских языков с германскими, значительно отягощенная текущей в ней наследственной струей древнего куранианского (особенно ощутимой в выражениях горя); однако разговорные русский и немецкий также используются представителями всех слоев населения — от неотесанных солдат-эквилистов до несомненных интеллигентов. Эмбер, к примеру, в седьмой главе предлагает своему другу образчик первых трех строк монолога Гамлета (акт III, сцена I), переведенных на просторечие (с псевдоученым истолкованием первой фразы, связующим ее с замышляемым убийством Клавдия: "быть или не быть убийству?"). Он дополняет его русской версией части рассказа Королевы из акта IV, сцена VII (также не без встроенной схолии), и превосходным русским переводом прозаического куска из акта III, сцена II, начинающегося словами: "Would not this, Sir, and a forest of feathers..." Проблемы перевода, плавного перехода от одного языка к другому, семантической прозрачности податливых слоев ускользающего или завуалированного

смысла столь же характерны для Синистербада, сколь валютные проблемы для других, более привычных тираний.

В этом обезумевшем зеркале террора и искусства псевдоцитата, сооруженная из темных шекспирианизмов (третья глава), каким-то образом порождает, несмотря на отсутствие у нее буквального смысла, размытый, уменьшенный образ акробатического представления, так славно венчающего бравурный финал следующей главы. Ямбические случайности, набранные наугад в тексте "Моби Дика", являются в обличье "знаменитой американской поэмы" (двенадцатая глава). Если "астроном" и его "комета" из пустой официальной речи (четвертая глава) поначалу воспринимаются вдовцом как "гастроном" и его "котлета", это связано с прозвучавшим перед тем случайным упоминанием о муже, потерявшем жену, затуманивающим и искажающим следующую фразу. Когда Эмбер вспоминает в третьей главе четыре романа-бестселлера, сметливый пассажир, обладатель сезонного билета, сразу же замечает, что три названия из четырех грубо слагаются в туалетный призыв не пользоваться Сливом, Когда поезд проходит По городам и деревням, тогда как четвертое глухо напоминает о скверном романе Верфеля "Песня о Бернадетте" — наполовину облатка причастия, наполовину леденец. Подобным же образом в начале шестой главы, где упоминаются кой-какие иные популярные романы тех дней, легкий сдвиг в спектре значений заменяет "Унесенных ветром" (утянутых из "Цинары" Доусона) "Отброшенными розами" (крадеными из того же стихотворения), а слияние двух дешевых романов (Ремарка и Шолохова) порождает изящное "На Тихом Дону без перемен".

Стефан Малларме оставил три или четыре бессмертных багателя, и среди них "L'Après-Midi d'un Faune" (первый набросок датируется 1865 годом). Круга преследует одно место из этой чувственной эклоги, где фавн порицает нимфу, вырвавшуюся из его объятий: "...sans pitié du sanglot dont j'étais encore ivre" ("...отвергнув спазм, которым я был пьян"). Осколки этой строки, словно эхо, перекликаются по книге, неожиданно возникая, например, в горестном вопле "malarma ne donje" д-ра Азуреуса (четвертая глава) и в "donje te zankoriv" извиняющегося Круга, когда он в той же главе прерывает

поцелуй университетского студента и его маленькой Кармен (предвещающей Мариэтту). Смерть — это тоже безжалостное разъятие; тяжкая чувственность вдовца ищет разрешения в Мариэтте, но едва успевает он алчно стиснуть ляжки случайной нимфы, которой готов насладиться, как оглушительный стук в дверь прерывает пульсирующий ритм навсегда.

Могут спросить, достойно ли автора изобретать и рассовывать по книге эти тонкие вешки, самая природа которых требует, чтобы они не были слишком видны. Кто удосужится заметить, что потасканный старый погромщик Панкрат Цикутин (тринадцатая глава) — это Сократова отрава; что "the child is bold" в аллюзии на эмиграцию (восемнадцатая глава) — это стандартное предложение, посредством которого проверяют уменье читать у будущих американских граждан; что Линда все же не прикарманила фарфорового совенка (начало десятой главы); что мальчишки во дворе (седьмая глава) написаны Солом Штейнбергом; что "другой русалочий отче" — это Джеймс Джойс, автор "Winnipeg Lake" (ibid.) и что последнее слово книги вовсе не является опечаткой (как предположил один из чтецов)? Большинство вообще с удовольствием ничего не заметит; доброжелатели приедут на мой пикничок с собственными символами, в собственных домах на колесах и с собственными карманными радиоприемниками; иронисты укажут на роковую тщету моих пояснений в этом предисловии и посоветуют впредь использовать сноски (определенного сорта умам сноски кажутся страшно смешными). В конечный зачет, однако, идет только личное удовлетворение автора. Я редко перечитываю мои книги, да и то лишь с утилитарными целями проверки перевода или нового издания; но, когда я вновь прохожу через них, наибольшую радость мне доставляет попутное щебетание той или этой скрытой темы.

Поэтому во втором абзаце пятой главы появляется первый намек на кого-то, кто "в курсе всех этих дел", — на таинственного самозванца, использующего сон Круга для передачи собственного причудливого тайнописного сообщения. Этот самозванец не венский шарлатан (на все мои книги следовало бы поставить штампик: "Фрейдистам вход за-

прещен"), но антропоморфное божество, изображаемое мною. В последней главе книги это божество испытывает укол сострраданья к своему творению и спешит вмешаться. Круг во внезапной лунной вспышке помешательства осознает, что он в надежных руках: ничто земное не имеет реального смысла, бояться нечего и смерть — это всего лишь вопрос стиля, простой литературный прием, разрешение музыкальной темы. И пока светлая душа Ольги, уже обретшая свой символ в одной из прежних глав (в девятой), бьется в мокром мраке о яркое окно моей комнаты, утешенный Круг возвращается в лоно его создателя.

Владимир Набоков
9 сентября 1963 года
Монтре

1

Продолговатая лужа вставлена в грубый асфальт; как фантастический след ноги, до краев наполненный ртутью; как оставленная лопатой лунка, сквозь которую видно небо внизу. Окруженная, я замечаю, распяленными щупальцами черной влаги, к которой прилипло несколько бурых хмурых умерших листьев. Затонувших, стоит сказать, еще до того, как лужа ссохлась до ее настоящих размеров.

Она лежит в тени, но вмещает образчик далекого света с деревьями и четою домов. Приглядись. Да, она отражает кусок бледно-синего неба — мягкая младенческая синева — молочный привкус во рту: у меня была кружка такого же цвета лет тридцать пять назад. Она отражает и грубый сумбур голых ветвей, и коричневую вену потолще, обрезанную ее кромкой, и яркую поперечную кремовую полоску. Вы кое-что обронили, вот, это ваше, кремовый дом вдалеке, в сиянии солнца.

Когда ноябрьский ветер в который раз пронимает льдистая дрожь, зачаточный водоворот собирает блеск лужи в складки. Два листа, два трискалиона, как два дрожащих трехногих купальщика, разбегаются, чтоб окунуться, рвение заносит их в середину лужи, и там, внезапно замедлив, они плывут, став совершенно плоскими. Двадцать минут пятого. Вид из окна больницы.

Ноябрьские деревья — тополи, я полагаю, — два из них растут, пробивая асфальт: все они в ярком холодном солнце, в яркой роскошно мохнатой коре, в путаных перегибах бесчисленных глянцевых веток, старое золото, — потому

что там, вверху, им достается больше притворно сочного солнца. Их неподвижность спорит с припадочной зыбью вставного отражения, ибо видимая эмоция дерева — в массе его листвы, а листьев осталось, может быть, тридцать семь, не больше, с одного его бока. Они немного мерцают, легкий приглушенный тон, солнце доводит их до того же иконного лоска, что и спутанные триллионы ветвей. Бледные облачные клочья пересекают обморочную небесную синеву.

Операция была неудачной, моя жена умрет.

За низкой изгородью, под солнцем, в яркой окоченелости, сланцевый фасад дома обрамляют два боковых кремовых пилястра и широкий пустынный бездумный карниз: глазурь на залежавшемся в лавке пирожном. День вычернил окна. Их тринадцать; белая решетка, зеленые ставни. Все очень четко, но день протянет недолго. Что-то мелькает в черноте одного из окон: вечная домохозяйка — распахни, как говаривал во дни молочных зубов мой дантист, доктор Воллисон, — открывает окно, что-то вытряхивает, а теперь можешь захлопнуть.

Другой дом (справа, за выступающим гаражом) уже целиком в позолоте. Многорукие тополя отбрасывают на него алембики восходящих полосатых теней, заполняя пустоты между своими полированными черными распяленными и кривыми руками. Но все это блекнет, блекнет, она любила сидеть в поле, писала закат, который не станет медлить, и крестьянский ребенок, очень маленький, тихий и робкий, при всей его мышиной настырности, стоял у ее локтя и глядел на мольберт, на краски, на мокрую акварельную кисточку, заостренную, как жало змеи, но закат ушел, побросав в беспорядке багровые останки дня, сваленные абы как, — развалины, хлам.

Пегую поверхность того, второго дома пересекает наружная лестница, и окошко мансарды, к которой она ведет, стало теперь таким же ярким, какой была лужа, — она же

теперь обратилась в хмурую жидкую белизну, рассеченную мертвой чернотой, — бесцветная копия виденной недавно картины.

Мне, верно, никогда не забыть унылой зелени узкой лужайки перед первым домом (к которому боком стоит пятнистый). Лужайки одновременно растрепанной и лысоватой, с пробором асфальта посередине, усыпанной тусклыми бурыми листьями. Краски уходят. Последнее зарево тлеет в окне, к которому еще тянется лестница дня. Но все кончено, и если в доме зажгут свет, он умертвит то, что осталось от дня снаружи. Клочья облаков пылают телесно-розовым, и триллионы ветвей обретают необычайную четкость; а внизу красок уже не осталось: дома, лужайка, ограда, вид между ними — все ослабело до рыжевато-седого. Нет, стекло лужи становится ярко-лиловым.

Свет зажгли в том доме, где я, и вид в окне умер. Все стало чернильно-черным с бледно-синим чернильным небом, — “пишут черным, расплываются синим”, как обозначено на склянке чернил, но здесь не так, не так расплывается небо, но так пишут деревья триллионами их ветвей.

2

Круг стал в проеме дверей и глянул вниз на ее запрокинутое лицо. Движение (пульсация, свечение) этих черт (мятые складки) причинялось ее речами, и он осознал, что это движение длится уже несколько времени. Возможно, на всем пути вниз по больничным лестницам. Блеклыми голубыми глазами и морщинистым долгим надгубьем она была схожа с кем-то, кого он знал много лет, но припомнить не мог — забавно. Боковыми ходами равнодушного узнавания пришел он к тому, чтобы определить ее в старшие сестры. Продолженье ее речей вошло в его существо, словно игла попала в дорожку. В дорожку на диске его сознания. Его сознания, которое закрутилось, едва он стал в проеме

дверей и глянул вниз на ее запрокинутое лицо. Движение этих черт теперь озвучилось.

Слово, значившее “сражение”, она выговаривала с северо-западным акцентом: “fakhtung” вместо “fahtung”. Особа (мужеска пола?), с которой она была схожа, выглянула из тумана и спряталась, прежде чем он смог ее опознать — или его.

— Они продолжают сражаться, — говорила она, — ... темно и опасно. В городе темно, на улицах опасно. Право, вам лучше бы здесь провести ночь... В больничной кровати — (gospitalisha kruvka — снова этот болотный акцент, и он ощутил себя тяжелой вороной — kruv, помавающей крыльями на фоне заката). — Пожалуйста! Или хоть подождите доктора Круга, он на машине.

— Не родственник, — сказал он. — Чистое совпадение.

— Я знаю, — сказала она, — но все-таки вам не стоит не стоит не стоит не стоит (слово продолжало крутиться, уже истратив свой смысл).

— У меня, — сказал он, — пропуск, — и, открыв бумажник, он зашел так далеко, что развернул означенный документ дрожащими пальцами. У него были толстые (дайте подумать), неловкие (вот!) пальцы, всегда немного дрожавшие. Когда он что-нибудь разворачивал, щеки его засасывались снутри и еле слышно причмокивали. Круг, — ибо это был он, — показал ей расплывчатый документ. Он был огромный мужчина, усталый, сутулый.

— Но он же может не помочь, — заныла она, — в вас может попасть шальная пуля.

(Как видите, добрая женщина думала, что пули по-прежнему flukhtung в ночи — метеоритными осколками давно прекращенной пальбы.)

— Меня не интересует политика, — сказал он. — Мне только реку перейти. Завтра зайдет мой друг, чтобы все подготовить.

Он похлопал ее по локтю и отправился в путь.

С наслаждением, присущим этому акту, он уступил теплому и нежному нажиму слез. Облегчение было недолгим, ибо, едва он позволил им литься, они полились обильно и

немилосердно, мешая дышать и видеть. В судорогах тумана он брел к набережной по мощеной улочке Омибога. Попытался откашляться, но это вызвало лишь новую конвульсию плача. Он сожалел уже, что уступил искушению, потому что не мог взять уступку назад, и трепещущий человек в нем пропитался слезами. Как и всегда, он отделял трепещущего от наблюдающего: наблюдающего с заботой, с участием, со вздохом или с вежливым удивлением. То был последний оплот ненавистного ему дуализма. Корень квадратный из "я" равняется "я". Нотабенетки, незабудки. Чужак, спокойно следящий с абстрактного брега за течением местных печалей. Фигура привычная — пусть анонимная и отчужденная. Он видел меня плачущим, когда мне было десять, и отводил к зеркалу в заброшенной комнате (с пустой попугайной клеткой в углу), чтобы я мог изучить мое размываемое лицо. Он слушал, поднявши брови, как я говорил слова, которые говорить не имел никакого права. В каждой маске из тех, что я примерял, имелись прорези для его глаз. Даже в тот самый миг, когда меня сотрясали конвульсии, ценимые мужчиной превыше всего. Мой спаситель. Мой свидетель. И Круг полез за платком, тусклой белой бирюлькой в глубине его личной ночи. Выбравшись наконец из лабиринта карманов, он промокнул и вытер темное небо и потерявшие форму дома; и увидел, что близок к мосту.

В иные ночи мост был строкой огней с определенным ритмом, с метрическим блеском, и каждую его стопу подхватывали и продлевали отражения в черной змеистой воде. В эту ночь что-то расплывчато тлело лишь там, где гранитный Нептун маячил на своей квадратной скале, каковая скала прорастала парапетом, каковой парапет терялся в тумане. Едва только Круг, степенно ступая, приблизился, как двое солдат-эквилистов преградили ему дорогу. Прочие затаились окрест, и, когда скакнул, словно шахматный конь, фонарь, чтобы его осветить, он заметил человечка, одетого как meshchaniner [буржуйчик], стоявшего скрестив руки и улыбавшегося нездоровой улыбкой. Двое солдат (оба, странно сказать, с рябыми от оспы лицами) интересовались, как понял Круг, его (Круга) документом.

Пока он откапывал пропуск, они понукали его поспешить, упоминая недолгие любовные шалости, коим они предавались, или хотели предаться, или Кругу советовали предаться с его матерью.

— Сомневаюсь, — сказал Круг, обшаривая карманы, — чтобы эти фантазии, вскормленные, подобно личинкам, на древних табу, могли и впрямь претвориться в дела, — и по самым разным причинам. Вот он (он едва не забрел незнамо куда, пока я беседовал с сиротой, — я разумею, с нянькой).

Солдаты сцапали пропуск, будто банкноту в сто крун. Пока они прилежно изучали его, Круг высморкался и неспешно вернул платок в левый карман пальто, но, поразмыслив, переправил его в правый, брючный.

— Это что? — спросил тот из двух, что потолще, царапая слово ногтем большого пальца, сжимавшего бумагу. Круг, держа у глаз очки для чтения, заглянул через руку.

— Университет, — сказал он. — Место, где учат разным разностям, ничего особенно важного.

— Нет, вот это, — сказал солдат.

— А, "философия". Ну это-то *вам* знакомо. Это когда пытаешься вообразить mirok [мелкий розоватый картофель] вне всякой связи с тем, который ты съел или еще съешь. — Он неопределенно взмахнул очками и сунул их в их лекционный приют (в жилетный карман).

— Ты по какому делу? Чего слоняешься у моста? — спросил толстый солдат, пока его товарищ пытался в свой черед разобраться в пропуске.

— Все легко объяснимо, — ответил Круг. — Последние десять дней или около того я каждое утро ходил в больницу Принцина. Личное дело. Вчера друзья достали мне эту бумагу, ибо предвидели, что с наступлением темноты мост возьмут под охрану. Мой дом на южной стороне. Я возвращаюсь много позже обычного.

— Больной или доктор? — спросил солдат потоньше.

— Позвольте мне зачитать вам то, для выражения чего предназначена эта бумажка, — сказал Круг, протянув руку помощи.

— Я буду держать, а ты читай, — сказал тонкий, держа пропуск кверху ногами.

— Инверсия, — заметил Круг, — мне не помеха, но не помешают очки. — Он прошел через привычный кошмар: пальто — пиджак — карманы брюк — и отыскал пустой очешник. И намерился возобновить поиски.

— Руки вверх, — с истеричной внезапностью сказал толстый солдат.

Круг подчинился, воздев в небеса очешник.

Левая часть луны затенилась так сильно, что стала почти невидима в затоне прозрачного, но темного эфира, через который она, казалось, поспешно плыла, — иллюзия, созданная несколькими шиншилловыми облачками, подъезжавшими к луне; а правую ее сторону — чуть ноздреватую, но хорошо напудренную выпуклость или же щечку — живо освещало искусственное на вид сияние незримого солнца. В целом эффект получился прекрасный.

Солдаты обыскали его. Они отыскали пустую фляжку, совсем недавно вмещавшую пинту коньяку. Человек хотя и крепкий, Круг боялся щекотки, он несколько всхрюкивал и повизгивал, пока они грубо исследовали его ребра. Что-то скакнуло и стукнуло, стрекотнув, словно сверчок. Они нашли очки.

— Ладно, — сказал толстый солдат. — Ну-ка, подбери их, старый дурак.

Круг согнулся, пошарил, отшагнул — и страшно хрустнуло под каблуком его тяжелого ботинка.

— Каково положение, — сказал Круг. — И как же мы будем теперь выбирать между моей телесной неграмотностью и вашей духовной?

— А вот мы тебя арестуем, — сказал толстый солдат, — так ты враз кончишь ваньку валять, старый пропойца. А надоест нам с тобой возиться, кинем в воду и будем стрелять, пока не утопнешь.

Еще подошел солдат, лениво помахивая фонарем, и вновь мелькнул перед Кругом бледный человечек, стоявший в сторонке и улыбавшийся.

— И мне охота повеселиться, — сказал третий солдат.

— Вот так так, — сказал Круг. — Забавно встретить вас здесь. Как поживает двоюродный брат ваш, садовник?

Новоявленный — неказистый и румяный деревенский малый — взглянул на Круга пустыми глазами и указал на толстого солдата.

— Это его брат, а не мой.

— Ну, разумеется, — быстро сказал Круг. — Я, собственно, его и имел в виду. Так как же он, этот милый садовник? Вернулась ли в строй его левая нога?

— Мы с ним давно не видались, — грустно ответил толстый солдат. — Он поселился в Бервоке.

— Отличнейший малый, — сказал Круг. — Мы все так жалели его, когда он свалился в гравийный карьер. Так передайте ему, раз уж он существует, что профессор Круг частенько вспоминает беседы с ним за кувшином сидра. Будущее всякий может создать, но только мудрый способен создать прошлое. Дивные яблоки в Бервоке.

— Тут его пропуск, — сказал нервный толстяк деревенскому здоровяку, который робко принял бумагу и сразу вернул назад.

— Позови-ка лучше того ved'mina syna [сына колдуньи], — сказал он.

Тогда-то и вывели вперед бледного человечка. Он, похоже, впал в заблуждение, что Круг как-то начальственнее солдат, потому что начал плакаться тонким, женским почти что голосом, рассказывая, что он и брат его, у них бакалейная лавка на том берегу, и что оба они чтят Правителя с благословенного семнадцатого числа того месяца. Повстанцы, слава Богу, раздавлены, и он желает соединиться с братом, чтобы Народ-Победитель смог получить деликатесы, продаваемые им и его тугоухим братом.

— Кончай, — сказал толстый солдат, — и прочти нам вот это.

Бледный бакалейщик повиновался. Комитет Гражданского Благосостояния жаловал профессора Круга полной свободой обращаться с наступлением темноты. Переходить из южного города в северный. И назад. Чтец пожелал узнать, нельзя ли ему проводить профессора через мост. Его

быстро вышибли обратно во тьму. Круг начал пересекать черную реку.

Интерлюдия отвела поток: теперь он бежал невидимкой за стеной темноты. Круг вспоминал других идиотов, которых он и она изучали со злорадным азартом омерзения. Мужчин, упивавшихся пивом в слякотных барах, с наслаждением заменив процесс мышления свинским визгом радиомузыки. Убийц. Почтение, пробужденное деловым воротилой в родном городке. Литературных критиков, превозносивших книги своих приверженцев или друзей. Флоберовых farceurs. Землячества, мистические ордены. Людей, которых забавляют дрессированные звери. Членов книжных клубов. Всех тех, кто *существует* потому, что *не мыслит*, доказывая тем самым несостоятельность картезианства. Прижимистого крестьянина. Горлопана-политика. Ее родню — ее кошмарное безъюморное семейство. Внезапно с ясностью предсонного образа или витражной женщины в ярких одеждах она проплыла по его сетчатке, в профиль, что-то несет — книгу, младенца — или просто сушит вишневый лак на ногтях, и стена растаяла, поток прорвался снова. Круг встал, пытаясь сладить с собой, ладонь его раздетой руки опустилась на парапет, так в давние дни именитые сюртучные господа снимались, бывало, в подражание портретам старых мастеров, — ладонь на книге, на глобусе, на спинке стула, — но как только щелкала камера, все начинало двигаться, течь — и он зашагал, дергаясь от плача, что тряс его раздетую душу. Огни той стороны приближались в конвульсиях концентрических, колючих, радужных кружков, сокращаясь до расплывчатого свечения, стоило только мигнуть, и сразу за тем непомерно взбухая. Он был большой, тяжелый человек. Он ощущал интимную связь с лакированной черной водой, плещущей и взбухающей под каменными сводами моста.

Он снова встал. Потрогаем это и рассмотрим. В обморочном свете (луны? его слез? нескольких фонарей, зажженных умирающими отцами города из машинального чувства долга?) его рука отыскала узор неровностей: канавку в камне парапета, выступ и впадинку с какой-то влагой внутри — все это сильно увеличенное, будто 30 000 ямок на

корочке пластиковой Луны с большого лоснистого оттиска, который показывает гордый селенограф молодой своей жене. Именно в эту ночь, сразу после того, как они попытались вернуть мне ее сумочку, гребешок, сигаретницу, я нашел его и потрогал, избранное сочетание, деталь барельефа. Никогда прежде не касался я этого выступа и никогда не найду его снова. В этом моменте сознательного контакта есть капля утоления. Экстренный тормоз времени. Каким бы ни было настоящее мгновение, его я остановил. Слишком поздно. За наши — дайте сообразить, двенадцать, — двенадцать лет и три месяца общей жизни я мог обездвижить этим простым приемом миллионы мгновений; заплатив, может быть, ошеломительный штраф, но поезд остановив. Скажи, зачем ты это сделал? — спросил бы выпученный кондуктор. Затем, что мне хотелось остановить эти бегущие деревья и тропинку, что вилась между ними. Наступив на ее ускользающий хвост. То, что с нею случилось, могло бы и не случиться, имей я привычку останавливать тот или этот кусочек нашей общей жизни, профилактически, профетически, позволяя тому или этому мигу успокоиться и мирно вздохнуть. Приручая время. Даря передышку ее пульсу. Ухаживая за жизнью, жизнью — нашей больной.

Круг — ибо это был по-прежнему он — двинулся дальше с оттиском грубого узора, колюче льнущим к подушке большого пальца. На этом конце моста было светлее. Солдаты, велевшие ему остановиться, глядели веселее, и выбриты были почище, и форму имели опрятнее. Их тоже было больше, и больше было задержано ночных прохожих: двое старцев с велосипедами и то, что можно обозначить как джентльмена (бархатный воротник пальто поднят, руки в карманах), и девушка с ним — запачканная райская птица.

Пьетро — или, по крайности, солдат, похожий на Пьетро, метрдотеля университетского клуба, — Пьетро-солдат посмотрел на пропуск Круга и заговорил, артикулируя культурно:

— Я затрудняюсь понять, профессор, что помогло вам свершить пересеченье моста. Вы не имели на то никакого

права, поскольку этот пропуск не был подписан моими коллегами из стражи северной оконечности. Боюсь, вам придется вернуться, дабы они совершили это согласно установлениям чрезвычайного времени. В противном случае я не смогу разрешить вам проникнуть в южную часть города. Je regrette, но закон есть закон.

— Весьма справедливо, — сказал Круг. — К несчастию, они не умеют читать, а писать и подавно.

— Это до нас не касается, — сказал мягкий, красивый, рассудительный Пьетро, и его сотоварищи покивали степенно и рассудительно. — Нет, я не вправе позволить вам пройти, пока, повторяю, подлинность ваша и невинность не подтвердятся подписью противной стороны.

— А не могли бы мы, так сказать, повернуть мост иной стороной? — сказал терпеливо Круг. — Я разумею — выполнить поворот налево кругом. Вы же подписываете пропуска тем, кто пересекает его с юга на север, верно? Ну так попробуем обратить процесс. Подпишите эту ценную бумагу и пропустите меня к моей постели на улице Перегольм.

Пьетро покачал головой:

— Что-то я не пойму вас, профессор. Мы искоренили врага — да! мы втоптали его во прах. Однако одна или две головы гидры еще живы, мы не можем позволить себе рисковать. Через неделю, профессор, ну, может, чуть позже, город вернется к нормальной жизни, обещаю вам. Ведь верно, ребята? — добавил Пьетро, обращаясь к солдатам, и они ревностно закивали, и лица их, честные и разумные, осветились гражданским гореньем, преображающим и самых простых людей.

— Я взываю к вашему воображению, — сказал Круг. — Представьте, что я собрался идти на ту сторону. Фактически я и шел на ту сторону нынче утром, когда мост не охранялся. Ставить часовых лишь с наступлением темноты — затея вполне обычная, но опустим это. Отпустите и вы меня.

— Нет, пока документ этот не будет подписан, — сказал Пьетро и отвернулся.

— Не понижаете ль вы в значительной степени стандарты, по коим принято судить о работе человечьего мозга, если она вообще существует? — возроптал Круг.

— Тихо, тихо, — сказал другой солдат, приставляя палец к треснувшей губе и быстро указывая затем на широкую спину Пьетро. — Тихо. Пьетро совершенно прав. Ступайте.

— Да, ступайте, — промолвил Пьетро, до ушей которого донеслись последние слова. — И когда вы снова вернетесь с подписанным пропуском и все будет в полном порядке, — подумайте, какое внутреннее удовлетворение вы испытаете, когда мы соподпишем его со своей стороны. Это и нам будет в радость. Ночь только еще начинается, и, как бы там ни было, негоже нам уклоняться от некоторого количества физических усилий, коли мы хотим быть достойными нашего Правителя. Ступайте, профессор.

Пьетро взглянул на двух бородатых старцев, терпеливо сжимавших ручки рулей, кулачки их белели в фонарном свете, глаза потерявшихся псов напряженно следили за ним.

— Ступайте и вы, — сказал этот великодушный человек.

С живостью, составившей престранный контраст с почтенным их возрастом и тощими ножками, бородачи скакнули по седлам и наподдали по педалям, вихляясь от рвения убраться подале, обмениваясь быстрыми гортанными репликами. Что они обсуждали? Родословные своих велосипедов? Цену какой-то модели? Состояние трека? Были ль их клики возгласами ободрения? Дружескими подначками? Или они перекидывались шутками, читанными в прежние лета в “Simplizissimus’e” или в “Стрекозе”? Так всегда хочется знать, что поверяют друг другу летящие мимо люди.

Круг шел быстро, как только мог. Кремнистый спутник наш плыл под маскою туч. Где-то вблизи середины моста он обогнал поседелых велосипедистов. Оба осматривали анальное покраснение одной из машин. Другая лежала на боку, словно раненая лошадь, приподняв печальную голову. Он шел быстро, стиснув пропуск в горсти. Что, если швырнуть его в Кур? Обречен ходить взад-вперед по мосту, переставшему быть таковым, поелику ни один из берегов в действительности недостижим. Не мост, песочные часы, которые кто-то все вертит и вертит, и я внутри — текучий

тонкий песок. Или стебель травы, который срываешь с лезущим вверх муравьем и переворачиваешь, едва он достигнет вершины, и шпиц обращается в пшик, а бедный дурак повторяет свой номер. Старики в свой черед обогнали его, елозя, егозя и лязгая в тумане, галантно галопируя, стрекая старых черных лошадок кроваво-красными шпорами.

— Се снова я, — промолвил Круг, как только сгрудились вокруг его неграмотные друзья. — Вы забыли подписать мой пропуск. Вот он. Давайте поскорее покончим с этим. Нацарапайте крестик, или рисунок со стены телефонной будки, или свастику, или что захотите. Не смею надеяться, что у вас под рукой найдется какой-нибудь штампик.

Еще не кончивши речи, он понял, что они его не признали. Они глядели на пропуск. Они пожимали плечами, как бы стряхивая бремя познания. Они даже в затылках скребли — необычайный прием, применяемый в этой стране, поскольку считается, что он улучшает снабжение кровью клеток мышления.

— Ты что, живешь на мосту? — спросил толстый солдат.

— Нет, — сказал Круг. — Попытайтесь понять. C'est simple comme bonjour, как сказал бы Пьетро. Они послали меня назад, не найдя доказательств, что вы меня пропустили. С формальной точки зрения меня вообще нет на мосту.

— Он, надо быть, с баржи залез, — произнес подозрительный голос.

— Нет, нет, — сказал Круг. — Я не из баржников. Вы так и не поняли. Сейчас я изложу это вам как нельзя проще. Они — с солнечной стороны — видят гелиоцентрически то, что геоцентрически видите вы, теллуриане, и, если два этих вида не удастся как-то совокупить, я, наблюдаемое тело, вынужден буду сновать во вселенской ночи.

— Так это который знает Гуркина брата, — вскричал в порыве узнавания один из солдат.

— Ах, как чудесно, — сказал с большим облегчением Круг. — А я и забыл о милом садовнике. Итак, один пункт улажен. Ну же, давайте, делайте что-нибудь

Бледный бакалейщик вышел вперед и сказал:

— Вношу предложение. Я подпишу ему, а он мне, и мы оба пойдем на ту сторону.

Кто-то едва не прибил его, но толстый солдат, *видимо бывший за главного у этих людей*, вмешался, отметив, что это разумная мысль.

— Ссудите мне вашу спину, — сказал бакалейщик Кругу и, поспешно раскручивая перо, прижал бумагу к левой его лопатке. — Какое мне имя поставить, братья? — спросил он солдат.

Те, смешавшись, пихали друг дружку локтями, — никто не спешил раскрывать нежно любимое инкогнито.

— Ставь “Гурк”, — сказал наконец храбрейший, указав на толстого солдата.

— Ставлю? — спросил бакалейщик, проворно крутнувшись к Гурку.

После недолгих улещиваний они добились его согласия. Управясь с пропуском Круга, бакалейщик сам повернулся кругом. Чехарда, или адмирал в треуголке, утверждающий телескоп на плече молодого матроса (мотается седой горизонт, белая чайка лежит в вираже, земли, однако, не видно).

— Надеюсь, — сказал Круг, — я справлюсь с этим не хуже, чем если бы был в очках.

Пунктирная линия тут не годится. Перо у вас жесткое. Спина у вас мягкая. Огурка. Промокните каленым железом.

Оба документа пошли по кругу и встретили робкое одобрение.

Круг с бакалейщиком шли через мост; по крайности, Круг шел: его маленький спутник выплескивал исступленную радость, бегая вокруг Круга, он бежал, расширяя круги и подражая паровозу: чуф-чуф, локти у ребер, ноги, присогнутые в коленях, движутся чуть не вместе, стаккатным поскоком. Пародия на ребенка — на *моего* ребенка.

— Stoy, chort [стой, чтоб тебя]! — крикнул Круг, впервые за эту ночь своим настоящим голосом.

Бакалейщик завершил круговращение спиралью, вернувшей его в орбиту Круга, тут он примерился к шагам последнего и пошел, оживленно болтая, рядом.

— Должен извиниться, — говорил он, — за мое поведение. Но я уверен, что вы ощущаете то же, что я. Это было серьезное испытание. Я думал, они вообще меня не отпустят, — а все эти намеки на удушение с потоплением были отчасти бестактны. Хорошие ребята, это я признаю, золотые сердца, но некультурные — в сущности-то, единственный их недостаток. Во всем остальном, вот тут я с вами согласен, они грандиозны. Пока я стоял ——

Это четвертый фонарный столб, десятая часть моста. Как мало горит фонарей.

— ...У моего брата, он в общем-то глух как пень, бакалея на улице Теодо... пардон, Эмральда. Собственно, мы партнеры, но у меня, знаете, свое небольшое дельце, так я все больше отсутствую. При нынешних обстоятельствах он нуждается в помощи — мы все в ней нуждаемся. Вы, может быть, подумали ——

Фонарь номер десять.

— ...но я так считаю. Конечно, наш Правитель — великий человек, гений, такой нарождается раз в сто лет. Вот именно такого начальника всегда и желали люди вроде нас с вами. Но он ожесточен. Он ожесточен, потому что последние десять лет наше так называемое либеральное правительство травило его, терзало, бросало в тюрьму за каждое слово. Я всегда буду помнить — и внукам передам, — что он сказал в тот раз, когда его арестовали на митинге в Годеоне: "Я, говорит, рожден для руководства, как птица для полета". Я так считаю, — это величайшая мысль, когда-либо выраженная человеческим языком, и самая что ни на есть поэтичная. Вот назовите мне писателя, который сказал хоть что-то похожее? Я даже дальше пойду и скажу ——

Номер пятнадцать. Или шестнадцать?

— ...а если взглянуть с другой стороны. Мы люди тихие, мы хотим жить тихо, мы хотим, чтобы дела у нас шли гладко. Мы хотим тихих радостей жизни. Ну, например, все знают, что лучшее время дня — это когда придешь после работы домой, расстегнешь жилетку, включишь какую-нибудь легкую музыку и сядешь в любимое кресло, чтобы порадоваться шуткам в вечерней газете или побеседовать с женушкой насчет соседей. Вот что мы понимаем

под настоящей культурой, под человеческой цивилизацией, под всем, за что было пролито столько чернил и крови в Древнем Риме или там в Египте. А в наши дни только и слышишь олухов, которые твердят, что для таких, как мы с вами, подобная жизнь кончилась. Не верьте им — ничего не кончилась. Да она не только не кончилась ——

Их что, больше сорока? Это самое малое середина моста.

— ...скажу вам, как обстояли дела все эти годы? Ну, во-первых, нас заставляли платить несусветные налоги; во-вторых, все эти члены парламента и министры, которых мы сроду видеть не видели и слышать не слышали, дули все больше и больше шампанского и валяли шлюх все толще и толще. Это они и называют свободой! И что же тем временем происходило? Где-то в лесной глуши, в бревенчатой хижине Правитель писал манифесты, словно загнанный зверь! А что они творили с его сторонниками! Господи Боже! Я слышал от зятя жуткие вещи, — он с юности в партии. Определенно, мозговитейший мужик, какого я только знаю. Так что, сами видите ——

Нет, меньше половины.

— ...вы, как я понял, профессор. Ну что же, профессор, теперь перед вами открывается великое будущее. Теперь нам придется образовывать темных, унывших, злых, — но образовывать их по-новому. Вы вспомните только, какой ерунде нас учили... Подумайте, миллионы ненужных книг скопились в библиотеках. И что за книги они печатали! Вы знаете, — вы не поверите, но мне рассказывал надежный человек, он в одной книжной лавке своими глазами видел книгу страниц эдак на сто, не меньше, и вся она — про анатомию клопов. А все эти штучки на иностранных языках, которых все равно никто не читает. А сколько ухлопали денег на глупости. Все эти их огромные музеи — одно сплошное надувательство. Хотят, чтобы ты глазел, разинув рот, на камень, который кто-то выкопал у себя в огороде. Поменьше книг — побольше здравого смысла, вот как я говорю. Люди созданы, чтобы жить вместе, чтобы обделывать друг с другом дела, беседовать, петь вместе песни, встречаться в клубах и в лавках, на перекрестках, — а по

воскресеньям — в церквях и на стадионах, — а не сидеть в одиночку и думать опасные мысли. Был у моей жены постоялец ——

Человек с бархатным воротником и его девушка быстро прошли мимо, беглой поступью, тип-топ, не оглядываясь.

— ... все переменить. Вы научите молодежь считать, писать, перевязывать покупку, быть вежливым и опрятным, мыться по субботам, уметь разговаривать с возможными покупателями, — да тысяче нужных вещей, всех тех вещей, которые для всех людей имеют один, одинаковый смысл. Как я хотел бы сам быть учителем. Потому что, тут я тверд, любой человек, самый низкий, последний вагабунд, последний ——

Если бы все горели, я б так не сбился.

— ...за которую я платил нелепую пеню. А теперь? Теперь государство станет мне помогать в моем деле. Оно будет контролировать мои заработки, да, — но что это значит? Это значит, что мой зять, который член партии и сидит теперь, будьте покойны, в большом кабинете, за большим письменным столом, со стеклом, заметьте, станет мне помогать чем только сможет, чтобы с прибылью у меня все было в ажуре: да я буду зарабатывать куда больше, чем прежде, потому что отныне мы все — одно счастливое общество. Мы теперь все — семья, одна большая семья, все связаны, все устроены, и никто не лезет с вопросами. Потому что у каждого есть какой-нибудь родич в партии. Сестра моя говорит, какая, говорит, жалость, что нет больше нашего старого папочки, он так боялся кровопролития. Сильно преувеличивал. А я так скажу, чем скорее мы перестреляем умников, которые поднимают вой из-за того, что несколько грязных антиэквилистов получили наконец по заслугам ——

Вот и конец моста. И нате — никто нас тут не встречает.

Круг был совершенно прав. Южная стража покинула свой пост, и только тень Нептуна-близнеца, плотная тень, похожая на часового, но не бывшая им, осталась напоминанием о тех, что ушли. Правда, в нескольких шагах впереди, на набережной, три или четыре, возможно, одетых в формы человека покуривали две или три тлеющих папи-

роски, отдыхая на скамье, и кто-то сдержанно и романтично пощипывал в темноте семиструнную аморандолу, но и те не окликнули Круга и его приятного спутника, попросту не уделив им внимания, пока они проходили.

3

Он вошел в лифт, и лифт поприветствовал его знакомым негромким звуком — полутоп, полувздрог — и озарился. Он нажал третью кнопку. Хрупкая, тонкостенная, старомодная комнатка перемигнула, но не стронулась с места. Нажал еще. Еще мигание, стесненная неподвижность, неописуемый взгляд машины, которая не работает и знает, что работать уже не будет. Он вышел. И тут же с оптической живостью лифт смежил свои ясные карие очи. Он пошел вверх по впавшей в немилость, но сохранившей достоинство лестнице.

Горбун поневоле, Круг вставил ключ и, медленно возвращаясь к обычному росту, вступил в глухое, гулкое, бурливое, гремучее и ревучее молчанье своей квартиры. Отъединенно стояло вдали меццотинто да Винчиева чуда — тринадцать персон за таким узким столом (фаянс ссудили монахи-доминиканцы). Свет ударил в ее коренастый зонтик с черепаховой ручкой, что стоял, откачнувшись от его большого зонта, оставленного не у дел. Он стянул оставшуюся перчатку, избавился от пальто и повесил на колышек фетровую широкополую черную шляпу. Широкополая черная шляпа, утратившая ощущение дома, свалилась с колышка и была оставлена там, где легла.

Он прошел широким длинным коридором, стены которого заливало, выплеснувшись из его кабинета, черное масло картин; все, что они показывали, — это трещины вслепую отраженного света. Резиновый мячик размером с большой апельсин спал на полу.

Он вошел в столовую. Тарелка с холодным языком, украшенным ломтиками огурца, и румяная щечка сыра тихо ожидали его.

Замечательный все-таки у этой женщины слух. Она выскользнула из своей комнаты рядом с детской и присоединилась к Кругу. Звали ее Клодиной, последнюю неделю она оставалась единственной прислугой в хозяйстве Круга: повар покинул дом, не одобряя того, что он очень точно назвал "подрывной атмосферой".

— Слава Богу, — сказала она, — вы вернулись домой невредимым. Хотите горячего чаю?

Он потряс головой, повернув к ней спину и тыкаясь рядом с буфетом, словно отыскивая что-то.

— Как сегодня мадам? — спросила она.

Не отвечая, столь же медленно и неловко он добрался до так и не пригодившейся никогда турецкой гостиной и, перейдя ее, попал в другой загиб коридора. Тут он открыл чулан, поднял крышку пустого баула, заглянул вовнутрь и вернулся назад.

Клодина неподвижно стояла посреди столовой, там, где он оставил ее. Она жила в их семье уже несколько лет и, как полагается в этих случаях, была приятно полна, в средних летах и чувствительна. Она стояла, уставив на него темные, влажные очи, слегка приоткрытый рот обнаруживал золотые пломбы в зубах, так же уставились на него и коралловые сережки, и рука прижималась к бесформенной серо-суконной груди.

— Мне нужно, чтобы вы кое-что сделали для меня, — сказал Круг. — Я завтра уеду с ребенком в деревню на несколько дней, а пока меня не будет, сделайте милость, соберите все ее платья и сложите в пустой черный баул. Тоже ее личные вещи, зонтик и все прочее. Снесите, пожалуйста, все это в чулан и чулан заприте. Все, что отыщете. Баул, может быть, слишком мал ——

Он вышел из комнаты, не глядя на нее, сунулся было в другой чулан, но передумал, повернулся на каблуках и, подходя к детской, машинально приподнялся на цыпочки. Здесь у белой двери он остановился, и тяжкий шум его сердца внезапно прервался особым спальным голосом сына, отстраненным и вежливым, Давид с грациозной точностью применял его для извещенья родителей (когда они возвращались, скажем, с обеда в городе), что он еще бодр-

ствует и готов принять всякого, кто пожелает вторично сказать ему доброй ночи.

Это было неизбежно. Всего только четверть одиннадцатого. А мне казалось, что ночь почти на исходе. На секунду закрыв глаза, Круг вошел.

Он различил быстрый, смазанный взмах одеяла; щелкнул выключатель постельной лампы, и мальчик сел, прикрывая рукой глаза. В этом возрасте (восемь лет) о ребенке невозможно сказать, что он улыбается так или этак. Улыбка не привязана к определенному месту, она сквозит во всем его существе, — если ребенок счастлив, конечно. Этот ребенок все еще был счастлив. Круг произнес обычные фразы — о времени и о сне. Он не успел договорить, как со дна груди рванулись на приступ грубые слезы, кинулись к горлу и, отброшенные закрепившимися ниже силами, затаились, выжидая, маневрируя в темных глубинах, готовясь к новой атаке. Pourvu qu'il ne pose pas la question atroce. Молю тебя, о здешнее божество.

— В тебя стреляли? — спросил Давид.

— Что за глупости, — сказал он. — По ночам никто не стреляет.

— Еще как стреляют. Я слышал, как бахало. Смотри, новый способ носить пижаму.

Он проворно вскочил, раскинул руки, балансируя на маленькой, словно припудренной, в голубых прожилках ноге, по-обезьяньи вцепившейся в простыню, скомканную на ямчатом, покрякивающем матраце. Голубые штанишки, бледно-зеленая куртка (она что, дальтоничка?).

— Правильную я в ванну уронил, — весело пояснил он. Внезапно, увлекшись возможностями, скрытыми в подъемной силе, он подскочил, помогая себе отрывистыми хлопками, — раз, другой, третий, выше, выше, — и, головокружительно зависнув, упал на колени, кувырнулся и снова встал на встрепанной постели, раскачиваясь, шатаясь.

— Ложись, ложись, — сказал Круг, — уже очень поздно. Мне нужно идти. Ну же, ложись. Скорее.

(Он может и не спросить.)

На этот раз он упал на попку и, неловко повозив скрюченными ногами, просунул их между одеялом и простыней, рассмеялся, всунул их наконец как надо, и Круг поспешно подоткнул одеяло.

— А как же сказка сегодня? — сказал Давид, вытягиваясь, взметая длинные ресницы, закидывая руки назад и складывая их на подушку, как крылья, по сторонам головы.

— Завтра будет двойная.

Склоняясь над сыном, Круг на мгновенье застыл на расстоянии протянутой руки, они смотрели в глаза друг другу: мальчик, торопливо придумывая, что бы такое спросить, чтобы выиграть время, отец, исступленно молясь, чтобы не был задан один, определенный вопрос. Сколь нежной кажется кожа в ее ночной благодати, с легчайшим фиалковым тоном чуть выше глаз и золотистым пушком на лбу под густой, спутанной бахромой золоторусых волос. Совершенство нечеловечьих тварей — птиц, молодых собак, спящих бабочек, жеребят — и этих мелких млекопитающих. Сочетание трех коричневых точек, родинок у носа, на слегка разрумянившейся щеке напомнило ему какое-то иное сочетание, которое он увидел, потрогал, впитал совсем недавно, — что это было? Парапет.

Он торопясь поцеловал их, выключил свет и вышел. Слава Богу, не спросил. Но когда он тихо выпустил ручку, вот тогда, высоким голоском, внезапно вспомнив.

— Скоро, — ответил он. — Как только ей разрешит доктор. Спи. Умоляю тебя.

По крайности, милосердная дверь была между нами.

В столовой на стуле рядом с буфетом сидела Клодина, с вожделением рыдая в бумажную салфетку. Круг принялся за еду, быстро расправился с ней, живо орудуя ненужными солью и перцем, откашливаясь, передвигая тарелки, роняя вилку и ловя ее подъемом ноги, а она все рыдала с короткими перерывами.

— Пожалуйста, идите к себе в комнату, — сказал он наконец. — Мальчик не спит. Постучите мне завтра в семь. Господин Эмбер, вероятно, займется завтра приготовлениями. Я уеду с ребенком как можно раньше.

— Но все это так неожиданно, — простонала она. — Вы же вчера говорили... О, это не должно было случиться вот так!

— И я вам шею сверну, — добавил Круг, — если ребенок услышит от вас хотя бы одно слово.

Он оттолкнул тарелку, прошел в кабинет, запер дверь.

Эмбера может не быть. Телефон может не работать. Но по ощущенью в руке от поднятой трубки он уже знал, что преданный аппарат жив. Никак не могу запомнить Эмберов номер. Здесь, на спине телефонной книги, мы наспех писали цифры и имена, наши почерки смешивались, скашиваясь и изгибаясь в разные стороны. Ее вогнутости в точности соответствуют моим выпуклостям. Удивительно — я способен различить тень ресниц на детской щеке и не могу разобрать собственного почерка. Он отыскал запасные очки, потом знакомый номер с шестеркой посередине, похожей на персидский нос Эмбера, и Эмбер отложил перо, вынул из плотно сомкнутых губ длинный янтарный мундштук и услышал.

"Я добрался до середины этого письма, когда позвонил Круг и сообщил мне ужасную новость. Бедной Ольги нет больше. Она умерла сегодня после операции почек. В прошлый вторник я навестил ее в больнице, она была, как всегда, прелестна и так обрадовалась действительно дивным орхидеям, которые я принес; никаких признаков серьезной опасности не было, или же, если они и были, доктора ему не сказали. Я зарегистрировал удар, но не в состоянии пока анализировать его последствия. Видимо, мне предстоит ряд бессонных ночей. Собственные мои беды, все эти мелкие театральные козни, которые я только что описал, боюсь, покажутся Вам такими же пустяками, какими теперь они кажутся мне.

Сначала у меня мелькнула непростительная мысль, что он разрешился чудовищной шуткой, как в тот раз, когда задом наперед прочитал лекцию о пространстве, желая узнать, прореагирует ли хоть как-то хотя бы один из студентов. Никто не прореагировал, как в первую минуту не прореагировал и я. Вы, вероятно, свидитесь с ним раньше, чем получите это путаное послание: завтра он едет на Озера

вместе с несчастным мальчиком. Это мудрое решение. Будущее не очень внятно, но я полагаю, что Университет в скором времени возобновит работу, хотя никто, конечно, не знает, какие неожиданные перемены могут случиться. Последнее время тут ходили кой-какие зловещие слухи; единственная газета, которую я читаю, уже две недели как не выходит. Он попросил меня заняться завтра кремацией, и я гадаю, что подумают люди, когда его на ней не окажется; но, разумеется, его отношение к смерти не позволяет ему присутствовать на церемонии, хоть она и будет настолько формальной и краткой, насколько мне это удастся, — если только не встрянет семейство Ольги. Несчастный человек, — она была блестящей помощницей в его блестящей карьере. В нормальные времена я, верно, снабжал бы сейчас ее портретами американских газетчиков".

Эмбер опять отложил перо, посидел, затерявшись в мыслях. Он тоже участвовал в этой блестящей карьере. Неприметный филолог, переводчик Шекспира, в зеленой и влажной стране которого прошла его студенческая юность, он неловко и простодушно вышел к рампе, когда издатель попросил его применить обратный процесс к "Komparatiwn Stuhdar en Sophistat tuen Pekrekh", или, как более хлестко называлось американское издание, к "Философии греха" (запрещенной в четырех штатах и ставшей бестселлером в прочих). Странный фокус произвел случай — этот шедевр эзотерической мысли мгновенно пришелся по сердцу читателю среднего класса и целый сезон спорил за высшие почести с грубоватой сатирой "Прямой слив", а в следующем году — с романтическим повествованием Елизаветы Дюшарм о Юге "Когда поезд проходит", и еще двадцать девять дней (год выпал високосный) — с нареченным книжных клубов, с "По городам и деревням", а потом еще два года — с замечательной помесью святой облатки и петушка на палочке, с "Аннунциатой" Луиса Зонтага, так чинно начавшейся в пещерах святого Варфоломея и закончившейся хаханьками.

Первое время Круг, хоть он и прикидывался довольным, весьма раздражался всей этой историей, а Эмбер конфузился, пытался оправдываться и втайне гадал, не содержит ли

личная его разновидность сочного, синтетического английского языка какой-то диковинной примеси, дрянной добавочной пряности, которая могла отвечать за это нежданное возбуждение; но с проницательностью, много превосходившей ту, что проявили двое ученых мужей, Ольга приготовлялась к грядущим годам наслаждения успехом книги, самую соль которой она понимала лучше, чем эфемерные рецензенты. Это она заставила впавшего в панику Эмбера склонить Круга отправиться в лекционное турне по Америке, как бы предвидя, что шумные его отголоски обеспечат Кругу на родине такое почтение, какого труд его, оставаясь облаченным в национальный костюм, никогда бы не смог ни исторгнуть из академической флегмы, ни внушить коматозной массе аморфных читателей. Да и сама поездка не разочаровала его. Ни в коей мере. И пусть Круг оставался, как и всегда, прижимистым и, не разбазаривая в пустых разговорах впечатлений, могущих впоследствии претерпеть непредсказуемые метаморфозы (если позволить им тихо окукливаться в аллювиальных отложениях мозга), мало говорил о турне, Ольга сумела полностью воссоздать его и с ликованием преподнести Эмберу, который смутно ожидал разлива саркастического отвращения. “Отвращения? — воскликнула Ольга. — Еще чего, этого ему и тут хватало. Отвращения, надо же! Восторг, наслаждение, оживление воображения, дезинфекция мозга, togliwn ochnat divodiv [ежедневный сюрприз пробуждения]!”

“Ландшафты, еще не замызганные заурядной поэзией, и жизнь — чванливый чужак, которого хлопнули по спине и сказали: расслабься”. Он написал это по возвращении, и Ольга с ведьминым удовольствием вклеивала в шагреневый альбом туземные околичности насчет оригинальнейшего мыслителя нашего времени. Эмбер вспоминал ее щедрое существо, ее ослепительные тридцать семь, яркие волосы, полные губы, тяжелый подбородок, так шедший воркующим полутонам ее голоса, — что-то от чревовещателя в ней, непрестанный внутренний разговор, следующий в полусумраке ив извилистому течению ее действительной речи. Он видел Круга, кряжистого, припорошенного перхотью маэстро, сидящего с довольной и смущенной ухмыл-

кой на крупном лице (схожем с бетховенским общим соотношением неотшлифованных черт), — да, развалившегося в старом красного дерева кресле, пока Ольга жизнерадостно ведет разговор, — и живо припомнилось, как она отпускала предложение скакать и откатываться, а сама трижды быстро кусала кекс, припомнился быстрый строенный всплеск ее полной ладони над вдруг напрягшейся юбкой, когда она смахивала крошки и продолжала рассказ. Почти экстравагантно здоровая, настоящая radabarbára [красивая женщина в полном цвету]: эти широко раскрытые, сияющие глаза, эта вспыхнувшая щека, к которой она прижимает прохладный тыл ладони, этот светящийся белый лоб с еще более белым шрамом — следом автомобильной аварии в угрюмых горах легендарного Лагодана. Эмбер не видел, как можно расправиться с воспоминанием о такой жизни, с восстанием такого вдовства. С ее маленькими ступнями и крупными бедрами, с девичьей речью и грудью матроны, с ярким остроумием и потоками слез, пролитых той ночью, пока сама она исходила кровью, над искалеченной, заходящейся криком ланью, выскочившей под слепящие фары машины, со всем этим и со многим иным, чего, знал Эмбер, он знать не может, она будет ныне лежать щепотью синеющей пыли в холодном ее колумбарии.

Он безмерно любил ее и любил Круга с такой же страстью, какую большая, лоснистая, вислогубая гончая питает к провонявшему болотом охотнику в высоких ботфортах, что склоняется к красному костру. Круг мог, нацелясь в стаю самых признанных и возвышенных человеческих мыслей, вмиг ссадить ворону в павлиньих перьях. Но убить смерть он не мог.

Эмбер поколебался, затем бегло набрал номер. Занято. Эта чересполосица коротких гудков походила на длинный столбец оседающих одна на другую "Я" в составленном по начальным словам указателе поэтической антологии. Я был разбужен. Я был смущенный. Я вас любил. Я вас узнал. Я в дольний мир. Я верю. Я видел сон. Я встретил вас. Я гляжу на тебя. Я долго ждал. Я думал, что любовь. Я ехал к вам. Я жалобной рукой. Я живу. Я здесь. Я знаю. Я изучил науку. Я к губам. Я к розам. Я люблю. Я люблю.

Я люблю. Я миновал закат. Я не должен печалиться. Я не рожден. Я нынче в паутине. Я пережил. Я помню. Я пригвожден. Я скажу это начерно. Я спал. Я странствовал. Я только. Я увидал. Я ускользнул. Я ухо приложил к земле. Я хладный прах. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу.

Он прикинул, не выйти ль отправить письмо по одиннадцатичасовой холостяцкой привычке. Надо надеяться, заблаговременная таблетка аспирина прикончит простуду в зародыше. Недоконченный перевод любимых его строк из величайшей пьесы Шекспира:

follow the perttaunt jauncing 'neath the rack
with her pale skeins-mate —

неуверенно дрогнул в нем, но нет, это не декламируется, "rack" в его родном языке требует анапеста. Все равно что гранд-рояль протискивать в дверь. Придется разъять на части. Или загнуть угол в другую строку. Но там места все заполнены, столик заказан, номер занят.

Уже не занят.

— Я подумал, может, тебе захочется, чтобы я пришел. Мы могли бы сыграть в шахматы или еще что-нибудь. В общем, скажи откровенно ——

— Я бы не прочь, — ответил Круг, — да мне неожиданно позвонили из — ну, в общем, неожиданно позвонили. Хотят, чтобы я приехал немедленно. Говорят, чрезвычайное заседание, — не знаю — говорят, очень важное. Вздор, конечно, но раз уж я не в состоянии ни спать, ни работать, думаю, можно пойти.

— Домой ты добрался без осложнений?

— Боюсь, я был пьян. Очки разбил. Они высылают ——

— Это то, о чем ты на днях говорил?

— Нет. Да. Нет — не помню. Ce sont mes collègues et le vieux et tout le trimbala. Они высылают за мной машину через пару минут.

— Понятно. Ты думаешь ——

— Будь в больнице как сможешь рано, ладно? — в девять, в восемь, даже раньше...

— Да, разумеется.

— Я сказал служанке, — и может быть, ты и за этим тоже присмотришь, пока меня не будет, — я ей сказал ——

Круг захлебнулся, не смог закончить и бросил трубку. В кабинете стоял непривычный холод. Все они такие слепые и закопченные и так высоко висят над книжными полками, что он насилу мог различить надтреснутую кожу запрокинутого лица под зачаточным нимбом или угловатые складки как бы пергаментной рясы мученика, расплывающейся в угрюмом мраке. Сосновый стол в углу нес бремя бесперелетных томов "Revue de Psychologie", купленных у старьевщика, сварливый 1879-й сменялся пухлым 1880-м, вялые листья обложек с общипанными или смятыми краями прорезала крестовина бечевки, проедающей путь в их пропыленные тулова. Плоды пакта о невытирании пыли и неуборке комнаты. Уютный, уродливый бронзовый торшер с толстого стекла абажуром, набранным из комковатых гранатовых и аметистовых вставок в асимметричных прогалах бронзовых жил, вырастал высоко, похожий на исполинский сорняк, из старенького голубого ковра за полосатой софой, на которую Круг уляжется этой ночью. Стол устилала стихийная поросль писем, оставленных без ответов, репринтов, университетских бюллетеней, потрошеных конвертов, вырезок, карандашей в различных стадиях развития. Грегуар, громадный, кованный из чугунной чушки жук-рогач, посредством которого дедушка стягивал, зацепив каблуком (голодной хваткой впивались в него отполированные жвала), сперва один кавалерийский сапог, за ним другой, таращился, нелюбимый, из-под кожаной челки кожаного кресла. Единственной чистой вещью в комнате была копия "Карточного замка" Шардена, которую она как-то поместила на каминную доску (пусть озонирует твое жуткое логово, сказала она): ясно видные карты, ярко освещенные лица, прелестный коричневый фон.

Он снова прошел коридором, вслушался в размеренную тишину детской, — и снова Клодина выскользнула из смежной комнаты. Он сообщил ей, что уходит, и попросил постелить ему на кабинетном диване. Потом подобрал с полу шляпу и спустился по лестнице дожидаться машины.

Холодно было снаружи, и он пожалел, что вновь не наполнил фляжку коньяком, который помог ему пережить этот день. Было также очень тихо — тише обычного. Старомодные, благообразные фасады домов насупротив — через булыжную улочку — лишились большей части своих огней. Знакомый ему человек, бывший член парламента, смирный зануда, имевший привычку прогуливать в сумерках парочку одетых в пальто вежливых таксов, тому два дня выехал из пятидесятого номера в грузовике, уже набитом другими арестантами. Видно, Жаба решил сделать свою революцию сколь возможно традиционной. Машина запаздывала.

Азуреус, президент Университета, сказал, что за ним заедет д-р Александер, ассистент лектора по биодинамике, которого Круг никогда не встречал. Этот Александер целый вечер собирал людей, а президент пытался дозвониться до Круга почти с самого полудня. Шустрый, деятельный, расторопный господин, д-р Александер был одним из тех, кто в годину бедствий прорастает из тусклой безвестности, чтобы в дальнейшем процвести пропусками, допусками, купонами, автомобилями, связями и списками адресов. Университетские шишки беспомощно съежились, и, уж разумеется, никакое подобное сборище не было бы возможным, когда бы эволюция не породила на периферии их вида этого совершенного организатора — счастливая мутация, едва ли не предполагающая скромного посредничества потусторонней силы. В двусмысленном свете завиделась эмблема нового правительства (замечательно схожая с раздавленным и расчлененным, но все еще ерзающим пауком) на красном флажке, прикрепленном к капоту, когда официально санкционированный автомобиль, добытый вскормленным нашей средой кудесником, притормозил у бордюра, зацепив его целеустремленной покрышкой.

Круг уселся рядом с водителем, коим как раз и был сам д-р Александер — румяный, весьма белокурый, весьма ухоженный господин лет тридцати с фазаньим перышком на красивой зеленой шляпе и с тяжелым опаловым перстнем на безымянном персте. Руки его, до чрезвычайности белые и мягкие, привольно лежали на рулевом колесе. Из двух (?)

персон на заднем сиденье Круг опознал лишь одну — Эдмунда Бёре, профессора французской литературы.

— Bonsoir, cher collègue, — сказал Бёре. — On m'a tiré du lit au grand désespoir de ma femme. Comment va la vôtre?

— На днях, — сказал Круг, — я имел удовольствие читать вашу статью о —— (он не мог вспомнить имени этого французского генерала — честного, хоть несколько и ограниченного исторического деятеля, доведенного до самоубийства оболгавшими его политиканами).

— Да, — сказал Бёре, — ее написание было для меня большим утешением. "Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Et quand Octobre souffle" ——

Д-р Александер мягко повернул руль и заговорил, не глядя на Круга, затем бросил на него быстрый взгляд и снова уставился прямо вперед.

— Насколько я понимаю, профессор, вам предстоит сегодня стать нашим спасителем. Судьба нашей Альма-матер в достойных руках.

Круг уклончиво буркнул. Он не имел ни малейшего — или это завуалированный намек на то, что Правитель, в просторечии именуемый Жабой, был его одноклассником, — но это было бы слишком глупо.

Посреди площади Скотомы (бывшей — Свободы, бывшей — Имперской) машину остановили трое солдат, двое полицейских и поднятая рука бедняги Теодора Третьего, который вечно нуждался в попутной машине или — выйти в одно местечко, учитель; но д-р Александер указал им на красный с черным флажок, вследствие чего они откозыряли и отступили во тьму.

Улицы были пустынны — вещь обычная в прорехах истории, на terrains vagues времени. Всего-навсего одна живая душа и встретилась им — молодой человек, возвращавшийся домой с несвоевременного и, видимо, скверно окончившегося костюмированного бала: он был наряжен русским мужиком — вышитая рубаха, вольно свисающая из-под опояски с кистями, culotte bouffante, мягкие малиновые сапоги и часы на запястье.

— On va lui torcher le derrière, à ce gaillard-là, — мрачно заметил профессор Бёре. Другая — анонимная — личность

на заднем сиденье пробормотала нечто неразличимое и сама же себе ответила — утвердительно, но столь же невнятно.

— Я не могу ехать намного быстрее, — сказал д-р Александер, — поскольку, что называется, шмукнулся берцовый колпак нижней кутузки. Если вы сунете руку в мой правый карман, профессор, там есть папиросы.

— Я не курю, — сказал Круг. — Да, кроме того, и не верю, что они там имеются.

Некоторое время ехали в молчании.

— Почему? — спросил д-р Александер, мягко нажимая, мягко отпуская.

— Так, мимолетная мысль, — ответил Круг.

Осмотрительно, тихий водитель дозволил одной руке выпустить руль и пошарить, затем другой. Затем, немного помедлив, снова правой.

— Надо быть, выронил, — произнес он после еще одной минуты молчания. — А вы, профессор, не только не курильщик — и не только, как всякий знает, человек гениальный, — но еще и (быстрый взгляд) исключительно счастливый игрок.

— Eez eet zee verity, — сказал Бёре, неожиданно переходя на английский, который, как было ему известно, Круг понимал и на котором он говорил совсем как француз из английской книжки, — истина ли, што, как я был информирован в надежных источниках, смещенный chef государства был схвачен с парой еще каких-то типов (когда автору надоедает, или он отвлекается) где-то в горах и расстрелян? Но нет, я в это верить не могу, — это есть слишком страшенно (когда автор спохватывается).

— Некоторое преувеличение, я полагаю, — высказался д-р Александер на родном языке. — Нынче легко расползаются разного рода уродливые слухи, и хоть, известное дело, domusta barbarn kapusta [чем баба страшнее, тем и вернее], я все же думаю, что в данном случае, — он приделал к фразе приятный смешок, и опять наступило молчание.

О мой чужой родной город! Твоим узеньким улочкам, по которым шагали когда-то римляне, снится ночами что-

то совсем иное, чем бренным созданиям, попирающим твои мостовые. О ты, чужой город! У каждого из твоих камней столько же древних воспоминаний, сколько пылинок в пыли. Каждый из серых твоих и тихих камней видел, как вспыхнули длинные волосы ведьмы, как растерзали бледного астронома, как нищий бил нищего в пах, — и королевские кони выбивали из тебя искры, и денди в коричневом и поэты в черном укрывались в кофейнях, пока истекал ты помоями под веселое эхо: "Поберегись!" Город снов, изменчивый сон, о ты, гранитный подкидыш эльфов. Маленькие лавчонки заперты в ясной ночи, мрачные стены, ниша, которую делят бездомный голубь и изваянье епископа, роза собора, злопыхающая горгулья, гаер, бьющий Христа по лицу, — безжизненная резьба и смутная жизнь, смешавшие свои оперенья... Не для колес безумных от бензина машин строились твои узкие и неровные улицы, — и когда наконец машина встала и громоздкий Бёре выплыл наружу в кильватере своей бороды, сидевший с ним рядом неведомый бормотун на глазах расщепился, породив внезапным отпочкованием Глимана, хилого профессора средневековой поэзии, и столь же тщедушного Яновского, преподающего славянскую декламацию, — двух новорожденных гомункулов, теперь подсыхающих на палеолитической панели.

— Я запру машину и сразу за вами, — кашлянув, сказал д-р Александер.

Итальянистый попрошайка в картинных лохмотьях, малость перемудривший, проделав особенно жалостную дыру там, где ее обыкновенно ни у кого не бывает, — в донышке своей ожидающей шляпы, — стоял, старательно сотрясаясь от малярии, под фонарем парадного подъезда. Три медяка упали один за другим и продолжали падение. Четверка безмолвных профессоров кучкой поднялась по вычурной лестнице.

Но им не пришлось ни звонить, ни стучать — или что там еще, — ибо дверь наверху распахнулась, явив фигуру чудесного доктора Александера, который был уже здесь, взмыл, небось, по какой-нибудь черной лестнице или в одной из тех безостановочных штук, которыми я подни-

мался когда-то из близнеца этой ночи в Кивинаватине, от ужасов Лаврентийской революции, через кишащую упырями Провинцию Пермь, сквозь Едва Современный, Слегка Современный, Не Столь Современный, Вполне Современный, Совсем Современный — тепло, тепло! — периоды вверх, в *мой* номер, на *моем* этаже отеля в дальней стране, выше, выше, в лифте-экспрессе из тех, которыми правят изящные руки — мои в негативе — темнокожих мужчин с падающими желудками и взлетающими сердцами, никогда не достигающих Рая, ибо Рай — это не сад на крыше; а из глубин рогоголового холла уже приближался скорым шагом старый президент Азуреус, раскрыв объятья, заранее сияя блеклыми голубыми глазами, подрагивая морщинистым долгим надгубьем ——

Ну конечно, как глупо с моей стороны, подумал Круг, круг в Круге, один Круг в другом.

4

Манера, в которой встречал гостей старик Азуреус, являла собою эпическую песню без слов. Лучась восхищенной улыбкой, медленно, нежно, он брал вашу руку в свои мягкие ладони, держа ее так, точно она — драгоценность, наградившая долгие поиски, или воробышек — весь из пуха и испуга, — вглядываясь в вас во влажном молчании не очами, скорее лучами морщин, — потом, медленно-медленно, серебристая улыбка начинала подтаивать, нежные старые длани потихоньку теряли хватку, пустое выражение сменяло пылкий свет на бледном и хрупком лице, и он покидал вас, как будто все это было ошибкой, как будто вы, в конце-то концов, вовсе не тот любимый — тот любимый, коего в следующую минуту он обнаруживал в другом углу, и вновь занималась улыбка, опять воробья обнимали ладони, и снова все это таяло.

Двадцать примерно выдающихся представителей Университета, некоторые из них — недавние пассажиры д-ра Александера, — стояли или сидели в просторной, отчасти даже сверкавшей гостиной (не все лампы горели под зеле-

ными облачками и ангелочками ее потолка), и, может быть, еще с полдюжины присутствовало в смежном mussikishe [музыкальном салоне], — старый джентльмен был à ses heures средней руки арфистом и любил выстроить трио (с собой в роли гипотенузы) или пригласить какого-нибудь крупного музыканта выделывать разные штуки с роялем, после чего раздавались малюсенькие и не очень обильные бутерброды, а также треугольные bouchées, обладавшие, как он наивно полагал, лишь им присущим очарованием (по причине их формы); их разносили две служанки и его незамужняя дочь, от которой невнятно припахивало одеколоном и различимо — потом. Сегодня взамен этих лакомств предлагался чай с сухими печеньями; и черепаховой масти кошка (которую поочередно ласкали профессор химии и математик Хедрон) лежала на темносияющем "Бехштейне". Глиман легко, как опадающий лист, скользнул по ней электрической лапкой, и кошка поднялась, словно вскипевшее молоко, громко мурлыча, но маленький медиевист был нынче рассеян и побрел прочь. Близ одного из плотно завешенных окон стояли, беседуя, Экономика, Богословие и Новейшая История. Несмотря на плотность завесы, явственно ощущался жиденький, но ядовитенький сквознячок. Д-р Александер присел за столик, сдвинул аккуратно в северо-западный угол населяющие его вещицы (стеклянная пепельница, фарфоровый ослик, навьюченный корзинками для спичек, коробочка, притворившаяся книгой) и принялся просматривать список имен, кое-какие вычеркивая невиданно острым карандашом. Президент склонился над ним в смешанном состоянии пытливости и заботы. Время от времени д-р Александер приостанавливался, дабы поразмыслить, бережно гладил свободной рукой прилизанные светлые волосы на затылке.

— Так что же Руфель [политолог]? — спросил президент. — Вы сумели его найти?

— Недостижим, — ответил д-р Александер. — Видимо, арестован. Для его же собственной безопасности, так мне сказали.

— Будем надеяться, — задумчиво произнес старик Азуреус. — Ну да неважно. Полагаю, мы можем начать.

•
•

Эдмунд Бёре, вращая крупными карими очами, рассказывал флегматичному толстяку (Драма) об удивительном зрелище, виденном им.

— О да, — сказал Драма. — Студенты-художники. Я знаю об этом.

— Ils ont du toupet pourtant, — говорил Бёре.

— Или просто упрямы. Если уж молодые люди берутся блюсти традицию, так с той же страстью, с какой люди зрелые свергают ее. Они вломились в "Klumbu" ["Закуток" — знаменитое кабаре], поскольку танцульки оказались закрыты. Упорные ребята.

— Я слышал, parlamint и Zud [Верховный Суд] так до сих пор и горят, — сказал другой профессор.

— Плохо слышали, — произнес Драма, — потому что мы разговариваем не об этом, а о прискорбном посягательстве Истории на ежегодный бал. Они нашли запасы свечей, — продолжал он, опять оборотившись к Бёре, который стоял выпятив живот и глубоко засунув руки в карманы штанов, — и плясали на сцене. Перед пустым залом. В этой картине было несколько хороших теней.

— Полагаю, мы можем начать, — сказал президент, приближаясь к ним и, как лунный луч, проходя сквозь Бёре, чтобы уведомить другую группу.

— Но тогда это прекрасно, — сказал Бёре, внезапно увидев все в новом свете. — Надеюсь, pauvres gosses сумели повеселиться.

— Полиция, — сказал Драма, — разогнала их около часу назад. Но, думаю, пока это продолжалось, веселья хватало.

— Я полагаю, мы можем сию же минуту начать, — уверенно произнес президент, опять проплывая мимо. Улыбка его исчезла давным-давно, туфли еле слышно скрипели, он скользнул между Яновским и латинистом и покивал — да-да — дочери, которая тайком показала ему из-за двери вазу с яблоками.

— Я слышал из двух источников (одним был Бёре, другим его предполагаемый информатор), — сказал Яновский и так понизил голос, что латинисту пришлось нагнуться и ссудить ему ухо, поросшее белым пухом.

— А я слыхал по-другому, — сказал латинист, медленно разгибаясь. — Их взяли при переходе границы. Одного министра кабинета, личность которого в точности не известна, казнили на месте, а... (он приглушил голос, называя бывшего президента страны) привезли назад и посадили в тюрьму.

— Нет, нет, — сказал Яновский. — Лишь он один. Как король Лир.

— Да, конечно, так будет лучше, — с искренним одобрением сказал д-р Азуреус д-ру Александеру, который сдвинул кое-какие стулья и кое-какие добавил, так что комната, словно по волшебству, обрела должно торжественный вид.

Кошка соскользнула с рояля и медленно вышла, по пути на один сумасшедший миг слившись с полосатой брючиной Глимана, который деловито обстругивал темно-красное яблоко из Бервока.

Стоя спиной к собранию, зоолог Орлик внимательно разглядывал с разных высот и под разными углами книжные корешки на полках за роялем, порой вытягивая какой-либо немой волюм и тут же заталкивая назад: это были сдобные сухари и все немецкие — немецкая поэзия. Он скучал, дома его поджидало большое шумное семейство.

— А вот тут я не согласен с вами обоими, — говорил профессор новейшей истории. — Моя клиентка никогда не повторяется. По крайней мере, не повторяется там, где торопятся углядеть подступающее повторение. Собственно, повториться Клио может лишь неосознанно. Просто у нее очень короткая память. Как и все временные феномены, рекуррентные комбинации воспринимаются нами как таковые, только когда они больше уже не могут на нас воздействовать, — когда они, так сказать, заключены в узилище прошлого, которое и прошлым-то стало лишь потому, что оно обезврежено. Пытаться составить карты нашего "завтра" по данным, предоставленным нашим "вчера", — значит пренебрегать основным элементом будущего — его полным несуществованием. Мы ошибочно принимаем за рациональное движение тот свирепый напор, с которым настоящее врывается в эту пустоту.

— Чистой воды кругизм, — пробормотал профессор экономики.

— Возьмем пример, — продолжал историк, не отвлекаясь на реплику, — несомненно, мы можем вычленить в прошлом отрезки, параллельные переживаемому нами, периоды, когда багровые руки школьников катали снежный ком идеи, катали, и он все рос и рос, пока не становился снеговиком в драной шляпе набекрень и с метлой, кое-как пристроенной под мышкой, — а там вдруг пугало начинало моргать глазками, снег претворялся в плоть, метла — в металл, и совершенно дозревший тиран сносил мальчуганам головы. Да, и прежде разгоняли парламент или сенат, и не впервые случается, что темная и малоприятная, но на редкость настырная личность прогрызает себе дорогу в самое чрево страны. Но тем, кто видит эти события и желает их предупредить, прошлое не дает никаких ключей, никакого modus vivendi, — по той простой причине, что оно и само их не имело, когда переливалось через края настоящего в постепенно заполняемую им пустоту.

— Но если так, — сказал профессор богословия, — то мы возвращаемся к фатализму низших наций и отрицаем тысячи случаев в прошлом, когда способность размышлять и соответственно действовать доказывала большую свою благодетельность, нежели скептицизм и покорность. Ваша ученая неприязнь к прикладной истории, друг мой, пожалуй, все же внушает мысль о ее вульгарной полезности.

— Да ведь я не о покорности говорю или о чем-то ином в этом роде. Тут вопрос этический, решать его может только личная совесть. Я лишь доказываю несостоятельность вашей уверенности в том, будто история способна предсказать, что скажет или сделает завтра Падук. Покорности может и вовсе не быть — самый факт обсуждения нами этих материй подразумевает наличие любопытства, а любопытство, оно, в свою очередь, и есть неповиновение в наичистейшем виде. Кстати о любопытстве, вы не могли бы мне объяснить странную страсть нашего президента вон к тому румяному господину — к тому добряку, что подвозил нас сюда? Как его звать и кто он такой?

— Как будто один из ассистентов Малера, лаборант или что-то в этом роде, — сказал Экономика.

— А в прошлом семестре, — сказал историк, — мы наблюдали, как слабоумный заика загадочным образом возглавил кафедру Педологии, поскольку он играл на незаменимом контрабасе. Во всяком случае, у него должен быть сатанинский дар убеждения, раз ему удалось затащить сюда Круга.

— А это не он ли, — осведомился профессор богословия с оттенком кроткого коварства, — не он ли где-то использовал сравнение со снежным комом и метлой снеговика?

— Кто? — спросил историк. — Кто использовал? Вот этот?

— Нет, — ответил профессор богословия. — Вон тот. Которого так нелегко затащить. Поразительно, какими путями мысли, высказанные им лет десять назад ——

Их прервал президент, который встал посредине залы и потребовал внимания, легонько хлопнув в ладоши.

Человек, имя которого было только что упомянуто, профессор Адам Круг, философ, сидел чуть в стороне ото всех, потонув в кретоновом кресле, сложив на его подлокотники свои волосатые руки. Он был большой тяжелый человек, немного за сорок, с неопрятными, пыльноватыми или отчасти засаленными кудрями и с грубо вырубленным лицом, наводящим на мысль о шахматисте со странностями или о замкнутом композиторе, только поинтеллигентней. Сильный, компактный, сумрачный лоб — с чем-то странно герметичным в нем (банковский сейф? тюремная стена?), присущим челу любого мыслителя. Мозг, состоящий из воды, различных химических соединений и группы высокоспециализированных жиров. Светло-стальные глаза в прямоугольных впадинах, полуприкрытые густыми бровями, когда-то давно защищавшими их от пагубного помета теперь уже вымерших птиц — гипотеза Шнейдера. Крупные уши с волосами внутри. Две глубокие складки плоти расходятся от носа вдоль широких щек. Утро прошло без бритья. На нем был измятый темный костюм и вечно тот же галстук-бабочка цвета синего иссопа с белыми по идее, но в данном случае изабелловыми межневральными пятна-

ми и покалеченным левым задним крылом. Не очень свежий воротник из разряда открытых, т.е. с удобным треугольным прогалом для яблока его тезки. Толстоподошвенные башмаки и старомодные черные гетры — таковы отличительные признаки его ног. Что еще? Ах да, — рассеянное постукивание указательного пальца по подлокотнику кресла.

Под этой видимой поверхностью шелковая рубашка облекала крепкий торс и усталые бедра. Она была глубоко заправлена в длинные кальсоны, заправленные, в свой черед, в носки: ходили, он знал это, слухи, что носков он не носит (отсюда и гетры), но это было неправдой; на самом деле носки носились — дорогие, бледно-лиловые, шелковые.

Под этим была теплая белая кожа. Из темноты узкий караван волосков поднимался муравьиной тропой по середине чрева, чтобы оборваться на кромке пупка; более черная и плотная поросль размахнула на груди орлиные крылья.

Под этим были мертвая жена и спящий ребенок.

Президент склонился над красноватым бюро, которое его подручный выволок на видное место. Он вздел очки, потрясая серебристой главой, чтобы дужки легли на место, и принялся складывать, выравнивая — стук-стук, — листы бумаги и пересчитывать их. Д-р Александер отступил на цыпочках в дальний угол и сел там на привнесенный стул. Президент отложил толстую ровную стопку машинописных листов, снял очки и, держа их несколько наотлет у правого уха, приступил к вступительной речи. Вскоре Круг начал осознавать, что становится как бы фокальным центром аргусоглазой залы. Он знал, что за вычетом двух людей в этом собрании — Хедрона да, может быть, Орлика, — никто его, в сущности, не любит. Каждому или почти каждому из коллег он сказал когда-то что-то... что-то такое, чего никак не удается припомнить и трудно выразить в общих словах, — какой-то необдуманно умный и резкий пустяк, оставивший ссадину на чувствительной плоти. Нежданно-негаданно полный, бледный, прыщавый подросток вошел в темноватый класс и посмотрел на Адама, и тот отвернулся.

— Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам о некоторых пренеприятных обстоятельствах, обстоятельствах, пренебрегать которыми было бы глупо. Как вам известно, с конца прошлого месяца наш Университет практически закрыт. Ныне мне дали понять, что, если только наши намерения, наша программа и поведение наше не станут отчетливо ясны Правителю, этот организм, старый и любимый нами организм перестанет функционировать навсегда, а вместо него будет учреждена иная институция с совершенно иным штатом. Другими словами, славное, величавое здание, которое на протяжении веков по кирпичику возводили братья-каменщики, Наука и Администрация, рухнет... Оно рухнет потому, что у нас недостало такта и инициативы. В последний час, господа, в роковой час была выработана линия поведения, которая, как я надеюсь, сможет предотвратить катастрофу. Завтра могло бы быть слишком поздно.

Все вы знаете, сколь ненавистен мне дух компромисса. Я не считаю, впрочем, что героические усилия, в которых мы все соединимся, могут быть обозначены этим отвратительным термином. Господа! Когда человек теряет обожаемую жену; когда гастроном теряет в просторах Вселенной обнаруженную им котлету; когда выдающийся деятель видит, как разбивается вдребезги детище всей его жизни, — он преисполняется сожалений, господа, сожалений, увы, запоздалых. Итак, не допустим же, чтобы мы по собственной нашей вине ввергли себя в положение безутешного влюбленного, в положение астронома, комета которого затерялась в древнем сумраке неба, в положение прогоревшего администратора — возьмем же свою судьбу обеими руками, словно пылающий факел.

Прежде всего я зачитаю коротенький меморандум, — если угодно, манифест, — который должен быть представлен правительству и должным порядком опубликован... и здесь возникает второй вопрос, который мне бы хотелось поднять, вопрос, о сути которого некоторые из вас уже догадались. Здесь среди нас присутствует человек... великий человек, позвольте добавить, по замечательному совпадению бывший в прошлом однокашником другого

великого человека, человека, который возглавляет наше государство. Какими бы ни были наши политические убеждения, — а я за свою долгую жизнь разделил большинство из них, — нельзя отрицать того факта, что Правительство — это Правительство, и как таковое оно не может сносить бестактных проявлений неспровоцированной неприязни, а равно и безразличия. То, что представлялось нам пустяком, не более, снежным комом преходящих политических верований, не способным всерьез претвориться в плоть, приобрело грозные размеры, став пылающим знаменем, пока мы блаженно дремали под защитой наших обширных библиотек и дорогостоящих лабораторий. Ныне мы пробудились. Я готов допустить, что пробуждение было суровым, но, быть может, в этом повинен не только горнист. Я верю, что деликатная задача облечения в слово этого... этого, который был подготовлен... этого исторического документа, который мы все поспешим подписать, решалась с глубоким чувством огромной ответственности, которую представляет собой эта задача. Я верю также, что Адам Круг вспомнит счастливые школьные годы и лично вручит этот документ Правителю, который, я в этом уверен, по достоинству оценит визит любимого и всемирно известного школьного товарища по прежним играм и, таким образом, с большим участием, чем если бы нам не было даровано это чудесное совпадение, отнесется к нашему плачевному положению и к нашей благой решимости. Адам Круг, готовы ли вы спасти нас?

Слезы стояли в глазах старика, голос его дрожал, когда он произносил этот волнующий призыв. Бумажный листок легко соскользнул со стола и тихо осел на зеленые розы ковра. Д-р Александер бесшумно приблизился и водворил его обратно на стол. Орлик, старый зоолог, открыл лежавшую рядом книжечку — это была пустая коробочка с единственной розовой мятной конфеткой на дне.

— Вы жертва сентиментального заблуждения, мой дорогой Азуреус, — сказал Круг. — Все, что мы с Жабой лелеем в качестве en fait de souvenirs d'enfance, это бывшая у меня привычка сидеть на его физиономии.

Раздался внезапный удар, деревом по дереву. Зоолог поднял взгляд, одновременно с неоправданной силой опустив Buxum biblioformis. Затем наступила тишина. Д-р Азуреус медленно осел и сказал изменившимся голосом:

— *Я* не вполне вас понял, профессор. Я не знаю, кто эта... к кому относится употребленное вами слово или прозвище и... что вы имели в виду, упомянув эту своеобразную забаву, — какую-то ребячью возню, вероятно... лоун-теннис или что-нибудь в этом роде.

— Это у него кличка такая была — Жаба, — сообщил Круг. — Весьма сомнительно также, следует ли называть ту забаву лоун-теннисом — или даже чехардой, уж коли на то пошло. *Он* бы ее так не назвал. Боюсь, я был порядочным хулиганом, обыкновенно я валил его подножкой и усаживался ему на физиономию — лечение покоем, так сказать.

— Прошу вас, дорогой Круг, прошу вас, — произнес президент, содрогаясь. — Все это крайне сомнительно по вкусу. Вы были тогда мальчишками, школьниками, а мальчишки — всегда мальчишки, и я уверен, у вас отыщется множество общих радостных воспоминаний — обсужденье уроков или великих планов на будущее, мальчики это любят ——

— Я сидел на его лице, — невозмутимо отметил Круг, — каждый Божий день на протяжении пяти школьных лет, что составляет, насколько я понимаю, около тысячи отсидок.

Одни разглядывали свои ноги, другие — руки, третьи, опять же, очень увлеклись папиросами. Зоолог, проявив кратковременный интерес к происходящему, вернулся к только что обнаруженной им книжной полке. Д-р Александер невежливо избегал егозливых глаз старика Азуреуса, который, как видно, искал помощи именно с этой, неожиданной стороны.

— Подробности ритуала, — продолжил Круг, но его прервало звяканье коровьего колокольчика, швейцарской безделицы, найденной на бюро отчаянной рукой старика.

— Все это совершенно неуместно, — выкрикнул президент. — Дорогой коллега, я просто вынужден призвать вас к порядку. Мы уклонились от главной ——

— Но помилуйте, — сказал Круг, — я ведь не сказал ничего ужасного, не так ли? Я и на миг не предположил, что теперешняя физиономия Жабы по-прежнему хранит, спустя двадцать пять лет, бессмертный отпечаток моего веса. В те дни я был хоть и потоньше, чем нынче ——

Президент съехал со стула и прямо-таки побежал в сторону Круга.

— Я вспомнил, — произнес он прерывистым голосом, — кое-что, о чем желал побеседовать с вами, — весьма важное — sub rosa, — не будете ли вы добры на минуту пройти со мной в соседнюю комнату?

— Ладно, — сказал Круг, тяжело поднимаясь из кресла.

Соседней комнатой оказался кабинет президента. Высокие часы стояли в нем на четверти седьмого. Круг быстро подсчитал, и тьма изнутри впилась в его сердце. Для чего я здесь? Уйти домой? Остаться?

— ...Мой дорогой друг, вы хорошо знаете, как я ценю вас. Но вы — мечтатель, мыслитель. Вы не осознаете обстоятельств. Вы произносите невозможные, недопустимые вещи. Что бы мы ни думали о... об этой особе, нам следует держать эти мысли при себе. Мы в смертельной опасности. А вы подвергаете риску — все...

Д-р Александер, чьи воспитанность, стремление быть полезным и savoir vivre были и впрямь безграничны, втиснулся с пепельницей и поместил ее у локтя Круга.

— В таком случае, — сказал Круг, игнорируя излишний предмет, — вынужден с сожаленьем отметить, что упомянутый вами факт — это всего лишь немощная тень такового, сиречь — позднейший домысел. Вам следовало, знаете ли, предупредить меня, что по причинам, уразуметь которые я по-прежнему не в состоянии, вы намеревались просить меня посетить ——

— Да, посетить Правителя, — торопливо вставил Азуреус. — И я уверен, что когда вы проникнетесь содержанием манифеста, чтение которого пришлось столь неожиданно отложить ——

Ударили часы. Ибо д-р Александер, аккуратист и умелец, не совладав с припадком трудолюбия, уже стоял на стуле и теребил висюльки и лапал беззащитный лик цифер-

блата. Розоватой пастелью отражались в отворенной стеклянной дверце часов его ухо и энергический профиль.

— Я предпочел бы уйти домой, — сказал Круг.

— Умоляю, останьтесь. Мы сейчас скоренько прочтем и подпишем этот действительно исторический документ. И вы должны согласиться, вы должны стать посланцем, стать голубем ——

— Да уймите же вы часы, — сказал Круг. — Вы не могли бы сделать так, чтобы они не били, приятель? По-моему, вы путаете фиговый лист с оливковой ветвью, — продолжал он, снова поворачиваясь к президенту. — Тут, впрочем, ни то ни другое, потому что я за всю свою жизнь ——

— Я только прошу вас все обдумать, избегая поспешных решений. Все эти школьные воспоминания приятны per se — пустяковые ссоры, безобидные прозвища, — но сейчас нам следует быть серьезными. Пойдемте, вернемся к нашим коллегам и к нашему долгу.

Д-р Азуреус, ораторский пыл коего, по-видимому, иссяк, кратко проинформировал аудиторию, что декларация, которую всем предстоит прочесть и затем подписать, отпечатана в таком количестве экземпляров, сколько существует потенциальных подписчиков. Ему, сообщил он, дали понять, что это придаст каждому экземпляру личный оттенок. Какова была настоящая цель такого предуготовления, он объяснять не стал, да, хочется верить, и не знал, но Круг подумал, что узнаёт во внешнем идиотизме процедуры жутковатую повадку Жабы. Добрые доктора, Азуреус и Александер, распределили листки с проворством, какое являют фокусник со своим ассистентом, раздавая публике для проверки предметы, которые не стоит разглядывать слишком уж пристально.

— Возьмите и вы, — сказал доктор постарше доктору помоложе.

— Нет, что вы, — воскликнул д-р Александер, и всякий мог видеть, как озарилось румяным смущением его симпатичное лицо. — Как можно! Я не посмею. Моей смиренной подписи не должно мешаться в эту августейшую ассамблею. Я — никто.

— Вот этот — ваш, — в порыве непонятного раздражения сказал д-р Азуреус.

Зоолог не потрудился прочесть свою копию, подмахнул ее заемным пером, вернул перо через плечо и вновь погрузился в единственную найденную им до сей поры книгу, в которой было на что посмотреть, — в старый Бедекер с видами Египта и силуэтами кораблей пустыни. В целом довольно скудное поле отлова — разве что прямокрылые.

Д-р Александер присел за красного дерева столик, расстегнул пиджак, выправил манжеты, придвинул поближе стул, проверил, как пианист, свое расположение; далее он извлек из кармана жилетки дивной красоты сверкающий инструмент из хрусталя и золота; взглянул на его очин; испытал его на клочке бумаги и, затаив дыхание, медленно стал разворачивать конволюции своей фамилии. Завершив орнаментирование сложного ее окончания, он приподнял перо и обозрел пленительный результат. На беду, именно в этот момент его золотая волшебная палочка (может быть, от обиды на множество потрясений, которым ее в этот вечер подвергли разнообразные усилия господина) сронила на бесценный типоскрипт большую черную слезу.

Покраснев теперь уже неподдельно, с взбухшим клювиком вены на лбу, д-р Александер поспешил приложить пиявку. Когда уголок промокашки выпил лужу до дна, однако дна не коснувшись, неудачливый доктор осторожно приложился к тому, что осталось. Со своего расположенного невдалеке наблюдательного поста Адам Круг видел эти бледно-синие останки: след фантастической ноги, очерк лужи, похожий на лунку от заступа.

Глиман дважды перечел документ, дважды нахмурился, вспомнил субсидию, и витражное окно на фронтисписе, и выбранный им особенный шрифт, и сноску на 306-й странице, которой предстояло взорвать соперничающую теорию касательно точного возраста разрушенной стены, и поставил свою грациозную, но странно неразборчивую подпись.

Бёре, бесцеремонно разбуженный от сладкой дремоты в кресле за ширмами, прочитал, высморкался, проклял день, в который сменил гражданство, потом сказал себе, что,

в конце концов, не его это дело сражаться с экзотической политикой, сложил платок и, увидав, что другие подписывают, — подписал.

Экономика и История коротко посовещались, причем на лице последней появилась скептическая, но несколько вымученная улыбка. Они в унисон приложили руки и только тогда с отчаяньем обнаружили, что, обмениваясь мнениями, каким-то образом ухитрились обменяться и копиями, ибо на каждой в левом верхнем углу были оттиснуты имя и адрес потенциального подписанта.

Прочие вздыхали и подписывали, или не вздыхали и подписывали, или подписывали, а уж после вздыхали, или не делали ни того ни другого, но затем, подумав как следует, все же подписывали. Адам Круг тоже, он тоже, он тоже расчехлил свое заржавелое, вихлявое вечное перо. В смежном кабинете зазвонил телефон.

Д-р Азуреус, лично вручивший ему документ, околачивался вблизи, пока Круг лениво надевал очки и читал, откинув голову так, что она легла на антимакассар, и довольно высоко держа листки немного дрожавшими толстыми пальцами. Они дрожали пуще обычного, потому что было уже за полночь и устал он несказанно. Когда Круг, приблизясь к концу манифеста (три с половиной сшитые страницы), полез за пером в нагрудный карман, д-р Азуреус слоняться вокруг перестал и почувствовал, как его старое сердце споткнулось, словно бы поднимаясь по лестнице (метафорически) с оплывшей свечой. Сладостное, плотное облако облегчения вздыбило пламя свечи, когда старик Азуреус узрел, как Круг расправил последнюю страницу на плоском деревянном подлокотнике кретонового кресла и открутил надульник самопишущей ручки, обратив его в капсюль.

Быстрым, сальтообразным, изящно точным ударом, совершенно не вяжущимся с его дородным сложением, Круг влепил в четвертую строку запятую. После чего (чмок) зачехлил и защелкнул (чмок) перо и отдал документ помраченному президенту.

— Подпишите его, — сказал президент смешным механическим голосом.

— За исключением юридических документов, — ответил Круг, — да и то еще не всяких, я никогда не подписывал и впредь не стану подписывать ничего, не мною написанного.

Старик Азуреус озирался, медленно воздымая длани. Как-то так получилось, что никто не смотрел в его сторону, не считая Хедрона, математика, сухопарого человека с так называемыми "британскими усами" и с трубкой в руке. Д-р Александер выслушивал в смежной комнате телефон. Кошка дремала в душной спальне дочери президента, которой снилось, что она никак не отыщет баночку с яблочным джемом, бывшую, как она сознавала, кораблем, виденным ею однажды в Бервоке, и матрос наклонялся и сплевывал за борт, следя, как плевок падает, падает, падает в яблочный джем душераздирающего моря, ибо сон ее переливался золотисто-желтым, потому что она не погасила лампы, полагая бодрствовать, пока не уйдут отцовские гости.

— Более того, — говорил Круг, — метафоры все до единой ублюдочны, а предложение насчет готовности внести в учебный план любые предметы, какие окажутся необходимыми для споспешествования политическому согласию, грамматически настолько убого, что даже моя запятая его не спасет. А теперь я хочу домой.

— Prakhtata meta! — прокричал несчастный д-р Азуреус совершенно примолкшему собранию. — Prakhta tuen vadust, mohen kern! Profsar Krug malarma ne donje... Prakhtata!

Д-р Александер, отдаленно напоминающий выцветшего матроса, вновь появился и засигналил, и окликнул президента, и тот, продолжая сжимать в кулачке неподписанную бумагу, засеменил, подвывая, к своему верному ассистенту.

— Брось, старина, не валяй дурака. Подпиши эту гадость, — сказал Хедрон, склоняясь над Кругом и опуская кулак с трубкой ему на плечо. — Много ли она значит, в конце-то концов? Поставь свою коммерчески ценную закорючку. Брось! Никто не тронет наших кругов, — но где-то же нужно нам их рисовать.

— Не в грязи, сэр, не в грязи, — сказал Круг, улыбнувшись первой за этот вечер улыбкой.

— Да ну, не будь надутым педантом, — сказал Хедрон. — Зачем тебе нужно, чтобы я чувствовал себя так неловко? Я подписал, и мои боги не шелохнулись.

Не поднимая глаз, Круг поднял руку и тронул твидовый рукав Хедрона.

— Все в порядке, — сказал он. — Пока ты рисуешь свои круги и показываешь моему мальчику фокусы, черта ли мне в твоей морали.

На один опасный миг он вновь ощутил жгучий, черный прилив горя, комната почти расплылась... но д-р Азуреус уже мчал назад.

— Мой бедный друг, — с великим пылом произнес президент. — Вы герой, что пришли сюда. Но почему же вы мне не сказали? Теперь я все понимаю! Разумеется, вы не могли уделить необходимого внимания, — ваше решение, ваша подпись, мы это отложим, и я уверен, что все мы искренне стыдимся того, что потревожили вас в такую минуту.

— Говорите, говорите, — сказал Круг. — Продолжайте. Ваши слова для меня загадка, но пусть вас это не останавливает.

С жутким ощущением, что его сбили с толку отъявленной дезинформацией, Азуреус вытаращил глаза и заикаясь проговорил:

— Я надеюсь, я не... то есть я надеюсь, что я... то есть вы разве... разве не случилось горя в вашей семье?

— Если и так, это не ваша забота, — сказал Круг. — Я хочу домой, — добавил он, внезапно рванув ужасающим голосом, который, бывало, обрушивался, словно громовый раскат, когда лекция достигала зенита. — Этот, как бишь его, сможет отвезти меня назад?

Издалека д-р Александер покивал д-ру Азуреусу.

Нищего сменили. Двое солдат сидели, скукожившись, на приступке машины, предположительно охраняя ее. Круг, норовя избежать беседы с д-ром Александером, поспешно забрался назад. К большому его неудовольствию, однако, д-р Александер, вместо того чтобы усесться за руль, присоединился к нему. Один из солдат сел за водите-

ля, другой уютно выставил локоть, машина взвизгнула, прокашлялась и загудела по темным улицам.

— Не угодно ли... — сказал д-р Александер и, пошарив по полу, попытался вытянуть плед так, чтобы соединить под ним ноги — свои и сгложника. Круг заворчал и отпихнул покрывало. Д-р Александер потянул, поерзал, подоткнулся со всех сторон и уж тогда расслабился, истомленно просунув руку в петлю на дверце машины. Случайный уличный луч отыскал и сразу куда-то засунул его опал.

— Должен признаться, профессор, я любовался вами. Что говорить, вы — единственный настоящий мужчина среди этих дражайших ископаемых. Я так понимаю, вы не часто видаетесь со своими коллегами, нет? Конечно, вы должны ощущать некоторую несовместимость ——

— Опять не попали, — сказал Круг, нарушая обет молчания. — Я уважаю моих коллег, так же как и себя, я уважаю их по двум причинам: поскольку они умеют отыскивать совершенное счастье в специальных знаниях и поскольку они лишены склонности к физическому убийству.

Д-р Александер ошибочно принял его слова за одну из туманных острот, которыми, как ему говорили, развлекается Адам Круг, и осмотрительно засмеялся.

Круг посмотрел на него сквозь бегущую тьму и навсегда отвернулся.

— А знаете, — продолжал молодой биодинамик, — меня, профессор, одолевает странное чувство, что в каком-то смысле стадо овец менее ценно, чем единственный одинокий волк. Я вот гадаю: что же дальше-то будет? К примеру, я гадаю, что вы скажете, если наше причудливое правительство с внешней непоследовательностью пренебрежет овцами, а волку предложит роскошнейшее из мыслимых положений. Это, понятно, мимолетная мысль, вы могли бы и посмеяться над парадоксом (оратор бегло продемонстрировал, как это делается), но подобные вероятия, да и другие, возможно совсем противного толка, — все как-то лезут в голову. Вы знаете, когда я был студентом и жил в мансарде, моя хозяйка, жена бакалейщика снизу, все уверяла, что я рано или поздно спалю весь дом, — так много свечей я сжигал каждую ночь, корпя над страницами ваших во всех отношениях превосходнейших ——

— Заткнитесь, ладно? — сказал Круг, проявив внезапно странную грубость, жестокость даже, потому что ничто ведь в невинном и добронамеренном, хоть, может быть, и не очень умном лепете молодого ученого (которого, вполне очевидно, обратила в пустомелю застенчивость, столь характерная для тяжко трудящихся и, верно, дурно питающихся юношей — жертв капитализма, коммунизма и онанизма, — когда случается им попасть в общество людей истинно значительных, этакого какого-нибудь задушевного друга начальника их или самого хозяина фирмы, а то и зятя его, Гоголевича, ну и так далее); ничто, стало быть, не давало повода к столь резкому восклицанию, каковое восклицание, однако ж, обеспечило полную тишину до конца пути.

И только когда грубовато ведомый автомобиль свернул на улочку Перегольм, только тогда неугомонный молодой человек, конечно же понимавший нервное состоянье вдовца, снова открыл рот.

— Ну вот и приехали, — сердечно сказал он. — Надеюсь, sesamka [ключик] при вас? А нам, боюсь, нужно мчаться назад. Доброй вам ночи! Приятных снов! Proshchevantze [шутливое "адью"]!

Машина исчезла, хотя квадратное эхо ее захлопнутой дверцы еще повисело в воздухе, словно пустая, черного дерева картинная рама. Но Круг был не один: что-то похожее на шлем скатилось по ступенькам крыльца и легло у него в ногах.

Крупным планом, пожалуйста! В прощальных тенях крыльца, с лунно-белым, чудовищно подбитым плечом, трогательно не сочетавшимся с его тоненькой шеей, юноша в костюме американского футболиста застыл в последнем, безысходном объятии с маленькой эскизной Кармен, и даже сумма их лет была самое малое на десятку меньше возраста зрителя. Короткая черная юбка с намеком на лепестки и гагаты наполовину завесила замысловатый наряд возлюбленного. Расшитая стеклярусом шаль спадала с левой ее руки, мягкий испод которой просвечивал сквозь черную кисею. Другая рука снизу вверх обвила шею мальчика, напряженные пальцы впились в темные волосы на

затылке; да, все различалось ясно, даже короткие, неумело покрытые лаком ногти, шероховатые костяшки школьницы. Он, защитник, держал Лаокоона, и ломкую лопатку, и маленькое ритмическое бедро в своих подрагивающих кольцах, по которым тайно текли раскаленные капли, и глаза ее были закрыты.

— Я очень сожалею, — сказал Круг, — но мне нужно пройти. Donje te zankoriv [пожалуйста, извините меня].

Они разделились, и Круг мельком увидал ее бледное, темноглазое, не очень хорошенькое лицо, блеснули губы, когда она скользнула под его рукой, державшей дверь, и, оглянувшись на первой площадке, побежала наверх, волоча за собою шаль со всеми ее созвездиями — с Кефеем и Кассиопеей в их вечном блаженстве, со слепящей слезою Капеллы, снежинкой Полярной на сером меху Медвежонка и с обморочными галактиками — этими зеркалами бесконечного пространства, qui m'effrayent, Blaise, как страшили они и тебя, — где Ольги нет, но где мифология растянула крепкие цирковые сети, чтобы мышление в его мешковатом трико не свернуло себе старой шеи, а отпрыгнуло — прыг-скок — и в который раз соскочило на эту пропитанную мочой арену и после короткой пробежки с полупируэтом посередине показало предельную простоту небес — амфороносным жестом акробата, простодушным всплеском рук, вызывающим дождичек аплодисментов, под которым оно прохаживается туда-сюда, вновь обретая мужественность осанки, ловит маленький синий платочек, который его мускулистая подруга-летунья вытаскивает, завершив свои экзерсисы, из глубин горячей, вздымающейся груди, — вздымающейся гораздо сильнее, чем уверяет ее улыбка, — и бросает ему, чтобы оно осушило ладони ноющих, слабеющих рук.

5

Сон изобиловал фарсовыми анахронизмами, его наполняло ощущение грубой зрелости (как сцену на кладбище в "Гамлете"), скудные, в сущности, декорации, залатанные

разными разностями из иных (более поздних) пьес; и все-таки этот всем нам знакомый неотвязный сон (когда попадаешь в свой старый класс, а домашнее задание не сделано, потому что ты нечаянно прогулял десять тысяч дней) в случае Круга сносно передавал атмосферу исходной версии. Естественно, сценарий дневной памяти куда точнее в фактических деталях, ведь постановщикам снов (обыкновенно их несколько, в большинстве безграмотных, из среднего класса, вечно куда-то спешащих) постоянно приходится что-то выкидывать, приукрашивать и переставлять для приличия; но представление есть представление, и сбивающий с толку возврат к прошлому существованию (когда годы, промчавшиеся за сценой, списывают на забывчивость, нерасторопность, прогулы) почему-то вернее разыгрывается популярным сном, чем ученой точностью памяти.

Но неужели и впрямь все было таким грубым? Кто там прячется за робкими режиссерами? Нет сомнений, вот эта парта, за которой оказался сидящим Круг, в спешке заимствована из другой декорации и больше похожа на стандартную принадлежность университетской аудитории, чем на штучное изделие из Кругова детства с его зловонной чернильной ямой (ржа, чернослив), и перочинными шрамами на крышке (которой можно было похлопать), и с особенной формы кляксой — озеро Малёр. Нет также сомнений: что-то не так с расположением двери, к тому же сюда торопливо согнали нескольких студентов Круга, неразличимых статистов (сегодня датчане, римляне завтра), дабы заполнить бреши, оставленные теми его однокашниками, что оказались менее мнемогеничными, нежели остальные. Но среди режиссеров или рабочих сцены, отвечавших за декорации, был один... трудно выразить это... безымянный, таинственный гений, который использовал сон для передачи собственного причудливого тайнописного сообщения, никак не причастного к школьным дням, да и к любой из сторон физического существования Круга, но как-то связующего его с непостижимым ладом бытия, возможно ужасным, возможно блаженным, возможно ни тем ни другим, со своего рода трансцендентальным безумием, таящимся в закоулках сознания и не желающим определяться точнее,

сколько Круг ни напрягает свой мозг. О да, освещение скудно и поле зрения странно сужено, словно память закрывшихся век продолжает упорствовать в сепиевых сумерках сна, словно оркестр ощущений сократился до нескольких туземных инструментов, а соображает Круг во сне хуже, чем подвыпивший дурень; но более пристальное рассмотрение (производимое, когда "я" сновидений умирает в десятитысячный раз, а дневное "я" в десятитысячный раз наследует эти пыльные безделушки, эти долги, эти пачки неудобочитаемых писем) открывает существованье кого-то, кто в курсе всех этих дел. Был тут некий пролаза, на цыпочках крался по лестнице, рылся в шкафах, чуть-чуть изменяя порядок вещей. А потом иссохшая, вся в мелу, невероятно легкая губка впивает воду, пока не становится сочной, как плод, и пишет блестящие черные арки по лиловатой доске, стирая мертвые белые символы, и мы начинаем наново, соображая смутные сны с ученой точностью памяти.

Вы входили в обыкновенный туннель; он пронизывал тулово дома, неважно какого, и приводил вас во внутренний двор, покрытый старым серым песком, обращавшимся в грязь при первых брызгах дождя. Здесь играли в футбол в тусклые ветреные промежутки между двумя рядами уроков. Зев туннеля и школьная дверь — в противоположных концах двора — становились воротами, так же, примерно, как обыкновеннейший орган одного животного вида резко преобразуется в другом новым для него назначением.

Порой сюда тайком приносили и осторожно распасовывали в углу настоящий футбол с красной печенью, плотно заправленной под кожаный корсет, с именем английского изготовителя, пересекающим аппетитные ломти его жесткой и звонкой округлости, но то был запретный предмет для двора, окруженного хрупкими окнами.

Вот он, наш мяч, гладкий, каучуковый мяч, разрешенный властями, вдруг оказавшийся в стеклянной витринке подобно музейному экспонату: собственно, три мяча в трех витринах, ибо нам демонстрируют все его возрастные стадии: вначале — новенький, чистый, почти что белый — белый, как брюхо акулы; потом грязный, серый — взрос-

лый, — в зернах песка на видавших виды щеках; потом — дряблый и бесформенный труп. Звенит звонок. Снова музей темнеет, пустеет.

Наподдай, Адамка! Удар, направленный в белый свет, как и осмотрительное вбрасывание, редко кончались дрязгом бьющегося стекла; напротив, прокол обыкновенно следовал за столкновением с некоторым зловредным выступом — с углом надкрылечной кровли. Смертельная рана мяча обнаруживалась не сразу. Лишь при следующем сильном ударе воздух жизни начинал истекать из него, и скоро он уже шлепал подобно старой галоше, а потом замирал — жалкая медуза из запачканного каучука на грязном песке, — и жестоко разочарованные бутсы разносили его в клочки. Конец ballona [праздничного собрания с танцами]. Сидя у зеркала, она снимает алмазную тиару.

Круг играл в футбол [vooter], а Падук — нет [nekht]. Круг, плотный, толстощекий, курчавый мальчишка, щеголявший в твидовых бриджах с пуговками ниже колен (футбольные трусы запрещались), толокся по слякоти, вкладывая в это занятие больше рвения, чем умения. Он обнаружил теперь, что мчится (ночью, балда? Точно, ребята, ночью) по чему-то похожему на рельсовый путь в длинном, промозглом туннеле (постановщик сна использовал для передачи "туннеля" первую же подошедшую декорацию, не потрудившись убрать ни рельс, ни красноватых ламп, что через равные промежутки тлели на черных, каменных, запотелых стенах). В ногах у него болтался тяжелый мяч, при каждой попытке наподдать по нему он каждый раз об него запинался; в конце концов мяч как-то застрял на полке каменной стены, в которую там и сям вкрапливались витринки, приятно освещенные, оживленные разного рода аквариумными выдумками (кораллы, раковины, шампанские пузырьки). В одной из витрин сидела она, снимая свои чистой росы перстни и расстегивая бриллиантовый collier de chien, обнимавший ее полное белое горло; да, избавляясь от всех земных драгоценностей. Ощупью он поискал на полке мяч и выудил туфлю-лодочку, красненькое ведерко с картинкой — лодка под парусом, — ластик, — все это как-то слепилось в мяч. Труден был

дрибл[illegible] в зарослях рахитичных лесов, где, чувствовалось, он ме[illegible]т рабочим, починяющим проводку или что-то еще, и, [illegible]гда он достиг вагона-ресторана, мяч закатился под о[illegible] из столов, и там, полускрытое упавшей салфеткой, н[illegible]дилось преддверье ворот, потому что ворота и были дверью.

Если вы открывали эту дверь, вы обнаруживали нескольких [zaftpupen] “слабаков”, млеющих на широких приоконных диванах за одежными виселицами, был тут и Падук, кушал что-нибудь сладко-липучее, поднесенное дворником, ветераном-медалистом с почтенной бородой и похабными глазками. Когда звенел колокольчик, Падук пережидал, пока не утихнет сумятица чумазых, раскрасневшихся, мчавших по классам мальчишек, а там спокойно всходил по лестнице, липкой лапкой лаская перила. Круг, задержавшийся, чтобы припрятать мяч (под лестницей стояла большая коробка для игрушек и фальшивых драгоценностей), перегонял его и походя щипал за пухлые ягодицы.

Отцом Круга был биолог с солидной репутацией. Отцом Падука был мелкий изобретатель, вегетарианец, теософ, большой знаток дешевой индийской премудрости; одно время он вроде бы занимался издательским делом, печатая в основном труды придурков и неудачливых политических деятелей. Мать Падука, дряблая, лимфатическая женщина из Заболотья, скончалась родами, а вскоре за тем вдовец женился на молодой калеке, для которой он изобрел костыли нового типа (она же пережила и его, и костыли, и все остальное и по сию пору где-то еще хромает). Мальчик Падук имел тестообразное личико и серо-сизый череп в шишках: раз в неделю папаша лично брил ему голову — какой-то мистический ритуал, не иначе.

Неизвестно, откуда взялось прозвище “Жаба”, потому что в его лице не было ничего, напоминавшего об этом животном. Странное было лицо — все черты на должном месте, но какие-то расплывчатые черты, ненормальные, словно бы мальчика подвергли одной из тех пластических операций, для коих кожу заимствуют с какой-то иной части тела. Впечатление это порождалось, возможно, неподвижностью черт: он никогда не смеялся, а если ему прихо-

дилось чихнуть, то чихал он почти не меняясь в лице и совершенно беззвучно. Смертельно белый носик и опрятная белая в полосочку рубашка придавали ему en laid сходство с восковым школяром из портновской витрины, разве бедра у него были куда пухлей манекеновых, да ходил он слегка враскоряку, да носил сандалеты, навлекавшие на него множество ядовитых острот. Однажды, когда его сильно помяли, обнаружилось, что он надевает прямо на голое тело зеленую нижнюю рубаху, зеленую, будто бильярдное сукно, да, похоже, из него и пошитую. У него были вечно липкие руки. Говорил он удивительно ровным носовым голоском с сильным северо-западным акцентом и имел раздражающую привычку называть своих однокашников анаграммами их имен — Адам Круг, к примеру, был Гумакрадом или Драмагуком; делал он это не из какого-то там чувства юмора, таковое у него напрочь отсутствовало, но потому, что следует (он старательно объяснял это каждому новичку) постоянно иметь в виду, что все вообще люди состоят из одних и тех же двадцати пяти букв, только по-разному смешанных.

Эти черточки легко извинялись бы, будь он приятным малым и добрым товарищем — свойским оторвягой или симпатично эксцентричным мальчишкой с более чем прозаической мускулатурой (случай Круга). Падук же, при всех его странностях, был скучен, зауряден и нестерпимо подл. Поразмыслив задним числом, неожиданно заключаешь, что в области подлости он был подлинным героем, поскольку всякий раз, углубляясь в нее, он с несомненностью знал, что снова вступает на путь, ведущий в ад физической боли, куда его всякий раз и ввергали мстительные одноклассники. Странно, однако ж, что мы не можем припомнить ни единого определенного примера его подличанья, хоть живо помним, что приходилось сносить Падуку за его позабытые прегрешения. Взять хотя бы историю с падографом.

Падуку было, пожалуй, лет четырнадцать-пятнадцать, когда его отец изобрел это приспособление — единственное, на долю которого выпал некоторый коммерческий успех. Этот портативный прибор, походивший на пишущую машинку, предназначался для воспроизведения — и с

гнусным притом совершенством — почерка его владельца. Вы снабжали изобретателя множеством образцов своего каллиграфического искусства, а он, изучив штрихи и связки, изготовлял для вас индивидуальный падограф. В итоговой рукописи точно копировался общий "тон" вашего почерка, тогда как за мелкие вариации знаков отвечали несколько клавиш, обслуживавших каждую букву. Знаки пунктуации тщательно разнообразились в рамках той или этой личной манеры, а такие детали, как межбуквенные промежутки или то, что эксперты кличут "градиентами признаков", исполнялись так, чтобы скрыть механические повторы. И хоть внимательный просмотр рукописи всегда, разумеется, обнаруживал наличие механического посредника, изобретение все же позволяло упражняться в более или менее глупом надувательстве. Например, вы могли обзавестись падографом, настроенным на почерк коголибо из ваших корреспондентов, и разыгрывать разного рода штуки с ним и с его друзьями. Несмотря на этот пустой откат неуклюжих подделок, вещица зачаровала и честного потребителя: устройства, которые каким-то занятным и новым способом подражают природе, всегда привлекают простые умы. По-настоящему хороший падограф, воспроизводивший множество оттенков, был очень дорог. Однако заказы хлынули рекой, и один покупатель за другим наслаждался роскошной возможностью видеть, как самая суть его незатейливой личности дистиллируется волшебством хитроумного инструмента. Три тысячи падографов было продано за один только год, и более десятой их части оптимистически использовалось в мошеннических целях (причем и надуваемые, и надувалы выказывали по ходу дела редкостное тупоумие). Падук-старший как раз намерился строить особую фабрику для расширения производства, когда постановление Парламента запретило изготовление и продажу падографов по всей стране. Говоря философски, падограф выжил в качестве эквилистского символа, как доказательство того, что механическое устройство способно к воспроизведению личности и что Качество есть не более чем способ распределения Количества.

Один из первых выпущенных изобретателем экземпляров он подарил сыну на день рождения. Юный Падук приспособил его для выполнения домашних заданий. Писал он жидкими паутинообразными каракулями, буквы клонились назад, а жирные крестовины t заметно торчали из рядов остальных хромоножек — все это имитировалось в совершенстве. Поскольку он так никогда и не смог избавиться от младенческих лужиц, отец пристроил добавочные клавиши для клякс — одной в виде песочных часов и двух круглых. Впрочем, эти красоты Падук игнорировал, и правильно делал. Учителя заметили только, что работы его стали немного опрятней и что вопросительные знаки, когда ему приходилось к ним прибегать, оказывались потемнее и полиловее прочих: вследствие одного из промахов, столь характерных для изобретателей определенного склада, отец об этом знаке забыл.

Скоро, однако, радости, сопряженные с обладанием тайной, сошли на нет, и как-то поутру Падук притащил свою машинку в школу. Учителю математики — высокому, синеглазому и рыжебородому еврею — пришлось отправиться на похороны, и образовавшийся свободный час был посвящен демонстрации падографа. Красивая была вещица, и столб весеннего солнца быстро ее обнаружил; снаружи таял и тек снег, блистали в грязи самоцветы, радужные голуби ворковали на влажном приоконье, и крыши домов по ту сторону двора сверкали алмазными брызгами; а толстые пальцы Падука (съедобная часть каждого ногтя сгинула за исключеньем узких, темных ее пределов, окруженных валиками желтоватого мяса) барабанили по ярким клавишам. Нужно признать, что процедура в целом знаменовала немалое мужество с его стороны: его окружали грубияны-мальчишки, очень и очень его не любившие, ничто не мешало им разнести волшебный прибор на куски. Он же сидел, хладнокровно набирая какой-то текст и поясняя высоким тягучим голосом тонкости демонстрации. Шимпффер, рыжий мальчик эльзасских кровей, обладатель очень умелых пальцев, сказал: "Дай-ка попробовать!" — и Падук освободил ему место и направлял его поначалу несколько скованные тычки. За ним попробовал Круг, Падук помогал

и ему, пока не увидел, что его механический двойник покорно выписывает под сильными пальцами Круга: “Я идиот идиот я и я обязуюсь заплатить десять пятнадцать двадцать пять крун”. — “Пожалуйста, — поспешно сказал Падук, — ну пожалуйста, кто-то идет, надо спрятать”. Он запихал аппарат в парту, ключ сунул в карман и побежал в уборную, что делал при всяком сильном волнении.

Круг посовещался с Шимпффером и выработал нехитрый план. После уроков они убедили Падука позволить им еще разок взглянуть на прибор. Едва был отперт чехол, как Круг обездвижил Падука и сел на него, и сидел, пока Шимпффер деловито печатал короткое письмецо. Письмо опустили в почтовый ящик, а Падука Круг отпустил.

На следующий день молодая жена учителя истории, трясучего, с вечно слезящимися глазами, получила записку (на линованной бумаге с двумя дырками на полях), умолявшую о рандеву. Вместо того чтобы, как ожидалось, нажаловаться мужу, любезная дама, надев густую синюю вуаль, подстерегла Падука, обозвала его гадким мальчиком и, нетерпеливо потрясая гузном (которые в те дни затянутых талий смахивали на перевернутые сердца), предложила взять kuppe [закрытую коляску] и поехать на одну необитаемую квартирку, где она сможет журить его в тишине и покое. Падук, хоть и ожидал со вчерашнего дня какой-нибудь скверности, ни к чему в этом именно роде готов не был и, не успевши собраться с мыслями, действительно полез за ней в неопрятную карету. Несколько минут спустя — в заторе на площади Парламента — он выскользнул и с позором бежал. Как его товарищи прознали про все эти trivesta [амурные подробности], объяснить затруднительно; но так или иначе, а происшествие стало школьной легендой. Несколько дней Падук отсутствовал; какое-то время не было видно и Шимпффера: по занятному совпадению матушка последнего получила жестокие ожоги вследствие воспламенения загадочной взрывчатой смеси, подложенной ей в сумку каким-то шутником, пока она делала покупки. Когда Падук объявился снова, он был, как обычно, тих, но падографа не упоминал и в школу его больше не притаскивал.

В том же, а может быть, в следующем году новый школьный директор "с идеями" решил развить у старшеклассников то, что он называл "общественно-политическим сознанием". У него имелась целая программа — собрания, дискуссии, создание партийных группировок, — ну, в общем, много чего. Ребят поздоровее от этих сборищ освобождали по той простой причине, что, будучи задержанными после уроков или во время перемены, они немедля принимались посягать на свободу сограждан. Круг свирепо высмеивал дураков и подлиз, клюнувших на этот гражданский вздор. Директор, при том, что он подчеркивал чисто добровольный статус участия, предупредил Круга (первого ученика класса), что его индивидуалистическая позиция создает опасный прецедент. Над директорским диваном, набитым конским волосом, висел офорт, изображавший Восстание в Балке Песочной Булки, 1849. Круг и не подумал сдаваться, стоически перенося посредственные оценки, которые с этих пор посыпались на него, хоть он и продолжал учиться не хуже прежнего. Директор опять провел с ним беседу. Еще там была цветная гравюра, на которой сидела у зеркала красно-вишневая дама. Интересное было положение: вот директор, либерал со здоровым левым уклоном, речистый поборник Честности и Беспристрастности, откровенно шантажирующий самого умного из учеников своей школы, и делающий это не потому, что он желает, дабы мальчик присоединился к какой-то определенной группировке (скажем, к левой), но потому, что тот вообще ни к какой присоединяться не хочет. Ибо следует отметить — со всей честностью по отношенью к директору, — что, отнюдь не навязывая ученикам собственных политических предпочтений, он дозволял им придерживаться любой выбранной партии, даже если таковая являла собой новейшую комбинацию, не соотносимую ни с одной из фракций, представленных в процветавшем в ту пору Парламенте. Собственно, взгляды его были до того широки, что он положительно *жаждал*, чтобы мальчики побогаче создавали сильные капиталистические кластеры, а сыновья реакционных аристократов в духе их касты соединялись в Rutterbeds. Все, о чем он просил, — это чтобы

они следовали своим социальным и экономическим инстинктам, тогда как единственное, чего не принимал, — это полного отсутствия оных инстинктов у личности. Мир виделся ему трагедийной игрой классовых страстей посреди традиционно сумрачного ландшафта, где Труд с Капиталом мечут вагнерианские громы, разыгрывая предначертанные роли; отказ от участия в этом спектакле представлялся ему злонамеренным оскорблением его динамичного мифа, равно как и профсоюза, в котором состоят исполнители. В таких обстоятельствах он почел себя вправе указать учителям, что, если Адам Круг с отличием выдержит экзамены, это будет диалектической несправедливостью в отношении тех его соучеников, у которых меньше ума, но больше гражданского чувства. Учителя настолько прониклись новыми веяньями, что непонятно, как вообще умудрился наш юный друг сдать экзамены.

Тот последний семестр был также отмечен нежданным возвышением Падука. Хотя и считалось, что он всем противен, однако нашелся своего рода маленький круг приспешников (вкупе с личным телохранителем), которые приветствовали его, когда он тихо всплыл на поверхность и тихо учредил Партию Среднего Человека. Каждый его последователь обладал мелким дефектом, или, как мог бы выразиться, хлебнув фруктового коктейля, педагог-теоретик, "фоновой несостоятельностью": один страдал от неизбывных фурункулов, другой — от болезненной стеснительности, третий ненароком оттяпал голову своей грудной сестричке, четвертый заикался с такой силой, что можно было сходить купить шоколадку, пока он одолевал начальную "п" или "б": он никогда не пытался обойти препятствие, прибегнув к синониму, и наконец совершавшийся взрыв скрючивал все его существо и орошал собеседника торжествующей слюной. Пятый апостол был заикой более изысканным, порок его речи принял форму дополнительного слога, следующего *за* критическим словом подобно несмелому эхо. Охраной ведал свирепый обезьянообразный молодчик, который в свои семнадцать лет не смог заучить таблицу умножения, но мог зато удерживать в воздетых лапах стул, на котором величаво восседал еще один апос-

тол, самый жирный из учеников школы. Никто не заметил, как сбилась вокруг Падука эта несуразная маленькая орава, никто не понял, почему именно он возглавил ее.

Года за два до этих событий отец Падука свел знакомство с Фрадриком Скотомой, человеком трогательной судьбы. Старый иконоборец, как он любил, чтобы его называли, в то время уже неуклонно впадал в мутное одряхление. Влажный красный рот и пушистые белые баки придавали ему вид если и не почтенный, то по крайности безобидный; ссохшееся тельце выглядело столь утлым, что матроны из его сомнительного соседства, наблюдая, как он шаркает мимо в флюоресцентном нимбе старческого слабоумия, чуть ли не испытывали потребность убаюкать его песенкой, купить ему вишен, теплой булки с изюмом или крикливых носочков, которые он обожал. Люди, юный энтузиазм которых возбуждала когда-то его писанина, давно уже позабыли об этом страстном потоке каверзных памфлетов, ошибочно приняв короткость своей памяти за укороченность сроков его объективного бытия, и, если бы им сказали, что Скотома, enfant terrible шестидесятых, все еще жив, они бы скривились саркастически и недоверчиво. Сам восьмидесятипятилетний Скотома склонен был считать свое буйное прошлое лишь предварительным этапом, далеко не столь значительным, как его нынешний, философский период, ибо он, вполне натурально, видел в своем распаде вызревание и апофеоз и был совершенно уверен, что бессвязный трактат, отданный им для печатания Падуку-старшему, еще признают бессмертным свершением.

Свою новейшую концепцию человечества Скотома излагал с торжественностью, приличествующей потрясающему открытию. На каждом данном уровне мирового времени, говорил он, среди населения мира распределялось определенное, исчислимое количество человеческого сознания. Это распределение было неравным, тут-то и коренятся все наши беды. Человеческие существа, говорил он, являли собой многочисленные сосуды, содержавшие неравные порции единообразного по сути своей сознания. Однако вполне возможно, настаивал он, регулировать емкость человечьих сосудов. Если б, к примеру, заданное количе-

ство воды содержалось в заданном числе разнородных бутылок — в винных бутылках, в графинах, в фиалах различных форм и размеров и во всех тех хрустальных и золотых флакончиках для духов, что отражались в ее зеркале, — распределение влаги было б неравным и несправедливым, но его можно было бы сделать и справедливым и равным, либо выравняв содержимое, либо устранив затейливые сосуды и приняв стандартный размер. Он ввел идею равновесия как основания всеобщего блаженства и назвал свою теорию "эквилизмом". Это, уверял он, теория совершенно новая. Правда, социализм отстаивал однородность в экономической плоскости, а религия мрачно предрекала ее же в плоскости духа — как неизбежное состояние в загробном мире. Но экономист не понял, что сколько-нибудь успешное выравнивание богатств неосуществимо, да, собственно, и не является вообще моментом действительности, пока существуют особи, у которых ума или нахальства больше, чем у прочих; подобным же образом и священнослужитель не осознал пустоты его метафизических посулов для тех избранников (причудливых гениев, охотников за крупной добычей, шахматистов, чудовищно выносливых и разносторонних любовников, сияющей женщины, что после бала снимает ожерелье), которым этот мир представляется раем в себе и которые вечно будут на очко впереди, что бы ни сталось с нами со всеми в плавильном тигле вечности. И даже, говорил Скотома, если последние станут первыми, и наоборот, представьте, как покровительственно ухмыльнется ci-devant Вильям Шекспир при виде прежнего бумагомараки, автора безнадежно убогих пиес, заново процветшего на небесах в виде поэта-лауреата.

Важно отметить, что, предлагая вновь отлить человеческие особи в соответствии с выверенным шаблоном, автор осмотрительно не стал определять ни практического способа, коего при этом следует придерживаться, ни того, какого именно толка личности или личностям надлежит поручить планирование этого процесса и его выполнение. Он удовольствовался тем, что повторял на протяжении всей своей книги: разница между самым гордым умом и самой смиренной тупостью целиком зависит от степени конденсации

"мирового сознания" в том или в ином индивидууме. Пожалуй, он думал, что перераспределение и соразмерение оного последуют автоматически, как скоро читатели уверуют в истинность главной посылки. Следует также заметить, что достойный утопист подразумевал весь синий и туманный мир, а не одну только свою болезненно застенчивую страну. Он умер вскоре после издания трактата, избавясь тем самым от неудобства видеть, как его благодушный и расплывчатый эквилизм преобразуется (сохраняя при этом название) в злобную и заразную политическую доктрину, предполагающую силой насадить на его родной земле духовное равенство с помощью наиболее стандартизированной части ее обитателей, а именно армии, и под присмотром раздувшегося и опасно обожествляемого государственного аппарата.

Когда юный Падук основал, основываясь, в свою очередь, на книге Скотомы, Партию Среднего Человека, метаморфоза эквилизма только-только начиналась, а разочарованные юнцы, проводившие унылые митинги в дурно пахнущих классах, только еще нащупывали средства, позволяющие довести до среднего уровня содержимое человечьих сосудов. В тот год продажный политик был убит университетским студентом по имени Эмральд (а не Амральд, как неправильно пишут за рубежом), который выступил на суде с совершенно неуместными стихами собственного сочинения — образцом обкусанной невротической риторики, превозносящим Скотому за то, что он

...научил нас чтить Простого Человека
и показал нам, что ни одно дерево
не может обойтись без леса,
ни один музыкант — без оркестра,
ни одна волна — без океана
и ни одна жизнь — без смерти.

Бедный Скотома, разумеется, ничего подобного не сделал, однако Падук с товарищами распевали теперь эти строки, ставшие потом классикой эквилизма, на мотив "Ustra mara, donjet domra" (популярная частушка, восхваляющая пьянительные качества крыжовенного вина). В это

же самое время одна безобразно буржуазная газета печатала серию юмористических картинок, изображавших жизнь господина и госпожи Этермон (Заурядовых). С благоприличным юмором и с симпатией, выходящей за рамки приличия, серия следовала за г-ном Этермоном и его женушкой из гостиной на кухню и из сада в мансарду через все допустимые к упоминанию стадии их повседневного существования, которое, несмотря на наличие уютных кресел и разнообразнейших электрических... как их... ну, в общем, разных штуковин и даже одной вещи в себе (автомашины), ничем, в сущности, не отличалось от бытования неандертальской четы. Г-н Этермон похрапывал, зетом скрючившись, на диване или, прокравшись на кухню, с эротической алчностью принюхивался к пышущему жаром тушеному мясу, вполне бессознательно олицетворяя отрицание личного бессмертия, поскольку весь его габитус был тупиком и ничто в нем не обладало способностью преодолеть границы смертного существования, да и не заслуживало того. Никто, впрочем, не смог бы вообразить Этермона умирающим взаправду — не только потому, что правила мягкого юмора запрещали показывать его на смертном одре, но также и потому, что ни одна из деталей обстановки (ни даже его игра в покер с агентом по страхованию жизни) не предполагала факта абсолютно неизбежной смерти; так что в одном смысле Этермон, персонифицируя отрицание бессмертия, сам был бессмертен, а в другом — не мог питать надежд опочить в этом мире, чтобы насладиться какой-либо разновидностью жизни в ином, просто потому, что был лишен элементарных удобств опочивальни в его во всех иных отношениях отлично распланированном доме. Молодая чета была счастлива — в рамках ее герметического существования, — как и следует быть счастливой всякой молодой чете: поход в киношку, прибавка к жалованью, что-нибудь увкуснюсенькое на обед — жизнь положительно набита этими и на эти похожими радостями, худшее же, что им выпадало, — это удар традиционным молотком по традиционному пальцу или ошибка в определении даты рождения начальника. На рекламных картинках Этермон курил сорт табака, который курят миллионы,

а миллионы ошибаться не могут, и каждый из Этермонов предположительно воображал каждого из иных Этермонов, вплоть до Президента страны, который как раз тогда сменил унылого и вялого Теодора Последнего, возвращающимся со службы к (сочным) кулинарным и (постным) супружеским наслаждениям Этермонова дома. Скотома при всей старческой сбивчивости его “эквилизма” (а даже тот подразумевал какие-то крутые перемены, некоторое недовольство существующим порядком) с гневливостью ортодоксального анархиста взирал на то, что он именовал “мелким буржуа”; он был бы (и террорист Эмральд с ним вместе) ошарашен, узнав, что горстка юнцов поклоняется эквилизму в образе порожденного карикатуристом г-на Этермона. Впрочем, Скотома стал жертвой распространенного заблуждения: его “мелкий буржуа” существовал лишь в виде печатной бирки на пустом картотечном ящике (иконоборец, подобно большинству представителей этой породы, полностью полагался на обобщения и был совершенно не способен, скажем, заметить, какие в комнате обои, или разумно поговорить с ребенком). В действительности при небольшом усердии об Этермонах можно узнать немало удивительных вещей, делающих их настолько отличными друг от друга, что говорить о существовании какого-то единообразного Этермона — помимо эфемерного карикатурного персонажа — вообще не представляется возможным. Внезапно преобразясь, посверкивая сузившимися глазами, г-н Этермон (которого мы только что видели уныло слонявшимся по дому) запирается в ванной с предметом своих желаний — предметом, который мы предпочли бы не называть; другой Этермон прямо из убогой конторы пробирается в тишь огромной библиотеки и млеет над какими-то старинными картами, о коих он никогда не упоминает дома; третий Этермон озабоченно обсуждает с женой четвертого будущее ребенка, которого она умудрилась втайне выносить для него, пока ее муж (ныне вернувшийся в домашнее кресло) сражался в далеких джунглях, где он, в свой черед, видел бабочек размером с раскрытый веер и деревья, ночами ритмично пульсирующие от бесчисленных светляков. Нет, усредненные сосуды вовсе не так просты,

как кажутся; это кувшины, запечатанные магом, и никто — даже сам заклинатель — не знает, что в них содержится и в каких количествах.

В свое время Скотома сосредоточился на экономическом аспекте Этермона; Падук же намеренно копировал Этермона карикатурного — в его портняжной сути. Он носил высокий целлулоидный воротничок, знаменитые круглые резинки на рукавах сорочки и дорогие ботинки, ибо единственное, чем позволял себе блеснуть господин Этермон, было сколь возможно удалено от анатомического центра его существа: блеск ботинок, блеск бриолина. С неохотного согласия отца верхушке бледно-синего Падукова черепа было дозволено отрастить ровно такое количество волос, какого хватало для приобретения сходства с безупречно ухоженной макушкой Этермона, а к слабым запястьям Падука были пристегнуты Этермоновы моющиеся манжеты со звездообразными запонками. Хотя в последующие года эта мимикрическая адаптация утратила характер сознательной (тем более, что и серия об Этермоне со временем прекратилась, и сам он казался совсем нетипичным при взгляде из иных периодов моды), Падук так и не избавился от ороговевшей поверхностной опрятности; все знали, что он придерживается воззрений некоего врача, члена партии эквилистов, утверждавшего, что человек, который содержит свое платье в безупречной чистоте, может и должен ограничиваться в будние дни омовением только лица, ушей и ладоней. Во всех его дальнейших похождениях, в любых местах, при любых обстоятельствах, в мутных задних комнатах пригородных кофеен, в жалких конторах, где стряпалась та или иная из его настырных газет, в бараках, в публичных залах, в лесах и горах, где он скрывался с горсткой босых красноглазых солдат, и во дворце, куда по невероятному капризу местной истории он попал облеченным властью большей той, какую вкушал когда бы то ни было любой из правителей нации, Падук по-прежнему сохранял нечто от покойного господина Этермона — род карикатурной угловатости, впечатление, производимое растрескавшейся и замаранной целлофановой оберткой, сквозь которую тем не менее можно различить новенькие

тисочки для пальцев, кусок веревки, заржавленный нож и экземпляр чувствительнейшего из человеческих органов, выдранный вместе с покрытыми сукровицей корнями.

В классе, где происходили выпускные экзамены, юный Падук с лоснистыми волосами, похожими на парик, маловатый для его обритой головы, сидел между Обезьяной Бруно и лакированным манекеном, изображавшим кого-то отсутствовавшего. Адам Круг, в коричневом халате, сидел прямо за ним. Некто слева попросил его передать книгу семье соседа справа, что он и сделал. Книга, как он заметил, была на самом деле коробочкой из красного дерева, формой и раскраской похожей на томик стихов, и Круг сообразил, что она содержит какие-то тайные комментарии, которые могли бы помочь пораженному страхом рассудку неподготовленного ученика. Круг пожалел, что не открыл коробочки или книги, пока та была у него в руках. Темой сочинения был вечер с Малларме, дядюшкой его матери, но он смог припомнить только “le sanglot dont j'étais encore ivre”.

Вокруг все рьяно марали бумагу, и черная-черная муха, которую Шимпффер нарочно приготовил для этого случая, обмакнув ее в тушь, разгуливала по выбритому участку прилежно склоненной главы Падука. Она оставила кляксу у красного уха и черную запятую на блестящем белом воротнике. Двое учителей — ее свояк и учитель математики — деловито готовили за занавеской что-то, чему предстояло стать демонстрационным пособием при обсуждении следующей темы. Они походили не то на рабочих сцены, не то на могильщиков — на кого, Круг толком не мог разглядеть, мешал затылок Жабы. Падук и прочие продолжали усердно писать, провал же Круга был полным — непостижимым и ужасным крушением, — ибо он вместо того, чтобы заучивать простые, но теперь уже недоступные строки, которые легко запоминали они, сущие дети, потратил время на превращение в пожилого мужчину. Воровато, бесшумно Падук поднялся с сиденья, чтобы сдать свои бумаги экзаменатору, и рухнул, споткнувшись о выставленную Шимпффером ногу, и в оставленной им прорехе Круг ясно увидел очертания новой темы. Она была уже совсем

готова к показу, но занавес еще не раздернули. Круг отыскал клочок чистой бумаги и изготовился записывать впечатления. Двое учителей развели занавес. Открылась Ольга, сидящая перед зеркалом после бала, снимающая драгоценности. Еще затянутая в вишневый бархат, она закинула назад сильные, неровно светящиеся локти, приподняв их как крылья, и стала расстегивать сверкающий ошейник. Он сознавал, что вместе с ожерельем снимутся и позвонки, — что, в сущности, оно-то и было ее хрустальными позвонками, — и испытывал мучительный стыд при мысли, что каждый в классе увидит и подробно опишет ее неизбежный, жалкий, невинный распад. Вспышка, щелчок; обеими руками она сняла прекрасную голову и, не глядя на нее, осторожно, осторожно, милая, смутно улыбаясь забавному воспоминанию (кто бы подумал на танцах, что настоящая драгоценность в закладе?), поставила прекрасную подделку на мраморную полку туалетного столика. И тут он понял, что следом пойдет и все остальное: бронзоватые лодочки со ступнями, перстни вместе с перстами и перси вместе с баюкающими их кружевами... жалость и стыд его достигли зенита, и при окончательном жесте высокой, холодной стриптизки, снующей, как пума, по сцене туда и сюда, в приступе отвратительной дурноты Круг проснулся.

6

— Мы познакомились вчера, — сказала комната. — Я — запасная спальня на dache [сельский дом, коттедж] Максимовых. А это ветряки на обоях.

— Верно, — откликнулся Круг. Где-то за тонкими стенами сосной пропахшего дома уютно покрякивала печь, и Давид звонко рассказывал что-то, — видимо отвечая на вопросы Анны Петровны, видимо завтракая с ней в соседней комнате.

Теоретически не существует абсолютного доказательства того, что утреннее пробуждение (когда опять находишь себя оседлавшим свою особу) не является на самом деле полностью беспрецедентным событием, совершенно

оригинальным рождением. Как-то Эмбер и Круг обсуждали возможность того, что это они выдумали in toto сочинения Вильяма Шекспира, потратив на подделку миллионы миллионов, замазав взятками рты бессчетным издателям, библиотекарям, жителям Стратфорда-на-Авоне, ибо, приняв ответственность за все сделанные за три столетия культуры ссылки на поэта, следует предположить, что ссылки эти суть подложные вставки, внесенные надувалами в настоящие произведения, ими же и подредактированные: в этом еще оставалась некоторая шероховатость, досадный изъян, но, вероятно, можно устранить и его, подобно тому как упрощают перемудренную шахматную задачу, добавляя в нее пассивную пешку.

Все это может быть верным и в отношении личного существования, воспринимаемого в момент пробуждения в ретроспективе: сам по себе ретроспективный эффект есть весьма простая иллюзия, мало в чем отличная от изобразительной ценности глубины и дали, порождаемых окрашенной кистью на плоской поверхности; однако требуется нечто превосходящее кисть, чтобы создать впечатление плотной реальности, подпираемой правдоподобным прошлым, логической неразрывности, ниточки жизни, подобранной именно там, где ее обронили. Изощренность такого фокуса граничит с чудом, если вспомнить об огромном числе деталей, требующих учета, требующих размещения в таком порядке, чтобы внушалась мысль о работе памяти. Круг сразу знал, что жена его умерла, что он вместе с маленьким сыном поспешно бежал из города в деревню и что вид в раме окна (голые волглые ветви, бурая почва, белесое небо, изба на дальнем холме) — это не только образчик пейзажа этих именно мест, но и поместили его сюда, дабы указать, что Давид поднял штору и вышел из комнаты, не разбудив его; а кушетка в другом углу комнаты с почти раболепными "кстати" немыми жестами показывает — видишь, вот и вот, — все необходимое, чтобы убедить его, что здесь ночевал ребенок.

Наутро вслед за смертью явились ее родственники. Эмбер ночью сообщил им, что она умерла. Заметьте, как гладко работает ретроспективная машинерия: все сходится

одно к одному. Они (переключаясь на более плавные обороты прошлого) явились, они наводнили квартиру Круга. Давид как раз надевал вельветину. Силы прибыли значительные: ее сестра Виола, Виолин отвратный муж, какой-то сводный брат с супругой, две дальние, едва различимые в тумане кузины и неопределенный старик, которого Круг никогда до того не видел. Подчеркнуть тщеславную напыщенность иллюзорной глубины. Виола сестру не любила, последние двенадцать лет они виделись редко. Она была в короткой, густо-пегой вуальке: вуалька доставала до веснушчатой переносицы, не дальше, и за черными ее фиалками различалось поблескивание, жесткое и удовлетворенное. Светлобородый муж нежно ее подпирал, хотя на деле забота, которой надутый прохвост окружал ее острый локоть, лишь затрудняла ее спорые, умелые перемещения. Она его скоро стряхнула. В последний раз его видели взирающим в достойном молчании через окно на пару черных лимузинов, ожидавших у бордюра. Господин в черном и с синими запудренными челюстями — представитель фирмы испепелителей — вошел сообщить, что самое время начать. Тут-то Круг и удрал с Давидом через заднюю дверь.

Неся чемодан, еще мокрый от слез Клодины, он довел ребенка до ближайшей трамвайной остановки и вместе с шайкой сонных солдат, возвращавшихся в казармы, прибыл на железнодорожный вокзал. Прежде чем впустить его в поезд, идущий к Озерам, правительственные агенты проверили документы у него и глазные яблоки у Давида. Гостиница на Озерах оказалась закрытой, но, после того как они побродили вокруг, веселый почтарь в желтом автомобиле отвез их (с письмом от Эмбера) к Максимовым. Чем реконструкция и завершается.

Общая ванная комната — единственное негостеприимное место в доме друзей, особенно если вода в ней сначала течет чуть теплая, а потом ледяная. Длинный серебряный волос впечатался в дешевый пряник миндального мыла. Раздобыть туалетную бумагу в последнее время стало трудненько, ее заменили нанизанные на крюк обрывки газеты. На дне унитаза плавал конвертик от безопасного лезвия с ликом и подписью д-ра З. Фрейда. Если я останусь здесь на

неделю, подумал он, эта чуждая древесина постепенно смягчится и очистится в повторяющихся соприкосновениях с моей прижимистой плотью. Он осмотрительно ополоснул ванну. Резиновая трубка брызгалки, булькнув, слетела с крана. С веревки свисали два чистых полотенца и какие-то черные чулки, то ли выстиранные, то ли ждущие стирки. Бок о бок стояли на полке бутылка минерального масла, наполовину пустая, и серый картонный цилиндр — прежняя сердцевина туалетного рулона. Стояли там и два популярных романа ("Отброшенные розы" и "На Тихом Дону без перемен"). Улыбнулась, признав его, зубная щетка Давида. Он уронил на пол мыло для бритья, а когда поднял, к мылу оказался приклеен серебряный волос.

Максимов был в столовой один. Дородный пожилой господин, он сунул в книгу закладку, с радушной поспешностью встал и пожал гостю руку крепко, словно ночной сон был опасным и длительным путешествием. "Как отдыхалось [Kak pochivali]?" — спросил он и, озабоченно хмурясь, проверил температуру кофейника под стеганым шутовским колпаком. Глянцевитое, розовое лицо Максимова было выбрито по-актерски гладко (устарелое уподобление); совершенно лысую голову покрывала ермолка с кистью; одет он был в теплую куртку с бранденбурами. "Рекомендую, — сказал он, указывая мизинцем. — Насколько могу судить, единственный сыр, который не тяжелит желудка".

Он был из тех людей, которых любишь не за какой-то блестящий талант (у этого отставного коммерсанта талантов и вовсе не было), но потому, что каждая проведенная с ним минута приходится ровно впору твоим жизненным меркам. Есть дружбы, подобные циркам, водопадам, библиотекам; есть и иные, сравним их со старым халатом. Разберите на части ум Максимова, и ничего привлекательного вы в нем не найдете: идеи консервативны, вкусы неразборчивы; но, так или иначе, эти скучные части слагались в замечательно уютное и гармоничное целое. Честности его не разъедала никакая изысканность мысли, он был надежен, как окованный сталью дубовый сундук, и, когда Круг однажды заметил, что слово "лояльность" напоминает ему звучаньем и видом золоченую вилку, лежащую под

солнцем на разглаженном бледно-желтом шелке, Максимов ответил довольно холодно, что *для него* лояльность исчерпывается ее словарным значением. Здравый смысл оберегала в нем от самодовольной вульгарности тайная тонкость чувств, а несколько голая и лишенная птиц симметрия его разветвленных принципов лишь чуть-чуть колебалась под влажным ветром, дующим из областей, которые он простодушно полагал не сущими. Чужие несчастья заботили его больше собственных бед; и, будь он старым морским капитаном, он бы скорее затонул со своим кораблем, чем виновато плюхнулся в последнюю спасательную шлюпку. В данный момент он собирался с духом, намереваясь напрямик высказать Кругу свое неодобрение, — и тянул время, рассуждая о политике.

— Молочник утром рассказывал мне, — говорил он, — что по всей деревне висят плакаты, призывающие население непринужденно ликовать по случаю восстановления полного порядка. Предложен и распорядок праздника. Нам надлежит собираться в наших обычных воскресных пристанищах — то есть в кафе, в клубах, в помещениях наших обществ — и хором петь, прославляя Правительство. Во все районы назначены распорядители ballonov. Непонятно, правда, что прикажете делать тем, кто и петь не умеет, и ни в каких сообществах не состоит.

— Он мне сегодня приснился, — сказал Круг. — Видимо, только так мой старый школьный товарищ и может надеяться нынче связаться со мной.

— Как я понимаю, вы с ним не очень ладили в школе?

— Ну, это еще надо обдумать. Я его определенно терпеть не мог, вот только вопрос — взаимно ли? Помню один странный случай. Внезапно погас свет — короткое замыкание или что-то в этом роде.

— Да, это бывает. Попробуйте варенье. Ваш сын очень его оценил.

— Я сидел в классе и читал, — продолжал Круг. — Бог его знает, почему это было вечером. Жаба вскользнул в класс и копался в парте, там у него хранились сладости. Тут-то свет и погасни. Я откинулся на прислон, сижу, жду, темнота полнейшая. Вдруг чувствую, что-то коснулось

моей руки, мягкое и мокрое. Поцелуй Жабы. Он успел удрать прежде, чем я его сцапал.

— Весьма, я бы сказал, сентиментально, — заметил Максимов.

— И противно, — добавил Круг.

Он намаслил булку и принялся пересказывать подробности собрания на дому у президента. Максимов тоже присел, поразмыслил с минуту, потом, резко нагнувшись, пнул корзиночку с knakerbrodom, подогнав ее ближе к тарелке Круга, и сказал:

— Я вам хочу кое-что сказать. Вы, вероятно, рассердитесь, услышав мои слова, скажете, что я лезу не в свое дело, но я уж рискну навлечь на себя ваше неудовольствие. Потому что это действительно очень и очень серьезно, и мне все равно, облаете вы меня или нет. Ia, sobstvenno, uzhe vchera khotel [мне следовало бы поднять этот вопрос еще вчера], да Анна решила, что вы слишком устали. Однако откладывать этот разговор на потом безрассудно.

— Валяйте, — сказал Круг, надкусывая и пригибаясь: варенье норовило упасть.

— Я вполне понимаю ваш отказ иметь с этой публикой дело. Я, наверное, повел бы себя точно так же. Они опять попытаются заполучить вашу подпись, и вы опять им откажете. С этим все ясно.

— Совершенно верно, — сказал Круг.

— Хорошо. Теперь, поскольку с этим ясно, уясняется и еще кое-что. То есть ваше положение при новом режиме. Тут есть одна необычная сторона, я, собственно, и хотел сказать, что вы, похоже, не понимаете связанной с ней опасности. Иными словами, как только эквилисты потеряют надежду добиться от вас сотрудничества, они вас арестуют.

— Глупости, — сказал Круг

— Вот именно. Давайте назовем это предположительное происшествие совершеннейшей глупостью. Да только совершеннейшая глупость — это естественная и логическая часть правления Падука. Вам стоило бы держать это в уме, друг мой, и обзавестись каким-то средством защиты, насколько неправдоподобной ни кажется вам опасность.

— Yer un dah [вздор и дребедень], — сказал Круг. — Он так и будет лизать в темноте мою руку. Я необорим. Необорим бурливый морской вал [volna], отхлынув, волнует гурьбу голышей. Но кряжист Круг — и с ним ничего не случится. Две или три упитанные нации (та, что синеет на карте, и другая, коричнево-желтая), от которых мой Жаба жаждет добиться признания, займов, — чего там еще может желать расстрелянная страна от раскормленного соседа, — эти нации будут попросту игнорировать его вместе с его правительством, ежели он посмеет... докучать мне. Что, недурно я вас облаял?

— Дурно. У вас романтические, детские и полностью ложные представления о практической политике. Можно представить себе, что он простит вам идеи, выраженные в ваших прежних работах. Можно даже представить, что он снесет наличие выдающегося ума среди народа, которому по его собственным законам полагается быть столь же простым, как наипростейший из граждан. Но для того, чтобы все это себе представить, нам придется оговорить попытку с его стороны найти вам особое применение. А вот если из нее ничего не выйдет, он не посмотрит на заграничное общественное мнение, а с другой стороны, и ни одно государство о вас хлопотать не станет, если посчитает почему-либо выгодным иметь дело с этой страной.

— А иностранные академии заявят протест. И предложат баснословные суммы, мой вес в Ra, чтобы купить мне свободу.

— Вы можете веселиться сколько вашей душе угодно, но я все же хотел бы знать, — послушайте, Адам, что вы намерены делать? Я хочу сказать, вы ведь не думаете, что вам разрешат читать лекции, или печатать ваши работы, или поддерживать связь с учеными и издателями за границей, — или все-таки думаете?

— Не думаю. Je resterai coi.

— Мой французский ограничен, — сухо сказал Максимов.

— Я *затаюсь*, — сказал Круг (начиная испытывать страшную скуку). — В должное время тот разум, какой у меня пока сохранился, сплетется в какую-нибудь досужую

книгу. Правду сказать, плевал я на все их университеты. Давид что, на улице?

— Но, дорогой вы мой, они же не оставят вас в покое! В этом-то все и дело. Я или любой другой обыватель может и должен сидеть спокойно, но вы — никоим образом. Вы одна из очень немногих знаменитостей, рожденных нашей страной в нынешние времена, и...

— И каковы же другие светила этого загадочного созвездия? — осведомился Круг, скрещивая ноги и просовывая уютную ладонь между бедром и коленом.

— Ладно: всего одна. По этой самой причине они и хотят, чтобы вы были деятельны как только возможно. Они на все пойдут, чтобы заставить вас поддержать их образ мысли. Слог, begonia [блеск] будут, разумеется, ваши. Падук удовольствуется простой подготовкой программы.

— А я останусь глух и нем. Право, голубчик, все это — журнализм с вашей стороны. Я хочу остаться один.

— Один — неуместное слово, — вспыхнув, воскликнул Максимов — Вы не один! У вас ребенок.

— Бросьте, бросьте, — сказал Круг. — Давайте-ка, пожалуйста ——

— Нет, не давайте. Я вас предупреждал, что не испугаюсь вашего гнева.

— Ну хорошо. И что же я, по-вашему, должен сделать? — со вздохом спросил Круг, наливая себе еще чашку чуть теплого кофе.

— Немедленно покинуть страну.

Тихо потрескивала печь, и квадратные часы с двумя васильками на белом, голом деревянном циферблате отщелкивали мелкие секунды. Окно попробовало улыбнуться. Слабый всплеск солнца расплылся на дальнем холме и обнаружил с бессмысленной ясностью избушку и с ней три сосны на противоположном склоне, казалось, они шагнули вперед и отступили снова, едва изнуренное солнце впало опять в забытье.

— Я не вижу нужды покидать ее прямо сейчас, — проговорил Круг. — Если они будут слишком уж ко мне приставать, я, вероятно, так и сделаю, но сейчас — единствен-

ный ход, над которым я думаю, — это длинная рокировка, чтобы защитить моего короля.

Максимов поднялся и снова сел, на другой стул.

— Я вижу, трудненько будет заставить вас уяснить свое положение. Прошу вас, Адам, раскиньте мозгами: ни сегодня, ни завтра — никогда Падук не выпустит вас за границу. Но сейчас вы еще могли бы бежать, как бежали Беренц, Марбель и прочие; завтра это будет уже невозможным, границы стягивают все туже и туже, к тому времени, когда вы надумаете, ни единой щели уже не останется.

— Ладно, а почему же тогда вы не бежите? — проворчал Круг.

— Мое положение иное, — тихо ответил Максимов. — И вы хорошо это знаете. Мы слишком стары с Анной, и к тому же я — образцовый средний человек и никакой угрозы правительству не представляю. Вы же здоровы как бык, и все в вас — преступно.

— Даже сочти я разумным покинуть страну, я ни малейшего представления не имею, как это сделать.

— Идите к Туроку, он имеет, он вас сведет с нужными людьми. Это станет в порядочную сумму, но вам она по карману. Я тоже не знаю, как это делается, но я знаю, что сделать это можно и делалось уже. Подумайте о спокойной жизни в цивилизованной стране, о возможности работать, об образовании, доступном для вашего мальчика. В нынешних ваших обстоятельствах...

Он осекся. После ужасной неловкости, возникшей вчера за ужином, он обещал себе не затрагивать больше темы, которой этот странный вдовец избегал с таким стоицизмом.

— Нет, — сказал Круг. — Нет. Мне сейчас не до этого [ne do tovo]. С вашей стороны очень мило так хлопотать обо мне [obo mne], но ей-ей [pravo], вы преувеличиваете опасность. Разумеется [koneshno], я подумаю о вашем предложении. Не будем [bol'she] больше об этом говорить. Что там Давид делает?

— Ладно, по крайности [po krainei mere], вы знаете, что я на этот счет думаю, — сказал Максимов, берясь за исторический роман, читанный им при появлении Круга. — Но мы еще не кончили с вами. Я напущу на вас Анну, нравит-

ся вам это или нет. Может, ей повезет больше. Давид, помоему, с ней в огороде. Второй завтрак в час.

Ночью штормило; ночь мотало, она задыхалась в грубых струях дождя; в окоченении холодного тихого утра промокшие бурые астры стояли расстроенными рядами, и капли ртути пятнали едко пахнущие лиловые листья капусты, в которых между их крупными жилами черви насверлили уродливых дыр. Давид, замечтавшись, сидел в тачке, а маленькая старая дама пыталась протолкнуть ее по раскващенной глине дорожки. "Ne mogoo [Не могу]!" — со смехом вскричала она и отмахнула с виска прядь серебристых тонких волос. Давид выскочил из тачки. Круг, не глядя на Анну Петровну, сказал, что он не поймет, не слишком ли зябко, чтобы мальчик гулял без пальто, и Анна Петровна ответила, что белый свитер его достаточно толст и уютен. Почему-то Ольга никогда особенно не любила Анну Петровну со сладкой ее безгреховностью.

— Я хочу пройтись с ним подальше, — сказал Круг. — Он, наверное, вам уже надоел. Завтрак в час, я правильно понял?

То, что он говорил, слова, которыми воспользовался, — все это не имело значения; он продолжал избегать ее храброго, доброго взора, которого, чувствовал он, ему не снести, и слушал свой голос, сцеплявший пустяковые звуки в молчании съежившегося мира.

Она стояла, глядя на них, пока сын и отец, взявшись за руки, шли к дороге. Неподвижная, перебирая ключи и наперсток в обвислых карманах черного джемпера.

Ломаные коралловые гроздья рябины там и сям валялись на коричневой, как шоколад, дороге. Ягоды сморщились и замарались, но, даже будь они сочными и чистыми, ты определенно не смог бы их есть. Варенье другое дело. Нет, я же сказал: нет. "Попробовать" — это и значит съесть. Несколько кленов в сыром безмолвном лесу, которым тащилась дорога, сохранили красочную листву, но березы были уже совершенно голы. Давид оскользнулся и с величайшим присутствием духа продлил скольжение, чтобы со смаком сесть на липкую землю. Вставай, вставай. Но он посидел с минуту, в притворном ошеломлении глядя

вверх смеющимися глазами. Волосы у него были влажные и горячие. Вставай. Конечно, это сон, думал Круг, эта тишь, таинственная усмешка поздней осени, так далеко от дома. Почему мы именно здесь, не где-то еще? Больное солнце опять попыталось вдохнуть жизнь в белесое небо: секунду-другую две волнистые тени — призрак К и призрак Д — брели на теневых ходулях, подражая человечьему шагу, после истаяли. Пустая бутылка. Хочешь, сказал он, подними эту скотомическую бутылку и брякни ею о ствол. Она разорвется с прекрасным звоном. Но бутылка упала целехонькой в ржавые волны папоротника, и пришлось выуживать ее самому, потому что там было слишком мокро для дурно выбранной обувки Давида. Попробуй еще. Она не желала биться. Ладно, дай-ка я сам. Видишь тот столб с плакатом “Охота запрещена”? В него он с силой запустил зеленую водочную бутылку. Он был большой, тяжелый человек. Давид попятился. Бутылка взорвалась, как звезда.

Вышли на открытое место. А это что за бездельник сидит на заборе? В больших сапогах, в форменной фуражке, но на крестьянина не похож. Ухмыльнулся и сказал: “Доброго утречка, профессор”. — “Доброго утра и вам”, — не останавливаясь, ответил Круг. Должно быть, один из тех, кто снабжает Максимовых ягодами и дичью.

Dachi справа от дороги в большинстве опустели. Впрочем, кое-где сохранялись пока остатки отпускной жизни. Перед одним крыльцом черный сундук с латунными заклепами, пара узлов и беспомощного вида велосипед с перебинтованными педалями стоял, сидели и лежал, дожидаясь какой-нибудь подводы, и мальчик в городском костюмчике в последний раз скорбными взмахами раскачивался между стволов двух сосен, видавших лучшие времена. Чуть поодаль две пожилые женщины с заплаканными лицами хоронили убитую из милосердия собаку вместе со старым крокетным шаром, хранившим следы ее молодых игривых зубов. В другом саду сидел за мольбертом белобородый уолтуитменовидный старик в охотничьем облаченье, и, хоть времени было четверть одиннадцатого невзрачного утра, угольно-алый полосатый закат плескался по холсту, и в него он вставлял деревья и всякую всячину, которую днем

раньше помешало ему дописать наступление сумерек. В сосновой рощице слева, на скамейке, девушка, выпрямив спину, быстро говорила (возмездие... бомбы... трусы... ох, Фокус, будь я мужчиной), с нервными жестами отчаяния и смятения обращаясь к студенту в синей фуражке, а тот сидел, свесив голову, и тыкал в клочки бумаги, в автобусные билеты, в сосновые иглы, в кукольный или рыбий глаз, в мягкую землю кончиком тонкого, туго спеленутого зонта, принадлежащего его бледной подруге. Но в прочем бойкий когда-то курорт казался заброшен; ставни были закрыты; валялась в канаве колесами кверху скомканная младенческая коляска, и столбы телеграфа, безрукие увальни, гудели в скорбном согласии с кровью, ухающей в голове.

Дорога пошла под уклон, и показалась деревня с накрытой туманом пустошью с одного боку и с озером Малёр — с другого. Плакаты, упомянутые молочником, сообщали приятный оттенок цивилизованности и гражданской зрелости смиренному этому селенью, придавленному обомшелыми кровлями. Несколько костлявых крестьянок и дети их со вздутыми животами собрались у общинного дома, приятно украшенного к предстоящему празднику; слева, из окон почтовой конторы, и из полицейского участка справа чиновники в мундирах взирали на благочестивое это дело острыми, умными глазками, полными приятного предвкушения. Неожиданно ожил со звуком, похожим на вопль новорожденного, только что установленный громковещатель и тут же угас.

— Там игрушки, — отметил Давид, указав через дорогу на маленькую, но эклектичную лавку, в которой было все — от бакалеи до русских валенок.

— Прекрасно, — сказал Круг, — давай посмотрим, что там имеется.

Но едва нетерпеливый ребенок в одиночку двинулся через дорогу, как большой черный автомобиль на полном ходу вылетел со стороны шоссе, и Круг, рванувшись вперед, отдернул Давида, и автомобиль прогремел, оставив за собою звенящий след и исковерканную курицу.

— Мне больно, — сказал Давид.

Круг, ощущая слабость в коленях, поторопил Давида, чтобы тот не заметил мертвой птицы.

— Да сколько же раз... — говорил Круг.

Среди дешевых кукол и консервных банок Давид немедленно углядел маленькое подобие смертоубийственного экипажа (колыханья которого еще отдавались у Круга под ложечкой, хоть к этому времени сама машина, верно, уже достигла места, где сидел на заборе лодырь-сосед, и даже его миновала). Пыльный и обшарпанный, он обладал, однако, снимающимися покрышками, заслужившими одобренье Давида, и был особенно любезен ему тем, что отыскался в таком захолустье. Круг попросил у молодого румяного бакалейщика карманную фляжку коньяку (Максимовы пили лишь чай). Пока он расплачивался за нее и за машинку, которую Давид осторожно катал взад-вперед по прилавку, носовые тона Жабы, величаво усиленные, ворвались снаружи. Бакалейщик застыл, внимая, уставясь в гражданственном восторге на флаги, украсившие общинное здание, которое вместе с полоской белесого неба виднелось в проеме двери.

— ...и тем, кто верит мне, как себе самому, — проревел громковещатель, заканчивая фразу.

Треск рукоплесканий, последовавший за этим, был предположительно прерван мановением кисти оратора.

— Отныне, — продолжал жутко раздувшийся тираннозавр, — путь к повальному счастью открыт. Вы обретете его, собратья, в пылком сопряженье друг с другом, уподобясь счастливым мальчикам в наполненной шепотом спальне, подстроив мысли ваши и чувства к мыслям и чувствам гармоничного большинства; вы обретете его, сограждане, выполов с корнем высокоумные представления, которых не разделяет и не должно разделять наше общество; вы обретете его, о юноши, когда растворите личности ваши в мужественном единении с Государством; тогда, и только тогда будет достигнута цель. Ваши бредущие ощупью индивидуальности станут взаимосменяемыми, и, вместо того чтобы корчиться в тюремной камере беззаконного "эго", ваша нагая душа соприкоснется с душою каждого из людей, населяющих эту землю; о нет, больше того, каждый

сможет найти себе приют в растяжимом внутреннем "я" любого из граждан и перепархивать от одного к другому до той поры, когда вы уже не будете знать, кто вы — Петр или Иоанн, так плотно сомкнут вас объятия Государства, так радостно будете вы крум карум ——

Речь потонула в клохтанье. Наступило оглушительное молчанье: видать, деревенское радио еще не достигло полной боеспособности.

— Что за дивный голос, хоть на булку намазывай, — заметил Круг.

Того, что за этим последовало, он никак уж не ожидал: бакалейщик подмигнул.

— Боже милостивый, — сказал Круг, — ясный луч из мрачных туч!

Подмигиванье, однако, содержало в себе некий намек. Круг обернулся. Прямо за ним стоял солдат-эквилист.

Впрочем, тому был нужен всего лишь фунт семечек. Круг и Давид осмотрели картонный домик, стоявший в углу на полу. Давид присел на корточки, чтобы заглянуть через окна внутрь. Но окна оказались просто нарисованными на стене. Он медленно встал, продолжая смотреть на домик, и машинально сунул ладошку в лапу Круга.

Они вышли из лавки и, чтобы избегнуть однообразия возвратной дороги, решили пройтись вдоль озера, а там тропинкой, петляющей в лугах, обогнуть лес и вернуться к максимовской даче.

Уж не спасти ли меня норовил этот дурень? От чего? От кого? Простите, я необорим. Собственно, не намного глупее предложения отпустить бороду и перейти границу.

Мне нужно уладить массу дел, прежде чем я начну размышлять о политике, — если эту околесицу и впрямь можно назвать политикой. И если, сверх того, через пару недель или несколько позже какой-нибудь нетерпеливый обожатель не прихлопнет Падука. Недопонимание, так сказать, перекос духовного людоедства, которое сам же бедняжка и насаждал. Интересно также (по крайности, может кого-то заинтересовать — любопытного в этом вопросе мало), что извлекли из его элоквенции селяне. Вероятно, смутные воспоминания о церкви. Прежде всего

нужно найти ему хорошую няню — няню из книжки с картинками, добрую, мудрую и безупречно чистую. Потом придется выдумать что-то о тебе, любовь моя. Представим, что белый больничный поезд с белым дизельным тепловозом увез тебя через туннели в приморские горы. Там ты поправляешься. Но писать ты пока не можешь, потому что пальцы твои еще очень слабы. Лунным лучам не удержать и белого карандаша. Картинка мила, но долго ли она продержится на экране? Мы ожидаем нового слайда, но у владельца волшебного фонаря ни одного не осталось в запасе. Позволить ли теме долгой разлуки разрастаться, пока она не разразится слезами? Сказать ли (изящно тасуя обеззараженные белые символы), что поезд — это Смерть, а санатория — Рай? Или оставить картинку блекнуть, сливаться с другими блекнущими впечатлениями? Но мы хотим писать тебе письма, пусть даже ты и не можешь ответить. Попустим ли мы, чтобы медленные валкие каракули (мы осилили наше имя и два-три слова привета) торили свой совестливый и бессмысленный путь по просторам почтовой открытки, которой не суждено увидеть почты? Не оттого ли так тяжелы для меня эти проблемы, что мой мозг еще не поладил с твоею смертью? Мой разум еще не принял трансформации физического непостоянства в неизменное постоянство нефизического элемента, ускользающее от очевидных законов, как не принял и бессмыслицы накопления неисчислимых сокровищ мысли и чувства, и мысли, скрытой за мыслью, и чувства — за чувством, — и лишь для того, чтобы утратить их все, разом и навсегда, в припадке черной тошноты, за которым следует нескончаемое ничто. Кавычки закрыть.

— Ну-ка, посмотрим, сумеешь ты залезть на этот валун? По-моему, не сумеешь.

Давид припустил по мертвому лугу к валуну, похожему на барашка (забытого каким-то беспечным глетчером). Коньяк оказался дрянной, но службу свою сослужил. Он вспомнил вдруг летний день, когда он гулял по этому самому лугу с высокой черноволосой девушкой с полными губами и пушистыми руками, за которой он ухаживал прежде, чем встретиться с Ольгой.

— Да, вижу, вижу. Молодец. Теперь попробуй спуститься.

Спуститься Давид не сумел. Круг подошел к валуну и осторожно снял его. Это малое тело. Они посидели немного на гранитном барашке, глядя на бесконечный товарный состав, пыхтевший в полях на пути к приозерной станции. Тяжело прохлопала мимо ворона, шлепки ее крыльев делали это гниющее пастбище и гнетущее небо еще печальнее, чем они были на деле.

— Так ты ее потеряешь. Дай лучше мне, я ее в карман положу.

Пошли дальше. Давид полюбопытствовал, далеко ли осталось идти. Тут уже рядом. Прошли опушкой леса и свернули на грязный проселок, который привел их к их недолгому дому.

Перед коттеджем стояла тележка. Старая белая лошадь оглянулась на них через плечо. На ступеньках крыльца сидели рядком двое: крестьянин, что жил на холме, и его жена, прислуга Максимовых.

— А их нету, — сказал крестьянин.

— Надеюсь, они не отправились нас встречать, мы шли по другой дороге. Давид, зайди вымой руки.

— Да нет, — сказал крестьянин. — Их вовсе нету. Их увезли в полицейской машине.

Тут заголосила его жена. Она как раз спускалась с холма и увидала, как солдаты выводят пожилую чету. Она напугалась и ближе не подошла. А жалованье-то с октября не плачено. Она заберет все банки с вареньем, сказала она.

Круг вошел в дом. Стол, накрытый на четверых. Давид захотел получить игрушку, если, конечно, папа ее не потерял. На кухонном столе лежал кусок сырого мяса.

Круг сел. Крестьянин вошел следом, погладил щетинистый подбородок.

— Можете отвезти нас на станцию? — немного погодя спросил Круг.

— Неприятности могут выйти, — ответил крестьянин.

— Ну, бросьте, я заплачу вам больше, чем платила за все ваши услуги полиция.

— Вы же не полиция, стало, не имеете права меня подкупать, — ответил честный и щепетильный крестьянин.

— Значит, отказываетесь?

Крестьянин безмолвствовал.

— Ладно, — сказал Круг, вставая, — боюсь, мне придется настоять на своем. Мальчик устал, а я не собираюсь тащить и его, и чемодан.

— Ну так сколько? — спросил крестьянин.

Круг надел очки и открыл бумажник.

— По пути остановитесь у участка, — добавил он.

Зубные щетки и пижамы упаковались быстро. Давид принял внезапный отъезд с полной невозмутимостью, но предложил прежде поесть. Добрая женщина нашла для него немного печенья и яблоко. Пошел легкий дождик. Шляпа Давида не отыскалась, и Круг отдал ему свою, широкополую, черную, но Давид все время снимал ее, потому что она налезала на уши, а ему хотелось слышать шлепки копыт и скрип колес.

Когда они проезжали то место, где два часа назад сидел на неотесанном заборе мужчина в густых усах и с бегающими глазами, Круг увидал, что теперь на месте мужчины сидит лишь парочка rudobrustkov, или ruddockov [птички вроде малиновок], а к самому забору прибит квадратный картон. Корявая надпись чернилами (уже поплывшими от дождя) гласила:

Bon Voyage!

Круг обратил на нее внимание возчика, который, не повернув головы, заметил, что *в наши дни* (эвфемистическое обозначение "нового порядка") случается много чего необъяснимого и что лучше не вглядываться слишком пристально в мимотекущие феномены. Давид потянул отца за рукав, желая узнать, о чем речь. Круг пояснил, что речь идет о странных причудах людей, затевающих пикники в унылом ноябре.

— Отвез бы я вас, ребяты, прямо на станцию, а то ведь на час сорок-то не поспеете, — сказал на пробу крестья-

нин, но Круг заставил его придержать у кирпичного дома — местной штаб-квартиры полиции.

Круг вылез из тележки и вошел в участок, где усатый старик в расстегнутом на горле мундире прихлебывал из синего блюдца чай и отдувался между глотками. Ничего он об этом деле не знает, сказал он. Арест, сказал он, произвела Стража Столицы, а не его участок. Он может только предполагать, что их увезли в какую-нибудь городскую тюрьму, — как политических лиходеев. Кругу же он предложил перестать соваться в чужие дела и благодарить Небеса за то, что во время ареста его не было в доме. Круг отвечал, что, напротив, он намерен сделать все посильное, чтобы выяснить, почему двух пожилых и почтенных людей, которые много лет мирно жили в деревне и ни с кем не были связаны... Начальник прервал его, указав, что лучшее, что может сделать профессор (если он взаправду профессор), — это заткнуться и уматывать из деревни. Блюдце опять понеслось к бородатым губам. Двое молоденьких полицейских топтались тут же, глазея на Круга.

С минуту он постоял, глядя в стену, на плакат, призывающий войти в положение состарившихся полицейских, на календарь (в безобразном соитии с барометром); поразмыслил о взятке; решил, что они тут и впрямь ничего не знают; и, пожав тяжелыми плечами, — вышел.

Давида в тележке не было.

Крестьянин поворотился, поглядел на пустое сиденье и сообщил, что мальчонка, знать, пошел за Кругом в присутствие. Круг вернулся туда. Шеф с раздражением его обозрел и сказал, что он с самого начала видел тележку в окно и что в ней не было никакого мальчишки. Круг попытался открыть другую дверь в коридор — она была заперта.

— Отставить, — рявкнул начальник, теряя терпение, — или мы вас арестуем за нарушение порядка.

— Мне нужен мой малыш, — сказал Круг (другой Круг, чудовищно искаженный спазмой в горле и уханьем в сердце).

— Не гони лошадей, — сказал один из молодых полицейских. — Тут тебе не ясли, тут детей нету.

Круг (теперь это был человек в черном с лицом из слоновой кости) отпихнул его и снова вышел наружу. Он откашлялся и завопил, призывая Давида. Двое селян в средневековых kappen, стоявших рядом с тележкой, глянули на него, потом друг на дружку, потом один поворотился и стал глядеть куда-то вбок. "Вы не?.." — спросил Круг. Но они не ответили, а только еще раз переглянулись.

Не терять головы, думал Адам Девятый, ибо было уже немало последовательных Кругов: один поворачивался туда-сюда, словно сбитый с толку игрок в "жмурки"; другой в клочья разносил воображаемыми кулаками картонный полицейский участок; третий бежал по кошмарным туннелям; четвертый выглядывал с Ольгой из-за ствола, чтобы увидеть, как Давид на цыпочках обходит другое дерево и все его тельце готово затрепетать от восторга; пятый обыскивал хитро запутанную подземную тюрьму, в которой опытные руки где-то пытали воющего ребенка; шестой обнимал сапоги обмундиренной твари; седьмой душил эту тварь среди хаоса перевернутой мебели; восьмой находил в темном подвале скелетик.

Здесь можно упомянуть, что на безымянном пальчике левой руки Давид носил детское эмалевое колечко.

Круг было уже кинулся обратно в участок, но тут заметил узкий проулок, окаймленный сохлой крапивой и идущий вдоль кирпичной стены участка (двое селян давно уж смотрели в том направлении), и своротил в него, больно запнувшись при этом о бревно.

— Не поломай копыт, сгодятся, — произнес с добродушным смешком крестьянин.

В проулке босой золотушный мальчонка в розовой с красными заплатами рубахе крутил кубаря, и Давид стоял, наблюдая, сложив за спиною руки.

— Это невыносимо, — крикнул Круг. — Никогда, никогда не смей так исчезать. Ну, успокойся. Да, держу. Влезай. Влезай.

Один из селян с рассудительной миной слегка постучал по виску, а дружок его покивал. Молодой полицейский в открытом окне прицелился Кругу в спину огрызком яблока, но его удержал степенный товарищ.

Тележка отъехала. Круг порылся, ища платок, не нашел и вытер лицо ладонью еще дрожащей руки.

Злосчастное озеро показало простор лишенной примет посеревшей воды, и, когда тележка выбралась на шоссе, что бежало берегом к станции, прохладный ветер приподнял незримыми пальцами (указательным и большим) серебристую редкую гриву старой кобылы.

— А когда мы приедем, мама уже вернется? — спросил Давид.

7

Волнистый стакан с фиалкой в голубых прожилках и кувшин горячего пунша стоят на столе у постели Эмбера. Три гравюры висят над постелью (он в сильной простуде) на светло-желтой стене.

Номер первый изображает джентльмена шестнадцатого столетия при передаче им книги простоватому малому, держащему в левой руке пику и украшенную лаврами шляпу. Заметьте эту левизну (Почему? Да-с, “вот в чем вопрос”, как выразился однажды мосье Оме, цитируя le journal d’hier; вопрос, на который деревянным басом отвечает Портрет с титула Первого фолио). Заметьте также подпись: “Ink, a drug”. Чей-то досужий карандаш (Эмбер весьма ценил эту ученую шутку) занумеровал буквы так, что получилось “Grudinka”, — это означает “бекон” в некоторых славянских языках.

Номер второй показывает того же увальня (теперь приодетого джентльменом), стягивающего с головы самого джентльмена (он теперь сидит за столом и пишет) некое подобие шапски. Понизу той же рукой написано: “Ham-let, или Homelette au Lard”.

Наконец, на номере третьем — дорога, пеший путник (в украденной шапске) и указатель “В Хай-Уиком”.

Имя его подобно Протею. В каждом углу он плодит двойников. Почерку его бессознательно подражают законники, которым выпала доля писать той же рукой. В сырое утро 27 ноября 1582 года он — Шакспир, она — Уотли из

Темпл-Графтон. Два дня спустя он — Шагспир, она же — Хатуэй из Стратфорда-на-Авоне. Так кто же он? Вильям Икс, прехитро составленный из двух левых рук и личины. Кто еще? Человек, сказавший (не первым), что слава Господня в том, чтобы скрыть, а человечья — сыскать. Впрочем, то, что уорикширский парень писал пьесы, более чем удовлетворительно доказывается мощью сморщенных яблок и бледного первоцвета.

Здесь две темы: шекспировская, исполняемая в настоящем времени Эмбером, чинно принимающим гостя в своей спальне; и совершенно иная — сложная смесь прошлого, настоящего и будущего — тема, которой ужасное отсутствие Ольги причиняет страшные затруднения. Это была, это есть их первая встреча со времени ее смерти. Круг не заговорит о ней, даже не спросит о прахе; и Эмбер, который тоже стесняется смерти, не знает, что сказать. Имей он возможность свободно передвигаться, он мог бы молча обнять своего толстого друга (жалкое поражение для философа и поэта, привыкших верить, что слово превыше дела), но как это сделать, когда один из двух лежит в постели? Круг, наполовину намеренно, остается недосягаемым. Трудный он человек. Описать спальню. Упомянуть о ярких карих глазах Эмбера. Горячий пунш и приступ жара. Крепкий блестящий нос в голубых прожилках, браслет на волосистом запястье. Ну, скажи что-нибудь. Спроси о Давиде. Упомяни кошмар репетиций.

— Давид тоже слег с простудой [ist auk beterkeltet], но мы не потому вернулись назад [zueruk]. Так что [shto bish] ты говорил о репетициях [repetitiakh]?

Эмбер благодарно принимает предложенную тему. Он мог бы спросить: “А почему?” Чуть позже он узнает причину. В этой туманной области он смутно ощущает опасность для чувствительной души. И предпочитает поговорить на профессиональные темы. Последний шанс описать спальню.

Слишком поздно. Эмбер ораторствует. Он даже преувеличивает свой ораторский пыл. В сжатом и обезвоженном виде последние впечатления Эмбера, литературного советника Государственного Театра, можно представить так:

— Лучшие два Гамлета, какие у нас были, да просто единственно сносные, оба загримировались, перешли границу и теперь, сказывают, неистово интригуют в Париже, дорогой едва не поубивав друг друга. Из молодых, которых мы смотрели, ни единый никуда не годится, хотя один-два обладают по крайней мере тучностью, потребной для роли. По причинам, которые я сейчас поясню, Озрик и Фортинбрас чрезвычайно возвысились над прочими персонажами. Королева в положении. Лаэрт по своей комплекции не способен освоить и азов фехтования. Я утратил к этой постановке всякий интерес, потому что мне не по силам изменить нелепые очертания, которые она принимает. Единственная моя скромная цель нынче — заставить актеров усвоить мой перевод вместо той гадости, к которой они пристрастились. С другой стороны, этот любимейший из моих трудов, начатый так давно, пока не вполне окончен, и необходимость подстегивать его ради случайной (чтоб не сказать большего) цели раздражает меня чрезвычайно. Но, впрочем, и это пустяки в сравненье с кошмаром — слышать, как актеры с каким-то атавистическим облегчением съезжают на тарабарщину традиционной версии (Кронберга) всякий раз, что жулик Верн — а Верн слаб и предпочитает идеи словам — позволяет им это у меня за спиной.

Эмбер принимается объяснять, почему новое правительство сочло возможным стерпеть постановку запутанной елизаветинской пьесы. Он излагает идею, лежащую в основе спектакля. Верн, покорно возглавивший постановку, извлек концепцию пьесы из диковинной книги покойного профессора Гамма “Подлинная интрига ‘Гамлета’”.

“Лед и сталь [писал профессор] — вот физическая амальгама, мысль о которой внушает нам личность странно жесткого и тяжкого Призрака. В этом союзе будет ныне рожден Фортинбрас (Железнобокий). Согласно извечным принципам сцены, все предвещаемое обязано овеществиться: потрясение должно состояться, чего бы оно ни стоило. Экспозиция “Гамлета” угрюмо сулит зрителю пьесу, основанную на попытке молодого Фортинбраса вернуть земли, проигранные его отцом королю Гамлету. Вот конфликт, и вот интрига. Втихую переносить ударение со здоровой,

сильной, ясно очерченной нордической темы на хамелеонистические настроения импотентного Датчанина означало бы, в условиях современной сцены, наносить оскорбление детерминизму и здравому смыслу.

Каковы бы ни были намерения Шекспира или Кида, нельзя сомневаться в том, что лейтмотивом, движущей силой действия пьесы является коррупция гражданской и военной жизни в Дании. Вообразите мораль армии, где солдат, коему не пристало страшиться ни грома, ни безмолвия, сообщает, что у него на сердце тоска! Сознательно или подсознательно автор “Гамлета” создал трагедию масс, обосновав тем самым доминирование общества над личностью. Это не означает, впрочем, что в пьесе отсутствует осязаемый герой. Но таковым не является Гамлет. Подлинный герой — это, разумеется, Фортинбрас, цветущий юный рыцарь, прекрасный и твердый до мозга костей. С Божьего соизволения этот славный нордический юноша перенимает власть над жалкой Данией, которой столь дурно управляли дегенеративный король Гамлет и жидо-латинянин Клавдий.

Как и во всех упадочных демократиях, в Дании, выведенной в пьесе, каждый страдает недержанием речи. Если необходимо спасать Государство, если нация хочет быть достойной нового сильного правительства, значит, следует переменить все; здравый смысл народа обязан выплюнуть изысканные яства, состряпанные из поэзии и лунного света, и простое слово, verbum sine ornatu, равно внятное и человеку и зверю, слово, сопровождаемое соответственным делом, должно воцариться снова. Молодой Фортинбрас обладает древним и наследственным правом на датский престол. Некое темное дело, неправедное и насильственное, некий грязный трюк дегенеративного феодализма, некий масонский маневр, измышленный Шейлоками из высших финансовых кругов, лишили его семью предмета ее законных притязаний, и тень этого преступления, подобно темному заднику, продолжает нависать до той поры, пока в заключительной сцене идея правосудия масс не налагает на пьесу в целом присущего ей отпечатка исторической значимости.

Трех тысяч червонцев и недели примерно наличного времени вряд ли могло хватить для захвата Польши (по крайней мере, в те времена); но их как раз хватило для другого. Пропивший свой разум Клавдий вполне был обманут уверениями молодого Фортинбраса в том, что он, Фортинбрас, пройдет через земли Клавдия на своем (удивительно окольном) пути в Польшу вместе с армией, набранной для решения совершенно иной задачи. О нет, грязным полякам нечего было трястись от страха: *это* завоевание не состоялось, *не их* болот и лесов домогался наш герой. Вместо того чтобы маршировать к порту, Фортинбрас, этот гениальный солдат, затаился в ожидании, и "вперед не торопясь" (как прошептал он своим войскам, отправив Капитана с поклоном к Клавдию) могло означать лишь одно: не торопясь отправляйтесь в укрытие, покамест враг (король датский) думает, что вы отплыли в Польшу.

Подлинная интрига пьесы становится ясной как день, если понять следующее: Призрак, явившийся на зубчатые стены Эльсинора, — это вовсе не тень отца Гамлета. Это тень отца Фортинбраса, убитого королем Гамлетом. Дух убитого прикидывается духом убийцы — какой великолепный пример дальновидной стратегии, какое глубокое и напряженное восхищение возбуждает он в нас! Многословный и, вероятно, совершенно неверный отчет о смерти старого Гамлета, сообщенный этим прелестным притворщиком, предназначен единственно для того, чтобы создать в государстве innerliche Unruhe и подорвать моральный дух датчан. Яд, по капле вливаемый спящему в ухо, есть символ умелого впрыскивания смертоносных слухов, символ, который вряд ли мог пройти незамеченным партером времен Шекспира. Таким образом, старик Фортинбрас, надев личину вражьего призрака, готовит крушение вражьего сына и триумф своего отпрыска. О нет, "кары" не были случайны, "убийства" не были негаданны, как представляется свидетелю Горацио, нота глубокого удовлетворения (которого не может не разделить и публика) присутствует в гортанном выкрике молодого героя "Ха-ха, вся эта кровь кричит о бойне (понимай: все эти лисы слопали друг дружку)", когда он озирает груды мертвых тел — все, что оста-

лось от гнили датской державы. Мы легко можем вообразить его присоединившимся к грубоватой вспышке сыновней признательности: “Неплохо поработал, старый крот!”

Но возвратимся к Озрику. Болтливый Гамлет только что обращался к черепу шута; теперь череп паясничающей смерти обращается к Гамлету. Обратите внимание на замечательное сопоставление череп — скорлупа: “Побежал со скорлупой на макушке”. Йорик и Озрик почти рифмуются, но то, что было ерничаньем в одном, стало остью (костью, осью — os) в другом. Мешая язык судна с языком посудной лавки, этот посредник, одетый в наряд причудливого придворного, явился как комиссионер смерти, той самой смерти, которой Гамлет только что избегнул на море. Крылышки на камзоле и цветистые околичности маскируют серьезность цели, дерзновенный и коварный ум. Кто же он, этот мастер церемоний? Один из блистательнейших шпионов молодого Фортинбраса”. Ну хватит, теперь ты видишь, что мне приходится сносить.

Круг не в силах сдержать улыбки, слушая жалобы Эмбера. Он замечает, что чем-то это напоминает манеру Падука. Я имею в виду замысловатость кружения этой беспримесной глупости. Эмбер, стремясь подчеркнуть отрешенность художника от жизни, говорит, что не знает и знать не желает (показательный оборот), кто таков этот Падук или Падок — “bref, la personne en question”. В порядке разъяснения Круг рассказывает Эмберу о своей поездке на Озера и о том, чем она завершилась. Эмбер, естественно, в ужасе. Он живо воображает, как Круг и малыш бродят по комнатам опустевшего домика, где пара часов (одни в столовой, другие в кухне), вероятно, идут, одинокие, нетронутые, трогательно верные понятиям человека о времени даже после того, как человека не стало. Он задумывается, успел ли Максимов получить его так хорошо написанное письмо касательно смерти Ольги и беспомощного состояния Круга. Ну что тут сказать? Священник ошибочно принял за вдовца подслеповатого старца из свиты Виолы и, читая молитву, пока горело за толстой стеной большое прекрасное тело, все время обращался к нему (а тот все кивал в ответ). Даже не дядя, даже не любовник ее матери.

Эмбер отворачивается к стене и заливается слезами. Чтобы вернуть их беседу на менее чувствительный уровень, Круг начинает рассказ о любопытном человеке, с которым он когда-то ехал по Штатам, о человеке, фанатически жаждавшем сделать из “Гамлета” фильм.

Мы начнем, говорил он, с
Глумленья призраков, что в саванах дырявых
проносятся вдоль гулких улиц Рима.
С поруганной луны...

Потом: бастионы и башни Эльсинора, его драконы и вычурные решетки, луна, усеявшая рыбьей чешуей его черепичные кровли, русалочий хвост, размноженный шпицами крыши, отблескивающей под равнодушным небом, и зеленая звездочка светляка на помосте перед темным замком. Первый свой монолог Гамлет произносит в невыполотом саду, в зарослях бурьяна. Главные захватчики — лопух с чертополохом. Жаба пыжится и мигает в любимом садовом кресле покойного короля. Где-то ухает пушка — пьет новый король. По законам сна и экрана ствол пушки плавно преобразуется в покосившийся ствол сгнившего дерева в саду. Ствол, точно пушечный, указывает в небеса, где на мгновенье неспешные кольца грязно-серого дыма слагаются в слово “самоубийство”.

Гамлет в Виттенберге, вечно опаздывающий, пропускающий лекции Дж. Бруно, никогда не наблюдающий времени, полагаясь на Горацио с его хронометром, а тот отстает, обещающий быть на укреплениях в двенадцатом часу и приходящий за полночь.

Лунный свет на цыпочках крадется за Призраком, полностью забранным в броню, отблеск его то плещется на скругленном оплечье, то стекает по набедреннику.

Еще мы увидим Гамлета волокущим мертвую Крысу — из-под ковра, по полу, по винтовым ступеням, чтобы бросить тело в каком-то темном проходе, — и зловещую игру света, когда швейцарцев с факелами отправляют искать это тело. Или вот еще волнующий эпизод: Гамлет в бушлате, не страшась бушующих волн, невзирая на брызги, карабка-

ется по тюкам и бочонкам датского масла, прокрадывается в кабину, где похрапывают в общей койке Розенстерн и Гильденкранц, кроткие взаимозаменяемые близнецы, которые "пришли, чтоб вылечить, ушли, чтоб умереть". По мере того, как полынные равнины и холмы в леопардовых пятнах проносились за окнами мужского вагона-люкс, выявлялось все больше фильмовых возможностей. Мы могли бы увидеть, говорил он (это был потертый человечек с ястребиным лицом и ученой карьерой, внезапно оборванной нерасчетливым выбором времени для амурной истории), Р., крадущегося за Л. Латинским кварталом, молодого Полония, играющего Цезаря в университетском спектакле, череп, обрастающий чертами живого шута (с разрешения цензора) в обтянутой перчаткой ладони Гамлета; может быть, даже старого здоровяка короля Гамлета, разящего боевым топором полчища полячишек, оскальзывающихся и ползающих по льду. Тут он вытянул из заднего кармана фляжку и сказал: "Хлопнем". Он-то решил, по бюсту судя, что ей самое малое восемнадцать, а оказалось только-только пятнадцать, сучке. А потом еще смерть Офелии. Под звуки "Les Funérailles" Листа мы покажем ее гибнущей — гивнущей, как сказал бы другой русалочий отче, — в борьбе с ивой. Девица, ивица. Он предполагал дать здесь панорамой гладь вод. В главной роли плывущий лист. А там — снова ее белая ручка, сжимая венок, пытается дотянуться, пытается обвиться вокруг обманчиво спасительного сучка. Тут трудновато будет сообщить драматический оттенок тому, что в неозвученные времена было pièce de résistance комических коротышек, — фокусу с внезапным намоканием. Человек-ястреб в клозете спального люкса указывал (между сигарой и плевательницей), что можно бы изящно обойти эту трудность, показав лишь ее тень, падение тени, падение, промельк за край травянистого бережка под дождем теневых цветов. Представляете? Затем: плывет гирлянда. Пуританская кожа (на которой они сидели) — вот и все, что сохранилось от филогенетической связи между современной, крайне дифференцированной пульмановской идеей и скамьей примитивного дилижанса: от сена к керосину. Тогда — и только тогда — мы

увидим ее, говорил он, как она плывет по ручью (который дальше ветвится, образуя со временем Рейн, Днепр, Коттонвудский Каньон или Нова-Авон) на спине, в смутном эктоплазменном облаке намокших, набухших одежд из стеганой ваты, мечтательно напевая “эх, на-ни, на-ни, на-нина” или какие-нибудь иные старинные гимны. Напевы становятся колокольным звоном, мы видим заболоченную равнину, где растет Orchis mascula, и вольного пастуха: исторические лохмотья, солнцем просвеченная борода, пяток овечек и один прелестный ягненок. Очень важен этот ягненок, хоть он и появится лишь на миг — на один удар сердца, — буколическая тема. Напевы тянутся к пастуху королевы, овечки тянутся к ручью.

Анекдот Круга оказывает нужное действие. Эмбер перестает шмыгать. Он слушает. Он уже улыбается. И наконец игра захватывает его. Конечно, ее нашел пастух. Да ведь и имя ее можно вывести из имени влюбленной пастушки, жившей в Аркадии. Или, что более чем возможно, оно — анаграмма имени Алфея (Alpheios Ophelia — с “s”, затерявшейся в мокрой траве), — Алфей, это был речной бог, преследовавший долгоногую нимфу, пока Артемида не обратила ее в источник, что, разумеется, пришлось в самую пору его текучести (ср. “Winnipeg Lake”, журчание 585, изд-во “Vico Press”). Опять-таки мы можем взять за основу и греческий перевод стародатского названия змеи. Lithe — тонко-гибкая, тонкогубая Офелия, влажный сон Амлета, летейская русалка, Russalka letheana в науке (под пару твоим “красным хохолкам”). Пока он ухлестывал за немецкими горничными, она сидела дома за дребезжащим от ледяного весеннего ветра стеклом затертого льдами окна, невинно флиртуя с Озриком. Столь нежна была ее кожа, что от простого взгляда на ней проступали розоватые пятна. От необычного насморка, такого же, как у Боттичеллиева ангела, чуть краснели кромки ноздрей, краснота сползала к верхней губе, знаешь, где краешек губ становится кожей. Она оказалась также чудесной кухаркой, — впрочем, вегетарианского толка. Офелия, или запасливость. Скончалась, попавши в запас. Прекрасная Офелия. Первое фолио с его жеманными поправками и множеством грубых

ошибок. "Мой добрый друг Горацио (мог бы сказать Гамлет), при всей ее телесной мягкости она была крепка, как гвоздь. А уж скользкая: что твой букетик угрей. Из этих прелестных, узких и скользких, змеевидных девиц с жидкой кровью и светлыми глазками, одновременно истеричных до похотливости и безнадежно фригидных. Тихой сапой, с дьявольской изощренностью семенила она по дорожке, начертанной амбициями ее папаши. Даже обезумев, она лезла ко всем со своей тайной, с этими ее перстами покойника. Которые упорно тыкали в меня. Да, еще бы, я любил ее, как сорок тысяч братьев, ведь вору вор поневоле брат (терракотовые горшки, кипарис, узкий ноготь луны), но мы же все здесь ученики Ламонда, коли ты понимаешь, что я хочу сказать". Он мог бы добавить, что застудил себе затылок при представленье пантомимы. Розоватая лощина ундины, арбуз, принесенный со льда, l'aurore grelottant en robe rose et verte. Ее непрочный подол.

Помянув словесный помет, заляпавший ношеную шляпу немецкого филолога, Круг предлагает заодно уж поэкспериментировать и с именем Гамлета. Возьмем Телемаха, говорит он, "Telemachos" — "разящий издали", что опять-таки и было Гамлетовой идеей ведения военных действий. Подрежем его, уберем ненужные буквы, — все они суть вторичные добавления, — и получим древнее "Telmah". Прочитаем задом наперед. Так ударяется капризное перо в бега с распутной мыслью, и Гамлет задним ходом становится сынком Улисса, истребляющим маминых любовников. "Worte, worte, worte". Во рте, во рте, во рте. Любимейший мой комментатор — Чишвитц, бедлам согласных, или soupir de petit chien.

Эмбер, однако, еще не развязался с девицей. Упомянув мимоходом, что Elsinore есть анаграмма от Roseline, что также не лишено возможностей, он возвращается к Офелии. Она ему нравится, сообщает он. Что бы там Гамлет ни говорил про нее, у девушки был шарм, надрывающий душу шарм: эти быстрые серо-голубые глаза, внезапный смех, ровные мелкие зубы, пауза, чтобы понять, не смеетесь ли вы над ней. Колени и икры, хоть и прелестные по форме, были чуть крупноваты в сравненье с тонкими руками и

легким бюстом. Ладони рук как влажное воскресенье, и она носила на шее крестик, там, где маленькой изюминке ее плоти, сгущенному, но все прозрачному пузырьку голубиной крови, казалось, вечно грозила опасность быть рассеченным тонкой золотой цепочкой. И ещс, ее утреннее дыхание, аромат нарциссов до завтрака и простокваши — послс. Что-то неладное с печенью. Мочки ушей ее были голы, хоть и проколоты еле заметно — для миниатюрных кораллов, не для жемчужин. Сплетение этих деталей — острые локти, светлые-светлые волосы, тугие блестящие скулы и призрак светлого пуха (так нежно колючего с виду) в уголках ее рта — напоминает ему (говорит Эмбер, вспоминая детство) малокровную горничную-эстонку, чьи трогательно разлученные грудки бледно болтались в блузе, когда она наклонялась — низко, так низко, — чтоб подтянуть его полосатые чулки.

Тут Эмбер неожиданно возвышает голос до визга разгневанного отчаянья. Он говорит, что вместо этой аутентичной Офелии роль получила невозможная Глория Колокольникова, безнадежно пухлявая, с ротиком в виде туза червей. Его особенно распаляют оранжерейные лилии и гвоздики, которые выдает ей дирекция, чтобы ей было с чем поиграть в сцене "безумия". Она и режиссер — ну точно как Гете, — воображают Офелию в виде банки с персиковым компотом. "Все ее существо купалось в сладко созревшей страсти", — говорит Иоганн Вольфганг, нем. поэт, ром., драм. и фил. О ужас!

— Или ее папаша... Все мы знаем и любим его, не так ли? чего уж проще, его-то сделать как следует: Полоний-Панталоний, приставучий старый дурак в стеганом халате, шаркающий ковровыми тапками вслед за очками, свисающими с кончика носа, пока он переваливается из комнаты в комнату, неопределенно женоподобный, совмещающий папу и маму, гермафродит с комфортабельным задом евнуха, — а у них взамен долговязый, чопорный мужчина, игравший когда-то Меттерниха в "Вальсах мира" и возжелавший до конца своих дней остаться коварным и мудрым государственным мужем. О ужас, ужас, ужас!

Но худшее еще впереди. Эмбер просит друга подать ему некую книгу — нет, красную. Извини, *другую* красную.

— Как ты, возможно, заметил, Вестовой упоминает какого-то Клавдио, передавшего ему письма, которые Клавдио "получил... от тех, кто их принес (с корабля)". Более эта персона в пьесе не упоминается. Теперь откроем вторую книгу великого Гамма. Что он делает? Да, это здесь. Он берет этого Клавдио и — ладно, ты только послушай.

"То, что это был королевский дурак, видно из факта, что в немецком оригинале ("Bestrafter Brudermord") новость приносит шут Фантазмо. Поразительно, что никто до сих пор не взялся проследить эту прототипическую улику. Не менее очевиден и тот факт, что Гамлет с его пристрастием к каламбурам, разумеется, позаботился бы, чтобы матросы передали его послание именно "королевскому дураку", поскольку он, Гамлет, *короля одурачил*. Наконец, если мы вспомним, что в те времена придворный шут часто брал себе имя господина, лишь слегка изменяя окончание, картина становится полной. Мы имеем, следовательно, интереснейшую фигуру итальянского или итальянизированного шута, слоняющегося по мрачным залам северного замка, человека лет сорока, но такого же осторожного, как в молодости, лет двадцать назад, когда он сменил Йорика. Если Полоний был "отцом" благих вестей, то Клавдио — "дядюшка" дурных. Характер его даже тоньше, чем у этого мудрого и достойного старика. Он опасается сам предстать перед королем с посланием, о содержании коего уже осведомился не без помощи проворных пальцев и проницательных глаз. Он понимает, что не может так просто явиться к королю и сказать ему "your beer is sour" ["ваша брага сбродила"], построив каламбур на "beer" и разумея: "your beard is soar'd" ["вас дернули за бороду"]. Поэтому с грандиозным хитроумием он измышляет стратагему, которая делает более чести его уму, чем моральной отваге. Что же это за стратагема? Она гораздо глубже всего, до чего сумел бы додуматься "бедный Йорик". Пока матросы спешат в приюты тех наслаждений, какие способен предложить им давно лелеемый порт, Клавдио, этот темноглазый мастер

интриги, аккуратно складывает опасное письмо и небрежно вручает его *другому вестнику* — "Вестовому" пьесы, который, ни о чем не догадываясь, относит письмо королю".

Но довольно об этом, послушаем лучше некоторые известные строки в переводе Эмбера:

Ubit' il' ne ubit'? Vot est' oprosen.
Vto bude edler: v razume tzerpieren
Ogneprashchi i strely zlovo roka...

(или, как изложил бы это француз):

L'égorgerai-je ou non? Voici le vrai problème.
Est-il plus noble en soi de supporter quand même
Et les dards et le feu d'un accablant destin...

Ну, разумеется, шучу. А вот настоящее:

Tam nad ruch'om rostiot naklonno iva,
V vode iavliaia list'ev sedinu;
Guirliandy fantasticheskie sviv
Iz etikh list'ev — s primes'u romashek,
Krapivy, lutikov...

[over yon brook there grows aslant a willow
Showing in the water the hoariness of its leaves;
Having tressed fantastic garlands
of these leaves, with a sprinkling of daisies,
Nettles, crowflowers...]

Как видишь, мне приходится самому выбирать своих комментаторов.

Или вот этот трудный пассаж:

Ne dumaete-li vy, sudar', shto vot eto [песенка о раненом олене], da les per'ev na shliape, da dve kamchatye rosy na proreznykh bashmakakh, mogli by, kol' fortuna zadala by mne turku, zasluzhit' mne uchast'e v teatral'noi arteli; a, sudar'?

Или начало моей любимой сцены ——

Круг, пока он сидит, слушая Эмбера, не может не дивиться странности этого дня. Он воображает себя вспоминающего в какой-то из точек будущего именно эту минуту. Он, Круг, сидел у постели Эмбера. Эмбер, подняв колена под одеялом, читал с бумажных клочков обрывки белых стихов. Недавно Круг потерял жену. Город оглушен новым политическим порядком. Двое людей, любимых им, схвачены и, может быть, казнены. Но в комнате было тепло, и Эмбер углублялся в "Гамлета". И Круг дивился странности этого дня. Он слушал сочный голос Эмбера (отец Эмбера был персидским торговцем) и пытался разложить свое восприятие на простейшие элементы. Природа сотворила однажды англичанина, под сводом лба у которого таился улей слов; человека, которому довольно было лишь выдохнуть частичку своего колоссального словаря, как она оживала, росла, выбрасывала дрожащие усики и превращалась в сложный образ с пульсирующим мозгом и соотнесенными членами. Триста лет спустя иной человек в иной стране попытался передать эти рифмы и метафоры на ином языке. Этот процесс потребовал огромного труда, для необходимости которого невозможно указать разумной причины. Это как если бы некто, увидев некий дуб (называемый далее "Отдельное Д"), растущий в некой земле, отбрасывая неповторимую тень на зеленую и бурую почву, затеял бы строить у себя в саду машину огромной сложности, которая сама по себе была так же не схожа с тем или этим деревом, как не схожи вдохновение и язык переводчика с вдохновением и языком изначального автора, но которая посредством искусного сочетания ее частей и световых эффектов и работы ветродуйных устройств смогла бы, будучи завершенной, отбрасывать тень, в точности схожую с тенью Отдельного Д, — тот же очерк, точно так же меняющийся, те же двойные и одиночные пятна солнца, зыблющиеся в том же месте в такое же время дня. С практической точки зрения подобная трата времени и материала (все головные боли, все полуночные триумфы, обернувшиеся крушениями при трезвом утреннем свете!) была почти преступно нелепой, ибо величайший шедевр имитации предполагает добровольное ограничение мысли, подчиненность чужому

гению. Восполняются ли эти самоубийственные ограничение и подчиненность чудесами приспособительной техники, тысячами приемов театра теней, остротой наслаждения, которое испытывают мастер, ткущий слова, и тот, кто за ним наблюдает при каждом новом хитросплетении нитей, или в конечном итоге все это — лишь преувеличенное и одушевленное подобие пишущей машинки Падука?

— Тебе нравится, ты принимаешь это? — спросил озабоченно Эмбер.

— По-моему, чудесно, — ответил, нахмурясь, Круг. Он встал и прошелся по комнате. — Кое-какие строки нуждаются в дополнительной смазке, — продолжал он, — и мне не понравился цвет мантии рассвета, я представляю себе “russet” менее кожистым и пролетарским, но, может быть, ты и прав. В целом получается просто чудесно.

Он говорил это, подойдя к окну и бессознательно глядя во двор, в глубокий колодец света и тьмы (ибо, как это ни странно, час был послеполуденный, не полночный).

— Ну, я очень рад, — сказал Эмбер. — Конечно, нужно еще переменить массу мелочей. Я думаю остановиться на “laderod kappe”.

— Некоторые его каламбуры... — сказал Круг. — Ба, это еще что за притча?

Он вдруг увидел двор. Двое шарманщиков стояли там в нескольких шагах один от другого, и ни один не играл, напротив, — оба глядели подавленно и были словно бы не в своей тарелке. Немногочисленные малолетки с тяжелыми подбородками и зигзагообразными профилями (один малец держал за веревочку игрушечный автомобильчик) молча на них таращились.

— Отроду не видел *двух* шарманщиков зараз в одном и том же дворе, — сказал Круг.

— Я тоже, — сказал Эмбер. — А теперь я тебе покажу...

— Хотел бы я знать: что случилось? — сказал Круг. — Вид у них донельзя смущенный, и они не играют или не могут играть.

— Может быть, один из них вторгся в пределы другого, — предположил Эмбер, выравнивая свежую стопку листков.

— Может быть, — сказал Круг.

— И может быть, каждый боится, что стоит ему начать, как соперник примажется со своей музыкой.

— Может быть, — сказал Круг. — И все-таки зрелище редкостное. Шарманщик — самая что ни на есть эмблема одиночества. А тут — нелепое удвоение. Они не играют, а смотрят вверх.

— А теперь, — сказал Эмбер, — я прочитаю тебе...

— Мне известны люди только одной профессии, — сказал Круг, — которые вот так же заводят глаза. Это наши попы.

— Ну же, Адам, сядь и послушай. Или я тебе надоел?

— Что за глупости, — сказал Круг, возвращаясь к креслу. — Я просто пытался понять, что в них не так. И детей, похоже, их молчание озадачивает. Что-то есть во всем этом очень знакомое, а я никак не вспомню что, какой-то поворот мысли...

— Главная трудность, с которой сталкиваешься, переводя это место, — сказал Эмбер, облизывая после глотка пунша толстые губы и поудобней пристраиваясь к большой подушке, — главная трудность...

Его прервал далекий звон дверного колокольчика.

— Ты кого-нибудь ждешь? — спросил Круг.

— Никого. Разве из актеров кто зашел посмотреть, не помер ли я. Вот разочарование для них.

Шаги лакея удалились по коридору. Потом вернулись.

— К вам джентльмен и леди, сэр, — сообщил он.

— А, черт, — сказал Эмбер. — Ты бы не мог, Адам?..

— Да, разумеется, — произнес Круг. — Сказать им, что ты спишь?

— И что я небрит, — сказал Эмбер. — И что очень хочу читать дальше.

Миловидная дама в сшитом по мерке сизовато-сером костюме и господин со сверкающим красным тюльпаном в петлице визитки бок о бок стояли в прихожей.

— Мы... — начал господин, копошась в левом кармане штанов и несколько извиваясь как бы от колик или слишком тесной одежды.

— Господин Эмбер слег с простудой, — сказал Круг. — Он просил меня...

Господин поклонился:

— Понимаю, вполне, однако вот это (свободная рука протянула карточку) укажет вам мое имя и положение. У меня, как изволите видеть, приказ. Я поспешил подчиниться ему, презрев мой личный долг, долг хозяина дома. Я тоже принимал гостей. Не сомневаюсь, что и господин Эмбер, ежели я правильно произношу его имя, проявит такую же поспешность. Это мой секретарь — фактически нечто большее, нежели секретарь.

— Ах, оставь, Густав, — сказала дама, слегка подпихивая его локотком. — Профессора Круга, уж верно, не интересуют наши с тобой отношения.

— Наши с тобой сношения? — молвил Густав, взглянув на нее с выражением глуповатой игривости на аристократическом лице. — Скажи еще разик. Так приятно звучит.

Она опустила густые ресницы и надула губки.

— Я не то хотела сказать, гадкий. Профессор подумает Gott weiss was.

— Это звучит, — нежно настаивал Густав, — подобно шелесту ритмичных пружин одной синей кушетки в одной уютной спаленке для гостей.

— Ну хватит. Это наверняка больше не повторится, если ты будешь таким противным.

— Ну вот, она на нас и рассердилась, — вздохнул Густав, оборотившись к Кругу. — Остерегайтесь женщин, как говорит Шекспир! Однако я должен исполнить мой печальный долг. Ведите меня к пациенту, профессор.

— Минуту, — сказал Круг. — Если вы не актеры, если все это не идиотский розыгрыш...

— О, я знаю, что вы хотите сказать, — замурлыкал Густав, — вам кажется странной присущая нам утонченность, не так ли? Эти вещи обычно ассоциируются с отталкивающей брутальностью и мраком: ружейные приклады, грубая солдатня, грязные сапоги — und so weiter. Но в Управлении осведомлены, что господин Эмбер был артистом, поэтом, чувствительной душой, вот они там и решили, что некоторое изящество и необычайность в обстановке ареста —

атмосфера высшего света, цветы, аромат женственной красоты — смогут смягчить испытание. Прошу заметить, я явился в гражданском. Возможно, — каприз, это уж как вам будет угодно, но с другой стороны, представьте, как мои неотесанные ассистенты [ткнув большим пальцем свободной руки в сторону лестницы] с грохотом вламываются сюда и начинают вспарывать мебель.

— Вынь из кармана ту большую противную штуку, Густав, и покажи профессору.

— Скажи еще разик?

— Я имею в виду пистолет, — сдавленно молвила дама.

— Ага, — сказал Густав. — Неправильно понял. Но мы объяснимся позднее. Не обращайте на нее внимания, профессор. Склонна преувеличивать. По правде сказать, ничего такого особенного в этом орудии нет. Банальная служебная принадлежность, номер 184682, их можно увидеть дюжинами в любую минуту.

— Ну, с меня хватит, — сказал Круг. — Я к пистолетам равнодушен и — ладно, не важно. Можете засунуть обратно. Я хочу знать только одно: вы намерены забрать его прямо сейчас?

— Эт'точно, — ответил Густав.

— Я найду способ пожаловаться на эти чудовищные вторжения, — загремел Круг. — Так продолжаться не может. Они были совершенно безобидной пожилой парой, и оба со слабым здоровьем. Вы определенно пожалеете об этом.

— Мне вдруг пришло в голову, — сообщил Густав, обращаясь к своей миловидной спутнице, пока они следом за Кругом шли по квартире, — что полковник, пожалуй, перебрал по части шнапса к тому времени, когда мы его покинули, так что я сомневаюсь, чтобы до нашего возвращения твоей сестричке удалось хорошо сохраниться.

— Этот его анекдот про двух моряков и barbok [род пирога с ямкой посередине для топленого масла] такой смешной, — ответила дама. — Ты рассказал бы его господину Эмберу. Он писатель, пусть вставит его в свою новую книгу.

— Ну, для этих материй твой собственный ротик... — начал было Густав, но они уже подошли к дверям спальни, и дама скромно отстала, когда Густав, снова сунувший копошливую руку в брючный карман, судорожно втиснулся за Кругом.

Лакей отодвигал от постели midu [инкрустированный столик]. Эмбер рассматривал в зеркальце свой язычок.

— Этот идиот явился тебя арестовать, — сказал по-английски Круг.

Густав, с порога ласково улыбавшийся Эмберу, вдруг насупился и с подозреньем взглянул на Круга.

— Но это ошибка, — сказал Эмбер. — Кому может понадобиться меня арестовывать?

— Heraus, Mensch, marsch, — сказал Густав лакею и, когда тот вышел из комнаты:

— Мы не в классе, профессор, — сказал он, обращаясь к Кругу, — так что будьте любезны пользоваться понятным всем языком. Как-нибудь в следующий раз я, глядишь, и попрошу вас научить меня датскому или голландскому; в данный же момент я обязан исполнить долг, может быть столь же неприятный мне и девице Бахофен, сколь и вам. Поэтому я вынужден обратить ваше внимание на тот факт, что я хоть и не питаю неприязни к легкому подтруниванию ——

— Постойте, постойте, — воскликнул Эмбер. — Я понял, в чем дело. Это из-за того, что я не открыл вчера окон, когда включили громкоговорители. Но это легко объяснить... Мой доктор подтвердит, что я был болен. Адам, все в порядке, не нужно тревожиться.

Звук прикосновения праздного пальца к рояльной клавише долетел из гостиной при появлении Эмберова лакея с перекинутым через руку платьем. Лицо у лакея было цвета телятины, и на Густава он старался не смотреть. На удивленный вскрик хозяина он ответил, что дама в гостиной велела ему одеть Эмбера, если он не хочет, чтобы его расстреляли.

— Но это же смехотворно! — выкрикнул Эмбер. — Не могу же я так вот взять и впрыгнуть в одежду. Мне нужно сначала принять душ, побриться.

— В тихом местечке, куда мы направимся, имеется парикмахер, — дружелюбно сообщил Густав. — Давайте, вставайте, право, не стоит быть таким непослушным.

(А что, если я отвечу "нет"?)

— Я отказываюсь одеваться, пока вы все смотрите на меня, — сказал Эмбер.

— А мы и не смотрим, — сказал Густав.

Круг вышел из спальни и мимо рояля пошел в кабинет. Девица Бахофен вскочила с рояльного табурета и проворно его перехватила.

— Ich will etwas sagen [я хочу что-то сказать], — сказала она и уронила легкую руку ему на рукав. — Только что, во время нашего разговора, мне показалось, что вы считаете меня и Густава довольно глупыми молодыми людьми. Вы понимаете, это у него такая привычка, он вечно делает witze [шутки] и дразнит меня, а я совсем не такая девушка, как вы могли бы подумать.

— Вот эти безделицы, — сказал Круг, касаясь полки, мимо которой он проходил, — особой ценности не имеют, но он дорожит ими, и если вы сунули фарфорового совенка — я его что-то не вижу — к себе в сумку...

— Мы не воры, профессор, — очень спокойно сказала она; каменное у него было сердце, коли он не устыдился дурных мыслей, увидев, как стоит она, блондинка с узкими бедрами и парой симметричных грудей, влажно вздымающихся среди оборок белой шелковой блузки.

Он добрался до телефона и набрал номер Хедрона. Хедрона не было дома. Он поговорил с его сестрой. И обнаружил, что сидит на шляпе Густава. Девушка вновь подошла к нему и открыла белую сумочку, показывая, что не похитила ничего, имеющего реальную или сентиментальную ценность.

— Можете и меня обыскать, — с вызовом сказала она, расстегивая жакет, — если не будете щекотаться, — прибавила дважды невинная, немного вспотевшая немецкая девушка.

Он вернулся в спальню. Густав у окна пролистывал энциклопедию в поисках возбуждающих слов на М и Ж. Эмбер стоял полуодетый с желтым галстухом в руке.

— Et voilà... et me voici... — говорил он с детским прихныкиваньем. — Un pauvre bonhomme qu'on traîne en prison. Ох, мне туда *вовсе* не хочется. Адам, неужели нельзя ничего сделать? Придумай же что-нибудь, пожалуйста! Je suis souffrant, je suis en détresse. Я признаюсь, что готовил coup d'état, если они станут меня пытать.

Лакей, которого звали или когда-то звали Иваном, лязгая зубами и полузакрыв глаза, помог своему несчастному господину надеть пиджак.

— Теперь я могу войти? — спросила девица Бахофен с некоторой музыкальной застенчивостью. И неторопливо вступила, покачивая бедрами.

— Пошире откройте глаза, господин Эмбер, — воскликнул Густав. — Я хочу, чтобы вы полюбовались дамой, согласившейся украсить ваш дом.

— Ты неисправим, — промурлыкала девица Бахофен с кривоватой улыбкой.

— Присядь, дорогая. На кроватку. Присядьте, господин Эмбер. Присядьте, профессор. Минута молчания. Поэзия с философией должны поразмыслить, в то время как сила и красота... а недурно отапливают вашу квартирку, господин Эмбер. Нуте-с, а теперь, если бы я был *совсем-совсем* уверен, что вы двое не постараетесь, чтобы вас пристрелили наши люди, те, что снаружи, я, пожалуй, попросил бы вас покинуть комнату, а мы с девицей Бахофен остались бы здесь и провели коротенькое совещаньице. Я в нем очень нуждаюсь.

— Нет, Liebling, нет, — сказала девица Бахофен. — Пойдем отсюда. Меня тошнит от этой квартиры. Мы этим дома займемся, мой сладенький.

— А по-моему, прекрасное место, — неодобрительно пробормотал Густав.

— Il est saoul, — выговорил Эмбер.

— Нет, правда, все эти зеркала и ковры обещают столь дивные восточные неги, я просто не в силах устоять перед ними.

— Il est complètement saoul, — сказал Эмбер и заплакал.

Миловидная девица Бахофен решительно подхватила своего дружка под руку и после некоторых увещеваний

убедила его препроводить Эмбера в ожидавший их черный полицейский автомобиль. Когда они ушли, Иван впал в истерику, выволок с чердака старый велосипед, снес его вниз по лестнице и уехал. Круг запер квартиру и медленно поплелся домой.

8

Удивительно ярким выглядел город в лучах последнего солнца: стояли Красные деньки, особенность этих мест. Они наступали в ряд за первыми заморозками, и счастлив был заезжий турист, навестивший Падукград в такую пору. Слюнки текли при взгляде на грязь, оставленную недавними дождями, — столь сдобной казалась она. Фасады домов по одной стороне улицы купались в янтарном свете, который подчеркивал каждую, ну просто каждую их деталь; на некоторых красовались мозаичные панно; главный банк города, например, радовал глаз серафимами среди юккоподобных растений. По свежей синей краске бульварных скамеек детские пальчики выводили слова: "Слава Падуку" — верное средство насытиться властью над липучей материей без того, чтобы уши тебе открутил полицейский, коего натужная улыбка обнаруживала испытываемое им затруднение. Воздушный рубиновый шарик висел в безоблачном небе. В открытых кафе братались чумазые трубочисты и мучнистые пекари, там потопляли они в гренадине и сидре старинную рознь. Посредине панели лежали резиновая мужская калоша и запачканная кровью манжета, и прохожие обходили их стороной, не замедляя, однако, шага и не взглядывая на эти вещицы да и вовсе ничем не показывая, что заметили их, разве соступят с бордюра в грязь и опять взойдут на панель. Пуля вызвездила окно дешевой лавки игрушек; при приближении Круга оттуда вышел солдат с чистым бумажным пакетом и запихал в него калошу вместе с манжетой. Уберите препятствие, и муравьи опять поползут по прямой. Эмбер не носил съемных манжет, да он и не решился бы выпрыгнуть на ходу из машины и побежать, и задыхаться, и бежать, и пригибаться, как этот несчастный.

Все это начинает надоедать. Надо проснуться. Слишком быстро множатся жертвы моего кошмарного сна, думал, шагая, Круг, грузный, в черном плаще и с черной шляпой, шлепал расстегнутый плащ, фетровая широкополая шляпа моталась в руке.

Слабость привычки. Прежний чиновник, настоящий ancien régime старого закала, сумел избегнуть ареста, а то и чего похуже, улизнув из своей благопристойной плюшево-пыльной квартиры по улице Перегольм, дом 4, и переехав на жительство в заглохший лифт дома, в коем обитал Круг. Хоть и висела на двери табличка “Не работает”, странный автомат по имени Адам Круг неизменно пытался войти и натыкался на испуганное лицо и на белую козлиную бороду потревоженного беженца. Впрочем, испуг тут же сменяли суетливые проявления гостеприимства. Старик сумел превратить свое тесное логово в довольно уютное гнездышко. Он был аккуратно одет, тщательно выбрит и с простительной гордостью мог показать такие, к примеру, приспособления, как спиртовая лампа или брючный пресс. Он был барон.

Круг невоспитанно отказался от предложенной чашечки кофе и протопал к себе в квартиру. В комнате Давида его ожидал Хедрон. Ему сказали о звонке Круга; он сразу пришел. Давид не желал отпускать их из детской, угрожая вылезти из постели, если они уйдут. Клодина принесла мальчику ужин, но он отказывался есть. В кабинет, куда ушли Круг с Хедроном, неразличимо доносились его препирательства с нею.

Они говорили о том, что можно теперь предпринять: планируя определенные шаги, отлично сознавая, что ни эти шаги и никакие иные уже не помогут. Оба хотели понять, почему хватают людей, политической значимости ровно никакой не имеющих; хоть, право, оба могли бы найти ответ, простой ответ, который им будет предъявлен всего через полчаса.

— Кстати, двенадцатого у нас опять совещание, — заметил Хедрон. — Боюсь, ты снова окажешься почетным гостем.

— Я — нет, — ответил Круг. — Меня там не будет.

Хедрон тщательно выскоблил черное содержимое трубки в стоявшую у его локтя бронзовую пепельницу.

— Мне придется вернуться, — вздохнув, сказал он. — К обеду явятся китайские делегаты.

Он говорил о группе иноземных физиков и математиков, приглашенных к участию в конгрессе, отмененном в последний момент. Кое-кто из наименее важных участников не получил извещения об отмене и проделал весь путь впустую.

В дверях, прежде чем выйти, он глянул на шляпу в своей руке и сказал:

— Надеюсь, она не мучилась... я...

Круг затряс головой и торопливо открыл дверь.

Лестница являла собою необыкновенное зрелище. Густав, теперь при полном параде, с выражением крайнего уныния на высокомерном лице сидел на ступеньке. Четверо солдат выстроились в различных позах вдоль стены в виде как бы батального барельефа. Хедрона немедленно окружили, показав ему арестный мандат. Кто-то из солдат отпихнул Круга с дороги. Произошли беспорядочные военные действия невнятного свойства, в ходе которых Густав оступился и гулко пал на лестницу, увлекая за собою Хедрона. Круг пытался последовать за солдатами, но был отброшен. Лязганье стихло. Можно было представить себе барона, сжавшегося в темноте своего необычного укрытия и все не смеющего поверить, что его пока не поймали.

9

Сложивши ладони чашей, любимая, и продвигаясь осторожной, неверной поступью человека очень преклонных лет (хоть тебе их едва ли пятнадцать), ты перешла крыльцо; остановилась; локтем мягко открыла стеклянную дверь; миновала чепраком покрытый рояль, пересекла вереницу прохладных, пропахших гвоздикой комнат, нашла свою тетушку в chambre violette ——

Пожалуй, мне нужно, чтобы ты повторила всю сцену. Да-да, сначала. Всходя по каменным ступеням крыльца, ты

ни разу не отвела глаз от сложенных чашей ладоней, от розоватой расщелины между большими пальцами. О, что это ты несешь? Ну, давай. На тебе полосатая (тускло-белая, блекло-синяя) безрукавка-джерси, темно-синяя юбка девочки-скаута, сползающие сиротски-черные носки и пара заляпанных зеленью теннисных туфель. Геометричное солнце тронуло между колонн крыльца твои красновато-каштановые, коротко остриженные волосы, полную шею и метку прививки на загорелом плече. Ты медленно миновала прохладную, гулкую гостиную, затем вошла в ту комнату, где ковер, и кресла, и шторы были синими и лиловыми. Из многозеркалья навстречу тебе выходили чаши ладоней, склоненные головы, а за спиной у тебя передразнивались твои движения. Твоя тетушка, манекен, писала письмо.

— Смотри, — сказала ты.

Очень медленно, словно роза, ты раскрыла ладони. В них, вцепившись всеми шестью мохнатыми ножками в подушку большого пальца и слегка изогнув по-мышиному серое тельце с короткими красными в синих глазках подкрыльями, странно высунутыми вперед из-под приспущенных верхних крыльев, длинных, мрамористых, в глубоких надрезах ——

Похоже, мне придется заставить тебя сыграть твою роль и в третий раз, но в попятном порядке, — ты понесешь этого бражника обратно в сад — туда, где его нашла.

Когда ты тронулась в обратный путь (теперь распахнув ладони), солнце, в беспорядке валявшееся по паркету гостиной, на плоском тигре (распяленном и вылупившем из-под рояля яркие глаза), набросилось на тебя, вскарабкалось по выцветшим мягким перекладинам твоей безрукавки и ударило прямо в лицо, и все увидали (теснясь ярус за ярусом в небе, мешая друг другу, тыча перстами — вот она, вот, услада для взгляда, юная radabarbára) его румяность, и огненные веснушки, и вспыхнувшие щеки, красные, как задние крылья, ибо бабочка так и сидела, вцепившись в твою ладонь, и ты по-прежнему на нее глядела, перемещаясь к саду, где осторожно ссадила ее в густую траву под яблоней, подальше от бусяных глазок твоей младшей сестры.

Где был я в это время? Восемнадцатилетний студент, сидящий с книгой (надо думать, с "Les Pensées") на станционной скамье в нескольких милях оттуда, не знающий тебя, тобою незнаемый. Вот я захлопнул книгу и поехал тем, что называлось тогда дачным поездом, в деревушку, где проводил то лето юный Хедрон. Это — пригоршня арендуемых дач на склоне холма, обращенном к реке, противный берег которой показывал посредством ольшаников и елей густо-лесистые акры поместья твоей тетки.

Теперь откуда ни возьмись появляется некто — à pas de loup — высокий мальчик с черными усиками и иными отметинами неуютного созревания. Не я, не Хедрон. Тем летом мы только и делали, что играли в шахматы. Мальчик приходился тебе двоюродным братом, и, пока мы с товарищем, там, за рекой, вникали в собрание прокомментированных партий Тарраша, он доводил тебя за обедом до слез изощренными, с ума сводящими насмешками, а после, якобы для примирения прокравшись за тобой на чердак, где ты хоронила горестные рыдания, целовал твои мокрые глаза, горячую шею, спутанные волосы и норовил забраться под мышки и за подвязки, ибо ты была для своих лет замечательно крупной, созревшей девушкой; и все же он, несмотря на приятную внешность и голодные жесткие лапы, умер годом позднее от чахотки.

А еще позднее, когда тебе было двадцать, а мне двадцать три, мы повстречались на рождественской вечеринке и обнаружили, что были в то лето соседями, пять лет назад — пять потерянных лет! И именно в ту минуту, когда в испуганном изумлении (испуганном неумелой работой судьбы) ты прижала ладонь ко рту, глядя на меня очень круглыми глазами, и прошептала: "Да ведь и я там жила!" — в моей памяти вспыхнул зеленый лужок возле фруктового сада и крепкая девочка, осторожно несущая выпавшего из гнезда покрытого пухом птенца, но ты ли то была в самом деле, — этого никакие раскопки и просеиванья ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.

Фрагменты письма, отправленного мертвой женщине в царство небесное ее нетрезвым мужем.

10

Он избавился от ее мехов, от всех ее фотографий, от ее огромной английской губки и от запасов лавандового мыла, от зонта, от салфеточного кольца, от фарфорового совенка, купленного ею для Эмбера, да так ему и не отданного, — и все-таки она отказывалась забываться. Когда (лет пятнадцать назад) его родители погибли в железнодорожном крушении, он смог умерить страх и страдание, написав Главу III (Глава IV в позднейшей редакции) своей “Mirokonzepsii”, где он взглянул прямо в глазницы смерти и обозвал ее пакостью и собакой. Одним лишь сильным движением крупных плеч он стряхнул наслоения святости, облепившие это чудище, и, когда рухнули, подняв огромное облако пыли, истрепанные рогожи, покровы и украшения, он испытал что-то вроде уродливого облегчения. Вот только сможет ли он снова проделать это?

Ее платья, чулки, и шляпы, и туфли милосердно исчезли вместе с Клодиной, когда та, вскоре после ареста Хедрона, ушла от него, запуганная агентами полиции. Агентства, которые он обзвонил, пытаясь найти ей взамен ученую няню, помочь ему не смогли; но через пару дней после ухода Клодины в дверь позвонили, и там, на площадке, стояла молоденькая девчушка с чемоданом в руке и предлагала свои услуги. “Я отзываюсь, — смешно сказала она, — на имя Мариэтта”; она служила горничной и моделью в доме знаменитого живописца, жившего в 30-й квартире, прямо над Кругом; да вот теперь ему пришлось переехать вместе с женой и двумя другими художниками далеко в провинцию, в гораздо менее комфортабельную тюрьму. Мариэтта стащила вниз второй чемодан и тихо вселилась в комнату около детской. У нее были хорошие рекомендации от Департамента Общественного Здоровья, грациозные ноги и бледное, нежно очерченное, не очень хорошенькое, но симпатичное детское личико с, казалось, запекшимися губами, всегда приоткрытыми, и темные, странно лишенные блеска глаза: зрачки почти совпадали оттенком с райком, поместившимся несколько выше обычного, в непроницаемой тени сажных ресниц. Ни румяна, ни пудра

никогда не касались ее на редкость бескровных, равномерно просвечивающих щек. Она носила длинные волосы. Круга смущало чувство, что он ее видел прежде, вероятно, на лестнице. Золушка, маленькая замарашка, что, вытирая пыль, бродит, погруженная в сны наяву, вечно матово-бледная и несказанно усталая после последнего бала. В целом было в ней что-то неприятное — в ее волнистых каштановых волосах, в их резком каштановом запахе; но Давиду она понравилась, а стало быть, в конце концов, подошла.

11

В день рождения Круга его известили по телефону, что Глава Государства соблаговолил одарить его личной беседой, и, едва успел распыхтевшийся философ опустить телефонную трубку, дверь распахнулась и, — совершенно как на театре, лакей из тех, что возникают и коченеют за полсекунды до того, как хлопнет в ладоши их подставной хозяин (которого они между актами обижают, а может, и поколачивают), — щелкнул каблуками и откозырял с порога франт-адъютант. Ко времени, когда дворцовый автомобиль, громадный черный лимузин, заставляющий вспомнить о похоронах по первому разряду в алебастровых городах, прибыл в пункт назначения, раздражение Круга сменилось чем-то вроде угрюмого любопытства. Круг, одетый вполне официально, обут был, однако, в домашние шлепанцы, и двое гигантских привратников (которых Падук унаследовал вместе с подпирающими балконы униженными кариатидами) глазели на его рассеянные ступни, шаркавшие по мраморным ступеням. С этой минуты вокруг него постоянно и тихо кишело множество разного сброда в мундирах, заставляя его переходить туда и сюда, — не определенными жестами или словами, но бестелесным упругим давлением. Его препроводили в приемную, где вместо обычных журналов предлагались на выбор головоломки (стеклянные, к примеру, безделицы, внутри которых метались яркие, безнадежно подвижные шарики, кои следовало

заманить в пустые орбиты безглазых клоунов). Через минуту явились двое мужчин в масках и всесторонне его обыскали. Затем один удалился за ширму, другой же извлек откуда-то пузырек с биркой "H_2SO_4" и схоронил его в левой подмышке Круга. Заставив Круга принять "непринужденную позу", он призвал своего компаньона, тот приблизился с нетерпеливой улыбкой и тут же сыскал пузырек, вслед за чем был обвинен в подглядывании сквозь kwazinku [щель между створками ширмы]. Быстрое разрастание ссоры пресеклось появлением zemberla [камергера]. Чопорный старенький персонаж тотчас приметил, что Круг обут неподобающим образом; и вихрь лихорадочных поисков пронесся по гнетущим просторам дворца. Вкруг Круга начала собираться небольшая коллекция разного рода обувки — множество измызганных бальных штиблет, крохотный девичий шлепанец, отороченный траченным молью беличьим мехом, какие-то окровавленные валенки, туфли коричневые, туфли черные и даже пара полусапог с приделанными к ним коньками. Только они и сгодились для Круга, и прошло еще несколько времени, пока отыскались руки и инструменты, способные лишить их подошвы заржавленных, но грациозно изогнутых приложений.

Вслед за этим zemberl препроводил Круга к ministru dvortza фон Эмбиту (немецкого происхождения). Эмбит немедленно объявил себя смиренным поклонником Кругова гения. "Mirokonzepsia", сообщил он, сформировала его ум. Больше того, его двоюродный брат учился у профессора Круга, известного медика, — это часом не родственник? Нет. Несколько минут ministr предавался светской болтовне (странная была у него привычка слегка всхрапывать, прежде чем что-то сказать), потом взял Круга под руку, и они пошли длинным коридором с дверьми по одной стороне и просторами гобелена, то оливкового, то салатно-зеленого, изображающего что-то вроде бесконечной охоты в субтропических кущах, — по другой. Гостю пришлось осмотреть различные комнаты, т.е. его провожатый тихо приотворял дверь и уважительным шепотом направлял его интерес на тот или иной объект, достойный внимания. Первая из показанных комнат вмещала выполненную в

бронзе контурную карту страны; города и села представлялись на ней разноцветными полу- и вполне драгоценными камнями. В следующей юная машинистка вникала в содержание некоторых документов, и так погружена была она в их расшифровку, и так неслышно проник в эту комнату ministr, что барышня дико завизжала, когда он всхрапнул у нее за спиной. Затем навестили классную: десятка два смуглых армянских и сицилийских мальчиков старательно что-то писали за красного дерева партами, а их eunig, жирный старик с крашеными волосами и налитыми кровью глазами, сидел перед ними, и раскрашивал ногти, и зевал, не раскрывая рта. Особенный интерес представляла совершенно пустая комната, в которой какая-то вымершая мебель оставила медвяно-желтые квадраты на коричневатых полах: фон Эмбит тут задержался, и Круга заставил задержаться, и указал ему молча на пылесос, и постоял, елозя глазами туда и сюда, как бы порхая ими по святыням древнего храма.

Однако кое-что еще более поразительное имелось в запасе pour la bonne bouche. Notamment, une grande pièce bien claire со столами и стульями скромной лабораторной породы и нечто, смахивающее на особо крупный и сложный радиоприемник. Из этой машины исходило постоянное уханье вроде биения африканского барабана, и трое врачей в белом подсчитывали число ударов в минуту. Со своей стороны два грозной наружности молодца из личной охраны Падука контролировали докторов, производя отдельный подсчет. Хорошенькая медсестра читала в углу "Отброшенные розы", и личный врач Падука, огромный мужчина с младенческим личиком и в запыленном на вид сюртуке, крепко спал за проекционным экраном. Тумм-па, тумм-па, тумм-па, повторяла машина, и время от времени лишняя систола слегка нарушала ритм.

Обладатель сердца, к усиленным стукам которого прислушивались эксперты, помещался в своем кабинете в пятидесяти примерно футах отсюда. Солдаты его охраны — сплошь кожи и патронташи — придирчиво рассмотрели бумаги Круга и фон Эмбита. Последний господин по за-

бывчивости не прихватил фотокопии со свидетельства о рождении, а значит, не мог быть пропущен — к большому его, но, впрочем, добродушному огорчению. Круг вошел один.

Падук, затянутый от карбункула до мозолей в серое полевое сукно, стоял сложив за спиною руки и повернувшись этой спиной к читателю. Одетый и установленный описанным выше образом, он стоял перед унылым французским окном. Драные облака неслись по белесому небу, чуть дребезжало в окне стекло. Комната, увы, когда-то была бальной залой. Стены ее оживляла густая лепнина. Несколько стульев, плывших по пустынной глади зёркал, были раззолочены. Также и радиатор. Один угол комнаты срезал огромный письменный стол.

— Я тут, — сказал Круг.

Падук повернулся на каблуках и, не глядя на посетителя, прошествовал к столу. Там он утоп в обтянутом кожей кресле. Круг, которому начал жать левый ботинок, поискал, куда бы присесть, не нашел и оглянулся на золоченые стулья. Однако хозяин дома предусмотрел и это: раздался щелчок, и копия klubzessela [кресла] Падука выскочила из ловушки вблизи стола.

Физически Жаба мало переменился, разве что каждая из частичек видимого его организма расширилась и загрубела. Клок волос на макушке шишковатой, до синевы выбритой головы был аккуратно расчесан надвое. Был он прыщавее, чем когда-либо, и приходилось гадать, какой же могучей силой воли должен обладать человек, чтоб удержаться и не выдавить черные головки, засорившие грубые поры крыльев и окрестностей крыльев его толстоватого носа. Верхнюю губу уродовал шрам. Кусок пористого пластыря был прилеплен сбоку от подбородка; еще больший кусок с замызганным уголком и сбившимся ватным тампоном виднелся в складке шеи, как раз над жестким воротом полувоенного френча. Словом, он был немножко слишком поганым, чтобы казаться правдоподобным, поэтому давайте позвеним в колокольчик (что в когтях у бронзового орла), и пусть похоронщик слегка его приукрасит. Ну вот, кожа

вычищена и обрела марципановый ровный оттенок. Лоснистый гладкий парик с изысканно переплетенными рыжими и белокурыми прядями прикрывает голову. Розовая краска спрятала непристойный шрам. Право, прелесть что было бы за лицо, если бы нам удалось закрыть ему глаза. Но, как ни давили мы на веки, они распахивались снова. Я никогда не замечал, какие у него глаза, или же его глаза изменились.

Они были как у рыбы в запущенном аквариуме — тинистые, бессмысленные гляделки, к тому же бедняга смертельно смутился, оказавшись наедине с большим, тяжелым Адамом Кругом.

— Ты хотел меня видеть. В чем твои горести? В чем твоя правда? Люди вечно хотят видеть меня и говорить со мной о своих горестях, о своих правдах. Я устал, мир устал, мы оба устали. Горести мира — мои горести. Я говорю им: говорите со мной о горестях ваших. Чего же ты хочешь?

Этот маленький спич был пробормотан медленно, ровно, невыразительно. И, пробормотав его, Падук склонил главу и уставился на свои руки. То, что осталось от его ногтей, выглядело узенькими полосками, потонувшими в желтоватом мясе.

— Ну, что же, — сказал Круг, — коли ты так это излагаешь, dragotzennyi [дражайший], то я хочу выпить.

Телефон уважительно звякнул. Падук выслушал его. Щека у него, пока он выслушивал, дергалась. Затем он передал трубку Кругу, который с удобством облапил ее и сказал: “Да”.

— Профессор, — сказал телефон, — это всего лишь совет, не более. Как правило, Главе Государства не говорят ‘dragotzennyi’.

— Понятно, — сказал Круг, вытягивая ногу. — Кстати, не откажите в любезности, принесите сюда коньяку. Обождите немного ——

Он вопросительно взглянул на Падука, и тот сделал отчасти проповеднический или же галльский жест усталости и отвращения — поднял обе руки и уронил их снова.

— Один коньяк и стакан молока, — сказал Круг и повесил трубку.

— Больше двадцати пяти лет, Мугакрад, — сказал Падук, помолчав. — Ты остаешься прежним, но мир кружится. Гумакрад, бедный, маленький Гумрадка.

— И тут, — сказал Круг, — они разговорились о былых временах, вспомнили учителей с их причудами — одними и теми же, не странно ли, на протяжении многих лет, и что же могло быть забавней привычных вычур? Брось, dragotzennyi, бросьте, сударь, все это мне знакомо, да к тому же у нас есть что обсудить, и оно важнее клякс и снежков.

— Ты можешь пожалеть об этом, — сказал Падук.

Круг побарабанил пальцами по своему краю стола. Затем нащупал длинный нож для бумаг, слоновая кость.

Вновь зазвякал телефон. Падук послушал.

— Тебе советуют ножа здесь не трогать, — сказал он Кругу и, вздохнув, положил трубку. — Зачем ты хотел меня видеть?

— Я не хотел. Хотел ты.

— Ладно, зачем я хотел? Тебе это ведомо, бедламный Адам?

— Затем, — ответил Круг, — что я единственный, кто способен встать на другой конец доски и заставить твой край подняться.

В дверь отрывисто стукнули и вошел, звеня подносом, zemberl. Он расторопно обслужил двух друзей и вручил Кругу письмо. Круг отхлебнул и начал читать, что там написано. “Профессор, — было написано там, — Ваши манеры все еще некорректны. Вам следовало бы принять во внимание, что, несмотря на узкий и ломкий мостик школьных меморий, соединяющий ваши две стороны, вглубь их разделяет пропасть величия и власти, которую даже гениальный философ (а именно таковым Вы и являетесь — да, сударь!) не имеет надежды измерить. Не должно Вам допускать себя до этой гадкой фамильярности. Приходится вновь предупреждать Вас. Умолять Вас. В надежде, что туфли не слишком жмут, остаюсь — Ваш доброжелатель”.

— Ну-ну, — сказал Круг.

Падук омочил губы в пастеризованном молоке и заговорил еще более хриплым голосом.

— Теперь позволь, я тебе скажу. Они приходят и говорят мне. Почему медлит этот достойный и умный человек? Почему не служит он Государству? И я отвечаю: не знаю. И они также теряются в догадках.

— Это какие же такие "они"? — сухо осведомился Круг.

— Друзья — друзья закона, друзья законодателя. И деревенские общины. И городские клубы. И великие ложи. Почему это так, почему он не с нами? Я лишь эхо их вопрошаний.

— Черта лысого ты эхо, — сказал Круг.

Дверь слегка приоткрылась, и вошел жирный серый попугай с запискою в клюве. Он ковылял к столу на уродливых дряхлых лапах, и когти его издавали звук, какой производят на покрытых лаком полах собаки с необстриженными ногтями. Падук выпрыгнул из кресла, подскочил к престарелой птице и вышиб ее из комнаты, точно футбольный мяч. И грохнул дверью. Телефон верещал из последних сил. Падук выдрал его из розетки и вбил в ящик стола.

— А теперь — ответ, — произнес он.

— Которым обязан мне ты, — сказал Круг. — Прежде всего, я хочу знать, почему схвачены четверо моих друзей? Не для того ли, чтобы создать вокруг меня вакуум? Оставить меня дрожать в пустоте?

— Твой единственный друг — Государство.

— Понятно.

Пасмурный свет из высоких окон. Унылый завой буксира.

— Хорошенькую мы изображаем картину — ты, что-то вроде Erlkönig'а, и я — мальчонка, вцепившийся в прозаического всадника и вперившийся в волшебные туманы. Пф!

— Все, что нам нужно, — это тот кусочек тебя, в котором упрятана рукоятка.

— Ее не существует, — рявкнул Круг и ударил кулаком по своей стороне стола.

— Я тебя умоляю, будь осторожней. В стенах полно замаскированных дыр, и в каждой — нацеленная на тебя винтовка. Так ты уж, пожалуйста, без жестов. Они нынче нервные. Все от погоды. Эта серая мразь.

— Если, — сказал Круг, — ты не можешь оставить меня и моих друзей в покое, дай им и мне выехать за границу. Это избавит тебя от массы хлопот.

— Что ты, собственно, имеешь против моего правительства?

— Меня нисколько не интересует твое правительство. Меня возмущают только твои попытки вызвать во мне интерес к нему. Оставь меня одного.

— "Один" — гнуснейшее слово во всем языке. Никто не бывает один. Когда в организме клетка заявляет: "Оставьте меня одну", возникает рак.

— В какой тюрьме или тюрьмах они сидят?

— Виноват?

— Где, например, Эмбер?

— Ты хочешь знать слишком много. Эти скучные технические материи, право, не заслуживают интереса со стороны такого ума, как твой. Ну, а теперь ——

Нет, не совсем так все это происходило. Прежде всего, большую часть встречи Падук промолчал. Сказанное же им свелось к нескольким отрывистым плоскостям. Наверняка он слегка барабанил пальцами по столу (эти все барабанят), и Круг отзывался собственной дробью, но более ничем нервозности не выказывал. Снятые сверху, они вышли бы в китайской перспективе — вроде кукол, отчасти обмякших, но, верно, с жесткой сердцевиной под благовидными одеяниями, — один привалился к столу в полоске серого света, другой сидит от стола несколько вбок, скрестивши ноги и покачивая вверх-вниз ступней, той, что повыше, — и скрытый зритель (какое-нибудь антропоморфное божество, к примеру) наверняка позабавился бы формой видимых сверху человечьих голов. Падук отрывисто осведомился у Круга, достаточно ли тепло в его (Круга) квартире (никто, разумеется, не мог ожидать, что революция обойдется *без* перебоев в снабжении углем), и Круг ответил: да, достаточно. А нет ли у него затруднений с молоком и редисом? В общем есть, незначительные. Он отметил ответ Круга на странице календаря. Его опечалила весть о том, что Круг овдовел. Не приходится ли ему родственником

профессор Мартин Круг? А у покойной супруги родственники имелись? Круг предоставил ему необходимые сведения. Падук откинулся в кресле и постучал себя по кончику носа резиновой оконечностью шестигранного карандаша: теперь он держал его за концы, горизонтально, и слегка перекатывал между большими и указательными пальцами, видимо заинтересованный пропажей и появлением Эберхарда Фабера № $2^3/_8$. Эта роль не из трудных, но все же актеру следует быть осторожным и не переусердствовать в том, что Грааф называет где-то "мерзостной нарочитостью". Круг между тем потягивал свой коньяк и нежно нянчил стакан. Внезапно Падук резко согнулся к столу, выдрал ящик и вынул украшенный лентами отпечатанный текст. И протянул его Кругу.

— Придется надеть очки, — сказал Круг.

Он подержал их перед собой, глядя сквозь них на далекое окно. На левом стекле, посередке, виднелась туманность, мутная, спиралевидная, похожая на отпечаток, оставленный большим пальцем призрака. Пока он дышал на нее и стирал носовым платком, Падук объяснял, что к чему. Кругу предстоит назначение в президенты Университета, взамен Азуреуса. Жалованье у него будет против оклада предшественника, каковое составляло пять тысяч крун, тройное. Сверх того ему предоставят автомобиль, велосипед и падограф. На публичном открытии Университета он будет любезен выступить с речью. Его труды, пересмотренные в свете политических событий, выйдут новыми изданиями. Также ожидаются премии, годичные отпуска (для науки), лотерейные билеты, корова — много всякого.

— А это, я полагаю, речь, — уютно молвил Круг. Падук отметил, что, в видах недоставления Кругу лишних хлопот, речь была заготовлена специалистом.

— Мы надеемся, она понравится тебе, как понравилась нам.

— Стало быть, — повторил Круг, — это и есть речь.

— Да, — сказал Падук. — Теперь не торопись. Прочитай внимательно. О, кстати, там нужно было переменить одно слово. Не знаю, сделали или нет. Будь добр ——

Он протянул руку, чтобы взять у Круга текст, и при этом сбил локтем стакан. Остатки молока образовали на столе белую лужицу, формой напоминающую почку.

— Да, — сказал Падук, возвращая текст, — переменили.

И он занялся удалением со стола различных предметов (бронзового орла, карандаша, почтовой открытки с "Юношей в голубом" Гейнсборо, рамки с репродукцией "Альдобрандинской свадьбы" с полунагой, прелестной миньоной в венке, которую жених должен покинуть для комковатой, укутанной в покрывало невесты), затем бестолково зашлепал по молоку куском промокашки. Круг читал sotto voce:

— "Дамы и господа! Граждане, солдаты, жены и матери! Братья и сестры! Революция поставила задачи [zadachi] необычайной трудности, колоссальной важности, всемирного охвата [mirovovo mashtaba]. Наш вождь прибегнул к решительнейшим революционным мерам, рассчитанным на то, чтобы пробудить безграничный энтузиазм угнетенных и эксплуатируемых масс. В кратчайшее [kratchaishii] время [srok] Государство создало центральные органы для обеспечения страны всеми продуктами первостепенной важности, распределение которых производится по твердым ценам и самым плачевным образом. Виноват — *плановым* образом. Жены, солдаты и матери! Гидра реакции еще может поднять свою голову!.."

— Не годится, у этой твари не одна голова, не так ли?

— Пометь, — сказал сквозь зубы Падук. — Пометь на полях и продолжай, ради всего святого.

— "Как говорит старая наша пословица, "чем баба страшнее, тем и вернее", — этого, однако, нельзя отнести к "страшным слухам", распускаемым нашими врагами. Ходят, например, слухи, что сливки нашей интеллигенции находятся в оппозиции к нынешнему режиму".

— Не правильнее ли будет сказать "взбитые сливки"? Я имею в виду, что, следуя метафоре...

— Пометь, пометь, эти мелочи не существенны!

— "Неправда! Пустая фраза, ложь! Те, кто неистовствует, кто буйствует, кто мечет громы и молнии, кто скрежещет зубами и изливает на нас безостановочный поток

[potok] брани, прямо ни в чем нас не обвиняют, они лишь "бросают намеки". Эти намеки глупы. Отнюдь не вставая в оппозицию к режиму, мы, профессора, писатели, философы и прочее и тому подобное, поддерживаем его со всей возможной ученостью и энтузиазмом.

Нет, господа, нет, предатели, самые "категорические" ваши слова, декларации и заявления не умалят этих фактов. Вы можете сколько вам угодно замазывать тот факт, что наши передовые профессора и мыслители поддерживают режим, но вы не в состоянии умалить тот факт, что они его поддерживают. Мы счастливо и гордо шагаем в ногу с массами. Слепая материя прозрела и сшибла розовые очки, украшавшие длинный нос так называемой Мысли. Чего бы я раньше ни думал и ни писал, ныне для меня стало ясным одно: две пары глаз, кому бы они ни принадлежали, взглянув на сапог, увидят один и тот же сапог, поскольку в обеих он отражается одинаковым образом; и далее, что вместилищем мысли является гортань, так что работа сознания есть своего рода полоскание".

— Вот те и раз! Последнее предложение смахивает на покалеченный пассаж из одной моей работы. Причем вывернутый наизнанку кем-то, не уяснившим сути моего замечания. Я оспаривал старую ——

— Умоляю тебя, продолжай. Умоляю ——

— "Иными словами, новое Образование, новый Университет, который я счастлив и горд возглавить, ознаменуют собой эру Динамичного Образа Жизни. В результате великое и прекрасное упрощение придет на смену порочным тонкостям дегенеративного прошлого. Мы будем учить, и научим прежде всего тому, что мечта Платона стала явью в руках Главы нашего Государства ——"

— Ну, это уж полная околесица. Я отказываюсь продолжать. Забери его от меня.

И он подтолкнул текст к Падуку, который сидел закрыв глаза.

— Не принимай поспешных решений, бедламный Адам. Ступай домой. Все обдумай. Нет, молчи. Они больше не смогут сдержать своего огня. Умоляю, ступай.

Чем, разумеется, встреча и завершилась. Так? Или, быть может, иначе? Вправду ли Круг заглянул в подготовленную речь? И если заглянул, вправду ль она была настолько глупа? Он заглянул; она была. Убогий тиран, или президент страны, или диктатор, или кем он там был, — человек по имени Падук, в одно слово, или Жаба, в другое, — вручил любимому моему герою загадочную стопку опрятно отпечатанных страниц. Актера, играющего получателя, следует вразумить, чтобы он не смотрел себе на руки, медленно, *очень медленно* принимая бумаги (и пожалуйста, пусть пошевеливает латеральными нижнечелюстными мышцами), но чтобы глядел подателю прямо в глаза; короче, сначала — на подателя, а уж *потом* опустить глаза на даваемое. Однако оба они были люди неуклюжие, раздраженные, и эксперты, сидевшие в кардиариуме, обменялись в некий миг (когда пролилось молоко) торжественными кивками; и эти кивки тоже притворными не были. Назначенное предположительно на срок месяца три спустя открытие нового Университета должно было стать самым торжественным и широко освещаемым действом, с сонмищем журналистов из иностранных держав — невежественных, с излишней щедростью оплачиваемых репортеров с бесшумными пишущими машинками на коленях и фотографов, души которых стоят дешевле сушеных фиг. И некий великий мыслитель этой страны должен был появиться в алых хламидах (чик) бок о бок с символом и главой Государства (чик, чик, чик, чик, чик, чик) и громко провозгласить, что Государство значительнее и мудрее любого из смертных.

12

Размышляя об этой фарсовой встрече, он гадал, как долго придется ждать новой попытки. Он по-прежнему верил, что, пока он сидит тихо и не высовывается, никакой пагубы с ним не случится. Как ни странно, в конце месяца пришел его обычный чек, хотя Университет до поры до времени существование свое прекратил, по крайней мере во внешних его проявлениях. За кулисами текла бесконеч-

ная череда заседаний, кутерьма административной активности, перегруппировка сил, но он уклонялся и от посещения этих сборищ, и от приема разного рода делегаций и специальных гонцов, которых продолжали слать к нему Азуреус с Александером. Он рассудил, что, когда Совет Старейшин израсходует все средства совращения, его оставят в покое, поскольку правительство, не осмеливаясь его арестовать и не желая даровать ему роскошь изгнания, будет все же с упрямством отчаяния верить, что он рано или поздно, может быть, и смягчится. Однообразный окрас, приобретаемый будущим, вполне оказался под масть серому миру его вдовства, и, если бы не друзья, о которых следовало заботиться, и не сын, льнущий к сердцу его и к щеке, он мог бы посвятить эти сумерки какому-нибудь неспешному исследованию: ему, например, всегда хотелось побольше узнать об ориньякской эпохе и о тех портретах необычайных существ (возможно, то были неандертальские полулюди — прямые прародители Падука и подобных ему, — которых ориньяки использовали в качестве рабов), обнаруженных испанским вельможей и его малышкой дочерью в расписных пещерах Альтамиры. Или он мог бы заняться одной неясной проблемой викторианской телепатии (о случаях которой сообщали священники, нервные дамы и отставные полковники, хлебнувшие службы в Индии), скажем, замечательным сном миссис Стори касательно гибели ее брата. Последуем, в свой черед, и мы за этим братом, который в очень темную ночь шел вдоль железнодорожного полотна; отшагав шестнадцать миль, он почувствовал небольшую усталость (и кто бы ее не почувствовал?) и присел, чтобы стянуть сапоги, да задремал под стрекот сверчков, а там застучал и поезд. Семьдесят шесть овечьих вагонов (в странной пародии на усыпительный счет овечек) промчали, не тронув его, но затем какой-то выступ чиркнул несчастного по затылку и прямо на месте убил. Мы также могли бы исследовать “illusions hypnagogiques” (всего лишь иллюзии?) милейшей мисс Биддер — ей как-то приснился кошмар, самый явственный из демонов коего пережил ее пробужденье, так что она даже села,

дабы рассмотреть его лапу, вцепившуюся в спинку кровати, но лапа истаяла в росписи, что над каминной доской. Глупо, конечно, но что я могу поделать, думал он, вылезая из кресла и пересекая комнату, чтобы изменить положение подозрительных складок коричневого халата, который, раскинувшись по кушетке, показывал на одном из своих краев явственную средневековую харю.

Он пересмотрел всякую всячину, запасенную между делом для эссе, которого так и не написал и никогда уже не напишет, потому что забыл его основную мысль, его секретную комбинацию. Тут был, к примеру, папирус, который человек по имени Ринд купил у каких-то арабов (уверявших, будто они нашли его среди развалин небольших строений близ Рамессеума); папирус начинался с обещания открыть "все тайны, все загадки", но (как и в случае с демоном мисс Биддер) оказался всего лишь школьным учебником с пустыми местами, на которых какой-то неведомый египетский землепашец производил в семнадцатом веке до Рождества Христова неуклюжие выкладки. Газетная вырезка сообщала, что Государственный Энтомолог подал в отставку, дабы стать Советником по Тенистым Деревьям, и оставалось гадать, не витиеватый ли это восточный эвфемизм для обозначения смерти. На другой листок он перенес строки из знаменитой американской поэмы:

Будь тверд, о мрачный полубог!
Его фонтан взлетает вверх,

Но накатил высокий вал,
Питье идет по кругу.

Земля лежит за сотню лиг,
И он не знает — где...

Ну и, разумеется, тот отрывок об усладительной смерти сборщика меда из Огайо (забавы ради я сохраняю здесь слог, которым излагал его некогда в Фуле праздной компании моих русских друзей).

Труганини, последний тасманец, умер в 1877 году, однако последний Круганини не мог припомнить, в чем тут связь с тем обстоятельством, что съедобные галилейские рыбы первого столетия по Рождестве Христовом в большинстве своем оказались хромидами и усачами, впрочем, в Рафаэлевом представлении чудесной рыбной ловли среди неописуемых рыбьих обличий, рожденных фантазией юного живописца, мы находим два экземпляра, со всей очевидностью принадлежащих к семейству скатов, никогда в пресной воде не встречаемому. Говоря же о римских venationes (представлениях с диким зверьем), относящихся к той же самой эпохе, нужно отметить, что сцена, на которой были устроены смехотворно картинные скалы (ставшие позже украшением "романтического" пейзажа) и посредственно выполненные леса, поднималась наверх из крипт, расположенных под пропитанной мочою ареной, и несла на себе Орфея в окружении подлинных львов и медведей с раззолоченными когтями; впрочем, Орфея изображал преступник, а представление завершалось тем, что медведь его приканчивал, между тем как Тит, или Нерон, или Падук взирал на все это с той полнотой наслаждения, которую, как уверяют, порождает "искусство", пронизанное "человеческим содержанием".

Ближайшая к нам звезда — это альфа Центавра. До Солнца от нас примерно 93 миллиона миль. Наша Солнечная система родилась от спиральной туманности. Де Ситтер, господин с досугом, оценивает окружность нашей "конечной, но безграничной" Вселенной приблизительно в сто миллионов световых лет, а массу ее — в квинтильон квадрильонов грамм. Мы можем легко представить себе людей, которые в 3000 году нашей эры, презрительно усмехаясь нашим наивным нелепицам, заменяют их нелепицей собственной выделки.

"Гражданская война сокрушает Рим, которого не смог разрушить никто, ни даже дикий зверь Германии с ее синеглазыми юношами". Как я завидую Круквиусу, действительно видевшему Бландинианские рукописи Горация (погибшие в 1556 году, когда толпа грабила бенедиктинское

аббатство Св. Петра в Бланкенберге близ Гента). Ах, каково это было — странствовать по Аппиевой дороге в большой четырехколесной повозке для дальних поездок, называвшейся rheda? И такие же репейницы обмахивались крыльями на таких же головках чертополоха.

Жизни, которым завидую: долголетие, мирные времена, мирная страна, тихая слава, тихое удовлетворение — Ивар Осен, норвежский филолог, 1813—1896, изобрел новый язык. С тех пор у нас было слишком много homo civis и слишком мало sapiens.

Доктор Ливингстон вспоминает, как однажды, некоторое время проговорив с бушменом о Божестве, он обнаружил, что дикарь пребывает в уверенности, будто речь идет о Сакоми, местном вожде. Муравей живет в пространстве оформленных запахов, химических конфигураций.

Старинный зороастрийский мотив восходящего солнца в устройстве персидских стрельчатых арок. Кровавые с золотом ужасы мексиканских жертвоприношений (со слов католических патеров) или восемнадцать тысяч мальчиков Формозы, все не старше девяти, маленькие сердца которых выжигали на алтаре по приказу лжепророка Псалманазара, — все оказалось европейской подделкой бледно-зеленого восемнадцатого столетия.

Он сунул заметки обратно в ящик стола. Они мертвы и ни на что не годятся. Облокотясь о стол и слегка раскачиваясь в кресле, он неспешно почесывал череп под жесткими волосами (жесткими, как у Бальзака, у него и это где-то записано). Гнетущее чувство нарастало в нем: он пуст и никогда больше не напишет книги, он слишком стар, чтобы, наклонясь, перестроить мир, распавшийся, когда она умерла.

Он зевнул и задумался — кто именно из позвоночных раззевался первым и можно ли предположить, что этот унылый спазм был первым признаком утомления всего подвида в целом (в эволюционном аспекте). Возможно, будь у меня новая самописка вместо этой развалины или свежий букетик, скажем, из двадцати дивно заостренных карандашей в тонкой вазе да стопка матовых гладких

листов вместо этих, ну-ка, посмотрим, тринадцати, нет, четырнадцати более или менее мятых (с двуглазым долихокефальным профилем, изображенным Давидом на верхнем из них), я смог бы начать писать ту неведомую мне вещь, которую я хочу написать; неведомую, если не считать нечеткого очерка, похожего формой на след ноги, инфузорчатой дрожи, которую я ощущаю в своих беспокойных костях, чувства shchekotiki (как говорили мы в детстве) — получесотки, получихотки, когда пытаешься что-то припомнить, или понять, или найти, и, вероятно, пузырь у тебя переполнен и нервы натянуты, но в общем сочетание не лишено приятности (если его не затягивать) и порождает малый оргазм, или “petit éternuement intérieur”, когда наконец находишь кусочек вырезной картинки, плотно ложащийся в брешь.

Отзевав, он рассудил, что тело его чересчур для него велико и здорово: если б оно ссохлось, одрябло, истомилось в недомогании, он смог бы жить в большем мире с собой. Рассказ барона Мюнхгаузена о декорпитации кобылы. Но индивидуальный атом свободен; он пульсирует как захочет — в нижнем или в верхнем регистре; он сам решает, когда ему залучать и когда излучать энергию. Кое-что можно-таки сказать в пользу методы, которой пользовались персонажи старых романов: и впрямь успокаиваешься, приложившись лбом к сладкой прохладе оконного стекла. Так и стоял он, бедный перцепиент. Пасмурным утром в заплатах подмокшего снега.

Через несколько минут (если часы его верны) время забирать Давида из детского сада. Медленные, истомленные звуки и нерешительные шлепки, долетавшие из соседней комнаты, означали, что Мариэтта решилась выразить свои туманные представления о порядке. Он слышал расхлябанные проходы ее старых спальных шлепанцев, отороченных грязным мехом. Ей было присуще раздражающее обыкновение исполнять обязанности по дому, не надевая ничего, что скрыло бы ее бедное юное тело, кроме тусклой ночной рубашки, обтрепанная кромка которой едва достигала колен. Femineum lucet per bombycina corpus. Красивые

щиколки: по ее словам, она получила приз на танцевальном конкурсе. Вранье, полагаю, как и большая часть ее россказней, хотя, с другой стороны, в комнате у нее есть испанский веер и парочка кастаньет. Как-то, проходя мимо, он без особой причины (или он что-то искал? Нет) заглянул к ней в комнату, пока она гуляла с Давидом. В комнате резко пахло ее волосами и "Sanglot'ом" [дешевыми мускусными духами], валялась по полу всякая всячина, по преимуществу испачканное белье, а на столике у кровати стояли сумеречно-красная роза в стеклянном стакане и большой рентгеновский снимок ее легких и позвоночника. Стряпухой она оказалось до того ужасной, что всем троим пришлось по крайней мере раз в день кормиться едой, покупаемой в ближайшем ресторане, завтракали же и ужинали яйцами, овсянкой и разного рода консервами.

Снова взглянув на часы (и даже выслушав их), он решил вывести свое беспокойство на прогулку. Золушка обнаружилась в спальне Давида; она прервала свои труды, подобрав одну из его книжек о зверушках, и теперь погрузилась в нее, полуприсев, полуприлегши поперек кровати, откинув одну ногу и утвердив голую лодыжку на спинке стула; шлепанец свалился, пальцы на ноге шевелились.

— Я сам заберу Давида, — сказал он, отвращая взоры от выставленных напоказ сумеречно-красных теней.

— Что? (Странное дитя не затруднилось переменою позы, только перестало подергивать пальцами и подняло лишенные блеска глаза.)

Он повторил.

— А, ладно, — сказала она, опуская глаза в книгу.

— И оденьтесь, пожалуйста, — сказал Круг, прежде чем выйти из спальни.

Надо найти кого-то другого, думал он, шагая по улице, кого-то совсем другого, пожилого и полностью одетого. Насколько я понимаю, это у нее просто такая привычка, результат постоянного позирования нагишом чернобородому живописцу из 30-й квартиры. Фактически летом, рассказывала она, никто из них ничего внутри квартиры не надевал, — ни он, ни она, ни жена художника (которая,

согласно выставлявшимся до революции разнообразным полотнам, обладала грандиозным телом с многочисленными пупками — одни были хмурые, другие смотрели в большом удивлении).

Детским садом, веселым маленьким заведением, руководили прежние студенты Круга, женщина по имени Клара Зеркальская и ее брат Мирон. Основным развлечением восьми приходящих сюда детей был запутанный лабиринт из чем-то мягким обитых туннелей, как раз такой высоты, чтобы по ним можно было ползать на всех четырех, — но, кроме него, имелись ярко раскрашенные картонные кирпичи, заводные поезда, книжка с картинками и настоящий косматый песик по кличке Бассо. Ольга нашла это место в прошлом году, и Давид уже отчасти его перерос, хотя по-прежнему обожал проползать через туннели. Дабы избегнуть обмена приветствиями с другими родителями, Круг остановился у калитки, за которой лежал маленький садик (теперь в основном состоящий из луж) со скамейками для посетителей. Давид первым выбежал из весело раскрашенного деревянного дома.

— А почему не пришла Мариэтта?

— Вместо меня? Надень шапочку.

— Вы с ней вместе могли прийти.

— А галош у тебя разве не было?

— Не-а.

— Тогда давай руку. И если ты хоть раз влезешь в лужу...

— А если я не нарошно [nechaianno]?

— Об этом уж я позабочусь. Пойдем, raduga moia [моя радость], подай мне руку и давай двигаться.

— Билли сегодня кость принес. Вот здорово! Я тоже потом принесу.

— Это темный Билли или тот, маленький, в очках?

— В очках. Он сказал, что мама умерла. Смотри, смотри, трубочистка.

(Они появились недавно в результате какого-то малопонятного сдвига, сдрыга, спрыга или срыга в экономике Государства — и к вящей радости детворы.) Круг молчал. Давид продолжал говорить:

— Это ты виноват, а не я. У меня в левом ботинке полно воды. Пап!

— Да.

— У меня в левом ботинке полно воды.

— Да. Прости. Пойдем немного быстрее. И что ты ответил?

— Когда?

— Когда Билли сказал эту глупость о маме.

— Ничего. А что надо было сказать?

— Но ты ведь понял, что это глупость?

— Ну, я догадался.

— Потому что, *если бы* она и умерла, для нас с тобой она все равно не была бы мертвой.

— Да, но ведь она же не умерла, правда?

— Не в нашем смысле. Для нас с тобой кость ничего не значит, а для Бассо — очень многое.

— Пап, он *рычал* на нее. Просто лежал и рычал, и лапу на нее положил. Барышня Зи сказала, что нам нельзя его трогать и разговаривать с ним нельзя, пока она у него.

— Raduga moia!

Они уже шли по улице Перегольм. Бородатый мужчина, про которого Круг точно знал, что это шпион, и который всегда пунктуально являлся в полдень, уже торчал на посту перед Круговым домом. Иногда он поторговывал яблоками, однажды пришел переодетым в почтальона. В особо холодные дни он пробовал стоять в витрине портного, притворясь манекеном, и Круг развлекался, играя с беднягой в "переглядушки". Сегодня он инспектировал фасады домов и что-то такое черкал в блок-нотике.

— Считаете дождевые капли, инспектор?

Мужчина глянул вбок, отшагнул и, шагая, ушиб ногу о бордюр. Круг усмехнулся.

— Вчера, — сообщил Давид, — когда мы проходили мимо, этот дядя подмигнул Мариэтте.

Круг опять усмехнулся.

— Пап, а знаешь что? Наверное, это она с ним разговаривает по телефону. Она все время разговаривает по телефону, когда ты уходишь.

Круг рассмеялся. Странная девчушка, как ему представлялось, крутила любовь с целой толпой ухажеров. Дважды в неделю полдня у нее свободны и, вероятно, заполнены фавнами, футболистами и матадорами. Не переходит ли это в манию? Кто она мне — служанка? приемная дочь? Или что? Ничего. Я отлично знаю, подумал Круг, отсмеявшись, что она просто-напросто отправляется в киношку с подружкой-толстушкой, — так она и говорит, и у меня нет повода ей не верить; а если бы я действительно считал, что она — то, чем она определенно является, я бы ее в два счета уволил: по причине заразы, которую она может затащить в детскую. Ольга именно так бы и сделала.

В один из дней прошедшего месяца лифт устранили физически. Пришли какие-то люди, налепили печать на дверь домишки незадачливого барона и оттащили его в грузовик целым и невредимым. Птичка внутри так напугалась, что даже не зачирикала. Или птичка тоже была шпионом?

— Не надо, не звони. У меня ключ.

— Мариэтта! — крикнул Давид.

— Она скорее всего в магазине, — сказал Круг и поспешил в ванную комнату.

Она стояла в ванне, волнообразно намыливая спину — по крайности те участки ее узкой, усеянной впадинками, отблескивающей спины, до которых могла дотянуться, закинув руку за плечо. Волосы были зачесаны кверху и покрыты косынкой или чем-то еще, накрученным. Зеркало отражало рыжеватую подмышку и бледный пузырек соска. “Сичас иду!” — пропела она.

Круг ахнул дверью, подчеркнуто выразив гнев. Он торжественно прошагал в детскую и помог Давиду переобуться. Она была еще в ванной, когда человек из Английского клуба принес мясной пирог, рисовый пудинг и ее подростковые ягодицы. После ухода лакея она появилась, встряхивая волосами, и пробежала к себе в комнату, где вскользнула в черную ряску и через минуту выскочила и принялась накрывать на стол. К концу обеда пришли газеты и послеполуденная почта. Ну-с, и какие же новости?

13

Правительство затеяло присылать ему в изрядных количествах печатную продукцию, расхваливающую его (Правительства) цели и достижения. Вместе со счетом за телефон и рождественским поздравлением от дантиста он обнаружил в почтовом ящике мимеографированный циркуляр нижеследующего содержания:

Дорогой Гражданин, согласно статье 521 нашей Конституции, нация имеет возможность пользоваться следующими четырьмя свободами: 1) свободой слова, 2) свободой печати, 3) свободой собраний и 4) свободой шествий. Эти свободы обеспечиваются предоставлением в распоряжение народа производительных печатных прессов, соответственных запасов бумаги, хорошо проветриваемых общественных зданий и широких улиц. Что следует понимать под первыми двумя свободами? Для граждан нашего Государства газета является коллективным организатором, задачей которого является подготовка читателя к выполнению стоящих перед ним разнообразных задач. В то время как в других странах газеты являются чисто доходными предприятиями, фирмами, которые продают свою печатную продукцию публике (и потому делают все возможное для привлечения таковой посредством пугающих заголовков и сомнительных историй), главной задачей *нашей* печати является обеспечение каждого гражданина такой информацией, которая давала бы ему ясное понимание узловых проблем, выдвигаемых внутренними и международными событиями; следовательно, она направляет деятельность и чувства читателей в нужном направлении.

В других странах мы наблюдаем огромное количество конкурирующих органов. Каждая газета тянет в свою сторону, и это обескураживающее разнообразие тенденций вконец запутывает сознание простого человека; в нашей воистину демократической стране единообразная пресса отвечает перед нацией за правильность обеспечиваемого ею политического образования. В наших газетах статьи являются не плодом фантазии той или иной личности, но зрелым, тщательно подготовленным обращением к читателю, который, со своей стороны, принимает его с такой же серьезностью и усилием мысли.

Еще одной важной особенностью нашей печати является добровольное сотрудничество корреспондентов на местах —

письма, предложения, дискуссии, критические замечания и тому подобное. Мы видим, следовательно, что наши граждане имеют свободный доступ к газетам — состояние дел, немыслимое где бы то ни было еще. Правда, в других странах немало разглагольствуют о "свободе", но на деле отсутствие капиталов не позволяет каждому пользоваться печатным словом. Ясно, что миллионер и рабочий не обладают равными возможностями.

Наша печать является общественной собственностью нашего народа. Поэтому она ведется не на коммерческой основе. На политические тенденции капиталистической газеты способны влиять даже объявления; у нас это, конечно, совершенно исключено.

Наши газеты издаются правительственными и общественными организациями и являются абсолютно независимыми от личных, частных и коммерческих интересов. Независимость, в свою очередь, является синонимом свободы. Это очевидно.

Наши газеты полностью и абсолютно не зависят от всех тех влияний, которые не совпадают с интересами Народа, который является их хозяином и которому они служат в целях искоренения всех прочих хозяев. Таким образом, наша страна пользуется свободой речи не в теории, а в реальной практике. Опять-таки очевидно.

В конституциях других стран также упоминаются разного рода "свободы". На деле, однако, эти "свободы" крайне ограничены. Нехватка бумаги ограничивает свободу печати; неотапливаемые помещения не располагают к свободным собраниям; а демонстрации и шествия разгоняются полицией под предлогом регулировки движения.

В общем и целом газеты других стран состоят на службе у капиталистов, которые либо владеют собственными органами, либо приобретают столбцы в других газетах. Так, например, не так давно один делец за несколько тысяч долларов продал другому журналиста по имени Баллпляс.

Когда же, с другой стороны, полмиллиона американских текстильных рабочих вышли на забастовку, газеты писали о королях и королевах, о синематографах и театрах. Самой популярной фотографией, появившейся во *всех* капиталистических газетах этого периода, было изображение двух редкостных бабочек, сверкавших vsemi tzvetami radugi [всеми оттенками радуги]. Но ни слова о забастовке текстильных рабочих!

Как сказал наш Вождь: "Рабочие знают, что "свобода слова" в так называемых "демократических" странах есть пустой

звук". В нашей с вами стране не может быть никакого противоречия между действительностью и правами, дарованными Конституцией Падука, ибо у нас имеются достаточные запасы бумаги, множество исправных печатных прессов, просторные и теплые общественные здания, а также великолепные улицы и парки.

Мы всегда рады вопросам и предложениям. Фотоснимки и подробные брошюры высылаются бесплатно по первому требованию.

(Это я сохраню, думал Круг. Я подвергну этот документ какой-либо специальной обработке, которая позволит ему дотянуть до далекого будущего, — к вечной радости свободных юмористов. О да, это я сохраню.)

Что же до новостей, их практически не имелось ни в "Эквилисте", ни в "Вечернем Звоне" и ни в каком ином из контролируемых правительством поденных изданий. Передовицы, однако, были блистательны:

Мы верим, что единственным истинным Искусством является Искусство Дисциплины. Все остальные искусства в нашем Образцовом Городе суть лишь подчиненные вариации этого верховного Трубного Зова. Мы любим наше корпоративное тело, которому принадлежим в большей степени, нежели самим себе, но еще сильнее мы любим нашего Правителя, который олицетворяет это тело в понятиях нашего времени. Мы за совершенную Кооперацию, смешивающую и уравновешивающую три ипостаси нашего Государства: производительную, исполнительную и созерцательную. Мы за абсолютную общность интересов наших сограждан. Мы за плодоносную гармонию между любящим и любимым.

(Читая это, Круг испытывал неясное "лакедемоническое" ощущение: палки и плети; музыка; и странные ужасы ночи. Он немного знал автора этой статьи — убогого старика, который много лет назад редактировал под псевдонимом "Панкрат Цикутин" погромный журнал.)

Еще серьезная статья, — удивительно, какие нынче строгости в наших газетах.

Человек, никогда не принадлежавший к масонской ложе или к землячеству, клубу, союзу и тому подобному, — это опасный и ненормальный человек. Конечно, некоторые организации были из рук вон плохи, их теперь запретили, и все-таки человеку лучше принадлежать к политически ошибочной организации, чем не принадлежать ни к какой вообще. В качестве примера, которым должен искренне восхититься и которому обязан последовать каждый гражданин, нам хотелось бы привести нашего соседа, который признается, что ничто на свете — ни самый захватывающий детективный роман, ни пышные прелести его молодой супруги, ни даже мечты, дорогие каждому юноше, мечты о том, что когда-нибудь и сам он тоже станет начальником, — не в состоянии спорить с еженедельной радостью — встречей с себе подобными и хоровым пением в обстановке доброго веселья и, позвольте добавить, доброй коммерции.

Много места занимали в последнее время выборы в Совет Старейшин. Перечень кандидатов, числом в тридцать, был разработан особой комиссией под председательством Падука и пущен по стране; избирателям надлежало выбрать из него одиннадцать человек. Та же комиссия назначила “группы сторонников”, то есть определенные списки имен получали в поддержку специальных агентов, именуемых “megaphonshchiki” (“сторонники” с рупорами), которые прославляли на уличных углах гражданские доблести своих кандидатов, создавая тем самым видимость бурной предвыборной борьбы. Все дело оказалось запутанным до крайности, да и вовсе было не важно, кто победит, а кто проиграет, однако ж газеты довели себя до состояния обезумелого исступления, каждый день, а затем и каждый час особыми выпусками извещая о результатах борьбы в том или ином округе. Еще интересная особенность: в наиболее волнующие моменты артели сельских или фабричных рабочих, совершенно как насекомые, побуждаемые к совокуплению какими-то необычными атмосферическими явлениями, вдруг посылали картели в адрес других таких же артелей, заявляя о желании учинить в честь выборов “производственное соревнование”. Поэтому чистым результатом “выборов” была не какая-то особая перемена в составе

Совета, но чрезвычайно экстатические, хоть и несколько изнуряющие "скачки" в производстве жаток, сливочных карамелей (в ярких фантиках с изображеньями голых девиц, намыливающих себе лопатки), kolbendeckelschrauben'ов (пальцев поршней-толкателей), nietwippen'ов (неваляшек), blechtafel'а (листового железа), krakhmalchikov (крахмальных воротничков для мужчин и мальчиков), glockenmetall'а (bronzo da campane), geschützbronze (bronzo da cannoni), blasebalgen'ов (vozdukhoduvnykh mekhov) и прочих полезных штучек.

Подробнейшие отчеты о различных собраниях рабочего люда и тружеников коллективных огородов, хлесткие статьи о задачах бухгалтерского учета, разоблачения, новости о деятельности бесчисленных профсоюзов и рубленые ритмы посвященных Падуку стихов, напечатанных en escalier (что, кстати, утраивало построчные гонорары), полностью заменили уютные смертоубийства, светские браки и боксерские драки более счастливых и легкомысленных времен. Как будто одну сторону глобуса разбило параличом, а другая меж тем еще улыбалась неверящей — и слегка глуповатой — улыбкой.

14

Он никогда не увлекался поисками Истинной Субстанции, Единого, Абсолюта — алмаза, свисающего с рождественской елки Космоса. Конечный разум, сквозь тюремные прутья целых чисел вперяющийся в радужные переливы незримого, всегда казался ему отчасти смешным. И даже если Вещь постижима, чего ради он или, коли на то пошло, кто угодно другой должен желать, чтобы феномен утратил свои локоны, зеркало, маску и обратился в лысый ноумен?

С другой стороны, если (как полагает кое-кто из неоматематиков — из тех, кто поумнее) физический мир можно мыслить как образованный исчислимыми группами (клубками напряжений, вечерними роениями электрических искр), плывущими наподобие mouches volantes по затенен-

ному фону, лежащему за границами физики, тогда, конечно, смиренное ограничение своих интересов измерением измеримого отдает всепокорнейшей тщетой. Подите вы прочь с вашими линейками и весами! Ибо без ваших правил, в неназначенном состязании, вне бумажной гонки науки босоногая Материя *перегоняет* Свет.

Вообразим далее призматическую камеру или даже тюрьму целиком, где радуги суть лишь октавы эфирных вибраций, где космогонисты со сквозистыми головами все входят и входят один в другого и все проходят сквозь вибрирующую пустоту друг друга, а между тем повсюду вокруг различные системы отсчета пульсируют, сокращаясь по Фицджеральду. Теперь встряхнем как следует телескопоидный калейдоскоп (ибо что такое ваш космос, как не прибор, содержащий кусочки цветного стекла, каковые благодаря расстановке зеркал предстают перед нами во множестве симметрических форм, — если его покрутить, заметьте: если его покрутить) и закинем эту дурацкую штуку подальше.

Сколь многие из нас принимались строить наново — или считали, что строят! А после переживали свои построения. И глянь: Гераклит Плаксивая Ива мреет в дверях, и Парменид Дым выходит из очага, и Пифагор (он уже внутри) вычерчивает тени оконных рам на полированном ярком полу, где резвятся мухи (я сажусь, а ты вззлетаешь; я ззужу, а ты садись; и дерг-дерг-дерг; и обе позудели).

Долгие летние дни. Ольга играет на пианино. Музыка, порядок.

Вся беда Круга в том, думал Круг, что долгие летние годы и с огромным успехом он старательно разбирал на части чужие системы и приобрел по этой причине славу обладателя шаловливого чувства юмора и прелестного здравого смысла, тогда как на самом деле он был большим и печальным боровом и весь его "здравый смысл" сводился к постепенному копанию ямы, достаточной, чтобы упрятать в нее смешливое сумасшествие самой чистой воды.

Его постоянно называли одним из самых видных философов нашего времени, однако он понимал, что никто, в сущности, не смог бы определить, каковы отличительные

черты его философии, или что означает "видный", или что такое в точности "наше время", или же кто такие остальные достойные именитости. И когда иноземных писателей именовали его учениками, он ни единого разу не смог отыскать в их писаниях и отдаленного сходства со стилем или складом мышления, приписанными ему критиками без его на то согласия, так что он в конце концов начал считать себя (здоровенного, грубого Круга) иллюзией или, скорее, держателем акций иллюзии, высоко оцененной большим числом культурных людей (с изрядным вкраплением полукультурных). Нечто похожее поневоле случается в романах, когда автор заодно с поддакивающими персонажами принимается уверять, что герой его "великий художник" или "великий поэт", не представляя, впрочем, никаких доказательств (репродукций картин, образчиков поэзии); на самом-то деле принимая меры, чтобы *не* предоставить таких доказательств, потому что любой предъявленный образец наверняка обманет фантазии и ожиданья читателя. Круг, не переставая гадать, кто же его так раздул, кто спроецировал его на экраны славы, не мог избавиться от чувства, что в каком-то странном смысле он того заслужил, что он действительно крупнее и умнее большинства окружающих; но понимал при этом: то, что люди, не сознавая того, в нем находят, является, быть может, не чудесным распространением позитивной материи, но родом беззвучно застывшего взрыва (будто бобину остановили там, где разрывается бомба) с несколькими обломками, изящно подвешенными в воздухе.

Когда разум такого типа, столь пригодный для "творческого разрушения", говорит себе, как мог бы сказать всякий сбившийся с толку философ (о, это помятое неуютное "я", шахматный Мефистофель, упрятанный в cogito!): "Вот, я расчистил почву, теперь начинаю строить, и боги древней философии не смогут мне помешать", результат обыкновенно сводится к кучке холодных трюизмов, выуженных из искусственного озерца, куда их нарочно запустили для этой именно цели. То, что надеялся выудить Круг, было чем-то не просто принадлежащим к неописанным видам, родам,

семейству, отряду, но чем-то представляющим новый с иголочки класс.

Пора нам высказаться с совершенной ясностью. Что важнее решить: проблему "внешнюю" (пространство, время, материя, непознанное вовне), или проблему "внутреннюю" (жизнь, мышление, любовь, непознанное внутри), или опять-таки точку их соприкосновения (смерть)? Ибо мы согласились, — мы согласились, не правда ли? — что проблемы *как таковые* существуют, даже если мир есть нечто, изготовленное из ничто и помещенное в ничто, изготовленное из нечто. Или "внутреннее" и "внешнее" — это также иллюзия, и потому можно сказать о высокой горе, что она выше другой на тысячу снов, а надежду и отчаяние легко нанести на карту в виде названных с их помощью заливов и мысов?

Отвечай же! Ах, что за восхитительный вид: опасливый логик нащупывает путь среди тернистых зарослей и волчьих капканов мышления, помечает дерево или утес (тут я прошел, с этим Нилом все ясно), оглядывается (иными словами) и осторожно пробует некую зыбкую почву (приступим теперь...); тормозит целый автобус замороченных им туристов у подножья метафоры или Простого Примера (предположим, что лифт...); и вот, поднажав, преодолев все затруднения, он наконец с триумфом выходит к самому первому из помеченных им деревьев!

И стало быть, думал Круг, сверх всего остального я — раб образов. Мы говорим, что одна вещь походит на какую-то другую, тогда как все, чего мы в сущности жаждем, — это описать нечто, ни на что на земле не похожее. Определенные картинки сознания настолько фальсифицированы концепцией "времени", что мы и впрямь уверовали в действительное существование вечно подвижного, сверкающего разрыва (точки перцепции) между нашей ретроспективной вечностью, которой мы не в силах припомнить, и вечностью перспективной, которую мы не в силах познать. На деле мы не способны измерить время, поскольку нет в Париже ящика с золотой секундой внутри; однако, со всей прямотой, — разве ты не можешь представить себе

длительность в несколько часов куда точнее, чем длительность в несколько миль?

А теперь, дамы и господа, мы подходим к проблеме смерти. С той степенью достоверности, которая вообще достижима на практике, можно сказать, что поиск совершенного знания — это попытка точки в пространстве и времени отождествить себя с каждой из прочих точек; смерть же — это либо мгновенное обретение совершенного знания (схожее, скажем, с мгновенным распадом плюща и камня, образовывавших круглый донжон, прежний узник которого поневоле довольствовался лишь двумя крохотными отверстиями, оптически сливавшимися в одно; тогда как теперь, с исчезновением всяческих стен, он может обозревать весь округлый пейзаж), либо абсолютное ничто, nichto.

И это, фыркнул Круг, ты называешь новым классом мышления! Давай, уди дальше.

Кто мог бы поверить, что этот могучий мозг станет настолько неупорядоченным? В прежние дни ему довольно было взяться за книгу, как отчеркнутые места и молниевидные сноски на полях едва ли не сами собой сходились в одно, и глядишь — готово эссе или новая глава, а нынче он почти не в силах поднять тяжелый карандаш с плотного пыльного ковра, на который тот выпал из его обмякшей руки.

15

Четвертого он рылся в старых бумагах и обнаружил перепечатку лекции о Генри Дойле, читанной им в Философском обществе Вашингтона. Он перечитал пассаж, полемически процитированный им в связи с идеей субстанции: "Если тело свежо и бело, мотивы свежести и белизны повторяются, взаимно сливаясь, в различных местах..." [Da mi basia mille.]

Пятого он пешком отправился в Министерство юстиции и потребовал приема в связи с арестом его друзей, но мало-помалу выяснилось, что присутствие преобразовали в

отель, а человек, принимаемый им за большого начальника, — это всего лишь старший лакей.

Восьмого, когда он показывал Давиду, как нужно тронуть катышек хлеба кончиками двух перекрещенных пальцев, чтобы получить своего рода зеркальный эффект осязания (ощущение второго катышка), Мариэтта положила ему на плечо по локоть голую руку и с интересом смотрела, все время поерзывая, щекоча висок каштановой прядью и почесывая себе спицей бедро.

Десятого студент по имени Фокус пытался увидеться с ним, но допущен не был, отчасти потому, что он никогда не позволял преподавательским делам беспокоить его вне (в настоящее время не существующего) университетского кабинета, главным же образом потому, что имелись причины полагать этого Фокуса правительственным шпионом.

Ночью двенадцатого ему приснилось, как он украдкой ублажается Мариэттой, покамест та сидит, слегка содрогаясь, у него на коленях во время репетиции пьесы, в которой она играет роль его дочери.

Ночью тринадцатого он напился.

Пятнадцатого незнакомый голос уведомил его по телефону, что Бланш Хедрон, сестра его друга, контрабандой вывезена за границу и ныне пребывает в безопасности в Будафоке — городе, расположенном, видимо, где-то в Центральной Европе.

Семнадцатого он получил удивительное письмо:

“Состоятельный сэр, двое Ваших друзей — мосье Беренц и Марбель — сообщили моему заграничному агенту, что Вы желали бы приобрести шедевр Турока “Побег”. Ежели бы Вы потрудились навестить мой магазин (“Brikabrak”, улица Тусклой Лампы, 14) часов примерно в пять пополудни в понедельник, вторник или же пятницу, я был бы рад обговорить с Вами возможность Вашего...” — большая клякса затмила конец предложения. Письмо было подписано “Петр Квист, Антиквар”.

После долгого изучения карты города он обнаружил улицу в его северо-западном углу. Он отложил лупу и снял очки. Издавая, по привычке, посещавшей его в подобных

случаях, негромкие влажные звуки, он снова надел очки и попробовал выяснить, не сможет ли какой-либо из автобусных маршрутов (помеченных красным) доставить его туда. Да, это осуществимо. Как бы внезапной вспышкой, без всякой на то причины, он вспомнил, как Ольга приподнимала левую бровь, разглядывая себя в зеркале.

Интересно, так бывает со всеми? Лицо, фраза, пейзаж, воздушный пузырек прошлого внезапно всплывает, словно выпущенный из клетки мозга ребенком головного надзирателя, пока разум занимается совершенно иными делами. Нечто в этом же роде случается как раз перед тем, как заснуть, когда то, что ты думаешь, что ты сейчас думаешь, — это вовсе не то, что ты думаешь. Или два параллельно идущих пассажирских поезда мысли, и один обгоняет другой.

Снаружи грубоватые грани воздуха чуть отдавали весной, хоть год только еще начался.

Удивительный новый закон требовал, чтобы всякий, кто садится в автобус, не только предъявлял паспорт, но также сдавал бы кондуктору подписанную и снабженную нумером фотографию. Процесс проверки соответствия обличия, подписи и нумера таковым же в паспорте был затяжным. Декрет указывал далее, что в случае, когда у пассажира отсутствует точная сумма для оплаты проезда ($17^1/_3$ цента за милю), все уплаченное им сверх этой суммы может быть возмещено ему в отдаленной почтовой конторе при условии, что он займет там очередь не позднее чем через тридцать шесть часов после оставления им автобуса. Выписывание замороченным кондуктором квитанций и наложение на них печатей имели результатом дальнейшие проволочки, а поскольку, в силу того же декрета, автобус останавливался только на тех остановках, где изъявили желание сойти самое малое три пассажира, к проволочкам добавлялась изрядная путаница. Несмотря на все эти меры, автобусы в те дни были порядком набиты.

И тем не менее Круг ухитрился добраться до цели: вместе с двумя подкупленными им (по десяти крун каждому) молодыми людьми, что помогли ему составить потребное

трио, он высадился именно там, где желал. Двое его компаньонов (честно признавшихся, что зарабатывают этим на жизнь) сразу же погрузились в проезжавший трамвай (правила для которого были намного сложнее).

Пока он ехал, стемнело, и кривоватая улочка стала оправдывать свое имя. Он испытывал возбуждение, неуверенность, тревогу. Возможность бежать из Падукграда за границу представлялась ему как бы возвратом в прошлое, ибо в прошлом его страна была свободной страной. Если пространство и время едины, бегство и возвращение взаимно заменяют друг друга. Особое качество прошлого (блаженно неоцененное вовремя, пламя ее волос, голос ее, читающий малышу из книжки об одушевленных зверушках), казалось, допускало подмену или хотя бы подделку качеством той страны, в которой его малыш сможет расти в безопасности, в мире, в свободе (длинный, длинный пляж, испещренный телами, ласковая лапушка с ее атласным чичисбеем, — реклама чего-то американского, где-то виденная, как-то застрявшая в памяти). Господи, думал он, que j'ai été veule, мне следовало сделать это несколько месяцев назад, бедняга был совершенно прав. Улица казалась заполненной книжными лавочками и тусклыми забегаловками. Вот оно. Изображения птиц и цветов, старые книги, фарфоровая кошка в горошек. Круг вошел внутрь.

Владелец магазина Петр Квист был мужчиною средних лет с загорелым лицом, приплюснутым носом, черными подбритыми усиками и волнистыми черными волосами. Одет он был просто, но опрятно — в белый с синей полоской, легкий в стирке летний костюм. Когда Круг вошел, он прощался со старой дамой в старомодном сером боа из перьев. Прежде чем опустить voilette и выскочить наружу, дама метнула в Круга пронзительный взгляд.

— Знаете, кто она? — спросил Квист.

Круг помотал головой.

— Вдову покойного президента никогда не встречали?

— Да, — сказал Круг, — встречал.

— А сестру — ее встречать приходилось?

— Вроде нет.

— Ну, так это его сестра, — небрежно сообщил Квист. Круг высморкался и, вытирая нос, окинул взглядом содержимое магазина: по преимуществу книги. Куча томов Librairie Hachette (Мольер и тому подобное) — гнусная бумага, разложившиеся обложки — догнивала в углу. Прекрасная гравюра из какого-то начала прошлого века труда о насекомых изображала глазчатого бражника с его шагреневой гусеницей, вцепившейся в сучок и выгнувшей шею. Большая блеклая фотография (1894) — примерно с дюжину усатых мужчин в трико и с искусственными конечностями (у некоторых недоставало двух рук и одной ноги) — и ярко раскрашенная картинка с плоскодонкой на Миссисипи украшали одну из панелей.

— Ну-с, — сказал Квист, — определенно рад вас видеть.

Рукопожатие.

— Это Турок дал мне ваш адрес, — произнес приветливый антиквар, когда они с Кругом уселись в кресла в глубине магазина. — Прежде чем мы придем к какому-то соглашению, я вам хочу сказать со всей прямотой: всю мою жизнь я занимаюсь контрабандой — опиум, бриллианты, старые мастера... Теперь вот — люди. Делаю это единственно для того, чтобы оплачивать мои приватные потребности и непотребства, впрочем, делаю хорошо.

— Да, — сказал Круг, — да, понимаю. Какое-то время назад я пытался найти Турока, но он уезжал по делам.

— Ну да, он получил ваше красноречивое письмо аккурат перед арестом.

— Да, — сказал Круг, — да. Так он арестован. Этого я не знал.

— Я в контакте со всей его группой, — объяснил Квист и слегка поклонился.

— Скажите, — сказал Круг, — а нет ли у вас сведений о моих друзьях — Максимовых, Эмбере, Хедроне?

— Никаких, хоть мне и нетрудно вообразить, насколько тошнотворным должен им показаться тюремный режим. Позвольте мне обнять вас, профессор.

Он склонился вперед и на старинный манер запечатлел поцелуй на левом плече Круга. Слезы бросились Кругу в глаза. Квист сдержанно кашлянул и продолжал:

— Однако давайте не забывать, что я — суровый делец и, стало быть, выше этих... излишних излияний. Верно, я хочу вас спасти, но я также хочу получить за спасение деньги. Вам придется выплатить мне две тысячи крун.

— Это не много, — сказал Круг.

— Во всяком случае, — сухо вымолвил Квист, — этого хватит заплатить храбрецам, провожающим через границу моих трепещущих клиентов.

Он поднялся, вытащил откуда-то ящик с турецкими папиросами, предложил одну Кругу (тот отказался), прикурил, тщательно разместив горящую спичку в морской перламутровой раковине, заменявшей пепельницу, так, чтобы спичка продолжала гореть. Концы ее скрючились, почернели.

— Прошу простить, — сказал он, — за то, что поддался порыву привязанности и экзальтации. Видите этот шрам?

Он показал изнанку ладони.

— Я получил его, — сказал он, — на поединке, в Венгрии, четыре года назад. Мы дрались на кавалерийских саблях. Несмотря на несколько ран, я все же сумел убить моего противника. Значительный был человек — блестящий ум, нежное сердце, но он имел несчастье в шутку отозваться о моей младшей сестре как о "cette petite Phryné qui se croit Ophélie". Бедняжка, видите ли, была романтична — пыталась утопиться в его плавательном бассейне.

Он покурил в молчании.

— И нет никакой возможности вытащить их оттуда? — спросил Круг.

— Откуда? А, понимаю. Нет. Моя организация иного типа. На нашем профессиональном жаргоне мы называемся fruntgenz [пограничные гуси], а не turmbrokhen [взломщики тюрем]. Стало быть, вы готовы заплатить мне сколько я запрошу? Bene. А уцелела бы ваша готовность, потребуй я все ваши деньги?

— Определенно, — сказал Круг. — Любой иностранный университет возместил бы мне эти расходы.

Квист рассмеялся и с некоторой застенчивостью принялся выуживать комочек ваты из пузырька с какими-то таблетками.

— Знаете что? — сказал он с ужимкой. — Будь я agent provocateur (каковым, разумеется, я не являюсь), я сейчас сделал бы такой вывод: Мадамка (предположим, что такова ваша кличка в департаменте сыска) норовит покинуть страну, чего бы это ему ни стоило.

— И, видит Бог, вы были бы правы, — сказал Круг.

— Вам, кроме всего прочего, придется сделать мне лично особый подарок, — продолжал Квист. — Именно библиотеку вашу, ваши рукописи, каждый исписанный вами листок бумаги. Оставляя страну, вы должны быть голы, как червь дождевой.

— Отлично, — сказал Круг. — Я сберегу для вас содержимое моей мусорной корзины.

— Ну, — сказал Квист, — тогда, похоже, все.

— Когда вы сможете все подготовить? — спросил Круг.

— Подготовить что?

— Мое бегство.

— А, это. Ну, а вы разве спешите?

— Да. Ужасно спешу. Я хочу увезти отсюда ребенка.

— Ребенка?

— Да, восьмилетнего мальчика.

— Да, конечно, у вас же ребенок.

Повисла странная пауза. Тусклая краснота медленно заливала лицо Квиста. Он уставился в пол. Сгреб мягкой клешней щеки и рот, потянул, подергал. Какого же дурака они сваляли! Ну, уж теперь-то новый чин ему обеспечен.

— Мои клиенты, — проговорил Квист, — вынуждены пешком проходить по двадцати миль через заросли ежевики и клюквенные трясины. Остальное время они лежат в кузове грузовика, и каждый толчок отзывается у них в костях. Пища скудная, скверная. Отправление естественных нужд приходится откладывать часов на десять, а то и дольше. Вы человек крепкий, вам это по силам. Но, разумеется, о ребенке и речи быть не может.

— О, я уверен, он будет тих, как мышь, — сказал Круг. — И я смогу тащить его, пока в состоянии буду тащиться сам.

— Был день, — пробормотал Квист, — вы не смогли протащить его пару миль до станции.

— Прошу прощения?

— Я говорю: будет день, вы не сможете дотащить его даже отсюда до станции. Впрочем, это не важно. Вы представляете себе опасности?

— Смутно. Но я все равно не смог бы бросить моего малыша.

Снова пауза. Квист навертел клочок ваты на спичечную головку и принялся зондировать внутренние тайники своего левого уха. Удовлетворенно обозрел извлеченное золото.

— Ладно, — сказал он. — Посмотрим, что можно сделать. Нам, разумеется, придется поддерживать связь.

— Мы могли бы условиться о встрече, — предложил Круг, подымаясь из кресла и высматривая свою шляпу. — Я имею в виду, вам ведь могут загодя потребоваться какие-то деньги. Да, я вижу. Под столом. Благодарю вас.

— Не стоит, — сказал Квист. — Что бы вы сказали о следующей неделе? Вторник устроит? Около пяти пополудни?

— Прекрасно.

— Могли бы вы встретить меня на мосту Нептуна? Скажем, у двадцатого фонаря?

— С удовольствием.

— К вашим услугам. Должен признаться, недолгая наша беседа чудеснейшим образом прояснила для меня всю ситуацию. Жаль, что вы не можете задержаться подольше.

— Я содрогаюсь, — сказал Круг, — при мысли о долгой обратной дороге. Мне придется потратить на возвращение не один час.

— А, но я могу показать вам путь покороче, — сказал Квист. — Обождите минуту. Очень короткий и не лишенный приятности путь.

Он подошел к изножию изогнутой лестницы и, задрав голову, позвал:

— Мак!

Ответа не было. Он ждал, приподняв лицо, — теперь отчасти повернутое к Кругу, — но на Круга не смотрящее; мигая, прислушиваясь.

— Мак!

Ответа все не было, и, подождав немного, Квист решил сам подняться наверх за нужной ему вещью.

Круг разглядывал валявшиеся по полке скудные вещицы: старый ржавый велосипедный звонок, бурую теннисную ракету, вставочку из слоновой кости с крохотным хрусталиком на конце. Он заглянул в него, прикрыв один глаз, и увидал киноварный закат и черный мост. Gruss aus Padukbad.

По лестнице, попрыгивая и напевая, спустился Квист со связкой ключей в руке. Он выбрал самый блестящий из них и отпер потайную дверцу под лестницей. Молча указал на длинный проход. Старые афиши и голенастые водопроводные трубы тянулись вдоль тускло освещенных стен.

— Ну что ж, огромное вам спасибо, — сказал Круг.

Но Квист уже захлопнул за ним дверь. Круг шагал по проходу, не застегнув плаща, сунув руки в карманы штанов. Тень провожала его, похожая на негра-носильщика, ухватившего слишком много баулов.

Наконец он пришел к другой двери — из грубых досок, грубо сколоченных воедино. Он толкнул ее и вышел в свой собственный задний двор. Назавтра поутру он спустился сюда, чтобы посмотреть на этот выход глазами входящего. Однако выход был теперь умело замаскирован, сливаясь частью с какими-то досками, подпиравшими забор, частью с дверцей пролетарского нужника. Рядом, сидя на нескольких кирпичах, приписанные к его дому скорбные сыщики и известного сорта шарманщик играли в chemin de fer; замызганная девятка пик валялась у них в ногах на усыпанной пеплом земле, и, одновременно с укусом нетерпеливого желания, он увидел станционный перрон и игральную карту, оживлявшую вместе с кусками апельсиновой кожуры угольный сор между рельсами, под пульмановским вагоном, пока еще ждущим его в слиянии лета и дыма, но через минуту готовым ускользнуть со станции, мимо, мимо, в сказочные туманы невероятных Каролин. И, провожая его вдоль темнеющих топей, неотлучно маяча в вечернем эфире, скользя телеграфными проводами, целомудренный, как водный знак на веленевой бумаге, летящий плавно, словно прозрачный клубочек клеток, косо плывущий в истомленных глазах, лимонно-бледный близнец лампиона, сияющего над головой пассажира, будет таинственно странствовать по бирюзовым ландшафтам в окне.

16

Три стула один за другим. Та же идея.

— Что?

— Скотоловка.

Скотоловку изображала доска для китайских шашек, прислоненная к ножкам переднего стула. Задний стул — смотровой вагон.

— Понятно. А теперь машинисту пора в постель.

— Скорее же, папа. Залазь. Поезд отправляется!

— Послушай, душка ——

— Ну *пожалуйста.* Присядь хоть на минуту.

— Нет, душка, — я же сказал.

— Но ведь на минуту только. Ну папа! Мариэтта не хочет, ты не хочешь. Никто не хочет ехать со мной в моем суперпоезде.

— Не сейчас. Право же, время ——

Отправляться в постель, отправляться в школу, — время сна, время обеда, время купания и ни единого разу просто “время”; время вставать, время гулять, время возвращаться домой, время гасить свет, время умирать.

И какая же мука, думал мыслитель Круг, так безумно любить крохотное существо, созданное каким-то таинственным образом (таинственным для нас еще более, чем для самых первых мыслителей в их зеленых оливковых рощах) слияньем двух таинств или, вернее, двух множеств по триллиону таинств в каждом; созданное слияньем, которое одновременно и дело выбора, и дело случая, и дело чистейшего волшебства; созданное упомянутым образом и после отпущенное на волю — накапливать триллионы собственных тайн; проникнутое сознанием — единственной реальностью мира и величайшим его таинством.

Он увидел Давида, ставшим старше на год или два, сидящим на чемодане в ярких наклейках — на пирсе, у здания таможни.

Он увидел его катящим на велосипеде между сверкающих кустов форситий и тонких, голых стволов берез по дорожке со знаком “Велосипедам запрещено”. Он увидел его на краю плавательного бассейна в черных и мокрых купальных трусах, лежащим на животе, резко выступала

лопатка, откинутая рука вытряхивала радужную воду, налившуюся в игрушечный эсминец. Он увидел его в одной из тех баснословных угловых лавок, что выставляют пилюли на одну улицу и пикули на другую, взобравшимся на насест у стойки и тянущимся к сиропным насосам. Он увидел его подающим мяч особенным кистевым броском, неизвестным у него на родине. Он увидел его юношей, пересекающим техниколоровый кампус. Он увидел его в чудном костюме (вроде жокейского, но с иной обувкой и гетрами) для игры в американский футбол. Он увидел его обучающимся летать. Он увидел его двухлетним, на горшке, подскакивающим, мурлыкая песенку, подскоками ездящим на визгливом горшке по полу детской. Он увидел его сорокалетним мужчиной.

В канун назначенного Квистом дня он навестил мост: он вышел на рекогносцировку, поскольку ему представилось, что место встречи может оказаться небезопасным из-за солдат; однако солдаты давно исчезли, на мосту было пусто, и Квист мог прийти откуда ему заблагорассудится. На Круге была лишь одна перчатка, и очки он забыл и потому не мог перечитать врученную ему Квистом подробную справку со всеми паролями и адресами, и с наброском карты, и с ключом к шифру всей жизни Круга. Это, впрочем, было неважно. Небо прямо над ним простегивали лиловато-волнистые выплески тучного облака; громадные, сероватые, полупрозрачные, корявые хлопья снега опадали медленно и отвесно и, касаясь темной воды Кура, уплывали вместо того, чтобы сразу растаять, и это его удивило. Вдали, за обрывом облака, внезапная нагота неба и реки улыбнулась прикованному к мосту зрителю, одарив перламутровым светом очерк далеких гор, и этот свет по-разному перенимали у гор река, и улыбчивая печаль, и первые вечерние огоньки в окнах приречных домов. Наблюдая за снежными хлопьями на прекрасной и темной воде, Круг заключил, что либо снежинки были настоящие, а вода не была настоящей водой, либо вода настоящая, а снежинки сделаны из какого-то особого нерастворимого вещества. Чтобы решить эту проблему, он уронил вдовую перчатку с моста; но ничего неестественного не случилось: перчатка

просто проткнула оттопыренным указательным пальцем зыбкую гладь воды, нырнула и была такова.

На южном берегу (с которого он пришел) он видел вверх по течению красноватый дворец Падука, и бронзовый купол собора, и безлиственные деревья городского сада. На другом берегу стояли в ряд старые доходные дома, а за ними (незримая, но бухающая в сердце) помещалась больница, в которой она умерла. Пока он невесело впитывал все это в себя, сидя бочком на каменной скамье и глядя на реку, вдалеке показался буксир, волокущий большую баржу, и в то же мгновение одна из последних снежинок (облако над головой, казалось, истаяло в щедро вспыхнувшем небе) легла ему на нижнюю губу; снежинка оказалась обычной, мягкой и влажной, но, может быть, те, что падали прямо на воду, были иными. Буксир степенно приближался. Когда он почти изготовился поднырнуть под мост, двое мужчин, вцепившись в веревку и натужно оскалясь, оттянули огромную черную с двумя пурпурными кольцами трубу назад, назад и книзу; один из них был китайцем, как и все почти речники и прачники города. На барже за буксиром сохло с полдюжины ярких рубах, и горшки с геранью виднелись на корме, и очень толстая Ольга в желтой, совсем ему не понравившейся блузе смотрела вверх на Круга, уперев руки в бока, пока баржу в ее черед плавно заглатывала арка моста.

Он проснулся (раскоряченный в своем кожаном кресле) и сразу понял — случилось что-то необычайное. Оно не относилось ни к сну, ни к совершенно не спровоцированному и довольно смешному физическому неудобству, которое он испытывал (местная гиперемия), ни к чему бы то ни было, вспомнившемуся при появлении комнаты (неопрятной и пыльной в неопрятном и пыльном свете), ни даже ко времени суток (четверть девятого вечера; он заснул после раннего ужина). Случилось вот что: он понял, что снова может писать.

Он направился в ванную, принял холодный душ, молодчага-бойскаут, и, дрожа от духовного пыла и ощущая чистоту и уют пижамы и халата, досыта напоил перо-самотек, но тут вспомнил, что время идти прощаться с Давидом, и

решил покончить с этим теперь, чтобы его не прерывали потом призывы из детской. Три стула так и стояли в коридоре один за другим. Давид лежал в постели и, быстро помахивая карандашом, ровно затушевывал лист бумаги, уложенный поверх фиброзной, мелкозернистой обложки большой книги. Звук получался не без приятности — шаркающий и шелковистый, с легким нарастанием басовых вибраций, подстилающих шелест карандаша. По мере того, как серела бумага, проявлялась точечная текстура обложки, и наконец, с волшебной точностью и вне всякой связи с направлением карандашных штрихов (наклонных по воле случая), возникли высокие, узкие, белесые буквы оттисненного слова АТЛАС. Интересно, если вот так же затушевать чью-либо жизнь ——

Карандаш крякнул. Давид попытался удержать расшатавшийся кончик в его сосновом ложе, повернув карандаш так, чтобы выступ выщепки, что подлиннее, послужил для него опорой, но грифель окончательно обломился.

— Да и в любом случае, — сказал Круг, которому не терпелось усесться писать, — пора гасить свет.

— Сначала историю про путешествия, — сказал Давид.

Вот уже несколько вечеров Круг разворачивал повесть с продолжением, в которой рассказывалось о приключениях, ожидающих Давида на пути в далекую страну (в прошлый раз мы закончили тем, что скорчились на дне саней, затаив дыхание, тихо-тихо, под овчинами и мешками из-под картошки).

— Нет, не сегодня, — сказал Круг. — Слишком поздно, и занят я.

— И вовсе не поздно, — вскричал Давид, внезапно садясь со вспыхнувшими глазами, и кулаком ударил по атласу.

Круг отобрал книгу и склонился к Давиду, чтобы поцеловать его на ночь. Давид резко отвернулся к стене.

— Как знаешь, — сказал Круг, — но лучше скажи мне спокойной ночи [pokoinoi nochi] сейчас, потому что больше я не приду.

Давид, надувшись, натянул одеяло на голову. Легонько кашлянув, Круг разогнулся и выключил лампу.

— А вот и не буду спать, — приглушенно сказал Давид.

— Дело твое, — ответил Круг, пытаясь воспроизвести ровный педагогический тон Ольги.

Пауза в темноте.

— Pokoinoi nochi, dushka [animula], — сказал с порога Круг. Молчание. С некоторым раздражением он сказал себе, что через десять минут придется вернуться и повторить всю сцену в деталях. Это был, как часто случалось, лишь первый, грубый эскиз ритуала "спокойной ночи". Но, конечно, и сон мог все уладить. Он притворил дверь и, свернув за изгиб коридора, влетел в Мариэтту. "Смотрите, куда идете, дитя", — резко бросил он и уязвил колено об один из забытых Давидом стульев.

В этом предварительном сообщении о бесконечности сознания определенная лессировка существенных очертаний неизбежна. Приходится обсуждать вид, не имея возможности видеть. Знание, которое мы сможем приобрести в ходе подобного обсуждения, по необходимости находится с истиной в такой же связи, в какой павлинье пятно, интраоптически созданное нажатьем на веко, состоит с дорожкой в саду, запятнанной подлинным солнечным светом.

Ну да, белок проблемы вместо ее желтка, скажет со вздохом читатель; connu, mon vieux! Все та же старая сухая софистика, те же древние, одетые в пыль алембики, — и мысль возгоняется в них и летит, как ведьма на помеле! Однако на этот раз ты ошибся, придирчивый дурень.

Оставим без внимания мой оскорбительный выпад (это минутный порыв) и рассудим: можем ли мы довести себя до состояния постыдного страха, пытаясь вообразить бесконечные годы, бесконечные складки черного бархата (набейте себе их сухостью рот), — словом, бесконечное прошлое, уходящее в минусовую сторону ото дня нашего появленья на свет? Не можем. Почему? По той простой причине, что мы уже прошли через вечность, уже не существовали однажды и нашли, что это néant никаких решительно ужасов не содержит. То, что мы теперь пытаемся (безуспешно) проделать, это заполнить бездну, благополучно пройденную нами, ужасами, которые мы заимствуем из бездны, нам предстоящей, каковая бездна заимствует сама себя из бесконечного прошлого. Стало быть, мы проживаем в чулке, претерпевающем процесс выворачивания

наизнанку, и даже не знаем наверное, которой фазе процесса отвечает наш момент сознания.

Взявши разгон, он продолжал писать с несколько трогательным (если глянуть со стороны) пылом. Он *был* ранен, что-то в нем *надломилось,* но до поры прилив второстепенного вдохновения и отчасти манерной образности держал его на плаву. После часа примерно занятий этого рода он остановился и перечел исписанные им четыре с половиной страницы. Дорога была ясна. Между прочим, он сумел помянуть в одном сжатом предложении несколько религий (не забыв и "ту чудесную еврейскую секту, чья греза о молодом кротком рабби, погибающем на римском crux, распространилась по всем северным землям") и отбросил их все, вместе с кобольдами и духами. Бледное звездное небо бескрайней философии легло перед ним, но он решил, что неплохо бы выпить. Все еще с голым пером в руке он поплелся в столовую. Снова она.

— Он спит? — осведомился он чем-то вроде безгласного рыка, не повернув головы, склоняясь за коньяком к нижней части буфета.

— Должен бы, — отвечала она.

Он откупорил бутылку и перелил часть ее содержимого в кубок зеленого стекла.

— Спасибо, — сказала она.

Не удержался, взглянул на нее. Она сидела у стола, штопая чулок. Голые шея и ноги казались неестественно белыми на фоне черного платья и черных шлепанцев.

Она подняла от работы глаза, закинула голову, мягкие складки на лбу.

— Ну? — сказала она.

— Для вас никакого спиртного, — ответил он. — Свекольное пиво, если угодно. По-моему, есть в леднике.

— Гадкий вы человек, — сказала она, опуская неряшливые ресницы и заново укладывая ногу на ногу. — Ужасный. А я сегодня чувствую себя чересчур.

— Чересчур что? — спросил он, хлопнув дверцей буфета.

— А просто чересчур. Везде чересчур.

— Спокойной ночи, — сказал он. — Не засиживайтесь допоздна.

— Можно, я посижу у вас, пока вы пишете?

— Определенно нет.

Он повернулся, чтобы уйти, но она остановила его:

— Ручка на буфете.

Застонав, он вернулся с кубком в руке, взял перо.

— Когда я одна, — сказала она, — я сижу и делаю вот так, точно сверчок. Послушайте, пожалуйста.

— Что послушать?

— А вы разве не слышите?

Она сидела приоткрыв рот, чуть шевеля плотно перекрещенными бедрами, издавая тихий звук, мягкий, как бы губной, но перемежающийся поскрипываньем, словно она потирала ладони; ладони, впрочем, лежали недвижно.

— Чирикаю, как бедненький, одинокий сверчок, — сказала она.

— Я, к сожалению, глуховат, — сообщил Круг и поплелся обратно в свою комнату.

Он подумал, что следовало бы сходить посмотреть, уснул ли Давид. Ох, да конечно уснул, иначе бы он услышал шаги отца и окликнул его. Кругу не хотелось снова проходить мимо открытой двери столовой, и потому он решил, что Давид уснул хотя бы наполовину, вторжение же, даже самое благонамеренное, скорее всего разбудит его. Не очень понятно, по какой причине он так упорствовал в этом аскетическом самоограничении, при том что мог с такой приятностью избавиться от вполне естественного напряжения и неудобства с помощью этой вострушки-puella (за чей оживленный животик какой-нибудь римлянин помоложе заплатил бы сирийскому торговцу рабами 20 000 динарий, а то и побольше). Быть может, его удерживали некие утонченные щепетильности, лежащие уже за пределами супружеского долга, или гнетущая грусть всей этой истории. К несчастью, потребность писать неожиданно расточилась, и он не знал, чем заняться. Спать ему, выспавшемуся после ужина, не хотелось. Коньяк лишь усугубил беспокойство. Он был большой, тяжелый человек, волосатой разновидности, с чем-то бетховенским в лице. В ноябре он лишился жены. Он преподавал философию. Он обладал редкой мужской силой. Звали его Адам Круг.

Он перечел написанное, вычеркнул ведьму на помеле и начал расшагивать по комнате, сунув руки в карманы халата. Грегуар пялился из-под кресла. Урчал радиатор. Улица помалкивала за плотными темно-синими шторами. Мало-помалу мысли его возвратились на их таинственный путь. Щелкунчик, разгрызающий одну за другой пустые секунды, вновь получил обильную пищу. Невнятный звук, похожий на эхо далеких оваций, встречающих явление нового идола.

Ноготь царапнул, стукнул.

— Что такое? Что вам нужно?

Нет ответа. Ровное молчание. Затем звуковая зыбь. И снова молчание.

Он отворил дверь. За дверью стояла в ночной рубашке она. Медленно смигнула, прикрыв и опять обнаружив странное выражение темных, непроницаемых глаз. Локтем прижимала подушку, в руке будильник. Она глубоко вздохнула.

— Пожалуйста, впустите меня, — сказала она, и отчасти лемурьи черты ее белого личика умоляюще сморщились. — Мне так страшно, я просто не могу оставаться одна. Я чувствую, случится что-то ужасное. Можно, я здесь посплю? Пожалуйста!

Она на цыпочках пересекла комнату и с бесконечной осторожностью опустила на ночной столик круглолицые часы. Свет от лампы, просквозив ее папиросный покров, обнаружил персиковый силуэт тела.

— Так ничего? — прошептала она. — Я буду совсем незаметной.

Круг отвернулся и, поскольку он стоял у книжного шкапа, прижал и отпустил надорванный краешек телячьей кожи на корешке старинного латинского поэта. Brevis lux. Da mi basia mille. Он медленно бил кулаком по книге.

Когда он снова взглянул на нее, она уже запихала подушку спереди под ночную рубашку и давилась беззвучным смехом. Похлопывала себя по поддельной беременности. Но Круг не смеялся.

Сдвинув брови и позволив подушке с несколькими лепестками персика упасть меж ее лодыжек.

— Я вам *совсем* не нравлюсь? — спросила она [inquit].

Если бы, подумал он, мое сердце можно было услышать, как сердце Падука, его громовые толчки пробуждали бы мертвых. Но пусть мертвые спят.

Продолжая игру, она бросилась ниц на застеленную софу, лампа сияла в густых каштановых волосах и на кромке зардевшего уха. Бледные юные ноги притягивали шарящую длань старика.

Он сел рядом с ней, угрюмо, со стиснутыми зубами принимая банальное приглашение, но едва он коснулся ее, как она села и, подняв и сплетя тонкие, белые, голые, пахнущие каштаном руки, зевнула.

— Пожалуй, мне пора возвращаться, — сказала она.

Круг не сказал ничего. Круг сидел, тяжелый и мрачный, распираемый спелым, как виноград, желанием, бедненький.

Она вздохнула, оперлась коленом о ложе и, оголив плечо, принялась исследовать метки, оставленные около маленькой, очень черной родинки на прозрачной коже зубами какого-то сотоварища по играм.

— Вы хотите, чтобы я ушла? — спросила она.

Он потряс головой.

— А если останусь, мы будем любиться?

Руки его стиснули хрупкие бедра, словно он снимал ее с дерева.

— Ты знаешь слишком мало или слишком уж много, — сказал он. — Если слишком мало, тогда беги, запрись, никогда не приближайся ко мне, ибо это будет животный взрыв, тебя может сильно поранить. Я предупреждаю тебя. Я старше тебя почти втрое, я огромный печальный боров. И я тебя не люблю.

Сверху вниз она поглядела на корчи его рассудка. Прыснула.

— Значит, не любишь?

Mea puella, puella mea. Моя горячая, вульгарная, божественно нежная, маленькая puella. Ты — полупрозрачная амфора, которую я медленно опускаю, придерживая за ручки. Ты — розовый мотылек, вцепившийся ——

Оглушительный грохот (дверной звонок, громкий стук) прервал эти антологические преамбуляции.

•

— Ну пожалуйста, пожалуйста, — бормотала она, извиваясь на нем, — ну же, продолжай, мы успеем закончить, пока они будут выламывать дверь, пожалуйста.

Он с силой оттолкнул ее, хватая с полу халат.

— Это был ваш последний ша-анс, — пропела она на той особой растущей ноте, которая порождает легкую зыбь вопрошания, струистое отражение знака вопроса.

Ловя и поспешно сплетая концы коричневого шнура своего отчасти монашеского облачения, он пронесся по коридору, преследуемый Мариэттой, и, снова став горбуном, отпер нетерпеливую дверь.

Молодая женщина с пистолетом в обтянутой перчаткой руке; двое недорослей из ГБ [Гимназические Бригады]: гадкие латки небритой кожи, гнойнички, хлопающие шерстяные ковбойки навыпуск.

— Хай, Линда, — сказала Мариэтта.

— Хай, Марихен, — сказала женщина. Шинель солдата-эквилиста небрежно свисала с ее плеч, и мятая пилотка лихо сидела на тщательно завитых волосах медового цвета. Круг узнал ее сразу.

— Мой жених ждет в машине внизу, — пояснила она Мариэтте, наградив ее улыбающимся поцелуем. — Профессор может идти прямо так. Там, куда мы его свезем, он получит симпатичный стерильный костюмчик установленного образца.

— Дошла наконец очередь и до меня? — спросил Круг.

— Ну, как ты, Марихен? Как забросим профессора, поедем в компашку. Лады?

— Хорошо, — сказала Мариэтта и тут же спросила, понизив голос: — А можно мне поиграть с этими хорошими мальчиками?

— Брось, голубчик, брось, ты заслужила чего получше. По правде, у меня для тебя есть сюрприз. А вы, ребятки, займитесь делом. Детская там.

— Нет, — сказал Круг, заграждая дорогу.

— Пропустите их, профессор, они выполняют свой долг. И они не сопрут у вас ни единой булавки.

— Отвалите, Док, мы выполняем свой долг.

В полуприкрытую дверь прихожей деловито стукнули чьи-то костяшки, и, когда Линда, стоявшая к ней спиной, по которой дверь легонечко хлопнула, настежь распахнула ее, звучной поступью борца-тяжеловеса вошел высокий широкоплечий мужчина в ладной полуполицейской форме. У него имелись кустистые черные брови, тяжелая квадратная челюсть и зубы белее белого.

— Мак, — сказала Линда, — это моя сестренка. С пылу с жару, сбежала из пансиона. Мариэтта — лучший друг моего жениха. Надеюсь, вы поладите.

— И я на это крепко надеюсь, — глубоким и сочным голосом сказал Мак-здоровяк. Демонстрация зубов, протянутая ладонь размером с бифштекс на пятерых.

— Очень рада познакомиться с другом Густава, — сказала скромненькая Мариэтта.

Мак и Линда обменялись сияющими улыбками.

— Боюсь, я не очень понятно выразилась, голубчик. Я сказала “жених” — так это не Густав. Определенно не Густав. Бедный Густав превратился в абстракцию.

(“Не пройдешь!” — ревел Круг, не давая ходу юнцам.)

— А что случилось? — спросила Мариэтта.

— Да пришлось им свернуть ему шею. Он, видишь ли, оказался schlappom [раззявой].

— Schlappom, который за свою короткую жизнь произвел немало отличных арестов, — отметил Мак со столь для него характерной широтою и щедростью взглядов.

— Это его, — доверительно сказала Линда, показав сестре пистолет.

— И фонарик тоже?

— Нет, это Мака.

— Какой! — уважительно произнесла Мариэтта, тронув большую кожистую вещицу.

Один из юнцов, отброшенный Кругом, угодил в стойку с зонтами.

— Ну-ка, ну-ка, прекратите-ка эту неуместную возню, — сказал Мак, оттаскивая Круга (бедный Круг сплясал кек-уок). Молодцы сразу помчались в детскую.

— Они его напугают, — хрипел и задыхался Круг, пытаясь освободиться от Маковой хватки. — Сию минуту отпустите меня. Мариэтта, сделайте мне одолжение... — Он

отчаянно показывал ей: беги, беги в детскую, присмотри, чтобы мое дитя, мое дитя, мое дитя ——

Мариэтта взглянула на сестру и прыснула. С дивной профессиональной точностью и savoir-faire Мак внезапно наотмашь рубанул Круга ребром чугунной ладони: удар пришелся Кругу в аккурат по исподу правой руки и сразу обездвижил ее. Тем же манером Мак обработал Кругу левую руку. Круг, согнувшись вдвое, держа помертвелую руку в помертвелой руке, осел на один из трех стульев, что стояли (теперь скособоченные, лишенные смысла) в коридоре.

— Здорово Мак это делает, — заметила Линда.

— Сила, правда? — сказала Мариэтта.

Сестры, не видавшиеся несколько времени, продолжали улыбаться, приятно помаргивали, касались одна другой вялыми девичьими жестами.

— Какая брошка милая, — сказала младшая.

— Три пятьдесят, — сообщила Линда, и к подбородку ее добавилась складочка.

— Может, мне надеть черные кружевные трусики и то испанское платье? — спросила Мариэтта.

— Ой, по-моему, в этой мятой ночнушке ты просто цыпочка. Как, Мак?

— Смак, — ответствовал Мак.

— И ты не простынешь — там, в машине, есть норковая шубка.

Из-за того, что дверь в детскую неожиданно приоткрылась (прежде чем захлопнуться снова), стал на мгновение слышен голос Давида: как ни странно, ребенок, вместо того чтобы хныкать и звать на помощь, пытался, видимо, урезонить невозможных своих гостей. Видно, он все-таки не уснул. Звук этого вежливого и почтительного голоска был хуже мучительнейшего стона.

Круг подвигал пальцами — онемение проходило понемногу. Как можно спокойней. Как можно спокойней он снова воззвал к Мариэтте.

— Кто-нибудь знает, чего ему от меня нужно? — спросила Мариэтта.

— Слушай, — сказал Мак Адаму, — либо ты делаешь что тебе говорят, либо не делаешь. И если ты не делаешь, тогда тебе делают чертовски больно, понял? Встать!

— Ладно, — сказал Круг. — Я встану. Что дальше?

— Marsh vniz [Топай вниз]!

И тут Давид закричал. Линда поцокала языком ("добились своего, обормоты"), и Мак взглянул на нее, ожидая распоряжений. Круг заковылял к детской. В ту же секунду оттуда выскочил в светло-синей пижамке Давид, но был немедленно сцапан. "Я хочу к папе!" — выкрикнул он за сценой. Напевая, Мариэтта красила губы за открытой дверью ванной. Круг ухитрился добраться до своего ребенка. Один погромщик притиснул Давида к постели. Другой пытался сгрести его бешено бьющиеся ноги.

— Отпустите его, merzavtzy [чудовищно оскорбительное выражение]! — заорал Круг.

— Они хотят, чтобы он вел себя тихо, только и всего, — сказал вновь овладевший ситуацией Мак.

— Давид, любовь моя, — сказал Круг, — все в порядке, они не причинят тебе вреда.

Ребенок, которого продолжали держать ухмыляющиеся молодцы, поймал Круга за складку халата.

А мы эти пальчики разожмем.

— Все в порядке, я сам, господа. Не трогайте его. Милый...

Мак, решив, что с него довольно, коротко пнул Круга по голени и выволок его вон.

Они разорвали моего малыша пополам.

— Слушайте вы, животное, — выговорил Круг, почти на коленях, цепляясь за гардероб в коридоре (Мак держал его за грудки и тянул). — Я не могу оставить мое дитя на муку. Пусть он едет со мной, куда вы меня повезете.

В туалете спустили воду. Две сестры присоединились к мужчинам, смотрели со скучливым весельем.

— Милый ты мой, — сказала Линда, — мы вполне понимаем, что это твое дитя или, по крайней мере, дитя твоей покойной жены, а не фарфоровый совенок или еще что-нибудь, но наша обязанность — забрать тебя, а остальное нас не касается.

— Пожалуйста, пойдемте, а, — взмолилась Мариэтта, — ужас ведь как поздно.

— Дайте мне позвонить Шамму [один из членов Совета Старейшин], — сказал Круг. — Только это. Один телефонный звонок.

— Ой, да пойдемте же, — повторила Мариэтта.

— Вопрос в том, — сказал Мак, — пойдешь ли ты мирно, по собственной воле, или мне придется тебя изувечить, а потом скатить по ступенькам, как мы делали с бревнами в Лагодане.

— Да, — сказал Круг, внезапно надумав. — Да. Бревна. Да. Пойдемте. Пойдемте скорее. В конце концов, все решается просто!

— Выключи свет, Мариэтта, — сказала Линда, — а то еще нас обвинят, что мы украли его электричество.

— Я вернусь через десять минут, — во всю силу легких выкрикнул Круг, обернувшись в сторону детской.

— А-а, Господи Боже, — пробормотал Мак и пихнул его к двери.

— Мак, — сказала Линда. — Как бы ее не продуло на лестнице. Я что подумала, может, ты снесешь ее вниз. Знаешь что, пусть этот идет впереди, я за ним, а ты сзади. Ну-ка, подними ее.

— А знаете, я совсем не тяжелая, — сказала Мариэтта, воздевая к Маку локотки.

Неистово покраснев, молодой полицейский подсунул сложенную ковшиком вспотевшую лапу под благодарные бедра девушки, другой обхватил за ребра и легко вознес ее к небесам. Одна из ее туфель свалилась.

— Ничего, — быстро сказала она, — я могу засунуть ногу к вам в карман. Вот так. Лин донесет туфлю.

— А вы и вправду не много весите, — сказал Мак.

— Теперь держи меня крепче, — сказала она. — Держи меня крепче. И отдай мне этот фонарик, он мне делает больно.

Маленькая процессия начала спускаться по лестнице. Было темно и тихо. Круг шагал впереди, в круге света, игравшего на склоненной, непокрытой его голове, на коричневом халате, — ни дать ни взять участник какого-то таинственного религиозного действа с картины мастера светотени, или с копии с этой картины, или с копии с этой копии, или с какой-то другой. Следом шла Линда с писто-

летом, нацеленным ему в спину, ее миловидно изогнутые ноги изящно перебирали ступени. За ней шел Мак и нес Мариэтту. Преувеличенные детали перил, а иногда тень от волос и пилотки Линды скользили по спине Круга и вдоль призрачных стен — это плясал электрический фонарь в пальчиках озорной Мариэтты. На тончайшем ее запястье имелся снаружи забавный костяной бугорок. Теперь давайте расставим все по местам, давайте посмотрим правде в глаза. Они нашли рукоятку. В ночь на двадцать первое Адам Круг был арестован. Это было неожиданно, поскольку он не предполагал, что они сумеют найти рукоятку. Собственно, и сам-то он едва ли знал, что какая-то рукоятка вообще существует. Будем рассуждать логически. Они не причинят ребенку вреда. Напротив, ведь это их ценнейший залог. Не будем выдумывать лишнего, будем держаться чистого разума.

— Ох, Мак, как божественно... Я хотела бы, чтобы здесь был биллион ступенек!

Может быть, он уснет. Помолимся, пусть он уснет. Ольга однажды сказала, что биллион — это сильно простуженный миллион. Голень болит. Все, все, все, все, все, что угодно. Твои сапоги, dragotzennyi, вкусом напоминают засахаренный чернослив. И взгляни, на губах у меня кровь от твоих шпор.

— Ничего не вижу, — сказала Линда, — перестань баловаться с фонарем, Марихен.

— Держи его прямо, детка, — пророкотал Мак, отдуваясь с некоторой натугой, его огромная неопытная лапа медленно таяла; несмотря на легкость его каштановой ноши; оттого, что жар ее возрастал.

Повторяй себе, повторяй: что бы они ни делали, они не причинят ему вреда. Их жуткий запах и обгрызенные ногти — зловоние и грязь гимназистов. Они могут начать ломать его игрушки. Перебрасываться, и ловить, и перебрасываться, угадай, в какой руке, одним из его любимых мраморных шариков, тем, опаловым, единственным, священным, к которому даже я не смел прикоснуться. Он посередке, старается их остановить, поймать шарик, спасти. Или, к примеру, выкручивать ему руку, или какие-то грязные подростковые шуточки, или — нет, все не так,

держись, не выдумывай лишнего. Они позволят ему заснуть. Они просто пограбят в квартире и нажрутся досыта в кухне. И как только я доберусь до Шамма или прямо до Жабы и скажу ему то, что скажу ——

Неистовый ветер вцепился в четверку наших друзей, когда они вышли из дома. Их ожидал элегантный автомобиль. Линдин жених сидел за рулем — приятный блондин: белесые ресницы и ——

— Ба, да никак мы знакомы. Ну как же! Фактически однажды мне уже выпала честь шоферить для профессора. А это, значит, сестричка. Рад познакомиться, Марихен.

— Лезь внутрь, ты, толстый олух, — сказал Мак, и Круг тяжело осел рядом с водителем.

— Вот твой туфель и вот твой мех, — сказала Линда, передавая обещанную шубку Маку, который принял ее и принялся укутывать Мариэтту.

— Нет, просто на плечи, — произнесла дебютантка.

Она встряхнула гладкими каштановыми волосами, затем особым высвобождающим жестом (тыльная часть ладошки быстро порхнула над нежным зашейком) легко взметнула их, чтобы они не лезли под воротник.

— Здесь есть местечко для троих, — сладко пропела она из машинных глубин лучшим ее голоском (иволга золотистая) и, отскользнув к сестре, похлопала по свободному месту у дверцы.

Однако Мак откинул одно из передних сидений, чтобы поместиться прямо за арестантом, положил оба локтя на разгородку и, сунув в рот мятную жвачку, велел Кругу вести себя прилично.

— Все на борту? — осведомился д-р Александер.

В этот миг распахнулось окошко детской (крайнее слева, четвертый этаж), высунулся один из молодцев и завопил что-то вопрошающее. Из-за буйного ветра ничего нельзя было извлечь из мешанины слов, вылетавшей наружу.

— Что? — крикнула Линда, носик ее нетерпеливо наморщился.

— Углововглувуу? — взывал из окна молодец.

— Лады, — сказал Мак, ни к кому в отдельности не обращаясь. — Лады, — повторил он. — Мы тебя услышали.

— Лады! — крикнула вверх Линда, сложив рупором руки.

В трапеции света замаячил в бурном движении второй из юнцов. Он вцепился в запястья Давида, взобравшегося на стол в тщетной попытке достигнуть окна. Ярковолосая светло-синяя фигурка исчезла. Круг, мыча и дергаясь, наполовину вывалился из машины с повисшим на нем Маком, обхватившим его за поясницу. Машина поехала. Бороться было бессмысленно. Процессия цветастых зверушек пронеслась по косой полоске обоев. Круг упал на сиденье.

— Интересно, чего он спрашивал, — сказала Линда. — Ты совершенно уверен, что все в порядке, Мак? Я хочу ——

— Ну, у них же свои инструкции, разве нет?

— Я полагаю.

— Всех шестерых, — выговорил Круг, задыхаясь, — всех шестерых, вас, будут пытать и расстреляют, если с малышом что-то случится.

— Ай-яй-яй, какие плохие слова, — сказал Мак и не слишком нежно тюкнул Круга за ухом костяшками четырех расслабленных пальцев.

Д-р Александер, именно он разрядил несколько напряженную атмосферу (ибо не приходится сомневаться, что в эту минуту все они ощутили — что-то пошло не так).

— Что ж, — сказал он с умудренной полуулыбкой, — уродливые слухи и некрасивые факты не всегда так же неизменно верны, как уродливые невесты и некрасивые жены.

Смех брызнул из Мака, прямо Кругу на шею.

— Ну, я скажу, у твоего нового отличное чувство юмора, — прошептала сестре Мариэтта.

— Он университетский, — сообщила большеглазая Линда, благоговейно кивая и выпячивая нижнюю губку. — Он ну прямо все знает. Меня просто оторопь берет. Ты бы видела, как он управляется с пробками или с разводным ключом.

Девушки предались уютной беседе, как это водится у девушек, сидящих на заднем сиденье.

— Расскажи мне побольше про Густава, — попросила Мариэтта. — Как они его придушили?

— Значит, так. Приходят они с черного хода, я как раз готовила завтрак, и говорят, у нас приказ избавиться от него. Я говорю, ага, но чтобы никакой грязи на полу и никакой стрельбы. А он заперся в гардеробе. Прямо слышно, как он там трясется, одежда на него сыпется, плечики звякают. Такая гадость. Я говорю, парни, я не желаю смотреть, как вы это будете делать, и не желаю тратить весь день на уборку. Так что они свели его в ванную и там за него принялись. Конечно, утро у меня пропало. Мне к десяти к дантисту, а они засели в ванной, и просто жуть, какие оттуда звуки, особенно от Густава. По крайней мере минут двадцать они там возились. Говорят, адамово яблоко у него было жесткое, как каблук, — и, конечно, я опоздала.

— Как обычно, — прокомментировал д-р Александер.

Девушки рассмеялись, Мак повернулся к младшей из двух и перестал жевать, чтобы спросить:

— Тебе правда не холодно, Син?

Баритон его сочился любовью. Девчушка вспыхнула и украдкой сжала ему ладонь. Она сказала, что ей тепло, ах, очень тепло. Пощупай сам. Вспыхнула же она оттого, что он произнес потаенное прозвище, не известное никому; каким-то чудом он проник в эту тайну. Интуиция — это сезам любви.

— Ладно, ладно, карамельные глазки, — сказал застенчивый юный гигант, отнимая ладонь. — Не забывай, я на службе.

И Круг опять ощутил его лекарственное дыхание.

17

Автомобиль встал у северных врат тюрьмы. Д-р Александер, мягко орудуя пухлой резиной рожка (белая длань, белый любовник, грушевидная грудь чернокожей наложницы), подудел.

Последовал неспешный чугунный зевок, и машина вползла во двор № 1. Стража, роившаяся здесь, — кое-кто был в противогазах (имеющих в профиль разительное сходство с сильно увеличенной головой муравья), — облепила подножки и прочие доступные выступы автомобиля,

двое-трое, урча, полезли даже на крышу. Множество рук, некоторые в латных перчатках, вцепились в оцепенелого, скрюченного Круга (застрявшего на стадии куколки) и выволокли его наружу. Стражи А и Б завладели им, прочие зигзагами прыснули кто куда, тычась в поисках новых жертв. Улыбнувшись и козырнув небрежно, д-р Александер сказал стражу А: "Увидимся", затем осадил машину назад и принялся энергично выкручивать руль. Выкрученный, автомобиль развернулся, дернул вперед: д-р Александер откозырял повторно, а Мак, погрозивши Кругу здоровенным указательным пальцем, втиснул свои ягодицы в пространство, освобожденное для него Мариэттой вблизи себя. И вот уже слышно было, как автомобиль, испуская радостные гудочки, уносится прочь к укромной, благоухающей мускусом квартирке. О, полная радостей, распаленная докрасна, нетерпеливая юность!

Несколькими дворами Круга вели к главному зданию. Во дворах № 3 и 4 на кирпичных стенах были начерчены мелом силуэты приговоренных — для упражнений в прицельной стрельбе. Есть старинная русская легенда: первое, с чем встречается rastrelianyi [человек, казненный через расстреляние], очутившись "на том свете" (не перебивайте, рано еще, уберите руки), — это не сборище обычных "теней" или "духов", не омерзительный душка, омерзительно невыразительный душка, невыразимо омерзительный душка в древних одеждах, как вы могли бы подумать, но что-то вроде безмолвного, замедленного балета, приветственной группы вот этих меловых силуэтов, движущихся волнисто, словно прозрачные инфузории; но мимо, мимо эти унылые суеверия.

Они вошли в здание, и Круг оказался в удивительно пустой комнате. Совершенно круглая, с отлично отскобленным цементным полом. Стража его исчезла с такой быстротой, что, будь он персонажем романа, он мог бы весьма и весьма призадуматься, не были ль все эти удивительные дела и так далее неким злокозненным сном и тому подобное. В голове его билась боль: из тех, головных, которые, кажется, выпирают с одной стороны за края головы, словно краски в дешевых комиксах, и не вполне заполняют

объем другой ее части; и тупые удары твердили: один, один, один, никогда не добираясь до двух, никогда. Из дверей в четырех сторонах округлой комнаты лишь одна, одна, одна не была заперта. Круг пинком распахнул ее.

— Да? — сказал бледнолицый мужчина, продолжая смотреть на промокатель-качалку, которым он пристукивал что-то, сию минуту написанное.

— Я требую незамедлительных действий, — сказал Круг.

Служащий посмотрел на него усталыми, водянистыми глазами.

— Мое имя — Конкордий Филадельфович Колокололитейщиков, — сообщил он, — но все зовут меня Кол. Присядьте.

— Я... — заново начал Круг.

Кол, покачивая головой, торопливо отбирал необходимые формуляры:

— Минуточку. Первым делом нам надлежит получить от вас все ответы. Величать вас —— ?

— Адам Круг. Будьте добры немедленно привезти сюда моего ребенка ——

— Немного терпения, — сказал Кол, обмакивая перо. — Процедура, не спорю, утомительная, но чем скорее мы с ней покончим, тем лучше. Значит, К,р,у,г. Возраст?

— Будет ли необходима вся эта чушь, если я сразу скажу вам, что передумал?

— Необходима при любых обстоятельствах. Пол — мужской. Брови густые. Имя родителя вашего ——

— Такое же, как у меня, будьте вы прокляты.

— Ну-ну, не надо меня проклинать. Я устал не меньше вашего. Вероисповедание?

— Никакого.

— Это не ответ — "никакого". Закон требует, чтобы каждое лицо мужеска пола объявило свою религиозную принадлежность. Католик? Виталист? Протестант?

— Мне нечего ответить.

— Любезный вы мой, вас хотя бы крестили?

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

— Ну, это уж совершенно —— Помилуйте, должен же я хоть *что-нибудь* записать?

— Сколько еще там вопросов? Вы что, собираетесь заполнить все это [указывая на страницу безумно дрожащим пальцем]?

— Боюсь, что так.

— В таком случае я отказываюсь продолжать. Я здесь для того, чтобы сделать заявление чрезвычайной важности, а вы тратите время на ерунду.

— Ерунда — слишком резкое слово.

— Слушайте, я подпишу все, что хотите, если моего сына ——

— Ребенок один?

— Один. Мальчик восьми лет.

— Нежный возраст. Вам тяжело, сударь, не спорю. Я что хочу сказать, — я сам отец, и все такое. Однако могу вас уверить, что мальчик ваш в совершеннейшей безопасности.

— Нет! — крикнул Круг. — Вы прислали пару бандитов ——

— Я никого не присылал. Перед вами chinovnik на мизерном жалованье. Я, если угодно, скорблю обо всем, что случилось в русской литературе.

— Так или иначе, но, кто бы тут ни командовал, он должен выбирать: либо я остаюсь немым навсегда, либо же говорю, подписываю, присягаю — все, что угодно правительству. Однако я сделаю это все, и даже больше, только если сюда, вот в эту комнату, доставят мое дитя, незамедлительно.

Кол колебался. Все это весьма уклонялось от правил.

— Все это весьма уклоняется от правил, — сказал наконец он, — однако мне представляется, что вы правы. Видите ли, общепринятая процедура примерно такова: первым делом надлежит заполнить анкету, потом вы отправляетесь восвояси, в камеру. Там вы изливаете душу такому же, как вы, заключенному — это, понятное дело, наш человек. Затем утречком, часиков этак около двух, вас пробуждают от тревожного сна, и я начинаю допрос заново. Сведущие люди считают, что вы должны будете расколоться так где-то от шести сорока до семи пятнадцати. Наш метеоролог предрек особо безрадостный рассвет. Д-р Александер,

коллега ваш, согласился переводить на обыденный язык ваши загадочные высказывания, потому что никто же не мог предвидеть такой прямоты, такой... я полагаю, нелишне добавить, что вам пришлось бы еще выслушивать детский голосок, испускающий стоны притворной боли. Я сам их отрепетировал со своими детишками, они будут страшно разочарованы. Вы действительно хотите сказать, что готовы присягнуть в верности Государству, и все такое, если ——

— Лучше поторопитесь. Кошмар может стать неуправляемым.

— Ну как же, конечно, сию минуту я все устрою. Ваше расположение весьма удовлетворительно, весьма. Наша замечательная тюрьма сделала из вас человека. Вот истинная радость. Уж непременно станут меня поздравлять с тем, как быстро я вас расколол. Прошу простить.

Он встал (мелкий, щуплый слуга Государства с большой бледной башкой и черной зубастой пастью), отдернул складки бархатной portiére, и узник остался наедине со своим тупым "один-один-один". Вход, которым Круг воспользовался несколько минут назад, был скрыт картотечным шкапом. То, что выглядело зашторенным окном, оказалось зашторенным зеркалом. Он поправил ворот халата.

Прошло четыре года. Потом разрозненные части столетия. Ошметки драного времени. Скажем, всего двадцать два года. Дуб перед старой церквушкой утратил всех своих птичек; один кряжистый Круг не переменился.

Предваряемый легкой вспучкой, или трясучкой, или и тем и другим занавеса, а после и собственной его зримой рукой, Конкордий Филадельфович воротился. Вид у него был довольный.

— С минуты на минуту ваш мальчуган будет здесь, — бодро сказал он. — Все в большом облегчении. За ним ходит ученая няня. Говорит, мальчик вел себя очень плохо. Верно, сложный ребенок? Кстати, меня просили у вас понаведаться: желаете ли вы сами написать свою речь — и заблаговременно представить — или воспользуетесь готовым материалом?

— Материалом. Я страшно хочу пить.

— Нам сейчас подадут закуски. Теперь другой вопрос. Тут надо бы подписать кой-какие бумаги. Можно прямо сейчас и начать.

— Не прежде, чем я увижу ребенка.

— Вы будете очень заняты, sudar' [сэр], предупреждаю вас. Наверняка уже журналисты отираются поблизости. Ах, сколько мы претерпели волнений! Мы уж думали, Университет никогда не откроется. Завтра, смею верить, начнутся студенческие демонстрации, шествия, публичные благодарения. Вы д'Абрикосова знаете, фильмового режиссера? Так вот, он, говорит, всегда чувствовал, что вы вдруг осознаете величие Государства, и все такое. Говорит, это вроде la grâce в религии. Откровение. Очень, говорит, трудно объяснять эти вещи людям, не испытавшим этого внезапного ослепляющего удара истины. Я со своей стороны безмерно рад привилегии засвидетельствовать ваше прекрасное обращение. По-прежнему дуетесь? Ну-ка, давайте-ка мы разгладим эти морщинки. Внимание! Музыка!

Он, видимо, кнопку нажал или повернул рычажок, потому что вдруг припустили распутные трубы, и добряк добавил уважительным шепотком:

— Музыка в вашу честь.

Однако звуки оркестра потонули в визгливом звонке телефона. Очевидно, большие новости, ибо Кол опустил трубку триумфально-напыщенным взмахом руки и указал Кругу на занавешенную дверь. После вас.

Он был человек светский; Круг таковым не был, Круг рванул вперед, как неотесанный боров.

Сцена без номера (во всяком случае, один из последних актов): просторная ожидальня в роскошной тюрьме. Изящная модель гильотины (с чопорной куклой в цилиндре — обслуга) под стеклянным колоколом на полке камина. Масляные полотна, темно трактующие разные религиозные темы. На низком столике кипа журналов ("Geographical Magazine", "Столица и усадьба", "Die Woche", "Дегустатор", "L'Illustration"). Один или два книжных шкапа, книги обыкновенные ("Маленькие женщины", III том "Истории Ноттингема" и прочее). Связка ключей на стуле (забытая одним из стражей). Стол с закусками: тарелка бутербродов с селедкой и ведро воды в окру-

жении кружек, прибывших сюда с различных немецких курортов (на кружке Круга — вид Бад-Киссингена).

Дверь в глубине сцены широко растворилась, множество фотографов и репортеров образовали живую галерею, по которой двое дородных мужчин повели тоненького испуганного мальчика лет двенадцати-тринадцати. Голова его была свежеперебинтована (говорят, винить некого, он поскользнулся на полированных полах Музея Ребенка и стукнулся лбом о модель машины Стефенсона). Черная школьная форма, ремень. Локоть его взлетел, прикрывая лицо, когда один из мужчин сделал внезапный жест, желая обуздать рвение репортеров.

— Это не мой ребенок, — сказал Круг.

— Ваш папа все шутит, все шутит, — добродушно поведал ребенку Кол.

— Мне нужен мой ребенок. Это чей-то еще.

— Что такое? — резко спросил Кол. — Не ваш ребенок? Глупости, милейший. Протрите глаза.

Один из дородных мужчин (это полицейский в штатском) вытащил документ и вручил его Колу. В документе значилось ясно: Арвид Круг, сын профессора Мартина Круга, прежнего вице-президента Академии медицинских наук.

— Повязка, возможно, отчасти изменила его, — поспешно произнес Кол, и нотка отчаяния втерлась в его говорок. — И потом, конечно, мальчики так быстро растут ——

Охранники вышибали у фотографов аппараты и выпихивали репортеров из комнаты. "Мальчишку держи", — сказал отвратительный голос.

Новопришедший, человек по имени Кристалсен (красное лицо, синие глаза, высокий крахмальный воротничок), бывший, как выяснилось впоследствии, Вторым секретарем Совета Старейшин, подошел к Колу вплотную и спросил у несчастного Кола, придерживая его за узел на галстуке, не полагает ли Кол, что он в некотором роде несет ответственность за это идиотское недоразумение. Кол все еще надеялся, неизвестно на что ——

— *Совершенно* ли вы уверены, — продолжал он расспрашивать Круга, — совершенно ли вы уверены, что этот пар-

нишка — не ваш сынок? Философы, сами знаете, люди рассеянные. И освещение тут не так чтобы знатное ——

Круг закрыл глаза и сквозь стиснутые зубы сказал:

— Мне нужен мой ребенок.

Кол поворотился к Кристалсену, развел руками, и с губ его слетел беспомощный, безнадежный, лопающийся звук [пффт]. Тем временем ненужного мальчика увели.

— Примите наши извинения, — сказал Кол Кругу. — Такие ошибки неизбежно случаются, когда арестов производится слишком много.

— Или недостаточно, — хрустнул Кристалсен.

— Он хочет сказать, — сказал Кол Кругу, — что те, кто повинен в этой ошибке, будут примерно наказаны.

Кристалсен, même jeu:

— Или жестоко за это поплатятся.

— Вот именно. Разумеется, все будет улажено без проволочек. Тут у нас в здании четыреста телефонов. Вашего потерявшегося малыша отыщут вмиг. Я понимаю теперь, почему прошлой ночью жене моей приснился этот ужасный сон. Ах, Кристалсен, was ver a trum [какой сон]!

Двое чиновных — тот, что поменьше, громко болтая и хватаясь лапкой за галстук, другой — угрюмо безмолвствуя, ледовитые очи его смотрели прямо вперед — покинули комнату.

Круг снова ждал.

В 11.24 вечера в комнату втиснулся полицейский (уже в форме), искавший Кристалсена. Он хотел бы узнать, что им следует сделать с неподходящим мальчиком. Разговаривал он хриплым шепотом. Услышав от Круга, что эти ушли вон туда, он еще раз показал пальцем на дверь, вопросительно, деликатно, и на цыпочках прошел через комнату, адамово яблоко его робко подрагивало. И протекли столетья, пока он совершенно бесшумно затворял дверь.

В 11.43 его же, но уже с обезумевшим взором, всклокоченного, провели назад через комнату ожидания двое сотрудников Особой Стражи для последующего расстреляния в качестве мелкого козла отпущения — вместе с другим "дородным мужчиной" (vide сцена без номера) и бедным Конкордием.

В 12 ровно Круг по-прежнему ждал.

Мало-помалу, однако, разные звуки, долетавшие из ближних кабинетов, становились все громче и возбужденнее. Несколько раз бездыханными пробежками пересекали комнату чиновники, а однажды двое добросердых коллег с окаменелыми ликами пронесли на носилках в тюремный гошпиталь телефонистку (барышню Любодольскую), немилосердно избитую.

В 1.08 утра весть об аресте Круга достигла горстки заговорщиков антиэквилистов, руководимой студентом Фокусом.

В 2.17 бородатый мужчина, сказавшийся электриком, пришел проверять отопительные батареи, но бдительный стражник объяснил ему, что в нашей отопительной системе электричество не участвует, так что загляните, пожалуйста, как-нибудь на днях.

Окна призрачно засинели, когда наконец вновь объявился Кристалсен. Он был рад уведомить Круга, что ребенок нашелся. "Вы воссоединитесь через несколько минут", — сказал он, добавив, что в новой, полностью осовремененной камере пыток в эту самую минуту заканчивают приготовления к приему лиц, допустивших оплошность. Ему хотелось бы знать, верно ли его информировали касательно внезапного обращения Круга в новую веру. Круг отвечал: да, он готов объявить по радио нескольким иностранным державам (что побогаче) о твердом его убеждении, что эквилизм — это то, что нужно, если и только если ему возвратят ребенка, благополучного и невредимого. Кристалсен повел его к полицейской машине и попутно начал кое-что объяснять.

Совершенно ясно, что произошла ужасная ошибка: ребенка поместили в своего рода, ну, что ли, санаторию для ненормальных детей, — вместо, как то было задумано, наилучшего государственного дома отдыха. Вы покалечите мне запястье, сударь. К несчастью, у директора санатории сложилось впечатление, да и у кого бы оно не сложилось? что ребенок, которого ему сдали, — это один из так называемых "сироток", время от времени используемых в качестве "средства разрядки" на благо наиболее интересных пациентов с так называемым "преступным" прошлым (изнасилования, убийства, беспричинная порча государствен-

ного имущества и проч.). Теория, — ну, мы здесь не для того, чтобы обсуждать ее достоинства, и вы заплатите мне за манжету, если ее оторвете, — теория утверждает, что по-настоящему трудным пациентам необходимо раз в неделю предоставлять утешительную возможность давать полную волю их подспудным стремлениям (преувеличенной потребности мучить, терзать и проч.), обращая таковые на какого-нибудь человечка, не имеющего ценности для общества; тем самым, постепенно, зло будет из них истекать, так сказать, "отливаться", и со временем они превратятся в достойных граждан. Эксперимент можно, конечно, критиковать, но дело не в этом (Кристалсен тщательно вытер окровавленный рот и предложил свой не слишком чистый платок Кругу — обтереть костяшки; Круг отказался; они уселись в машину; несколько солдат присоединились к ним). Ну-с, загон, в котором происходила "игровая разрядка", располагался так, что директор из своего окна, — а прочие доктора и исследователи, мужчины и женщины (доктор Амалия фон Витвил, к примеру, одна из самых очаровательных женщин, каких вам когда-либо доводилось встречать, аристократка, вы получили бы истинное наслаждение, уверяю вас, познакомься вы с ней при более счастливых обстоятельствах), из gemütlich наблюдательных пунктов, — могли созерцать происходящее и делать заметки. Сестра сводила "сиротку" по мраморным ступеням. Загон представлял собой прелестную, покрытую травкой лужайку, да и все это место выглядело чрезвычайно приятно, особенно летом, — наподобие открытых театров, что так обожали греки. "Сиротку", или "субчика", оставляли одного, разрешая ему погулять по садику. На одной из фотографий он тоскливо лежал на животе и подрывал неугомонными пальчиками кусочек дерна (сестра появлялась на ступенях и хлопала в ладоши, чтобы он прекратил. Он прекратил). Немного погодя в загон запускали пациентов, или "больных" (общим числом восемь). Поначалу они держались поодаль, разглядывая "субчика". Интересно было наблюдать, как их понемногу охватывал "бригадный дух". Все они были неотесанными, необузданными, неорганизованными индивидуумами, а тут их как что-то повязывало, дух общности (положительный) одолевал их

индивидуалистические отличия (отрицательные); впервые в жизни они *организовывались*; доктор фон Витвил говаривала, что это — чудное мгновенье: чувствуешь, что, как она оригинально выражалась, "действительно случается нечто", или, на техническом языке: "эго", оно, значит, вылетает "ouf" ("в аут"), а чистое "egg" — "яго", общий экстракт всех "эго", — остается. Вот тут и начиналось веселье. Один из пациентов ("репрезентатор", или "потенциальный лидер"), красивый, крупный малый семнадцати лет, подходил к "субчику" и садился с ним рядом на травку и говорил "открой ротик". "Субчик" делал что велят, и с безошибочной точностью юноша выплевывал камень-голыш мальчугану в открытый рот. (Не очень-то это было по правилам, так как, вообще говоря, всяческие орудия, оружие, метательные снаряды и прочее были запрещены.) Иногда "игра в оплеухи" начиналась вслед за "игрой в оплевухи", в других же случаях переход от безвредных пинков и щипков или умеренных изысканий в сексуальной сфере — к отрыванию членов, дроблению костей, деокуляции и проч. занимал изрядное время. Конечно, смерти были неизбежны, но довольно часто "субчика" — потом — латали и играючи понуждали к возобновлению драки. В следующее воскресенье, душка, ты опять поиграешь с большими мальчиками. Залатанный "субчик" обеспечивал особо удовлетворительную "разрядку".

Теперь возьмем все это, скатаем в маленький шарик и поместим последний в центр Кругова мозга, где шарик неторопливо распустится.

Поездка получилась долгая. Где-то в дикой горной местности, в четырех-пяти тысячах футов над уровнем моря, пришлось остановиться: солдаты желали скушать их frishtik [ранний завтрак] и были не прочь учинить пикничок в этих диких и живописных местах. Неповоротливый автомобиль стоял, слегка скособочась, среди темных скал и пятен смертельно-бледного снега. Они вытащили хлеб, огурцы, уставные фляжки-термосы и печально чавкали, притулясь на подножках машины, на пожухлой, взъерошенной, грубой траве у обочины тракта. Королевская Глотка, одно из чудес природы, вырезанное за эоны времен пескоструйными водами бурной Сакры, раскинула перед ними картины

величия и благородства. Мы на нашем ранчо “Фата Новобрачной” много трудимся над тем, чтобы понять и по достоинству оценить те умонастроения, с которыми прибывают сюда из своих городских квартир и от деловых занятий многие наши гости, вот почему мы поощряем наших гостей делать исключительно то, что им хочется, в рассуждении развлечений, упражнений и отдыха.

Кругу позволено было на минуту покинуть машину. Кристалсен, никакой красоты не разумеющий, остался внутри — грыз яблоко и просматривал длинное письмо личного свойства, которое он получил еще вчера и все не успевал прочесть со вниманием (даже у этих стальных людей случаются семейные неурядицы). Круг, оборотясь к солдатам спиной, стоял у скалы. Это тянулось так долго, что в конце концов один солдат со смехом заметил:

— Podi galonishcha dva vysvistal za-noch [Мне кажется, он должен был выпить в течение ночи два галлона].

Здесь с ней случилась авария. Круг повернулся и медленно, с трудом забрался в машину, присоединясь к Кристалсену, еще читавшему.

— С добрым утром, — пробормотал последний, подбирая ногу. Затем поднял голову, поспешно вмял письмо в карман и кликнул солдат.

76-е шоссе привело их в иную часть равнины, и скоро уже увидали они дымящие трубы фабричного городка, близ которого располагалась знаменитая опытная станция. Директором ее был некий д-р Гаммеке, низкорослый, плотный, с изжелта-белыми густыми усами, пучеглазый, на коренастых ножках. Он, его ассистенты и сестры пребывали в состоянии возбуждения, граничащего с заурядной паникой. Кристалсен сообщил им, что не знает пока, следует ли их ликвидировать или нет; он ожидает, сказал он, получить деструкции (спунеризм для “инструкций”) по телефону (он посмотрел на часы) в самом скором времени. Все они были страсть как подобострастны, раболепствовали перед Кругом, предлагая ему душ, услуги хорошенькой masseuse, губную гармонику, реквизированную у одного из больных, кружку пива, коньяк, завтрак, утреннюю газету, побриться, перекинуться в карты, новый костюм, все что угодно. Они явно тянули время. Наконец Круга ввели в

просмотровый зал. Ему сказали, что через минуту его отведут к ребенку (дитя еще спит, уверяли они), а тем временем не угодно ли ему посмотреть кинофильм, снятый всего лишь несколько часов назад? В нем показано, говорили они, каким здоровым и счастливым было дитя.

Он сел. Он принял фляжку с коньяком, которую ткнула ему в лицо одна из трясущихся, улыбающихся сестер (она была до того испугана, что поначалу пыталась попоить его, как младенца). Д-р Гаммеке, в голове у которого поддельные зубы гремели, словно игральные кости, распорядился начать представление. Молодой китаец принес отороченное мехом пальтишко Давида (да, узнаю, это его) и повернул его так и сяк (заново вычищено, видите, и дырки заштопаны) легкими движеньями фокусника, показывающего, что все без обману: ребенок действительно найден. Наконец он с восторженным щебетом выдернул из кармана пальто игрушечную машинку (да, мы вместе ее покупали) и серебряное колечко с облупленной по большей части эмалью. После чего поклонился и сгинул. Кристалсен, сидючи рядом с Кругом на первом ряду, вид имел хмурый и подозрительный и руки скрестил на груди. "Фокусы, гнусные фокусы", — пришептывал он.

Свет погас, и квадратное мерцание прыгнуло на экран. Но стрекот машины снова прервался (всеобщая нервность проняла и механика). Д-р Гаммеке в темноте наклонился к Кругу и произнес, изливая густую струю страхов и запахов:

— Мы так счастливы, что вы с нами. Надеемся, кино вам понравится. В интересах низвуки. Замолвите доброе слово. Старались, как только могли.

Стрекот возобновился, появилась перевернутая надпись, и машина встала опять.

Хихикнула сестричка.

— Наука! — сказал доктор.

Кристалсен, которому все это надоело, быстро покинул зал; несчастный Гаммеке пытался его задержать, но грубоватый служака стряхнул цапастого доктора.

На экране возникла дрожащая надпись: "Тест 656". Она расплылась в субтильный субтитр: "Ночной крик на лужайке". Показались вооруженные няньки, отпирающие двери. Моргая, выстроились больные. "Фрау доктор фон Витвил,

руководитель эксперимента (Просьба не аплодировать!)", — объявила новая надпись. Даже д-р Гаммеке, несмотря на ужасное его положение, не смог сдержать одобрительного "ха-ха". Дама Витвил, представительная блондинка с хлыстом в одной руке и хронометром в другой, надменно проплыла по экрану. "Следите за кривыми" — и показалась кривая на черной доске, и указатель в виде руки в резиновой перчатке указал кульминационные и прочие небезынтересные точки яровизации "эго".

"Пациенты группируются у входа в загон, называемого 'Розовый куст'. Их обыскивают на предмет спрятанного оружия". Один из докторов выудил ножовку из рукава самого толстого малого. "Не подфартило, толстун!" Показали поднос с коллекцией снабженной бирками утвари: вышеувиденная пила, обрезок свинцовой трубы, губная гармошка, кусок веревки, один из этих карманных ножичков — с двадцатью четырьмя лезвиями и инструментами, пневматический пистолет, пистолет шестизарядный, шила, сверла, граммофонные иглы, старинный боевой топор. "Залегают в засаду". Они залегают в засаду. "Появляется субчик".

Он спускался в сад по залитым светом прожектора мраморным ступеням. Белая сестра провожала его, потом встала и подтолкнула — иди один. На Давиде было самое теплое его пальтишко, но ноги босые, в спальных шлепанцах. Все это длилось мгновение: он повернулся к сестре, взмахнул ресницами, волосы уловили отблеск искристого света; потом обернулся, встретился с Кругом глазами, не показал ничем, что узнает его, и неуверенно начал спускаться по оставшимся немногим ступеням. Его лицо все росло, тускнело и растворилось, встретив мое. Сестра осталась на ступенях; легкая, не лишенная нежности улыбка играла на ее темных губах. "Какая радость для малыша, — объявила надпись, — гулять одному середь ночи" и далее: "Ай, кто это?"

Д-р Гаммеке громко закашлялся, и стрекотанье машины оборвалось. Снова зажегся свет.

Я должен проснуться. Где он? Я умру, если не проснусь.

Он отклонил прохладительные напитки, отказался расписаться в книге выдающихся посетителей, прошел сквозь людей, заграждавших ему дорогу, как сквозь паутину.

Д-р Гаммеке, выкатив глаза, задыхаясь, прижимая ладонь к больному сердцу, сделал старшей сестре знак отвести Круга в лазарет.

Осталось добавить немногое. В коридоре Кристалсен с большой сигарой во рту кратко записывал всю историю в книжечку, которую он примостил на уровне лба к желтоватой стене. Большим пальцем он ткнул в сторону двери "А-1". Круг вошел. Фрау доктор фон Витвил, рожденная Бахофен (третья сестра, старшая), нежно, почти мечтательно помавала термометром, глядя на постель, у которой она стояла в дальнем углу палаты. Затем она повернулась и приблизилась к Кругу.

— Крепитесь, — спокойно сказала она. — Случилось несчастье. Мы сделали, что было ——

Круг отшвырнул ее в сторону с такой силой, что она врезалась в белую взвешивательную машину и разбила градусник, который держала в руке.

— Упс! — сказала она.

Золотисто-пурпурный тюрбан, обвитый вокруг головы, украшал убитого мальчика; умело раскрашенное, припудренное лицо; сиреневое одеяло, исключительно ровное, доставало до подбородка. Что-то вроде пушистой игрушечной собачонки изящно лежало в изножье кровати. Прежде чем выскочить из палаты, Круг сшиб ее с одеяла, отчего эта тварь, внезапно ожив, страдальчески взрыкнула и клацнула челюстями, едва не вцепившись ему в ладонь.

Круга поймал дружелюбный солдатик.

— Yablochko, kuda-zh ty tak kotishsa [маленькое яблоко, далече ли ты покатилось]? — спросил солдатик и добавил: — A po zhabram, milai, khochesh [хочешь, я ударю тебя, дружок]?

Tut pocherk zhizni stanovitsa kraine nerazborchivym [здесь обычное письмо жизни становится предельно непонятным]. Ochevidtzy, sredi kotorykh byl i evo vnutrennii sogliadatai [свидетели, среди которых было его собственное что-то такое ("внутренний шпион"? "частный детектив"? Смысл не вполне ясен)], potom govorili [рассказывали впоследствии], shto evo prishlos' sviazat' [что он должен был быть связан]. Mezhdu tem [среди тем? (Возможно, среди субъектов его сноподобного состояния)] Kristalsen, nevozmutimo

dymia sigaroi [Кристалсен, спокойно куривший свою сигару], sobral ves' shtat v aktovom zale [устроил встречу всего персонала в зале собраний] и информировал его [i soobschil im], что он только что получил телефонограмму, в соответствии с которой всех их следует растрибуналить за причинение смерти единственному сыну профессора Круга, прославленного философа, президента Университета, вице-президента Академии медицинских наук. Слабосердый Гаммеке соскользнул со стула и продолжал скользить, съезжая по извилистым склонам, и, плавно скатившись в беспамятство, упокоился наконец, будто брошенные сани в непорочных снегах безымянной смерти. Дама Витвил, не утратив гордого нрава, заглотнула пилюлю с отравой. Допросив и похоронив остальной коллектив и запалив заведение с запертыми в нем жужжащими пациентами, солдаты стащили Круга в машину.

Через дикие горы катили они обратно в столицу. За перевалом Лагодан уже переливались мраком долины. Ночь маячила между громадных елей у прославленных Водопадов. Ольга была за рулем, Круг, не умевший водить, сидел рядом с ней, сложив на коленях руки в перчатках; сзади сидели Эмбер с американским профессором философии — костлявым седоволосым мужчиной с запавшими щеками, приехавшим в эту даль, чтобы обсудить с Кругом иллюзорность субстанции. Пресытившись пейзажами и обильной местной едой (неправильно акцентируемыми piróshkami, неверно произносимыми schtschami и вообще непроизносимым мясным блюдом, за которым последовал вишневый пирог с хрусткой крестоузорчатой корочкой), смирный ученый заснул. Эмбер пытался припомнить американское название этой породы елей, бытующее в Скалистых горах. Две вещи случились одновременно: Эмбер сказал "Дуглас" и ослепленная лань ворвалась в сияние наших фар.

18

— Этому вообще не полагалось случиться. Нам страшно жаль. Ваш ребенок получит самые пышные похороны, о каких только может мечтать дитя белого человека, и все же

мы хорошо понимаем, что для тех, кто остался, это... [два неразборчивых слова]. Нам более чем жаль. Фактически можно с уверенностью утверждать, что никогда в истории нашей великой страны фракция, Правительство или Правитель не скорбели так, как ныне скорбим мы.

(Круга привели в блистающую большеногими фресками просторную залу Министерства юстиции. Изображение самого здания Министерства, каким оно было задумано, но пока не построено, — из-за пожаров Юстиция с Образованием проживали совместно в отеле "Астория", — показывало белый небоскреб, врастающий, будто собор-альбинос, в синие, как морфо, небеса. Голос, принадлежащий одному из Старейшин, собравшихся на чрезвычайное заседание во Дворце, в двух кварталах отсюда, сочился из изящного ящика орехового дерева. Кристалсен и несколько мелких служащих шептались в другой части залы.)

— Мы полагаем, однако, — продолжал ореховый голос, — что ничто не изменилось в тех отношениях, в соглашениях, в узах, которые вы, Адам Круг, столь торжественно определили как раз перед тем, как случилась личная ваша трагедия. Жизнь индивидуума недолговечна; мы же гарантируем бессмертие Государства. Граждане гибнут ради того, чтобы Град их остался жить. Мы не в силах поверить, что какая бы то ни было личная утрата способна встать между вами и нашим Правителем. С другой стороны, практически не существует предела тем возмещеньям ущерба, которые мы готовы вам предложить. Во-первых, самый передовой из наших Дворцов Погребений согласился предоставить бронзовый саркофаг, инкрустированный бирюзой и гранатами. В него возляжет ваш маленький Арвид, зажав в кулачке любимейшую игрушку — коробочку оловянных солдат, которых именно в этот момент многочисленные эксперты Министерства военных действий тщательно проверяют в отношении правильности обмундировки и личного оружия. Во-вторых, шестеро главных виновников будут в вашем присутствии обезглавлены неопытным палачом. Это сенсационное предложение.

(Несколько минут назад этих людей показали Кругу в камерах смертников. Двое темных, прыщавых юнцов щеголяли своей отвагой перед навестившим их католическим

патером — главным образом по причине отсутствия воображения. Мариэтта сидела, закрыв в оцепенелом беспамятстве глаза и тихо сочась кровью. О трех других чем меньше скажешь, тем лучше.)

— Вы, конечно, оцените, — говорил ореховый и казинаковый голос, — усилия, которые мы прилагаем, чтобы загладить худший из промахов, какой только можно было свершить в теперешних обстоятельствах. Мы готовы закрыть глаза на многое, включая сюда и убийство, но есть преступление, которое никогда, никогда не может быть прощено, и это — небрежность в исполнении служебных обязанностей. Мы полагаем также, что после осуществления описанных только что щедрых воздаяний мы покончим с этим прискорбным делом и сможем более о нем не поминать. Вам будет приятно услышать, что мы готовы обсудить с вами различные детали вашего нового назначения.

Кристалсен подошел к месту, где сидел Круг (по-прежнему в ночном халате, подпирая небритые щеки ободранными кулаками), и разложил документы по столу на львиных ногах, о края которого опирались Круговы локти. Красно-синим своим карандашом краснолицый и синеглазый чиновник проставил на документах крестики, указывая Кругу, где подписать.

Молча Круг взял бумаги и неторопливо смял и разодрал их крупными, волосистыми лапами. Один из писарей, тощий и нервный молодой человек, знавший, сколько потрачено мысли и сил, чтобы их отпечатать (на драгоценной эдельвейсной бумаге), схватился за голову и испустил вопль целомудренной боли. Круг, не привстав со стула, сцапал молодого человека за лацканы сюртука и теми же тяжкими, неторопливыми, сминающими движениями стал душить свою жертву, но был укрощен.

Кристалсен, который один сохранил совершеннейшее спокойствие, в следующих выражениях известил микрофон:

— Звуки, которые вы, господа, только что слышали, — это звуки, произведенные Адамом Кругом при разрывании бумаг, которые он прошлой ночью обещал подписать. Он также пытался удушить одного из моих ассистентов.

Последовало молчание. Кристалсен присел и принялся чистить ногти сапожной иглой, имевшейся вкупе с иными двадцатью тремя инструментами в толстом карманном ножичке, который он где-то слямзил в течение дня. Чиновники, ползая на карачках, собирали и разглаживали то, что осталось от документов.

Видимо, Старейшины совещались. Наконец голос сказал:

— Мы готовы пойти еще дальше. Мы предлагаем вам, Адам Круг, самому прикончить виновных. Предложение весьма необычное и вряд ли когда-либо будет повторено.

— Ну-с? — не поднимая глаз, спросил Кристалсен.

— Идите вы... [три неразборчивых слова], — промолвил Круг.

Снова молчание. («Он спятил, окончательно спятил, — шептал один женоподобный писарь другому. — Отвергнуть такое предложение! Невероятно! Я о таком сроду не слыхал». — «Да и я тоже». — «Интересно, где это шеф ножичком разжился?»)

Старейшины уже пришли к определенному решению, однако прежде, чем его огласить, следовало, как полагали самые совестливые из них, еще разок прокрутить пластинку. Они услыхали молчание Круга, озирающего заключенных. Они услыхали часы на руке одного из юнцов и печальное бульканье в животе неотужинавшего священника. Они услыхали, как капает на пол кровь. Они услыхали, как в караулке поблизости сорок удовлетворенных солдат сравнивают плотские впечатления. Они услыхали Круга, вводимого в радиозалу. Они услыхали голос одного из них, говоривший, как им всем жаль и на какие они готовы возмещения: прелестный склеп для жертвы небрежности, ужасную участь небрежным. Они услыхали Кристалсена, перебирающего бумаги, и Круга, рвущего их. Они услыхали вопль впечатлительного молодого писаря, звуки борьбы и затем хрусткие интонации Кристалсена. Они услыхали твердые Кристалсеновы ногти, сцепившиеся с одной двадцать четвертой туговатого ножичка. Они услыхали самих себя, голосующих щедрое предложение и вульгарную реплику Круга. Они услыхали, как Кристалсен со щелчком

закрывает ножичек и как шепчутся клерки. Они услыхали самих себя, слушающих все это.

Ореховый шкаф облизнулся:

— Допустите его до постели, — сказал он.

Сказано — сделано. В тюрьме ему отвели просторную камеру, такую действительно просторную и приятную, что директор не раз селил в нее кое-каких бедных родственников жены, когда те приезжали в город. На втором соломенном тюфяке, брошенном прямо на пол, лежал, повернувшись лицом к стене, человек и содрогался всеми фибрами тела. Огромный кудрявый и рыжий парик расползался по всей его голове. На нем был костюм старинного бродяги. И впрямь, видать, тяжким было его преступленье. Едва затворилась дверь и Круг тяжело осел на свой клок соломы и мешковины, как вибрации его соузника перестали быть зримыми, но сразу же стали слышимыми — в виде пронзительно квакающего, умело измененного голоса:

— Не ищи разузнать, кто я. Мое лицо пребудет отвращенным к стене. К стене отвращенным пребудет мое лицо. Отвращенным к стене на веки веков пребудет лице мое. О ты, безумец. Горда и черна душа твоя, как сырой макадам в ночи. О горе! Горе! Вопроси преступленье твое. И явит оно бездну вины твоея. Темны облака, все темнее они и гуще. Скачет Ловчий верхом на ужасном коне. Хо-йо-то-хо! Хо-йо-то-хо!

(Сказать ему, чтоб заткнулся? — подумал Круг. Что проку? Ад полон этих фигляров.)

— Хо-йо-то-хо! Теперь послушай, друг Круг. Послушай, Гурдамак. Мы намерены сделать тебе последнее предложение. Четыре было у тебя друга, четыре истинных друга и верных. Глубоко в подземелье изнывают они и стенают. Слушай, Друг, слушай Камерад, я готов возвратить им и другим двадцати liberalishkam свободу, если ты согласишься на то, на что практически согласился вчера. Такая безделица! Жизнь двадцати четырех человек у тебя в руках! Ты говоришь "нет" — и их нет, ты говоришь "да" — и они живут. Подумай, какая дивная власть! Ты ставишь подпись, и двадцать и двое мужчин и с ними две женщины выпархивают на солнечный свет. Это последний твой шанс. Мадамка, скажи да!

— Убирайся к черту, грязная Жаба, — устало сказал Круг.

Человек испустил разгневанный вопль и, выхватив из-под тюфяка бронзовый колокольчик, бешено им потряс. Стражники в масках, с японскими фонариками и пиками наводнили камеру и почтительно помогли ему встать. Прикрыв лицо неопрятными прядями рыжеватого парика, он прошмыгнул мимо Круга. Его ботфорты воняли навозом, блестели бессчетными каплями слез. Тьма воротилась в камеру. Слышно было, как покрякивает спина директора тюрьмы, как его голос расписывает Жабе, какой он первоклассный артист, какое шикарное исполнение, какой восторг. Эхо шагов удалилось. Тишина. Теперь наконец ты сможешь подумать.

Но в обмороке или в дреме — он утратил сознание прежде, чем смог схватиться как следует с горем. Все, что он чувствовал, — это неспешное погружение, сгущение тьмы и нежности, мерное нарастание сладостного тепла. Его голова с головою Ольги, щека к щеке, две головы, соединенные парой маленьких испытующих рук, протянутых вверх из тускло светящейся постели, падали (или падала, ибо две головы соединились в одну) вниз, и вниз, и вниз к третьей точке, к безмолвно смеющемуся лицу. Послышался мягкий смешок, когда губы, его и ее, достигли прохладного лба и горячей щеки, но спуск на этом не прекратился, и Круг продолжал тонуть в надрывающей сердце нежности, в черной, слепительной глуби запоздалой, но — что же с того? — нескончаемой ласки.

В середине ночи что-то приснившееся вытряхнуло его из сна в то, что было реальной тюремной камерой с решеткой света, взломавшей тьму, и с особенным тусклым отблеском, похожим на след ноги какого-то фосфоресцирующего островитянина. Сначала, как иногда бывает, окружающее не влилось ни в одну из реальных форм. Увиденный им световой узор, хоть и был он скромного происхождения (бдительный дуговой прожектор снаружи, серолиловый угол двора, косвенный луч, проникший сквозь какую-то щелку или дырку от пули в ставнях, запертых на засов и на висячий замок), приобрел странное, почти роковое значение, ключ к которому оставался полуприкрытым

полой темноватого осознания на слабо мерцавшем полу полузабытого ночного кошмара. Казалось, нарушен какой-то обет, какой-то замысел погиб, какая-то возможность упущена — или использована в такой грубой полноте, что от нее осталось лишь послесвечение греха и позора. Световой узор был словно бы результатом вороватого, нащупывающего, отвлеченно мстительного, подложного движения, совершавшегося во сне или скрывшегося за ним, там, в сплетении незапамятных и ныне уже бесцельных и бесформенных козней. Вообразите знак, предупреждающий вас о взрыве, но на таком загадочном или младенческом языке, что остается только гадать, не создано ли все это — знак, застывший под подоконником взрыв и ваша дрожащая душа — искусственно, здесь и сейчас, по особому какому-то сговору с разумом, спрятавшимся за зеркалом.

Именно в этот миг, в точности после того, как Круг провалился сквозь днище спутавшегося сна и, хватая воздух, сел на соломе, — и в точности перед тем, как его реальность, его засевшая в памяти уродливая беда обрушилась на него, — именно в этот миг я ощутил укол состраданья к Адаму и соскользнул к нему по косому лучу бледного света, вызвав мгновенное сумасшествие, но, по крайности, избавив беднягу от бессмысленной муки его логической участи.

С улыбкой безграничного облегчения на залитом слезами лице Круг прилег на солому. В прояснившемся мраке лежал он, пораженный и радостный, и слушал ночные звуки, обыкновенные во всякой большой тюрьме: неровную позевку — ах-ха-ха-аха — надзирателя, усердное бормотание бессонных старых узников, вникающих в английские грамматики (My aunt has a visa. Uncle Saul wants to see uncle Samuel. The child is bold.), стук сердец людей помоложе, бесшумно роющих подземный лаз к свободе и к новой поимке, перестук экскрементов летучих мышей, опасливый шелест страницы, злобно смятой и брошенной в мусорную корзину и совершающей жалкие попытки расправиться и еще хоть немного пожить.

Когда на рассвете четверка подтянутых офицеров (три графа и грузинский князь) явилась, чтобы доставить его на решающую встречу с друзьями, он отказался пошевелиться

и лежал, улыбаясь и норовя игриво потрепать офицеров под подбородком босой ступней. Заставить его одеться не удалось, и после торопливого совещания четверо юных гвардейцев, сквернословя на старофранцузском, стащили его, в чем он был, т.е. в одной лишь пижаме (белой), в тот же самый автомобиль, которым с такой сноровкой правил некогда покойный д-р Александер.

Ему вручили программку церемонии очной ставки и через какой-то туннель провели в центральный двор.

Когда он разглядел форму двора, выступ кровли там, над крыльцом, зияющую арку туннелеобразного входа, которой его провели, его вдруг осенила неосновательная в некотором роде и затруднительная для выражения уверенность, что это двор его школы; правда, само здание изменилось, окна у него подросли и за ними виднелась стайка наемных лакеев из "Астории", сервирующих стол для сказочного банкета.

Он стоял в белой пижаме, босой, простоволосый, мигал, озираясь по сторонам. Он увидел множество неожиданного люда: у закопченной стены, отделяющей двор от мастерской старика-ворчуна-соседа, который никогда не перебрасывал мяч назад, стояла застылая и безмолвная группа стражников и орденоносных чиновных лиц, и среди них Падук — царапал стену каблуком, скрестив на груди руки. В другой, смутной части двора несколько дурно одетых мужчин и женщин "представляли заложников", как сообщала данная Кругу программка. Его свояченица сидела на качелях, пытаясь достать ступнями землю, а светлобородый муж ее как раз потянул за веревку, когда она рявкнула, чтобы он не шатал качели, неграциозно с них сковырнулась и помахала Кругу рукой. Немного поодаль стояли Хедрон, и Эмбер, и Руфель, и человек, которого Круг както не мог... и Максимов, и жена Максимова. Всем не терпелось поговорить с улыбающимся философом (никто ведь не знал, что сын его погиб, а сам он сошел с ума), но солдаты имели приказ и допускали просителей только двойками.

Один из Старейшин, человек по имени Шамм, склонял к Падуку украшенную плюмажем главу и, полууказывая нервным перстом, как бы беря назад всякий сделанный им

тычок и тут же прибегая к услугам какого-либо иного перста для повторения жеста, пояснял Падуку вполголоса, что это тут происходит. Падук кивал, таращился в пустоту и кивал снова.

Профессор Руфель, нервный, угловатый, до крайности волосатый человечек с впалыми щечками и желтыми зубами, приблизился к Кругу вместе с...

— Господи, Шимпффер! — воскликнул Круг. — Надо же встретиться именно здесь, после всех этих лет, — погоди-ка ——

— Четверть века, — сказал грудным голосом Шимпффер.

— Ну и ну, совсем как в былые времена, — продолжал со смехом Круг. — А что до Жабы, так ——

Порыв ветра перевернул пустую и звонкую урну; маленький пыльный смерч пронесся по двору.

— Меня избрали для переговоров, — сказал Руфель. — Положение вам известно. Я не стану задерживаться на деталях, потому что времени очень мало. Мы хотим, чтобы вы поняли: мы не имеем намерения связывать вас обещанием или как-то на вас влиять. Нам очень хочется жить, действительно очень, но мы не будем питать к вам злобы, какое бы —— Он закашлялся. Эмбер, все еще вдалеке, подскакивал и вытягивался, как Петрушка, пытаясь увидеть Круга над спинами и головами.

— Никакой злобы, решительно никакой, — поспешно продолжил Руфель. — В сущности, мы вполне поймем вас, если вы откажетесь поддаться —— Vy ponimaete, o chom rech? Daite zhe mne znak, shto vy ponimaete —— [Вы понимаете мои слова? Покажите мне знаком, что вы понимаете.]

— Все в порядке, продолжайте, — сказал Круг. — Я просто пытался вспомнить. Вас ведь арестовали, — стойте, стойте, как раз перед тем, как кошка вышла из комнаты. Я полагаю — (Круг помахал Эмберу, чей крупный нос и красные уши появлялись то тут, то там, между плечами и палачами) — Да, я, кажется, вспомнил.

— Мы попросили профессора Руфеля говорить от нашего имени, — сказал Шимпффер.

— Да, понимаю. Прекрасный оратор. Я слушал вас, Руфель, в лучшую вашу пору, на высоком помосте, среди цветов и флагов. Отчего это яркие краски ——

— Друг мой, — сказал Руфель, — времени мало. Прошу вас, позвольте мне продолжить. Мы не герои. Смерть омерзительна. С нами две женщины, им предстоит разделить нашу участь. Наша жалкая плоть встрепенулась бы в беспредельной радости, если бы вы снизошли до спасения наших жизней, продав вашу душу. Но мы не просим, чтобы вы продали вашу душу. Мы просто ——

Круг, жестом прервав его, скорчил страшную рожу. Толпа замерла в бездыханном ожидании. Оглушительным чихом Круг разодрал тишину.

— Глупые люди, — сообщил он, вытирая ладонью нос, — скажите на милость, чего вы боитесь? Ну какое все это имеет значение? Смешно! Вроде тех ребячьих забав, — Ольга с мальчиком разыгрывали какие-то дурацкие сценки — она утонула, а он потерял то ли жизнь, то ли еще что в железнодорожном крушении. Господи, да какое значение все это имеет?

— Ладно, если все это не имеет значения, — тяжко дыша, произнес Руфель, — тогда скажите им, черт подери, что вы рады стараться, и сделайте все, что они хотят, и нас не застрелят.

— Жуткое, понимаешь, положение, — сказал Шимпффер, бывший когда-то обыкновенным храбрым рыжим мальчишкой, но приобретший теперь бледную одутловатую физиономию с веснушками под редкими волосами. — Нам объяснили, что если ты не примешь условий правительства, значит, сегодня — наш последний день. У меня в Аст-Лагоде большая фабрика спортивных товаров. Меня взяли среди ночи и запихали в тюрьму. Я законопослушный гражданин, мне вообще непонятно, как это можно отвергать правительственные предложения, но я понимаю, ты человек исключительный, ты можешь иметь исключительные причины, и ты мне поверь, мне было бы страх как неловко, если бы я вдруг заставил тебя сделать что-то нечестное или глупое.

— Круг, вы слышите, что мы вам говорим? — резко спросил Руфель, и, так как Круг продолжал смотреть на

них с благосклонной улыбкой на слегка обвислых губах, они с ужасом поняли, что обращаются к умалишенному.

— Khoroshen'koe polozhen'itze [милое дело], — сказал Руфель остолбеневшему Шимпфферу.

Цветное фото, снятое минуты две погодя, показало следующее: справа (если стать лицом к выходу) около серой стены, в кресле, только что вынесенном для него из дома, сидел, раздвинув ляжки, Падук. На нем была пятнистая (зеленая с коричневым) форма одного из любимых его полков. Лицо его под водозащитной фуражкой (изобретенной когда-то его отцом) было как тускло-розовое пятно. Он щеголял бутылочной формы коричневыми крагами. Шамм, величественная особа в медном нагруднике и широкополой черного бархата шляпе с белым пером, склонялся к надутому малютке-диктатору, что-то ему рассказывая. Трое других Старейшин стояли вблизи, обернутые в черные плащи, как кипарисы, как террористы. Несколько ладных молодых людей в опереточной форме, вооруженных пятнистыми (коричневыми с зеленым) автоматическими пистолетами, защитным полукругом обступали эту группу. На стене позади Падука, как раз над его головой, уцелела надпись мелом, непечатное слово, нацарапанное каким-то школьником; этот серьезный недосмотр совершенно испортил правую часть картинки. Слева, посреди двора, без шляпы, с жесткими и темными поседевшими кудрями, шевелившимися на ветру, в просторной белой пижаме с шелковым поясом, босиком, словно древний святой, маячил Круг. Стража нацелила ружья на Руфеля с Шимпффером, которые пытались ей что-то внушить. Ольгина сестра с судорогой на лице и старательной беспечностью во взоре втолковывала своему бестолковому муженьку, чтобы он сделал два шага вперед и занял местечко получше, тогда они смогут следующими добраться до Круга. На заднем плане медицинская сестра делала укол Максимову: старик завалился, и жена его, встав на колени, обертывала ему ноги своей черной шалью (с обоими очень дурно обращались в тюрьме). Хедрон, или, вернее, очень одаренный имперсонатор (сам Хедрон вот уже несколько дней как покончил с собой), покуривал данхилловскую трубку.

Эмбер, дрожащий (очертания смазались), несмотря на каракулевое пальто, воспользовался препирательствами между охраной и первой двойкой и подобрался почти уже к самому Кругу. Можете двигаться.

Руфель всплеснул руками. Эмбер поймал Круга за локоть, и Круг проворно обернулся к другу.

— Обожди минуту, — сказал Круг. — Не начинай жаловаться, покамест я не улажу это недоразумение. Потому что, видишь ли, вся эта "очная ставка" — сплошное недоразумение. Мне нынче ночью приснился сон, да, сон... А, все равно, называть ли его сном или презренным обманом зрения, — знаешь, из этих косых лучей в келье отшельника — ты посмотри на мои босые ноги — холодные, как мрамор, конечно — однако — О чем бишь я? Послушай, ты не такой болван, как остальные, верно? Ты ведь не хуже меня понимаешь, что бояться тут нечего?

— Адам, милый, — сказал Эмбер, — не будем входить в такие мелочи, как страх. Я готов умереть... Однако есть одна вещь, которой я дольше терпеть не намерен, c'est la tragédie des cabinets, она меня убивает. Ты знаешь, у меня на редкость капризный желудок, а они выводят меня на какой-то сальный сквозняк, в инфернальную грязь, один раз в день на одну минуту. C'est atroce. Я предпочитаю расстрел на месте.

Поскольку Руфель и Шимпффер продолжали упорствовать и уверяли стражников, что они не закончили разговора с Кругом, один из солдат воззвал к Старейшинам, и подошел Шамм, и мягко заговорил.

— Так не годится, — сказал он с очень четкой дикцией (единственно силой воли он излечил себя в молодости от взрывчатого заикания). — Программу надлежит выполнять без болтовни и сумятицы. Давайте прекращайте. Сообщите же им (он повернулся к Кругу), что вас избрали министром образования и юстиции и что в этом качестве вы возвращаете им их жизни.

— У тебя фантастически прекрасный нагрудник, — промурлыкал Круг и, быстро двигая всеми десятью пальцами, забарабанил по выпуклой железяке.

— Дни наших щенячьих игр на этом дворе давно миновали, — строго заметил Шамм.

Круг потянулся к шлему Шамма и расторопно переместил его на свои локоны.

Это была котиковая девчоночья шапка. Мальчишка, заикаясь от гнева, попытался ее отнять. Адам Круг швырнул ее Пинки Шимпфферу, а тот в свой черед закинул ее на опушенную снегом поленницу березовых дров, там она и застряла. Шамм помчался обратно в школу, ябедничать. Жаба, уходивший домой, крался к выходу вдоль низкой стены. Адам Круг закинул ранец с книгами за плечо и поделился с Шимпффером — занятно, у Шимпффера тоже возникает иногда это чувство "повторяющейся последовательности", как будто все уже было прежде: меховая шапка, я кидаю ее тебе, ты подкинул ее кверху, поленья, снег, шапка застряла, выходит Жаба?.. Шимпффер, наделенный практическим складом ума, предложил: а не пугнуть ли им Жабу как следует? Из-за поленницы мальчишки следили за ним. Жаба остановился у стены, видимо, поджидая Мамша. Круг с громовым "ура!" возглавил атаку.

— Ради Бога, остановите его, — закричал Руфель, — он обезумел. Мы за него не отвечаем. Остановите его!

Мощно набирая скорость, Круг несся к стене, у которой Падук с тающими в водах страха чертами, выскользнув из кресла, пытался исчезнуть. Двор забурлил в исступленном смятенье. Круг увернулся от объятий охранника. Потом левая часть его головы, казалось, взорвалась языками пламени (это первая пуля оторвала кусок уха), но он весело ковылял дальше.

— Давай, Шримп, давай, — ревел он, не оборачиваясь, — круши от души, корежь ему рожу, давай!

Он видел Жабу, скорчившегося у подножья стены, трясущегося, расплывающегося, все быстрее вывизгивающего заклинания, заслонявшего полупрозрачной рукой тускнеющее лицо, и Круг несся к нему, и как раз за долю мгновения до того, как другая и более точная пуля ударила в него, он снова выкрикнул: "Ты, ты..." — и стена исчезла, как резко выдернутый слайд, и я потянулся и встал среди хаоса исписанных и переписанных страниц, чтобы исследовать внезапное "трень!", произведенное чем-то, ударившимся о проволочную сетку моего окна.

Как я и думал, крупная бабочка цеплялась за сетку мохнатыми лапками со стороны ночи; мраморные крылья ее дрожали, глаза сверкали, как два крохотных уголька. Я только заметил коричнево-розовое обтекаемое тельце и сдвоенные цветные пятна, как бражник отцепился и отмахнул в теплую, влажную темень.

Ну что ж, вот и все. Различные части моего сравнительного рая — лампа у изголовья, таблетки снотворного, стакан с молоком — смотрели мне в глаза с совершенным повиновением. Я понимал, что бессмертие, дарованное мной бедолаге, было лишь скользким софизмом, игрой в слова. И все же самый последний бег в его жизни был полон счастья, и он получил доказательства того, что смерть — это всего лишь вопрос стиля. Некие башенные часы, которых я ни разу не смог обнаружить, которых, собственно, я никогда и не слышал в дневное время, пробили дважды, поколебались и были оставлены позади ровной поспешающей тишью, продолжавшей струиться по венам моих ноющих висков; вопрос ритма.

Два окна еще светились через лужайку. В одном тень руки расчесывала невидимые волосы или, быть может, это двигались ветви; другое черной чертой пересекал наклонный ствол тополя. Разрезанный луч уличного фонаря высветил ярко-зеленый кусок мокрой самшитовой изгороди. Я также мог различить отблеск особенной лужи (той самой, которую Круг как-то сумел воспринять сквозь наслоения собственной жизни), продолговатой лужи, неизменно приобретающей те же самые очертания после любого дождя — из-за постоянства формы как бы лопатой оставленной вмятины в почве. Может быть, мы могли бы сказать, что нечто похожее происходит и с отпечатком, который мы оставляем в тонкой ткани пространства. Брень! Добрая ночь, чтобы бражничать.

Nikolai Gogol

BY VLADIMIR NABOKOV

THE MAKERS OF MODERN LITERATURE

Connecticut

NIKOLAI GOGOL

BY VLADIMIR NABOKOV

THE MAKERS OF MODERN LITERATURE

Николай Гоголь

Перевод Елены Голышевой

—1944—

Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали, лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли мой то синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?

Н.В.Гоголь. "Записки сумасшедшего"

1. ЕГО СМЕРТЬ И ЕГО МОЛОДОСТЬ

1

Николай Гоголь — самый необычный поэт и прозаик, каких когда-либо рождала Россия, — умер в Москве, в четверг, около восьми часов утра, 4 марта 1852 г. Он не дожил до сорока трех лет. Однако, если вспомнить, какая до смешного короткая жизнь была уделом других великих русских писателей того поразительного поколения, это был весьма зрелый возраст. Крайнее физическое истощение в результате голодовки (которую он объявил в припадке черной меланхолии, желая побороть дьявола) вызвало острей-

шую анемию мозга (вместе, по-видимому, с гастроэнтеритом), а лечение, которому его подвергли — мощные слабительные и кровопускания, — ускорило смертельный исход: организм больного был и без того подорван малярией и недоеданием. Парочка чертовски энергичных врачей, которые прилежно лечили его, словно он был просто помешанным (несмотря на тревогу более умных, но менее деятельных коллег), пыталась добиться перелома в душевной болезни пациента, не заботясь о том, чтобы укрепить его ослабленный организм. Лет за пятнадцать до этого медики лечили Пушкина, раненного в живот, как ребенка, страдающего запорами. В ту пору еще верховодили посредственные немецкие и французские лекари, а замечательная школа великих русских медиков только зачиналась.

Ученые мужи, толпящиеся вокруг “мнимого больного” со своей кухонной латынью и гигантскими клистирами, перестают смешить, когда Мольер вдруг выхаркивает предсмертную кровь на сцене. С ужасом читаешь, до чего нелепо и жестоко обходились лекари с жалким, бессильным телом Гоголя, хоть он молил только об одном: чтобы его оставили в покое. С полным непониманием симптомов болезни и явно предвосхищая методы Шарко, доктор Овер погружал больного в теплую ванну, там ему поливали голову холодной водой, после чего укладывали его в постель, прилепив к носу полдюжины жирных пиявок. Больной стонал, плакал, беспомощно сопротивлялся, когда его иссохшее тело (можно было через живот прощупать позвоночник) тащили в глубокую деревянную бадью; он дрожал, лежа голый в кровати, и просил, чтобы сняли пиявок, — они свисали у него с носа и попадали в рот. Снимите, уберите! — стонал он, судорожно силясь их смахнуть, так что за руки его пришлось держать здоровенному помощнику тучного Овера.

И хоть картина эта неприглядна и бьет на жалость, что мне всегда претило, я вынужден ее описать, чтобы вы почувствовали до странности телесный характер его гения. Живот — предмет обожания в его рассказах, а нос — геройлюбовник. Желудок всегда был самым знатным внутренним органом писателя, но теперь от этого желудка, в сущ-

ности, ничего не осталось, а с ноздрей свисали черви. За несколько месяцев перед смертью он так измучил себя голодом, что желудок напрочь потерял вместительность, которой прежде славился, ибо никто не всасывал столько макарон и не съедал столько вареников с вишнями, сколько этот худой малорослый человек (вспомним "небольшие брюшки", которыми он наградил своих щуплых Добчинского и Бобчинского). Его большой и острый нос был так длинен и подвижен, что в молодости (изображая в качестве любителя нечто вроде "человека-змеи") он умел пренеприятно доставать его кончиком нижнюю губу; нос был самой чуткой и приметной чертой его внешности. Он был таким длинным и острым, что умел самостоятельно, без помощи пальцев, проникать в любую, даже самую маленькую табакерку, если, конечно, щелчком не отваживали незваного гостя (о чем Гоголь игриво сообщает в письме одной молодой даме). Дальше мы увидим, как нос лейтмотивом проходит через его сочинения: трудно найти другого писателя, который с таким смаком описывал бы запахи, чиханье и храп. То один, то другой герой появляется на сцене, так сказать, везя свой нос в тачке или гордо въезжая с ним, как незнакомец из "Повести Слокенбергия" у Стерна. Нюханье табака превращается в целую оргию. Знакомство с Чичиковым в "Мертвых душах" сопровождается трубным гласом, который он издает, сморкаясь. Из носов течет, носы дергаются, с носами любовно или неучтиво обращаются: пьяный пытается отпилить другому нос; обитатели Луны (как обнаруживает сумасшедший) — Носы.

Обостренное ощущение носа в конце концов вылилось в повесть "Нос" — поистине гимн этому органу. Фрейдист мог бы утверждать, что в вывернутом наизнанку мире Гоголя человеческие существа поставлены вверх ногами (в 1841 г. Гоголь хладнокровно заверял, будто консилиум парижских врачей установил, что его желудок лежит "вверх ногами"), и поэтому роль носа, очевидно, выполняет другой орган, и наоборот. Его фантазия ли сотворила нос, или нос разбудил фантазию — значения не имеет. Я считаю, разумней забыть о том, что чрезмерный интерес Гоголя к носу мог быть вызван ненормальной длиной собственного

носа, и рассматривать обонятельные склонности Гоголя — и даже его собственный нос — как литературный прием, свойственный грубому карнавальному юмору вообще и русским шуткам по поводу носа в частности. Носы и веселят нас, и печалят. Знаменитый гимн носу в "Сирано де Бержераке" Ростана — ничто по сравнению с сотнями русских пословиц и поговорок по поводу носа. Мы вешаем его в унынии, задираем от успеха, советуем при плохой памяти сделать на нем зарубку, и его вам утирает победитель. Его используют как меру времени, говоря о каком-нибудь грядущем и более или менее опасном событии. Мы чаще, чем любой другой народ, говорим, что водим кого-то за нос или кого-то с ним оставляем. Сонный человек "клюет" им, вместо того чтобы кивать головой. Большой нос, говорят, — через Волгу мост или — сто лет рос. В носу свербит к радостной вести, и ежели на кончике вскочит прыщ, то — вино пить. Писатель, который мельком сообщит, что кому-то муха села на нос, почитается в России юмористом. В ранних сочинениях Гоголь не раздумывая пользовался этим немудреным приемом, но в более зрелые годы сообщал ему особый оттенок, свойственный его причудливому гению. Надо иметь в виду, что нос как таковой с самого начала казался ему чем-то комическим (как, впрочем, и любому русскому), чем-то отдельным, чем-то не совсем присущим его обладателю и в то же время (тут мне приходится сделать уступку фрейдистам) чем-то сугубо, хотя и безобразно мужественным. Обидно читать, как, описывая хорошенькую девушку, Гоголь хвалит ее за плавность черт гладкого, как яйцо, лица.

Надо признать, что длинный, чувствительный нос Гоголя открыл в литературе новые запахи (и вызвал новые острые переживания). Как сказано в русской пословице: "Тому виднее, у кого нос длиннее", а Гоголь видел ноздрями. Орган, который в его юношеских сочинениях был всего-навсего карнавальной принадлежностью, взятой напрокат из дешевой лавочки готового платья, именуемой фольклором, стал в расцвете его гения самым лучшим его союзником. Когда он погубил этот гений, пытаясь стать проповедником, он потерял и свой нос так же, как его потерял майор Ковалев.

Вот почему есть что-то до ужаса символическое в пронзительной сцене, когда умирающий тщетно пытался скинуть чудовищные черные гроздья червей, присосавшихся к его ноздрям. Мы можем вообразить, что он чувствовал, если вспомним, что всю жизнь его донимало отвращение ко всему слизистому, ползучему, увертливому, причем это отвращение имело даже религиозную подоплеку. Ведь до сих пор еще не составлено научное описание разновидностей черта, нет географии его расселения; здесь можно было бы лишь кратко перечислить русские породы. Недоразвитая, вихляющая ипостась нечистого, с которой в основном общался Гоголь, — это для всякого порядочного русского тщедушный инородец, трясущийся, хилый бесенок с жабьей кровью, на тощих немецких, польских и французских ножках, рыскающий мелкий подлец, невыразимо гаденький. Раздавить его — и тошно и сладостно, но его извивающаяся черная плоть до того гнусна, что никакая сила на свете не заставит сделать это голыми руками, а доберешься до него каким-нибудь орудием — тебя так и передернет от омерзения. Выгнутая спина худой черной кошки, безвредная рептилия с пульсирующим горлом или опять же хилые конечности и бегающие глазки мелкого жулика (раз тщедушный — наверняка жулик) невыносимо раздражали Гоголя из-за сходства с чертом. А то, что его дьявол был из породы мелких чертей, которые чудятся русским пьяницам, снижает пафос того религиозного подъема, который он приписывал себе и другим. На свете есть множество диковинных, но вполне безвредных божков с чешуей, когтями и даже раздвоенными копытцами, но Гоголь никогда этого не признавал. В детстве он задушил и закопал в землю голодную, пугливую кошку не потому, что был от природы жесток, а потому, что мягкая вертлявость бедного животного вызывала у него тошноту. Как-то вечером он рассказывал Пушкину, что самое забавное зрелище, какое ему пришлось видеть, это судорожные скачки кота по раскаленной крыше горящего дома, — и, верно, недаром: вид дьявола, пляшущего от боли посреди той стихии, в которой он привык мучить человеческие души, казался боявшемуся ада Гоголю на редкость комическим

парадоксом. Когда он рвал розы в саду у Аксакова и его руки коснулась холодная черная гусеница, он с воплем кинулся в дом. В Швейцарии он провел целый день, убивая ящериц, выползавших на солнечные горные тропки. Трость, которой он для этого пользовался, можно видеть на дагерротипе, снятом в Риме в 1845 г. Весьма элегантная вещица.

2

На этом снимке он изображен в три четверти и держит в тонких пальцах правой руки изящную трость с костяным набалдашником (словно трость — писчее перо). Длинные, но аккуратно приглаженные волосы с левой стороны разделены пробором. Неприятный рот украшен тонкими усиками. Нос большой, острый, соответствует прочим резким чертам лица. Темные тени вроде тех, что окружают глаза романтических героев старого кинематографа, придают его взгляду глубокое и несколько затравленное выражение. На нем сюртук с широкими лацканами и франтовской жилет. И если бы блеклый отпечаток прошлого мог расцвести красками, мы увидели бы бутылочно-зеленый цвет жилета с оранжевыми и пурпурными искрами, мелкими синими глазками; в сущности, он напоминает кожу какого-то заморского пресмыкающегося.

3

Его детство? Ничем не примечательно. Переболел обычными болезнями: корью, скарлатиной и pueritus scribendi. Слабое дитя, дрожащий мышонок с грязными руками, сальными локонами и гноящимся ухом. Он обжирался липкими сладостями. Соученики брезговали дотрагиваться до его учебников. Окончив гимназию в Нежине, он поехал в Санкт-Петербург искать место. Приезд в столицу был омрачен сильной простудой, которая усугубилась тем, что Гоголь отморозил нос и тот потерял всякую чувствительность. Триста пятьдесят рублей были сразу же истрачены на новую одежду, во всяком случае, такую сумму он указы-

вает в одном из почтительных писем матери. Однако, если верить легенде, которыми в более поздние годы Гоголь любил украшать свое прошлое, первое, что он сделал, приехав в столицу, был визит к Пушкину, которым он бурно восхищался, не будучи знаком с великим поэтом лично. Великий поэт еще не вставал с постели и никого не принимал. "Бог ты мой! — воскликнул Гоголь с благоговением и сочувствием. — Верно, всю ночь работал?" — "Ну уж и работал, — фыркнул лакей Пушкина, — небось, в карты играл!" Лет за пятнадцать до того Пушкин, перевесившись через перила лицейской лестницы, дожидался приезда знаменитого поэта Державина, полную белую руку которого он мечтал облобызать в знак благоговения. Почтенный старец обернулся к слуге, помогавшему ему снять пальто, и пробурчал: "Где тут у вас, голубчик, нужник?" Мораль обеих историй одна и та же, и живи во дни молодости Державина какой-нибудь великий поэт, и у Державина нашлась бы в запасе своя басня.

За этим последовали не слишком настойчивые поиски службы, сопровождаемые просьбами к матери о деньгах. Он привез в Петербург несколько поэм — одна из них, длинная и туманная, звалась "Ганц * Кюхельгартен", в другой описывалась Италия:

Италия — роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует;
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует.

Стихи явно принадлежали перу еще "веснующего" поэта, однако кое-где попадались прекрасные строчки, такие, например, как "и путник зреть великое творенье, сам пламенный, из снежных стран спешит" или "луна глядит на мир, задумалась и слышит, как под веслом проговорит волна".

В поэме "Ганц Кюхельгартен" рассказывается о несколько байроническом немецком студенте; она полна причудливых образов, навеянных прилежным чтением кладбищенских немецких повестей:

---

* Так! *(Прим. автора.)*

Подымается протяжно
В белом саване мертвец,
Кости пыльные он важно
Отирает, молодец!

Эти неуместные восклицания объясняются тем, что природная украинская жизнерадостность Гоголя явно взяла верх над немецкой романтикой. Больше ничего о поэме не скажешь: не считая этого обаятельного покойника, она — полнейшая, беспросветная неудача. Написанная в 1827 г., поэма была опубликована в 1829-м. Гоголь, которого многие современники обвиняли в том, что он любил напускать на себя таинственность, в данном случае может быть оправдан — он не зря пугливо выглядывал из-за нелепо придуманного псевдонима В. Алов, ожидая, что же теперь будет. А было гробовое молчание, за которым последовала короткая, но убийственная отповедь в "Московском телеграфе". Гоголь со своим верным слугой кинулись в книжные лавки, скупили все экземпляры "Ганца" и сожгли их. И вот литературная карьера Гоголя началась так же, как и окончилась лет двадцать спустя, — аутодафе, причем в обоих случаях ему помогал покорный и ничего не разумеющий крепостной.

Что восхищало его в Петербурге? Многочисленные вывески. А еще что? То, что прохожие сами с собой разговаривают и непременно жестикулируют на ходу. Читателям, которые любят такого рода сопоставления, интересно заметить, как щедро использована тема вывесок в его позднейших сочинениях, а бормочущие прохожие отозвались в образе Акакия Акакиевича из "Шинели". Подобные параллели довольно поверхностны и, пожалуй, неверны. Внешние впечатления не создают хороших писателей; хорошие писатели сами выдумывают их в молодости, а потом используют так, будто они и в самом деле существовали. Петербургские вывески конца 20-х гг. были нарисованы и многократно воспроизведены самим Гоголем в его письмах, чтобы показать матери, а может, и собственному воображению, символический образ "столицы" в противовес "провинциальным городам", которые мать знала (где вывески были ничуть не менее выразительными: те

же синие сапоги; крест-накрест положенные штуки сукна; золотые крендели и другие еще более изысканные эмблемы, которые описаны Гоголем в начале "Мертвых душ"). Символизм Гоголя имел физиологический оттенок, в данном случае зрительный. Бормотание прохожих тоже было символом, в данном случае слуховым, которым он хотел передать воспаленное одиночество бедняка в благополучной толпе. Гоголь, Гоголь и больше никто, разговаривал с собой на ходу, но этому монологу вторили на разные голоса призрачные детища его воображения. Пропущенный сквозь восприятие Гоголя, Петербург приобрел ту странность, которую приписывали ему почти столетие; он утратил ее, перестав быть столицей империи. Главный город России был выстроен гениальным деспотом на болоте и на костях рабов, гниющих в этом болоте; тут-то и корень его странности — и его изначальный порок. Нева, затопляющая город, — это уже нечто вроде мифологического возмездия (как описал Пушкин); болотные духи постоянно пытаются вернуть то, что им принадлежит; видение их схватки с медным царем свело с ума первого из "маленьких людей" русской литературы, героя "Медного всадника". Пушкин чувствовал какой-то изъян в Петербурге; приметил бледно-зеленый отсвет его неба и таинственную мощь медного царя, вздернувшего коня на зябком фоне пустынных проспектов и площадей. Но странность этого города была по-настоящему понята и передана, когда по Невскому проспекту прошел такой человек, как Гоголь. Рассказ, озаглавленный именем проспекта, выявил эту причудливость с такой незабываемой силой, что и стихи Блока, и роман Белого "Петербург", написанные на заре нашего века, кажется, лишь полнее открывают город Гоголя, а не создают какой-то новый его образ. Петербург никогда не был настоящей реальностью, но ведь и сам Гоголь, Гоголь-вампир, Гоголь-чревовещатель, тоже не был до конца реален. Школьником он с болезненным упорством ходил не по той стороне улицы, по которой шли все; надевал правый башмак на левую ногу; посреди ночи кричал петухом и расставлял мебель своей комнаты в беспорядке, словно заимствованном из "Алисы в Зазеркалье". Немудрено, что

Петербург обнаружил всю свою причудливость, когда по его улицам стал гулять самый причудливый человек во всей России, ибо таков он и есть, Петербург: смазанное отражение в зеркале, призрачная неразбериха предметов, используемых не по назначению; вещи, тем безудержнее несущиеся вспять, чем быстрее они движутся вперед; бледно-серые ночи вместо положенных черных и черные дни — например, “черный день” обтрепанного чиновника. Только тут может отвориться дверь особняка и оттуда запросто выйти свинья. Только тут человек садится в экипаж, но это вовсе не тучный, хитроватый, задастый мужчина, а ваш Нос; это “смысловая подмена”, характерная для снов. Освещенное окно дома оказывается дырой в разрушенной стене. Ваша первая и единственная любовь — продажная женщина, чистота ее — миф, и вся ваша жизнь — миф. “Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз” (“Невский проспект”). Вот они, вывески.

Двадцатилетний художник попал как раз в тот город, который был нужен для развития его ни на что не похожего дарования; безработный молодой человек, дрожавший в туманном Петербурге, таком отчаянно холодном и сыром по сравнению с Украиной (с этим рогом изобилия, сыплющим плоды на фоне безоблачной синевы), вряд ли мог чувствовать себя счастливым. И тем не менее внезапное решение, которое он принял в начале июля 1829 г., так и не объяснено его биографами. Взяв деньги, присланные матерью совсем для другой цели, он вдруг сбежал за границу. Я могу лишь заметить, что после каждой неудачи в его литературной судьбе (а провал его злосчастной поэмы был им воспринят так же болезненно, как позже критический разнос его бессмертной пьесы) он поспешно покидал город, в котором находился. Лихорадочное бегство было лишь первой стадией той тяжелой мании преследования, которую ученые со склонностью к психиатрии усматрива-

ют в его чудовищной тяге к перемене мест. Сведения об этом первом путешествии показывают Гоголя во всей его красе — он пользуется своим даром воображения для путаного и ненужного обмана. Об этом говорят письма к матери, где рассказано о его отъезде и странствиях.

4

Пожалуй, тут уместно хоть коротко сказать о его матери, хотя, откровенно говоря, меня мутит, когда я читаю литературные биографии, где матери ловко домыслены из писаний своих сыновей, а потом неизменно оказывают влияние на своих замечательных отпрысков. Считалось, что это нелепая, истеричная, суеверная, сверхподозрительная и все же чем-то привлекательная Мария Гоголь внушила сыну боязнь ада, которая терзала его всю жизнь. Но, пожалуй, вернее сказать, что они с сыном просто схожи по темпераменту, и нелепая провинциальная дама, которая раздражала своих друзей утверждением, что паровозы, пароходы и прочие новшества изобретены ее сыном Николаем (а самого сына приводила в неистовство, деликатно намекая, что он сочинитель каждого только что прочитанного ею пошленького романчика), кажется нам, читателям Гоголя, просто детищем его воображения. Он так ясно сознавал, какой у нее дурной литературный вкус, и так негодовал на то, что она преувеличивает его творческие возможности, что, став писателем, никогда не посвящал ее в свои литературные замыслы, хотя в прошлом и просил у нее сведений об украинских обычаях и именах. Он редко с ней виделся в те годы, когда мужал его гений. В его письмах неприятно сквозило холодное презрение к ее умственным способностям, доверчивости, неумению вести хозяйство в имении, хотя в угоду самодовольному полурелигиозному укладу он постоянно подчеркивал свою сыновнюю преданность и покорность — во всяком случае, пока был молод, — облекая это в на редкость сентиментальные и высокопарные выражения. Читать переписку Гоголя — унылое занятие, но вот это письмо, наверное, исключение.

(Ему надо было объяснить матери свой внезапный отъезд, и он выбрал для этого повод, который мог прийтись по душе ее романтической натуре.)

“Маминька!

Не знаю, какие чувства будут волновать вас при чтении письма моего; но знаю только то, что вы не будете покойны. Говоря откровенно, кажется, еще ни одного вполне истинного утешения я не доставил вам. Простите, редкая, великодушная мать, еще доселе недостойному вас сыну.

Теперь собираясь с силами писать к вам, не могу понять, отчего перо дрожит в руке моей, мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой места, и непонятная сила нудит и вместе отталкивает их излиться пред вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня справедливым наказанием тяжкую десницу Всемогущего; но как ужасно это наказание! Безумный! я хотел-было противиться этим вечно-неумолкаемым желаниям души, которые один Бог вдвинул в меня, претворил меня в жажду ненасытимую бездейственною рассеянностью света. Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по скользким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеевать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти божественные помыслы и пресмыкаться в столице здешней между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно. Пресмыкаться другое дело там, где каждая минута жизни не утрачивается даром, где каждая минута — богатый запас опытов и знаний. Но изжить там век, где не представляется совершенно впереди ничего, где все лета, проведенные в ничтожных занятиях, будут тяжким упреком звучать душе. — Это убийственно! Что за счастье дослужить в 50 лет до какого-нибудь статского советника, пользоваться жалованьем, едва стающим себя содержать прилично, и не иметь силы принести на копейку добра человечеству. Смешны мне очень здешние молодые люди: они беспрестанно кричат, что они служат совершенно не для чинов и не для того, чтобы выслужиться. Спросите же у них, для чего они служат? — они не будут

сами в состоянии сказать: так, для того, чтобы не сидеть дома, не бить баклуши. Еще глупее те, которые оставляют отдаленные провинции, где имеют поместья, где могли бы быть хорошими хозяинами и принесть несравненно больше пользы, или если уже дворянину непременно нужно послужить, служили бы в своих провинциях; так нет, надо потаскаться в Петербург, где мало того что ничего не получат, но сколько еще перетаскают денег из дому, которые здесь истребляют неприметно в ужасном количестве.

Несмотря на это все я решился, в угодность вам больше, служить здесь во что бы ни стало, но Богу не было этого угодно. Везде совершенно я встречал одни неудачи, и что всего страннее там, где их вовсе нельзя было ожидать. Люди, совершенно неспособные, без всякой протекции легко получали то, чего я с помощью своих покровителей не мог достигнуть; не явный ли был здесь надо мною промысел Божий? не явно ли он наказывал меня этими всеми неудачами в намерении обратить на путь истинный? Что ж? я и тут упорствовал, ожидал целые месяцы, не получу ли чего. Наконец... какое ужасное наказание! Ядовитее и жесточе его для меня ничего не было в мире. Я не могу, я не в силах написать... Маминька! Дражайшая маминька! Я знаю, вы одни истинный друг мне. Но верите ли, и теперь, когда мысли мои уже не тем заняты, и теперь при напоминании невыразимая тоска врезывается в сердце. Одним вам я только могу сказать... Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке... Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости. Но я видел ее... нет, не назову ее... она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низко и не кстати для нее. Ангел — существо, не имеющее ни добродетелей, ни пороков, не имеющее характера, потому что не человек, и живущее мыслями в одном небе. Но нет, болтаю пустяки и не могу выразить ее. Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлеется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу. Но их сияния, жгущего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков... О если бы вы посмотрели на

меня тогда... правда, я умел скрывать себя от всех, но укрылся ли от себя? Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была... я по крайней <мере> не слыхал подобной любви... В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я... Взглянуть на нее еще раз — вот бывало одно единственное желание, возраставшее сильнее и сильнее с невыразимою едкостью тоски. С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние, все совершенно в мире было для меня тогда чуждо, жизнь и смерть равно несносны, и душа не могла дать отчета в своих явлениях. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в свою истерзанную душу. В умилении я признал невидимую Десницу, пекущуюся о мне, и благословил так дивно назначаемый путь мне. Нет, это существо, которое Он послал лишить меня покоя, расстроить шатко-созданный мир мой, не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвесть таких ужасных, невыразимых впечатлений. Это было божество. Им созданное, часть Его же Самого! Но, ради Бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока.

Итак я решился. Но к чему, как приступить? Выезд за границу так труден, хлопот так много! Но лишь только я принялся, все, к удивлению моему, пошло как нельзя лучше, я даже легко получил пропуск. Одна остановка была наконец за деньгами. Здесь уже было я совсем отчаялся. Но вдруг получаю следуемые в Опекунский совет. Я сейчас отправился туда и узнал, сколько они могут нам дать просрочки на уплату процентов; узнал, что просрочка длится на четыре месяца после сроку, с платою по пяти рублей от тысячи в каждый месяц штрафу. Стало быть, до самого ноября месяца будут ждать. Поступок решительный, безрассудный: но что же было мне делать?.. Все деньги, следуемые в опекунский, оставил я себе и теперь могу решительно сказать: больше от вас не потребую. Одни труды

мои и собственно<е> прилежание будут награждать меня. Что же касается до того, как вознаградить эту сумму, как внести ее сполна, вы имеете полное право данною и прилагаемою мною при сем доверенностью продать следуемое мне имение, часть или всё, заложить его, подарить и проч. и проч. Во всем оно зависит от вас совершенно. Я хотел-было совершить купчую или дарственную запись, но нужно было мне платить за одну бумагу триста рублей. Впрочем вы и посредством доверенности будете владеть, как законный и полный владелец.

Не огорчайтесь, добрая, несравненная маминька! Этот перелом для меня необходим. Это училище непременно образует меня: я имею дурной характер, испорченный и избалованный нрав (в этом признаюсь я от чистого сердца); лень и безжизненное для меня здесь пребывание непременно упрочили бы мне их навек. Нет, мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвесть силою души в вечном труде и деятельности, и если я не могу быть счастлив (нет, я никогда не буду счастлив для себя. Это божественное существо вырвало покой из груди моей и удалилось от меня), по крайней мере всю жизнь посвящу для счастия и блага себе подобных.

Но не ужасайтесь разлуки, я недалеко поеду: путь мой теперь лежит в Любек. Это большой приморский город Германии, известный торговыми своими сношениями всему миру. Расстоянием от Петербурга на четыре дня езды. Я еду на пароходе и потому времени употреблю еще менее. Письма ваши только четырьмя днями будут позже доходить ко мне. Покуда это письмо дойдет до вас, я успею написать к вам уже из Любека и известить о своем адресе, а до того, если хотите писать ко мне, можете адресовать в С.-Петербург, на имя его благородия Николая Яковлевича Прокоповича, в дом Иохима, на Большой Мещанской. Что же касается до свидания нашего, то не менее как чрез два или три года могу я быть в Васильевке вашей. Не забудьте прислать пашпорт Екиму, т. е. плакатный билет (ему нельзя жить здесь без места), всё же адресуясь на имя Прокоповича.

Теперь припадаю к страшным стопам Всевышнего с прошением и мольбою, да сохранит драгоценные и священные для нас годы жизни вашей, да отвеет от вас всё, наносящее вам горечи и неудовольствия, и да исполнит меня силы истинно заслужить ваше материнское благословение. Ваш преданнейший сын, любящий вас более всего

Николай Гоголь-Яновский.

Принося чувствительнейшую и невыразимую благодарность за ваши драгоценные известия о малороссиянах, прошу вас убедительно не оставлять и впредь таковыми письмами. В тиши уединения я готовлю запас, которого, порядочно не обработавши, не пущу в свет, я не люблю спешить, а тем более занимать поверхностно. Прошу также, добрая и несравненная маминька, ставить как можно четче имена собственные и вообще разные малороссийские проименования. Сочинение мое, если когда выйдет, будет на иностранном языке, и тем более мне нужна точность, <чтобы> не исказить неправильными именованиями существенного имени нации. Извините, что и теперь не оставляю беспокоить вас подобными просьбами; но зная, с каким удовольствием вы внимаете им, беру эту смелость. В замену опишу вам быт и занятия добрых немцев, дух новизны, странность и прелесть еще доселе мною невиданного и всё, что произведет сильное впечатление на меня. Благодарю также чувствительно почтеннейшего Савву Кирилловича. Прошу его также присылать announcementприписочки в ваше письмо.

Деньги вы можете адресовать прямо в Опекунский совет импер<аторского> воспит<ательного> дома. Можно просрочить по самый ноябрь, но лучше если бы они получили в половине или начале октября. Не забудьте: с тысячи по пяти рублей в месяц штрафу.

Прошу вас покорнейше также, если случатся деньги когда-нибудь, выслать Данилевскому 100 рублей. Я у него взял шубу на дорогу себе, также несколько белья, чтобы не нуждаться в чем. Адрес его: В школу гвардейских подпрапорщиков у Синего мосту.

Целую тысячу раз милых сестриц моих, Аниньку и Лизу. Ради Бога, прилагайте возможное попечение о воспитании Аниньки; старайтесь ей дать уразуметь языки и все полезное. Я предрекаю вам, что это удивительное дитя будет гений, какого не видывали".

Я привел письмо целиком, потому что оно напоминает моток шерсти, чьи разноцветные нити будут потом вплетены в последующие высказывания Гоголя. Прежде всего, какой бы ни была его любовная жизнь (насколько известно, в зрелые годы он выказывал полное равнодушие к женскому полу), ясно, что намеки на "возвышенное создание", на языческую богиню, по странной прихоти созданную христианским Богом, — образчик витиеватого и бессовестного вымысла. Не говоря уж о том, что ближайшие друзья категорически утверждали, будто ничего даже отдаленно напоминавшего романтическую драму молодой Гоголь никогда не переживал, стиль этой части письма до смешного противоречит его прозаическому целому (скобка в одном из абзацев подчеркивает ее чужеродную природу), и автора можно заподозрить в том, что он просто переписал кусок из какой-то повестушки, которую сочинял в подражание сладкоречивой беллетристике своего времени. Пассаж относительно бесплодности и даже греховности усилий стать городским чиновником-бумагомаракой, вместо того чтобы возделывать землю, данную самим Богом русским помещикам, предвосхищает идеи, которые Гоголь развил в своих "Выбранных местах из переписки с друзьями"; то, что сам он только и мечтал как-нибудь разделаться с этой землей, еще больше усугубляет несуразность его письма. Призыв к провидению или, вернее, странная склонность (разделяемая его матерью) объяснять Божьим промыслом любой свой каприз или случайное событие, в которых лишь он (или она) ощущает дух святости, также очень характерны и показывают, какой насыщенной творческой фантазией (а потому метафизически ограниченной) была религиозность Гоголя и как мало он замечал столь страшившего его дьявола, когда тот подталкивал его руку со строчившим без устали пером. Мы читаем, как, обсудив с позиций провидения порочную действительность рус-

ского бюрократизма, он тут же прибегает к этому же провидению, чтобы оно подтвердило его собственную выдумку. Понимая, что отвращение к конторской работе не покажется матери убедительным доводом и она, как всякая провинциальная дама той поры, уважает “коллежского асессора” меньше, чем “коллежского советника” (звания в китайской иерархии тогдашней России), он выдумал более романтическое объяснение своего бегства. И намекнул (намека этого его мать не поняла), что предмет его страсти — девица высокородная, быть может, даже дочь действительного статского советника. Та часть письма, которая порождена не одной лишь фантазией, также типична для Гоголя. Спокойно доложив матери, что он взял деньги, которые ему не принадлежали или, во всяком случае, не предназначались для его личных нужд, и предложив ей взамен имущество, которым, как он знал, она никогда не воспользуется, Гоголь торжественно клянется, что больше не попросит у нее ни копейки, а потом как бы между прочим выпрашивает еще сто рублей. В переходе от божественного к большому торговому городу уже есть то снижение, которым он так артистически пользовался в позднейших своих произведениях. Быть может, самое интересное в этом письме — довод, к которому Гоголь будет судорожно прибегать на каждом решающем этапе своей литературной жизни: для того чтобы “в тиши одиночества” совершить нечто важное для блага “себе подобных”, которых в реальной жизни он так чуждался, ему необходима обстановка чужой страны, любой чужой страны.

13 июля 1829 г., одетый в свой лучший синий сюртук с медными пуговицами, он высадился в Любеке и сразу же написал еще одно письмо матери, где привел новое с иголочки и столь же выдуманное объяснение своего отъезда из Петербурга:

“Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины, заставившей меня именно ехать в Любек. Во всё почти время весны и лета в Петербурге я был болен; теперь хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи, что

у меня кровь крепко испорчена, что мне нужно было принимать кровоочистительный декокт, и присудили пользоваться водами в Травемунде, в небольшом городке, в 18 верстах от Любека..."

Он, как видно, совершенно забыл о своей прежней романтической выдумке, но, к несчастью, о ней не забыла мать. Сопоставив таинственную страсть и столь же таинственную сыпь, почтенная дама сделала поспешный вывод, что сын ее связался с дорогой кокоткой и схватил венерическую болезнь. Получив ее ответ на свои два письма, Гоголь пришел в ужас. Он еще не раз в своей жизни получит неожиданную отповедь, затратив немало усилий, фантазии и красноречия, чтобы создать ложное представление у своих адресатов касательно какого-нибудь своего желания или намерения. Его затея не увенчалась успехом, и, вместо того чтобы очередную выдумку признали или хотя бы подвергли критике в ее же пределах и в том же ключе, наградой ему будет гневный окрик и негодование. Чем больше пафоса он вложит, чем торжественнее возьмет тон, чем глубже будут его чувства или, по крайней мере, те чувства, которые он выразит самым набожным и раздражающим слогом, тем сильнее и неожиданнее будет полученный отпор. Он распустит все свои паруса на крепчайшем ветру и вдруг заскрипит килем по каменистому дну чудовищного непонимания. Его ответ на письмо матери, превратно понявшей ту версию, которую он так тщательно изобретал (погубило же вымысел непредвиденное сопоставление двух его половин, ибо ничто не дает в руки дьяволу такого оружия, как удвоение причин для вящей правдоподобности), уже предвещает то недоумение, которое он испытает через несколько лет, узнав об отношении друзей к его взгляду на обязанности помещиков или к его намерению анонимно внести свои литературные гонорары в помощь нуждающимся студентам, вместо того чтобы платить долги не менее нуждающимся друзьям. Возмущенно опровергнув ложное истолкование своего письма, он излагает матери еще одну версию своего отъезда из Петербурга — его биографы видят в ней намек на его душевное состояние после неудачи "Ганца Кюхельгартена": "Вот вам

мое признание: одни только гордые помыслы юности, проистекавшие, однако ж, из чистого источника, из одного только пламенного желания быть полезным, не будучи умеряемы благоразумием, завлекли меня слишком далеко".

Трудно сказать, как он провел те два месяца за границей (в Любеке, Травемюнде и Гамбурге). Один из биографов даже утверждает, будто он в то лето вовсе и не ездил за границу, а оставался в Петербурге (так же, как несколько лет спустя Гоголь обманывал мать, думавшую, что сын ее все еще в Триесте, хотя он уже вернулся в Москву). В письмах Гоголь как-то странно, будто сон, описывает виды Любека. Интересно заметить, что его описание курантов на любекском соборе ("Когда настанет 12 часов, большая мраморная фигура вверху бьет в колокол 12 раз. Двери с шумом отворяются вверху; из них выходят стройно один за другим 12 апостолов, в обыкновенный человеческий рост, поют и наклоняются каждый, когда проходят мимо изваяния Иисуса Христа...") легло в основу кошмара, который мать его увидела шесть лет спустя; несчастья, которые, как она воображала, стряслись с Николаем, перемешались у нее в сознании с фигурами на курантах, и, быть может, этот сон, пророчивший страдания сына в годы его религиозной мании, был не так уж лишен смысла. Я люблю следить за странными очертаниями теней, упавших на далекие жизни, и много бы дал, чтобы узнать фамилию и род занятий того безымянного американца ("гражданина из Американских Штатов", как выразился Гоголь), который вместе со швейцарской четой, англичанином и индусом (в угоду матери превращенным в "индейского набоба") обедал в любекской харчевне, где молодой длинноносый московитянин в мрачном молчании поглощал свою еду. Нам часто снятся ничего не значащие люди — случайный спутник или какая-нибудь личность, встреченная много лет назад. Можно вообразить, как ушедший на покой бостонский делец рассказывает в 1875 г. жене, что ему ночью снилось, будто он с молодым русским или поляком, которого в давние годы встретил в Германии, покупает в антикварной лавке часы и весы.

5

Гоголь так же внезапно вернулся в Петербург, как оттуда уехал. В его перелетах с места на место всегда было что-то от тени или от летучей мыши. Ведь только тень Гоголя жила подлинной жизнью — жизнью его книг, а в них он был гениальным актером. Стал бы он хорошим актером в прямом смысле этого слова? От ненависти к канцелярской работе он подумывал пойти на сцену, но испугался экзамена или провалился на нем. Это было его последней попыткой уклониться от государственной службы, потому что в конце 1829 г. мы находим его на должности чиновника, но в основном его деятельность на этом поприще заключалась в переходе из одного присутственного места в другое. В начале 1830 г. он напечатал рассказ, который позднее вошел в первый том его украинских повестей ("Вечера на хуторе близ Диканьки"). В это же время в "Северных цветах" появились главы из исторического романа (слава Богу, так и не оконченного); журнал редактировал Дельвиг, поэт антологического склада, склонный к классическому холоду гекзаметра. (Восхищаясь изяществом и сноровкой, с какими тучный подслеповатый Дельвиг производил русификацию греческого духа, Пушкин тем не менее говорил о его совершенно безличном, отвлеченном стихе: забавно — чем ближе к небесам, тем делается холоднее.) Главы исторического романа подписаны "0000". Четверка нулей, как говорят, произошла от четырех "о" в имени Николай Гоголь-Яновский. Выбор пустоты, да еще и умноженной вчетверо, чтобы скрыть свое "я", очень характерен для Гоголя.

В одном из своих многочисленных посланий к матери он так описывает свой день:

"В 9 часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пребываю там до 3-х часов, в половине четвертого я обедаю, после обеда в 5 часов отправляюсь я в класс, в академию художеств, где занимаюсь живописью, которую я никак не в состоянии оставить... <он пишет далее, что ему и приятно и полезно общение с более или менее знаменитыми художниками> я не могу не восхищаться их характером и обращением; что это за люди!

Узнавши их, нельзя отвязаться от них навеки, какая скромность при величайшем таланте!.. В классе, который посещаю я три раза в неделю, просиживаю два часа; в 7 часов прихожу домой, иду к кому-нибудь из своих знакомых на вечер, — которых у меня таки не мало. Верите ли, что одних однокорытников моих из Нежина до 25 человек... С 9 часов вечера я начинаю свою прогулку... в 11 часов вечера гулянье прекращается, и я возвращаюсь домой, пью чай, если нигде не пил... иногда прихожу домой часов в 12 и в 1 час, и в это время еще можно видеть толпу гуляющих. Ночей, как вам известно, здесь нет; все светло и ясно, как днем, только что нет солнца".

Дельвиг рекомендовал молодого Гоголя поэту Жуковскому, а тот — литературному критику и университетскому профессору Плетневу, который памятен главным образом тем, что Пушкин посвятил ему "Евгения Онегина". Плетнев и особенно Жуковский стали близкими друзьями Гоголя. В мягком, набожном, медоточивом Жуковском ему встретился тот духовный темперамент, который можно счесть пародией на его собственный, если оставить в стороне яростную, почти средневековую страсть, какую Гоголь вкладывал в свою метафизику. Жуковский был поразительным переводчиком и в переводах из Цедлица и Шиллера превзошел подлинники; один из величайших второстепенных поэтов на свете, он прожил жизнь в чем-то вроде созданного им самим золотого века, где провидение правило самым благожелательным и даже благочинным образом, а фимиам, который Жуковский послушно воскурял, его медоточивые стихи и "молоко сердечных чувств", которое в нем никогда не прокисало, — все это отвечало представлениям Гоголя о чисто русской душе; его не только не смущали, но, наоборот, даже внушали приятное возвышенное ощущение сродства излюбленные идеи Жуковского о совершенствовании мира, такие, к примеру, как замена смертной казни религиозным таинством, при котором вешать будут в закрытом помещении вроде церкви, под торжественное пение псалмов, невидимое для коленопреклоненной толпы, но на слух прекрасное и вдохновенное; одним из доводов, которые Жуковский приводил в

защиту этого необычайного ритуала, было то, что отгороженное место, завесы, звонкие голоса священнослужителей и хора (заглушающие все непотребные звуки) не позволят осужденным куражиться при зрителях — греховно щеголять своей развязностью или отвагой перед лицом смерти.

При помощи Плетнева Гоголь получил возможность сменить поденщину государственной службы на поденщину педагогическую, с чего и началась его незадачливая учительская карьера (в качестве преподавателя истории в институте благородных девиц). И через того же Плетнева на приеме, устроенном им в мае 1831 г., Гоголь познакомился с Пушкиным.

Пушкин только что женился и, вместо того чтобы запереть супругу в самый темный чулан дальнего поместья, как ему и полагалось бы, знай он, что выйдет из этих дурацких придворных балов и якшанья с подлецами придворными (под присмотром равнодушного распутного царя, невежды и негодяя, чье царствование все целиком не стоило и страницы пушкинских стихов), привез ее из Москвы в столицу. Гений его был в полном расцвете, но русский поэтический ренессанс уже кончился, литературные угодья захватили стаи шарлатанов, и колченогие философы, "идеалисты" немецкого пошиба, первые ласточки гражданственной литературной критики, которая в конце концов выродилась в беспомощные писания разного толка народников, были единодушны в оценке величайшего поэта своей эпохи (а может, и всех времен, за исключением Шекспира) как пыльного пережитка ушедшего поколения или как представителя литературной "аристократии" — не знаю, что они хотели этим сказать. Серьезные читатели жаждали "фактов", "подлинности чувств", "интереса к человеку" точно так же, как эти бедняги жаждут их теперь.

"Сейчас прочел "Вечера близ Диканьки", — писал Пушкин другу. — Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали <сообщил об этом Пушкину сам Гоголь, и весьма вероятно, что сам же это

выдумал>, что когда издатель вошел в типографию, где печатались "Вечера", то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою..."

Похвала Пушкина мне кажется несколько преувеличенной. Но нельзя забывать, что почти ничего поистине стоящего (кроме прозы самого Пушкина) в ту пору не публиковалось из русской художественной литературы. По сравнению с дешевыми подражаниями английским и французским романам XVIII в., которые покладистый читатель жадно глотал из-за отсутствия настоящей духовной пищи, "Вечера" Гоголя, конечно, были откровением. Их прелесть и юмор с тех пор разительно поблекли. Странное дело, но именно благодаря "Вечерам" (и первому и второму томам) за Гоголем укрепилась слава юмориста. Когда мне кто-нибудь говорит, что Гоголь "юморист", я сразу понимаю, что человек этот не слишком разбирается в литературе. Если бы Пушкин дожил до "Шинели" и "Мертвых душ", он бы, несомненно, понял, что Гоголь — нечто большее, чем поставщик "настоящей веселости". Недаром ходит легенда, кажется тоже придуманная Гоголем, что, когда незадолго до смерти Пушкина он прочел ему набросок первой главы "Мертвых душ", тот воскликнул: "Боже, как грустна наша Россия!"

Немало скороспелых похвал порождено было местным колоритом, а местный колорит быстро выцветает. Я никогда не разделял мнения тех, кому нравятся книги только за то, что они написаны на диалекте, или за то, что действие в них происходит в экзотических странах. Клоун в одежде, расшитой блестками, мне не так смешон, как тот, что выходит в полосатых брюках гробовщика и манишке. На мой вкус, нет ничего скучнее и тошнотворней романтического фольклора или потешных баек про лесорубов, йоркширцев, французских крестьян или украинских парубков. И поэтому два тома "Вечеров", так же как и два тома повестей, озаглавленных "Миргород" (куда вошли "Вий",

“Тарас Бульба”, “Старосветские помещики” и т.д.), появившиеся в 1835 г., оставляют меня равнодушным. Однако именно этими произведениями, юношескими опытами псевдоюмориста Гоголя, русские учителя забивали головы своих учеников. Подлинный Гоголь смутно проглядывает в “Арабесках” (включающих “Невский проспект”, “Записки сумасшедшего” и “Портрет”) и раскрывается полностью в “Ревизоре”, “Шинели” и “Мертвых душах”.

В период создания “Диканьки” и “Тараса Бульбы” Гоголь стоял на краю опаснейшей пропасти (и как он был прав, когда в зрелые годы отмахивался от этих искусственных творений своей юности). Он чуть было не стал автором украинских фольклорных повестей и красочных романтических историй. Надо поблагодарить судьбу (и жажду писателя обрести мировую славу) за то, что он не обратился к украинским диалектизмам как средству выражения, ибо тогда бы он пропал. Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом “Диканьки” и “Миргороды” — о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках.

Лет через двадцать пять я заставил себя перечесть “Вечера” и остался к ним так же холоден, как и в те дни, когда мой учитель не мог понять, почему от “Страшной мести” у меня не ползут по спине мурашки, а от “Шпоньки и его тетушки” я не покатываюсь со смеху. Но теперь я вижу, как там и сям сквозь оперную романтику и старомодный фарс смутно, но настойчиво проглядывает то, что предвещает настоящего Гоголя и что было неведомо и непонятно читателям 30-х гг. XIX в., критикам 60-х и учителям моей юности.

Возьмите, к примеру, сон Ивана Шпоньки — слабовольного, никчемного украинского помещика, которого властная самодурка тетка пыталась силой женить на белокурой дочке соседа.

“То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит вместо одинокой — двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней, что говорить

с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену (тема удвоения кровати развивается по логике сна), тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена. Назад — еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. <Сон как фокус: размножение предметов.> Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком — и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит жена... То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом: "Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек". Он к ней — но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню. <Тут бы фрейдисты навострили уши!>

"Кто это тащит меня?" — жалобно проговорил Иван Федорович. "Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол". — "Нет, я не колокол, я Иван Федорович!" — кричал он. "Да, ты колокол", — говорил, проходя мимо, полковник П*** пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя; что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. "Какой прикажете материи? — говорит купец. — Вы возьмите жены, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки". Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет под мышку, идет к жиду, портному. "Нет, — говорит жид, — это дурная материя! Из нее никто не шьет себе сюртука..."

В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился с него градом.

Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец, по своей редкой доброте и бескорыстию, поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон".

И тут, в конце довольно посредственного рассказа, мы находим первое предвестие тех фантастических ритмов, которые позднее стали канвой "Шинели". Надеюсь, чита-

тель заметил, что самое невероятное в приведенном выше отрывке — это не колокольня, не колокол, не множество жен и даже не полковник П***, а небрежно брошенная фраза о добром и человеколюбивом книгопродавце.

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИЗРАК

1

История постановки на русской сцене комедии "Ревизор" и тот необычайный шум, который она вызвала, конечно, не имеют прямого отношения к самому Гоголю как предмету моих записок, однако несколько слов на эту постороннюю тему, быть может, полезно сказать. Наивные души неизбежно должны увидеть в пьесе яростную социальную сатиру, нацеленную на идиллическую систему государственной коррупции в России, и поэтому удивительно, что автор или кто-то еще надеялся выйти с этой пьесой на сцену. Цензурный комитет, как и все подобные организации, был сборищем трусливых олухов или чванливых ослов, и уже то, что писатель осмелился изобразить государственных чиновников не как идеал сверхчеловеческих добродетелей, было само по себе преступлением, от которого по спинам жирных цензоров бежали мурашки. А то обстоятельство, что "Ревизор" — самая великая пьеса, написанная в России (и до сих пор не превзойденная), никак не доходило до их сознания.

Но произошло чудо, чудо, которое как нельзя более соответствовало перевернутому миру Гоголя. Верховный цензор, Тот, кто стоял надо всеми, Чья Божественная Особа была так вознесена, что имя ее едва решался вымолвить грубый человеческий язык, сам Сиятельный, единовластный Царь в приступе какого-то совсем неожиданного благодушия приказал разрешить пьесу и поставить.

Трудно вообразить, что привлекло Николая I в "Ревизоре": человек, который несколько лет назад, вооружившись красным карандашом, исчеркал "Бориса Годунова" идиотскими замечаниями, предложил переделать

трагедию в роман на манер Вальтера Скотта и вообще был невосприимчив к настоящей литературе, как все правители (не исключая Фридриха Великого или Наполеона), вряд ли мог увидеть в пьесе Гоголя нечто большее, чем балаганное развлечение. С другой стороны, сатирический пафос (если мы хоть на минуту допустим такое ложное толкование "Ревизора") едва ли мог увлечь чванную, лишенную чувства юмора натуру царя. Если ему приписать хоть на йоту ума — по крайней мере, ума политического, — то нельзя же предположить, будто его настолько обуревало желание покрепче встряхнуть своих подданных, что он не углядел опасности того, как простой люд отнесется к императорской забаве. Действительно, говорят, будто он заявил после первого представления: "Все получили по заслугам, и я больше всех". И если это не вымысел (что сомнительно), царю была понятна логическая связь между обличением продажности в условиях определенной государственной системы и обличением самой этой системы. Остается только предположить, что разрешение поставить пьесу вызвано внезапным капризом царя — ведь и появление такого писателя, как Гоголь, можно приписать непонятной причуде какого-то духа, ведающего развитием русской словесности в начале XIX в. Подписывая разрешение, деспот, как ни странно, заразил русских писателей опаснейшей болезнью; опасной для идеи монархии, опасной для правительственного беззакония и опасной — а эта опасность самая страшная — для художественной литературы; ведь пьесу Гоголя общественные умы неправильно поняли как социальный протест, и в 50-х и 60-х гг. она породила не только кипящий поток литературы, обличавшей коррупцию и прочие социальные пороки, но и разгул литературной критики, отказывавшей в звании писателя всякому, кто не посвятил своего романа или рассказа бичеванию околоточного или помещика, который сечет своих мужиков. Десять лет спустя царь совершенно забыл, что это за пьеса, и у него не сохранилось даже смутного представления о том, кто такой Гоголь и что он написал.

Первое представление "Ревизора" было отвратительным в смысле актерской игры и оформления; Гоголь чрез-

вычайно зло отзывался о непристойных париках, шутовских костюмах и грубом переигрывании, которым театр испортил его пьесу. Отсюда берет начало традиция ставить "Ревизора" как фарс; позднее пьесу стали подтягивать к комедии нравов, и, таким образом, XX век получил в наследство странную смесь неподражаемой гоголевской речи и убогих натуралистических декораций, которую время от времени спасала личность какого-нибудь гениального артиста. Странно, что в те годы, когда словесность в России пришла в упадок — каковое положение сохраняется уже четверть века, — русский режиссер Мейерхольд, несмотря на все искажения и отсебятину, создал сценический вариант "Ревизора", который в какой-то мере передавал подлинного Гоголя.

Я только раз видел эту пьесу, поставленную на иностранном языке (по-английски), но об этом лучше не вспоминать. Что касается текста, то переводы Зельцера и Констанс Гарнетт стоят один другого. Лишенная всякого дара слова Гарнетт перевела "Ревизора" хотя бы более или менее тщательно, и эта работа раздражает меньше, чем некоторые чудовищные переложения "Шинели" и "Мертвых душ". Ее можно сравнить с приглаженным переводом "Гамлета" Гизо. От стиля Гоголя, конечно, ничего не осталось. Английский язык сух, бесцветен и невыносимо благопристоен. Только ирландцу впору браться за Гоголя. Вот несколько типичных примеров дурного перевода (их можно привести гораздо больше): описывая Бобчинского и Добчинского, Гоголь говорит, что они "оба с небольшими брюшками", что позволяет представить их себе малорослыми и в целом довольно щуплыми — это чрезвычайно важно, чтобы не исказить впечатления, которое Бобчинский и Добчинский должны производить. Констанс Гарнетт же пишет в переводе 'both rather corpulent' (оба довольно крупные) — и тем самым убивает Гоголя. Мне иногда кажется, что эти старые английские "переводы" поразительно напоминают так называемое разрезание на тысячу кусков, казнь, одно время распространенную в Китае. Каждые пять минут из тела жертвы вырезали по крошечному

квадратику, размером в таблетку от кашля (с разбором, чтобы пациент, не дай Бог, не умер на девятьсот девяносто девятом), пока от тела не оставался один скелет.

Есть в переводе и явные ошибки: так, габерсуп, который попечителю богоугодных заведений велено давать больным, превращается в 'clear soup' (бульон); а вот и вовсе потешная несуразица — одна из пяти-шести книг, которые прочел за свою жизнь судья, становится 'The Book of John the Mason' (Книгой Иоанна Масона), название почти что библейское, тогда как на самом деле речь идет об описании приключений Джона Мейсона (возможно, вымышленных), жившего в XVI столетии английского дипломата и авантюриста, который собирал сведения о делах на континенте по поручению королевской семьи Тюдоров.

2

Сюжет "Ревизора" так же не имеет значения, как и все сюжеты гоголевских произведений. Более того, если говорить о пьесе, фабула ее, как и у всех драматургов, лишь попытка выжать до последней капли забавное недоразумение. По-видимому, Пушкин подсказал эту фабулу Гоголю, посмеявшись над тем, как во время ночевки в нижегородском трактире он был принят за важного столичного чиновника; с другой стороны, Гоголь, чья голова была набита сюжетами старых пьес с тех пор, как он участвовал в школьных любительских постановках (пьес, посредственно переведенных на русский с трех или четырех языков), мог легко обойтись и без подсказки Пушкина. Странно, что мы испытываем болезненную потребность (как правило, зря и всегда некстати) отыскивать прямую зависимость произведения искусства от "подлинного события". Потому ли, что больше себя уважаем, узнав, что писателю, как и нам, грешным, недостало ума самому придумать какую-нибудь историю? Или же наше маломощное воображение взыграет, если нам скажут, что в основе "сочинения", которое мы почему-то презираем, лежит подлинный факт? Или же, в конце концов, все дело в преклонении перед

истиной, которое заставляет маленьких детей спрашивать того, кто рассказывает сказку: “А это правда было?” — и заставило Толстого в его высоконравственный период отказаться от создания вымышленных героев, дабы не подменять собой Бога, посягая на его исключительное право? А между тем спустя сорок лет после этой премьеры некий политический эмигрант захотел, чтобы Карл Маркс (чей “Капитал” он переводил в Лондоне) познакомился с Чернышевским — знаменитым радикалом и заговорщиком, сосланным в Сибирь в 60-е гг. (он был одним из тех критиков, кто настойчиво предрекал гоголевский период русской литературы, понимая под этим иносказанием, которое привело бы Гоголя в ужас, долг романистов работать исключительно ради улучшения социальных и политических условий жизни народа). Чтобы выкрасть сибирского узника, политэмигрант нелегально вернулся в Россию и, выдавая себя за члена Географического общества (занятный штрих), добрался до далекой Якутии; замысел его потерпел неудачу только потому, что на этом тернистом пути его чем дальше, тем чаще принимали за ревизора, путешествующего инкогнито, — совершенно как в пьесе Гоголя. Такое подлое подражание художественному вымыслу со стороны жизни почему-то радует больше, чем обратный процесс.

Эпиграфом к пьесе поставлена русская пословица: “На зеркало неча пенять, коли рожа крива”. Гоголь, конечно, никогда не рисовал портретов, он пользовался зеркалами и как писатель жил в своем зеркальном мире. А каким было лицо читателя — пугалом или идеалом красоты, — не имело ни малейшего значения, ибо не только зеркало было сотворено самим Гоголем, со своим особым способом отражения, но и читатель, к которому обращена пословица, вышел из того же гоголевского мира гусеподобных, свиноподобных, вареникоподобных, ни на что не похожих образин. Даже в худших своих произведениях Гоголь отлично создавал своего читателя, а это дано лишь великим писателям. Так возникает замкнутый круг, я бы сказал — тесный семейный круг. Он не открывается в мир. И подходить к пьесе как к социальной сатире (вторя мнению общества)

или как к моральному обличению (запоздалое оправдание, придуманное самим Гоголем) — значит упускать из виду главное в ней. Персонажи "Ревизора" — не важно, станут они или нет образцами для людей из плоти и крови, — реальны лишь в том смысле, что они реальные создания фантазии Гоголя. А Россия, страна прилежных учеников, стала сразу же старательно подражать его вымыслам, но это уже дело ее, а не Гоголя. В России гоголевской эпохи взяточничество цвело так же пышно, как цвело оно и цветет повсюду в Европе, а с другой стороны, в любом из русских городов той поры проживали куда более гнусные подлецы, чем добродушные жулики из "Ревизора". Я злюсь на тех, кто любит, чтобы их литература была познавательной, национальной, воспитательной или питательной, как кленовый сироп и оливковое масло, и поэтому, говоря о "Ревизоре", так упорно пережевываю эту не слишком занимательную мысль.

3

Пьеса начинается с ослепительной вспышки молнии и кончается ударом грома. В сущности, она целиком умещается в напряженное мгновение между вспышкой и раскатом. В ней нет так называемой экспозиции. Молния не теряет времени на объяснение метеорологических условий. Весь мир — трепетный голубой всполох, и мы посреди него. Единственная театральная традиция, которой придерживался Гоголь, — это монологи, однако ведь и люди разговаривают сами с собой во время тревожного затишья перед грозой, ожидая первого грома. Действующие лица — люди из того кошмара, когда вам кажется, будто вы уже проснулись, хотя на самом деле погружаетесь в самую бездонную (из-за своей мнимой реальности) пучину сна. У Гоголя особая манера заставлять "второстепенных" персонажей выскакивать при каждом повороте пьесы (романа или рассказа), чтобы на миг блеснуть своим жизнеподобием (как полковник П*** пехотного полка в сне Шпоньки или ряд созданий в "Мертвых душах"). В "Ревизоре" этот прием обнаруживается с самого начала, когда городничий

Сквозник-Дмухановский читает странное письмо своим подчиненным — смотрителю училищ Хлопову, судье Ляпкину-Тяпкину и попечителю богоугодных заведений Землянике (перезрелая, коричневатая земляника, попорченная лягушачьей губой). Обратите внимание, что это за фамилии, до чего они не похожи, скажем, на холеные псевдонимы Вронский, Облонский, Волконский и т.д. у Толстого. (Фамилии, изобретаемые Гоголем, — в сущности, клички, которые мы нечаянно застаем в тот самый миг, когда они превращаются в фамилии, а всякую метаморфозу так интересно наблюдать!) Прочтя важную часть письма относительно предстоящего приезда ревизора из Петербурга, городничий машинально продолжает читать дальше, и из его бормотания рождается вереница поразительных второстепенных существ, которые так и норовят пробиться в первый ряд: "...сестра Анна Кириловна приехала к нам с своим мужем; Иван Кирилович <судя по отчеству, брат> очень потолстел и все играет на скрыпке..."

Прелесть в том, что эти второстепенные персонажи потом так и не появятся на сцене. Все мы давно знаем, чего стоят якобы незначащие упоминания в начале первого действия о какой-то тете или о незнакомце, встреченном в поезде. Мы знаем, что "случайно" упомянутые лица — незнакомец с австралийским акцентом или дядюшка с забавной привычкой — ни за что не были бы введены в пьесу, если бы минуту спустя не появились на сцене. Ведь "случайное упоминание" — обычный признак, масонский знак расхожей литературы, указывающий, что именно этот персонаж окажется главным действующим лицом произведения. Всем нам давно известен этот банальный прием, эта конфузливая уловка, гуляющая по первым действиям у Скриба, да и ныне по Бродвею. Знаменитый драматург както заявил (по-видимому, раздраженно отвечая приставале, желавшему выведать секреты его мастерства), что, если в первом действии на стене висит охотничье ружье, в последнем оно непременно должно выстрелить. Но ружья Гоголя висят в воздухе и не стреляют; надо сказать, что обаяние его намеков и состоит в том, что они никак не материализуются.

Давая распоряжения подчиненным подготовиться к приему ревизора и все привести в наилучший вид, городничий поминает судебного заседателя: "...он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода... Я хотел давно об этом сказать вам <судье>, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович".

На что судья отвечает: "Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою".

"Да я так только заметил вам", — говорит городничий. И обращается к другому чиновнику.

Мы никогда больше не услышим об этом злосчастном заседателе, но вот он перед нами как живой, причудливое вонючее существо из тех "Богом обиженных", до которых так жаден Гоголь.

Другие второстепенные персонажи даже не успевают предстать в полном облачении — так торопятся они вскочить в пьесу между двумя фразами. Городничий обращает внимание смотрителя учебных заведений на учителей: "Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо... не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак (делает гримасу), и потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего: может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить; но вы посудите сами, если он сделает это посетителю, — это может быть очень худо: господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает что может произойти".

"Что ж мне, право, с ним делать? <отвечает смотритель учебных заведений>. Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству".

И тут же появляется еще один гомункул (совсем как маленькие твердые головки шаманов, выскакивающие у исследователя Африки в знаменитом рассказе). Городничий говорит об учителе истории: “Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах — еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-Богу! Сбежал с кафедры и что силы есть хвать стулом об пол. Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне”.

“Да, он горяч! <со вздохом подтверждает смотритель> Я ему это несколько раз уже замечал... Говорит: “Как хотите, для науки я жизни не пощажу”.

Почтмейстер, к которому вслед за тем обращается городничий с просьбой распечатывать и читать письма, проходящие через его контору (хотя этот симпатичный господин и так уже много лет читает их для собственного удовольствия), вызывает к жизни еще одного нетопыря: “Жаль, однако ж, что вы не читаете писем: есть прекрасные места <говорит почтмейстер городничему>. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом... очень, очень хорошо: “Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в эмпиреях: барышень много, музыка играет, штандарт скачет...” — с большим, с большим чувством описал”.

Тут же судья поминает двух вечно вздорящих соседей-помещиков — Чептовича и Варховинского, которые затеяли пожизненную тяжбу (а судья тем временем с приятностью травит зайцев на землях обоих). И после драматического появления Добчинского и Бобчинского, которые сообщают о том, что обнаружили ревизора, проживающего инкогнито в местном трактире, Гоголь пародирует свою фантастическую уклончивую манеру вести сюжет (с выплесками как будто бы неуместных подробностей): все приятели Бобчинского вдруг возникают в его речи, когда он рассказывает об их с Добчинским поразительном открытии. “Так я, вот изволите видеть, забежал к

Коробкину. А не заставши Коробкина-то дома, заворотил к Растаковскому, а не заставши Растаковского...” (Изо всех гомункулов только эти двое появятся в качестве гостей в последнем действии по особой просьбе постановщика.) В трактире, где Бобчинский и Добчинский увидели персону, которую ошибочно приняли за ревизора, они выспрашивают трактирщика Власа, и тут в лихорадочном, прерывистом лопотании Бобчинского (он пытается выговориться, прежде чем его прервет двойник Добчинский) мы получаем подробнейшие сведения о Власе (ибо в гоголевском мире чем больше человек спешит, тем дольше он мешкает по дороге). “А Петр-то Иванович <Добчинский> уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир”.

Обратите внимание, как новорожденный и еще безымянный Власович умудряется вырасти и в секунду прожить целую жизнь. Задыхающаяся речь Бобчинского словно создает могучее брожение за сценой, где вызревают эти гомункулы.

Однако это еще не все. Комната, где живет мнимый ревизор, отмечена тем, что в ней недавно проезжие офицеры подрались за картами. И тут из воздуха возникает один из подчиненных городничего, квартальный Прохоров. В лихорадочной спешке городничий спрашивает квартального Свистунова: “Да другие-то где? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?

Квартальный: Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен.

Городничий: Как так?

Квартальный: Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился”.

Городничий спрашивает немного погодя у пристава (кстати, по фамилии Уховертов): “Как же вы это так допустили?” А тот отвечает: “Да Бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка, — поехал туда для порядка, а возвратился пьян”.

После этой вакханалии второстепенных персонажей, выплывающих в конце первого действия, во втором, где на сцену выходит Хлестаков, наступает некоторое затишье. Правда, под веселое шлепанье карт возник некий пехотный капитан, удивительно срезывавший штоссы, — это Хлестаков вспоминает, как в Пензе проиграл ему деньги; однако линия Хлестакова во втором действии слишком насыщенна и полна страсти и не допускает вторжения случайных лиц. Они снова проникают на сцену в третьем действии: дочка Земляники, как мы узнаем, носит голубое платье; она впархивает между двумя репликами, эта розово-голубая провинциальная барышня.

В самой знаменитой сцене русского театра, когда Хлестаков, явившись в дом городничего, красуется перед дамами, из монолога его так и сыплются второстепенные характеры (их выбрасывают на свет и его природная болтливость, и вино городничего), но уже другой породы, не той, что мы встречали раньше. Ткань их более легкая, почти прозрачная, в соответствии с радужной натурой самого Хлестакова: призраки в обличии чиновников, шаловливые забавники, приспешники изобретательного беса, вещающего устами Ивана Александровича. Дети Добчинского — Ваня, Лизанька — или сынок трактирщика все же где-то существовали, а эти и вовсе не существуют. Тут уж не тени, а чистые фантомы. Но благодаря набирающему высоту вранью Хлестакова эти потусторонние существа влияют на ход пьесы гораздо сильнее, чем идиллические пируэты мелких персонажей, составлявших фон первого действия.

"Эх, Петербург! — восклицает Хлестаков. — Что за жизнь, право! Вы, может быть, думаете, что я только переписываю (так оно и есть на самом деле); нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу: "Приходи, братец, обедать!" Я только на две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать: "Это вот так, это вот так!" А там уж чиновник для письма, этакая крыса, пером только — тр, тр... пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да, думаю, зачем. И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою: "Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу".

Позже мы узнаем, что сторож именуется Михеевым и пьет горькую.

Дальше, по словам Хлестакова, только он выйдет куда-нибудь, солдаты выскакивают из гауптвахты и делают ружьем, а офицер, который очень ему знаком, говорит: "Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего".

Когда Хлестаков рассказывает о своих богемных и литературных связях, появляется чертенок, исполняющий роль Пушкина: "С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: "Ну что, брат Пушкин?" — "Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то все..." Большой оригинал".

И пока Хлестаков несется дальше в экстазе вымысла, на сцену, гудя, толпясь и расталкивая друг друга, вылетает целый рой важных персон: министры, графы, князья, генералы, тайные советники, даже тень самого царя и "курьеры, курьеры, курьеры... тридцать пять тысяч одних курьеров", эти сперматозоиды мозга, а потом все они разом исчезают в пьяной икоте; но не раньше, чем сквозь просвет в монологе Хлестакова, среди всей этой своры позолоченных привидений и приснившихся послов, на один опасный миг появится подлинная фигура (подлинная хотя бы в том смысле, в каком ими были мимолетные персонажи первого действия) затрапезной кухарки бедного чиновника, Маврушки, которая помогает ему снять худую шинель (ту самую, что Гоголь потом обессмертит как неотъемлемую принадлежность чиновника вообще).

В следующем действии, когда встревоженные городские тузы один за другим являются засвидетельствовать Хлестакову свое почтение и у каждого из них он берет деньги взаймы (а они думают, что дают ему взятки), мы узнаем, как зовут детей Земляники: Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя, — вероятно, эта милая Перепетуя и носит голубое платьице. Из троих детей Добчинского жена городничего упоминала двоих как своих крестников. Оба они, как и старший мальчик, удивительно похожи на судью, который навещает госпожу Добчинскую, когда ее бед-

няга муж в отъезде. Старшенький родился еще до женитьбы Добчинского на этой шаловливой даме. Добчинский говорит Хлестакову: "Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства... старший-то сын мой, изволите видеть, рожден мною еще до брака... То есть оно так только говорится, а он рожден мною так совершенно, как бы и в браке, и все это, как следует, я завершил потом законными-с узами супружества-с. Так я, изволите видеть, хочу, чтоб он теперь уже был совсем, то есть, законным моим сыном-с и назывался бы так, как я: Добчинский-с... Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой... большие надежды подает: наизусть стихи разные расскажет и, если где попадет ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник-с".

На заднем плане того же действия появляется еще один персонаж: Хлестаков решает написать об этих странных провинциальных чиновниках своему другу Тряпичкину, грязному репортеришке, жадному и ядовитому писаке, умеющему осмеять всех, с кем он хочет расправиться, в своих грошовых злобных статейках. На одно только мгновение высовывается он из-за хлестаковского плеча, подмигивая нам и ухмыляясь. Он последний, кто появляется на сцене, впрочем, не совсем последний, потому что в конце концов возникает еще один фантом: гигантская тень настоящего ревизора.

Потусторонний мир, который словно прорывается сквозь фон пьесы, и есть подлинное царство Гоголя. И поразительно, что все эти сестры, мужья и дети, чудаковатые учителя, отупевшие с перепоя конторщики и полицейские, помещики, пятьдесят лет ведущие тяжбу о переносе изгороди, романтические офицеры, которые жульничают в карты, чувствительно вздыхают о провинциальных балах и принимают привидение за главнокомандующего, эти переписчики и несуществующие курьеры — все эти создания, чья мельтешня создает самую плоть пьесы, не только не мешают тому, что театральные постановщики зовут действием, но явно придают пьесе чрезвычайную сценичность.

4

На этом не подвластном здравому смыслу заднем плане толпятся не только живые существа, но и вещи, которые призваны играть ничуть не меньшую роль, чем одушевленные лица: шляпная коробка, которую городничий надевает на голову, когда, облачившись в роскошный мундир, в рассеянности спешит навстречу грозному призраку, — чисто гоголевский символ обманного мира, где шляпы — это головы, шляпные коробки — шляпы, а расшитый золотом воротник — хребет человека. Наспех нацарапанная записка, которую городничий посылает из трактира, сообщая жене о высоком госте, к приему которого ей надлежит готовиться, сплелась с трактирным счетом Хлестакова, потому что муж впопыхах схватил первый попавшийся обрывок бумаги: "Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек..." И эта путаница опирается на прочную логику гоголевского мира, где названия рыбы — божественная музыка в ушах гурманов, а огурцы — потусторонние существа, не менее могущественные, чем Бог, которому поклоняется провинциальный городничий. Эти огурцы выращивает Хлестаков в красноречивом описании своего идеала светской жизни: "На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз" (а что это как не превосходная степень огурца!). Водянистый суп, где "какие-то перья плавают вместо масла", которым Хлестакову пришлось довольствоваться в трактире, преображается в его рассказе о столичной жизни в суп, привезенный на пароходе прямо из Парижа; дым воображаемого парохода — это небесный запах воображаемого супа. Когда Хлестакова провожают в дорогу, усаживая в бричку, городничий приносит голубой персидский ковер из чулана (набитого подношениями его бородатых подданных — городских купцов). Дворовый Хлестакова подкладывает под него охапку сена, и ковер превращается в волшебный ковер-самолет, на котором Хлестаков совершает свой отлет со сцены под серебристый перезвон бубенцов и лирический призыв ямщика к волшебным коням: "Эй вы, залетные!" Русские

кучера любили давать лошадям ласкательные имена, и можно предположить (в угоду тем, кто интересуется личным опытом писателей), что в позднейшие годы во время своих бесконечных странствий Гоголь изрядно пополнил свои познания путевого фольклора; а поэтический порыв ветра, с которым уносится Хлестаков — этот мечтательный, инфантильный мошенник, — словно отворяет ворота для отъезда самого Гоголя из России в туманные дали, где бесчисленные немецкие курорты с минеральными водами, итальянские развалины, парижские ресторации и палестинские святыни путаются, как провидение с парой соленых огурцов в письме растерянного городничего.

5

Забавно, что эта сновидческая пьеса, этот "государственный призрак" был воспринят как сатира на подлинную жизнь в России. И еще забавнее, что Гоголь, беспомощно пытаясь пресечь опасные, подрывные домыслы о своей пьесе, указал, что в ней уж во всяком случае есть один положительный персонаж: смех. На самом-то деле пьеса вовсе не комедия, так же как сновидческие пьесы Шекспира "Гамлет" или "Лир" не стоит называть трагедиями. Плохая пьеса скорее может быть хорошей комедией или хорошей трагедией, чем невероятно сложные произведения таких писателей, как Шекспир или Гоголь. В этом смысле пьесы Мольера (чего бы они ни стоили) — комедии, то есть нечто такое, что усваивается легко, как сосиска на футбольном матче; они существуют в одном измерении и напрочь лишены того огромного, бурлящего, высокопоэтического фона, который и создает подлинную драму. И в этом смысле трилогия "Траур к лицу Электре" О'Нила (чего бы она ни стоила), вероятно, трагедия.

Пьесы Гоголя — это поэзия в действии, а под поэзией я понимаю тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи. Истинная поэзия такого рода вызывает не смех и не слезы, а сияющую улыбку беспредельного удовлетворения, блаженное мурлыканье, и писатель может гордиться собой, если он способен вызвать

у своих читателей, или, точнее говоря, у кого-то из своих читателей, такую улыбку и такое мурлыканье.

Сама фамилия Хлестаков гениально придумана, потому что у русского уха она создает ощущение легкости, бездумности, болтовни, свиста тонкой тросточки, шлепанья об стол карт, бахвальства шалопая и удальства покорителя сердец (за вычетом способности довершить и это и любое другое предприятие). Хлестаков порхает по пьесе, не желая толком понимать, какой он поднял переполох, и жадно стараясь урвать все, что подкидывает ему счастливый случай. Он добрая душа, по-своему мечтатель и наделен неким обманчивым обаянием, изяществом повесы, услаждающего дам, привыкших к грубым манерам дородных городских тузов. Он беспредельно и упоительно вульгарен, и дамы вульгарны, и тузы вульгарны — вся пьеса, в сущности (посвоему, как и "Госпожа Бовари"), состоит из особой смеси различных вульгарностей, и выдающееся художественное достоинство целого зависит (как и во всяком шедевре) не от того, что сказано, а от того, как это сказано, от блистательного сочетания маловыразительных частностей. Как в чешуйках насекомых поразительный красочный эффект зависит не столько от пигментации самих чешуек, сколько от их расположения, способности преломлять свет, так и гений Гоголя пользуется не основными химическими свойствами материи ("подлинной действительностью" литературных критиков), а способными к мимикрии физическими явлениями, почти невидимыми частицами воссозданного бытия. Я употребляю слово "вульгарность" из-за недостатка более точного термина — Пушкин, в "Евгении Онегине" тоже употребляя английское слово vulgar, извинился, что не нашел в русском языке его точного эквивалента.

6

Обвинения, выдвинутые негодующими противниками "Ревизора", которые усмотрели в пьесе коварные нападки на российскую государственность, произвели на Гоголя гнетущее впечатление. Можно предположить, что они-то и возбудили у писателя манию преследования, которая так или иначе донимала его до самой смерти. Положение со-

здалось довольно странное — к Гоголю пришла слава в самой что ни на есть громогласной форме: двор рукоплескал пьесе чуть ли не со злорадством; спесивые чиновники высокого ранга потихоньку теряли спесь, смущенно ерзая в креслах партера; малопочтенные критики истекали тухлым ядом, а критики, чье мнение чего-то стоило, превозносили Гоголя до небес за то, что они сочли великой сатирой; популярный драматург Кукольник пожал плечами, говоря, что пьеска — всего-навсего глупый фарс; молодежь с восторгом повторяла смешные реплики и отыскивала хлестаковых и сквозник-дмухановских среди своих знакомых. Другой бы писатель упивался этой атмосферой хвалы и скандала. Пушкин просто оскалил бы свои ослепительные негритянские зубы в добродушной усмешке и воротился к неоконченной рукописи очередного шедевра. Гоголь же поступил так, как и после провала "Кюхельгартена", — сбежал, вернее, уполз за границу.

Но если б только это! Он позволил себе худшее, что может позволить себе писатель в подобных обстоятельствах: попытался объяснить в печати те места своей пьесы, которые критики либо не заметили, либо превратно истолковали. Гоголь, будучи Гоголем и существуя в зеркальном мире, обладал способностью тщательно планировать свои произведения после того, как он их написал и опубликовал. Этот метод он применил и к "Ревизору". Он присовокупил к нему эпилог, где объяснял, что настоящий ревизор, который маячит в конце последнего действия, — это человеческая совесть. А остальные персонажи — это страсти, живущие в нашей душе. Другими словами, публике предлагалось поверить, что ее страсти символизируются уродливыми продажными провинциальными чиновниками, а высшая совесть — государством. Эпилог производит такое же удручающее впечатление, как и более поздние рассуждения Гоголя на сходные темы, если не предположить, что он просто хотел натянуть нос читателю или себе самому. Если же отнестись к его эпилогу всерьез, то перед нами невероятный случай: полнейшее непонимание писателем своего собственного произведения, искажение его сути. Как мы увидим, то же самое произошло и с "Мертвыми душами".

Гоголь был странным, больным человеком, и я не уверен, что его пояснения к "Ревизору" не обман, к какому прибегают сумасшедшие. Трудно примириться с тем, что Гоголя так огорчила не оценка его пьесы, а то, что его не признали пророком, учителем, поборником человечества (дающим этому человечеству нагоняй для его же блага). В пьесе нет ни грана дидактики, и вряд ли можно допустить, что автор этого не знал; но, как я уже говорил, он был склонен домысливать свои книги уже после того, как они были написаны. С другой стороны, тот урок, который критики — совершенно произвольно — усмотрели в его пьесе, был социальным и почти революционным, что казалось совсем уж неприемлемым для Гоголя. Он боялся, что двор вдруг пересмотрит свое высочайшее, но изменчивое благорасположение к пьесе из-за чересчур бурных похвал радикальных кругов и чересчур бурного негодования кругов реакционных, прекратит представления, а следовательно, лишит его доходов (и, возможно, будущей пенсии). Он боялся, что бдительная цензура будет многие годы вредить его литературной карьере в России. Его также огорчало, что люди, которых он почитал за добрых христиан (хотя темой "добрых христиан" он вплотную займется несколько позже) и честных чиновников (что станет у него потом синонимом тех же христиан), были раздосадованы и даже возмущены его пьесой и назвали ее "грубым и пошлым фарсом". Но, пожалуй, самым мучительным для него было то, что, догадываясь, какие идут о нем пересуды, сам он их не слышал и уж тем более не мог их направлять. Гул, достигавший его ушей, был жутким и грозным потому, что это был только гул. Похлопывание по плечу казалось ему иронической насмешкой над теми, кого он уважает, а следовательно, насмешкой и над ним. Интерес, который проявляли к нему совершенно незнакомые люди, мнился ему результатом темных интриг, несказанно опасных (красивое слово — интрига... сокровище в пещере). У меня будет возможность описать в другой книге, как одному сумасшедшему постоянно казалось, будто все детали ландшафта и движения неодушевленных предметов — это сложный код, комментарий по его поводу и вся вселенная разговаривает о нем при помощи тайных знаков. Нечто

подобное этой мрачной и чуть ли не космической пантомиме можно себе представить, размышляя о болезненном отношении Гоголя к своей внезапной славе. Он воображал, будто вокруг него ползает и перешептывается вся враждебная ему Россия, пытаясь его погубить, хваля и понося его пьесу. В июне 1836 г. он уехал в Европу.

Говорят, что накануне отъезда его посетил Пушкин, которого он больше никогда не увидит, всю ночь вместе с ним перебирал его рукописи и прочел начало "Мертвых душ" — первый черновик был уже к тому времени Гоголем написан. Картина соблазнительная, быть может, слишком соблазнительная, чтобы не быть вымыслом. По какой-то причине (возможно, от ненормальной боязни всякой ответственности) Гоголь старался всех убедить, будто до 1837 г., то есть до смерти Пушкина, все, что он написал, было сделано под влиянием поэта и по его подсказке. Но, так как творчество Гоголя разительно отличается от того, что создал Пушкин, а вдобавок последнему хватало своих забот и недосуг было водить пером литературного собрата, сведения, столь охотно сообщаемые Гоголем, вряд ли заслуживают доверия. Одинокая свеча, освещающая эту полуночную картину, может быть задута без всяких угрызений совести. Куда легче поверить, что Гоголь сбежал за границу, не попрощавшись ни с кем из своих друзей. Мы знаем из его письма, что он не простился даже с Жуковским, с которым был в гораздо более тесных отношениях, чем с Пушкиным.

3. НАШ ГОСПОДИН ЧИЧИКОВ

1

Старые английские переводы "Мертвых душ" * не стоят медного гроша и должны быть изъяты из всех публичных и университетских библиотек. Когда я писал заметки, из

---

* См. на стр. 519 в *Хронологии* резюме фабулы "Мертвых душ". *(Прим. автора.)*

которых составлялась эта книга, и уже взял на себя труд перевести нужные мне отрывки, "Читательский клуб" в Нью-Йорке выпустил совершенно новый перевод "Мертвых душ", сделанный В. Д. Герни. Это на редкость хорошая работа. Издание портят две вещи: смехотворное предисловие, написанное одним из редакторов "Клуба", и перемена названия на "Похождения Чичикова, или Домашняя жизнь в старой России". Это особенно огорчительно, если вспомнить, что заглавие "Похождения Чичикова" было навязано царской цензурой первому русскому изданию, ибо Церковь говорит нам, что души бессмертны и поэтому не могут быть названы мертвыми. В данном случае подобную замену произвели явно из боязни навеять мрачные мысли розовощеким любителям комиксов. Подзаголовок "Домашняя жизнь в старой России" тоже выбран неудачно, так как заимствован из сомнительного сочинения "Домашняя жизнь в России, написанная русским аристократом, исправленная редактором "Открытий Сибири" (Лондон, издатели Хорст и Блеккетт, наследники Генри Колберна, 13, Грейт-Мальборо-Стрит, 1854) с примечательной припиской: "Это сочинение охраняется авторским правом, и издатели оставляют за собой право на его перевод". Книге предпослано предисловие с не менее примечательным сообщением:

"Книга написана русским аристократом, и рукопись предложена им английским издателям; работа редактора ограничивалась исправлением словесных ошибок, которых и следовало ожидать, памятуя, что автор писал свой труд на чужом языке... Он дает нам представление об условиях жизни и отношениях внутри русского общества... Автор утверждает, что рассказ его правдив и основные факты широко известны в России...

К сожалению, мы не имеем права назвать имя автора (не потому, что труд его нуждается в дополнительной проверке, ибо его достоверность доказана чуть не каждой строкой) — автор все еще мечтает вернуться на родину, прекрасно понимая, что признание в том, что он написал эту книгу, отмеченную столь мощным сатирическим даром, едва ли будет хорошей рекомендацией и может послужить

паспортом для проезда лишь в самые отдаленные края сибирской глуши".

Очень бы хотелось узнать, кто был тот русский аристократ, который перевел (со множеством викторианских красот, добавленных редактором) "Мертвые души" и продал этот товар английскому издательству, которое явно считало, что публикует подлинные мемуары, "бросающие свет на домашнюю жизнь наших былых союзников и нынешних врагов". Звали этого аристократа Хлестаковым? Или же то был сам Чичиков? В каком-то смысле книгу Гоголя постигла подлинно гоголевская судьба.

2

На русском языке при помощи одного беспощадного слова можно выразить суть широко распространенного порока, для которого три других знакомых мне европейских языка не имеют специального обозначения. Отсутствие того или иного термина в словаре какого-нибудь народа не всегда означает отсутствие соответствующего понятия, однако мешает полноте и точности его понимания. Разнообразные оттенки явления, которое русские четко выражают словом "пошлость", рассыпаны в ряде английских слов и не составляют определенного целого. По здравом размышлении я предпочитаю транслитерировать на английский это жирное, обрюзгшее слово именно так: poshlust — чтобы передать глухоту второго, безударного "о". Первое же "о" звучно, как всплеск, производимый падением слона в болотную жижу, и округло, как грудь купающейся красавицы с немецкой открытки.

С той поры, когда Россия начала думать, и до момента, когда разум ее помрачился под влиянием ни на что не похожего режима, каковой ей приходится сносить последние двадцать пять лет, все образованные, чуткие и свободомыслящие русские остро ощущали вороватое, липкое прикосновение пошлости. Среди наций, с которыми у нас всегда были близкие связи, Германия казалась нам страной, где пошлость не только не осмеяна, но стала одним из ведущих качеств национального духа, привычек, традиций

и общей атмосферы, хотя благожелательные русские интеллигенты более романтического склада охотно, чересчур охотно принимали на веру легенду о величии немецкой философии и литературы; надо быть сверхрусским, чтобы почувствовать ужасную струю пошлости в “Фаусте” Гете.

Преувеличивать ничтожество страны в тот момент, когда с ней воюешь и хотел бы видеть ее уничтоженной до последней пивной кружки и последней незабудки, — это опасное приближение к краю пропасти под названием пошлость, которая зияет перед тобой во времена революций и войн. Но если скромно прошептать довоенную истину, даже с оттенком чего-то старомодного, этой пропасти, пожалуй, можно избежать. Вот и сто лет назад, когда гражданственно настроенные петербургские публицисты составляли опьяняющие коктейли из Гегеля и Шлегеля (с добавкой Фейербаха), Гоголь в мимоходом рассказанной истории выразил бессмертный дух пошлости, пронизывающий немецкую нацию, и сделал это со всей мощью своего таланта.

Разговор в обществе перешел на Германию. Упорно молчавший Гоголь наконец сказал: “Да, немец вообще не очень приятен; но ничего нельзя себе представить неприятнее немца-ловеласа, немца-любезника, который хочет нравиться; тогда он может дойти до страшных нелепостей. Я встретил однажды такого ловеласа в Германии. Его возлюбленная, за которою он ухаживал долгое время без успеха, жила на берегу какого-то пруда и все вечера проводила на балконе перед этим прудом, занимаясь вязанием чулок и наслаждаясь вместе с тем природой. Мой немец, видя безуспешность своих преследований, выдумал наконец верное средство пленить сердце неумолимой немки. Ну, что вы думаете? Какое средство? Да вам и в голову не придет, что! Вообразите себе, он каждый вечер, раздевшись, бросался в пруд и плавал перед глазами своей возлюбленной, обнявши двух лебедей, нарочно им для сего приготовленных! Уж, право, не знаю, зачем были эти лебеди, только несколько днеи сряду каждый вечер он все плавал и красовался с ними перед заветным балконом. Воображал ли он в этом что-то античное, мифологическое или рассчитывал

на что-нибудь другое, только дело кончилось в его пользу: немка действительно пленилась этим ловеласом и вышла скоро за него замуж".

Вот вам пошлость в ее чистом виде, и вы поймете, что любые английские эпитеты не покрывают этого эпического рассказа о белокуром пловце и ласкаемых им лебедях. Да и ни к чему ездить так далеко и углубляться в прошлое для подходящего примера. Откройте любой журнал — и вы непременно найдете что-нибудь вроде такой картинки: семья только что купила радиоприемник (машину, холодильник, столовое серебро — все равно что) — мать всплеснула руками, очумев от радости, дети топчутся вокруг, раскрыв рты, малыш и собака тянутся к краю стола, куда водрузили идола, даже бабушка, сияя всеми морщинками, выглядывает откуда-то сзади (забыв, надо думать, скандал, который разыгрался этим же утром у нее с невесткой), а чуть в сторонке, с торжеством засунув большие пальцы в проймы жилета, расставив ноги и блестя глазками, победно стоит папаша, гордый даритель.

Густая пошлость подобной рекламы исходит не из ложного преувеличения достоинства того или иного полезного предмета, а из предположения, что наивысшее счастье может быть куплено и что такая покупка облагораживает покупателя. Конечно, та атмосфера, которую порождает реклама, довольно безвредна сама по себе — ведь все понимают, что ее создали продавцы, словно договорившись с покупателем принять участие в этой игре "понарошку". Забавно не то, что в их мире не осталось ничего духовного, кроме восторга людей, продающих или поедающих манну небесную, не то, что игра чувств ведется здесь по буржуазным правилам (буржуазным не в марксистском, а во флоберовском понимании этого слова), а то, что мир этот только тень, спутник подлинного существования, в который ни продавцы, ни покупатели в глубине души не верят, особенно в разумной, спокойной Америке.

Если рекламный художник хочет изобразить хорошего мальчика, он украсит его веснушками (они, кстати, выглядят, как зловещая сыпь в дешевых комиксах). Тут пошлость связана с условностью слегка расистского характера. Доброхоты посылают одиноким солдатикам

слепки с ног голливудских красоток, одетые в шелковые чулки и набитые конфетами и бритвами — во всяком случае, я видел снимок человека, набивавшего такую ногу, в журнале, знаменитом на весь мир как поставщик пошлости. Пропаганда (которая не может существовать без щедрой доли пошлости) заполняет брошюрки хорошенькими колхозницами и уносимыми ветром облаками. Я выбираю примеры наспех, наудачу. "Лексикон прописных истин", который писал Флобер, был более честолюбивым замыслом.

Литература — один из лучших питомников пошлости; я не говорю о том, что в Англии зовут "грошовым чтивом", а в России "желтой прессой". Явная дешевка, как ни странно, иногда содержит нечто здоровое, что с удовольствием потребляют дети и простодушные. Комикс "Супермен" — несомненная пошлость, но это пошлость в такой безобидной, неприхотливой форме, что о ней не стоит и говорить — старая волшебная сказка, если уж на то пошло, содержала не меньше банальной сентиментальности и наивной вульгарности, чем эти современные побасенки об "истребителях великанов". Повторяю, пошлость особенно сильна и зловредна, когда фальшь не лезет в глаза и когда те сущности, которые подделываются, законно или незаконно относят к высочайшим достижениям искусства, мысли или чувства. Это те книги, о которых так пошло рассказывают в литературных приложениях к газетам, "волнующие, глубокие и прекрасные" романы; это те "возвышенные и впечатляющие" книги, которые содержат и выделяют квинтэссенцию пошлости. У меня как раз лежит на столе газета, где на целой полосе рекламируется некий роман — фальшивка с начала до конца и по стилю, и по тяжеловесным пируэтам вокруг высоких идей, и по глубокому неведению того, что такое настоящая литература теперь и когда бы то ни было. Этот роман мне до странности напоминает ласкающего лебедей пловца, описанного Гоголем. "Вы погружаетесь в него с головой, — пишет рецензент. — Перевернув последнюю страницу, вы возвращаетесь в окружающий мир слегка задумчивым, как после сильного переживания" (заметьте это кокетливое "слегка"

и расхожее механическое “после сильного”!). “Певучая книга, до краев полная изящества, света и прелести, книга поистине жемчужного сияния”, — шепчет другой рецензент (тот пловец был тоже “до краев полон изящества”, а лебеди излучали “жемчужное сияние”). “Работа искусного психолога, который способен исследовать самые потаенные глубины человеческой души”. Это “потаенные” (не какие-нибудь “общедоступные”, заметьте) и еще два-три восхитительных эпитета дают точное представление о ценности книги. Да, похвала полностью соответствует предмету, о котором идет речь: “прекрасный” роман получил “прекрасную” рецензию — и круг пошлости замкнулся или замкнулся бы, если бы слова тонко за себя не отомстили и тайком не протащили правды, сложившись в самую что ни на есть абсурдную и обличительную фразу, хотя издатель и рецензент уверены, что превозносят этот роман, “который читающая публика приняла триумфально” (следует астрономическая цифра проданных экземпляров). Ибо в мире пошлости не книга становится триумфом ее создателя, а триумф устраивает читающая публика, проглатывая книгу вместе с рекламой на обложке.

Роман, о котором так сказано, вполне мог быть честной, искренней попыткой автора написать о том, что его глубоко задевало, и возможно даже, что не только коммерческие заботы толкнули его на это злосчастное предприятие. Беда в том, что ни искренность, ни честность, ни даже доброта сердечная не мешают демону пошлости завладеть пишущей машинкой автора, если у него нет таланта и если “читающая публика” такова, какой ее считают издатели. Самое страшное в пошлости — это невозможность объяснить людям, почему книга, которая, казалось бы, битком набита благородными чувствами, состраданием и даже способна привлечь внимание читателей к теме, далекой от “злобы дня”, гораздо, гораздо хуже той литературы, которую все считают дешевкой.

Из приведенных примеров, надеюсь, ясно, что пошлость — это не только откровенная макулатура, но и мнимо значительная, мнимо красивая, мнимо глубокомысленная, мнимо увлекательная литература. Список литературных

персонажей, олицетворяющих пошлость (и по-русски именуемых пошляками и пошлячками), включает Полония и королевскую чету в "Гамлете", Родольфа и Омэ у Флобера, Лаевского в "Дуэли" Чехова, Марион Блум у Джойса, молодого Блоха в "Поисках утраченного времени" Пруста, мопассановского Милого друга, мужа Анны Карениной, Берга в "Войне и мире" и множество других действующих лиц в мировой литературе. Русские критики социального направления видели в "Мертвых душах" и "Ревизоре" обличение общественной пошлости, расцветшей в крепостнической, бюрократической русской провинции, и из-за этого упускали главное. Гоголевские герои по воле случая оказались русскими помещиками и чиновниками, их воображаемая среда и социальные условия не имеют абсолютно никакого значения, так же как господин Омэ мог быть дельцом из Чикаго или Марион Блум — женой учителя из Вышнего Волочка. Более того, их среда и условия, какими бы они ни были в "реальной жизни", подверглись такой глубочайшей перетасовке и переплавке в лаборатории гоголевского творчества (об этом я уже говорил в связи с "Ревизором"), что искать в "Мертвых душах" подлинную русскую действительность так же бесполезно, как и представлять себе Данию на основе частного происшествия в туманном Эльсиноре. А уж если речь зашла о "фактах", то откуда Гоголю было приобрести знание русской провинции? Восемь часов в подольском трактире, неделя в Курске, да то, что мелькало за окном почтовой кареты, да воспоминания о чисто украинском детстве в Миргороде, Нежине и Полтаве? Но все эти города лежат далеко от маршрута Чичикова. Однако что правда, то правда: "Мертвые души" снабжают внимательного читателя набором раздувшихся мертвых душ, принадлежащих пошлякам и пошлячкам и описанных с чисто гоголевским смаком и богатством жутковатых подробностей, которые поднимают это произведение до уровня гигантской эпической поэмы — недаром Гоголь дал "Мертвым душам" такой меткий подзаголовок. В пошлости есть какой-то лоск, какая-то пухлость, и ее глянец, ее плавные очертания привлекали Гоголя как художника. Колоссальный шарообразный пошляк Павел Чичиков, который вытаскивает пальцами

фигу из молока, чтобы смягчить глотку, или отплясывает в ночной рубашке, отчего вещи на полках содрогаются в такт этой спартанской жиге (а под конец в экстазе бьет себя по пухлому заду, то есть по своему подлинному лицу, босой розовой пяткой, тем самым словно проталкивая себя в подлинный рай мертвых душ), — эти видения царят над более мелкими пошлостями убогого провинциального быта или маленьких подленьких чиновников. Но пошляк даже такого гигантского калибра, как Чичиков, непременно имеет какой-то изъян, дыру, через которую виден червяк, мизерный ссохшийся дурачок, который лежит, скорчившись, в глубине пропитанного пошлостью вакуума. С самого начала было что-то глупое в идее скупки мертвых душ — душ крепостных, умерших после очередной переписи: помещики продолжали платить за них подушный налог, тем самым наделяя их чем-то вроде абстрактного существования, которое, однако, совершенно конкретно посягало на карман их владельцев и могло быть столь же "конкретно" использовано Чичиковым, покупателем этих фантомов. Мелкая, но довольно противная глупость какое-то время таилась в путанице сложных манипуляций. Пытаясь покупать мертвецов в стране, где законно покупали и закладывали живых людей, Чичиков едва ли серьезно грешил с точки зрения морали. Если я выкрашу лицо кустарной берлинской лазурью вместо краски, продаваемой государством, получившим на нее монополию, мое преступление не заслужит даже снисходительной улыбки и ни один писатель не изобразит его в виде берлинской трагедии. Но если я окружу эту затею большой таинственностью и стану кичиться хитрыми уловками, при помощи которых ее осуществил, если дам возможность болтливому соседу заглянуть в мои банки с самодельной краской, буду арестован и люди с неподдельно голубыми лицами подвергнут меня грубому обращению — тогда смеяться будут надо мной. Несмотря на безусловную иррациональность Чичикова в безусловно иррациональном мире, дурак в нем виден потому, что он с самого начала совершает промах за промахом. Глупостью было торговать мертвые души у старухи, которая боялась привидений, непростительным безрассудством — предлагать такую сомнительную сделку хвастуну

и хаму Ноздреву. Но я повторяю в угоду тем, кто любит, чтобы книги описывали "реальных людей" и "реальные преступления", да еще и содержали положительную идею (это превеликое страшилище, заимствованное из жаргона шарлатанов-проповедников), что "Мертвые души" ничего им не дадут. Так как вина Чичикова чисто условна, его судьба вряд ли кого-нибудь заденет за живое. Это лишний раз доказывает, как смехотворно ошибались русские читатели и критики, видевшие в "Мертвых душах" фактическое изображение жизни той поры. Но если подойти к легендарному пошляку Чичикову так, как он того заслуживает, то есть видеть в нем особь, созданную Гоголем, которая движется в особой, гоголевской круговерти, то абстрактное представление о жульнической торговле крепостными наполнится странной реальностью и будет означать много больше того, что мы увидели бы, рассматривая ее в свете социальных условий, царивших в России сто лет назад. Мертвые души, которые он скупает, это не просто перечень имен на листке бумаги. Эти мертвые души, наполняющие воздух, в котором живет Гоголь, своим поскрипыванием и трепыханьем, — нелепые animuli Манилова или Коробочки, дам города NN, бесчисленных гномиков, выскакивающих из страниц этой книги. Да и сам Чичиков — всего лишь низко оплачиваемый агент дьявола, адский коммивояжер: "наш господин Чичиков", как могли бы называть в акционерном обществе "Сатана и К°" этого добродушного, упитанного, но внутренне дрожащего представителя. Пошлость, которую олицетворяет Чичиков, — одно из главных отличительных свойств дьявола, в чье существование, надо добавить, Гоголь верил куда больше, чем в существование Бога. Трещина в доспехах Чичикова, эта ржавая дыра, откуда несет гнусной вонью (как из пробитой банки крабов, которую покалечил и забыл в чулане какой-нибудь ротозей), — непременная щель в забрале дьявола. Это исконный идиотизм всемирной пошлости.

Чичиков с самого начала обречен и катится к своей гибели, чуть-чуть вихляя задом, — походкой, которая только пошлякам и пошлячкам города NN могла показаться упоительно светской. В решающие минуты, когда он раз-

ражается одной из своих нравоучительных тирад (с легкой перебивкой в сладкогласной речи — тремоло на словах “возлюбленные братья”), намереваясь утопить свои истинные намерения в высокопарной патоке, он называет себя жалким червем мира сего. Как ни странно, нутро его и правда точит червь, и, если чуточку прищуриться, разглядывая его округлости, червя этого можно различить. Вспоминается довоенный европейский плакат, рекламировавший шины; на нем было изображено нечто вроде человеческого существа, целиком составленного из резиновых колец; так и округлый Чичиков кажется мне тугим, кольчатым, телесного цвета червем.

Если я сумел передать жуткую природу этого персонажа и различные виды пошлости, упомянутые мной попутно, в совокупности создают целостное художественное явление (гоголевский лейтмотив “округлого” в пошлости), тогда “Мертвые души” перестают передразнивать юмористическую повесть или социальное обличение, и можно обсуждать их всерьез. Поэтому давайте присмотримся к канве этого произведения попристальнее.

3

“В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, — словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. “Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?” — “Доедет”, — отвечал другой. “А в Казань-то,

я думаю, не доедет?" — "В Казань не доедет", — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой".

Разговор двух русских мужиков (типично гоголевский плеоназм) — чисто умозрительный; это ощущение, как и следовало ожидать, полностью пропадает в ужасных переводах Фишера Анвина и Томаса И. Кровеля. Это раздумья типа "быть или не быть" — на примитивном уровне. Беседующие не знают, едет ли бричка в Москву, так же как Гамлет не потрудился проверить, при нем ли на самом деле его кинжал. Мужики не заинтересованы в точном маршруте брички; их занимает лишь отвлеченная проблема воображаемой поломки колеса в условиях воображаемых расстояний, и эта проблема поднимается до уровня высочайшей абстракции, оттого что им неизвестно — а главное, безразлично — расстояние от NN (воображаемой точки) до Москвы, Казани или Тимбукту. Они олицетворяют поразительную творческую способность русских, так прекрасно подтверждаемую вдохновением Гоголя, действовать в пустоте. Фантазия бесценна лишь тогда, когда она бесцельна. Размышления двух мужиков не основаны ни на чем осязаемом и не приводят ни к каким ощутимым результатам; но так рождаются философия и поэзия; въедливые критики, повсюду ищущие мораль, могут предположить, что округлость Чичикова не доведет его до добра, так как ее символизирует округлость сомнительного колеса. Андрей Белый, этот гений въедливости, усмотрел, что вся первая часть "Мертвых душ" — замкнутый круг, который вращается на оси так стремительно, что не видно спиц; при каждом повороте сюжета вокруг персоны Чичикова возникает образ колеса. Еще одна характерная деталь: случайный прохожий, молодой человек, описанный с неожиданной и вовсе не относящейся к делу подробностью; он появляется

так, будто займет свое место в поэме (как словно бы намереваются сделать многие из гоголевских гомункулов — и не делают этого). У любого другого писателя той эпохи следующий абзац должен был бы начинаться: "Иван — ибо так звали молодого человека..." Но нет, порыв ветра прерывает его глазенье, и он навсегда исчезает из поэмы. Безликий половой в следующем абзаце (до того вертлявый, что нельзя рассмотреть его лицо) снова появляется немного погодя и, спускаясь по лестнице из номера Чичикова, читает по складам написанное на клочке бумажки: "Па-вел И-ва-но-вич Чи-чи-ков"; и эти слоги имеют таксономическое значение для определения данной лестницы.

Говоря о "Ревизоре", я с удовольствием отлавливал тех побочных персонажей, которые оживляют фон действия. Такие персонажи в "Мертвых душах", вроде полового или лакея Чичикова (имевшего свой собственный запах, который он сразу же сообщал любому своему местожительству), — создания не вполне эфирные. Вместе с Чичиковым и помещиками, с которыми он встречается, эти лица занимают авансцену книги, хотя мало разговаривают и не оказывают видимого влияния на похождения героя. В пьесе жизнь побочных персонажей ограничивалась тем, что о них упоминали действующие лица. В романе, лишенные речи и действия, второстепенные персонажи не смогли бы зажить своей жизнью даже за кулисами, так как тут нет рампы, подчеркивающей их отсутствие на авансцене. Однако у Гоголя для этого случая был в запасе свой трюк. Побочные характеры в его романе оживлены всяческими оговорками, метафорами, сравнениями и лирическими отступлениями. Перед нами поразительное явление: словесные обороты создают живых людей. Вот, пожалуй, наиболее красноречивый пример того, как это делается:

"Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светлосерого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням".

Передать на другом языке оттенки этого животворного синтаксиса так же трудно, как и перекинуть мост через

логический или, вернее, биологический просвет между размытым пейзажем под сереньким небом и пьяненьким старым солдатом, который встречает читателя случайной икотой на праздничном закруглении фразы. Фокус Гоголя — в употреблении слова "впрочем", которое является связующим звеном только в грамматическом смысле, хотя изображает логическую связь; слово "солдаты" дает кое-какой повод для противопоставления слову "мирные", и едва только бутафорский мост "впрочем" совершил свое волшебное действие, эти добродушные вояки, покачиваясь и распевая, сойдут со сцены, как мы уже видели не раз.

Когда Чичиков приезжает на вечеринку к губернатору, случайное упоминание о господах в черных фраках, снующих при ослепительном свете вокруг напудренных дам, ведет к якобы невинному сравнению их с роем мух, и в следующий же миг зарождается новая жизнь.

"Черные фраки мелькали и носились врозь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница <вот она!> рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети <вот и второе поколение!> все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом <один из тех повторов, свойственных стилю Гоголя, от которых его не могли избавить годы работы над каждым абзацем>, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами".

Надо заметить, что если образ унылой погоды плюс пьяненького солдата кончается где-то в пыльной пригородной дали (там царит Уховертов), то тут сравнение с мухами, пародирующее, ветвистые параллели Гомера, описывает замкнутый круг, и после сложного, опасного сальто без лонжи, которой пользуются другие писатели-акробаты, Гоголь умудряется вывернуть к исходному "врозь и кучами". Несколько лет назад на регбийном матче в Англии я видел, как великолепный Оболенский на бегу отбил мяч ногой и, тут же передумав, в броске поймал его руками...

Нечто подобное по мастерству демонстрирует здесь и Николай Васильевич. Нетрудно догадаться, что все эти изыски (вернее, целые абзацы, даже целые страницы) были попросту выпущены мистером Фишером Т. Анвином, который, "к немалой радости" мистера Стивена Грэхама (смотри предисловие к изданию 1915 года, Лондон), снизошел до переиздания "Мертвых душ". Кстати, Грэхам убежден, что "Мертвые души" — это сама Россия" и что Гоголь "разбогател и мог позволить себе уезжать на зиму в Рим или в Баден-Баден".

Громкий собачий лай, встретивший Чичикова, когда он подъезжал к дому госпожи Коробочки, тоже не пропадает даром.

"Между тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал Бог знает какое жалованье; другой отхватывал наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно молодого щенка, и все это, наконец, повершал бас, может быть старик, наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе; тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и все, что ни есть, порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла".

Тут лай собаки порождает церковного хориста. В другом отрывке (где Чичиков приезжает к Собакевичу) музыкант рождается при помощи приема посложнее, напоминающего сравнение пасмурного неба с пьяненьким солдатом: "Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на бело-

грудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья". (Этого непритязательного юнца Изабель Гепгуд превратила в своем переводе в "привлекательного молодого человека лет двадцати, который прогуливается, перемаргивая, как истинный щеголь".)

Сложный маневр, который выполняет эта фраза для того, чтобы из крепкой головы Собакевича вышел деревенский музыкант, имеет три стадии: сравнение головы с особой разновидностью тыквы, превращение этой тыквы в особый вид балалайки и, наконец, вручение этой балалайки деревенскому молодцу, который, сидя на бревне и скрестив ноги (в новеньких сапогах), принимается тихонько на ней наигрывать, облепленный предвечерней мошкарой и деревенскими девушками. Примечательно, что лирическое отступление вызвано появлением — на взгляд невнимательного читателя — самого что ни на есть прозаического и тупого персонажа книги.

Порожденный сравнением характер порою так торопится вступить в жизнь, что метафора завершается очаровательной напыщенностью: "Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку, и у него нет в это время рассудка подумать, что на щепке может разве прокатиться верхом муха, а в нем весу чуть не четыре пуда, если даже не целых пять".

Кто этот злосчастный купальщик, который сказочно растет, прибавляет в весе, тучнеет от жизненной силы метафоры? Мы никогда этого не узнаем, но ему почти удалось ступить на твердую землю.

Эти персонажи второго плана утверждают свое существование иногда простейшим способом: используя манеру автора подчеркивать то или иное обстоятельство или условие и иллюстрировать их какой-нибудь броской деталью. Картина начинает жить собственной жизнью — вроде того ухмыляющегося шарманщика, которого художник в рассказе Г. Уэльса "Портрет" пытался замазать зеленой краской, когда портрет ожил и вышел из повиновения. Обратите внимание, например, на конец седьмой главы, где автор хотел передать ощущение ночи, наступающей в мирном провинциальном городке. Чичиков, успешно закончив

свои призрачные сделки с помещиками и угостившись у городской знати, под хмельком ложится спать; кучер его и лакей украдкой отправляются кутнуть, а потом, спотыкаясь, возвращаются в гостиницу, заботливо поддерживая друг друга, и вскоре мирно засыпают, "поднявши храп неслыханной густоты, на который барин из другой комнаты отвечал тонким носовым свистом. Скоро вслед за ними все угомонились, и гостиница объялась непробудным сном; только в одном окошечке виден был еще свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели, с тем чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук".

Этим кончается глава, но и по сей день поручик мерит свой бессмертный сапог, и кожа блестит, и свечи ровно и ярко горят в одиноком светлом окне мертвого городка, накрытого звездным ночным небом. Я не знаю более лирического описания ночной тишины, чем эта сапожная рапсодия.

Такого же рода спонтанное зарождение жизни происходит в девятой главе, где автор хочет с особенной силой изобразить брожение, которое поднялось во всей провинции, когда по ней разошлись слухи о покупке мертвых душ. Помещики, годами дремавшие в своих углах, как сурки, вдруг заморгали и выползли на свет Божий:

"Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович <редкостное, чтобы не сказать больше, имя, но необходимое тут, чтобы подчеркнуть крайнюю отрешенность от жизни и, следовательно, ирреальность этого персонажа, сон во сне, так сказать>, о которых и не слышно было никогда; в гостиных заторчал какой-то длинный, длинный, с простреленною рукою, такого высокого роста, какого даже и не видано было".

В той же главе после пространного объяснения, почему он не желает называть никаких имен: "Какое ни придумай имя, уж непременно найдется в каком-нибудь углу нашего

государства, благо велико, кто-нибудь, носящий его, и непременно рассердится не на живот, а на смерть, станет говорить, что автор нарочно приезжал секретно с тем, чтобы выведать все...” — Гоголь все же не смог помешать двум разговорчивым дамам, которые сплетничают о тайне Чичикова, раскрыть свои имена, словно персонажи действительно вышли из-под его власти и выбалтывают то, что он пытался скрыть. Кстати сказать, один из отрывков, в котором случайные лица потоком низвергаются на страницу (или же усаживаются верхом на перо Гоголя, как ведьмы на помело), напоминает, несмотря на некую забавную старомодность, интонацию и стилистику джойсовского “Улисса” (хотя уже Стерн пользовался приемом лаконичного вопроса и обстоятельного ответа).

“Герой, однако же, совсем этого не замечал <то есть что наскучил молодой даме на балу своей назидательной болтовней>, рассказывая множество приятных вещей, которые уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах: именно в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии; у Фрола Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченица его Катерина Михайловна и внучатные сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами — Софией Александровной и Маклатурой Александровной”.

Некоторые из этих имен отдают чем-то чужеземным (в данном случае немецким), что Гоголь, как правило, использует, чтобы передать отдаленность и зрительное искажение объекта, находящегося словно в тумане; причудливые имена-гибриды к лицу бесформенным или еще не сформировавшимся людям; и если помещик Беспечный и помещик Победоносный — слегка “пьяные” фамилии, последнее имя в перечне — уже верх кошмарной бессмыс-

лицы и напоминает того русского шотландца, которым мы восхищались ранее. Непонятно, какой надо иметь склад ума, чтобы увидеть в Гоголе предшественника "натуральной школы" и реалистического живописания русской жизни.

В этих наименовательных оргиях участвуют не только люди, но и вещи. Обратите внимание на ласковые прозвища, которые чиновники города NN дают игральным картам. Черви — это *сердца*, но звучат как червяки и, при лингвистической склонности русских вытягивать слово до предела ради эмоционального эффекта, становятся *червоточиной*. Пики превращаются в *пикенцию*, обретая игровое окончание из кухонной латыни, или же в псевдогреческое *пикендрасы, пичуры* (с легким орнитологическим оттенком), а иногда вырастают до *пичурущуха* (где птица превращается уже в допотопного ящера, опрокидывая эволюцию видов). Предельная вульгарность и автоматизм этих уродливых прозвищ, большинство из которых Гоголь придумал сам, — прекрасный способ показать умственный уровень тех, кто ими пользуется.

4

Разницу между человеческим зрением и тем, что видит фасеточный глаз насекомого, можно сравнить с разницей между полутоновым клише, сделанным на тончайшем растре, и тем же изображением, выполненным на самой грубой сетке, которой пользуются для газетных репродукций. Так же относится зрение Гоголя к зрению средних читателей и средних писателей. До появления его и Пушкина русская литература была подслеповатой. Формы, которые она замечала, были лишь очертаниями, подсказанными рассудком; цвета как такового она не видела и лишь пользовалась истертыми комбинациями слепцов-существительных и по-собачьи преданных им эпитетов, которые Европа унаследовала от древних. Небо было голубым, заря алой, листва зеленой, глаза красавиц черными, тучи серыми и т.д. Только Гоголь (а за ним Лермонтов и Толстой) увидел желтый и лиловый цвета. То, что небо на восходе солнца может быть бледно-зеленым, снег в безоблачный день

густо-синим, прозвучало бы бессмысленной ересью в ушах так называемого писателя-"классика", привыкшего к неизменной, общепринятой цветовой гамме французской литературы XVIII в. Показателем того, как развивалось на протяжении веков искусство описания, могут послужить перемены, которые претерпело художественное зрение; фасеточный глаз становится единым, необычайно сложным органом, а мертвые, тусклые "принятые краски" (как бы "врожденные идеи") постепенно выделяют тонкие оттенки и создают новые чудеса изображения. Сомневаюсь, чтобы какой-нибудь писатель, тем более в России, раньше замечал такое удивительное явление, как дрожащий узор света и тени на земле под деревьями или цветовые шалости солнца на листве. Описание сада Плюшкина поразило русских читателей почти так же, как Мане — усатых мещан своей эпохи.

"Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна; косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть; оно было все окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, обрушен-

ные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник, густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, под один из которых забравшись Бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень другим, осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности". Изабель Гепгуд, которая по крайней мере попыталась перевести этот абзац полностью, лепит одну ошибку на другую, превращая русскую березу во всеобщий 'beech' (бук), осину — в 'ashtree' (ясень), бузину — в 'lilac' (сирень), черную птицу — в 'blackbird' (ворону), зияющую — в 'shining' (видимо, перепутав с "сияющей") и т.д., и т.д.

5

Различные атрибуты персонажей помогают им кругообразно распространиться в самые дальние пределы книги. Аура Чичикова обнимает его дорожную шкатулку и табакерку, "серебряную с финифтью табакерку", которую он щедро всем предлагает; на дне ее можно увидеть несколько фиалок, заботливо положенных туда для отдушки (а утром по воскресеньям он натирает одеколоном свое недочеловеческое малопристойное тело, белое и жирное, как у гусеницы древоточца, — тоже отдушка, тошнотворная и сладкая,

из его контрабандистского прошлого), ибо Чичиков — фальшивка, призрак, прикрытый мнимо пиквикской округлостью плоти, который пытается заглушить зловоние ада (оно куда страшнее, чем “особенный воздух” его угрюмого лакея) ароматами, ласкающими обоняние жителей кошмарного города NN. И дорожная шкатулка: “Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить! Вот оно, внутреннее расположение...” И, не предупредив читателя, Гоголь описывает вовсе не внутренность шкатулки, а круг ада и точную модель округлой чичиковской души (внутренности Чичикова разнимаются под яркой лампой вивисектора):

“...В самой средине мыльница <Чичиков — мыльный пузырь, пущенный чертом>, за мыльницею шесть-семь узеньких перегородок для бритв <пухлые щеки Чичикова, этого мнимого херувима, всегда были гладкими, как атлас>; потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленною между ними лодочкой для перьев, сургучей и всего, что подлиннее <писчие принадлежности для собирания мертвых душ>; потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память <светские похождения Чичикова>. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист <а бумага — главное средство общения у черта>, потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки <сердце Чичикова>. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином <систола-диастола>, что наверно нельзя сказать, сколько было там денег <автор и сам этого не знает>”.

Андрей Белый, прослеживая одну из тех странных подсознательных путеводных нитей, которые можно обнаружить только в произведениях подлинных гениев, заметил, что эта шкатулка была женой Чичикова (в сущности, импотента, подобно всем недочеловекам Гоголя) в такой же

мере, в какой шинель была любовницей Акакия Акакиевича или колокольня Шпоньки — его тещей. Заметьте, что имя единственной помещицы в книге — госпожа Коробочка (вспомним страстное восклицание Гарпагона “Ma cassette!” в “Скупом” Мольера), а кульминационный приезд Коробочки в город описан так, что невольно вспоминается вскрытие чичиковской души. При этом, чтобы понять эти отрывки, лучше начисто забыть о всякой фрейдистской ерунде, которая может быть навеяна случайными упоминаниями Андрея Белого о супружеских связях. Он любил поиздеваться над надутыми психоаналитиками.

В начале приведенного ниже примечательного описания (быть может, самого гениального в поэме) мы замечаем, что ссылка на ночь создает характер второго плана, подобный любителю сапог:

“Но в продолжение того, как он <Чичиков> сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей, угощая усердно Ноздрева <который первым смутил покой местных жителей, разболтав о странном предприятии Чичикова> и всю родню его <“фамильное древо”, которое вольно произрастает из нашего отечественного ругательства>, и перед ним теплилась сальная свечка, которой светильня давно уже накрылась нагоревшею черною шапкою, ежеминутно грозя погаснуть, и глядела ему в окна слепая, темная ночь, готовая посинеть от приближавшегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи <заметим повтор “дали” и дикое “пересвистывались”, ведь Чичиков, засыпая, тоже свистел носом: мир сразу становится странным, размытым, храп сливается с дважды отдаленным криком петухов, и вся фраза корчится, рожая псевдочеловеческое существо>, и в совершенно заснувшем городе, может быть, плелась где-нибудь фризовая шинель, горемыка неизвестно какого класса и чина, знающая одну только <увы!> слишком протертую русским забубенным народом дорогу <шинель захватила место человека!>, — в это время на другом конце города...”

Задержимся на миг, чтобы полюбоваться на этого прохожего с синим щетинистым подбородком и красным носом — до чего не похож он в горемычном своем положении

(так соответствующем тревоге Чичикова) на страстного мечтателя, с восторгом взирающего на сапог, когда Чичиков засыпал сладким сном.

Гоголь продолжает:

"...на другом конце города происходило событие, которое готовилось увеличить неприятность положения нашего героя. Именно, в отдаленных улицах и закоулках города дребезжал весьма странный экипаж, наводивший недоумение насчет своего названия. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса <тут намечается тонкая параллель с описанием круглой шкатулки Чичикова>. Щеки этого арбуза, то есть дверцы, носившие следы желтой краски, затворялись очень плохо по причине плохого состояния ручек и замков, коекак связанных веревками. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек, напичкан мешками с хлебами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями из заварного теста. Пирог-курник и пирог-рассольник выглядывали даже наверх. Запятки были заняты лицом лакейского происхожденья, в куртке из домашней пеструшки, с небритой бородою, подернутою легкой проседью, — лицо, известное под именем "малого" (хотя ему могло быть и более пятидесяти). Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на другом конце города будочника <тут в самой отменной гоголевской манере рождается еще один персонаж!>, который, подняв свою алебарду, закричал спросонья что стало мочи: "Кто идет?" — но, увидев, что никто не шел, а слышалось только издали дребезжанье <приснившийся арбуз въехал в приснившийся город>, поймал у себя на воротнике какогото зверя и, подошед к фонарю, казнил его тут же у себя на ногте <то есть раздавив ногтем согнутого указательного пальца той же руки — общепринятый в России способ расправы с дюжими местными блохами>. После чего, отставивши алебарду, опять заснул по уставам своего рыцарства. <Гоголь догоняет бричку, которую упустил, занявшись будочником.> Лошади то и дело падали на передние коленки, потому что не были подкованы, и притом, как видно, покойная городская мостовая была им мало знако-

ма. Колымага, сделавши несколько поворотов из улицы в улицу, наконец поворотила в темный переулок мимо небольшой приходской церкви Николы на Недотычках и остановилась пред воротами дома протопопши. Из брички <типично для Гоголя: теперь, когда это неопределенное средство передвижения прибыло на место в относительно осязаемом мире, оно превратилось в экипаж вполне определенного вида, хотя раньше автор настойчиво это отрицал> вылезла девка с платком на голове, в телогрейке, и хватила обоими кулаками в ворота так сильно, хоть бы и мужчине (малый в куртке из пеструшки был уже потом стащен за ноги, ибо спал мертвецки). Собаки залаяли, и ворота, разинувшись наконец, проглотили, хотя с большим трудом, это неуклюжее дорожное произведение. Экипаж въехал в тесный двор, заваленный дровами, курятниками и всякими клетухами; из экипажа вылезла барыня: эта барыня была помещица, коллежская секретарша Коробочка".

Госпожа Коробочка так же похожа на Золушку, как Павел Иванович Чичиков на Пиквика. Арбуз, из которого она появляется, вряд ли родственник сказочной тыквы. Он превращается в бричку как раз перед появлением помещицы, быть может, по той же причине, по какой кукареканье петуха — в носовой свист. Можно предположить, что приезд ее привиделся Чичикову во сне (когда он вздремнул в своих жестких креслах). Однако Коробочка и на самом деле приезжает в город, но внешность ее колымаги чуть-чуть искажена сном (все сны Чичикова порождены памятью о секретных ящичках его шкатулки), и если она оказывается бричкой, то потому лишь, что и сам Чичиков приехал в бричке. Но не говоря уж об этом превращении, колымага круглая потому, что пухлый Чичиков сам круглый как шар, и все его сны вращаются вокруг неподвижного центра; экипаж Коробочки — это и его округлый дорожный баул. Внешность и внутреннее устройство коляски описаны с той же дьявольской дотошностью, что и внутренности шкатулки. Вытянутые в длину подушки — это "длинные отделения" в ящичке; всевозможные печенья соответствуют легкомысленным сувенирам, которые хранит Павел Иванович; бумагу для записи приобретенных

мертвых душ жутковато символизирует крепостной в пеструшке, а потайное отделение шкатулки, то есть сердце Чичикова, — сама Коробочка.

6

Говоря о рожденных по ассоциации персонажах, я отметил тот лирический порыв, который сопровождает появление широкой флегматичной физиономии Собакевича — из нее, как из громадного безобразного кокона, вылетает яркий нежный мотылек. Как ни странно, Собакевич, несмотря на свою толщину и флегму, самый поэтичный персонаж в книге, и это требует некоторого пояснения. Прежде всего вот эмблемы и атрибуты его личности (они показаны через его обстановку):

"Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Миаули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые".

Но только ли в этом причина? Нет ли чего-то необычного в склонности Собакевича к романтической Греции? Не скрывался ли в этой могучей груди "тощий, худенький" поэт? Ведь в ту пору ничто не отзывалось с такой силой в сердцах поэтически настроенных русских, как миссия Байрона.

"Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни было, — все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином

дома; в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства, — словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: "И я тоже Собакевич!" или: "И я тоже очень похож на Собакевича!"

Блюда, которые он поглощает, — под стать какому-нибудь неотесанному великану. Если это свинина, то подай ему всю свинью разом; если баранина — вносят целого барана; если гусятина, то ставят на стол всю птицу. Его отношение к еде окрашено какой-то первобытной поэзией, и если в его обеде можно найти некий гастрономический ритм, то размер задан Гомером. Половина бараньего бока, с которой он расправился в несколько мгновений, обгрыз и обсосал до последней косточки, блюда, проглоченные вслед за этим: ватрушки размером в большую тарелку, индюк ростом с теленка, набитый яйцами, рисом, печенкой и прочей сытной начинкой, — все это эмблемы, внешняя оболочка и природные украшения Собакевича: они утверждают его существование с тем тяжелым красноречием, которое Флобер вкладывал в свой любимый эпитет "грандиозно". Собакевич пищу потребляет кусищами, гигантскими ломтями; он пренебрегает вареньями, поданными после обеда женой, как Роден не удостоил бы вниманием безделушки в стиле рококо из будуара модницы.

"Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности".

7

Мертвые души оживают дважды: сперва при помощи Собакевича (который наделяет их своими тяжеловесными свойствами), а потом — Чичикова (с лирической помощью автора). Вот первый способ оживления — Собакевич набивает цену своему товару:

“ — Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час, — прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет!

Чичиков открыл рот, с тем чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете; но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова:

— А Пробка Степан, плотник? я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы Бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!

Чичиков опять хотел заметить, что и Пробки нет на свете; но Собакевича, как видно, пронесло: полились такие потоки речей, что только нужно было слушать:

— Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного. А Еремей Сорокоплехин! да этот мужик один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей”.

Чичиков пытается возразить этому странному рекламисту несуществующего товара, и тот чуточку остывает, соглашаясь, что души и верно мертвые, но тут же распаляется снова:

“ — Да, конечно, мертвые... впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди.

— Да все же они существуют, а это ведь мечта.

— Ну нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете: машинища такая, что в эту комнату не войдет; нет, это не мечта! А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади; хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту!”

Говоря это, Собакевич обращается к портрету Багратиона, словно спрашивая у него совета; а немного погодя, когда после упорной торговли оба уже готовы заключить сделку и в комнате наступило торжественное молчание,

"Багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку". В эту минуту мы глубже всего заглядываем в душу присутствующего тут Собакевича, однако удивительный отголосок лирического начала в этой грубой натуре можно услышать и потом, когда Чичиков разглядывает список мертвых душ, проданных ему дородным помещиком:

"Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и чрез то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие Коробочке, все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостию в слоге: часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств, и потом две точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенною полнотою и обстоятельностью..."

"Батюшки мои <сказал себе Чичиков с внезапным приливом чувствительности, присущей сентиментальным негодяям>, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? как перебивались?.. <Он воображает себе их жизнь, и один за другим мертвые мужики обретают существование и, утверждая себя, отодвигают пухлого Чичикова в сторону.> А! вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал всякий раз домой (хозяину!) целковиков по сту, а может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог, — где тебя прибрало? Взмостился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись, оттуда, с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: "Эх, Ваня, угораздило тебя!" — а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место... Григорий

Доезжай-не-доедешь! Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги, и пошел тащиться с купцами на ярмарку. На дороге ли ты отдал душу Богу, или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или приглядели лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может, и сам, лежа на полатях, думал, думал, да ни с того ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь, и поминай как звали".

Самое имя одного из них, Неуважай-Корыто, своей бестолковой нестройной протяжностью подсказывает, какая смерть выпала на долю его обладателя: "...середи дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз". Упоминание о некоем Попове, дворовом человеке Плюшкина, порождает целый диалог только из-за того, что этот Попов, как видно, получил некоторое образование и поэтому был виновен не в банальном убийстве, а "проворовался благородным образом" (обратите внимание на этот сверхлогический ход).

"Но вот уж тебя безпашпортного поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. "Чей ты?" — говорит капитан-исправник, ввернувши тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое словцо. "Такого-то и такого-то помещика", — отвечаешь ты бойко. "Зачем ты здесь?" — говорит капитан-исправник. "Отпущен на оброк", — отвечаешь ты без запинки. "Где твой пашпорт?" — "У хозяина, мещанина Пименова". — "Позвать Пименова! Ты Пименов?" — "Я Пименов".— "Давал он тебе пашпорт свой?" — "Нет, не давал он мне никакого пашпорта". — "Что ж ты врешь?" — говорит капитан-исправник с прибавкою кое-какого крепкого словца. "Так точно, — отвечаешь ты бойко, — я не давал ему, потому что пришел домой поздно, а отдал на подержание Антипу Прохорову, звонарю". — "Позвать звонаря! Давал он тебе пашпорт?" — "Нет, не получал я от него пашпорта". — "Что ж ты опять врешь? — говорит капитан-исправник, скрепивши речь кое-каким крепким словцом. — Где ж твой пашпорт?" — "Он у меня был, — говоришь ты проворно, — да, статься может, видно, как-нибудь дорогой пообронил его". — "А

солдатскую шинель, — говорит капитан-исправник, загвоздивши тебе опять в придачу кое-какое крепкое словцо, — зачем стащил? и у священника тоже сундук с медными деньгами?...”

Диалог продолжается в том же духе, а потом Попова таскают по разным тюрьмам, которых в нашей великой стране всегда был избыток. И хотя эти “мертвые души” возвращаются к жизни только для того, чтобы испытать всякие злоключения и снова погибнуть, их воскрешение, конечно, гораздо полнее и утешительнее, чем фальшивое “нравственное возрождение”, которое Гоголь собирался инсценировать в задуманных им второй и третьей книгах “Мертвых душ” на радость законопослушным и набожным согражданам. Искусство по его капризу воскресило на этих страницах мертвецов. Нравственная и религиозная поклажа могла лишь погубить нежные, теплые, полнокровные создания его фантазии.

8

Символами белокурого, сентиментального, скучного и неряшливого Манилова с розовыми губками (есть в его фамилии намек на манерность, на туман, а больше всего на мечтательное “манить”) служат: жирная зеленая ряска на пруду среди плаксивых красот английского парка с подстриженным дерном и беседка с голубыми колоннами (“Храм уединенного размышления”); ложноклассические имена детей; книга, постоянно лежащая в кабинете и заложенная на четырнадцатой странице (не пятнадцатой, которая могла бы создать впечатление, что тут читают хотя бы по десятичной системе, и не тринадцатой — чертовой дюжине, а на розовато-блондинистой, малокровной четырнадцатой — с таким же отсутствием индивидуальности, как и сам Манилов); неряшество обстановки, где мебель обивали шелком, но его недоставало, и поэтому два кресла “стояли обтянуты просто рогожею”; два подсвечника — один щегольской, из темной бронзы, с тремя античными грациями и “перламутным щегольским щитом”, а другой “просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторо-

ну и весь в сале". Но, быть может, самый выразительный символ — горки золы, которую Манилов выбивал из трубки и аккуратными рядками расставлял на подоконнике, — единственное доступное ему художество.

9

"Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его: он среди их как в родной семье; а между тем далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все, рукоплеща, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоко летающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах... Нет равного ему в силе — он Бог! Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и ге-

ройским увлеченьем; ему не позабыться в сладком обаянье им же исторгнутых звуков; ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признаёт современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнцы и передающие движенья незамеченных насекомых; ибо не признаёт современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья; ибо не признаёт современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движеньем и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха! Не признаёт сего современный суд и все обратит в упрек и поношенье непризнанному писателю; без разделенья, без ответа, без участья, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество.

И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в святый ужас и в блистанье главы и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей..."

Сразу же после этого безудержного выплеска красноречия, которое, как вспышка света, приоткрывает замысел второго тома "Мертвых душ", следует дьявольски гротесковая сцена, где жирный полуголый Чичиков отплясывает жигу в спальне — не слишком убедительное доказательство того, что "высокий восторженный смех" ужился в книге с "высоким лирическим движеньем". В сущности, Гоголь обманывался, думая, что он умеет смеяться восторженным смехом. Да и лирические излияния не слишком прочно входят в плотную канву его книги; они скорее естественные перебивки, без которых эта канва не была бы

такой, какова она есть. Гоголь тешится тем, что дает сбить себя с ног урагану, налетевшему из каких-то других краев его вселенной (с альпийско-итальянских просторов), так же как в "Ревизоре" раскатистый крик невидимого ямщика: "Эй вы, залетные!" — доносил дыхание летней ночи, ощущение дали, романтики, invitation au voyage.

Основная лирическая нота "Мертвых душ" врывается тогда, когда мысль о России, какой видел ее Гоголь (необычный пейзаж, особая атмосфера, символ — длинная, длинная дорога), прорисовывается во всей своей причудливой прелести сквозь грандиозное сновидение поэмы. Важно заметить, что следующий отрывок вставлен между окончательным отъездом, или, вернее, бегством, Чичикова из города (растревоженного слухами о его сделках) и описанием его детских лет:

"Бричка между тем поворотила в более пустынные улицы; скоро потянулись одни длинные деревянные заборы, предвещавшие конец города <в пространстве, но не во времени>. Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге. И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст <обратите внимание на это постоянное баловство с цифрами: не пятьсот и не сто — даже числа у Гоголя обладают некоей индивидуальностью>, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты <то есть вечно в ремонте, одна из характеристик гоголевской раздраенной, сонной, обшарпанной России>, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца...

Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы (это именно гоголевская Россия, не Урал, не Алтай, не Кавказ); не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки (будто на карте), неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..

— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану <чем подчеркивается, что лирический порыв — это отнюдь не размышления самого Чичикова>.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу: казенный экипаж! — И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка".

Отдаленность поэта от родины претворяется в отдаленность будущего России, которое Гоголь как-то отождествляет с будущим своего творения — второй части "Мертвых душ", с книгой, которую все в России от него ждали, которую, как он убеждал себя, он непременно напишет. Для меня "Мертвые души" кончаются отъездом Чичикова из города NN. Трудно сказать, что меня больше всего восхищает в этом знаменитом взрыве красноречия, который завершает первую часть, — волшебство ли его поэзии или волшебство совсем другого рода, ибо пред Гоголем стояла двойная задача: позволить Чичикову избегнуть справедливой кары при помощи бегства и в то же время отвлечь внимание читателя от куда более неприятного вывода — никакая кара в пределах человеческого закона не может настигнуть посланника сатаны, спешащего домой, в ад.

"Селифан... примолвил тонким певучим голоском: "Не бойся!" Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: "Эх! эх! эх!" — плавно подскакивая на козлах, по мере того как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: "черт побери все!" — его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное! Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает

означиться пропадающий предмет, — только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем размётнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади... Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства".

Как бы прекрасно ни звучало это финальное крещендо, со стилистической точки зрения оно всего лишь скороговорка фокусника, отвлекающего внимание зрителей, чтобы дать исчезнуть предмету, а предмет в данном случае — Чичиков.

4. УЧИТЕЛЬ И ПОВОДЫРЬ

1

Снова покинув Россию в мае 1842 г., Гоголь возобновил свои странные странствия. Вертящиеся колеса соткали ему ткань первой части "Мертвых душ"; круги, которые он описывал во время своих первых путешествий по мелькаю-

щей Европе, завершились превращением кругленького Чичикова в крутящийся волчок, в туманную радугу; физическое кружение помогло автору погрузить себя и своих героев в калейдоскопический кошмар, который простодушные читатели много лет кряду принимали за "панораму русской жизни" (или "домашнюю жизнь в России"). Но теперь пришло время готовить себя ко второй части.

Интересно знать, не было ли у него задней мысли (мысли у него были на редкость извилистые): а что, если вращение колес, длинные дороги, которые вьются, словно приветливые змейки, и слегка пьянящее чувство плавного, непрерывного движения, так помогшие при создании первой части поэмы, автоматически породят и вторую, а она засветится ярким сверкающим ореолом вокруг взвихренных красок первой? В том, что это должен быть ореол, нимб, он был уверен: в противном случае первая часть может быть сочтена проказой дьявола. В соответствии со своим методом закладывать основу произведения после того, как оно было напечатано, Гоголь сумел убедить себя в том, что (еще не написанная) вторая часть, по существу, породила первую и что первая роковым образом останется всего лишь ее иллюстрацией, лишенной всякой сути, если тупоголовой публике не предъявят первоисточник. На самом же деле писателя будет безжалостно связывать державная форма первой части. Когда он попытался сложить вторую, ему пришлось поступить почти так же, как убийце в одном из рассказов Честертона, который вынужден подменить всю писчую бумагу в доме своей жертвы, чтобы она не отличалась от листка, на котором написано мнимое признание в самоубийстве.

Мрачная подозрительность могла подсказать Гоголю и кое-какие другие соображения. Как бы страстно ни жаждал он узнать в подробностях, что думают о его произведении читатели или критики, — от холуя на откупе у правительства до последнего идиота, подыгрывающего общественному мнению, — он усердно объяснял своим адресатам, будто единственное, что его интересует в критических статьях, это более широкое и объективное представление, которое он получает из них о своей собственной персоне. Гоголя

весьма огорчило, что серьезные люди видели в “Мертвых душах”, то с удовольствием, то негодуя, пламенное обличение рабства, подобно тому как они видели в “Ревизоре” нападки на взяточничество. Ибо в умах гражданственно мыслящих читателей “Мертвые души” где-то смыкались с “Хижиной дяди Тома”. Сомневаюсь, чтобы это тревожило его меньше, чем упреки других критиков — достопочтенных и старозаветных ценителей в черных сюртуках, набожных старых дев и православных святош, которые сетовали на “чувственность” его образов. Он прекрасно ощущал ту власть, которую его художественный гений имеет над людьми, и, к отвращению своему, ответственность, проистекающую от такой власти. Но что-то в его душе жаждало еще большей власти (правда, лишенной ответственности), как жена рыбака в сказке Пушкина — еще более пышных хором. Гоголь стал проповедником потому, что ему нужна была кафедра, с которой он мог бы объяснить нравственную подоплеку своего сочинения, и потому, что прямая связь с читателями казалась ему естественным проявлением его магнетической мощи. Религия снабдила его тональностью и методом. Сомнительно, чтобы она одарила его чем-нибудь еще.

2

Опасность превратиться в лежачий камень Гоголю не угрожала: несколько летних сезонов он беспрерывно ездил с вод на воды. Болезнь его была трудноизлечимой, потому что казалась малопонятной и переменчивой: приступы меланхолии, когда ум его был помрачен невыразимыми предчувствиями и ничто, кроме внезапного переезда, не могло принести облегчения, чередовались с припадками телесного недомогания и ознобами; сколько он ни кутался, у него стыли ноги, а помогала от этого только быстрая ходьба — и чем дольше, тем лучше. Парадокс заключался в том, что поддержать в себе творческий порыв он мог лишь постоянным движением — а оно физически мешало ему писать. И все же зимы, проведенные в Италии с относительным комфортом, были еще менее продуктивными, чем лихора-

дочные странствия в почтовых каретах. Дрезден, Бадгастейн, Зальцбург, Мюнхен, Венеция, Флоренция, Рим и опять Флоренция, Мантуя, Верона, Инсбрук, Зальцбург, Карлсбад, Прага, Греффенберг, Берлин, Бадгастейн, Прага, Зальцбург, Венеция, Болонья, Флоренция, Рим, Ницца, Париж, Франкфурт, Дрезден — и все сначала; этот перечень с повторяющимися названиями знаменитых туристских городов не похож на маршрут человека, который хочет поправить здоровье или собирает гостиничные наклейки, чтобы похвастаться ими в Москве, штат Огайо, или в Москве российской, — это намеченный пунктиром порочный круг без всякого географического смысла. Воды были скорее поводом. Центральная Европа была для Гоголя лишь оптическим явлением, и единственное, что было ему важно, единственное, что его тяготило, единственная его трагедия была в том, что творческие силы неуклонно и безнадежно у него иссякали. Когда Толстой из нравственных, мистических и просветительских побуждений отказался писать романы, его гений был зрелым, могучим, а отрывки художественных произведений, опубликованные посмертно, показывают, что мастерство его развивалось и после смерти Анны Карениной. А Гоголь был автором всего лишь нескольких книг, и намерение написать главную книгу своей жизни совпало с упадком его как писателя: апогея он достиг в “Ревизоре”, “Шинели” и первой части “Мертвых душ”.

3

Проповеднический период начался у Гоголя с последних поправок, которые он внес в “Мертвые души”, с этих странных намеков на величественный апофеоз в будущем. В многочисленных письмах, которые он пишет друзьям из-за границы, фразы звучат все пышнее, в каком-то особом библейском тоне. “...Горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова, — пишет он. — Оставь на время все, все, что ни шевелит иногда в праздные минуты мысли, как бы ни заманчиво и ни приятно оно шевелило их. Покорись и займись год, один только год, своею деревней”.

Главное, к чему он призывает помещиков в своих письмах, — вернуться к исполнению своих прямых обязанностей (при том, что деревенская жизнь означала тогда худые урожаи, жуликов-управителей, непокорных крепостных, лень, воровство, нищету, отсутствие всякого порядка и в хозяйственном и в духовном смысле слова), и свои поучения излагает в пророческих тонах, повелевая отказаться от всех мирских благ. Казалось, что с угрюмых своих высот Гоголь призывает к великой жертве во имя Господа, но на самом деле, несмотря на велеречивый тон, он советовал помещикам совсем обратное — покинуть большой город, где они попусту разбазаривают свои неверные доходы, и возвратиться на землю, дарованную им Господом, чтобы они стали богаты, как богата плодородная земля. И чтобы сильные веселые крестьяне благодарно трудились под их отеческим присмотром. "Дело помещичье — Божие дело" — вот суть проповеди Гоголя.

Нельзя не заметить, как он хотел, как он жаждал того, чтобы эти недовольные помещики и брюзжащие чиновники не просто вернулись в свои присутственные места, на свои земли, к своим покосам, но и давали ему подробнейшие отчеты о своих впечатлениях. Можно предположить, что у Гоголя на уме (уме, похожем на ящик Пандоры) было что-то другое, что-то для него гораздо более важное, чем отзыв о нравственных и экономических условиях жизни в российской деревне: его томило желание получить "подлинный" материал для своей книги из первых рук; ведь он был в самом худом положении, в какое может попасть писатель, утратив способность измышлять факты и веря, что они могут существовать сами по себе.

Беда в том, что голых фактов в природе не существует, потому что они никогда не бывают совершенно голыми; белый след от часового браслета, завернувшийся кусочек пластыря на сбитой пятке — их не может снять с себя самый фанатичный нудист. Простая колонка чисел раскроет личность того, кто их складывал, так же точно, как податливый шифр выдал местонахождение клада Эдгару По. Самая примитивная curriculum vitae кукарекает и хлопает крыльями так, как это свойственно только ее подписавшему. Сомневаюсь, чтобы можно было назвать

свой номер телефона, не сообщив при этом о себе самом. Гоголь же, хотя и уверял, что желает знать о человечестве, потому что любит это человечество, на самом-то деле был мало заинтересован в личности того, кто ему о себе сообщал. Он хотел получить факты в самом обнаженном виде и в то же время требовал не просто ряда цифр, а полного набора мельчайших наблюдений. Когда кто-нибудь из покладистых друзей нехотя выполнял его просьбы, а потом, войдя во вкус, посылал ему подробные отчеты о провинциальных и деревенских делах, то вместо благодарности получал вопль разочарования — и отчаяния: ведь те, с кем писатель переписывался, не были Гоголями. Он требовал описаний, описаний. И хотя друзья его писали с усердием, Гоголю недоставало нужного материала, потому что эти друзья не были писателями, а к тем друзьям, которые ими были, он не мог обратиться, зная, что сообщенные ими факты уже никак не будут "голыми". Эта история отлично иллюстрирует полнейшую бессмыслицу таких терминов, как "голый факт" и "реализм". Гоголь — "реалист"! Так говорят учебники. И возможно, что сам Гоголь в своих жалких и тщетных попытках собрать от самих читателей крохи, которые должны были составить мозаику его книги, полагал, что поступает совершенно разумно. Ведь это так просто, — раздраженно твердил он разным господам и дамам, — сесть хотя на часок в день и набросать все, что вы видели и слышали. С тем же успехом он мог просить их выслать ему по почте луну в любой ее фазе. И неважно, если парочка звезд и клочок тумана ненароком попадут в наспех запечатанный синий пакет. А если у месяца сломается рог, он его заменит другим.

Его биографов удивляло раздражение, которое он высказывал, не получая того, что ему нужно. Их удивляло то странное обстоятельство, что гениальный писатель не понимает, почему другие не умеют писать так же хорошо, как он. На самом-то деле Гоголь злился оттого, что хитроумный способ получения материала, которого он сам уже не мог придумать, себя не оправдал. Растущее сознание своего бессилия превращалось в болезнь, которую он скрывал от других и от самого себя. Он радовался любым помехам в своей работе ("...препятствие придает мне крылья"),

потому что на них можно было свалить оттяжку окончания книги. Вся философия последних лет с рефреном: чем темнее небеса, тем ярче засияет завтрашний блаженный день, — была навеяна постоянным ощущением того, что завтра никогда не наступит.

С другой стороны, он приходил в ярость, если кто-нибудь предполагал, что появление этого "блаженного завтра" может быть ускорено: я не литературный поденщик, не ремесленник, не журналист, писал он. И хотя он делал все, чтобы убедить и других и самого себя, что напишет произведение, бесконечно важное для России (а Россия в его чисто русском сознании стала синонимом всего человечества), он негодовал, когда до него доходили слухи, порожденные его же собственными мистическими намеками. Период его жизни после выхода в свет первой части "Мертвых душ" можно окрестить "большими надеждами", по крайней мере со стороны его читателей. Некоторые из них ожидали еще более резкого и беспощадного обличения продажности и социальной несправедливости; другие предвкушали гомерически смешную повесть, надеясь повеселиться над каждой страницей. И в то время как Гоголь дрожал от холода в одной из нетопленых каменных комнат, которые найдешь только на крайнем юге Европы, и уговаривал друзей, что отныне жизнь его священна, что с его плотской оболочкой надо обращаться любовно, беречь ее, как треснувший глиняный сосуд, содержащий вино мудрости (то есть вторую часть "Мертвых душ"), дома распространялись радостные слухи, что Гоголь заканчивает книгу о похождениях русского генерала в Риме и что ничего потешнее он в жизни не писал. Как это ни трагично, куски, относящиеся к заводной кукле из фарса — генералу Бетрищеву, в самом деле лучшее, что дошло до нас из второй книги "Мертвых душ".

4

В ирреальном мире Гоголя Рим и Россию объединила какая-то глубинная связь. Рим для него был тем местом, где у него случались периоды хорошего физического самочувствия, чего не бывало на севере. Цветы Италии

(по его словам, он уважал цветы, которые вырастают сами собою на могиле) наполняли его "неистовым желанием превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны". Италия добавила работы его носу. Но было там еще и особенное итальянское небо, "то все серебряное, одетое в какое-то атласное сверкание, то синее, как любит оно показываться сквозь арки Колисея". Чтобы отдохнуть от исковерканной, ужасной, дьявольской картины мира, им же созданной, он будто хочет позаимствовать нормальное зрение у второразрядного художника, воспринимающего Рим как "живописное" место. Ему нравятся и ослы: "бредут или несутся вскачь ослы с полузажмуренными глазами, живописно неся на себе стройных и сильных" итальянок, "далеко блистающих белыми головными уборами, или таща вовсе не живописно, с трудом и спотыкаясь, длинного неподвижного англичанина в гороховом непроникаемом макинтоше, скорчившего в острый угол свои ноги, чтобы не зацепить ими земли, или неся художника в блузе, с деревянным ящиком на ремне и ловкой вандиковской бородкой..." — и т.д. Долго писать в этом стиле Гоголь был неспособен, и задуманный им стандартный роман о приключениях итальянского господина, к счастью, ограничился несколькими жутковатыми общими местами: "Все в ней венец созданья, от плеч до античной дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге..." — нет, довольно, не то лепет унылого провинциального чиновника из гоголевской глуши, топящего свою злую тоску в фантазиях, совсем смешается с античной риторикой.

5

В Риме жил тогда великий русский художник Иванов. Больше двадцати лет он трудился над своим "Явлением Христа народу". Судьба его во многом схожа с судьбой Гоголя, с той только разницей, что Иванов в конце концов закончил свой шедевр; рассказывают, что, когда его нако-

нец выставили (в 1858 г.), он спокойно сидел перед картиной, накладывая последние мазки — это после двадцатилетней работы! — и не обращая внимания на сутолоку в выставочном зале. Оба — и Гоголь, и Иванов — жили в постоянной бедности, потому что не могли оторваться от главного дела своей жизни ради заработка; обоих донимало нетерпение соотечественников, попрекавших их медлительностью; оба были нервны, раздражительны, малообразованны, до смешного неловки в мирских делах. В своем обширном описании работы Иванова Гоголь подчеркивает это сродство, и нельзя не почувствовать, что, когда он говорит о главной фигуре ("А Он, в небесном спокойствии и чудном отдалении, тихой и твердой стопой уже приближается к людям"), картина Иванова каким-то образом слилась в его сознании с религиозной идеей его собственной, еще не написанной книги, которую он видел плавно слетающей к нему с серебристых итальянских холмов.

6

В письмах, которые он писал, работая над "Выбранными местами из переписки с друзьями", нет этих "мест" (если бы они там были, Гоголь не был бы Гоголем), но они очень схожи и по смыслу, и по тону. Он считал свои рассуждения внушенными свыше и требовал, чтобы их ежедневно перечитывали во время поста; трудно поверить, однако, чтобы его корреспонденты были так уж податливы и, собрав членов семьи, смущенно откашливались перед чтением — совсем как городничий в первом действии "Ревизора". Язык этих посланий Гоголя почти пародиен по своей ханжеской интонации, но в них есть прекрасные перебивки, когда, к примеру, он употребляет сильные и вполне светские выражения, говоря о типографии, которая его надула. Благочестивые деяния, которые он замышлял для своих друзей, излагаются попутно с более или менее нудными поручениями. Он изобрел поразительную систему покаяния для "грешников", принуждая их рабски на себя трудиться: бегать по его делам, покупать и упаковывать нужные ему книги, переписывать критические статьи,

торговаться с наборщиками и т.д. В награду он посылал книгу вроде "Подражания Христу" с подробными инструкциями, как ею пользоваться, но такие же инструкции даны и по поводу водолечения и желудочных недомоганий: два стакана холодной воды перед завтраком, советует он товарищу по несчастью.

Отриньте все свои дела и займитесь моими — вот лейтмотив его писем, что было бы совершенно законно, если бы адресаты считали себя его учениками, твердо верующими, что тот, кто помогает Гоголю, помогает Богу. Но люди, получавшие его письма из Рима, Дрездена или Баден-Бадена, решали, что Гоголь либо сходит с ума, либо потешается над ними. По-видимому, он не был чересчур щепетилен и злоупотреблял своими божественными правами. Он использовал свое выгодное положение посланца Божьего в сугубо личных целях — например, когда отчитывал прошлых обидчиков. После смерти жены критик Погодин был вне себя от горя, а Гоголь ему написал: "Друг, несчастия суть великие знаки Божией любви. Они ниспосылаются для перелома жизни в человеке, который без них был бы невозможен... Я знаю, что покойницу при жизни печалили два находящиеся в тебе недостатка. Один, который произошел от обстоятельства твоей первоначальной жизни и воспитания, состоит в отсутствии такта во всех возможных родах приличий..." Соболезнование, единственное в своем роде. Аксаков был одним из немногих, кто решился наконец высказать Гоголю, как он относится к некоторым его наставлениям. "Друг мой, — писал он, — ни на одну минуту я не усумнился в искренности вашего убеждения и желания добра друзьям своим; но, признаюсь, недоволен я этим убеждением, особенно формами, в которых оно проявляется. Я даже боюсь его. Мне пятьдесят три года. Я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились... Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь были бы они искренни; но уже, конечно, ничьих и не приму... И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, насильно, не зная моих убеждений, да как еще? в узаконенное время, после кофею, и разделяя чтение главы, как на уроки... и смешно и досадно..."

Но Гоголь упорствовал в этом новообретенном жанре. Он утверждал, будто все сказанное и сделанное им вдохновлено тем духом, который вскоре откроет свою мистическую суть во втором и третьем томах “Мертвых душ”. Он также утверждал, что “Выбранные места” задуманы как испытание и должны подготовить дух читателя к восприятию второй части его поэмы. Видимо, он совершенно не понимал, что собой представляет та подготовительная ступень, которую он любезно предлагал читателю.

Основное содержание “Выбранных мест” состоит из назиданий Гоголя русским помещикам, провинциальным чиновникам и вообще христианам. Поместные дворяне рассматриваются как посредники Божьи, которые трудятся в поте лица, имеют свой пай в райских кущах и получают более или менее значительный доход в земной валюте. “Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты и что такое они. Что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если б ты променял это званье на другое; потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которою родились, потому что нет власти, которая бы не была от Бога. И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе деньги на твои удовольствия, и в доказательство тут же сожги ты перед ними ассигнации...” Картина весьма живописная: помещик стоит на крыльце и заученным жестом профессионального фокусника показывает хрустящий, радужный банкнот; на безобидного вида столике покоится Библия; мальчик держит горящую свечу; группа бородатых крестьян глазеет в почтительном ожидании; когда ассигнация превращается в огненную бабочку, раздается благоговейный ропот; фокусник легонько, но энергично потирает руки, вернее, подушечки пальцев, потом, что-то пробормотав, открывает Библию, и нате! — словно феникс из пепла, возродившееся сокровище.

Цензор великодушно вычеркнул в первом издании этот кусок, усмотрев в нем неуважение к правительству и порчу монеты, — совсем как почтенные особы из “Ревизора”, осудившие порчу государственного имущества (а именно стульев) буйными учителями древней истории. Так и хочется продолжить это сравнение — ведь в каком-то смысле Гоголь в “Выбранных местах” словно перевоплощается в одного из своих восхитительно гротесковых персонажей. Не надо школ, не надо книг, только ты и деревенский священник — вот система просвещения, которую он предлагает помещику: “По-настоящему, ему (народу) не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых”; “...бери с собой священника повсюду... чтобы сначала он был при тебе в качестве помощника...”. Образцы крепкой ругани, которую надо применять, чтобы затронуть ленивого крепостного за живое, приводятся в другом поразительном отрывке. Там же величественные выплески неуместной риторики — и злобный выпад в адрес незадачливого Погодина. Мы находим такие пассажи, как “дрянь и тряпка стал всяк человек” или “соотечественники!.. страшно!..” — с интонацией “товарищи!” или “братие!”, только еще призывнее.

Книга вызвала оглушительный скандал. Общественное мнение в России было в основе своей демократическим и, кстати, глубоко почитало Америку. Этот хребет не под силу было сломать ни одному царю (только много позднее его перешиб советский режим). В середине прошлого века существовало несколько течений общественной мысли, и, хотя самое радикальное позднее выродилось в чудовищно унылое народничество, марксизм, интернационализм и прочее (чтобы потом, развиваясь, пройти неизбежный круг до государственного крепостничества и реакционного национализма), несомненно, что в гоголевскую эпоху “западники” представляли собой культурную силу, далеко превосходящую численно и качественно все то, что могли собрать реакционные староверы. Поэтому, например, не вполне справедливо рассматривать Белинского как всего лишь предшественника (хотя филогенетически он им, конечно, был) тех писателей 60-х и 70-х гг., которые яростно

утверждали примат общественных ценностей над художественными; что они подразумевали под художественностью — это другой вопрос: Чернышевский и Писарев торжественно доказывали, что писать учебники для народа важнее, чем рисовать "мраморные колонны и нимф", то есть заниматься "чистым искусством". Кстати, тот же старомодный метод — низвести все эстетические ценности до уровня своих убогих представлений и способности нарисовать акварельку, а затем обличать "искусство для искусства" с национальной, политической или общеобывательской точки зрения — выглядит крайне комично и у некоторых современных американских критиков. Сколь наивной ни была бы ограниченность Белинского в оценке художественных произведений, у него как у гражданина и мыслителя было поразительное чутье на правду и свободу, которое могла погубить только партийная борьба, а она была тогда лишь в зачатке. В то время его чаша была еще наполнена чистой влагой; понадобилась помощь Добролюбова, Писарева и Михайловского, чтобы превратить ее в питательный бульон для самых зловещих микробов. С другой стороны, Гоголь явно отстал от века и принял маслянистый налет на луже за потустороннюю радугу. Знаменитое письмо Белинского, вскрывающее суть "Выбранных мест" ("эту надутую и неопрятную шумиху слов и фраз"), — благородный документ. В нем есть и горячие нападки на царизм, из-за чего распространение списков письма скоро стало караться каторжными работами в Сибири. Гоголя, как видно, больше всего огорчили намеки Белинского на его заискивание перед дворянством в надежде на материальную помощь. Белинский, конечно, принадлежал к разряду "бедных, но гордых". Гоголь же как христианин осуждал "гордыню".

Несмотря на потоки ругани, издевательств и поношений, обрушившиеся на его книгу почти со всех сторон, Гоголь внешне вел себя довольно мужественно. Он хоть и признавал, что книга была издана "под влияньем страха смерти" и что неопытность в подобных сочинениях обратила смирение в вызывающую позу самоуверенности (или, как он заметил в другом месте, "я размахнулся в моей

книге таким Хлестаковым...”), но продолжал утверждать с непреклонной стойкостью мученика, что книга его необходима по трем причинам: она позволила показать людям его подлинное лицо, показала и ему и им, что собой представляют они, и очистила общественную атмосферу, словно гроза. Этим он, по существу, говорил, что выполнил свое намерение — подготовил общественное мнение ко второй части “Мертвых душ”.

7

Во время долгих лет, проведенных за границей, и лихорадочных наездов в Россию Гоголь записывал на клочках бумаги (в коляске, на постоялом дворе, в доме кого-нибудь из друзей — словом, где попало) наброски к своему будущему шедевру. Порой это был даже ряд глав, которые он читал по большому секрету самым близким друзьям; иногда у него не получалось ничего; иногда один из друзей переписывал у него страницу за страницей, а временами Гоголь утверждал, что не занес на бумагу ни единого слова, все у него пока еще в голове. Как видно, он не раз понемногу жег рукописи, прежде чем запалить главный костер перед смертью.

Однажды во время этой трагической борьбы со своим произведением он совершил поступок, который, помня о его физической слабости, можно счесть подвижничеством: съездил в Иерусалим, чтобы обрести там то, что было необходимо для будущей книги, — указание свыше, силу и творческую фантазию; так бесплодная женщина молила святую деву о ребенке в расцвеченном сумраке средневекового храма. Несколько лет он все откладывал паломничество; дух его, как он говорил, еще не был к этому готов; Бог еще этого не пожелал; Он воздвигал ему препятствия; надо было обрести особое духовное состояние (несколько напоминающее католическую “благодать”), чтобы обеспечить максимальный успех этому (совершенно языческому) предприятию; более того, Гоголю требовался надежный спутник, который не стал бы ему докучать, был бы молчалив или разговорчив соответственно переменчивому

настроению паломника, а когда понадобится, то ласковой рукой подоткнул бы дорожный плед. Но когда в январе 1848 г. он наконец отважился на эту небезопасную поездку, рассчитывать на ее успех было так же мало оснований, как и в любое другое время.

Добрая старая дама Надежда Николаевна Шереметева, одна из самых верных и скучных корреспонденток Гоголя (они постоянно молились о спасении души друг друга), проводила его до московской заставы. Бумаги Гоголя были наверняка в полном порядке, однако ему почему-то не хотелось, чтобы их проверяли, и святое паломничество началось с одной из тех мрачных мистификаций, которые он нередко разыгрывал с полицией. К сожалению, в нее была втянута и старая дама. У заставы она поцеловала паломника, разразилась слезами и осенила его крестом, отчего он крайне расчувствовался. В эту минуту у него спросили документы; чиновник желал узнать, кто именно отъезжает. "Вот эта старушка!" — закричал Гоголь и укатил в своей коляске, оставив госпожу Шереметеву в большом затруднении.

Матери своей он послал специальную молитву, которую местному священнику надлежало произнести в церкви. В этой молитве Гоголь просил Господа уберечь его на Востоке от разбойников и от морской болезни во время переезда по морю. Господь не внял второй просьбе: между Неаполем и Мальтой на вертлявом пароходике "Капри" Гоголя так рвало, что пассажиры просто поражались. Сведения о самом паломничестве весьма туманны, и, если бы не кое-какие официальные доказательства того, что оно действительно состоялось, можно было бы предположить, что Гоголь выдумал это путешествие, так же как раньше выдумал поездку в Испанию. Когда год за годом твердишь о своем намерении что-то сделать и тебе уже тошно оттого, что никак не можешь на это решиться, гораздо проще убедить всех, что ты уже это совершил, — и до чего же приятно забыть наконец всю историю!

"Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я, как во сне, эту землю" (из письма Жуковскому). Мы мельком видим, как он в пустыне ссорится со своим

спутником Базили. Где-то в Самарии он сорвал златоцвет, где-то в Галилее — мак (питая смутный интерес к ботанике подобно Руссо). В Назарете шел дождь, он хотел от него спрятаться и “просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете (на скамейке, под которой нашла убежище курица), точно как бы это случилось в России на станции”. Священные места, которые он посетил, не слились с их мистическим идеальным образом в его душе, и в результате Святая Земля принесла его душе (и его книге) так же мало пользы, как немецкие санатории — его телу.

8

В течение последних десяти лет своей жизни Гоголь упорно вынашивал замысел продолжения “Мертвых душ”. Он утратил волшебную способность творить жизнь из ничего; его воображению требовался готовый материал для обработки, потому что у него еще хватало сил на то, чтобы повторять себя; хотя он уже не мог создать совершенно новый мир, как в первой части, он надеялся использовать ту же канву, вышив на ней новый узор — а именно подчинив книгу определенной задаче, которая отсутствовала в первой части, а теперь, казалось, не только стала движущей силой, но и первой части сообщала задним числом необходимый смысл.

Помимо личных особенностей Гоголя, роковую роль сыграло для него одно ходячее заблуждение. Писатель погиб, когда его начинают занимать такие вопросы, как “что такое искусство?” и “в чем долг писателя?”. Гоголь решил, что цель литературы — врачевать больные души, вселяя в них ощущение гармонии и покоя. Лечение должно было включать и сильную дозу дидактики. Он намеревался изобразить отечественные недостатки и отечественные добродетели таким манером, чтобы читатель мог укрепиться в последних, избавляясь от первых. В начале своей работы над продолжением “Мертвых душ” он собирался вывести своих персонажей не “прекрасными характерами”, но более “крупными”, чем в первой части. Выражаясь на сладком жаргоне издателей и рецензентов, он желал придать им

больше "человеческого обаяния". Писать романы грешно, если автор отчетливо не раскрыл своей "симпатии" к одним персонажам и "критического отношения" к другим. Да и так ясно, что даже самый скромный читатель (предпочитающий книги в форме диалогов с минимумом "описаний", потому что разговоры — это "жизнь") поймет, на чью сторону он должен стать. Гоголь обещал читателю, то есть своему воображаемому читателю, сообщить факты. Он, по его словам, представит русских людей не через "мелочи", то есть частные черты отдельных уродов, не через самодовольные их пошлости и чудачества, не через кощунство личного авторского видения, а таким способом, чтобы "предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразьем богатств и даров, доставшихся на его долю...". Иначе говоря, "мертвые души" станут "живыми душами".

Обещание Гоголя (да и любого другого писателя с такими же пагубными намерениями) можно выразить словами попроще: я вообразил себе в первой части один мир, а теперь воображу другой, точнее отвечающий тем понятиям о добре и зле, которых более или менее сознательно придерживаются мои воображаемые читатели. Успех в подобных случаях (у популярных романистов и прочих) прямо зависит от того, насколько представление автора о "читателях" соответствует общепринятому, то есть взгляду читателей на самих себя, прилежно внушаемому издателями при помощи регулярно поставляемой умственной жвачки. Однако положение Гоголя было не таким уж простым, во-первых, потому, что задуманная книга должна была стать чем-то вроде религиозного откровения, а во-вторых, потому, что воображаемый читатель должен был не только восхищаться различными подробностями этого откровения, но и получить моральную поддержку, облагородиться и даже возродиться под воздействием книги. Наибольшая трудность состояла в том, чтобы совместить материал первой части, который, с точки зрения обывателя, содержал одни "необычности" (которыми Гоголю, однако, приходилось пользоваться, потому что он уже не умел создать новую художественную ткань), с чем-то вроде возвышенной

проповеди, умопомрачительные образцы которой он дал в "Выбранных местах". И хотя его первоначальным намерением было вывести своих персонажей не "прекрасными характерами", а "крупными", в том смысле, что они должны были выражать все богатство русских страстей, настроений и идеалов, он постепенно выяснил, что эти "крупные" натуры, выходящие из-под его пера, запачканы непреодолимыми "необычностями", которыми их одарила природная среда и внутреннее сродство с кошмарными помещиками его первого творения. Следовательно, единственный выход — это создать другую, чуждую им группу персонажей, которые будут явно и недвусмысленно "хорошими", ибо любая попытка к обогащению их характеров неизбежно превратит их в те же причудливые образы, какими стали не вполне добродетельные герои благодаря своим злосчастным прародителям.

Когда в 1847 г. фанатичный русский священник отец Матвей, обладавший красноречием Иоанна Златоуста при самом темном средневековом изуверстве, просил Гоголя бросить занятия литературой и заняться богоугодным делом, таким, например, как подготовка своей души к переходу в мир иной по программе, составленной тем же отцом Матвеем и ему подобными, Гоголь изо всех сил старался разъяснить своим корреспондентам, какими положительными были бы положительные персонажи "Мертвых душ", если бы только Церковь разрешила ему поддаться той потребности писать, которую внушил ему Бог по секрету от отца Матвея.

"Разве не может и писатель в занимательной повести изобразить живые примеры людей лучших, чем каких изображают другие писатели, — представить их так живо, как живописец? Примеры сильнее рассуждения; нужно только для этого писателю уметь прежде самому сделаться добрым и угодить жизнью своей сколько-нибудь Богу. Я бы не подумал о писательстве, если бы не было теперь такой повсеместной охоты к чтению всякого рода романов и повестей, большею частию соблазнительных и безнравственных, но которые читаются только потому, что написаны увлекательно и не без таланта. А я, имея талант, умея изображать живо людей и природу... разве я не обязан

изобразить с равною увлекательностию людей добрых, верующих и живущих в законе Божием? Вот вам (скажу откровенно) причина моего писательства, а не деньги и не слава".

Было бы, конечно, смешно предполагать, что Гоголь потратил десять лет только на то, чтобы написать книгу, угодную Церкви. На самом деле он пытается создать книгу, угодную и Гоголю-художнику и Гоголю-святоше. Его донимала мысль, что ведь великим итальянским художникам удавалось это делать снова и снова; прохлада монастырской обители, вьющиеся по стенам розы, изможденный человек в ермолке, сияющие, свежие краски фрески, над которой он трудится, — вот та рабочая обстановка, о которой мечтал Гоголь. Законченные "Мертвые души" должны были рождать три взаимосвязанных образа: преступления, наказания и искупления. Достигнуть этой цели было невозможно не только потому, что неповторимый гений Гоголя, если бы он дал себе волю, непременно сломал бы любую привычную схему, но и потому, что автор навязал главную роль грешника такой личности (если Чичикова можно назвать личностью), которая до смешного ей не соответствовала и к тому же вращалась в той среде, где такого понятия, как спасение души, просто не существовало. Симпатичный священник был бы так же невозможен среди гоголевских персонажей первого тома, как gauloiseries у Паскаля или цитата из Торо в последней речи Сталина. В считанных главах второй части, которые сохранились, магический кристалл Гоголя помутнел. Чичиков хоть и остался (в большей мере, чем можно было ожидать) центральной фигурой, но как-то выпал из фокуса. В этих главах есть ряд великолепных кусков, но они лишь отзвук первой книги. А когда появляются положительные персонажи — бережливый помещик, праведный купец, богоподобный князь, — то создается впечатление, будто совершенно посторонние люди столпились, чтобы занять продуваемый сквозняками дом, где в унылом беспорядке теснятся привычные вещи. Как я уже говорил, жульнические проделки Чичикова — это всего лишь фантомы, пародия на преступление, а потому невозможно и никакое "реальное" наказание — оно извра-

тило бы саму идею книги. "Положительные лица" фальшивы, потому что неорганичны для мира Гоголя, и всякая связь между ними и Чичиковым режет слух и раздражает. Если Гоголь в самом деле написал часть об искуплении, где "положительный священник" (с католическим налетом) спасает душу Чичикова в глубине Сибири (существуют обрывочные сведения, что Гоголь изучал сибирскую флору по Палласу, дабы изобразить нужный фон), и если Чичикову было суждено окончить свои дни в качестве изможденного монаха в дальнем монастыре, то неудивительно, что последнее озарение, последняя вспышка художественной правды заставила писателя уничтожить конец "Мертвых душ". Отец Матвей мог порадоваться, что незадолго до смерти Гоголь отрекся от литературы; но короткая вспышка огня, которую можно было бы счесть доказательством и символом этого отречения, на деле выражала совсем обратное: когда, пригнувшись к огню, он рыдал возле той печи (где? — вопрошает мой издатель; в Москве), в которой были уничтожены плоды многолетнего труда, ему уже было ясно, что оконченная книга предавала его гений; и Чичиков, вместо того чтобы набожно угасать в деревянной часовне среди суровых елей на берегу легендарного озера, был возвращен своей природной стихии — синим огонькам домашнего пекла.

5. АПОФЕОЗ ЛИЧИНЫ

1

"...Чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным... Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего

этого не известно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки".

2

Гоголь был странным созданием, но гений всегда странен: только здоровая посредственность кажется благородному читателю мудрым старым другом, любезно обогащающим его, читателя, представления о жизни. Великая литература идет по краю иррационального. "Гамлет" — безумное сновидение ученого невротика. "Шинель" Гоголя — гротеск и мрачный кошмар, пробивающий черные дыры в смутной картине жизни. Поверхностный читатель увидит в этом рассказе лишь тяжеловесные ужимки сумасбродного шута; глубокомысленный — не усомнится в том, что главное намерение Гоголя было обличить ужасы русской бюрократии. Но и тот, кто хочет всласть посмеяться, и тот, кто жаждет чтения, которое "заставляет задуматься", не поймут, о чем же написана "Шинель". Подайте мне читателя с творческим воображением — эта повесть для него.

Уравновешенный Пушкин, земной Толстой, сдержанный Чехов — у всех у них бывали минуты иррационального прозрения, которые одновременно затемняли фразу и вскрывали тайный смысл, заслуживающий этой внезапной смены точки зрения. Но у Гоголя такие сдвиги — самая основа его искусства, и поэтому, когда он пытался писать округлым почерком литературной традиции и рассматривать рациональные идеи логически, он терял даже признаки своего таланта. Когда же в бессмертной "Шинели" он дал себе волю порезвиться на краю глубоко личной пропасти, он стал самым великим писателем, которого до сих пор произвела Россия.

Внезапное смещение рациональной жизненной плоскости может быть осуществлено различными способами, и каждый великий писатель делает это по-своему. Гоголь добивался его комбинацией двух движений: рывка и паре-

ния. Представьте себе люк, который открылся у вас под ногами с нелепой внезапностью, и лирический порыв, который вас вознес, а потом уронил в соседнюю дыру. Абсурд был любимой музой Гоголя, но, когда я употребляю термин "абсурд", я не имею в виду ни причудливое, ни комическое. У абсурдного столько же оттенков и степеней, сколько у трагического, — более того, у Гоголя оно граничит с трагическим. Было бы неправильно утверждать, будто Гоголь ставит своих персонажей в абсурдные положения. Вы не можете поставить человека в абсурдное положение, если весь мир, в котором он живет, абсурден; не можете, если подразумевать под словом "абсурдный" нечто, вызывающее смешок или пожатие плеч. Но если под этим понимать нечто, вызывающее жалость, то есть понимать положение, в котором находится человек, если понимать под этим все, что в менее уродливом мире связано с самыми высокими стремлениями человека, с глубочайшими его страданиями, с самыми сильными страстями, — тогда возникает нужная брешь, и жалкое существо, затерянное в кошмарном, безответственном гоголевском мире, становится "абсурдным" по закону, так сказать, обратного контраста.

На крышке табакерки у портного был "портрет какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки". Вот так и с абсурдностью Акакия Акакиевича Башмачкина. Мы и не ожидали, что среди круговорота масок одна из них окажется подлинным лицом или хотя бы тем местом, где должно находиться лицо. Суть человечества иррационально выводится из хаоса мнимостей, которые составляют мир Гоголя. Акакий Акакиевич абсурден потому, что он трагичен, потому, что он человек, и потому, что он был порожден теми самыми силами, которые находятся в таком контрасте с его человечностью.

Он не только человечен и трагичен. Он нечто большее, точно так же как фон его не просто нелеп. Где-то за очевидным контрастом кроется тонкая линия сродства. В его персоне тот же трепет и мерцание, что и в призрачном

мире, к которому он принадлежит. Намеки на что-то, скрытое за грубо разрисованными ширмами, так искусно вкраплены во внешнюю ткань повествования, что гражданственно мыслившие русские совершенно их упустили. Но творческое прочтение повести Гоголя открывает, что там и сям в самом невинном описании то или иное слово, иногда просто наречие или частица, например слова "даже" и "почти", вписаны так, что самая безвредная фраза вдруг взрывается кошмарным фейерверком; или же период, который начинается в несвязной, разговорной манере, вдруг сходит с рельсов и сворачивает в нечто иррациональное, где ему, в сущности, и место; или так же внезапно распахивается дверь, и в нее врывается могучий пенящийся вал поэзии, чтобы тут же пойти на снижение, или обратиться в самопародию, или прорваться фразой, похожей на скороговорку фокусника, которая так характерна для стиля Гоголя. Это создает ощущение чего-то смехотворного и в то же время нездешнего, постоянно таящегося где-то рядом, и тут уместно вспомнить, что разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит от одной свистящей согласной.

3

Так что же собой представляет тот странный мир, проблески которого мы ловим в разрывах невинных с виду фраз? В чем-то он подлинный, но нам кажется донельзя абсурдным, так нам привычны декорации, которые его прикрывают. Вот из этих проблесков и проступает главный персонаж "Шинели", робкий маленький чиновник, и олицетворяет дух этого тайного, но подлинного мира, который прорывается сквозь стиль Гоголя. Он, этот робкий маленький чиновник, — призрак, гость из каких-то трагических глубин, который ненароком принял личину мелкого чиновника. Русские прогрессивные критики почувствовали в нем образ человека угнетенного, униженного, и вся повесть поразила их своим социальным обличением. Но повесть гораздо значительнее этого. Провалы и зияния в ткани гоголевского стиля соответствуют разрывам в ткани самой

жизни. Что-то очень дурно устроено в мире, а люди — просто тихо помешанные, они стремятся к цели, которая кажется им очень важной, в то время как абсурдно-логическая сила удерживает их за никому не нужными занятиями — вот истинная "идея" повести. В мире тщеты, тщетного смирения и тщетного господства высшая степень того, чего могут достичь страсть, желание, творческий импульс, — это новая шинель, перед которой преклонят колени и портные, и заказчики. Я не говорю о нравственной позиции или нравственном поучении. В таком мире не может быть нравственного поучения, потому что там нет ни учеников, ни учителей; мир этот есть, и он исключает все, что может его разрушить, поэтому всякое усовершенствование, всякая борьба, всякая нравственная цель или усилие ее достичь так же немыслимы, как изменение звездной орбиты. Это мир Гоголя, и как таковой он совершенно отличен от мира Толстого, Пушкина, Чехова или моего собственного. Но по прочтении Гоголя глаза могут гоголизироваться, и человеку порой удается видеть обрывки его мира в самых неожиданных местах. Я объехал множество стран, и нечто вроде шинели Акакия Акакиевича было страстной мечтой того или иного случайного знакомого, который никогда и не слышал о Гоголе.

4

Сюжет "Шинели" чрезвычайно прост. Бедный маленький чиновник принимает важное решение и заказывает новую шинель. Пока ее шьют, она превращается в мечту его жизни. В первый же вечер, когда он ее надевает, шинель у него снимают воры на темной улице. Чиновник умирает от горя, и его привидение бродит по городу. Вот и вся фабула, но, конечно, подлинный сюжет (как всегда у Гоголя) — в стиле, во внутренней структуре этого трансцендентального анекдота. Для того чтобы по достоинству его оценить, надо произвести нечто вроде умственного сальто, отвергнуть привычную шкалу литературных ценностей и последовать за автором по пути его сверхчеловеческого воображения. Мир Гоголя сродни таким концеп-

циям в современной физике, как “Вселенная — гармошка” или “Вселенная — взрыв”; он не похож на спокойно вращавшиеся, подобно часовому механизму, миры прошлого века. В литературном стиле есть своя кривизна, как и в пространстве, но немногим из русских читателей хочется нырнуть стремглав в гоголевский магический хаос. Русские, которые считают Тургенева великим писателем или судят о Пушкине по гнусным либретто опер Чайковского, лишь скользят по поверхности таинственного гоголевского моря и довольствуются тем, что им кажется насмешкой, юмором и броской игрой слов. Но водолаз, искатель черного жемчуга, тот, кто предпочитает чудовищ морских глубин зонтикам на пляже, найдет в “Шинели” тени, сцепляющие нашу форму бытия с другими формами и состояниями, которые мы смутно ощущаем в редкие минуты сверхсознательного восприятия. Проза Пушкина трехмерна; проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна. Его можно сравнить с его современником математиком Лобачевским, который взорвал Евклидов мир и открыл сто лет назад многие теории, позднее разработанные Эйнштейном. Если параллельные линии не встречаются, то не потому, что встретиться они не могут, а потому, что у них есть другие заботы. Искусство Гоголя, открывшееся нам в “Шинели”, показывает, что параллельные линии могут не только встретиться, но могут извиваться и перепутываться самым причудливым образом, как колеблются, изгибаясь при малейшей ряби, две колонны, отраженные в воде. Гений Гоголя — это и есть та самая рябь на воде; дважды два будет пять, если не квадратный корень из пяти, и в мире Гоголя все это происходит естественно, там ни нашей рассудочной математики, ни всех наших псевдофизических конвенций с самим собой, если говорить серьезно, не существует.

5

Процесс одевания, которому предается Акакий Акакиевич, шитье и облачение в шинель на самом деле — его разоблачение, постепенный возврат к полной наготе его же призрака. С самого начала повести он тренируется для

своего сверхъестественного прыжка в высоту, и такие безобидные с виду подробности, как хождение на цыпочках по улице, чтобы сберечь башмаки, или его смятение, когда он не знает, где находится — посреди улицы или на середине фразы, — все эти детали постепенно растворяют чиновника Акакия Акакиевича, и в конце повести его призрак кажется самой осязаемой, самой реальной ипостасью его существа. Рассказ о его призраке, снующем по улицам Петербурга в поисках шинели, отнятой у него грабителями, и в конце концов снявшем шинель с важного чиновника, который отказался помочь ему в беде, — этот рассказ может показаться поверхностному читателю обычной историей о привидениях, — к концу превращается в нечто, чему я не могу подыскать эпитета. Это и апофеоз, и dégringolade.

“Бедное значительное лицо чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувши на один мужественный вид его и фигуру, всякий говорил: “У, какой характер!” — но здесь он, подобно весьма многим, имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: “Пошел во весь дух домой!” Кучер, услышавши голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже <обратите внимание на частое повторение этого слова> сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался как стрела. Минут в шесть с небольшим <по особым гоголевским часам> значительное лицо уже был пред подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: “Ты сегодня совсем бледен, папа”. Но папа молчал <тут пошла пародия на библейскую притчу> и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление <тут начинается снижение, та эффектная прозаизация, которую

Гоголь любил пользовать для своих нужд>. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: "Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?"; если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели упокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами <снижение от морализующей интонации к гротеску идет полным ходом>, как показалось из-за одного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак, — итак, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: "Тебе чего хочется?" — и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: "Ничего", — да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте".

Поток "неуместных" подробностей (таких, как невозмутимое допущение, что "взрослые поросята" обычно случаются в частных домах) производит гипнотическое действие, так что почти упускаешь из виду одну простую вещь (и в этом-то вся красота финального аккорда). Гоголем намеренно замаскирована самая важная информация, главная композиционная идея повести (ведь всякая реальность — это маска). Человек, которого приняли за бесшинельный призрак Акакия Акакиевича, — ведь это человек, укравший у него шинель. Но призрак Акакия Акакиевича существовал только благодаря отсутствию у него шинели, а вот теперь полицейский, угодив в самый

причудливый парадокс рассказа, принимает за этот призрак как раз ту персону, которая была его антитезой, — человека, укравшего шинель. Таким образом, повесть описывает полный круг — порочный круг, как и все круги, сколько бы они себя ни выдавали за яблоки, планеты или человеческие лица.

И вот, если подвести итог, рассказ развивается так: бормотание, бормотание, лирический всплеск, бормотание, лирический всплеск, бормотание, лирический всплеск, бормотание, фантастическая кульминация, бормотание, бормотание и возвращение в хаос, из которого все возникло. На этом сверхвысоком уровне искусства литература, конечно, не занимается оплакиванием судьбы обездоленного человека или проклятиями в адрес власть имущих. Она обращена к тем тайным глубинам человеческой души, где проходят тени других миров, как тени безымянных и беззвучных кораблей.

6

Как, наверное, уже уяснили себе два-три самых терпеливых читателя, это обращение — единственное, что, по существу, меня занимает. Цель моих беглых заметок о творчестве Гоголя, надо надеяться, стала совершенно ясна. Грубо говоря, она сводится к следующему: если вы хотите узнать что-нибудь о России, если вы жаждете понять, почему продрогшие немцы проиграли свой блиц, если вас интересуют “идеи”, “факты” и “тенденции” — не трогайте Гоголя. Каторжная работа по изучению русского языка, необходимая для того, чтобы его прочесть, не оплатится привычной для вас монетой. Не троньте его, не троньте. Ему нечего вам сказать. Не подходите к рельсам. Там высокое напряжение. Доступ закрыт. Избегайте, воздержитесь, не надо. Мне хотелось бы привести здесь полный перечень запретов, вето и угроз. Впрочем, вряд ли это понадобится — ведь случайный читатель, наверно, так далеко и не заберется. Но я буду очень рад неслучайному читателю — братьям моим, моим двойникам. Мой брат играет на губной гармонике. Моя сестра читает. Она моя

тетя. Сначала выучите азбуку губных, заднеязычных, зубных, буквы, которые жужжат, гудят, как шмель и муха-цеце. После какой-нибудь гласной станете отплевываться. В первый раз просклоняв личное местоимение, вы ощутите одеревенелость в голове. Но я не вижу другого подхода к Гоголю (да, впрочем, и к любому другому русскому писателю). Его произведения, как и всякая великая литература, — это феномен языка, а не идей. Мои переводы отдельных мест — это лучшее, на что способен мой бедный словарь; но если бы они были так же совершенны, какими их слышит мое внутреннее ухо, я, не имея возможности передать их интонацию, все равно не мог бы заменить Гоголя. Стараясь передать мое отношение к его искусству, я не предъявил ни одного ощутимого доказательства его ни на что не похожей природы. Я могу лишь положа руку на сердце утверждать, что я не выдумал Гоголя. Он действительно писал, он действительно жил.

Гоголь родился 1 апреля 1809 г. По словам его матери (она, конечно, придумала этот жалкий анекдот), стихотворение, которое он написал в пять лет, прочел Капнист, довольно известный писатель. Капнист обнял важно молчавшего ребенка и сказал счастливым родителям: "Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина". Но вот то, что Гоголь родился 1 апреля, это правда.

6. КОММЕНТАРИЙ

— Ну что ж... — сказал мой издатель.

Золотую щель нежного заката обрамляли мрачные скалы. Края ее опушились елями, как ресницами, а еще дальше, в глубине самой щели, можно было различить силуэты других, совсем бесплотных гор поменьше. Мы были в штате Юта, сидели в гостиной горного отеля. Тонкие осины на ближних скалах и бледные пирамиды старых шахтных отвалов воспользовались зеркальным окном и молчаливо приняли участие в нашей беседе — примерно так же, как байроновские портреты в диалоге Чичикова с Собакевичем.

— Ну что ж, — сказал мой издатель, — мне нравится, но я думаю, что студентам надо рассказать, в чем там дело.

Я сказал...

— Нет, — возразил он. — Я не о том. Я о том, что студентам надо больше рассказать о сочинениях Гоголя. Я имею в виду сюжеты. Им захочется знать, о чем же эти книги.

Я ответил...

— Нет, этого вы не сделали, — сказал он.— Я все прочел очень внимательно, и моя жена тоже, но сюжетов мы не узнали. И потом, в конце должно быть что-нибудь вроде библиографии или хронологии. Студент должен понять, что к чему, иначе он придет в замешательство и не захочет читать дальше.

Я сказал, что любой интеллигентный человек может найти даты и прочие сведения в хорошей энциклопедии или в любом учебнике по русской литературе. Он возразил, что студент необязательно человек интеллигентный, а к тому же он будет недоволен, если его заставят еще о чем-то справляться. Я сказал, что студенты бывают разные. Он ответил, что, с точки зрения издателя, все они одним миром мазаны.

— Я же пытался объяснить, — сказал я, — что в произведениях Гоголя подлинные сюжеты кроются за очевидными. Эти подлинные сюжеты я излагаю. Его рассказы только подражают сюжетным рассказам. Это как редкостный мотылек, который, отказавшись от своего внешнего облика, подражает внешнему облику существа совершенно другой породы — скажем, какой-нибудь популярной бабочке.

— Ну и что же? — спросил он.

— Или, вернее, непопулярной, непопулярной у ящериц и птиц.

— Ну да, понятно, — сказал он. — Я все понимаю. Но, в конце концов, сюжет есть сюжет, и студенту надо рассказать, что происходит. Например, пока я сам не прочел “Ревизора”, у меня не было ни малейшего представления, в чем там дело, хотя я внимательно изучил вашу рукопись.

— Скажите, — спросил я, — что же происходит в “Ревизоре”?

— Ну как же, — сказал он, откинувшись в кресле, — происходит то, что молодой человек застрял в городе, потому что проиграл все свои деньги в карты, а город полон политиканов, и он использует этих политиканов, чтобы добыть деньги, внушив им, будто он государственный чиновник, посланный из центра для инспекции. А когда он их использовал, соблазнил дочку мэра, напился у мэра и получил взятку от судей, врачей, помещиков, торговцев и всякого рода администраторов, он уезжает из города как раз перед тем, как приезжает настоящий инспектор.

Я сказал...

— Да, конечно, вы можете это изложить, — великодушно согласился мой издатель. — Но вот еще и "Мертвые души". Прочитав вашу главу, я не мог бы сказать, в чем там дело. И кроме того, как я уже говорил, должна быть библиография.

— Если речь идет о списке переводов и книг о Гоголе...

— Ну да, — сказал мой издатель.

— Если вам надо это, дело обстоит просто, потому что, кроме отлично переведенных Герни "Мертвых душ", "Ревизора" и "Шинели", которые появились тогда, когда я сам надрывался над этой работой, нет ничего, только переложения, искажающие Гоголя до нелепости.

В эту минуту два щенка коккер-спаниеля — черный с обвислыми ушами и симпатичной косинкой в голубоватых белках и белая сучка с розовыми пятнышками на морде и животе — вкатились в дверь, которую кто-то открыл, заковыляли на мягких лапках между мебелью, но были тут же схвачены и изгнаны назад на террасу.

— Помимо этого, — продолжал я, — мне не известно ни одной английской работы о Гоголе, достойной упоминания, кроме отличной главы в "Истории русской литературы" Мирского. Существуют, конечно, сотни русских работ. Некоторые очень хороши, но множество других принадлежат к нелепым направлениям вроде "Гоголь — живописец царской России", или "Гоголь-реалист", или "Гоголь — великий борец с крепостничеством и бюрократией", или "Гоголь — русский Диккенс". Беда в том, что, если я стану перечислять эти работы, я непременно попытаюсь развеять скуку, включая в список выдуманные

названия и воображаемых авторов, и вы никогда толком не будете знать, в самом ли деле Добролюбов, или Иванов-Разумник, или Оссиано-Кули...

— Нет, — поспешно прервал меня мой издатель, — я не думаю, что нужен список книг о Гоголе. Я имел в виду список сочинений самого Гоголя с хронологией их появления, его жизни и что-нибудь о сюжетах и прочее. Вам это легко сделать. И нам нужен его портрет.

— Об этом я и сам думал, — сказал я. — Да, давайте дадим портрет гоголевского носа. Не головной, не поясной и прочее, а только его носа. Большой, одинокий, острый нос, четко нарисованный чернилами, как увеличенное изображение какого-то важного органа необычной зоологической особи. Я могу попросить Добужинского, этого неподражаемого мастера рисунка, или художника из Зоологического музея...

— И это погубит книгу, — сказал мой издатель.

Вот почему появились следующие страницы. Хронология предназначена для ленивого читателя, который хочет охватить труды и дни Гоголя одним взглядом, вместо того чтобы ползать по моей книге в поисках интересных мест. Отсылки к таковым даны в хронологии. Дагерротип, описанный в тексте, воспроизведен в прелестной биографии Гоголя, составленной Вересаевым (русское издание 1933 г.). Большинство фактов, приведенных мною, взято из той же удобной книги, в частности, длинное письмо Гоголя к матери и прочие подобные материалы. Выводы мои собственные. Отчаявшиеся русские критики, трудясь над тем, чтобы определить влияние и уложить мои романы на подходящую полочку, раза два привязывали меня к Гоголю, но, поглядев еще раз, увидели, что я развязал узлы и полка оказалась пустой.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ ХРОНОЛОГИЯ *

1 апреля 1809	Родился в живописном и грязном торговом местечке Сорочинцы (ударение на третьем слоге) Полтавской губернии в Малороссии (См. стр. 408).
1821	Поступает в Нежинскую гимназию (стр. 408).
1825	Умирает его отец, мелкий землевладелец и украинский драматург-любитель.
1828	Оканчивает гимназию в Нежине и едет в Санкт-Петербург. Он преодолевает расстояние от 50-го до 60-го градуса северной широты, то есть такое же, как от Ванкувера до Карибу. В том же году родился в Тульской губернии Толстой.
1829	Бестолково ищет место. Публикует два лирических произведения: стихотворение “Италия” и скучную и невыразительную “идиллию” (по его определению) “Ганц Кюхельгартен” (стр. 409—410).
1 августа 1829	Сжигает все экземпляры “Ганца” (стр. 410).
Август — сентябрь 1829	Причудливая поездка в северную Германию (стр. 412).
1830	Начинает печатать рассказы из украинской жизни в литературных журналах (стр. 423).
1831	Вырывается из замшелого мрака государственной службы и начинает преподавать историю в Институте благородных девиц. Ученицы считают его занудой.
Конец мая 1831	Знакомится с Пушкиным. (Александр Пушкин, 1799—1837 — величайший русский поэт; стр. 425.)

---

* Перевод А. Люксембурга.

Сентябрь 1831 Публикует первый том “Вечеров на хуторе близ Диканьки”, сборник рассказов, в которых повествуется о призраках и украинцах; некоторые критики по-прежнему находят их свежими и остроумными.

Март 1832 Второй том “Вечеров”. В рассказе “Страшная месть” имеется знаменитое описание Днепра (“Чуден Днепр при тихой погоде...” и т.д.). В повести “Иван Федорович Шпонька и его тетушка” проглядывают черты того будущего Гоголя, каким ему еще предстоит стать (стр. 427).

1834 Получает должность адъюнкт-профессора всеобщей истории Санкт-Петербургского университета благодаря поддержке знакомых литераторов. Первая лекция, подготовленная с особенной тщательностью, успешно маскирует высокопарным и поэтическим слогом скудость его эрудиции. В дальнейшем появляется перед слушателями с повязкой поперек щеки, делая вид, будто опухшая щека виновата в скверной дикции, и раздает студентам картинки с видами римских развалин.

1835 Публикует два тома повестей, озаглавленных “Миргород”, куда вошли: “Вий” (страшная история, от которой мурашки бегают по коже, но не слишком удачная), “Старосветские помещики”, где “идеализированы и сентиментально представлены растительное существование, праздность, обжорство и эгоистичность пожилой пары” (Мирский, “История русской литературы”, стр.194), “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”, которую он читал Пушкину 2 декабря 1833 г. и которая является лучшим из его чисто юмористических про-

изведений (комментарий Пушкина: "Очень оригинально и смешно"), а также "Тарас Бульба", мелодраматическое повествование о похождениях явно вымышленных автором казаков — нечто вроде "Сида" Корнеля и его испанцев (или, если на то пошло, и испанцев хемингуэевских), но загримированных под украинцев. В том же году он публикует том эссе и рассказов "Арабески", включающий "Невский проспект" (стр. 412), "Записки сумасшедшего" (см. цитату на стр. 403) и "Портрет" (где портрет неожиданно оживает — такого рода вещь). Примерно тогда же он пишет свою замечательную фантасмагорию "Нос", где рассказывается о несчастном, чей нос отправился сам по себе бродить по городу (как бывает в сновидениях, когда вы прекрасно понимаете, что некто — это такой-то, но вас при этом совершенно не смущает, что он смахивает на кого-то другого или вообще ни на кого не похож; стр. 405), и две пьесы: "Ревизор" (стр. 429) и "Женитьба" — довольно неряшливо написанную комедию о колебаниях человека, надумавшего жениться, заказавшего себе фрак, подыскавшего невесту, но в последний момент сбежавшего через окно. Ни один из гоголевских героев не достигает особых успехов в отношениях с женщинами.

18 декабря 1835 "Я расплевался с университетом, и через месяц опять беззаботный козак" (из письма Погодину).

30 января 1836 Читает свою новую пьесу "Ревизор" на вечере у Жуковского. (Жуковский, 1783—1878 — глава "романтического движения", великий переводчик немецкой и английской поэзии.)

1 мая 1836	Премьера “Ревизора” (стр. 430).
Июнь 1836	Сбегает в раздражении за границу (стр. 445). “Начиная с этого времени он живет на протяжении двенадцати лет (1836 — 1848) за пределами России, куда наведывается лишь ненадолго” (Мирский, стр. 186).
Октябрь 1836	Веве (Швейцария). Именно здесь он начинает писать часть первую “Мертвых душ”, план которой был им составлен еще в мае в Санкт-Петербурге.
Зима 1836 — 1837	Париж. Здесь он живет на углу площади Биржи и рю Вивьен. Здесь же написан большой фрагмент первой части “Мертвых душ”. Дверь Браунинга хранится в библиотеке Уэльслейского колледжа. В теплые дни водит Чичикова гулять в Тюильри. Воробьи, серые статуи.
Начало 1837	Рим. “Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним” (из письма Погодину, написанного после дуэли Пушкина и его смерти в Санкт-Петербурге).
Весна 1838	Двое католиков-поляков решают — судя по их донесениям начальству, — будто им удалось обратить Гоголя. Критик Вересаев (“Гоголь в жизни”, Москва — Ленинград, Академия, 1933, стр. 190) полагает, однако, что Гоголь сыграл с этими милыми господами злую шутку, поскольку он расстался с ними сразу же после того, как его богатый и весьма полезный друг княгиня Зинаида Волконская (страстная католичка) покинула Рим.
Май 1839	Краткий всплеск романтической дружбы с юным князем Виельгорским, умиравшим в Риме от туберкулеза. Часы, проведенные у постели юноши, отзываются в пафосе небольшого написанного Гоголем фрагмента “Ночи на вилле”.

Зима 1839—1840	Возвращается в Россию. Читает первые главы “Мертвых душ” знакомым литераторам.
Апрель 1840	“Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках...” (объявление в газете “Московские ведомости”).
Июнь 1840 — октябрь 1841	Возвращается в Италию. Много времени проводит с русскими художниками, живущими в Риме. Завершает “Шинель” (стр. 503).
Зима 1841—1842	Возвращается в Россию.
1842	Публикует часть первую “Мертвых душ”. Если бы вы были русским помещиком времен Гоголя, то могли бы продавать, покупать и закладывать своих крестьян. Крестьян именовали “душами” подобно тому, как скот считают по “головам”. Если бы вы упомянули, что имеете сотню душ, это бы означало, что вы являетесь не второстепенным поэтом, а мелким землевладельцем. Правительство проверяло численность ваших крестьян, поскольку в ваши обязанности входило платить подушный налог. Если кто-то из ваших крестьян умирал, то вам ничего не оставалось, как продолжать платить до следующей переписи. “Мертвые души” все еще фигурировали в списке. Использовать подвижные телесные придатки, коими они некогда обладали, как-то руки или ноги, вы уже не могли, но потерянная вами “душа” по-прежнему здравствовала в элизиуме казенного бумажного царства, и только перепись могла оборвать ее существование. Бессмертие “души” могло растянуться на многие месяцы, а вы все платили и платили за нее.

План Чичикова заключался в том, чтобы скупить ваши "мертвые души", и тогда бы он сам, а не вы, платил бы налог. Он полагал, что вы будете рады от них избавиться и испытаете блаженство, получив от него небольшой гонорар за эту сделку. Собрав достаточное количество таких смехотворно дешевых душ, он намеревался их заложить точно так же, как поступали с доподлинно живыми "душами", коими они номинально и оставались в соответствии с официальными документами. Я полагаю (стр. 455), что от правительства, допускающего торговлю живыми людьми, не приходится ждать этических оценок торговли какими-то "мертвыми душами" — абстрактными прозвищами, занесенными на клочки бумаги. Гоголь совершенно выпустил этот момент из виду во второй части "Мертвых душ", попытавшись представить там Чичикова грешным человеком, а правительство — сверхчеловеческим судией. Поскольку все персонажи первой части в равной степени недочеловеки и обитают в лоне гоголевской демонократии, не имеет совершенно никакого значения, кто кого судит.

В произведении рассказывается о том, как Чичиков приезжает в город N и завязывает знакомства с именитыми людьми. Затем он посещает живущих в его окрестностях помещиков и более или менее дешево скупает их мертвые души. Последовательность заключенных им сделок такова: сперва он попадает к угрюмому, неповоротливому Собакевичу, затем — к вялому, слащавому Манилову, затем — к траченному молью скряге Плюшкину, само звучание фамилии которого наводит на мысль об изъеденном плюше, затем — к госпоже Коробочке, яв-

	ляющей собой восхитительную смесь предрассудков и практицизма, и наконец — к задире Ноздреву, прегадкому, прешумному, пронырливому проходимцу и отнюдь не столь обаятельному, как Павел Чичиков. Досужая болтовня Ноздрева и осмотрительность Коробочки настраивают город против нашего сдобного авантюриста, Казановы-некрофила и перекати-поля господина Чичикова. Он покидает город на крыльях одного из тех восхитительных лирических отступлений (пейзаж, развернутые метафоры, скороговорка чародея), которые писатель всякий раз размещает между деловыми встречами персонажа. Анализ структуры "Мертвых душ" см. на стр. 447—483.
	От второй части "Мертвых душ" до нас дошли лишь первые главы. Чичиков встречается в них с еще несколькими помещиками, после чего у него начинаются крупные неприятности с полицией. Как бы хороши ни были отдельные пассажи, чувствуется, что духовная установка автора губит книгу (стр. 498).
1842—1848	Переезжает из одной местности в другую, надеясь обрести здоровье и вдохновение и не находя ни того ни другого.
1847	Публикует "Выбранные места из переписки с друзьями" (стр. 491).
Весна 1848	Невнятное паломничество в Палестину (стр. 496).
1848—1852	Москва, Одесса, Васильевка (дом матери), монастыри, снова Москва.
Февраль 1852	"Отрекись от Пушкина! Он был грешник и язычник", — заявляет безжалостный здоровяк отец Матвей вялому, больному Гоголю во время их последней встречи.

11 февраля 1852

“Ночью во вторник... он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его, тепло ли в другой половине покоев. <Он остановился в Москве у графа А. Л. Толстого, фанатичного последователя отца Матвея.> “Свежо”, — ответил тот. “Дай мне плащ, пойдем, мне нужно там распорядиться”. И он пошел, со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришед, велел открыть трубу как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик <сообщает нам Погодин в своем рассказе о том, как Гоголь сжег вторую и третью части “Мертвых душ”>, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: “Барин! что это вы? Перестаньте!” — “Не твое дело, — сказал он. — Молись!” Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал после того, как обгорели края у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле пред огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал”. Должно быть, чувство облегчения смешивалось у Гоголя с предчувствием приближающейся смерти (стр. 496).

4 марта 1852 Гоголь умирает (стр. 403).

ПРЕДИСЛОВИЕ К “ГЕРОЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ”

•

ПУШКИН, ИЛИ ПРАВДА И ПРАВДОПОДОБИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
К "ГЕРОЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ"

1

В 1841 году, за несколько месяцев до своей смерти (в результате дуэли с офицером Мартыновым у подножия горы Машук на Кавказе), Михаил Лермонтов (1814—1841) написал пророческие стихи:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая, еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня — но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди дымясь чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

Это замечательное сочинение (в оригинале везде пятистопный ямб с чередованием женской и мужской рифмы) можно было бы назвать "Тройной сон".

Некто (Лермонтов, или, точнее, его лирический герой) видит во сне, будто он умирает в долине у восточных отрогов Кавказских гор. Это Сон 1, который снится Первому Лицу.

Смертельно раненному человеку (Второму Лицу) снится в свою очередь молодая женщина, сидящая на пиру в петербургском, не то московском особняке. Это Сон 2 внутри Сна 1.

Молодой женщине, сидящей на пиру, снится Второе Лицо (этот человек умирает в конце стихотворения), лежащее в долине далекого Дагестана. Это Сон 3 внутри Сна 2 внутри Сна 1, который, сделав замкнутую спираль, возвращает нас к начальной строфе.

Витки пяти этих четверостиший сродни переплетению пяти рассказов, составивших роман Лермонтова "Герой нашего времени".

В первых двух — "Бэла" и "Максим Максимыч" — автор, или, говоря точнее, герой-рассказчик, любознательный путешественник, описывает свою поездку на Кавказ по Военно-Грузинской дороге в 1837 году или около того. Это Рассказчик 1.

Выехав из Тифлиса в северном направлении, он знакомится в пути со старым воякой по имени Максим Максимыч. Какое-то время они путешествуют вместе, и Максим Максимыч сообщает Рассказчику 1 о некоем Григории Александровиче Печорине, который, тому пять лет, неся военную службу в Чечне, севернее Дагестана, однажды умыкнул черкешенку. Максим Максимыч — это Рассказчик 2, и история его называется "Бэла".

При следующем своем дорожном свидании ("Максим Максимыч") Рассказчик 1 и Рассказчик 2 встречают самого Печорина. Последний становится Рассказчиком 3 — ведь еще три истории будут взяты из журнала Печорина, который Рассказчик 1 опубликует посмертно.

Внимательный читатель отметит, что весь фокус подобной композиции состоит в том, чтобы раз за разом приближать к нам Печорина, пока наконец он сам не заговорит с нами, но к тому времени его уже не будет в живых. В первом рассказе Печорин находится от читателя на

"троюродном" расстоянии, поскольку мы узнаем о нем со слов Максима Максимыча да еще в передаче Рассказчика 1. Во второй истории Рассказчик 2 как бы самоустраняется и Рассказчик 1 получает возможность увидеть Печорина собственными глазами. С каким трогательным нетерпением спешил Максим Максимыч предъявить своего героя в натуре. И вот перед нами три последних рассказа; теперь, когда Рассказчик 1 и Рассказчик 2 отошли в сторону, мы оказываемся с Печориным лицом к лицу.

Из-за такой спиральной композиции временная последовательность оказывается как бы размытой. Рассказы наплывают, разворачиваются перед нами, то все как на ладони, то словно в дымке, а то вдруг, отступив, появятся вновь уже в ином ракурсе или освещении, подобно тому как для путешественника открывается из ущелья вид на пять вершин Кавказского хребта. Этот путешественник — Лермонтов, а не Печорин. Пять рассказов располагаются друг за другом в том порядке, в каком события становятся достоянием Рассказчика 1, однако хронология их иная; в общих чертах она выглядит так:

1. Около 1830 года офицер Печорин, следуя по казенной надобности из Санкт-Петербурга на Кавказ в действующий отряд, останавливается в приморском городке Тамань (порт, отделенный от северо-восточной оконечности полуострова Крым неширoким проливом). История, которая с ним там приключилась, составляет сюжет "Тамани", третьего по счету рассказа в романе.

2. В действующем отряде Печорин принимает участие в стычках с горскими племенами и через некоторое время, 10 мая 1832 года, приезжает отдохнуть на воды, в Пятигорск. В Пятигорске, а также в Кисловодске, близлежащем курорте, он становится участником драматических событий, приводящих к тому, что 17 июня он убивает на дуэли офицера. Обо всем этом он повествует в четвертом рассказе — "Княжна Мери".

3. 19 июня по приказу военного командования Печорин переводится в крепость, расположенную в Чеченском крае, в северо-восточной части Кавказа, куда он прибывает толь-

ко осенью (причины задержки не объяснены). Там он знакомится со штабс-капитаном Максимом Максимычем. Об этом Рассказчик 1 узнает от Рассказчика 2 в "Бэле", с которой начинается роман.

4. В декабре того же года (1832) Печорин уезжает на две недели из крепости в казачью станицу севернее Терека, где приключается история, описанная им в пятом, последнем рассказе — "Фаталист".

5. Весною 1833 года он умыкает черкесскую девушку, которую спустя четыре с половиной месяца убивает разбойник Казбич. В декабре того же года Печорин уезжает в Грузию и в скором времени возвращается в Петербург. Об этом мы узнаем в "Бэле".

6. Проходит около четырех лет, и осенью 1837 года Рассказчик 1 и Рассказчик 2, держа путь на север, делают остановку во Владикавказе и там встречают Печорина, который уже опять на Кавказе, проездом в Персию. Об этом повествует Рассказчик 1 в "Максиме Максимыче", втором рассказе цикла.

7. В 1838 или 1839 году, возвращаясь из Персии, Печорин умирает при обстоятельствах, возможно, подтвердивших предсказание, что он погибнет в результате несчастливого брака. Рассказчик 1 публикует посмертно его журнал, полученный от Рассказчика 2. О смерти героя Рассказчик 1 упоминает в своем предисловии (1841) к "Журналу Печорина", содержащему "Тамань", "Княжну Мери" и "Фаталиста".

Таким образом, хронологическая последовательность пяти рассказов, если говорить об их связи с биографией Печорина, такова: "Тамань", "Княжна Мери", "Фаталист", "Бэла", "Максим Максимыч".

Маловероятно, чтобы в процессе работы над "Бэлой" Лермонтов уже имел сложившийся замысел "Княжны Мери". Подробности приезда Печорина в крепость Каменный Брод, сообщаемые Максимом Максимычем в "Бэле", не вполне совпадают с деталями, упомянутыми самим Печориным в "Княжне Мери".

Во всех пяти рассказах немало несообразностей, одна другой примечательнее, однако повествование движется

с такою стремительностью и мощью, столько мужественной красоты в этой романтике, от замысла же веет такой захватывающей цельностью, что читателю просто не приходит в голову задуматься, из чего, собственно, русалка в "Тамани" заключила, что Печорин не умеет плавать, или почему драгунский капитан полагал, что секунданты Печорина не найдут нужным принять участие в заряживании пистолетов. Положение, в каком оказывается Печорин, вынужденный в конце концов подставить лоб под дуло пистолета Грушницкого, могло бы выглядеть куда как нелепо, если забыть о том, что наш герой полагался отнюдь не на случай, но на судьбу. Об этом совершенно недвусмысленно говорит последний и, надо сказать, лучший рассказ — "Фаталист", важнейшая сцена которого также построена на предположении, заряжен пистолет или не заряжен, и в котором между Печориным и Вуличем происходит как бы заочная дуэль, где все предуготовления к смерти берет на себя не фатоватый драгунский капитан, но сама Судьба.

Особая роль в композиции книги отведена подслушиванию, составляющему столь же неуклюжий, сколь и органичный элемент повествования. Что касается подслушивания, то его можно рассматривать как разновидность более общего приема под названием случайность; другой разновидностью является, например, случайная встреча. Всем ясно, что автор, желающий сочетать традиционное описание романтических приключений (любовные интриги, ревность, мщение и тому подобное) с повествованием от первого лица и не имеющий при этом намерения изобретать новую форму, оказывается несколько стесненным в выборе приемов.

Эпистолярный роман восемнадцатого века (в котором героиня писала своей наперснице, а герой — старому школьному приятелю плюс всевозможные вариации) уже набил такую оскомину во времена Лермонтова, что едва ли он мог избрать этот жанр; а с другой стороны, поскольку наш автор был озабочен прежде всего тем, как двигать сюжет, а вовсе не тем, как разнообразить и шлифовать его, маскируя механику этого движения, то он и прибегнул к очень удобному приему, позволяющему Максиму Макси-

мычу и Печорину, подслушивая и подсматривая, оказываться свидетелями тех сцен, без которых фабула была бы не вполне ясна или не могла бы развиваться дальше. В самом деле, автор так последовательно использует данный прием на протяжении всей книги, что читатель уже не воспринимает его как странные капризы случая и едва обращает внимание на эти почти житейские проявления судьбы.

В "Бэле" подслушивание имеет место трижды: Рассказчик 2 слышит из-за забора, как мальчик уговаривает башибузука продать ему коня; позднее он же подслушивает сначала под окном, а затем под дверью два решающих объяснения между Печориным и Бэлой.

В "Тамани" Рассказчик 3, стоя за выступающей скалой, слышит разговор девушки и слепого, дающий понять всем заинтересованным лицам, включая читателя, что речь идет о контрабанде; то же лицо, используя другой наблюдательный пункт, утес над берегом, становится свидетелем заключительного разговора контрабандистов.

В "Княжне Мери" Рассказчик 3 подслушивает или подсматривает ни много ни мало восемь раз, что позволяет ему постоянно быть в курсе событий. Из-за угла галереи он наблюдает, как Мери поднимает стакан, уроненный беспомощным Грушницким; стоя за высоким кустом, он слышит, как они же обмениваются трогательными репликами; из-за спины толстой дамы до него долетает беседа, после которой драгунский капитан подобьет пьяненького господина, каких мы позже встретим у Достоевского, оскорбить княжну Мери; отойдя на неопределенное расстояние, он наблюдает украдкой, как Мери зевает над шутками Грушницкого; находясь в толпе танцующих на балу, он ловит ее насмешливые реплики в ответ на пылкие признания Грушницкого; благодаря "неплотно притворенному ставню" он становится свидетелем того, как драгунский капитан с Грушницким замышляют осрамить его, Печорина, на дуэли; сквозь "не совсем задернутый занавес" он видит Мери, задумчиво сидящую на постели; в ресторации из-за двери, ведущей в угловую комнату, где сидит Грушницкий со своей компанией, Печорин слышит, как его обвиняют

в посещении княжны нынче ночью; и, наконец, более чем кстати, доктор Вернер, секундант Печорина, подслушивает разговор между драгунским капитаном и Грушницким, из которого он и Печорин делают вывод, что только один пистолет будет заряжен. Растущая осведомленность героя побуждает читателя сгорать от нетерпения в ожидании роковой встречи, когда Печорин всеми этими фактами прижмет к стене Грушницкого.

2

Это первый английский перевод романа Лермонтова. Есть несколько переложений, но перевода, по существу, до сих пор не было. Опытный ремесленник без особого труда превратит русский язык Лермонтова в набор гладеньких английских клише, по ходу дела опуская, развивая и пережевывая все, что полагается; он неизбежно приглушит то, что, с точки зрения читателя, этого послушного дурачка, как его представляет себе издатель, может показаться непривычным. Перед честным переводчиком встает задача иного рода.

Начнем с того, что следует раз и навсегда отказаться от расхожего мнения, будто перевод "должен легко читаться" и "не должен производить впечатление перевода" (вот комплименты, какими встретит всякий бледный пересказ наш критик-пурист, который никогда не читал и не прочтет подлинника). Если на то пошло, всякий перевод, не производящий впечатление перевода, при ближайшем рассмотрении непременно окажется неточным, тогда как единственными достоинствами добротного перевода следует считать его верность и адекватность оригиналу. Будет ли он легко читаться, это уже зависит от образца, а не от снятой с него копии.

Предприняв попытку перевести Лермонтова, я с готовностью принес в жертву требованиям точности целый ряд существенных компонентов: хороший вкус, красоту слога и даже грамматику (в тех случаях, когда в тексте встречается характерный солецизм). Надо дать понять английскому читателю, что проза Лермонтова далека от изящества; она

суха и однообразна, будучи инструментом в руках пылкого, невероятно даровитого, беспощадно откровенного, но явно неопытного молодого литератора. Его русский временами так же коряв, как французский Стендаля; его сравнения и метафоры банальны; его расхожие эпитеты спасает разве то обстоятельство, что им случается быть неправильно употребленными. Словесные повторы в его описательных предложениях не могут не раздражать пуриста. И все это переводчик обязан скрупулезно воспроизвести, сколь бы велико ни было искушение заполнить пропуск или убрать лишнее.

К моменту, когда Лермонтов начал писать, русская проза успела обнаружить пристрастие к определенным словам, ставшим обиходными для русского романа. Всякий переводчик в процессе своей работы начинает осознавать, что помимо идиоматических выражений язык "передающий" содержит целый ряд постоянно повторяющихся слов, которые, хотя и не представляют труда для перевода, встречаются в языке "принимающем" гораздо реже, особенно в разговорной практике. Вследствие длительного употребления эти слова стали как бы указательными или знаковыми, выводящими нас на перекрестки ассоциаций, на сборные пункты взаимосвязанных понятий. Они скорее обозначают смысл, нежели уточняют его. Среди приблизительно сотни таких слов-указателей, знакомых каждому изучающему русскую литературу, можно выделить особых любимцев Лермонтова:

задуматься	он невольно задумался	неизъяснимый
подойти	невольно	гибкий
принять вид	пристально	мрачный

молчать	вдруг
мелькать	уже

Долг переводчика повторить по-английски эти слова со всей возможной педантичностью, хотя бы даже удручающей, с какой они встречаются в русском тексте; я сказал "со всей возможной педантичностью" по той простой причине, что в зависимости от контекста в некоторых

случаях слово имеет два и более смысловых оттенков. Скажем, a slight pause или a moment of silence могут оказаться лучшими эквивалентами для хрестоматийной *минуты молчания*, чем буквальное a minute of silence.

Не будем также забывать, что если в одном языке писатели заостряют внимание на том или ином выражении лица, жесте, способе движения, в другом это само собой разумеется и потому редко находит или вовсе не находит своего словесного выражения. Небрежение русскими писателями девятнадцатого столетия точными оттенками цветового спектра приводило к заимствованию несколько курьезных эпитетов, употребление которых оправдывается литературной традицией (в случае с Лермонтовым это озадачивает: ведь он был не просто художником в буквальном смысле этого слова, но вообще имел хороший глаз на цвет и умел передавать его); так, на страницах "Героя нашего времени" лица различных персонажей то и дело багровеют, краснеют, розовеют, желтеют, зеленеют и синеют. Четыре раза в романе повторяется романтический эпитет *тусклая бледность* — галлицизм (*фр.* paleur mate), означающий матовую, лишенную всякого оттенка белизну. В "Тамани" лицо малолетней преступницы покрывает "тусклая бледность, изобличавшая волнение душевное". В "Княжне Мери" это имеет место трижды: тусклая бледность покрывает лицо княжны, когда она обвиняет Печорина в неуважении к ней; тусклая бледность покрывает лицо Печорина, обнаруживая "следы мучительной бессонницы"; и непосредственно перед дуэлью тусклая бледность покрывает щеки Грушницкого, в то время как его совесть ведет внутреннюю борьбу с его гордостью.

Помимо таких кодовых фраз, как "ее губы слегка побледнели", "он покраснел", "рука чуть-чуть дрожала" и тому подобных, чувства выдают себя внезапными и решительными жестами. В "Бэле" Печорин ударяет кулаком по столу, чтобы усилить слова "она никому не будет принадлежать, кроме меня". Через две страницы он уже ударяет себя кулаком в лоб (кое-кто из комментаторов расценивает этот жест как специфически восточный) при мысли, что он не сумел расположить к себе Бэлу и довел ее

до слез. Грушницкий тоже ударяет кулаком по столу, поверив Печорину, что Мери с ним, Грушницким, просто кокетничает. То же проделывает и драгунский капитан, требуя внимания. Кроме того, на протяжении всего романа герои друг друга постоянно "хватают за руку", "берут под руку" и "тянут за рукав".

"Топание ногою о землю" тоже в большой чести у Лермонтова, но это внешнее выражение эмоций было внове для русской литературы того времени. Максим Максимыч в "Бэле" топает ногою о землю в порыве раскаяния. В "Княжне Мери" Грушницкий топает ногой от досады, а драгунский капитан — от брезгливости.

3

Здесь не место разбирать характер Печорина. Вдумчивый читатель без труда составит себе мнение о нем, прочитав книгу; однако о Печорине написано столько нелепостей людьми, смотрящими на литературу с позиций социологии, что уместно будет коротко предостеречь от возможных ошибок.

Едва ли нам стоит принимать всерьез, как это делают многие русские комментаторы, слова Лермонтова, утверждающего в своем "Предисловии" (которое само по себе есть искусная мистификация), будто портрет Печорина "составлен из пороков всего нашего поколения". На самом деле этот скучающий чудак — продукт нескольких поколений, в том числе нерусских; очередное порождение вымысла, восходящего к целой галерее вымышленных героев, склонных к рефлексии, начиная от Сен-Пре, любовника Юлии д'Этанж в романе Руссо "Юлия, или Новая Элоиза" (1761), и Вертера, воздыхателя Шарлотты С. в повести Гёте "Страдания молодого Вертера" (1774; в России того времени известна главным образом по французским переложениям, например, Севелинжа, 1804), через "Рене" Шатобриана (1802), "Адольфа" Констана (1815) и героев байроновских поэм, в особенности "Гяура" (1813) и "Корсара" (1814), пришедших в Россию во французских прозаических пересказах Пишо, которые начали выходить

с 1820 года, и кончая "Евгением Онегиным" (1825—1832) Пушкина, а также разнообразной, хотя и более легковесной продукцией французских романистов первой половины того же столетия (Нодье, Бальзак и т.д.). Соотнесенность Печорина с конкретным временем и конкретным местом придает, конечно, своеобразие плоду, взращенному на другой почве, однако сомнительно, чтобы рассуждения о притеснении свободомыслия со стороны тиранического режима Николая I (1825—1856) помогли нам его распробовать.

В исследовании, посвященном "Герою нашего времени", нелишне было бы отметить: сколь бы огромный, подчас даже патологический, интерес ни представляло это произведение для социолога, для историка литературы проблема "времени" куда менее важна, чем проблема "героя". Что касается последнего, то молодому Лермонтову удалось создать вымышленный образ человека, чей романтический порыв и цинизм, тигриная гибкость и орлиный взор, горячая кровь и холодная голова, ласковость и мрачность, мягкость и жестокость, душевная тонкость и властная потребность повелевать, безжалостность и осознание своей безжалостности остаются неизменно привлекательными для читателей самых разных стран и эпох, в особенности же для молодежи: восхищение "Героем нашего времени" со стороны критиков старшего поколения, по-видимому, есть не что иное, как окружаемые ореолом воспоминания о собственном отрочестве, когда они зачитывались романом в летних сумерках, с жаром отождествляя себя с его героем, нежели объективная оценка с позиций зрелого понимания искусства.

О прочих персонажах романа, в сущности, тоже почти нечего сказать. Самый трогательный среди них, несомненно, пожилой штабс-капитан Максим Максимыч, недалекий, грубоватый, чувствительный, земной, бесхитростный и законченный неврастеник. Эпизод, когда обманувшая его ожидания встреча со старым другом Печориным заставляет его совершенно потерять голову, трогает сердце читателя как одно из самых психологически тонких описаний в литературе. Что до нескольких злодеев в романе, то Казбич

с его цветистой речью (в передаче Максима Максимыча) весь вышел из литературной ориенталистики, а впрочем, не будет большого греха, если американские читатели перепутают черкесов Лермонтова с индейцами Фенимора Купера. В самом неудачном из всех рассказов, "Тамани" (который некоторые русские критики по непонятным мне причинам ставят выше остальных), Янко перестает нам казаться откровенно банальным только тогда, когда мы замечаем, что отношения между ним и слепым мальчиком возвращают нас, как приятное эхо, к разговору между героем романа и его обожателем в "Максиме Максимыче".

Другого рода перекличку находим в "Княжне Мери". Если Печорин — романтическая тень Лермонтова, а Грушницкий, как уже отмечалось в русской критике, гротескная тень Печорина, то на низшем уровне имитации находится слуга Печорина. Драгунский капитан, этот злой гений Грушницкого, едва ли поднимается выше заурядного комического персонажа, а постоянные напоминания о его тайных интригах довольно скоро начинают действовать на нервы. Не менее раздражают прыжки и пение дикарки в "Тамани". Вообще женские образы не удавались Лермонтову. Мери — типичная барышня из романов, напрочь лишенная индивидуальных черт, если не считать ее "бархатных" глаз, которые, впрочем, к концу романа забываются. Вера совсем уже придуманная со столь же придуманной родинкой на щеке; Бэла — восточная красавица с коробки рахат-лукума.

Что же в таком случае составляет вечную прелесть этой книги? Отчего ее так интересно читать и перечитывать? Уж конечно, не ради стиля, хотя, как это ни покажется забавным, школьные учителя в России всегда склонны были видеть в ней образец русской прозы. Этого нелепого мнения, высказанного (по утверждению мемуариста) Чеховым, можно придерживаться в том только случае, если понятиями общественной морали или добродетели подменять суть литературного творчества, либо надо быть критиком-аскетом, у которого вызывает подозрение роскошный, изысканный слог и которого, по контрасту, неуклюжий, а местами просто заурядный стиль Лермонтова приводит

в восхищение как нечто целомудренное и бесхитростное. Но подлинное искусство само по себе не есть нечто целомудренное или бесхитростное, и довольно одного взгляда на отработанный до совершенства, до магического артистизма стиль Толстого (кое-кто считает его литературным преемником Лермонтова), чтобы стали очевидны досадные изъяны лермонтовской прозы.

И все же если мы взглянем на Лермонтова как на рассказчика и если мы вспомним, что русская проза тогда ходила пешком под стол, а нашему автору было каких-то двадцать пять лет, тогда нам останется только поражаться исключительной энергии повествования и замечательному ритму, который ощущается не так на уровне фразы, как на уровне абзаца. Слова сами по себе незначительны, но, оказавшись вместе, они оживают. Когда мы начинаем дробить фразу или стихотворную строку на составные элементы, банальности то и дело бросаются в глаза, а неувязки зачастую производят комический эффект; но в конечном счете все решает целостное впечатление, в случае же с Лермонтовым это общее впечатление возникает благодаря чудесной гармонии всех частей и частностей в романе. Автор постарался отделить себя от своего героя, однако для читателя с повышенной восприимчивостью щемящий лиризм и очарование этой книги в значительной мере заключаются в том, что трагическая судьба самого Лермонтова каким-то образом проецируется на судьбу Печорина, точно так же как сон в долине Дагестана зазвучит с особой пронзительностью, когда читатель вдруг поймет, что сон поэта сбылся.

ПУШКИН,
ИЛИ ПРАВДА И ПРАВДОПОДОБИЕ

Жизнь иногда обещает нам праздники, которые никогда не состоятся, или дарит нам готовых персонажей для книг, которых мы никогда не напишем. А бывает, что она нам преподносит подарок, а неожиданное применение ему мы находим гораздо позже. В свое время я знал одного занятного человека. Если он еще жив, в чем я сомневаюсь, он должен стать украшением сумасшедшего дома. Когда я его встретил, он был на грани помешательства. Его безумие, причиной которого, как говорили, было падение с лошади в ранней молодости, выражалось в том, что, полностью опустошив рассудок, оно заполнило его ложной старостью. Мой больной не только считал себя старше, чем он был на самом деле, но ему еще и казалось, что он участвовал в событиях прошлого века. Этот человек, приближающийся к сорокалетию, крепкий и краснолицый, рассказывал мне, с легким покачиванием головы, свойственным мечтательным старикам, как мой дед совсем еще ребенком забирался к нему на колени. Быстрый подсчет, который я мысленно произвел, слушая его, заставил меня дать ему совершенно неправдоподобный возраст. Поистине поразительным было то, что с каждым годом, по мере того как болезнь прогрессировала, он отдалялся во все более глубокое прошлое. Когда я его встретил двенадцать лет тому назад, он мне рассказывал о взятии Севастополя. Месяц спустя со мной беседовал уже генерал Бонапарт. Еще неделя — и вот мы в разгаре Вандейской войны. Если мой маньяк еще жив, то он, должно быть, очень далеко, возможно, среди норманнов или даже, кто знает, в объятиях Клеопатры. Бедная странствующая душа, удаляющаяся все быстрее и быстрее по склону времени. И какое при этом обилие слов, сколько оживления, какие высокомерные или проницательные

усмешки! Впрочем, он прекрасно помнил реальные события своей жизни, только их странно переставлял. Так, рассказывая о своем несчастном случае, он его постоянно отодвигал все дальше в прошлое, постепенно меняя декорацию, как в этих драмах классического театра, в которых костюм глупо меняют в зависимости от эпохи. В его присутствии невозможно было упомянуть ни об одной знаменитой личности прошлого, чтобы он, с невероятным великодушием старого болтуна, не поспешил добавить какое-нибудь свое о ней воспоминание. Между тем запас образования, которого он скорее нахватался, чем получил, родившись в бедной провинциальной среде и прослужив в каком-то заброшенном полку, так и остался совсем ничтожным. Ах, какой бы это мог быть восхитительный спектакль, интеллектуальное пиршество, если бы утонченная культура, глубокие знания в истории и минимум природного таланта составили компанию его блуждающему слабоумию! Вообразите, что бы мог Карлейль извлечь из такого безумия! К несчастью, мой бедняга был, по существу, необразован и очень плохо эрудирован, чтобы наслаждаться редкостным психозом, поэтому довольствовался тем, что питал свое воображение набором банальностей и расхожих идей, более или менее ложных. Скрещенных рук Наполеона, трех волосков Железного канцлера или меланхолии Байрона и нескольких мелких анекдотов, называемых историческими, которыми грамматисты начиняют свои учебники, ему, увы, вполне хватало для описания детали и характера, и все великие мужи, с которыми он был близко знаком, становились у него похожими друг на друга как братья. Нет ничего более странного, чем проявление мании, кажется, уже по своей сути предполагающей знакомство со всем миром, вдохновение, проницательность и обреченной на блуждание в пустой голове.

Я вспоминаю этого бедного больного всякий раз, как только раскрываю одно из любопытных творений, которые принято называть "романизированными биографиями". Я вижу здесь ту же потребность жадного, но ограниченного ума захватить какую-нибудь аппетитную выдающуюся личность, какого-нибудь сладкого беззащитного гения, и ту же решительность ловкого, хорошо информированного гос-

подина, который переходит в далекое прошлое так же просто, как переходит бульвар, с вечерней газетой в кармане. Как это делается, хорошо известно. Сначала берут письма великого человека, их отбирают, вырезают, расклеивают, чтобы сделать для него красивую бумажную одежку, затем пролистывают его сочинения, отыскивая в них его собственные черты. И, черт возьми, не стесняются. Мне приходилось сталкиваться с совершенно курьезными вещами в подобных повествованиях о жизни великих, вроде одной биографии известного немецкого поэта, где от начала до конца пересказывалось содержание его поэмы "Мечта", представленное как размышление над мечтой его собственной. Действительно, что может быть проще, чем заставить гения вращаться среди людей, мыслей, предметов, описанных им самим, и выпотрошить до полусмерти его книги, для того чтобы начинить свою? Биограф-романист делает те находки, которые ему выгодны, а то, что выгодно ему, как правило, становится едва ли не самым худшим для его героя, и история жизни последнего неизбежно искажается, даже если факты в ней достоверны. И вот, слава Богу, мы имеем психологию сюжета, игривый фрейдизм, навязчивое описание мыслей героя в какой-то момент, — набор случайных слов, напоминающий железную проволоку, соединяющую жалкие кости какого-нибудь скелета, — литературный пустырь, где среди чертополоха валяется старая вспоротая мебель, неизвестно как сюда попавшая. Отдыхая от тяжких трудов, биограф спокойно облачается в жилет сердечком своего героя и закуривает его трубку. Сумасшедший, которого я вспоминал, тоже рассказывал анекдоты об императорах и поэтах так, словно эти люди жили с ним на одной улице. Зажав в уголке рта папиросу, он в непринужденной манере рассуждал о босых ногах Толстого, серебристой седине почтенного Тургенева, цепях Достоевского и, наконец, добирался до любовных увлечений Пушкина.

Не знаю, есть ли во Франции такие календари, как наши, когда на обратной стороне каждого листка приводится текст для пятнадцатиминутного чтения, — словно, предлагая вам прочитать эти несколько назидательных и

занятных строк, неизвестные составители хотели возместить вам потерю еще одного дня, страничку с числом которого вы собираетесь оторвать. Обычно сверху вниз следовали: дата какой-нибудь битвы, поэтическая строфа, идиотская пословица и обеденное меню. Часто там фигурировали стихи Пушкина: именно здесь читатель совершенствовал свое литературное образование. Эти несколько жалких строф, плохо понятых, прореженных как гребень, огрубевших от постоянного повторения кощунственными губами, возможно, составили бы все, что русский обыватель знал о Пушкине, если бы не несколько популярных опер, которые якобы заимствованы из его творчества. Бесполезно повторять, что сочинители либретто, эти зловещие личности, доверившие "Евгения Онегина" или "Пиковую даму" посредственной музыке Чайковского, преступным образом уродуют пушкинский текст: я говорю "преступным", потому что это как раз тот случай, когда закон должен был бы вмешаться; раз он запрещает частному лицу клеветать на своего ближнего, то как же можно оставлять на свободе первого встречного, который бросается на творение гения, чтобы его обокрасть и добавить свое — с такой щедростью, что становится трудно представить себе что-либо более глупое, чем "Евгений Онегин" или "Пиковая дама" на сцене.

Наконец, к календарю и опере у неискушенного читателя прибавляются смутные воспоминания из средней школы, сочинения — для всех одни и те же — о героях Пушкина. Добавим еще несколько скабрезных каламбуров, которые любят ему приписывать, и тогда у нас сложится достаточно точное представление о том, что такое пушкинский дух для громадного большинства русских.

Наоборот, те из нас, кто действительно знает Пушкина, поклоняются ему с редкой пылкостью и искренностью; и так радостно сознавать, что плоды его существования и сегодня нам наполняют душу. Все доставляет нам удовольствие: каждый из его переносов, естественных, как поворот реки, каждый нюанс ритма, а также мельчайшие подробности его жизни, вплоть до имен людей, лишь промелькнувших рядом с ним и возвратившихся в его тень.

Преклоняясь перед блеском его черновиков, мы стремимся по ним распознать каждую перемену его вдохновения, которым создавался шедевр. Читать все до одной его записи, поэмы, сказки, элегии, письма, драмы, критические статьи, без конца их перечитывать — в этом одно из достоинств нашей жизни.

Ровно сто лет минуло с тех пор, как на дуэли, на закате дня, в снегу он был смертельно ранен красивым тупицей по имени Жорж Дантес, приволокнувшимся за его женой; молодым авантюристом, полным ничтожеством, который, возвратившись во Францию, пережил его на полвека, чтобы затем со спокойной душой умереть восьмидесятилетним стариком и сенатором.

Жизнь Пушкина, все ее романтические порывы и озарения готовят столько же ловушек, сколько искушений сочинителям модных биографий. В последнее время в России их много написано, я видел одну или две достаточно безвкусных. Но помимо этого существует еще и благой, бескорыстный труд нескольких избранных умов, которые, копаясь в прошлом, собирая мельчайшие детали, вовсе не озабочены изготовлением мишуры на потребу вульгарного вкуса. И все-таки наступает роковой момент, когда самый целомудренный ученый почти безотчетно принимается создавать роман, и вот литературная ложь уже поселилась в этом произведении добросовестного эрудита так же грубо, как в творении беспардонного компилятора.

Короче говоря, по-моему, то, что делают с гением в поисках человеческого элемента, напоминает ощупывание и рассматривание погребальной куклы, похожей на розовые трупы покойных царей, уже загримированных для похоронной церемонии. Разве можно совершенно реально представить себе жизнь другого, воскресить ее в своем воображении в неприкосновенном виде, безупречно отразить на бумаге? Сомневаюсь в этом; думается, уже сама мысль, направляя свой луч на историю жизни человека, неизбежно ее искажает. Все это будет лишь правдоподобие, а не правда, которую мы чувствуем.

А какое наслаждение для русского проникнуть в мечтах в мир Пушкина! Жизнь поэта как пародия его творчества. Бег времени, кажется, хочет повторить жест гения, прида-

вая его воображаемому существованию такой же колорит и такие же очертания, какие поэт дал своим творениям. В сущности, не имеет значения, если то, что мы представляем в своем воображении, всего лишь большой обман. Предположим, окажись у нас возможность вернуться назад и пробраться в эпоху Пушкина, мы бы его не узнали. Ну и что! Это удовольствие даже самый строгий критик, так же как и я, дающий волю своему воображению, мне не может испортить. Вот он, этот невысокий живой человек (обезьяна и негр таились в этом великом русском), маленькой смуглой рукой которого написаны первые и самые прекрасные строки нашей поэзии; вот он, взгляд голубых глаз, составляющий резкий контраст с темными кудрявыми волосами. В то время, т.е. к 1830 году, в мужском костюме еще отражалась необходимость пользоваться лошадью, мужчина был все еще всадник, а не похоронный агент, т.е. практический смысл одежды еще не исчез (когда со смыслом исчезла и красота). Верхом ездили всерьез, и действительно были нужны сапоги с отворотом и широкий плащ. Отсюда и определенная элегантность, которой воображение наделяет Пушкина, впрочем, он, следуя капризу времени, любил наряжаться цыганом, казаком или английским дэнди. Не будем забывать, что любовь к маскараду действительно характерная черта поэта. Смеющийся во все горло, стуча каблуками, он мелькает передо мной, как мелькают люди, вдруг, в порыве ветра возникающие на пороге какого-нибудь ночного кабачка (никогда больше не увидишь их лиц, освещенных уличным фонарем, не услышишь голосов и веселых шуток), потому что прошлое — это ли не кабачок, дверь которого в разгар ночи я открываю с нетерпением. Я прекрасно понимаю, что это не Пушкин, а комедиант, которому плачу, чтобы он сыграл его роль. Какая разница! Мне нравится эта игра, и вот я уже сам в нее поверил. Одно другим сменяются видения: вот он на набережной Невы, мечтатель, облокотившийся о гранитный парапет, искрящийся при луне и инее; в театре, с моноклем, в розоватом свете, под звуки скрипок, с модной заносчивостью пихающий соседа, чтобы занять свое место; потом в деревенской усадьбе, сосланный из столицы за несколько вольнолюбивых строк, в ночной рубашке,

взъерошенный, марающий стихи на серой бумаге (в которую заворачивали свечи), жующий яблоко; я вижу его идущим по проселочной дороге, листающим книги в лавке, целующим стройную ножку возлюбленной или в серебристый крымский полдень перед скромным маленьким фонтаном, струящимся во дворе старинного татарского дворца, и ласточки летают под сводами. Эти видения столь мимолетны, что подчас я не успеваю различить, держит ли он в руке трость или чугунную палку, с которой ходил специально, чтобы тренировать кисть для стрельбы, имея пристрастие к пистолетам, как все его современники. Пытаюсь следить за ним глазами, но он от меня постоянно ускользает, чтобы вновь появиться: рука заложена за полу редингота, рядом со своей женой, красивой женщиной выше него ростом, в черной бархатной шляпе с белым пером. И, наконец, вот он, сидящий на снегу с простреленным животом, он долго целится в Дантеса, так долго, что тот больше не может терпеть, и медленно прикрывается пистолетом.

Вот прекрасная романизированная биография, или я сильно ошибаюсь! Пойдя по этому пути, можно написать целую книгу. Однако я не виноват в том, что дал увлечь себя этим видениям, видениям, понятным всем русским, у которых есть *свой* Пушкин, столь же неотделимый от нашей интеллектуальной жизни, как таблица умножения или что-то другое, привычное уму. Возможно, все это обманчиво и настоящий Пушкин не узнал бы себя в этих видениях, но если я вложил в них хоть немного той любви, которую испытываю к его стихам, то не напоминает ли эта воображаемая жизнь если не самого поэта, то его творчество?

Когда говорят об эпохе, которую у нас принято называть пушкинской, т.е. о времени между 1820 и 1837 г., невольно поражает явление скорее оптического, нежели интеллектуального характера. Жизнь в те времена сейчас нам кажется — как бы сказать? — более наполненной свободным пространством, с прекрасными небесными и архитектурными просветами, как на какой-нибудь старинной литографии с прямолинейной перспективой, на которой видишь городскую площадь, не бурлящую жизнью и застроенную домами с выступающими углами, как сегодня, а очень

просторную, спокойную, гармонически свободную, где, может быть, два господина беседуют, остановившись на мостовой, собака чешет ухо задней лапой, женщина несет в руке корзину, стоит нищий на деревянной ноге, — и во всем этом много воздуха, покоя, на церковных часах полдень, и в серебристо-жемчужном небе одно-единственное легкое продолговатое облачко. Создается впечатление, что во времена Пушкина все знали друг друга, что каждый час был описан в дневнике одного, в письме другого и что император Николай Павлович не упускал ни одной подробности из жизни своих подданных, точно это была группа более или менее шумных школьников, а он — бдительный и важный директор школы. Чуть вольное четверостишье, острота, повторяемая в узком кругу, второпях написанная записка, переходящая из рук в руки в этом незыблемом высшем классе, каким был Петербург, — все становилось событием, все оставляло яркий свет в молодой памяти века. По-моему, пушкинский период — это последняя в беге времени эпоха, куда наше воображение еще может проникнуть без паспорта, придавая деталям того времени черты, заимствованные из живописи, которая тогда еще сохраняла монополию в изобразительном искусстве. Подумать только, проживи Пушкин еще 2—3 года, и у нас была бы его фотография. Еще шаг, и он вышел бы из ночи, богатой нюансами и полной выразительных намеков, где он остается, прочно войдя в наш тусклый день, который длится уже сто лет. Вот что я считаю достаточно важным, фотография — эти несколько квадратных сантиметров света — торжественно откроет в 1840 году новую эру в изображении, продолжающуюся до наших дней, откроет так, что начиная с этой даты, до которой не дожили ни Байрон, ни Пушкин, ни Гете, мы находимся во власти нашего современного представления, и в этом представлении все знаменитости второй половины XIX века принимают вид дальних родственников, одетых во все черное, словно они носят траур по былой радужной жизни; чьи портреты всегда стоят в углах грустных и темных комнат, с мягкой, но отяжелевшей от пыли драпировкой на заднем плане. Отныне этот тусклый домашний свет ведет нас через гризайль века; очень возможно, что придет время, когда эта эпоха

упрочившейся фотографии в свою очередь нам покажется художественной ложью, наделенной особым колоритом, но все пока еще не так, и — как же повезло нашему воображению! — Пушкин не состарился и никогда не должен носить это тяжелое сукно с причудливыми складками, эту мрачную одежду наших прадедов с маленьким черным галстуком и пристегивающимся воротничком.

Я сделал все что мог, чтобы описать воистину непреодолимые трудности, возникающие перед самым доверчивым умом, когда он пытается воскресить не с романтическим правдоподобием, а единственно правдиво образ великого человека, умершего сто лет назад. Признаем себя побежденными и обратимся скорее к его творчеству.

Конечно, нет ничего скучнее, чем описывать большое поэтическое наследие, если оно не поддается описанию. Единственно возможный способ его изучить — читать, размышлять над ним, говорить о нем с самим собой, но не с другими, поскольку самый лучший читатель — это эгоист, который наслаждается своими находками, укрывшись от соседей. Охватившее меня в этот момент желание разделить с кем-то свое восхищение поэтом, в сущности, чувство опасное, не несущее ничего хорошего выбранной теме. Чем больше людей читает книгу, тем меньше она понята; похоже, распространяясь, истина испаряется. Произведение показывает свое подлинное лицо, как только стихнет первый всплеск литературной известности. А для сочинений малопереводимых, хранящих свою тайну во мраке иностранного языка, вопрос особенно усложняется. Нет ни одного француза, которому можно было бы сказать: если вы хотите узнать Пушкина, возьмите его произведения и уединитесь с ними. Решительно, наш поэт не привлекает переводчиков. Толстой, писатель той же величины, или этот счастливчик Достоевский, стоящий гораздо ниже, увенчаны во Франции такой же славой, как некоторые национальные писатели, но имя Пушкина, для нас столь наполненное музыкой, для француза остается резким и невыразительным на слух. Несомненно, поэту всегда сложнее перейти национальные границы, чем прозаику. Но, когда речь идет о Пушкине, трудности имеют более глубокую

причину. Русское шампанское,— сказал мне как-то на днях один утонченный эрудит. Ведь не будем забывать, что именно французскую поэзию, целый период этой поэзии, Пушкин предоставил в распоряжение русской музы. Поэтому, когда его стихи были переведены на французский, читатель стал узнавать в них то французский XVIII век, розовую поэзию с шипами эпиграмм, то псевдоэкзотический романтизм, который смешивает Севилью, Венецию, Восток в бабушах и мою родную Грецию, где мед так сладок. Это первое впечатление настолько скверно, эта старая любовница столь бесцветна, что французский читатель был сразу же обескуражен. Банально говорить, что Пушкин — это колосс, который держит на своих плечах всю поэзию нашей страны. Но, как только берешься за перо переводчика, душа этой поэзии ускользает и у вас в руках остается только маленькая золоченая клетка. Весь день я посвятил этому тяжкому неблагодарному труду. Вот, например, знаменитое стихотворение, где русский глагол, кажется, струится от счастья бытия, но в переводе оно становится не больше чем подстрочником*. <...>

Хотя, кажется, все слова на месте, я считаю, что эти строки не дают представления о богатой лирике нашего поэта. Однако должен признать, что постепенно я начал получать удовольствие от работы; это уже не было дурным желанием познакомить с Пушкиным иностранного читателя, а чудесным ощущением полного погружения в поэзию. Я старался не вверять Пушкина французскому языку, а сам погружаться в своего рода транс, так чтобы без моего сознательного участия совершалось чудо, происходила полная метаморфоза. Наконец после нескольких часов этого внутреннего бормотания, этого урчания в душе, сопровождавшего процесс поэтического творчества, я решил, что чудо свершилось. Но, как только я с моим жалким французским языком иностранца написал эти совершенно новые строки, они начали блекнуть. Разрыв между русским текстом и переводом открылся мне теперь во всей своей

---

* Речь идет о стихотворении “Три ключа”. Здесь и далее В. Набоков приводит свои переводы стихотворений Пушкина. — *Прим. перев.*

печальной реальности. Например, я выбрал стихотворение дивной простоты в русском звучании, где слова совершенно простые сами по себе становятся как бы немного больше натуральной величины, словно от прикосновения Пушкина они вернули свою первозданную полноту, свою свежесть, которую потеряли у других поэтов. Вот тусклая копия, которую я из него сделал *. <...>

Занимаясь переводами, я с любопытством обнаруживал, что любое стихотворение, за которое я брался, странно перекликалось со стихами того или иного французского поэта. Но скоро мне стало ясно, что Пушкин тут ни при чем; причиной было не мнимое французское отражение, которое принято находить в его стихах, а то, что я в этот момент поддавался влиянию литературных воспоминаний. Руководствуясь этими услужливыми воспоминаниями, я оставался если не удовлетворенным, то по крайней мере не очень раздраженным своими переводами. Вот одно из стихотворений, перевод которого, как я считаю, немного успешней других **. <...>

Я попытался также перевести несколько отрывков из поэм и драм Пушкина.

В порядке любопытства, вот одна из наиболее прекрасных онегинских строф. Я много бы дал, чтобы хорошо перевести эти четырнадцать строк ***. <...>

Я не обольщаюсь насчет качества этих переводов. Это достаточно правдоподобный Пушкин, вот и все; правда в другом. Следуя берегом его бушующей поэзии, слышно, как в нескольких ее излучинах, которые я прошел, звучит одна истина, и для меня она единственная на этом свете: истина искусства.

Как было бы увлекательно проследить сквозь века авантюры какой-нибудь идеи. Не шутя осмелюсь сказать: это был бы идеальный роман, ибо, освобожденный от всякого человеческого налета, кристально чистый, этот абстрактный образ, казалось бы живущий напряженной жизнью,

---

* Цитируется стихотворение “Не пой, красавица, при мне”.

** Цитируются “Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы”.

*** Речь идет об “онегинской” — четырнадцатистрочной — строфе неоконченной поэмы Пушкина “Езерский”.

показывает: кто бы он ни был — Шекспир или Гораций, — есть только одна вещь, которая имеет значение, — творчество. Сейчас самое время об этом вспомнить, поскольку в том, что касается литературы, мы сбиваемся с пути. Например, так называемый "человеческий документ" уже сам по себе красивый фарс, а вся эта социология, которая кривляется в современном романе, столь же отвратительна, сколь смешна.

Я вовсе не хочу сказать, что век, в котором мы живем, расслаивается — с прозрачной волнистостью северного сияния. Так, можно было бы взять идею прекрасного, чтобы исторически проследить нравственные муки и сделать из этого что-то более живое, чем авантюрный роман. Как драматична судьба пушкинского творчества. Он был еще жив, когда ограниченного ума критика Белинского хватило для того, чтобы и к нему придраться. Нашли, видите ли, что его недостаточно занимали события времени. Гегелевская философия у нас плохо привилась. Однако ни на одно мгновенье не поблекла истина Пушкина, нерушимая, как сознание. Наоборот, кажется, дивный дух сейчас воцарился в мире. Я даже сейчас его ощущаю в себе, и именно он заставляет меня повторять то, что Флобер тоже хорошо знал. Когда среди людей есть Человек, то его лучезарное влияние стоит лучших умов прошлого. Конечно, с обывательской точки зрения, может показаться, что мир становится все хуже и хуже: это и надоедливый шум заполонивших все машин, и страх перед катастрофой, которой нас пугают газеты. Но взгляд философа, созерцающего жизнь, искрится доброжелательностью, подмечая, что, в сущности, ничего не изменилось и по-прежнему остаются в почете добро и красота. Если же жизнь иногда и кажется мрачной, то только от близорукости. Для тех, кто умеет смотреть, она предстает такой же полной открытий и наслаждений, какой она являлась поэтам прошлого. Честно говоря, задаешься вопросом, какой художник, проходя мимоходом, вдруг превращает жизнь в маленький шедевр. Сколько раз на городских улицах я бывал поражен вдруг неожиданно возникавшим и так же неожиданно исчезавшим маленьким театром. Вот, залитый солнечным светом, едет грузовик, груженный углем, и угольщик с черным лицом сидит на

высоком сиденье, зажав в уголке рта удивительно зеленый липовый стебель. А однажды, в очень ранний час, я увидел здорового берлинского почтальона, вздремнувшего на скамейке, в то время как два других из-за цветущего жасминового куста с нарочитым гротеском подкрадывались на цыпочках, чтобы запихнуть ему в нос табак. Я видел драмы: манекен в нетронутом костюме, с разорванным, правда, плечом, печально валялся в грязи среди опавших листьев. Ни дня не проходит, чтобы эта сила, это ярмарочное вдохновение не создавало здесь или там какой-нибудь моментальный спектакль. Поэтому хотелось бы думать: то, что у нас зовется искусством, в сущности, не что иное, как живописная правда жизни; нужно суметь ее уловить, вот и все. И жизнь становится занимательной, когда погружаешься в такое состояние духа, при котором самые простые вещи раскрываются перед нами в своем особенном блеске. Идешь, остановишься, смотришь на проходящих людей, а потом начинается гонка, и, когда вдруг замечаешь на улице ребенка, удивленного каким-нибудь происшествием, которое он когда-нибудь обязательно вспомнит, возникает чувство причастности ко времени, поскольку ты видишь этого ребенка, накапливающего воспоминания для будущего. К тому же мир так велик! Только обыватель, сидя в полумраке своей лавочки, предпочитает думать, что путешествия уже не раскрывают никаких тайн; на самом деле горный ветер так же будоражит кровь, как и всегда, и умереть, пускаясь в достойную авантюру, всегда было законом человеческой чести.

Сегодня больше, чем когда-либо, поэт должен быть так же свободен, нелюдим и одинок, как хотел Пушкин сто лет назад. Порой, может быть, самый безупречный художник пытался сказать свое слово в защиту гибнущих или недовольных, но не следует поддаваться этому искушению, так как можно быть уверенным, если дело заслуживает страданий, оно умрет и позже принесет неожиданные плоды. Нет, решительно, так называемой социальной жизни и всему, что толкнуло на бунт моих сограждан, нет места в лучах моей лампы; и если я не требую себе башни из слоновой кости, то только потому, что доволен своим чердаком.

КОММЕНТАРИИ

При подготовке комментариев ко всем томам настоящего издания мы старались максимально учесть доступную набоковедческую литературу. Привлекалась изданная переписка писателя (The Nabokov — Wilson Letters. 1940 —1971/ *Ed. by S.Karlinsky.* N.Y., 1979; *Nabokov V.* Selected Letters. 1940 —1977/*Ed. by Dmitri Nabokov and Matthew Bruccoli.* San Diego — N.Y. — L., 1989; Переписка с сестрой. Ann Arbor, 1985), а также каноническая ныне двухтомная биография Брайена Бойда (*Boyd B.* Vladimir Nabokov: The Russian Years. Princeton, 1990; *Boyd B.* Vladimir Nabokov: The American Years. Princeton, 1991) и биографические работы Э.Филда (*Field A.* Nabokov: His Life in Art. Boston, 1967; *Field A.* Nabokov: His Life in Part. N.Y., 1977; *Field A.* VN: The Life and Art of Vladimir Nabokov. N.Y., 1986). Особую ценность представляли для нас те комментарии к прозе Набокова, которые были составлены нашими предшественниками-набоковедами, и прежде всего обновленное второе издание "Комментированной "Лолиты" А. Аппеля (The Annotated Lolita/*Ed. by A.Appel.* N.Y., 1991), а также книги К. Проффера, Г.Г. Барабтарло и Б. Бойда (*Proffer, Carl. R.* Keys to Lolita. Bloomington, 1968; *Barabtarlo G.* Phantom of Fact: A Guide to Nabokov's Pnin. Ann Arbor, 1989; *Boyd B.* Nabokov's Ada: The Place of Consciousness. Ann Arbor, 1985). Мы с интересом проработали комментарии к предшествующим публикациям англоязычной прозы В. Набокова на русском языке, в частности А. Долинина к романам "Лолита", "Истинная жизнь Себастьяна Найта", "Пнин" и "Просвечивающие предметы", С. Ильина к более ранним изданиям переведенных им романов и Н. Демуровой к набоковскому переводу Л. Кэрролла. По возможности мы старались использовать и капитальные набоковедческие исследования по более частным проблемам, отдавая особое предпочтение тем, которые посвящены набоковской поэтике и способствуют раскрытию тайн, содержащихся в текстах писателя. В этой связи особо ценными были исследования Д. Бартона Джонсона, Дж. Бадер, Дж. Т. Локранца, Ю. Боденстайна, П. Тамми и С. Да-

выдова (*Barton Johnson, D.* Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor, 1985; *Bader J.* Crystal Land: Artifice in Nabokov's English Novels. Berkley, 1972; *Lokrantz J. T.* The Underside of the Weave: Some Stylistic Devices Used by Vladimir Nabokov. Uppsala, 1973; *Bodenstein J.* The Excitement of Verbal Adventure: A Study of Vladimir Nabokov's English Prose. Heidelberg, 1977; *Tammi, Pekka.* Problems of Nabokov's Poetics: A Narratological Analysis. Helsinki, 1985; *Давыдов С.* Тексты-матрешки Владимира Набокова. Мюнхен, 1982). Неоценимую помощь в осмыслении проблемы взаимодействия англоязычных и русскоязычных версий набоковских текстов нам оказала книга Дж. Грейсон (*Grayson J.* Nabokov Translated: A Comparison of Nabokov's Russian and English Prose. Oxford, 1977). Мы обращались к многим другим исследованиям, набоковским сборникам, статьям в периодике, публикациям в журналах "The Nabokovian" и "Nabokov Studies". К сожалению, ввиду ограниченности возможностей данного издания, мы могли лишь выборочно ссылаться на наших предшественников в особо существенных случаях. В комментариях также использован материал книги: *Люксембург А., Рахимкулова Г.* Магистр игры Вивиан Ван Бок: Игра слов в прозе Владимира Набокова в свете теории каламбура. Ростов-на-Дону, 1996.

ПОДЛИННАЯ ЖИЗНЬ СЕБАСТЬЯНА НАЙТА
(THE REAL LIFE OF SEBASTIAN KNIGHT)

Роман написан в декабре 1938 — январе 1939 гг. в Париже. Издан 6 декабря 1941 г. в американском издательстве "New Directions". На русском языке впервые опубликован в переводе А. Горянина и М. Мейлаха (*Набоков В.* Романы. М.: Худ. лит., 1991). Настоящий перевод ранее печатался в издании: *Набоков В.* Bend Sinister: Романы. СПб: "Северо-Запад", 1993. Перевод осуществлен по изданию: *Nabokov V.* The Real Life of Sebastian Knight. Penguin Books, 1971.

1

С. 27 Себастьян Найт — Фамилия и имя главного героя нуждаются в пояснениях. Английское knight имеет несколько значений, из которых наиболее очевидное — "шахматный конь". Шах-

маты, как известно, занимали существенное место в жизни Набокова, он рассматривал их как яркую форму творчества, занимался составлением шахматных задач. На шахматных аналогиях построен русскоязычный роман "Защита Лужина", и в "Подлинной жизни Себастьяна Найта" их роль весьма значительна. Персонажи романа соотнесены с шахматными фигурами, а топонимы — с различными шахматными реалиями, понимание которых требует знания по меньшей мере четырех языков: английского, русского, французского и немецкого. Фамилия первой возлюбленной Найта, Клэр Бишоп (Bishop) означает по-английски "шахматный слон". Вторая женщина, ворвавшаяся в жизнь Найта и "побившая" "слона" Клэр, первоначально носила фамилию Туровец (ср. старое русское название ладьи "тура"), а затем стала мадам Лесерф. В этой фамилии, если отбросить французский артикль "ле", остается анаграмматически зашифрованный "ферзь". Мать Себастьяна умирает в городке Рокебрюн (Roquebrune, от французского глагола roquer — "рокироваться"), а жизнь самого Найта завершается в местечке Сен-Дамье (damier по-французски — "шахматная доска"). Рассказчику не сразу удается припомнить это название, и в его мыслях мелькают различные, будто бы случайные словосочетания, среди которых (и это закономерно) присутствует "мат". А уже в начале романа рассказчик В. обнаруживает окурок, оставленный в пепельнице неким жилищным агентом Мак-Матом, своего рода "родственником" посланца судьбы Мак-Фатума из "Лолиты" и рассказчика в романе "Смотри на арлекинов!", которого его кембриджский друг Ивор Блэк зовет Мак-Наб. Американский исследователь П. Стегнер в книге "Бегство в эстетику: Искусство Владимира Набокова" (1967) рассматривает "Подлинную жизнь Себастьяна Найта" как развернутую шахматную партию, где все движения Себастьяна соотнесены с ходом коня, а рассказчик В. выступает в роли прикрывающей его пешки. В этой партии менее очевидно положения короля: эта главная фигура основательно спрятана, и искушенный читатель обнаружит ее только после того, как поймет соотношение между героем, рассказчиком и автором.

Другое значение слова knight —"рыцарь" — также соотнесено с идеей творчества, точнее, с рыцарским бесстрашием творца. Возможно, ключ к истолкованию этого аспекта произведения дает книга В. Шкловского "Ход коня", опубликованная в 1923 г. Мы не располагаем сведениями о том, читал ли ее Набоков, но нам это представляется весьма вероятным, ведь он следил за идеями формалистов, а В. Шкловский был в 1920-е гг. весьма заметной фигурой. Если же речь идет о случайном совпадении, значит, оно обусловлено сходством эстетических позиций. Вот

что мы обнаруживаем у Шкловского: “Книга называется “Ход коня”. Конь ходит боком... Много причин хода коня, и главная из них — условность искусства... Вторая причина в том, что конь не свободен, — он ходит вбок потому, что прямая дорога ему запрещена... Не думайте, что ход коня — ход труса... Наша изломанная дорога — это дорога смелых, но что нам делать, когда у нас по два глаза и мы видим больше честных пешек и по должности одноверных королей”.

В романе можно легко обнаружить аналогии и с “Алисой в Зазеркалье” Л. Кэрролла, где уподобление шахматной партии также определяет игру с читателем. Однако Алиса была черной пешкой, она не могла сильно влиять на ход событий, пока не сделала шесть ходов и не превратилась в ферзя, Себастьян же — конь, фигура легкая, но достаточно влиятельная.

Набоков, вероятно, учитывает и устаревшее значение слова knight — “валет”. Здесь возникают ассоциативные связи (на уровне фабулы) с русскоязычным романом “Король, дама, валет”, в английском переводе получившим название “King, Queen, Knave”. Knave — современное слово, обозначающее того же “валета”, и в этом романе Набоков прибегает именно к нему, но, возвращаясь к “Подлинной жизни Себастьяна Найта”, нельзя забывать о сознательной ориентации писателя на использование редких слов и значений.

Кроме того, knight вступает в романе в каламбурные соотношения с омонимом (омофоном) night (ночь), что позволяет Набокову перекинуть мостик от темы шахмат к мотивам творчества, шекспировским аллюзиям и создать противопоставления “черное — белое”, “свет — тьма”. Наконец, поскольку первая согласная в фамилии персонажа по правилам английского произношения не читается, мы получаем инициал Н. Таким образом получается, что рассказчик В. повествует о писателе Н.

Имя Себастьян вызывает ассоциации с муками святого Себастьяна и, соответственно, с муками творчества, а также с двумя шекспировскими персонажами: братом Виолы из “Двенадцатой ночи”, которого считают погибшим и который от нее совершенно неотличим, и братом короля в “Буре”, который претендует на его корону.

С. 29 Кенсингтон — аристократический район Лондона. Характеристика “кенсингтонский” традиционно применялась к людям, лишенным духовных запросов и довольствующимся светской жизнью.

С. 31 ...великим европейским экспрессам... — о детском увлечении Набокова “великими международными экспрессами” немало

сказано в “Память, говори”. Следующая за этим цитата из Найта также перекликается с аналогичными пассажами в “Память, говори” и романе “Подвиг”.

С. 32 ...пакетик засахаренных фиалок... — упоминание о фиалках вводит шекспировские мотивы. Э. Филд в книге “Набоков. Его жизнь в искусстве” говорит, что в именах персонажей этого романа присутствует неуловимый шекспировский оттенок. Хотя в списке книг Найта упоминаются “Гамлет” и “Король Лир”, основное направление игры Набокова с читателем связано с “Двенадцатой ночью”. Героиня комедии Виола (с именем которой созвучно английское слово violet — фиалка) так говорит *шекспировскому* Себастьяну о своем отце:

И умер он в тот день, когда Виоле
Исполнилось тринадцать.
(Перевод Э. Л. Линецкой)

Набоковский Себастьян родился 31 декабря 1899 года, а гибельная дуэль его отца с Пальчиным состоялась через несколько дней после Рождества 1912 года. Имя Виола по-разному обыгрывается на протяжении всего текста. Так, мать Найта умирает в пансионате “Les Violettes” — “Фиалки” *(фр.)*. Кроме того, повторяемость мотива фиалки связана с многократно декларировавшимся писателем тезисом о формальном “узоре”, обязательном в его прозе. В “Лолите”, например, таким повторяющимся формальным элементом становятся солнцезащитные очки, а в “Пнине” — белка.

Она умерла от сердечного приступа (болезнь Лемана)... — Упоминание болезни Лемана (она же angina pectoris, стенокардия или грудная жаба) открывает целый ряд сложных и тонких ассоциаций. От болезни Лемана (Lehmann) на берегах озера Леман (Leman — французское название Женевского озера) умирает мать Себастьяна. (На Женевском же озере в 1977 г. скончался и сам Набоков.) Причина смерти Себастьяна Найта — то же кардиологическое заболевание, и Набоков неоднократно подчеркивает это на протяжении всего романа, параллельно соотнося слово heart (сердце) со схожим по звучанию словом art (искусство), что контекстуально отражает любимое набоковское понятие “дар”. В десятой главе произведения один из героев романа Найта “Призматический фацет” — сыщик-кокни, расследующий мнимое убийство, — спрашивает: “’Ullo, how about *hart*?” Так искаженное art становится каламбурным омонимом heart, а читателю дается ключ к пониманию тезиса, что искусство убивает творца,

сжигающего себя творчеством и растворяющегося в собственных произведениях.

С. 34 Mademoiselle — под этим именем в автобиографической прозе писателя выведена французская гувернантка Набоковых. Ей посвящен самый первый автобиографический фрагмент "Mademoiselle O", написанный по-французски и опубликованный в парижском журнале "Mesures" в 1939 г. В английской версии этот текст появился впервые в журнале "Atlantic Monthly" и в сборнике "Девять рассказов" в 1947 г. Затем с изменениями он вошел в состав всех трех версий набоковской автобиографии: "Убедительное доказательство", "Другие берега" и "Память, говори".

"Chums" — "Приятели", детский журнал *(англ.)*.

2

С. 37 ...был вместо подписи чернилами нарисован черный шахматный конь. — см. комм. к главе 1.

С. 39 Рокебрюн — несмотря на кажущийся нарочитым "шахматный" смысл, во Франции действительно есть два городка с таким названием: Рокебрюн-кап-Мартен (департамент Приморские Альпы) и Рокебрюн-сюр-Аржан (департамент Вар).

"Les Violettes" — "Фиалки" *(фр.)*. Как уже указывалось, в романе упоминания о фиалках вводят шекспировский мотив.

С. 40 biographies romancées — романизированные биографии *(фр.)*.

...я предпринял поездку в Лозанну... — подобную поездку к своей гувернантке Набоков описывает в "Память, говори"

С. 42 cette horrible Anglaise — эта ужасная англичанка *(фр.)*.

cette femme admirable — эта прелестная женщина *(фр.)*.

une toute petite tape — один маленький шлепок *(фр.)*.

3

С. 45 ...незабвенные сизые взгорья и блаженные большаки... — образы из стихов английского поэта Альфреда Эдварда Хаусмана (1859—1936), чей сборник "Парень из Шропшира" (1896) оказал большое влияние на английскую поэзию. Повлияли они и на самого Набокова, о чем свидетельствует упоминание о "настрое-

ниях в духе Руперта Брука и Хаусмана" в главе 7 и прямое признание в "Память, говори", где автор вспоминает о встречах с поэтом, преподававшим в Кембриджском университете. О том же повествует и Вадим Вадимович, герой романа "Смотри на арлекинов!". Персонаж романа "Бледное пламя" Чарльз Кинбот часто цитирует Хаусмана.

...живая изгородь с ее неофициальной розой... — образ из стихотворения английского поэта Руперта Брука (1887—1915) "Старый дом приходского священника. Гранчестер" (1912). Увлекавшийся в молодости Бруком Набоков наделяет Найта своими пристрастиями. У самого Набокова есть эссе о Бруке с большим количеством цитат в собственном переводе, где он так рассказывает об этом стихотворении: "И Руперт Брук, говоря о своей любви к земле, втайне подразумевает одну лишь Англию, и даже не всю Англию, а только городок Гранчестер, — волшебный городок. Сидя в берлинском Кафэ-дес-Вестенс, Брук, в душный летний день, с упоеньем вспоминает о той мглисто-зеленой, тенисто-студеной реке, которая протекает мимо Гранчестера. И говорит он о ней точь-в-точь в таких же выражениях, как говорил о благоуханной гавайской лагуне, ибо лагуна эта была, в сущности, все та же родная, узкая речка, окаймленная ивами и живыми изгородями, на которых там и сям выглядывала "неофициальная роза". В непереводимых журчащих стихах он заставляет сотню призрачных викариев плясать при луне на полях; фавны украдкой высовываются из листвы; выплывает наяда, увенчанная тиной. Тихо свирелит Пан" (Грани, 1922, №1, с.230).

С. 46 ...отцовское обручальное кольцо... связывать черной ниткой. — Точно так же носила кольцо покойного мужа мать Набокова, Елена Ивановна ("Память, говори").

Алексис Пан — по-видимому, не только подразумеваемый в связи с Бруком бог Пан, но и собирательный сатирический портрет русских футуристов. Подобно лесному древнегреческому божеству, очаровывавшему все живое своей игрой на дудочке, поэт-футурист на время привораживает Себастьяна, вовлекая его в странствия по России.

С. 47 "La Belle Dame sans Merci" — "Прекрасная дама, не знающая жалости" *(фр.)* — стихотворение Китса. Набокову принадлежит перевод этого стихотворения ("Ах, что мучит тебя, горемыка..."), опубликованный в его раннем сборнике "Горний путь" (Берлин, 1923). Возможно, здесь Набоков имеет в виду перевод Леонида Андрусона, опубликованный в 1911 г.

С. 49 sore bones — ноющие кости *(англ.)*.

4

С. 52 ...злобно ворчащий китаец... и спокойный малый... — возможно, аллюзия на приключенческие романы английского писателя Сакса Ромера (псевдоним Артура Сарсфилда Уорда, 1886—1959), в которых невозмутимый джентльмен-британец разрушает коварные планы злодея-китайца Фу Манчжу.

С. 54 ...жестянки от талька... с фиалками... — опять шекспировская тема.

некий м-р Мак-Мат — см. комм. к главе 1.

...два ильма, — не дубы, обещанные именем улицы. — Оук (Oak) по-английски "дуб".

С. 55 Клэр Бишоп — "шахматная" фамилия. См. комм. к главе 1.

С. 56 ...вот как у кошки девять... — имеется в виду английская пословица "a cat has nine lives" ("у кошки девять жизней"), смысл которой можно сформулировать так: "все живое цепляется за жизнь" (ср. рус. "живуч как кошка").

С. 57 ...увеличенный снимок голого по пояс китайца, которому лихо срубали голову... — в 1920-е гг. многие иллюстрированные издания мира обошла сенсационная фотография "Отсечение головы в Бангкоке, столице Сиама". Набоков упоминает этот снимок и в автобиографической книге "Память, говори" (глава 13).

...последовательность, на миг зазвучавшую неясной, странно знакомой музыкальной фразой... — список книг Найта включает ряд общеизвестных произведений, любимых Набоковым, и несколько на первый взгляд необязательных. К первой категории относятся трагедии "Гамлет" и "Король Лир" Уильяма Шекспира, "Смерть Артура" сэра Томаса Мэлори, "Мост короля Людовика Святого" Т. Уайлдера, "Дама с собачкой" А. П. Чехова, "Странное происшествие с доктором Джекилом и мистером Хайдом" Р. Л. Стивенсона, "Госпожа Бовари" Г. Флобера, "Обретенное время" М. Пруста, "Человек-невидимка" Г. Дж. Уэллса, "Алиса в Стране Чудес" Л. Кэрролла, "Улисс" Дж. Джойса. Поначалу кажется, что остальные книги попали сюда случайно, — это "Англо-персидский словарь", роман "Автор "Трикси" Уильяма Кейна (1873—1925), сборник фельетонов и повестей английского юмориста Ф. К. Берненда (1836—1917) "О покупке лошади" и роман "Южный ветер" Нормана Дугласа (1868—1952).

На самом же деле все эти названия соединены Набоковым весьма расчетливо. Как справедливо указывает А. Долинин, "список книг Себастьяна Найта не просто характеризует круг чтения

героя, но и представляет собой <...> своего рода словарь основных тем, мотивов и источников романа; фактически в каждом наименовании (и/или в стоящем за ним тексте, а также в творческой биографии автора) можно обнаружить определенную параллель в структуре, системе образов и значений, сюжету "Истинной жизни Себастьяна Найта".

Поясним некоторые моменты, на основе которых здесь ведется авторская игра с читателем. Сразу обращают на себя внимание указания на двух дам — из рассказа А. П. Чехова и романа Г. Флобера, причем французское слово dame в числе прочих имеет еще и значение "ферзь". "Алиса в Стране Чудес" Л. Кэрролла всегда служила для Набокова эталоном игры со словом и текстом, а его собственные эксперименты с прозой начались с перевода этой книги на русский язык в 1923 г.; кроме того, вторая книга об Алисе строится по аналогии с шахматной партией. "Англо-персидский словарь" (по сюжету романа действительно попавший сюда случайно — его забыла Клэр) указывает на то, что полное понимание словесной игры Набокова возможно лишь с учетом лексического материала различных языков, и эта общая идея развивается упоминанием в тексте о "персидской царевне". К тому же слово "ферзь" ("королева" или "царевна") в русском языке заимствовано из фарси. Сборник "О покупке лошади" также, возможно, входит в цепочку "шахматных" ассоциаций, так как horse по-русски и "лошадь", и "конь", а роман У. Кейна "Автор "Трикси" начинается высказываниями епископа (английский эквивалент — bishop, имеющий также значение "шахматный слон") и завершается посвящением главного героя в епископский сан. Не будем забывать, что основное значение слова knight — "рыцарь", и поэтому "Смерть Артура" Т. Мэлори столь же логично вписывается в этот причудливый ряд названий. Список книг Найта неожиданно напоминает о себе косвенным образом в финале романа, когда, объясняя ночному портье (nightporter) в больнице, какого больного он ищет, В. по ассоциации называет омоним фамилии своего брата. Дежурный и рассказчик не понимают друг друга, и последний по ошибке навещает англичанина с фамилией Kegan, которая транскрибируется как [kigan], что представляет собой анаграмму русского слова "книга".

Смерть короля в шекспировских трагедиях "Гамлет" и "Король Лир" вкупе с прямым указанием на нее в названии "Смерть Артура" созвучна теме "мата" в той партии, которая разворачивается в романе, а джойсовский "Улисс", по-видимому, выступает в качестве эталона игрового текста в новейшей литературе.

Существенно и то, что все описанные в тексте новеллы и романы самого Найта пародируют некоторые из этих произведе-

ний, в частности "Южный ветер" Н. Дугласа и "Мост короля Людовика Святого" Т. Уайлдера. "Доктор Джекил и мистер Хайд" Р. Л. Стивенсона и "Человек-невидимка" Г. Дж. Уэллса подкрепляют игру трех повествовательных инстанций: Найт — В. — сам Набоков (у Стивенсона фабула строится вокруг мотива "двойничества", а название уэллсовского романа вводит мотив "невидимости"). "Обретенное время" М. Пруста объясняет отношение к категории времени не только Найта-писателя, но и повествователя В., и Владимира Набокова, а постоянное имитирование в романе прустовского стиля несомненно. Наконец, гомосексуальная ориентация Н. Дугласа и М. Пруста также играет свою роль в предлагаемой интерпретации сложных и не поддающихся рациональному объяснению мотивов любви.

С. 58 "конрадство" — яркий пример очень непростого для перевода набоковского окказионального неологизма, оставляющего простор для интерпретации. А. Долинин так раскрывает смысл слова conradish: "Критик упрекает Себастьяна Найта в подражании английскому писателю польского происхождения Джозефу Конраду (наст. имя Юзеф Теодор Конрад Кложеневский; 1857—1924). <...> [Здесь] совет начинающему прозаику leaving out the "con" and cultivating the "radish" in future works, то есть буквально "забыть про "капитанскую рубку" (намек на профессию Конрада, который был капитаном английского торгового флота) и "в будущих произведениях заняться выращиванием "редиса". Однако многозначность слов "con" (его другие значения: учиться, много знать; негативно относиться к чему-либо; консерватор, консерватизм; обман, фокус; игра слов, каламбур) и "cultivate" (не только "выращивать; но также "развивать, поощрять"), а также возможность переосмыслить "radish" либо как кальку с латинского "radis" (корень, нижняя часть, основание), либо как производное от "rad" (корень; возвышенный, восторженный; радикал, радикальный) оставляют простор для множества толкований. Рекомендация критика может быть понята как предложение отказаться от заумной литературной чуши и следовать добротной реалистической традиции. Не исключено также, что он иронически обыгрывает известный призыв Вольтера "il faut cultiver son jardin" — "следует обрабатывать свой сад" *(фр.)*.

5

С. 58 ...упивался многим из найденного в Кембридже... — Набоков сам учился в Тринити-колледже (Колледже Святой Троицы) с 1919 по 1922 г. Его студенческие впечатления наиболее подроб-

но отразились в эссе "Кэмбридж" (1921), в "Университетской поэме" (1927), романе "Подвиг" (1931—1932), а также во всех трех версиях автобиографической книги (1951, 1954, 1966).

хэнсом — легкий двухколесный экипаж, названный по имени изобретателя Дж. А. Хэнсома (1803—1882).

Большой Двор — внутренний двор Тринити-колледжа с фонтаном посередине, окруженный со всех сторон примыкающими друг к другу зданиями.

С. 61 "Питт" — "Питт клаб", кембриджский клуб студентов-спортсменов. Членство ограничено 220 местами.

"файвс" — одна из разновидностей игры в мяч для двух или четырех участников, для которой строятся специальные корты, закрытые с трех сторон стенами для отскока мяча. Распространена в некоторых привилегированных школах Англии, в частности в Итоне. В нее играют мальчики в школе Св. Варфоломея в четвертой главе романа "Пнин".

...толстые, белые икры Генриха Восьмого. — Тринити-колледж был основан королем Генрихом VIII в 1546 г., поэтому портреты и скульптурные изображения этого монарха украшают там многие помещения. В девятой главе "Университетской поэмы" есть такие строки:

Обедать. В царственной столовой
портрет был Генриха Восьмого.
Тугие икры, борода —
работы пышного Гольбайна...

С. 63 I have seized a cold — Я поймал простуду *(англ.)*.

that fellow is sympathetic — симпатический малый *(англ.)*.

С. 65 мастер — титул главы ряда колледжей в Кембридже и Оксфорде.

6

С. 67 Флит-стрит — улица в Лондоне, на которой находятся редакции крупнейших газет.

С. 68 ...прустову вставку... — ссылка на характерную для стиля М. Пруста особенность нанизывать одно отступление за другим по принципу "потока сознания", часто используя при этом вставные конструкции, в том числе и оформленные скобками. Издерж-

ки прустовской манеры Набоков выразительно пародировал в "Камере обскуре" (глава 27), где из написанного писателем Зегелькранцем ассоциативного романа Кречмар узнает об измене жены. (Из английской версии произведения, получившей название "Смех в темноте", вся эта линия удалена.) Впрочем, использование вставных конструкций характерно и для набоковского стиля.

...тех, кто покупает паршивейшую пошлятину... племянницы Марии Корелли и племянники старенькой миссис Гранди. — Набоков ненавидел пошлость и пытался внедрить это слово в английский язык, так как там нет точного ему соответствия. Не принимая Фрейда, Набоков склонен был рассматривать использование его идей в литературе как признак дурного вкуса, по уровню никак не отличающегося от сентиментальных дамских романов Марии Корелли (1855—1924) и обычных сплетен. О Марии Корелли Набоков упоминает в "Память, говори", где "ужасная старуха", одна из его английских гувернанток, читает вслух "повесть Марии Корелли "Могучий атом" о том, что случилось с хорошим мальчиком, из которого нехорошие родители хотели сделать безбожника". Ставшая крылатым выражением фраза "Что скажет миссис Гранди?" восходит к комедии Томаса Мортона (1764—1838) "Подталкивай плуг" и используется примерно в тех же случаях, что и грибоедовское "Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!".

7

С. 74 Годфри Гудмен (1583—1656) — тайно перешедший в католичество епископ англиканской церкви.

Сэмюэль Гудрич (1793—1860) — американский автор назидательных детских книжек, оставивший объемистые "Воспоминания".

С. 76 Джеймс Босуэлл (1740—1795) — секретарь и автор основанной на дневниковых записях биографии выдающегося английского писателя и ученого Сэмюэля Джонсона (1709—1784).

С. 80 "Хэрродз" — один из самых дорогих и фешенебельных универмагов Лондона.

Нью-Форест — лесистый район на юге Англии, исторически — охотничьи угодья королевской семьи. В сознании англичан это место связано с произошедшим здесь в 1100 г. загадочным убийством Вильгельма II, сына Вильгельма I Завоевателя.

"Панч" — популярный сатирико-юмористический еженедельник, издаваемый с 1841 г.

8

С. 82 "Робин-дрозд дает сдачи" — отсылка к детскому стишку из сборника "Песни Матушки Гусыни": "Кто убил Робина-дрозда?" — "Я, — сказал воробей" ("Who killed Cock Robin? I, said the Sparrow..."). А. Долинин отмечает, что "если убитого дрозда в стишке закапывают в землю, то убитый герой в романе Себастьяна Найта неожиданно воскресает из мертвых, предсказывая тем самым судьбу своего автора".

С. 86 ...она вышла замуж за человека с такой же фамилией... чистой воды совпадение. — Набоков, разумеется, так не считает, и совпадения тут никакого нет. Муж Клэр — еще один слон в шахматном срезе романа. Следующее далее упоминание о форме комнаты в доме Бишопов ("гостиная углом") наводит на мысль о ходе коня.

9

С. 94 Кью-Гарденз — основанный в 1759 г. большой ботанический сад в западной части Лондона.

Ричмонд-парк — большой городской парк в Лондоне.

С. 95 Джон Донн (1572—1631) — великий английский поэт. Среди других стихов Донна Клер, возможно, прочла в этот день, завершившийся известием о смертельной болезни Себастьяна, и "Благочестивый сонет", начинающийся такими строками: "Смерть, не кичись, когда тебя зовут/Тиранкой лютой, силой роковою". В романе "Бледное пламя" обсуждается перевод этого сонета на французский язык, сделанный Сибил Шейд, женой героя романа, поэта Джона Шейда.

10

С. 98 ...модному приему сведения разношерстной публики в замкнутом пространстве (в гостинице, на острове, на улице). — Из английских интеллектуальных "романов идей", строящихся на этом приеме, в список книг Найта вошел "Южный ветер" Н. Дугласа. Учтем, однако, что следующее далее пародийно-до-

тошное описание жильцов пансионата, в котором разворачивается действие "Призматического фацета", несомненно, провоцирует сопоставления с первым романом Набокова "Машенька".

С. 101 ad absurdum — по принципу доведения до абсурда *(лат.).*

...о приемах, которыми пользуется человеческая судьба. — Здесь явные аллюзии на "Мост короля Людовика Святого" (список книг Найта), а также на роман Джозефа Конрада "Судьба" (то самое "конрадство", о котором шла речь в главе 4). Именно о книге, посвященной рассмотрению этих приемов, говорит в финале романа "Дар" Федор Годунов-Чердынцев как о своем новом замысле. Игра случая всегда существенна в набоковских текстах.

Персиваль — имя одного из трех рыцарей Круглого Стола, сумевших достичь Святого Грааля, о чем повествуется в книге "Смерть Артура" сэра Томаса Мэлори.

11

С. 109 Катай — восходящее, видимо, к Марко Поло средневековое наименование Китая.

С. 110 Weltschmerz — мировая скорбь *(нем.).*

12

С. 118 "poseur" — позер *(фр.).*

С. 120 ...создать впечатление нарциссова отражения... Так Себастьян разглядывает себя в пруду. — Здесь Набоков четко формулирует тему художника-Нарцисса, проходящую через весь роман. Именно так воспринимают многие англо-американские исследователи самого Набокова. С учетом того, что это соответствует вызывающей у него неприязнь психоаналитической концепции творчества, нетрудно заметить, что писатель бросает своим будущим исследователям сознательный вызов.

13

С. 123 Nous avons eu beaucoup de jolies dames — У нас бывало много хорошеньких дам *(фр.).*

С. 125 ...бесцветные члены мученика со стрелами в боку. — отсылка к каноническому изображению святого Себастьяна. Можно предположить, что упоминание об этом мученике в переломный момент повествования (вот-вот объявится во плоти первый из тех персонажей Найта, с которыми предстоит столкнуться его брату, господин Зильберманн) существенно еще и тем, что святой Себастьян, привязанный к столбу и расстрелянный лучниками, эту казнь пережил и был замучан впоследствии.

С. 127 cigaretteétui — портсигары *(непр. фр.)*.

14

С. 130 S.Knight, 36 Oak Park Gardens, London, SW — Лондон, Юго-Запад, улица Дубового Парка, д.36, С. Найт *(англ.)*.

Мадам де Речной. — смысл этого имени хорошо раскрывает А. Долинин: "Только читатель, знакомый с русской литературой, <...> распознает в Нине Речной черты ее почти полной тезки из чеховской "Чайки" — Нины Заречной, попутно вспомнив по ассоциации еще по крайней мере двух литературных персонажей в том же амплуа и с тем же именем — Нину Воронскую, "Клеопатру Невы" из "Евгения Онегина", и княгиню Нину, упившуюся вакханку из поэмы Баратынского "Бал".

particule — частица *(фр.)*.

С. 131 Элен фон Граун. — Набоков использует фамилию своих немецких предков. Дед отца Набокова барон Фердинанд фон Корф (1805—1869) был правнуком немецкого композитора Карла Генриха Грауна (1701—1759), обладавшего в молодости "замечательным тенором" ("Память, говори").

С. 136 ...как в Байроновом сне... — имеется в виду стихотворение Байрона "Сон", посвященное воспоминаниям о юношеской любви. Строфы с III по VIII начинаются одной и той же фразой: "Внезапно изменилось сновиденье" (перевод М. Зенкевича).

15

С. 139 Боттэн — под этим названием во Франции издаются разного рода справочники, в том числе и адресные книги. Названы по имени французского государственного деятеля Себастьяна Боттэна (1761—1853).

С. 140 И усы знаменитого генерала, несколько лет назад заеденного московитами. — Александр Павлович Кутепов (1882—1930?), в 1928 г. возглавивший "Русский общевоинский союз", был в 1930 г. похищен в Париже агентами ГПУ и, видимо, убит. Эта история и связанная с ней история певицы Надежды Плевицкой, бывшей женой одного из агентов ГПУ, генерала Скоблина, легли в основу рассказа Набокова "Помощник режиссера".

С. 142 Мата Хари — ставшее нарицательным имя голландской танцовщицы Маргериты Гертруды Зелле (1876—1917), бывшей во время Первой мировой войны агентом немецкой разведки и казненной за шпионаж.

...кабы не Анатоль... — Анатоль Деблере (? —1939) с 1899 г. и до смерти занимал пост "национального палача" Франции.

С. 144 Лхасса — столица Тибета и предполагаемый центр эзотерического знания.

carte de travail — рабочая карточка *(фр.).*

16

С. 145 ...в отеле "Бомон"... — по всей видимости, типичный для Набокова замаскированный благообразным названием намек — в данном случае на драматурга елизаветинской эпохи Фрэнсиса Бомонта (Beaumont, 1584—1616), написавшего в соавторстве с Джоном Флетчером (1579—1625) ряд получивших известность пьес, в том числе комедию "Рыцарь Пламенеющего Пестика" ("The Knight of the Burning Pestle", 1610). Показательно не только ее название, в котором присутствует слово "рыцарь", но и фабула, строящаяся на ситуации смены ролей. В пьесе рассказывается о том, как некий бакалейщик в сопровождении жены и подручного Ральфа идет в театр. Когда бакалейщик узнает, что в постановке будет изображена жизнь особ благородного происхождения, он требует, чтобы показали другую пьесу о человеке его профессии. Актеры соглашаются исполнить это желание и играют пьесу, главным героем которой является Рыцарь Пламенеющего Пестика, чью роль исполняет начитавшийся рыцарских романов Ральф. На сцене он ведет себя как рыцарь без страха и упрека, но комизм ситуации в том, что в роли благородного рыцаря, по сути дела, выступает оруженосец.

grande cocotte — прожженная кокотка *(фр.).*

бханг — индийская конопля и изготовленный из ее листьев наркотик.

С. 146 Mais oui, elle est tout se qu'il y a de plus russe. — Ну да, она самая что ни на есть русская *(фр.)*.

Quelle drôle d'histoire! — Какая занятная история! *(фр.)*

С. 147 Il va sans dire — Само собой разумеется *(фр.)*.

Elle fait des passions — Окружена страстями *(фр.)*.

С. 148 C'est moi — Это я *(фр.)*.

С. 149 ..."Сан-Микеле" доктора Акселя Мунте. — романтически-сентиментальная автобиография "Легенда о Сан-Микеле" (1929), написанная шведским врачом и писателем Акселем Мунте (1857—1940).

Букет гвоздик... — в распространенном в средние века в Европе (и заимствованном из гаремов Востока) "языке цветов" гвоздика обозначала плотскую страсть.

Viens, mon vieux, viens — Иди, старина, иди *(фр.)*.

С. 150 j'ai une petite surprise pour vous — у меня есть для вас маленький сюрприз *(фр.)*.

tout ce que vous croyez raisonnable de demander à une tasse de thé — что вы считаете разумным потребовать от чашки чая *(фр.)*.

С. 151 hors concours — что-то особенное *(фр.)*.

С. 152 Un coeur de femme ne ressuscite jamais. — Женское сердце никогда не воскресает *(фр.)*.

Vouez vous ça! — Подумать только! *(фр.)*

С. 153 cher Monsieur — сударь мой *(фр.)*.

Ah non merci, je ne suis pas le calendrier de mon amie. Vous ne voudriez pas! — Ах нет, спасибо, я не календарь моей подруги. Чего захотел! *(фр.)*

С. 154 très vive — очень живая *(фр.)*.

à l'improviste — неожиданно *(фр.)*.

des jeunes gens qui aiment à rigoler — молодые люди, которые любят повеселиться *(фр.)*.

С. 155 vitalité joyeuse qui est, d'ailleurs, tout-à-fait conforme à une philosophie innée, à un sens quasi-religieux des phénomènes de la vie — веселая жизненная сила, которая, впрочем, вполне отвечает внут-

ренней философии, почти религиозному отношению к явлениям жизни *(фр.)*

С. 156 Une femme fatale — Роковая женщина *(фр.)*.

Eh bien, êtes-vous d'accord? — Ну как, согласны? *(фр.)*

17

С. 157 Леско — отсылка к "Истории кавалера де Грие и Манон Леско" Антуана Франсуа Прево д'Экзиль (1697—1763), в которой любовь к прекрасной ветренице разрушает жизнь молодого дворянина.

С. 158 Enchanté de vous connaître — Рад с вами познакомиться *(фр.)*.

Je suis navré — Мне очень жаль *(фр.)*.

Mon ami — Друг мой *(фр.)*.

С. 159 Écoutez — Послушайте *(фр.)*.

Ce n'est pas très poli, vous savez — Вы знаете, это не слишком вежливо *(фр.)*.

Monsieur l'entêté — Господин упрямец *(фр.)*.

idée fixe — навязчивая идея *(фр.)*.

...любые цветы, кроме гвоздик и нарциссов, засыхают, едва я к ним прикоснусь... — Набоков метафорически сообщает нам о двух сторонах натуры мадам Лесерф — ее способности вызывать страсть и стимулировать творчество.

...персидская царевна... — еще одно указание на то, что в шахматном пласте романа Нина (мадам Лесерф) соотнесена с ферзем.

Vous devez mourir de faim — Вы, должно быть, умираете от голода *(фр.)*.

С. 160 On doit s'y ennuyer follement, n'est-ce pas? — Они там, должно быть, безумно скучают, не так ли? *(фр.)*

С. 161 ...это случается только в романах, но вот передо мной было доказательство его неправоты... — как это обычно в текстах Набокова, к доказательствам нужно относиться с осторожностью. Себастьян сам персонаж романа, следовательно, почему бы в тексте не быть гипертрофированно-пародийным "романным" описаниям?

Tant mieux — Тем лучше *(фр.)*.

С. 162 alors vous êtes ridicule, cher Monsieur — в таком случае вы смешны, сударь мой *(фр.)*.

que dans cette triste demeure — чем в этой печальной обители *(фр.)*.

С. 164 Vous n'êtes guère amiable — Вы вовсе не любезны *(фр.)*.

С. 165 J'ai quelque chose dans le cou... — У меня что-то на шее... *(фр.)*.

Mais vous êtes fou — Вы сошли с ума *(фр.)*.

18

С. 166 асфодель — название рода растений семейства лилейных. Согласно поверьям древних греков, в царстве Аида тени умерших блуждают по "асфодельным лугам" (см. "Одиссею" Гомера). Не забудем о джойсовском "Улиссе" с книжной полки Найта.

...в Жуане... — Жуан-ле-Пен, курортный город на французской Ривьере, между Канном и Антибом. Вероятно, здесь присутствует авторская ирония: возлюбленная Найта бросает его в городе, упоминание о котором вызывает очевидные литературные и культурологические ассоциации.

С. 167 ...за коротким стариком-шахматистом по имени Шварц... — возможно, аллюзия на старика из "Защиты Лужина", давшего герою первые уроки шахматной игры.

С. 168 Татцьен-лу в Тибете — Кандин, город в Тибете, через который проходили древние торговые пути. Упомянут во второй главе "Дара" — в описаниях странствий Константина Годунова-Чердынцева.

декан Парк — по-видимому, набоковская мистификация. Может быть, персонаж наподобие пастора Пара из русской версии "Лолиты" (глава 28 первой части). Не исключено также уподобление паркам — богиням судьбы у древних римлян.

С. 170 ...деревья беседуют в пантомиме, исполненной смысла для того, кто усвоил жесты их языка... — этот образ становится темой безумия несчастного юноши в англоязычном рассказе Набокова "Знаки и символы".

19

С. 175 "Prattler" — "Болтун", журнал светских новостей *(англ.).*

С. 176 ...одно или два неразборчивых слова: "Дот чету"? — Рассказчик В. не распознал в написанном по-русски письме латинских букв. "Дот чету" — это Domremy, или, в русском написании, Домреми-ля-Пюссель, родная деревня Жанны д'Арк, где она услышала "голоса".

20

С. 181 État désespéré — Положение безнадежно *(фр.).*

С. 182 Il est dangereux... E pericoloso... — Он опасен... Опасно... *(фр., ит.).*

С. 183 "Cadran" — "Циферблат" *(фр.).*

"La Vie Littéraire" — "Литературная жизнь" *(фр.).*

С. 184 cuirs, peaux — кожа, шкуры *(фр.).*

jongleur, humoriste — жонглер, юморист *(фр.).*

...Жасмин 61-93. — В телефонном номере зашифрована дата смерти Найта — январь (janvier, *фр.*) 1936 г. Обратим внимание, что Найт жил в доме № 36 и умер в палате 36 в возрасте 36 лет. Как это часто бывает у Набокова, случайная повторяемость чисел создает формальный узор судьбы.

С. 185 "Vive le front populaire" — "Да здравствует Народный фронт" *(фр.).*

Schachbrett, un damier — шахматная доска *(нем., фр.).*

С. 187 Knight. Night. — Рыцарь. Ночь. *(англ.)*

C'est bon, c'est bon — Хорошо, хорошо *(фр.).*

С. 190 Non, c'est le docteur Guinet qui le soigne — Нет, его лечит доктор Гине *(фр.).*

n'est-ce pas? — не так ли? *(фр.)*

Mon Dieu! — Мой Бог! *(фр.)*

ПОД ЗНАКОМ НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫХ
(BEND SINISTER)

Роман написан в 1945—1946 гг.

Первое издание: N.Y., Henry Holt and Co., 1947.

Настоящий перевод печатался под названием "Под знаком незаконнорожденных" в журнале "Урал", 1990, № 1—3; в новой редакции — под названием "Bend Sinister" в издании: *Набоков В.* Bend Sinister: Романы. СПб.: "Северо-Запад", 1993.

Перевод выполнен по первоизданию.

Первое упоминание о работе над романом относится к ноябрю 1942 г. Писатель говорит о ней в письме к Эдмунду Уилсону, где будущее произведение носит название "Некто из Порлока" ("The Person from Porlock"). Порлок — маленькая английская деревушка, а "некто из Порлока" — это торговец, чей внезапный приход помешал английскому поэту Сэмюэлю Тейлору Кольриджу (1772—1834) досочинить поэму "Кубла Хан", навеянную образами наркотического сна. Когда после ухода торговца Кольридж снова сел за стол, вдохновение его уже покинуло. (Эта аллюзия присутствует в английской версии "Лолиты".) Об этом изначальном замысле (и названии) напоминает эпизод, в котором к обретшему наконец способность писать Кругу приходит вожделеющая Мариэтта и прерывает его творческий порыв (глава 17).

На различных этапах работы текст получал названия "Solus Rex" ("Одинокий король"), "Vortex" ("Вихрь") и "Game to Gunm". Последнее название переводу не поддается и на первый взгляд кажется совершенно непонятным, но литературовед Д. Бартон Джонсон сумел найти ключ к его объяснению. "Game to Gunm" — это десятый том Британской энциклопедии, начинающийся словом game (игра), а ведь именно на игре с читателем строится весь текст произведения, и заканчивающийся словом gunmetal (оружейная сталь), что может быть соотнесено с темой насилия. Д. Бартон Джонсон, однако, считает входящие в этот том статьи "God" ("Бог") и "Geometry" ("Геометрия") еще более значимыми. Автор, именующий себя "антропоморфным божеством", безраздельно властвует над своими персонажами и тканью романа, а с геометрией протагониста Круга связывают десятки нитей.

Впрочем, писатель отказался от этих вариантов и остановился на названии "Bend Sinister", которое с большим трудом поддается

переводу на русский язык. Сочетание слов bend — "изгиб, загиб; наклон" и sinister — "зловещий, мрачный; левый" обозначает в геральдике наклоненную влево полосу на поле герба, свидетельствующую о незаконнорожденности его обладателя, что и послужило основанием при ссылках на этот роман называть его "Под знаком незаконнорожденных". Между тем Набоков, как это видно из "Предисловия к третьему американскому изданию", не приветствовал подобной интерпретации. Суть его возражений сводится к тому, что в названии не следует искать ключи к истолкованию "общих идей", оно, по мысли автора, должно нацеливать читателя на рассмотрение чисто формальных проблем, решаемых в тексте. Впрочем, дело не в символическом значении полосы на поле герба, а в том, что она *наклонная* и прочерчена слева направо. Этот мотив наклонной полосы проходит через весь текст, и поскольку вне зависимости от декларируемых авторских намерений в нем затронуты и высмеяны многие аспекты гибридной коммуно-фашистской диктатуры, сочетающей черты как левизны, так и правизны, может возникнуть искушение ввести в заглавие понятие "уклон".

Наклонная полоса (или черта) на гербе не должна, однако, обязательно интерпретироваться только в рамках оппозиции "левый — правый". Как обоснованно заметил Д. Бартон Джонсон, ответ, возможно, подсказывает общеизвестное пристрастие Набокова к оптическим эффектам. Герб в контексте романа становится своего рода волшебным зеркалом, соединяющим оба мира — мрачное вымышленное бытие Круга и яркую, многокрасочную реальность героя-повествователя. Оба персонажа рассматривают с противоположных сторон уподобленную гербу лужу, разделяющую и в то же время соединяющую их противопоставленные миры, и если, с точки зрения Круга, уклон возникает "левый" (он же "мрачный" и "зловещий") и черта становится синонимом прутьев тюремной решетки, то, с точки зрения повествователя, (автора), глядящего на геральдический символ с другой стороны, этот уклон уже "правый" (иначе говоря, "светлый"), соответствующий свойствам того "сравнительного рая", где пребывает автор.

И еще один важный штрих добавляет Д. Бартон Джонсон, отмечающий, что, хотя Набоков и прав в том, что название "Bend Sinister" ошибочно связывают со знаком незаконнорожденности в геральдике, писатель, без сомнения, не упускал из виду это укоренившееся представление, и именно поэтому на данном значении идиомы делается акцент в авторизованных переводах романа на немецкий ("Das Bastardenzeichen"), голландский ("Bastaard") и итальянский ("I Bastardi") языки. По этим сообра-

жениям С. Ильиным настоящему переводу было возвращено название "Под знаком незаконнорожденных".

Для читателя существенно и лингвистическое своеобразие текста. С формальной точки зрения в нем активно взаимодействуют четыре языка: английский, на котором ведется повествование, и еще три, употребляющиеся в стране, где разворачивается действие, — русский, немецкий и вымышленный язык. По мысли автора, эти три последних языка представляют собой единый язык — куранианский, отдельные слова и выражения которого лишь напоминают русские и немецкие. В переводе английский закономерно становится русским языком, куранианские фразы и слова (в том числе и с русскими вкраплениями) даются, как и в оригинале, латинским шрифтом, а в тех случаях, когда они поясняют основной текст, помещаются в квадратные скобки. Автор почти никак не комментирует этой языковой пестроты, но очевидно, что гибридизация русского и немецкого языков становится своего рода лингвистическим эквивалентом слияния левого и правого вариантов тоталитаризма и отражает убежденность Набокова в том, что гитлеровский и сталинский режимы типологически родственны друг другу. Вымышленная же часть куранианского языка производит впечатление, будто она германского происхождения, и в этой связи нельзя не отметить всегдашнюю тягу Набокова к словотворчеству, и не случайно в романе с большой симпатией упоминается о создателе новонорвежского языка Иваре Осене (см. комм. к главе 12). Набоков "переводил" стихи "с зоорландского", о Зоорландии мечтал Мартын в "Подвиге", вымышленные страны и фантастические гибридные культуры мы находим в "Бледном пламени" и "Аде". Учтем также, что все пласты многоязычного текста активно взаимодействуют друг с другом (см., напр., главу 17), и в эту игру языков вторгаются еще и французские вкрапления.

ПРЕДИСЛОВИЕ К 3-му АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ

Впервые включено в издание 1964 г., выпущенное журналом "Тайм" в рамках серии "Time Reading Program". Обращает на себя внимание то обстоятельство, что из всех англоязычных произведений Набокова послесловие имеет только "Лолита", а предисловие — только "Под знаком незаконнорожденных", в то время как у всех написанных изначально по-русски романов в английских версиях (кроме "Смеха в темноте") есть авторские предисловия. Американский набоковед Ч. Николь посвятил недавно данному предисловию обстоятельное исследование, где

убедительно доказывается его кардинальное отличие от всех остальных, поскольку оно имеет несопоставимо больший объем и отчетливо выраженный программный характер (*Nicol C.* Necessary Instruction of Fatal Fatuity: Nabokov's Introductions and Bend Sinister // Nabokov Studies. 1994. Vol. 1. PP. 115—129).

С. 200 ...порождает изящное "На Тихом Дону без перемен". — Ч. Николь считает, что набоковские объяснения в данном случае хотя и правдивы, но не исчерпывающи. Читателю предлагается соотнести комбинацию популярных русского и немецкого романов с тем гибридным тоталитарным миром, который предстает перед нами в произведении.

"L'Après-Midi d'un Faune" — "Послеполуденный отдых фавна", эклога французского поэта-символиста Стефана Малларме. См. также комм. к главе 5.

С. 201 ..."другой русалочий отче" — это Джеймс Джойс, автор *"Winnipeg Lake"...* — см. комм. к главе 7.

...что последнее слово книги вовсе не является опечаткой... — см. комм. к главе 18.

1

С. 203 Продолговатая лужа... — как в "Предисловии" отметил Набоков, "фабула романа зарождается в луже", и формальная тема лужи пронизывает весь текст. Тем самым задается установка на ирреальность изображаемого, которое есть не что иное, как спровоцированная отражениями игра фантазии.

кружка — от этой кружки (mug) отталкивается фантазия автора. См. также комм. к главе 2.

Вид из окна больницы... — Ч. Николь выделяет это предложение, потому что именно оно позволяет оценить структурные особенности главы 1, где мысли Круга чередуются с авторским повествованием. На это же указывают и пробелы между абзацами.

2

С. 205 Круг — имя и фамилия протагониста порождают сложный и многоплановый ряд мотивов и аллюзий, проходящих через весь роман. Подробнее всего они проанализированы Д. Бартоном

весь роман. Подробнее всего они проанализированы Д. Бартоном Джонсоном. Имя Адам ("человек" по-древнееврейски) подчеркивает, что этот персонаж состоит с "антропоморфным божеством" (т.е. автором) в отношениях, аналогичных тем, в которых библейский Адам состоял со своим Творцом. В этой связи заметим, что в романе постоянно ощущается авторское присутствие, а к концу произведения автор начинает прямо вмешиваться в судьбу своего героя и манипулировать им, полностью разрушая иллюзию реальности. С именем Адам связан также повторяющийся на протяжении всего текста мотив яблока.

Для понимания тематики и структуры романа очень существенна фамилия персонажа. Русскому читателю, в отличие от англоязычного, сразу ясен ее основной смысл. Это понятие подчеркивает замкнутость внутреннего мира героя и становится знаком его ошибочного представления о своей безопасности и неспособности тоталитарного режима покуситься на его жизнь и свободу. Набоков каламбурно соотносит эту фамилию с именем Архимеда (см. комм. к главе 4). Другое значение фамилии главного персонажа — немецкое слово krug (кружка, кувшин), и оно также неоднократно обыгрывается в тексте. С фамилией героя соотнесены в романе имена членов его семьи (см. комм. к главе 3).

С. 211 farceurs — остресловы *(фр.).*

картезианство — философская система Рене Декарта (1596—1650) с ее основным тезисом "Cogito ergo sum" — "Мыслю — следовательно существую". Название восходит к латинизированному имени Декарта — Renatus Cartesius. Отсылки к главному тезису Декарта несколько раз встречаются в тексте, см., напр., главу 14.

В обморочном свете (луны? его слез?)... — текст романа как бы рождается у нас на глазах, словно автор перебирает различные варианты; но пока не ясно, кто этот автор.

С. 213 Je regrette — Сожалею *(фр.).*

С. 214 Что они обсуждали? — Набор реплик, по-видимому, вводит джойсовскую тему. Знакомым с "Улиссом" читателям он напомнит об особенностях повествования в эпизоде 17 ("Итака").

"Simplizissimus" — "Простодушнейший", сатирический иллюстрированный еженедельник, издававшийся в Германии в 1896—1942 гг. и закрытый ведомством Геббельса. Название дано в честь одноименного плутовского романа Ханса Якоба Кристоффеля Гриммельсхаузена (1621?—1676).

"Стрекоза" — художественно-юмористический еженедельник, издававшийся в Петербурге в 1875—1908 гг.; в этом издании в 1878 г. дебютировал А. П. Чехов.

С. 215 C'est simple comme bonjour — Это просто, как здрасьте *(фр.)*.

С. 219 вагабунд — бродяга; от лат. vagari — странствовать, vagantes — бродячие.

3

С. 220 ...меццотинто да Винчиева чуда... — гравированная копия "Тайной вечери", выполненная в технике меццо-тинто (черная манера), при которой поверхность гравировальной доски делается шероховатой, чтобы она при печати давала сплошной черный цвет, а более светлых тонов добиваются, полируя в той или иной степени соответствующие участки доски. Упоминание великого художника в контексте романа не случайно. Б. Бойд приводит важное высказывание писателя из текста, хранящегося в Библиотеке Конгресса: "Лишите да Винчи его свободы, его Италии, его мировидения, и он все равно сохранит величие; лишите Гитлера его пушки, и останется всего лишь автор безумной брошюрки, жалкое ничтожество".

С. 222 Pourvu qu'il ne pose pas la question atroce. — Пусть он не задаст этого жестокого вопроса *(фр.)*.

Молю тебя, о здешнее божество. — Апелляция к автору текста. Не забудем, что проблема авторства еще не прояснена.

Давид — Д. Бартон Джонсон высказывает предположение, что имена ребенка и умершей жены Круга увязаны с фамилией протагониста. Исследователь отмечает, что имя сына героя DaviD обрамлено буквами D, и если первую D развернуть вокруг вертикальной оси и соединить со второй, то получится идеальное О или круг.

С. 224 ...знакомый номер с шестеркой посередине... — упреждающая события деталь или же традиционное набоковское "совпадение".

Ольга — имя любимой жены главного героя не случайно и согласовано с темой "круга"; об этом говорит и начальное "О", заставляющее вспомнить об Ольге Олеговне Орловой из первой главы "Подлинной жизни Себастьяна Найта". Не забудем еще, что для Набокова характерны не только цветовые ассоциации

(цветовая синэстезия), но и буквенные (алфавитная синэстезия), а в “Память, говори” писатель отмечает, что буква “О” напоминает ему овальное зеркало. Учтем, что в описанном в главе 5 сне Круга пять раз возникает образ Ольги, сидящей перед зеркалом.

С. 227 ...столбец наседавших одна на другую “Я”... — см. комм. к главе 5.

С. 228 follow the perttaunt jauncing 'neath the rack / with her pale skeins-mate — “псевдоцитата, сооруженная из темных шекспирианизмов”, как определил ее сам Набоков в “Предисловии”. В “Гамлете” такого места нет.

rack — дыба *(историч. англ.).*

Ce sont mes collègues et le vieux et tout le trimbala. — Это мои коллеги и старикан, и все, что отсюда следует *(фр.).*

С. 229 “Revue de Psychologie” — “Психологическое обозрение” *(фр.);* научный журнал.

Грегуар... жук-рогач... — аллюзия на Грегора Замзу, героя фантастической новеллы Ф. Кафки “Превращение”, просыпающегося однажды утром в обличье жука. Набоковед П. Стегнер полагает, что мы имеем дело с “костью, брошенной поклонникам Кафки”, чтобы те посмаковали сходство темпераментов у протагонистов произведений. Набоков с юмором и иронией обращает наше внимание на элементы сходства в “декорациях”, на фоне которых разворачивается действие, к тому же в обоих произведениях присутствуют фантастика, гротеск и поэтика сновидения-кошмара. Однако набоковские аллюзии не следует трактовать однозначно: если Грегор Замза — пассивная жертва фантастических обстоятельств кошмара, то Круг, кроме того, и автор, создатель “зловещего уклона” своей судьбы, он способен возвыситься над силами экзистенциального зла и взглянуть на них со стороны. Еще одно упоминание о Грегуаре есть в главе 16.

“Карточный замок” — картина Жана-Батиста-Симеона Шардена (1699—1779), хранящаяся в Лувре.

С. 230 ...с тяжелым опаловым перстнем... — опал издавна считался камнем, приносящим несчастье.

С. 231 Bonsoir, cher collègue... On m'a tiré du lit au grand désespoir de ma femme. Comment va la vôtre? — Добрый вечер, дражайший коллега. Меня вытащили из постели к большому неудовольствию моей жены. А как поживает ваша? *(фр.)*

...он не мог вспомнить имени этого французского генерала... — речь, видимо, идет о французском генерале и политическом дея-

теле Жорже-Эрнесте-Жане-Марии Буланже (1837—1891), очень популярном во Франции в 1880-х гг. Поначалу "демократ", затем тайный роялист, он запутался между двумя партиями и бежал из Франции вместе с госпожой Боннемен, с которой его связывала почти сорокалетня романтическая страсть, а после ее смерти покончил жизнь самоубийством.

"Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Et quand Octobre souffle..." — "Мертвые, бедные мертвые, сколько у них печалей. И когда задувает октябрь..." *(фр.)* — видимо, псевдоцитата.

terrains vagues — пустыри *(фр.)*.

culotte bouffante — портки *(фр.)*.

On va lui torcher le derrière, à ce gaillard-là — Ему утрут задницу, этому весельчаку *(фр.)*.

С. 232 chef — глава *(фр.)*.

С. 233 Глиман — фамилия Gleeman имеет значение "менестрель", так что она вполне соответствует его занятиям медиевистикой.

С. 234 Кивинаватин — как объяснял Набоков датскому переводчику романа, это слово представляет собой "телескопическую комбинацию "киватина", кристаллического сланца, относящегося к археозойскому — старейшему — геологическому периоду, и "киванавана" — субпериода протерозоя. *Лаврентианский* период также относится к археозою, а *пермский* — к палеозою. *Едва современный* и т.д. — частью существующие, частью выдуманные названия периодов геологического развития. *Кишащая упырями провинция Пермь* является "намеком как на ужасы советских трудовых лагерей, так и на эзотерический мир стихотворения Эдгара По "Улялюм" — "the ghoul-haunted woodland of Weir" (адекватного русского перевода, видимо, не существует). "Иными словами, — писал Набоков, — через все фазы земного развития, пока он поднимается в лифте сквозь многочисленные этажи американского небоскреба... это отдаленное прошлое мира в действительности все еще здесь, с нами, стоит лишь убрать несколько этажей, с его варварством..."

4

С. 235 à ses heures — одновременно *(фр.)*.

bouchées — печеньица *(фр.)*.

С. 236 Ils ont du toupet pourtant. — Однако они нахальны *(фр.).*

pauvres gosses — бедняжки *(фр.).*

С. 237 Клио — муза истории.

С. 238 modus vivendi — способ существования *(лат.).*

С. 239 ...один из ассистентов Малера... — аллюзия на австрийского композитора Густава Малера (1860—1911) в данном контексте обусловлена его гомосексуальными пристрастиями.

Шнейдер — по всей видимости, выдуманный авторитет.

С. 240 ...для яблока его тезки. — Адамова яблока (кадыка). В описываемой сцене мотив яблока связан с темой "грехопадения" Адама Круга. Не случайно здесь говорится, что у доктора Александера "сатанинский дар убеждения", и фигурирует ваза с яблоками.

С. 242 Жаба — прозвище Падука связано с шекспировским мотивом. См. комм. к главе 7.

en fait de souvenirs d'enfance — драгоценные воспоминания детства *(фр.).*

С. 243 Buxum biblioformis — пышнотелое книгообразное *(лат.).*

С. 244 sub rosa — строго конфиденциально *(лат.);* дословно "под розой" — по древней легенде Купидон подарил розу богу молчания и восходящего солнца Гарпократу, чтобы тот не выдавал любовников Афродиты. Римляне вешали розы или изображали их над пиршественными столами в знак того, что застольных разговоров передавать другим не следует. В XVI в. изображение розы помещалось над католической исповедальней.

savoir vivre — светский такт *(фр.).*

С. 245 per se — сами по себе *(лат.).*

С. 246 Бедекер — общее название разнообразных путеводителей для туристов; по имени Карла Бедекера (1801—1859), издавшего в 1839 г. в Кобленце первый путеводитель такого рода.

С. 248 malarma ne donje — первое упоминание темы фавна С. Малларме, закамуфлированное текстом на вымышленном языке. См. комм. к главе 5.

Хедрон — здесь раскрывается смысл этой фамилии: hedron — вторая часть сложносоставных названий геометрических фигур (напр., polyhedron — "многогранник"). "Многогранник" Хедрон много уязвимее "круглого" Круга.

Никто не тронет наших кругов... — аллюзия на классическую фразу Архимеда, погибшего, согласно легенде, при падении Сиракуз. Когда в его дом, где Архимед сидел на полу, посыпанном песком, и чертил на нем геометрические фигуры, ворвался один из занятых грабежом римских солдат, Архимед встретил его словами: "Не тронь моих кругов!" — и был тут же убит. И Круг, и его коллеги пребывают в заблуждении, будто он недосягаем для режима.

С. 251 Крупным планом, пожалуйста! — Это можно воспринимать как указание "постановщика сна" (см. главу 5) своему оператору. Набоков применяет целую серию взаимосвязанных приемов, призванных разрушить иллюзию правдоподобия происходящего и подчеркнуть условность текста. Среди них не только усложнение взаимоотношений между автором и героем и стилизация под описание дурного сна, но и интерпретация действия как некоего спектакля или киносъемки, поэтому здесь фигурируют режиссер, статисты, рабочие сцены, бутафория, кулисы, грим и т. п. Яркий пример набоковской театрализации — "Приглашение на казнь", а в данном романе (как, впрочем, и в "Лолите") она соединяется еще и с киностилистикой.

С. 252 Лаокоон — сын Приама и жрец Аполлона, вместе с двумя сыновьями задушенный змеями, посланными богами, за то, что он оскорбил Аполлона (или — по другой версии — пытался помешать перенесению в Трою оставленного греками деревянного коня). Здесь имеется в виду высеченная из одного куска мрамора (что, впрочем, было оспорено изучавшим эту скульптуру Микеланджело) знаменитая античная скульптурная группа, найденная в 1506 г. в Риме и хранимая в Ватикане.

qui m'effrayent, Blaise — что страшат меня, Блез *(фр.)*. Подразумевается Блез Паскаль (1623—1662), "Мысли" которого Круг читал еще юношей (см. главу 9).

5

С. 255 Падук — имя диктатора вызывает целый ряд смысловых ассоциаций, что подробно освещается в набоковедческой литературе (см., напр., исследования Д. Бартона Джонсона и Л. Л. Ли). Англоязычному читателю это имя напоминает устаревшее paddock (жаба), которое соотнесено в шекспировском "Гамлете" с понятием зла, и Набоков усиливает зловещую ассоциацию, давая Падуку в качестве школьного прозвища современный сино-

ним этого слова — toad, созвучный немецкому Tod (смерть). Вспоминая о том, как однажды, еще в школьные годы, склонный к гомосексуализму Падук коснулся губами его руки, Круг с отвращением говорит: "Поцелуй Жабы", и эта реплика воспринимается как аллюзия на Todeskuss — "поцелуй смерти" по-немецки. У человека, говорящего и читающего по-русски, фамилия диктатора может вызвать ассоциации со словами "паук" (на паука похожа эмблема возглавляемого им режима) и "падучая" (эпилепсия), а франкофон мог бы прочесть его как "pas duc", т.е. "не герцог", и переосмыслить следующим образом: хотя Падук и стоит во главе государства, он не великий вождь, а ничтожество. Наконец, семантическая связь этой фамилии с глаголом "падать" увязывает ее с мотивом наклонной черты и темой левого/правого уклона.

collier de chien — ошейник *(фр.)*.

С. 257 en laid — постыдное *(фр.)*.

...что все вообще люди состоят из одних и тех же двадцати пяти букв, только по-разному смешанных... — Будущий вождь эквилистов сознательно не признает одной из букв латинского алфавита; это буква "I" — личное местоимение "я" в английском языке.

...мы не можем припомнить... — Набоков сознательно усложняет проблему авторства: за "мы" может скрываться Круг, сам Набоков или оба "соавтора".

С. 263 Фрадрик Скотома — имя престарелого основоположника эквилизма (Fradrik Skotoma), согласно Л. Л. Ли, является транслитерацией новогреческого слова, означающего "убийство". Д. Бартон Джонсон отмечает этимологическую связь с медицинским термином scotoma, имеющим значение "частичная потеря зрения": к аналогичной потере политического зрения ведет принятие идей эквилизма, ставящего своей целью усреднение всего сущего, в том числе и человеческого сознания. У русскоязычного читателя имя теоретика не может не вызвать ассоциаций со скотством, что, безусловно, учитывал писатель. Имя Фрадрик напоминает о Фридрихе Энгельсе, а фамилия Маркса анаграмматически "упрятана" в имени и фамилии классика эквилизма.

enfant terrible — несносное дитя *(фр.)*.

С. 264 ci-devant — бывший *(фр.)*.

поэт-лауреат — поэт при дворе английской королевы, в настоящее время назначаемый премьер-министром. Его обязаннос-

тью являлось писание од по случаю коронации, к дням рождения членов королевской семьи и иным государственным праздникам. Ныне — почетное звание, присваиваемое наиболее видным поэтам и дающее постоянное жалование.

С. 269 "le sanglot dont j'étais encore ivre" — "спазм, которым я был пьян" *(фр.)*; строка из стихотворения "Послеполуденный отдых фавна" Стефана Малларме (перевод Т. Щербины). Тема истомленного фавна заявлена и будет позднее развита в связи с Мариэттой. См. также авторское "Предисловие к третьему американскому изданию". Эта же строка Малларме занимает Федора Годунова-Чердынцева в главе 5 "Дара".

С. 270 ...жалость и стыд его достигли зенита... — эпизод перекликается с известной сценой из "Приглашения на казнь", в которой Цинциннат разбирает себя на части, а затем собирает вновь. Упомянутый "зенит" стоит соотнести с "влажным сном Амлета" (см. комм. к главе 7).

6

С. 271 in toto — полностью *(лат.)*.

Стратфорд-на-Авоне — город, в котором родился и умер Шекспир.

С. 275 Поцелуй Жабы. — См. комм. к главе 5.

С. 276 Je resterai coi. — Я сохраню покой *(фр.)*.

С. 286 Bon Voyage! — Счастливого пути! *(фр.)*

С. 288 kappen — шапки *(нем.)*.

С. 289 Злосчастное озеро — в оригинале well-named (буквально "удачно названное"), что подчеркивает авторский контроль над игровым текстом. Название озера Малёр восходит к *фр.* malheur — "беда, несчастье".

7

Текст этой главы пронизан цитатами из "Гамлета" и аллюзиями на некоторые темы, связанные с полемикой вокруг шекспировского наследия. Шекспир для Набокова важен по целому ряду причин, главная из которых, как отмечает Д. Бартон Джонсон, — то особое место, которое великий драматург занимает в англоязычной культуре. "Под знаком незаконнорожденных" стал пер-

вым романом, написанным Набоковым на американской земле, и в нем автор отвел шекспировским темам примерно такую же роль, какую в своих русских романах он отводил пушкинским. При этом шекспировские подтексты здесь тесно переплетаются с джойсовскими, что дополнительно оттеняет художественные приоритеты Набокова. Другая причина, по мнению Л. Л. Ли, состоит в том, что Шекспир — крайне загадочная фигура в истории литературы, искусный мистификатор, трудноразличимый в тени собственных произведений и вместе с тем населяющий их приметами авторского присутствия, — этим принципам следует в своем творчестве и сам Набоков. Творения Шекспира существуют вне времени, они вошли в категорию вечно значимого, а сам он — поэт на все времена. И еще одну причину указывает Б. Бойд: Шекспир стал олицетворением той высшей духовной силы, которую возможно противопоставить убожеству среднестатистических этермонов.

Цифры в ссылках на "Гамлета" означают: первая — действие, вторая — явление, третья — строку (по каноническому кембриджскому "Новому Шекспиру"). Знак * означает, что фраза или слово дается в переводе М. Лозинского, ** — Б. Пастернака.

С. 289 Три гравюры... джентльмена шестнадцатого столетия... простоватый малый, держащий в левой руке пику и украшенную лаврами шляпу. — Все три гравюры — насмешливый комментарий к знаменитой шекспир-бэконовской контроверзе (так называемый "шекспир-бэконовский шифр"), основным содержанием которой является разделяемое немалым числом лиц мнение о том, что малообразованный провинциал (да еще с плохим почерком — осталось, впрочем, лишь два автографа, дающих основание полагать, что Шекспир был левшой) не мог написать таких замечательных пьес, а написал их кто-то другой (Бэкон — Марло — Рэтленд — Саутгэмптон — ...), человек солидный и известный, которому не с руки оказалось обнаруживать неприличествующую своему положению страсть к поэзии, из-за чего он и купил у Вилли Шекспира право использовать его имя, уже запятнанное актерством, ростовщичеством и браконьерством. Мнение это разделял в молодые годы и сам Набоков (см. его раннее стихотворение "Шекспир"). Л. Л. Ли удалось определить происхождение двух первых гравюр: они были напечатаны на титульном листе труда Густава Селена (Gustavus Selenus), опубликованного в Линебурге в 1624 г. Этим томом пользовался один из первых английских бэконианцев сэр Эдвин Дарнинг-Лоуренс, чтобы доказать, что автором шекспировских пьес был Фрэнсис Бэкон.

Заметьте эту левизну... — То, что изображенный на гравюре человек держит пику именно в левой руке, нуждается в особых пояснениях. Во-первых, Shakespeare дословно значит "потрясающий пикой". Во-вторых, наклоненная пика — одно из многочисленных обыгрываний темы наклонной полосы на гербе, формально свидетельствующей о незаконнорожденности. В-третьих, "уклон" на протяжении всего романа последовательно *левый*, что можно трактовать и в политическом плане (антикоммунизм), и в философско-оценочном ("левизна" как синоним аномальности). Последнее подтверждается тем, что Шекспир к тому же левша.

*..."вот в чем вопрос"**... мосье Оме...* — Первое — из третьего монолога Гамлета (3.1.56). Мосье Оме "забрел" сюда из флоберовской "Госпожи Бовари".

le journal d'hier — вчерашняя газета *(фр.)*.

Первое фолио — одно из первых изданий произведений Шекспира, с портретом (1623).

Ink, a Drug — Частично ученую шутку раскрывает сам автор, так как анаграмматически упрятанная в подписи "грудинка" увязывает ее с "шекспир-бэконовским шифром". Вместе с тем она имеет и буквальный смысл: "Чернила — это яд (лекарство; наркотик)". Та же тема продолжается в надписи *"Ham-let, или Homelette au Lard"*, что можно перевести как "Окорочок взаймы, или Яичница с беконом" *(англ. и фр.)*. Наконец, как указал Д. Бартон Джонсон, Grudinka — это неполная анаграмма имени Ad. Krug.

шапска — попытка произвести фамилию Шекспир из слова "шапска" (шапка) из придуманного автором куранианского языка.

"В Хай-Уиком" — Хай-Уиком — городок, лежащий по дороге из Стратфорда-на-Авоне в Лондон, неподалеку от Оксфорда. П. Х. Дитчфелд в своей "Англии Шекспира" (Лондон, 1917) перечисляет города, через которые проезжал или проходил Шекспир, путешествуя по этой дороге: Стратфорд — Шинстон — Лонг-Комптон — Вудсток — Хай-Уиком — Биконсфильд — Аксбридж — Лондон. Отметим еще, что в избирательном округе Уикомб имеется район Марлоу (Marlow — почти Marlowe, Christopher — один из "теневых Шекспиров"). Нельзя, наконец, не вспомнить и о загадочном господине У. Х., "коему обязаны своим появлением нижеследующие сонеты", — с таким посвящением сонеты Шекспира были изданы в 1609 г. Томасом Торпом.

...он — Шакспир, она — Уотли... он — Шагспир, она же — Хатуэй... — две противоречивые записи в церковной книге Стратфорда (одна об обручении, другая о браке).

С. 290 Вильям Икс, прехитро составленный из двух левых рук и личины. — Вильям Икс — это (в другой транскрипции) те же инициалы У. Х., о которых шла речь выше. Из "двух лиц и личины" (маски) составлен, по утверждению уже упомянутого ранее сэра Эдвина Дарнинга-Лоуренса, портрет Шекспира в Первом фолио. Набоков втягивает нас в игру, которую не следует принимать (во всяком случае, в той части, которая имеет отношение к "шекспир-бэконовской контроверзе") слишком серьезно. Известно, что писатель сказал о Пушкине: "Он обманщик, как все художники". То же может быть распространено и на Шекспира.

первоцвет — метафора "путь первоцвета" (путь жизненных наслаждений) встречается в 1.3.50 (см. также "Макбет", 2.3.21).

С. 291 ...обладают по крайней мере тучностью... — "He's fat, and scant of breath" (Он тучен и одышлив*), — говорит Королева во время поединка Гамлета с Лаэртом (5.2.285). Вообще говоря, это может означать "Он вспотел и запыхался". Но поскольку сам Гамлет в разговоре с Озриком имел несчастье пошутить над своей комплекцией (5.2.103), "тучен и одышлив" пристало к нему плотно.

Кронберг — видимо, подразумевается Андрей Иванович Кронеберг (1814—1855), талантливый переводчик, более всего известный переводами Шекспира (хотя почти все переводы, печатавшиеся в "Современнике" в 1847—1852 гг., принадлежат ему же). Перевод "Гамлета" вышел в 1844 г. в Харькове. Нужно отметить, что Кронеберг несколько вольно обходился с переводимыми произведениями.

профессор Гамм — фамилия Гамм (Hamm) созвучна не только имени Гамлет (Hamlet), но и американскому сленгизму ham (плохой актер; плохая игра). Кроме того, она может восприниматься как продолжение шуточной темы из начала главы, если учесть смысловую связь с ham в значении "ветчина" и Фрэнсисом Бэконом.

"Подлинная интрига 'Гамлета'" — В 1934 г. в серии "The New Shakespeare" (Cambridge Univ. Press) вышел "Гамлет" под редакцией и с комментарием авторитетного профессора Дж. Д. Уилсона. Издание этой серии началось в 1921 г., но подготовительные работы производились и раньше. Уилсон начал работать над "Гамлетом" в 1917 г., будучи еще аспирантом. С 1919 по 1924 г.

еще аспирантом. С 1919 по 1924 г. там же, в Тринити-колледже, учился Набоков. Можно с уверенностью утверждать, что он знал Уилсона лично. Перу Уилсона принадлежит также труд "What Happens in 'Hamlet' " ("Что происходит в "Гамлете"). Естественно предположить, что профессор Гамм с его "истинной интригой "Гамлета" является пародией на Уилсона. Некоторые особенности аргументации последнего (см. ниже) весьма напоминают аргументацию первого. Следует, однако, отметить, что в написанном Уилсоном нет и следа расистских и тоталитаристских воззрений, столь явственных в писаниях профессора Гамма. Некоторые утверждения Гамма, по мнению Л. Л. Ли и Б. Бойда, являются прямыми цитатами или частично совпадают с суждениями немецкого комментатора "Гамлета" XIX в. Франца Хорна, высказанными в работе 1823 г.

*потрясение*** — Горацио о будущем Дании (1.1.69).

...на попытке... вернуть земли... — О поединке отца Гамлета и Фортинбраса-старшего и о намерениях Фортинбраса-младшего рассказывает Горацио (1.1.80—108). Излагаемая Гаммом идея разделялась многими авторитетами (в особенности почему-то русскими и немецкими). Так, Дитрих полагал, что основная цель Гамлета — не месть за отца, а восстановление прав Фортинбраса ("грехи отцов" и т.п.).

С. 292 Кид, Томас (1558—1594) — автор не сохранившегося пра-"Гамлета", которым, как полагают, воспользовался Шекспир, с наслаждением пивший из чужого стакана.

*на сердце тоска*** — слова Франциско (1.1.8).

дегенеративный... жидо-латинянин Клавдий. — Суждения Гамма о двух датских королях, конечно, неосновательны. Старый Гамлет вовсе не был дегенератом, если верить на слово Горацио и Гамлету-младшему. "Латинянин" еще понятен (с этим согласен и Уилсон) — итальянское имя, итальянская приверженность к решению государственных вопросов с помощью яда, но "жидо-" — это уже от нордической раздражительности.

verbum sine ornatu — слово без прикрас *(лат.).*

Шейлок — ростовщик, центральный персонаж трагедии Шекспира "Венецианский купец".

С. 293 Трех тысяч червонцев... Польши... — На самом деле червонцев было гораздо больше, Гамм напутал. Три тысячи — это годовое содержание молодого Фортинбраса (2.2.73). На польскую кампанию было потрачено 20 тысяч (4.4.25). "Неделя наличного

времени" — также неверно. Между отъездом Гамлета в Англию (по дороге в гавань он встретил войска Фортинбраса) и возвращением Гамлета и Фортинбраса проходит 2—3 недели (Лаэрт успевает получить в Париже известие о смерти отца, вернуться на родину и поднять мятеж). Гамм явно искажает факты в угоду своей концепции.

Пропивший свой разум Клавдий... — О склонности Клавдия и вообще датчан к пьянству в "Гамлете" упоминается неоднократно.

..."вперед не торопясь"... * — "go softly on" (4.4.8).

...отправив Капитана с поклоном к Клавдию... — (4.4.1).

innerliche Unruhe — внутренняя смута *(нем.)*.

Яд... в ухо... — из рассказа Призрака об отравлении (1.5.63).

партер времен Шекспира — частая у Уилсона апелляция.

..."кары"... "убийства"... — из рассказа Горацио Фортинбрасу и английским послам (5.2.379 — 382).

свидетель Горацио — умирая, Гамлет просит Горацио рассказать "правду обо мне непосвященным" ** (5.2.341—349).

...вся эта кровь... * — отнюдь не радостное восклицание Фортинбраса (5.2.362).

...все, что осталось от гнили датской державы. — "Какая-то в державе датской гниль"** — слова Марцелла (1.4.90).

"...старый крот!" — восклицание Гамлета, обращенное к Призраку (1.5.162).

...обращался к черепу шута... — т. е. "бедного Йорика" (5.1.183).

*"Побежала пигалица со скорлупкой на макушке"** — слова Горацио об Озрике (5.2.186).

Мешая язык судна с языком посудной лавки... — прямое заимствование у Уилсона ("ship and shop"). Возможно, впрочем, что и Уилсон позаимствовал этот каламбур у кого-то еще.

Один из блистательнейших шпионов молодого Фортинбраса. — Уилсон считает Озрика если и не шпионом, то, во всяком случае, соучастником заговора Короля и Лаэрта.

Падок — эта оговорка Эмбера не случайна (см. ниже).

"bref, la personne en question" — "короче, упомянутая особа" *(фр.)*.

С. 295 ...с / Глумленья призраков... — парафраз рассказа Горацио:

В высоком Риме, городе побед
В дни перед тем, как пал могучий Юлий,
Покинув гробы, в саванах, вдоль улиц
Визжали и гнусили мертвецы;
Кровавый дождь, косматые светила,
Смущенья в солнце, влажная звезда,
В чьей области Нептунова держава
Болела тьмой, почти как в судный день...*

Схожее описание есть и в "Юлии Цезаре" (2.2.18—24). Оба описания восходят к Плутарху.

поруганная луна — точнее, "закутанная луна" (mobled moon) — производное от mobled queen ("Ужасен вид поруганной царицы"** и т.д.) из монолога Первого актера (2.2.507).

русалочий хвост — см. ниже.

помост перед замком — сценическое указание в (1.1).

Жаба... в любимом садовом кресле... — У старого Гамлета была привычка спать после обеда в саду (ею и воспользовался Клавдий). "Жаба" — так называет Клавдия Гамлет, порицая Гертруду (3.4.190). Здесь следует сказать, что Гамлет пользуется не словом toad (Toad — Жаба, кличка Падука), а гораздо более негативно окрашенным paddock, которое у Шекспира увязывается с идеей зла. Стало быть, вопреки уверениям Круга о том, что никто не знал, почему Падука прозвали Жабой, сам Набоков прекрасно об этом знает. Конкретное зло, исходящее от Падука, можно соотнести с фабулой "Гамлета", только у Набокова ситуация перевернута: если Клавдий становится убийцей отца Гамлета, то Падук — сына Круга.

...ухает пушка — пьет новый король. — Привычка Клавдия сопровождать пушечной пальбой всякое возлияние упоминается в "Гамлете" дважды (1.2.125—126, 5.2.275—276).

невыполотый сад, заросший бурьяном... "самоубийство" — все это взято из первого монолога Гамлета (1.2.135—136, 142).

Гамлет в Виттенберге... — Гамлет действительно учился в Виттенбергском университете (1.2.113).

Дж. Бруно — Джордано Бруно (род. в 1548 г., сожжен в 1600 г., реабилитирован в 1980-х гг.) читал в Виттенберге лекции (1586—1588) после того, как его изгнали из Марбурга. Первое упоминание современников Шекспира о представлениях "Гамлета" (не ясно, впрочем, Кида или Шекспира) относится к 1591—1594 гг. В "Гамлете" немало упоминаний о современных

Шекспиру событиях (разговор о театральных делах в 2.2, намеки на осаду испанцами Остенде в 1601—1602 гг. — не поздняя вставка, как полагают). Однако профессор Дж. Бруно не упоминается.

...в двенадцатом часу... за полночь. — (1.2.252 и 1.4.3—4).

мертвая Крыса — воскликнув: "Что? Крыса?"* — Гамлет убивает Полония, прячущегося за ковром (3.4.23), и в конце этой сцены уволакивает его — не "в какой-то проход", а в часовню, где и положено быть покойнику.

швейцарцы с факелами — интерполяция; Клавдий кричит: "Швейцарцы где?"** (4.5.97).

Гамлет в бушлате — из рассказа Гамлета о его морских приключениях (5.2.13).

С. 296 ...Розенстерн и Гильденкранц, кроткие взаимозаменяемые близнецы... — На самом деле Розенкранц и Гильденстерн. Набоков нередко пользуется приемом создания гибридных пар имен персонажей, когда хочет подчеркнуть их взаимозаменяемость и двойничество. Отметим пару Геликс и Ферман в "Отчаянии" или упоминание о Доброшевском и Чернолюбове в "Смотри на арлекинов!"

..."пришли... умереть"... — скорее всего, мнимая цитата.

...Р., крадущегося за Л. Латинским кварталом... — Рейнальдо, слуга Полония, посланный им в Париж следить за Лаэртом.

...Полония ... спектакле... — из разговора между Гамлетом и Полонием (3.2.95—101):

ГАМЛЕТ. Милорд, вы играли на сцене в бытность свою в университете, не правда ли?

ПОЛОНИЙ. Играл, милорд, и считался хорошим актером.

ГАМЛЕТ. Кого же вы играли?

ПОЛОНИЙ. Я играл Юлия Цезаря. Меня убивали в Капитолии. Брут убил меня.**

...череп, обрастающий чертами живого шута... — см. выше.

...старого здоровяка... по льду. — из воспоминаний Горацио о старом Гамлете (1.1.62—63). Набоков объединяет два противоположных прочтения этого темного места:

when in an angry parle
He smote the sledded Polacks on the ice.
(Вот так он хмурился, когда на льду
В свирепой схватке разгромил поляков*.)

В Первом фолио: "sledded Pollax", в Первом и Втором кватро: "sleaded pollax". Вот эти "поляки на салазках" были некоторыми прочитаны как "leaded (или sledged) poleaxe", т.е. "освинцованный (или сокрушительный) боевой топор". Тень этого топора еще раз мелькнет в главе 17.

"Les Funérailles" — "Похоронный марш" *(фр.)*.

...другой русалочий отче... — речь идет о Джойсе (см. также ниже). Интересно, что для обозначения русалки (mermaid по-английски дословно "морская дева") Набоков придумал неологизм rivermaid, подчеркнув ее речную принадлежность. Данное в оригинале "another rivermaid's father" можно было бы передать еще и как "отче другой русалки", и этой русалкой стала бы Анна Ливия Плюрабель из "Поминок по Финнегану". Подобно "Под знаком незаконнорожденных", это роман-сновидение и имеет гамлетовский подтекст.

pièce de résistance — главная изюминка *(фр.)*.

Ива, венок, гирлянда — из рассказа Королевы о смерти Офелии.

С. 297 Нова-Авон — видимо, плод любви Набокова к перевертышам: ни в "Британнике", ни в "Американе", ни в атласе "Таймс" ничего, кроме "старого" Эйвона (Avon), не обнаруживается. Возможно, это гибрид Авона с Новым Афоном.

..."эх, на-ни"... — Офелия действительно напевает что-то похожее: "Hey non nonny, nonny hey nonny" (4.5.165).

старинные гимны — из рассказов Королевы.

Orchis mascula — Перечисляя цветы, из которых Офелия свила гирлянды, Королева (в 4.7.168) приводит два названия одного из цветков — "красные хохолки" и "персты покойника" — и упоминает о существовании третьего, бытующего среди "вольных" (на язык) пастухов. Вольные пастухи называют этот цветок "ползучей вдовой". На самом же деле это ятрышник (Orchis masculata, близкий родственник орхидей), почитаемый в народе средством укрепления мужской силы. Перевод научного названия ("мужские ядра", чтоб не сказать хуже) заставил бы, верно, покраснеть и "вольного пастуха".

...влюбленной пастушки, жившей в Аркадии. — Имя Офелии, как принято полагать, заимствовано Шекспиром из популярного в Англии пасторального романа итальянского писателя XV в. Санадзаро "Аркадия", где его носит влюбленная пастушка (Ofelia).

..."Winnipeg Lake", журчание 585, изд-во "Vico Press"... — еще одна ироническая аллюзия на Джойса. Набоков сам указывает на это в "Предисловии", имея в виду "Finnegans Wake", в котором W и F поменялись местами, причем F сделала неудачное сальто и потеряла нижнюю перекладину, а устрашающий кол (ganch) превратился в кроткий колышек (peg). В названии издательства обыгрывается имя итальянского философа Джамбатиста Вико (1668—1744), выдвинувшего теорию исторического круговорота — развития всех наций по циклам, состоящим из трех эпох. Каждый цикл кончается общим кризисом и распадом данного общества. Идеи Вико повлияли на многих писателей, в том числе на Джойса и на Набокова: у Джойса в "Поминках по Финнегану" это отразилось в кольцевой структуре текста, а у Набокова — в главе 4 "Дара" и новелле "Круг". Номер иронически определенного как "журчание" раздела книги — 585 — также подчеркивает идею цикличности и повторяемости (две пятерки обрамляют восьмерку).

Амлет — архаичная и долго бытовавшая форма имени Гамлет. Так звали и первого сына Шекспира, рано умершего (1584—1596).

летейская русалка — в рассуждения Эмбера о скрытом смысле имени Офелия и его этимологии Набоков вкладывает множество сведений, заимствованных у комментаторов Шекспира, в частности Джона Рескина и Ч. Эмота Брауна. Упоминание русалки является, быть может, аллюзией на раннее (1819) стихотворение Пушкина "Русалка", в котором "прекрасная дева" завлекает в гибельную пучину монаха-отшельника, предвещающей таким образом появление погубившей Давида и Адама Мариэтты. Столь же возможным представляется и соотнесение с более поздней пушкинской драмой "Русалка", к которой Набоков написал шутливое завершение (опубл. в 1942 г.), оканчивающееся авторской ремаркой "Пушкин пожимает плечами". Эту соотнесенность можно проиллюстрировать фрагментом из главы 16: "Это был ваш последний ша-анс", — *пропела* она на *той особой растущей ноте*, которая порождает легкую *зыбь* вопрошания, *струистое отражение* знака вопроса".

...ухлестывал за немецкими горничными... — в Виттенберге.

...флиртуя с Озриком. — Интерполяция Набокова.

Прекрасная Офелия. — "the fair Ophelia" — Гамлет дважды называет ее так (3.1.88 и 5.1.236). Выпад в адрес Первого фолио снова напоминает об Уилсоне.

С. 298 персты покойника — см. выше.

...я любил ее, как сорок тысяч братьев... — из сцены на кладбище (5.1.263).

Ламонд у Шекспира Lamord, но в русских переводах традиционно стоит Ламонд — нормандский дворянин, славный наездник, фехтовальщик и вообще "перл известный"; о нем говорят Король с Лаэртом (4.7.81—93), следы его визита в Данию неявно присутствуют и в разговоре Гамлета с Горацио (5.2.208—209).

...застудил себе затылок... — затылок покоился на коленях Офелии (3.2.110—113).

ундина — онемеченная нимфа ("Офелия, о нимфа..." — 3.1.88).

l'aurore grelottant en robe rose et verte — зыбкая заря в зеленорозовом уборе *(фр.).*

...становится сынком Улисса... — отметим, что отца Улисса звали Лаэртом (Овидий, "Метаморфозы", XIII.48), и Шекспиру это было известно (см."Тит Андроник",1.1.380). Мы вновь получаем напоминание о джойсовском подтексте.

"Worte, worte, worte". — "Слова, слова, слова" *(нем.).*

Чишвитц (Tschischwitz) — немецкий толкователь Шекспира XIX в. Уилсон дважды ссылается на него. Помимо нескольких небезынтересных наблюдений, его труды содержат такие, например, нелепости, как утверждение, что Гамлет излагает на кладбище (в связи с Цезарем и Александром — 5.1.197—210) атомистику все того же Джордано Бруно.

soupir de petit chien — щенячий чих *(фр.).*

С. 299 Гете, Иоганн Вольфганг (1749—1832) — цитируется "Вильгельм Мейстер".

*О ужас, ужас, ужас!*** — "O, horrible! O, horrible! most horrible!" — восклицание Призрака, расстроенного собственным рассказом (1.5.80).

С. 300 ...книгу... другую *красную.* — Книги Уилсона ("Гамлету" было посвящено две из них), как и весь кембриджский "Новый Шекспир", вышли в красных переплетах.

Вестовой... принес... — (4.7.39—41).

"Bestrafter Brudermord" — "Наказанное братоубийство" — немецкий экземпляр "Гамлета", обнаруженный в Германии в XIX в. и принятый сгоряча за пра-"Гамлета" Кида (в немецком переводе), — отсюда и "немецкий оригинал". Ныне он считается переводом со списка, завезенного редуцированной гастрольной

группой (число персонажей уменьшено). Озрика заменяет в нем клоун Фантазмо, роль которого исполняет актер-комик.

...лет двадцать назад... он сменил Йорика. — Йорик умер за двадцать три года до описываемых в "Гамлете" событий (5.1.167).

*отец благих вестей** — так называет Полония Клавдий (2.2.42).

С. 301 Ubit' il' ne ubit'? Vot est' oprosen... — приведем перевод самого Набокова, сделанный в 1930 г.:

Быть или не быть? Вот в этом
вопрос: что лучше для души — терпеть
пращи и стрелы яростного рока
или, на море бедствий ополчившись,
покончить с ним?

over yon brook there grows aslant a willow... — на самом деле это перевод только что процитированного русского перевода обратно — на шекспировский английский. У Шекспира (4.7.165—168):

There is a willow grows askant the brook
That shows his hoar leaves in the glassy stream
Therewith fantastic garlands did she make
Of crow-flowers, nettles, daisies, and long purples...

В набоковском переводе 1930 г.:

Есть ива у ручья, к той бледной иве,
склонившейся над ясною водой,
она пришла с гирляндами ромашек,
крапивы, лютиков, зеленой змейки,
зовущейся у вольных пастухов
иначе и грубее, а у наших
холодных дев — перстами мертвых. Там...

С. 303 "russet" — грубая красно-коричнево-серая кожа (соответственно цвет). Горацио (1.1.166): "...the morn in russet mantle" ("...утро, рыжий плащ накинув"*). Уилсон, обсуждая это слово, говорит о работнике, взбирающемся на холм для дневных трудов, перекинув плащ через плечо.

"laderod kappe" — это снова russet, но уже в переводе на язык Эмбера и Круга. Дать обратный перевод довольно трудно. Средневековые kappen уже встречались в главе 6 — это "шапка, колпак, капюшон, ермолка". Lader — "грузчик". Возможно, что rod — это искаженное rote — "красный". В этом случае получаем "красный колпак грузчика".

С. 305 Gott weiss was — Бог знает что *(нем.).*

und so weiter — и так далее *(нем.).*

С. 306 Банальная служебная принадлежность, номер 184682... — Сам автор, похоже, преувеличивает степень банальности данного пистолета и сознательно вводит нас в заблуждение: его номер ("знакомый номер с шестеркой посередине") предсказан в главе 3.

С. 307 Heraus, Mensch, marsch — Ну-ка, братец, марш отсюда *(нем.).*

С. 309 Et voilà ... et me voici ... Un pauvre bonhomme qu'on traîne en prison. — Ну вот... и я тоже... Бедняга, которого тащат в тюрьму *(фр.).*

Je suis souffrant, je suis en détresse. — Я страдаю. Я убит *(фр).*

coup d'état — государственный переворот *(фр.).*

Liebling — любимый *(нем.).*

Il est saoul. — Он надрался *(фр.).*

Il est complètement saoul. — Он жутко надрался *(фр.).*

8

С. 311 ancien régime — старорежимный *(фр.).*

9

С. 312 chambre violette — фиалковая гостиная *(фр.).*

С. 314 "Les Pensées" — "Мысли" Блеза Паскаля (см. комм. к главе 4).

à pas de loup — волчья поступь *(фр.)*; балетный термин.

Тарраш, Зигберт (1862—1934) — немецкий шахматист и издатель шахматной литературы.

11

С. 318 ...десятка два смуглых армянских и сицилийских мальчиков... — гарем из мальчиков снимает последние сомнения относительно сексуальной ориентации Падука.

eunig — вероятно, "евнух" на местном наречии.

...pour la bonne bouche. Notamment, une grande pièce bien claire... — для любителей изысканных блюд. Действительно, очень большая и светлая комната *(фр.)*.

С. 322 Erlkönig — Король эльфов *(нем.)*. Это слово стоит в названии баллады Гете, известной у нас в переводе Жуковского как "Лесной царь". В ней рассказывается, как мальчика, которого ночью везет на лошади отец, король эльфов забирает в царство смерти. В данном романе роль "короля эльфов" Набоков отводит Падуку.

С. 323 антропоморфное божество — одно из самых откровенных указаний в тексте на контроль автора над разыгрывающимся по его сценарию фарсовым представлением. "Антропоморфное божество" — это сам Набоков.

С. 324 Эберхард Фабер (1822—1879) — один из представителей немецкой династии Фаберов, с 1761 г. производящей в Германии карандаши. Эберхард Фабер в 1848 г. перебрался в Америку и основал там собственное, процветающее и поныне дело, открыв первую карандашную фабрику в 1861 г.

Граaф — возможно, вымышленный авторитет.

С. 325 "Юноша в голубом", или "Голубой мальчик" — портрет кисти английского живописца Томаса Гейнсборо (1727—1788), хранящийся в Вестминстерской галерее.

"Альдобрандинская свадьба" — древняя фреска, найденная в Риме в 1606 г. и получившая название от кардинала Альдобрандини, первого ее владельца. Ныне находится в Ватикане, копия в Эрмитаже.

sotto voce — приглушенно *(ит.)*; музыкальный термин.

С. 326 ...мечта Платона... — подразумевается платоновская модель идеального государства, образованного тремя сословиями: философы-правители, воины и труженики (при возможном наличии рабов из пленных варваров). Последнему сословию дозволяется обладание частной собственностью и обзаведение единоличным семейством, у первых же двух все имущество, а также жены и дети являются общим достоянием.

12

С. 328 Ориньякская эпоха — один из этапов палеолита, получивший название от селения Ориньяк в Пиренеях, в одной из

пещер в окрестностях которого исследователь Э. Ларте сделал крупное археологическое открытие. К этой эпохе относят появление первых образцов наскальной живописи, как правило изображений животных.

Пещеры Альтамиры — открытые в 1897 г. маленькой дочерью археолога Марселино де Саутуола в испанской провинции Сантандер пещеры с великолепными стенными росписями эпохи палеолита.

...священники, нервные дамы и отставные полковники, хлебнувшие службы в Индии... — возможно, аллюзия на роман Э. М. Форстера "Поездка в Индию" (1924), где происходящие в Марабарских пещерах таинственные события приводят к прозрению впечатлительной героини миссис Мур.

illusions hypnagogiques — гипнотические иллюзии *(фр.)*.

С. 329 ...папирус, который человек по имени Ринд купил у каких-то арабов... — подразумевается знаменитый "папирус Ринда", древнейший памятник математической литературы (1700 г. до Р. X.), вывезенный из Египта английским египтологом Генри Риндом и хранящийся в Британском музее. Папирус озаглавлен "Наставление, как достигнуть знания всех неизвестных вещей... всех тайн, содержащихся в вещах" и содержит разного рода математические таблицы практического характера. Среди прочих в этом папирусе давалась формула для нахождения *площади круга*. Как известно, не зная числа π, площадь круга определить невозможно, а это число открыл Архимед, упоминавшийся уже в главе 4 в связи с Адамом Кругом.

Рамессеум — название гробницы египетского фараона Рамзеса II, обширные развалины которой находятся на западном берегу Нила близ Фив.

...строки из знаменитой американской поэмы... — см. "Предисловие".

С. 330 галилейские рыбы — здесь и далее подразумевается "чудесная рыбная ловля", описанная в Евангелии от Луки (5.4—7).

Тит, Флавий Веспасиан (41—81) — римский император. Построил римские акведуки, термы и завершил строительство Колизея, начатое его отцом Флавием Веспасианом. Во время продолжавшихся сто дней празднеств по освящению Колизея было убито девять тысяч диких животных и множество гладиаторов.

Нерон, Клавдий Тиберий Германик (37—68) — римский император. Известен жадностью, сластолюбием и артистическими

наклонностями. Набоков подчеркивает сходство между жестокими диктаторами древнеримской и современной эпох.

Де Ситтер, Виллем (1872—1934) — нидерландский астроном и космолог, создатель одной из первых космологических моделей Вселенной, основанных на общей теории относительности Эйнштейна.

С. 331 Аппиева дорога — знаменитая древнеримская дорога, проложенная для военных целей цензором Аппием Клавдием Цекусом в 312 г. до Р. Х. и проходившая от Рима до Капуи (а затем до Бриндизи). Некоторые ее участки целы и поныне.

Ивар Осен, норвежский филолог, 1813—1896, изобрел новый язык. — Норвежский литературный язык существует в двух вариантах. Первый — датско-норвежский язык, или риксмол (государственный язык), — образовался в результате взаимодействия датского литературного языка и говора столицы Норвегии. Его официальное название сегодня — букмол (книжный язык). Другой вариант создал в результате искусственного синтеза местных диалектов Ивар Осен. Его обычное название — лансмол (народный язык), а официальное — новонорвежский. Для Набокова Ивар Осен является ярким примером истинного homo sapiens, так как способность изобретать языки, по мнению писателя, — великий *дар,* одно из существеннейших достижений человечества. В комментируемом романе Набоков сам экспериментирует с разработанным им языком вымышленной страны.

homo civis — человек гражданский *(лат.).*

sapiens — разумный *(лат.).*

Доктор Ливингстон, Давид (1813—1873) — знаменитый английский путешественник и миссионер, исследователь Южной Африки.

зороастрийский мотив — подразумеваются верования древних жителей Ирана, в основе которых лежит учение Зороастра (Заратуштры), мудреца, мага и прорицателя, жившего, по разным сведениям, то ли незадолго до Ксеркса, то ли во времена Троянской войны. Согласно этому учению, верховный творец Агурамазд (Ормузд) пребывает в царстве вечного света. Упоминание о “зороастрийском мотиве” в данном контексте обусловлено круглой формой солнца.

Формоза — остров в Тихом океане, открытый португальцами в 1590 г. и в 1895 г. переименованный японцами в Тайвань.

Лжепророк Псалманазар — здесь некоторая, вероятно, намеренная путаница. Джордж (Георг) Псалманазар, француз, подлинное имя которого неизвестно и поныне, появился в Лондоне в 1703 г. и объявил себя уроженцем Формозы, о которой в ту пору почти ничего известно не было. В 1704 г. он издал описание Формозы и грамматику ее языка, выдуманную им самим от начала до конца. Ему поверили, но вскоре последовало разоблачение со стороны католических миссионеров, проповедовавших на Формозе, и признание самого Псалманазара в мистификации. В дальнейшем Псалманазар посвятил свои недюжинные лингвистические таланты изучению древних авторов и умер в 1763 г. уважаемым человеком и другом прославленного доктора Сэмюэля Джонсона.

С. 332 долихокефальный профиль — т.е. длинноголовый; долихокефалия — антропометрический термин, отвечающий такому сочетанию длины и ширины головы, при котором ширина составляет менее 75% длины.

"petit éternuement intérieur" — сдавленный тихий чих *(фр.).*

Femineum lucet per bombycina corpus. — Женственный свет сквозь шелковое тело *(лат.).*

С. 333 "Sanglot" — "Стон" *(фр.).*

С. 334 лабиринт в детском саду Клары Зеркальской — весьма значимая деталь. Это своего рода символ набоковского текста, который воспринимается как языковой или словесный лабиринт. Впрочем, такое же впечатление вызывают и тексты Х. Л. Борхеса, часто сопоставлявшиеся критиками с прозой Набокова. Лабиринт, так полюбившийся маленькому Давиду, по своей сложности не идет ни в какое сравнение с тем, из которого всей душой стремится вырваться Круг, и уж тем более с тем, который конструирует для него Набоков.

С. 336 ...заполнены фавнами, футболистами и матадорами. — объединяя фавнов с матадорами, Набоков вновь сводит темы Малларме и Мериме.

13

С. 337 ...циркуляр нижеследующего содержания... — циркуляр о правах и свободах граждан любопытно сопоставить с "Восемью правилами поведения заключенных" в "Приглашении на казнь". Оба документа в одной стилевой манере пародийно представляют извращенную логику тоталитарного государства.

С. 341 bronzo da campane — колокольная бронза *(итал.).*

bronzo da cannoni — пушечная бронза *(итал.).*

en escalier — лесенкой *(фр.)*; язвительная насмешка над верноподданнической псевдоноваторской поэзией, в первую очередь над стихами В. Маяковского, о котором в стихотворении "О правителях" (1944) Набоков высказался так:

Покойный мой тезка,
писавший стихи в полоску,
и в клетку, на самом восходе
всесоюзно-мещанского класса,
кабы дожил до полдня,
нынче бы рифмы натягивал
на "монументален",
на "переперчил"
и так далее.

14

С. 341 mouches volantes — летающие мушки *(фр.).*

С. 342 ...по Фицджеральду. — имеется в виду релятивистский эффект сокращения пространственных и временных интервалов в связанной с движущимся телом системе отсчета по мере приближения скорости его движения к скорости света, известный как "сжатие Лоренца—Фицджеральда".

Гераклит Эфесский (? — 475? г. до Р.Х.) — греческий философ. Мизантропия и пессимизм его вошли в поговорку и заслужили ему славу "вечно плачущего".

Парменид Элейский (V—IV в. до Р.Х.) — греческий философ, автор философской поэмы "О природе". Если Гераклит был убежден во всеобщем изменении и противоречивости сущего, то для Парменида бытие едино и неделимо и "одно и то же есть мысль и то, в чем мысль существует".

Пифагор Самосский (VI в. до Р. Х.) — греческий философ и математик, автор учения о бессмертии души (психе) и переселении душ (метемпсихозе) в сочетании с "памятью предков".

С. 343 cogito! — мыслю! *(лат.)*

С. 344 ...с этим Нилом все ясно... — подразумевается знаменитая телеграмма, посланная в Британское Географическое общество Джоном Хеннингом Спеке (1827—1864), обнаружившим

наконец в 1860 г. истоки Нила. Эта фраза еще раз обыгрывается Набоковым в "Аде".

...предположим, что лифт... — аллюзия на один из "мысленных экспериментов", использованных Эйнштейном для иллюстрации выводов специальной теории относительности.

15

С. 345 Генри Дойль (1889—1964) — видный американский ученый-филолог, специалист по латинской группе языков и организатор системы университетского образования; почетный член множества латиноамериканских университетов.

"Da mi basia mille" — "Дай мне тысячу поцелуев" *(лат.)*; цитата из "Книги стихотворений" (V. 7) Гая Валерия Катулла (ок. 87 — ок. 54 до Р. Х.).

С. 346 "Brikabrak" — от *фр.* bric-à-brac — старье, хлам, подержанные вещи. Набоков неоднократно строил каламбуры с этим выражением (напр., bric-à-Braque в "Аде").

С. 348 que j'ai été veule — какой же я рохля *(фр.)*.

voilette — вуалька *(фр.)*.

С. 349 Librairie Hachette — массовая книжная серия классической литературы, издававшаяся во Франции.

С. 350 ..."cette petite Phryné qui se croit Ophélie". — "Эта маленькая Фрина, вообразившая себя Офелией" *(фр.)*. Фрина — афинская куртизанка (IV в. до Р. Х.), позировала Праксителю для статуи Афродиты Книдской.

Здесь снова аналогии с "Гамлетом": Квист — вульгарное подобие Лаэрта. Подобно Лаэрту, пытавшемуся поддерживать хорошие отношения с Гамлетом и в то же время служить Клавдию, Квист играет роль провокатора, втирающегося в доверие к Кругу. Возможно, имя Квист, как и Куильти в "Лолите", образовано от французского "qui est-il?" ("кто он?"). Этот персонаж уже появлялся в главе 6, о чем мы можем догадаться по одной из его реплик в обсуждаемой сцене.

Bene. — Хорошо *(лат.)*.

С. 351 agent provocateur — агент-провокатор *(фр.)*.

С. 353 Gruss aus Padukbad — Привет из Падукбада *(нем.)*.

chemin de fer — железка *(фр.)*; карточная игра.

16

С. 358 connu, mon vieux! — слыхали, старина! *(фр.)*

néant — ничто, небытие *(фр.)*.

С. 359 crux — крест *(лат.)*.

С. 360 puella — девушка, девица *(лат.)*.

С. 361 Грегуар пялился из-под кресла. — см. комм. к главе 3.

"Brevis lux. Da mi basia mille". — "Краткий свет. Дай мне тысячу поцелуев" — еще одна цитата из Катулла.

inquit — встревоженно *(лат.)*.

С. 362 Mea puella, puella mea — Моя девочка, девочка моя *(лат.)*.

С. 365 savoir-faire — умение *(фр.)*.

17

С. 375 portière — портьера *(фр.)*.

С. 376 la grâce — благодать *(фр.)*.

"Geographical Magazine" — "Географический журнал", выходящий в США с 1935 г. популярный иллюстрированный журнал.

"Столица и усадьба. Журнал красивой жизни" — выходил в Петербурге с 1913 по 1916 г. два раза в месяц.

"Die Woche" — "Неделя", популярное еженедельное издание, выходившее в Германии с 1899 по 1944 г.

"L'Illustration" — "Иллюстрация", иллюстрированный французский еженедельник, выходящий с 1843 г.

"Маленькие женщины" (1868) — популярнейший некогда роман для девочек американской писательницы Луизы Мэй Алкотт (1832—1888).

С. 377 Бад-Киссинген — курорт в г. Киссингене, в Баварии.

С. 378 même jeu — та же игра *(фр.)*; сценическая ремарка.

vide — смотри *(лат.)*

С. 380 gemütlich — покойный, удобный *(нем.)*.

С. 382 masseuse — массажистка *(фр.)*.

С. 383 "Тест 656". — еще одна аллюзия на цикличность (круговорот) по Вико.

С. 384 Я должен проснуться. — Прямое указание на то, что все события романа — сновидение.

С. 385 Фрау доктор фон Витвил, рожденная Бахофен (третья сестра, старшая)... — Только здесь выясняется, что Мариэтта, Линда Бахофен и доктор фон Витвил — сестры. Эта троица, совместными усилиями способствовавшая жизненной катастрофе Круга, согласно Л. Л. Ли, может восприниматься как три варианта воплощения богини царства мертвых: Кора — Персефона — Прозерпина (у Ли по ошибке Геката). Фамилия Bachofen напоминает немецкое слово Backofen (духовка). Авторская ирония проявляется в том, что в своем верноподданническом горении сестры как бы "сгорают", становясь жертвами режима, и воссоединяются с царством теней. В их фамилии слышится искаженный отзвук музыкального гения Баха, в то время как у страдающего по их вине Круга в лице есть что-то бетховенское, и об этом в романе упоминается дважды.

18

С. 392 My aunt has a visa. Uncle Sam wants to see uncle Samuel. The child is bold — Моя тетя имеет визу. Дядя Саул желает видеть дядю Сэмюэля. Ребенок смел *(англ.).*

С. 397 c'est la tragédie des cabinets — это кабинетная трагедия *(фр.).*

C'est atroce — Это жестоко *(фр.).*

С. 399 Добрая ночь, чтобы бражничать. — Последнее предложение романа в оригинале таково: "Good night for mothing". Здесь соединены: 1) пожелание покойной ночи (good night), 2) идиома good for nothing — "ни на что не годный" и 3) авторский неологизм mothing, образованный из moth (бабочка, мотылек) и обозначающий ловлю бабочек как занятие.

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ
(NIKOLAI GOGOL)

Книга написана в 1942—1944 гг.

Первое издание: Norfolk, Conn.: New Directions, 1944 (15 авг.).

Перевод Е. Голышевой при участии В. Голышева впервые опубликован в журнале "Новый мир", 1987, № 4. В настоящем издании восстановлены имевшиеся в тексте перевода пропуски и добавлен не переведенный ранее последний раздел книги "Хронология" (перевод А. Люксембурга).

Перевод выполнен по первоизданию.

Книга первоначально должна была называться "Гоголь в Зазеркалье" ("Gogol through the Looking Glass"), но в конечном счете автор остановился на более нейтральном варианте заглавия. Возможно, это связано со спецификой издательского заказа, так как от Набокова ожидали популярного очерка о жизни и творчестве. Известно, что писателя смущала необходимость кратко излагать в строго хронологической последовательности основные биографические сведения и сжато описывать фабулу основных произведений любимого писателя. Хотя требования жанра были им в основном выполнены, структура книги демонстрирует привычные для Набокова экспериментальные элементы. Так, на первой странице сообщается о смерти Гоголя, а завершается книга его рождением. К тому же исследование отличается намеренной неполнотой: Набоков отметает все то, что, с его точки зрения, несущественно для Гоголя-писателя, сосредоточиваясь на тех произведениях, которые выше всего ценит ("Ревизор", "Мертвые души", "Шинель").

Оправдывая избранный им угол зрения и отказ рассматривать Гоголя прежде всего как социального критика, Набоков так разъяснил свою позицию в письме одному из читателей, упрекнувшему его в отрыве этики от эстетики: "Я никогда не отрицал моральное влияние искусства, и оно, конечно же, присуще каждому истинно художественному произведению. Отрицал же я — и готов отстаивать свое мнение до последней капли чернил — намеренное морализаторство, которое, на мой взгляд, губит художественность в любом произведении, сколь бы искусно оно ни было написано. В "Шинели" содержится глубокая мораль, что я и пытался передать в своей книге, но эта мораль не имеет ничего общего с дешевой политической пропагандой, которую излишне

усердные почитатели России XIX века пытались выжать из нее (или, скорее, в нее вжать) и которая, по-моему, оскорбительна и для данной повести, и для самой концепции искусства.

Хотя вы, возможно, правы в том, что Гоголь не протестовал против крепостничества, внутренние моральные ориентиры произведения ощетиниваются против него. На читателя сильнее воздействуют физическое рабство крестьян и с неизбежностью проистекающее из него духовное рабство помещиков, чем мелкое жульничество Чичикова". (*Nabokov V.* Selected Letters. P. 56—57.)

1. ЕГО СМЕРТЬ И ЕГО МОЛОДОСТЬ

С. 408 pueritus scribendi — детская графомания *(лат.).*

С. 421 Травемунде (Травемюнде) — городок в Германии.

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИЗРАК

С. 432 габерсуп — овсяный суп.

3. НАШ ГОСПОДИН ЧИЧИКОВ

С. 456 animuli — душонки *(лат.).*

С. 469 Ma cassette! — Моя шкатулочка! *(фр.).*

С. 480 invitation au voyage — приглашение к странствиям *(фр.).*

4. УЧИТЕЛЬ И ПОВОДЫРЬ

С. 487 curriculum vitae — краткая биография *(лат.).*

С. 501 gauloiseries — вольные шутки, скабрезности *(фр.).*

5. АПОФЕОЗ ЛИЧИНЫ

С. 508 dégringolade — стремительное падение *(фр.).*

ПРЕДИСЛОВИЕ К "ГЕРОЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ"
(Foreword to Mihail Lermontov's "A HERO OF OUR TIME")

"Герой нашего времени" был опубликован 6 марта 1958 г. в переводе Владимира Набокова (в соавторстве с Дмитрием Набоковым): *Lermontov, Mihail.* A Hero of Our Time. Translated by Vladimir Nabokov in collaboration with Dmitri Nabokov. N.Y. Garden City.

Б. Бойд пишет о том, что, договорившись с сотрудником издательства Джейсоном Эпстайном о переводе романа, Набоков был очень доволен, так как считал, что участие в данном начинании будет весьма полезно для его сына и дисциплинирует его. Писатель помнил о том, как его собственный отец нажимал на него, настаивая на скорейшем завершении перевода "Кола Брюньона" Р. Роллана (в набоковской версии — "Николка Персик"). Однако Дмитрий в конечном счете не доделал английскую версию, и Набокову пришлось не только взять на себя общую шлифовку текста, но и черновую работу над значительной частью книги.

ПУШКИН, ИЛИ ПРАВДА И ПРАВДОПОДОБИЕ
(POUCHKINE OU LE VRAI ET LE VRAISEMBLABLE)

Речь, прочитанная Набоковым в Брюсселе, на собрании по случаю столетней годовщины смерти Пушкина. В виде эссе опубликована в журнале "La Nouvelle Revue Française" (Paris, Vol.25, No.282) 1 марта 1937 г. Одно из немногих произведений В. Набокова, написанных по-французски.

С. 538 Вандейская война — войны республиканских сил против роялистов во время Великой французской революции. Вандея — департамент на западе Франции, один из оплотов роялистов.

С. 547 бабуши — войлочные тапки без задника.

А. Люксембург

СОДЕРЖАНИЕ

Набоков В. В.

Н 14 Собрание сочинений в 5 томах: Пер. с англ./Сост. С. Ильина, А. Кононова. Предисл. и комментарии А. Люксембурга. — СПб.: «Симпозиум», 2004. — 608 стр. (Т. 1).

ISBN 5-89091-016-7(т.1)
ISBN 5-89091-014-0

Пятитомное собрание сочинений англоязычной художественной прозы Владимира Набокова (1899—1977) предпринимается в России впервые.

В настоящий том вошли произведения, созданные в 1940-е гг. — первое десятилетие творчества Набокова как американского писателя — романы «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (1941), «Под знаком незаконнорожденных» (1947), роман-эссе «Николай Гоголь» (1944), а также предисловие к переводу «Героя нашего времени» и эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие».

Издание сопровождается вступительной статьей и комментариями, в тексте ранее публиковавшихся переводов восстановлены купюры.

Владимир Набоков
Американский период
Собрание сочинений в 5 томах
Том I

Составление
С. Б. Ильина и А. К. Кононова

Ответственный редактор *М. В. Горшков*
Художник *М. Г. Занько*
Технический редактор *Е. И. Каплунова*
Верстка *И. В. Петрова*
Корректор *Е. Д. Светозарова*

Издательство «СИМПОЗИУМ».
190000, Санкт-Петербург, ул. М. Морская, 18.
Тел./факс +7 (812) 314-46-13; 595-44-22.
e-mail: symposium@online.ru

Подписано в печать 05.04.04. Формат издания 84×108/32.
Гарнитура Ньютон. Печать высокая. Усл. печ. л. 31,92.
Тираж 3000 экз. Заказ № 2291.

Отпечатано с готовых фотоформ в ФГУП «Печатный двор»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»
SYMPOSIUM
“Дальше мы увидим, как нос лейтмотивом проходит через его сочинения... Но фантазия ли сотворила нос, или нос разбудил фантазию – значения не имеет. Я считаю, что разумнее забыть о том, что чрезмерный интерес Гоголя к носу мог быть вызван ненормальной длиной собственного носа, и рассматривать обонятельные склонности Гоголя – и даже его собственный нос – как литературный прием...”
Казалось, нарушен какой-то обет, какой-то замысел погиб, какая-то возможность упущена – или использована в такой грубой полноте, что от нее осталось лишь послесвечение греха и позора. Световой узор был словно бы результатом вороватого, нащупывающего, отвлеченно мстительного, подложного движения, совершавшегося во сне или скрывшегося за ним, там, в сплетении незапамятных и ныне уже бесцельных и бесформенных козней. Вообразите знак, предупреждающий вас о взрыве, но на таком загадочном или младенческом языке, что остается только гадать, не создано ли все это – знак, застывший под подоконником взрыв и ваша дрожащая душа – искусственно, здесь и сейчас, по особому какому-то сговору с разумом, спрятавшимся за зеркалом.
ISBN 5-89091-016-7
9 785890 910165